ACTA ETHNOGRAPHICA

ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE

ADIUVANTIBUS
B. GUNDA, I. TÁLASI, L. VARGYAS

REDIGIT
GY. ORTUTAY

TOMUS III FASCICULI 1–4

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
BUDAPEST, 1953.

ACTA ETHNOGRAPHICA

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NÉPRAJZI KÖZLEMÉNYEI

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: BUDAPEST, V., ALKOTMÁNY-U. 21.

Az Acta Ethnographica orosz, francia, angol és német nyelven közöl értekezéseket a néprajztudomány köréből.

Az Acta Ethnographica változó terjedelmű füzetekben jelenik meg, több füzet alkot egy kötetet. Évenként általában egy kötet jelenik meg.

A közlésre szánt kéziratok, géppel írva, a következő címre küldendők:

Acta Ethnographica, Budapest 62, Postafiók 440.

Ugyanerre a címre küldendő minden szerkesztőségi és kiadóhivatali levelezés.

Az Acta Ethnographica előfizetési ára kötetenként belföldre 80 forint, külföldre 110 forint. Megrendelhető a belföld számára az »Akadémiai Kiadó«-nál (Budapest, V., Alkotmány-utca 21. Bankszámla 04-878-111-48), külföld számára pedig a »Kultúra« Könyv és Hírlap Külkereskedelmi Vállalatnál (Budapest, VI., Sztálin-út 21. Bankszámla 45-790-057-50-032), vagy külföldi képviseleteinél és bizományosainál.

»*Acta Ethnographica*« издает трактаты из области этнографической науки на русском, французском, английском и немецком языках.

»*Acta Ethnographica*« выходит в брошюрах переменного объема; несколько выпусков объединяются в одном томе.

Ежегодно предвидено издание одного тома.

Предназначенные для публикации рукописи следует направлять по адресу:

»*Acta Ethnographica*« *Budapest 62, Postafiók 440.*

По этому же адресу направляется всякая корреспонденция для редакции и администрации.

Подписная цена »*Acta Ethnographica*« — 110 форинтов за том. Заказы принимает предприятие по внешней торговле книг и газет »*Kultúra*« (*Budapest, VI., Sztálin-út 21.* Счет Банка № 45-790-057-50-032) или его заграничные представительства и уполномоченные.

ЗНАЧЕНИЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ТРУДОВ И. В. СТАЛИНА ДЛЯ ФОЛЬКЛОРИСТИКИ*

ДЬЮЛА ОРТУТАИ

Этнографический Институт Университета, Будапешт

Цель настоящего доклада очень скромна. Он стремится погасить хоть часть громадной задолженности венгерской этнографии, в частности фольклористики. Венгерские этнографы отлично сознают, что гениальное учение И. В. Сталина о языке имеет огромное значение не только для развития языкознания с открытием новых перспектив для дальнейших исследований, но — как ценный вклад в сокровищницу марксизма-ленинизма наших дней — производит неизмеримое влияние не только на общественные и исторические науки, но и на целый ряд дисциплин и все наше научное мышление. Его влияние является весьма сильным в области нашей дисциплины, ибо принуждает нас критически поверить основные принципы и методы фольклора, способствуя устранению допущенных ошибок, и позволяет ликвидировать причины нашей теоретической отсталости. Эта задача, конечно, не может быть выполнена в узких рамках нашего доклада, охватывающего всего только несколько из данных проблем. Она может быть выполнена только лишь целеустремленной работой множества исследователей, после долгих и жарких прений принципиального характера. Вышеупомянутая крупная задолженность возникла по той причине, что в области венгерской этнографии, в частности фольклористики, было сделано еще весьма малое для применения сталинского учения в целях обогащения наших теоретических сведений и облегчения нашей повседневной практической работы. В этом отношении едва ли допустима ссылка на что-нибудь иное, как только на доклады К. Марота (**Marót**) и Б. Сабольчи (**Szabolcsi**) на первом заседании АН Венгрии, посвященном дискуссии о лингвистических статьях Сталина. К сожалению, эти доклады до сих пор не были опубликованы и, таким образом, не привели к плодотворным теоретическим дебатам, столь необходимым для нашей дисциплины. Помимо названных докладов, имевших ясно выраженный фольклористический характер, были сделаны и некоторые замечания на отношение марризма к вопросам этноге-

* Доклад, прочитанный автором на совместном заседании I и II-го Отделений АН Венгрии, равно как и Университета имени Лоранда Этвеша, имевшем место 21 июня 1952 г.

неза в одном из трудов Э. Мольнара (**Molnár**). Кроме того, венгерские фольклористы с величайшим интересом следили за дебатами, возникшими между Г. Лукачем (**Lukács**) и И. Тренченьи-Вальдапфелем (**Trencsényi-Waldapfel**) о языке поэзии. Все прочее произошло уже не перед лицом критиков и интересующейся публики, а в стенах нашего университета, в рамках педагогической деятельности Венгерского этнографического института. Обе заинтересованные кафедры стремились воспользоваться богатым материалом сталинских указаний. Кафедра фольклористики, например, поставила их не только в основу главного курса лекций, но продебатировала их даже на семинариях. Ими воспользовалась также и кафедра вещественной и экономической этнографии, а именно при изучении вопроса этнических группирований.

При этих попытках, свидетельствующих о безусловно правильной ориентировке педагогической деятельности нашего университета, нельзя обойти молчанием и серьезные недостатки, оказавшиеся при применении сталинских идей в области венгерской фольклористики. Публичных дебатов принципиального характера не произошло и не было опубликовано трудов, иллюстрирующих применение этих идей к конкретному материалу этнографии и фольклористики. Поэтому-то мы и считаем настоящий доклад скромным и до некоторой степени запоздалым почином, и если в наших изложениях окажутся недостатки, то они должны быть приписаны, по меньшей мере отчасти, этому обстоятельству. Мы, конечно, знаем, что дебаты не в состоянии доказать, правильно ли пользуются венгерские этнографы тезисами сталинского учения. Это может быть доказано только результатами повседневной работы в области нашей дисциплины, ускорившимися темпами ее развития и укреплением идеологической и профессиональной уверенности. Но это будет доказательством и того, что в нашей науке брала верх передовая наука, марксизм-ленинизм нашего времени, учение Сталина.

Что венгерские этнографы принимали слишком малое участие в обсуждениях принципов сталинского учения о языке, это объясняется — кроме независящих от нас обстоятельств — и тем, что было отмечено уже и выдающимися представителями советской этнографии и фольклористики. Так, например, С. П. Толстов, раскритиковав марристские пороки собственных работ и литературы советской этнографии, указал на то, что влияние маризма на этнографию — за исключением вопросов этногенеза — не было слишком значительно. Интересно, что проблематика этногенеза, о которой столь подробную картину нарисовал Токарев с учетом марристских заблуждений, была и по мнению Э. Мольнара очагом, наиболее пропитанным идеями Н. Я. Марра, оказавшими свое разрушительное влияние преимущественно при выяснении туманных вопросов первобытной истории. С этим установлением Э. Мольнара можно согласиться, и так как этногенетические исследования касались одновременно нескольких дисциплин, в дан-

ное время назрела необходимость поверить их результаты со стороны всех заинтересованных наук, т. е. — истории, археологии, лингвистики и этнографии. Не существует никакого разногласия между советскими и венгерскими этнографами и в том, что нельзя выплеснуть вместе с водой и ребенка. Требуется только освободить методику этногенетики от идеологических заблуждений, от путаницы, внесенной в нее марризмом, так как сам метод — по смыслу сталинского учения — является пригодным для выяснения предистории этнических формаций, наций и т. п. Помимо этногенеза, влияние марризма появилось и в некоторых вопросах всеобщей этнографии, прежде всего в общих вопросах этнографии и первобытной истории, далее в теории о стадиальности (тотемистическая, космическая и т. п. стадии) эволюции человека и в изложениях, относящихся к возникновению и развитию мышления, которые проявили поразительное сходство с теорией Л. Леви-Бруля (**Lévy-Bruhl**) о прелогическом мышлении первобытного человека. Не только советские, но и чешские критики подчеркнули связь между марризмом и устаревшей теорией Леви-Бруля. Чешские этнографы Находил (**Nahodil**) и Крамарик (**Kramarik**) в своем труде посвятили целую главу для освещения этой связи. Но в области дескриптивной и экономической этнографии, эргологии и фольклористики, т. е. в наиболее интенсивно культивированных в Венгрии дисциплинах влияние марризма было совсем ничтожно. Оно сказывалось скорее на словах, чем на деле, т. е. в применении самого метода. В этом отношении можно сослаться на М. К. Азадовского, который в свое время (»Двадцать лет советской фольклористики« 1939) сетовал, что советские фольклористы не стремятся усвоить тезисы Марра и не пользуются ими, хотя и он сам не применил их в своих работах. Ввиду этого совершенно естественно, что А. Н. Астахова, изучая значение сталинских статей о языке для советской фольклористики, пришла к выводу, что учение Марра не могло внедриться в советскую фольклористику, и в 1930 г. группа фольклористов даже открыто выступила против него. Что советская этнография действительно пропитана столь слабо идеями марризма, это надлежит обсуждению советских ученых.

Подобное можно сказать и о различных отраслях венгерской этнографии. В отношении применения теории Марра, кроме некоторых декларативных замечаний (например, в 1949 г. я требовал критического применения тезисов Марра для выяснения вопросов этногенеза венгерского народа), у нас абсолютно ничего не было сделано. Не было опубликовано ни одного произведения, ни одного этюда, в котором теории Марра применялись бы на практике. Этот факт возбудил в специалистах венгерской этнографии чувство самодовольства, породив убеждение, что все в порядке и можно сидеть сложа руки. Но это оказалось грубой ошибкой, так как учение Сталина предоставило нам несравненно больше, чем опровержение псевдотезисов мар-

р и з м а. Оно разрешило нам увеличить наши теоретические знания и вооружиться идеями марксизма-ленинизма. Однако, мы не обратили на это должного внимания и не воспользовались представившимися возможностями. Устранение этого недостатка должно быть теперь первой нашей задачей.

Однако, данная ситуация в области нашей дисциплины принуждает нас продолжать хлопоты по отысканию дальнейших недостатков и, хотя мы и не намерены подвергнуть критике всю литературу венгерской этнографии последних времен (с признанием ее неоспоримых успехов), все же считаем долгом обратить внимание по меньшей мере на один немаловажный факт. Это — теоретическая отсталость венгерской этнографии, равнодушие венгерских этнографов к теоретическим вопросам, что было уже установлено и Постоянной этнографической комиссией АН Венгрии при дискуссии в связи с рефератом К. Марота. Равнодушие ко всему теоретическому, обход теоретических дискуссий, отсутствие углубленности в основные вопросы этнографии или же поверхностный подход к ним — вот главные недостатки венгерской этнографии. В доказательство этого можно указать, что, не говоря о некоторых трудах почившего профессора Ш. Шоймоши (**Solymossy**) и не считаясь с фрейдистом Рогеймом (**Roheim**), в настоящее время только К. Марот занимается у нас общими, теоретическими вопросами этнографии. А если обратимся к прошлому, то также увидим только недоконченные почины и услышим только голос одиноких теоретиков, не нашедших отклика среди своих современников. Л. Катона (**Katona**), например, опубликовал несколько трудов, достигших в свое время наивысшего уровня европейской этнографии, но они остались безответными. И не может быть случайным, что замечательная деятельность Л. Бёти (**Beöthy**) была предана почти полному забвению, несмотря на то, что он был одним из первых в Европе, который в своей двухтомной монографии (»Начатки развития общества«, 1882) подверг критике теории Моргана (**Morgan**) и Бахофена (**Bachofen**), стремясь дополнить их с точки зрения всеобщей этнографии. Знаменитый этнограф того времени Тэйлор (**Tylor**) проявил большой интерес к названному произведению венгерского этнографа, но даже и это не спасло его от забвения, так как оно совершенно не входило в рамки дескриптивной этнографии. Таким образом, пренебрежение теоретическими вопросами и делячество охарактеризовали венгерскую этнографию с самого начала, вследствие чего мы неоднократно отставали от передовой линии европейских этнографических исследований и легко пали жертвой различных мод. Как курьез можно привести здесь и мнение, по которому невозможно делать установления теоретического характера, пока материал венгерской народной культуры не собран полностью. Распространяться более подробно об этом абсурдном взгляде я считаю совершенно излишним.

Все эти факты, число которых еще можно увеличить, приводят нас неизбежно к сознанию, что фундаментальное значение сталинского учения для нас состоит именно в том, что оно ярко освещает теоретическую отсталость нашей науки, освобождает ее от оков описательного и регистрационного метода и отмечает единственно правильное теоретическое направление венгерской этнографии, обеспечивает и регулирует ход ее дальнейшего развития. Это развитие положительно немыслимо на бывшем теоретическом уровне венгерской этнографии, а повышение бывшего теоретического уровня будет пропорционально усвоению и адаптации сталинских идей.

Здесь я не имею возможности вдаваться в детали, чтобы открыть все возможности, содержащиеся для нас в учении Сталина, ибо нет ни одной отрасли в нашей науке, на которую оно не проливало бы резкого света. Для эргологии, равно как и для исторических эволюционных исследований экономической этнографии являются весьма важными дефиниция базиса и все выводы, вытекающие из нее, так как при помощи их становится более понятным, например, сохранение некоторых примитивных орудий производства в продолжение нескольких эпох в виде пережитка, а сталинская критика, относящаяся к скрещиванию языков, способствует лучшему пониманию не только возникновения первобытных языков, но и образования исторических и культурных связей между различными этническими группами и народами. Однако, в рамках настоящего доклада я должен ограничиться несколькими — по моему мнению — исключительно важными вопросами одной из главных дисциплин нашей науки, фольклористики, пользуясь сталинским учением в качестве руководителя и ценнейшего помощника. Я, конечно, не буду повторять здесь важнейшие тезисы сталинского учения. Я хочу только показать вам важнейшие вопросы нашей дисциплины при свете этих гениальных тезисов. Надеюсь, что даже мои схематические и отрывочные изложения приведут к признанию, что сталинское учение намечает единственный правильный путь развития и для венгерской фольклористики.

Согласно теории исторического и диалектического материализма, Сталин выдвинул в дефинициях о базисе и надстройке исторический характер этих понятий. А венгерская фольклористика осталась равнодушной к историзму вплоть до последних времен. Это проявилось во всех отношениях. В качестве примера можно указать на описания верований или обрядов, на основании которых легко получается впечатление, как будто бы авторы набросали картину о рецентных верованиях и обрядах, несмотря на то, что уже первый коллекционер, который сообщил их, упомянул о них, как о почти забытых явлениях. Эти описания имели своего рода »настоящее время«, из которого специалисты словно выщелачивали даже следы исторической точки зрения, поспособствовав этим созданию ложного представления о сверхвременной, »вечной« деревне. Масса фольклористи-

ческих трудов изображала изменения, происшедшие в жизни деревни, антиисторическим способом, в одной плоскости с настоящим временем. (О несоблюдении исторической точки зрения будем говорить ниже, в связи с исследованием мотивов.) Наши исследователи народной поэзии только в последнее время заметили — главным образом под влиянием советской фольклористики — различные исторические слои, наблюдаемые в венгерских народных песнях, и научились усваивать новые методы изучения былин, своеобразно отражающих отдельные моменты национальной истории. Все это стало ясным при издании I тома рукописного материала Л. Кальманя (**Kálmány**), равно как и при обработке преданий, группировавшихся вокруг фигуры Кошута, как я стремился доказать это в одном из своих трудов. Наши фольклористы раньше (например, в изучении народных баллад) едва успели выйти из рамок констатирований Я. Эрдели (**Erdélyi**) и П. Дьюлаи (**Gyulai**), которым удалось выделить две эпохи в этой отрасли поэзии по чисто формальным критериям. Я. Гонти (**Honti**) удовольствовался еще установлением, что есть разница между старым и новым стилем народных баллад, но теперь уже известно, что здесь речь идет не о различии двух стилей и не о стиле в первую очередь.

Таким образом, пренебрежение к исторической точке зрения оказалось губительным для изучения народной поэзии, но — к счастью — З. Кодаль, а также и Б. Сабольчи успели выяснить исторические прослоения, связи и ход развития по меньшей мере в области венгерской народной музыки.

Что обход исторического взгляда может иметь нежелательные последствия, это видно и из того, что венгерская фольклористика долго отказывалась принять к сведению, что есть классовое расслоение и в сфере крестьянства и что классовая борьба среди крестьянства отражается в народной поэзии, но если кто-нибудь отваживался намекать об этом, то его замечание, как бы оно не было тонко замаскировано, отклонялось. Такой антиисторический взгляд на народную поэзию, как между прочим подчеркнула и Астахова, легко порождает мысль о том, что законы народной поэзии неизменяемы, независимы от общества, имманентны. Этот взгляд неизбежно приводит к формализму, к механическому сличению мотивов с одной стороны и к одностороннему изучению формы — с другой. Такое воззрение не может охватить существенные моменты ни слагающегося нового, ни уходящего старого, несмотря на то, что именно эпохи перехода предоставляют самый интересный материал для фольклористики или даже для всей этнографии. Это воззрение не в состоянии показать порою скрытые, порою открытые внутренние противоречия в области народной поэзии и вообще народного художественного творчества. Это воззрение не выясняет фаворизации некоторых жанровых групп определенным классовым слоем общества, как это было отмечено польскими исследователями, которым удалось указать на подобные явления в области декоративного искусства.

Сталинские тезисы, заключая в себе плодотворные указания, могут оказать ценную помощь и для вскрытия и устранения перечисленных недостатков.

Учение Сталина об активной роли и историческом процессе отмирания надстройки устраняет непримиримые противоречия нашей дисциплины, те противоречия, которые скрывали в себе самые волнующие проблемы, бывшие неразрешимыми, начиная от создания всеобщей этнографии. Эти противоречия заслуживают внимания, тем более, что они — благодаря исследованиям К. Марота — у нас довольно известны, имеют немаловажное значение и могут быть освещаемы именно при свете сталинских тезисов. Здесь речь идет о формальных и идейных элементах сюрвивала и ревивала, о противоречии, засвидетельствованном тысячами примеров, оказавшемся до сих пор непримиримым для наших ученых. Приверженцы теории о сюрвивале — по смыслу антидиалектического и механического понимания эволюции — рассматривают целый ряд культурных явлений, традиционных форм и сюжетов пережитками, атрофированными и безжизненными остатками старины. Однако, эта теория не может объяснить, каким же образом эти безжизненные, лишние пережитки иногда оживляются. Этому взгляду противоречит, между прочим, мнение К. Марота, априори сомневающегося в правильности приведенного представления о процессе эволюции. По мнению Марота все, что называется ревивалом, все, что оживляется, в момент своего оживления представляет собой полноценный общественно-психологический факт, живую действительность как для общины, так и для индивидуального творца, даже в том случае, если ему не предшествовало ничего в историческом или общественном отношении. Эти две теории взаимно исключают друг друга, и так как вопрос был поставлен вне всякой исторической ориентации, исследователи не охватили его сути и не спросили, какие же общественно-исторические причины способствуют возобновлению отдельных обрядов с полным сохранением их прежнего содержания (совместно с новыми, индивидуальными вариантами, так часто встречаемыми в устных преданиях с расширенным или суженным содержанием) и, наоборот, почему превращаются живые привычки в механические, бессодержательные церемонии, как они теряют свое первоначальное значение и становятся пустыми, формальными обрядами? В учении Сталина имеются ответы на все эти вопросы. Они рассеивают кажущееся противоречие и мы не можем себе представить более интересной задачи, нежели рассмотрение всех исторических вопросов нашей дисциплины при свете сталинских объяснений. Ибо не подлежит сомнению, что в крестьянской культуре, базирующейся на устных преданиях, возобновляется только то, что активно служит своему базису, то, что имеет еще значение и функции по отношению к нему, а когда оно теряет свое значение и лишается своей функции, то начинается его постепенное отмирание через некоторые переходные формы, причем оно становится все более

пустым и излишним, и только великой консервирующей силе и памяти народных преданий и обрядов можно приписать, что они долго сохраняются как совершенно пустые формы, иногда же представляются нам под видом игр, продолжая свое существование среди детей.

Что это не искусственная конструкция, касающаяся развития и не пустое голословное каждение учению Сталина, это может быть доказано многочисленными примерами, хотя мне необходимо подчеркнуть, что историко-этнографическое изучение процесса эволюции от отмирающего неслужащего уже своей надстройке старого, до возникающего нового является еще задачей грядущих исследований. Вопреки этому, я не премину привести несколько примеров. Например, история наших свадебных обрядов не может быть объяснима ни теорией сюрвивала, ни теорией ревивала, принимающей во внимание только возобновления и в первую очередь только индивидуализирующиеся в них моменты. Она не может быть объяснима именно в отношении процесса эволюции. По смыслу исследований Ш. Макольди (**Makoldy**) и других ученых, в Венгрии еще долгое время после завоевания страны до некоторой степени допускалось похищение женщины, как существующий, но все более и более вымирающий обычай прежних времен. В наших брачных обрядах можно проследить эволюцию этого в начале драматического события, затем уже игривого акта, который все более терял свое первоначальное значение и, наконец, сократился настолько, что от него осталось всего только несколько моментов. Ход этой эволюции может быть объяснен лишь при помощи сталинского учения, относящегося к надстройке, ее свойствам и развитию, так как в этой эволюционной серии тоже отмечается изменение отношения надстройки к базису, потеря первоначального значения и постепенное отмирание старого. Общий, повидимому, законный ход развития обрядов (превращение когда-то вполне естественного акта в драматическую, игривую форму и затем полное исчезновение его) находит полное объяснение в учении Сталина.

Хотя вышеупомянутый процесс развития и встречается в других отраслях фольклористики, все же он является наиболее характерным для народных обрядов и верований.

Подобный же процесс развития наблюдается, например, и в превращении ритуала жертвоприношения при постройках отчасти в верования, отчасти же в эпизоды, сохранившиеся в эпических поэмах, балладах и т. п. Ритуал человеческой жертвы, приносимый богам перед началом постройки, следы которого можно проследить начиная от памятников, поступивших из раскопок города Ур, в различных культах постепенно лишался своей первоначальной функции и, потеряв свою первоначальную роль, определяемую базисом, продолжал свое увядающее существование под видом различных форм. Он проявляется — без следов культических воспоминаний

— в народной поэзии в эпических поэмах на Балканах и в венгерских балладах типа »**Kőmíves Kelemenné**«, но встречается и среди народных верований, в разных транспозициях, в сильно рационализованой и извращенной форме (погребение длины человеческой тени или же яйца; ночевка животного в новой постройке и т. д.). В таких случаях невозможно пользоваться механическими объяснениями теории о сюрвивале потому, что здесь мы не имеем дела с пережитками, сохранившимися без перемены форм. Но нельзя пользоваться и теорией о ревивале потому, что в связи с этими ирреверсивными историческими процессами невозможно говорить о самостоятельных, возобновляющихся явлениях, независимых от предшествовавших им условий. Здесь можно пользоваться только объяснением, вытекающим из прекращения активности надстройки и следовавших за ним переходных явлений. И подобные примеры встречаются массами. (Другая сторона этого вопроса, рассматриваемая ниже, заключается в отношении старого к нарождающемуся новому!) Золотарев и вслед за ним Збруева в своих трудах, опубликованных о нивхах, описали возможности бракосочетания рабов и свободных с указанием условий, при которых дети рабов признавались свободными. Этот процесс объяснялся по нивхским верованиям следующим образом: иноплеменник первого поколения является еще рабом полностью. Во втором поколении он становится уже свободным от темени до глаз, в третьем — до пояса, в четвертом — до коленей, а в пятом — целиком. В евразийских сказках, в том числе и венгерских, представленных многочисленными вариантами, отражается это верование, имевшее когда-то тесные связи с действительностью, либо в вариантах сказки о царевиче, добывшем воду жизни, либо в поединках при разных авантюрах, имевших место в преисподней, в борьбах с драконами и т. д. Тут представляются нам только две крайние точки эволюции, — найти соединяющие их линии, вот задача, которая должна быть еще разрешена нами. И венгерские детские стихи, опубликованные в свое время Рогеймом, в которых заметны еще следы шаманизма, сохранили только в фрагментарном виде некоторые остатки жестов и текстов подлинного ритуала. Но другим образом невозможно понять ни их, ни то, что имело место в истории испанских народных баллад. В испанской литературе — по сообщению Менендe и Пидал (**Menendez y Pidal**) — немало баллад превратилось отчасти в детские игры, отчасти в песни калик перехожих. Некоторые моменты подобного развития наблюдаются и у нас, в истории венгерских баллад. На это обратил внимание еще Я. Эрдели (**Erdélyi**) во II томе своего труда »**Népdalok és mondák**« (= Народные песни и былины), а в сборнике »**Magyar gyermekjátékok**« (= Венгерские детские игры), составленном под редакцией З. Кодаля, также имеются параллельные примеры, не только в связи с трагическими, но и с веселыми, танцовальными балладами. Из сказанного следует, что здесь мы имеем дело с общим законом, действующим во всей области фоль-

клористики. Исторические исследования европейской фольклористики повсюду показали, что только при помощи исторического и диалектического материализма, равно как и применением сталинских тезисов можно выяснить эволюцию эпической поэзии со всеми новыми прослойками и пережитками ее. Таким образом ликвидирует сталинское толкование истории антономии фольклористики (и общей этнографии), давая нам ключ для правильного понимания необъяснимых до сих пор явлений. Конечно, мы должны заботиться о том, чтобы исследования, относящиеся к конкретным историческим процессам и отношениям, были произведены в области фольклористики с учетом сталинских показаний.

Однако наш вопрос имеет и другой аспект. Можно спросить, как же относится слагающееся новое к старому? Фольклористика должна подойти к вопросам слагающегося нового также только на основании сталинского анализа соотношений базиса и надстройки. Весьма ценные сведения обещают нам обследования эпох перехода, в течении которых исторические (в том числе и этнические и фольклористические) изменения наглядно показывают ход эволюции, ее закономерные явления, борьбу между старым и новым и, наконец, победу нового. Число относящихся сюда фольклористических примеров тоже громадно, несмотря на то, что европейские фольклористы мало уделяли внимания этим процессам. Скорее сохранившиеся остатки старого служили предметом исследований, нежели сами процессы нарождения нового и отмирания старого, не только у нас, но и в других странах Европы.

В этом отношении наблюдался двоякого рода аттитюд, следы которого теперь начинают исчезать у нас. Еще во время первых сборов возникло миение, что отмирающее старое ценнее нового (что является безусловно правильным, если остаток старого рассматривается как памятник прошлого). Согласно этому, исследователи в большинстве случаев свысока относились к рецентным явлениям народного искусства, не удостаивая их даже внесения в коллекции. Таким образом, целый ряд интересных переходных форм пропал бесследно потому, что не был зарегистрирован европейскими учеными, в том числе и венгерскими. (Нам придется ликвидировать и последние следы этого аттитюда с помощью советской фольклористики.) С другой стороны, исследователи, приписывавшие исключительную ценность сохранившимся памятникам старого, были введены в заблуждение своим собственным методом по отношению к характеру крестьянской, народной культуры. Среди них было широко распространено мнение, что рестьянская культура по своей сущности неизменяема, не в млой мере потому, что она базируется на устных преданиях и в ней пересоздается всегда лишь та же самая имманентная сущность. Едва ли нужно более подробно остановиться на этих антиисторических взглядах, которые ввели фольклористов в теоретическую путаницу народничества.

Помимо неправильных предположений, идеологических недостатков и антиисторических методов, также и весьма медленные темпы развития ввели в заблуждение наших исследователей. Эти медленные темпы были очень характерными — здесь, в Европе — для восточноевропейского крестьянства, как это было изложено Лениным в своем классическом труде »Развитие капитализма в России«. Впрочем, на общую, основную черту классовых обществ, т. е. на эксплуатацию и вместе с тем на некоторые формы мышления, сохраняющиеся вплоть до ликвидации классового антагонизма, указали и Маркс и Энгельс еще в Коммунистическом Манифесте. Маркс высказался и о великой силе преданий именно в связи с крестьянским бытом. В переходных исторических эпохах классового общества, вплоть до начала построения социализма, производственные и имущественные условия, т. е. немаловажные факторы базиса — даже при новых формах эксплуатации — для крестьянства существенно не изменились. Этим объясняется, что некоторые секторы надстройки продолжали свое существование (см., например, сохранение религиозных представлений и религиозного культа в системе двойственной зависимости природы и общества, как это было доказано Лениным и Сталином). Тем же объясняются сравнительно медленные темпы развития и преобразования крестьянской культуры, равно как и устойчивость устных преданий при медленном распространении письменности, и поэтому-то народная культура и становилась »живым музеем« старинных форм и содержаний. Медленные темпы развития некоторых факторов базиса и вместе с тем и некоторых секторов надстройки определяют только специальный характер исторического процесса, но не могут прикрыть самих исторических процессов, не могут прикрыть самого факта закономерных исторических перемен. Наглядно видно это не только в прежних трудах Б. Сабольчи, написанных об образовании исторического наслоения форменных элементов венгерской народной музыки, но и в одном из его последних этюдов, посвященном возникновению нового стиля народной музыки. Путем тонкого исторического анализа Сабольчи доказал, что новая народная музыка имеет тесные связи с некоторыми элементами старой и что она возникла не внезапным взрывом, а в результате постепенного развития, продолжавшегося почти двести лет. Этот пример, который вовсе не является единственным, ярко освещает отдельные детлиа борьбы между новым и старым, равно как и свойства исторического развития в некоторых секторах надстройки, подчеркивая большое историческое значение переходных форм и постепенно развертывающихся вариантов, что в фольклористике является весьма важным с точки зрения методики.

Именно на эту переходность исторического развития, на превращение медленно цроисходящих количественных перемен в качественные обращает внимание и учение Сталина, отвергая ошибочную теорию Марра о внезапных

взрывах не только в связи с развитием языка, но и в связи с другими явлениями, устанавливая, когда нужно считаться с переменами взрывного характера. (Эти детали сталинского учения были обработаны недавно в интересном труде Кедрова.)

И вот мы пришли теперь к одному из тупиков нашей дисциплины, из которого можно выйти тоже только с помощью сталинского учения. Это — методологический недостаток исследований, относящихся к вариантам. Раньше варианты — почти все без исключения — подвергались обследованию только в отношении формы и содержания, причем никто не уделил внимания историческим силам, породившим варианты, и не исследовал их в порядке эволюции, в течение которой едва заметные количественные перемены превратились в качественные. Не подлежит сомнению, что именно здесь надо искать решения значительной части наших проблем. Этот медленный, идущий через варианты ход развития народной поэзии объясняет ряд особенностей, присущих и венгерской исторической народной поэзии. Он объясняет нам, например, как связывается песня о Кошуте, возникшая в боях 1848 г., с вербовочными песнями предыдущего столетия и еще более старинными кличами, и как своим чередом их обновляет. Он объясняет нам развитие песен о пайках батраков вплоть до конца XIX столетия или даже до недавнего освобождения страны, равно как и пополнение их новыми жалобами крестьян. Анализируя поступивший от государственного сбора материал преданий, относящихся к событиям 1848 г., можно проследить накопление количественных перемен и наблюдать, что известные сказки о короле Матиасе медленно и филологически точно определяемым путем меняют свой центр, группируясь вокруг фигуры Кошута. В этом отношении небезынтересно заметить, что при адаптации поговорки к Кошуту »Умер король Матиас, умерла и правда« ее короткая эпическая форма изменилась, приняв еще более сжатую форму с острым окончанием. Очень поучительно наблюдать, как возникает новое из старого и в народных балладах, как обогащается новыми чертами баллада о проданной черту или турку невесте и как она принимает новый вид в балладе о проданной мельнику (эксплуататору) или барину невесте, как сказываются новые виды классового антагонизма в таких старинных произведениях народной поэзии, как баллада о Кате Кадаре и как представляется та же самая тема, когда она приобретает новые формы. Что народная поэзия чувствительно реагирует на каждую значительную перемену, это может быть подтверждено многочисленными примерами, взятыми из различных областей венгерской народной поэзии. Но на этот раз, я думаю, достаточно будет привести только отрывок из маньсийской коллекции Мункачи, из типа народной поэзии, который, повидимому, не изменился ни по отношению к форме, ни к содержанию, и на первый взгляд даже и непригоден для отражения перемен. Вот несколько строк маньсийской поэмы:

Один из мужей сказал :
»Когда древний богатырь, древний герой господствовал,
то мы были барами, мы были барынями.
Когда стал новый богатырь,
когда стал новый герой,
то мы стали служанками,
Мы стали слугами«.
Другой муж сказал :
»Когда господствовал древний богатырь,
когда господствовал древний герой,
то мы были служанками,
мы были слугами.
А стал новый богатырь,
стал новый герой,
мы живем барами,
мы живем барынями.«
Убив человека, восхвалившего
древнего богатыря, он ушел
и пиршествует с народом . . .

см. **Vogul népköltési gyüjtemény** (= Сборник маньсийской народной поэзии) IV (Будапешт 1897) 164—165.

У меня нет возможности проанализировать исторический фон этой — по моему мнению очень интересной — поэмы, увековечившей память о каком-то весьма важном историческом повороте. Но сама поэма и без всякого анализа в достаточной мере подтверждает, что народная поэзия всегда чутко реагирует на новое, даже у таких племен, как племя маньсей, которое во время царизма находилось на весьма низком уровне культуры и было обречено на гибель.

На более высоком уровне сознательности сказываются значение нарождающегося нового, использование ценностей старого и победа качественного нового в различных отраслях советской народной поэзии. Этот факт настолько известен, что подробно говорить о нем совершенно излишне, тем более, что помимо прежних авторов в последнее время им занимались и Соколов и Астахова. Я хочу только отметить, что слагающееся новое революционерного характера повсюду появляется в поэзии народов, алчущих свободы и готовых бороться за нее. Как революции 1905 и 1917 годов, равно как и события Отечественной войны вызвали могучий отклик в русской народной поэзии, так и новейшие слои итальянской народной поэзии содержат большей частью партизанские песни, в которых воспеваются освобождающая красная звезда и борцы-герои из класса трудящихся. Все это лишний раз подтверждает, что народная поэзия верно отражает перемены, имевшие место в течение минувших веков, в меняющие друг друга эпохи.

В надстройку нового не входит то, что уже лишилось своего активного, боевого характера, своего первоначального значения по отношению к базису. Оно исчезает, проходя через все более пустые формы, варианты. В противоположность этому, содержащееся в новой надстройке медленно, но определенно укрепляется через перемены, которые тут медленнее совершаются, нежели у базиса. В этом отношении очень интересно было бы обследовать наименее прогрессивную часть надстройки, сектор верований и религиозных представлений, проследить превращение старого (приписание магической силы предметам, анимистические верования) и возникновение нового, связанного всегда с реакционными задачами.

Однако, возникновение нового и в нашей дисциплине не всегда происходит путем медленного накопления количественных перемен и переходом в новое качество. Вследствие значительных исторических событий, революций, освободительных войн или других важных причин иногда ускоряются темпы развития и в области народной культуры и они могут вызвать глубокие революционные перевороты. Новый стиль венгерского народного искусства, создавшийся в прошлом столетии, как я установил в одном из моих трудов, написанных о народном декоративном искусстве, такими же бурными темпами и приблизительно в то же самое время распространялся в стране, как и стиль новой музыки или целый ряд новых тем в народной поэзии. Процветание разных отраслей народного искусства (декоративного искусства, музыки, танцев, поэзии) не случайно совпадает с событиями до и после освободительной войны Венгрии 1848 г. Полное выяснение этого вопроса приурочено также к нашим предстоящим задачам, тем более, что вскрытие таких своеобразных и закономерных совпадений является весьма важным для исторической этнографии. Я не хочу заниматься здесь вопросами исторической фольклористики в связи с крупными историческими переменами эпохального значения. Я хочу указать только на то, что перед нашими глазами и даже с нашим участием совершается теперь перемена, вес и значение которой в данное время еще неизмеримы: народная демократия строит социализм под водительством класса рабочих и Партии, и перемены, возникающие вслед за этим, хотя и не внезапным взрывом, но очень глубоко и в большой мере изменяют культуру нашего народа, между прочим и традиционный быт нашего крестьянства. При изучении этих перемен оказывают нам ценные услуги исследования советских ученых, относящиеся к колхозам, результаты и методы которых обсуждались на этнографических съездах, имевших место в прибалтийских странах, Молдавии и Украине. Наши исследования, относящиеся к венгерским артелям и производственным кооперативам сельского хозяйства, находятся еще в начальной стадии, поэтому тут особенно важно учесть сталинские указания в связи с постепенным или взрывным характером общественных перемен. Очень легко было бы сослаться здесь на примеры, касающиеся только

внешности явлений, указывая, например, на разницу между прежним, феодальным и теперешним, демократическим праздником урожая или на ту или другую внешнюю черту преобразования уклада жизни. Но этнографы должны обследовать тонкую и сложную сеть изменений, связанных непосредственно или косвенно с пересозданием производства и государственного строя в нашей стране, выясняя все наблюдаемые в ней отношения.

Характер исторических перемен приводит нас и к дальнейшим вопросам, но я хочу коснуться только тех из них, которые, по всей вероятности, будут выдвинуты и в дебатах. Участники прений, устроенных советской фольклористикой в 1948 году, резко осудили исследования, которые производились без принципов, при помощи устарелого метода по отысканию и сличению мотивов. Но изложения Сталина, относящиеся к историко-сравнительному методу языкознания возбудили в некоторых венгерских фольклористах убеждение, как будто бы в них оправдались прежние сравнительные методы (методы компаратистов, финский метод) нашей дисциплины. Не говоря о том, что историко-сравнительный метод лингвистики и сличения, практикуемые фольклористикой, во многих отношениях значительно различаются между собой, нужно заметить, что было бы грубой ошибкой истолковывать учение Сталина как попытку простого восстановления прежних методов в области фольклористики. В связи с изучением индивидуальности рассказчика мы в свое время уже указали на то, что отыскание и каталогизация мотивов хотя и полезный, но отнюдь не полноценный и единственный способ решения вопросов фольклористики. Теперь же на основании сталинского анализа исторических перемен надо подчеркнуть это еще сильнее. Астахова вполне правильно указала на то, что марристы, стремясь дискредитировать сравнительный метод, сами совершали грубейшие ошибки при применении того же самого метода, как, например, при вычурном объяснении загы о Тристане и Изольде. Правда, в этой области на каждом шагу опасность подстерегает исследователей. Приверженцы сравнительного метода (я говорю только о нашей дисциплине, а не о сравнениях в области языкознания) напрасно подчеркнули необходимость географико-исторических сличений, они пользовались в сущности метафизическим, антиисторическим методом, и результаты, достигнутые ими, оказались — выражаясь политически — космополитическими. Как понять это? При сравнительном исследовании методов всегда только отдельные типы, отдельные серии мотивов и даже отдельные мотивы подвергались изучению и к ним были подысканы параллели, похожие или родственные места из разных исторических эпох. Этот метод, вырвавший элементы или даже большие единицы из своих естественных зависимостей и утопавший в отыскании связей мотивов, оказался непригодным именно для раскрытия исторического фона названных связей и »тождеств« для обнаружения подобных свойств, возникших вследствие тождественных причин. Совет-

ские фольклористы имели полное право рассматривать этот метод чисто формальным, но он был по моему мнению больше этого — он был метафизическим и антиисторическим методом. Во избежание этих пороков в будущем иеобходимо установить правильный сравнительный метод фольклористики на основании исторических взглядов Сталина. Советские языковеды — пишет Б. А. Серебренников — определили уже критерии правильного сравнительно-исторического метода лингвистики. Марксистская сравнительная фольклористика также не может удовольствоваться механическим и формалистическим сопоставлением мотивов, которое, сличая различные элементы надстройки разных базисов по действительному или мнимому сходству структур или содержаний, не стремится выяснить исторический фон констатированных сходств и не считает своим долгом раскрыть смысл и необходимость отмеченных связей. Это, конечно, не легко разрешимая задача, но метод, который довольствуется выдвижением бросающихся в глаза параллельных мест, является не только легким, но и неплодотворным. Такой метод может привести только к безличным, космополитическим выводам, к пренебрежительному отношению к этическим, национальным и историческим различиям. В противоположность этому, сравнения, пропитанные марксистским историзмом, помимо соотношения коллектива и творческого индивидуума могут обнаружить и силы,скрывающиеся за историческими сериями вариантов и показать нам настоящие связи и настоящие различия.

Я только что упомянул о роли индивидуума и коллектива в произведениях народного творчества. Метод обследования личности, введенный впервые русскими, затем советскими фольклористами, оказался действительно значительным шагом вперед в области марксистских исследований вариантов, и его значение неоспоримо и теперь. Так как венгерские фольклористы были среди первых в Европе, которые изучили и применили этот метод на практике, открыто признав его передовым и во время самых тяжелых угроз гитлеровской войны, теперь вряд ли требуется подробно распространяться о его важности. Статьи Сталина по вопросам языкознания, равно как и его другие работы неоднократно подчеркивали роль творческих масс, указывая на правильное соотношение коллектива и индивидуума. Нам кажется, что у нас тоже очень важно было бы изучение диалектически связанного, но неуровновешенного отношения между коллективом и индивидуумом, особенно теперь, в эпоху нарождающегося нового. Это является и в настоящее время единственным правильным путем изучения вариантов, обследования коллективных преданий и индивидуального творчества.

Вышеприведенные детали я считал необходимым подчеркнуть в учении Сталина для того, чтобы наша фольклористика стала настоящей исторической дисциплиной. Не подлежит сомнению, что без гениальных указаний Сталнна мы не могли бы осветить основные вопросы нашей науки, а пред-

стоящие нам задачи вырисовывались вероятно и из этих схематических изложений.

Тут я не хочу подробно заниматься вопросом, выдвинутым и в прежних дебатах и поставленном в центр дискуссии, имевшей место между Дь. Лукачем и И. Тренченьи-Вальдапфелем о том, принадлежит ли форма и содержание литературных произведений одинаково и в той же мере к надстройке или нет? Этот вопрос, конечно, интересует и фольклористику. Но так как он был уже продискутирован со всех сторон, и подробное обсуждение его требовало бы особого доклада, я считаю более правильным уделить внимание другим вопросам, а по отношению к нему сделать только несколько замечаний. Вопреки множеству контрдоводов, заслуживающих серьезного внимания, я убежден, что форма и содержание всецело принадлежат к надстройке во всех областях фольклористики. Тренченьи-Вальдапфель привел веские аргументы в доказательство того, что некоторые элементы формы не имеют характера надстройки и очень поучительно подчеркнул, что отшлифовавшиеся элементы формы поэтому-то и могут выразить содержание самыми подходящими и вследствие этого наилучше и наиболее активно служащими базису средствами. И напрасно ссылаться на строгое замечание Белецкого, по которому оглашение классового характера рифмы, ритма и строф должно быть рассматриваемо левым уклоном, потому что мы убеждены, что отделение формы от содержания и изолированная трактовка некоторых формальных элементов с точки зрения стихосложения и стилистики представляют собой грубую ошибку, которая может служить отправным пунктом для дальнейших ошибок. Для нас неубедительным является указание на то, что некоторые формальные элементы продолжают свое существование втечение нескольких эпох. Нам известны и содержания, притом немалого объема (см. главные связи различных религиозных систем), которые тоже пережили несколько эпох, причем они вошли в систему новой надстройки, сохраняя свою прежнюю или приобретая совершенно новую функцию. Часто бывает, что целый ряд элементов формы и содержания переходит в систему нового, но это отнюдь не означает еще, что они не принадлежат к надстройке, что они не представляют собой составных частей надстройки, зависящей от своего базиса. И в виду того, что эти элементы содержания и формы в процессе исторической эволюции подвергаются то едва заметным, то более значительным изменениям, исторические исследования, относящиеся к этим изменениям, доказывают, что говорить о формальных элементах, о с т а в ш и х с я н е и з м е н н ы м и, нельзя. Тут тоже не уделяется должного внимания учению Сталина о постепенном накоплении количественных перемен, и вместе с тем вставляются повсюду цезуры или же предполагаются единицы содержания или формы, которые не подвергаются изменениям. С другой стороны, формальные элементы никогда не могут быть отделены от содержания без значительного риска, и

я не думаю, что наши методы утончились уже настолько, чтобы возможно было бы относить изменения тождественных на вид форм к различным эпохам, к различным содержаниям. Ведь нет сомнений в том, что такая тождественная на вид форма, как, например, сонет, имеет различную звучность в отдельных эпохах, и наоборот, сонеты венгерских поэтов Бабича, Костоланьи и Юхаса не идентичны, несмотря на то, что они были созданы в той же самой эпохе. Трудно верится, но факт, что стихи А. Иожефа, написанные в восьмисложных строках, и песен народной поэзии подобного же стихосложения показывают существенные просодические различия именно во взаимоотношении формы и содержания, но если невозможно отделить форму от содержания с этой точки зрения, то пустые просодические внешности или же различия, сказывающиеся в выражениях, сравнениях и т. п., не могут иметь решающего значения в нашем вопросе. Но что формальные элементы иногда сами вмешают в себе некоторые детали содержания и проявляют свою принадлежность к определенным эпохам, это может быть подтверждено не только политической модой некоторых просодических форм, не только политическим значением известных костюмов, танцев и т. п., но и следующим простым примером. Герб Венгрии без королевской короны считался, как установил А. Вайкаи, символом освободительного движения и национального сопротивления в венгерском декоративном искусстве 1848 г. и следующего за ним периода. Этот мотив является чисто формальным, но он имел в свое время боевую роль и функцию. Это свидетельствует о том, что самый простой декоративный элемент может наполняться содержанием, становясь вместе с тем неотделимой частью надстройки.

Не подлежит сомнению, что историческое изучение формальных элементов, исследование их едва замечаемых изменений, зависящих от содержания, предоставит нашим исследователям немало трудностей, но эти трудности, я надеюсь, не принудят их к упрощениям. Поэзия, верования и обряды народа, т. е. фольклор целиком, во всей совокупности своих форм и содержаний, принадлежит к надстройке, причем не имеет существенного значения, что выражаемое выражается средствами языка, музыки, скульптуры или живописи. Единственная разница сказывается только в том, что историческое изменение, качественное переустройство форм, осуществляется более медленными темпами, нежели содержаний, без того, чтобы форма имела языковый или языкообразный характер, ибо она является не только простым общественным средством общения, но и выражением содержания, определенного данной эпохой и как таковая не отделима от надстройки. Такова и простейшая пословица, несмотря на то, что она вряд ли представляет собой что-нибудь иное, как простое сообщение, простую мысль в виде предложения. Тем же самым объясняются и такие формальные элементы, как

сказочные вступительные формулы и т. п. Ведь одна из самых характерных особенностей народной поэзии состоит именно в том, что она способна выражать новое и при помощи старинных или кажущихся старинными формул. Развертывание этих формул известно нам из многочисленных примеров. Но вникать здесь во все детали этого вопроса несвоевременно, это должно быть предоставлено будущим дебатам. Здесь я хотел только намекнуть на некоторые подробности, принимая на себя даже риск допущения ошибки.

Наконец, я хочу подчеркнуть еще одно место в сталинском учении, имеющее очень большую важность для нас, фольклористов. В последней части своего труда принципиальной важности, производившего решающее влияние на современную науку, Сталин резко и строго осудил различных »рапповцев« и »пролеткультовцев«. Книга Пиксанова наглядно показывает с каким уважением и какой любовью обратились Ленин, Сталин и великан всемирной литературы Горький к поэзии трудящихся, с каким интересом изучали они сказки и песни крестьянства, как старинные, символические сказки, так и песни, воспевающие колыхание революционного пламени. Это были они, которые обратили внимание на важность наблюдения за нарождающимся новым в крестьянской поэзии, на создавшуюся поэзию советской жизни, указав нам, как надо изучать превращение народной поэзии в национальную. Это были они, которые, уделили внимание рабочему фольклору и они же были первыми, которые оказали ему помощь во время начальных недоразумений. Все это свидетельствует о большой важности фольклористических исследований. Поэтому мы должны решительно отклонить попытку заклеймить нашу науку вредоносным народничеством, просто-напросто потому, что она, будучи фольклористикой или этнографией занимается бытом и творчеством народа. Как я сказал выше, у нас были фольклористы и до освобождения страны, которые стремились применять правильный метод советской фольклористики еще во время гитлеровской агрессии и которые боролись с венгерскими »народниками« еще при фашистском режиме. Эта борьба с пережитками народничества продолжается и теперь, после освобождения страны, подобно борьбе с прежним или теперешним влиянием разных западных течений идеалистического и космополитического характера. Вместе с тем требуется поднять голос протеста и против стремлений, априори отклоняющих всякого рода исследования фольклористики и этнографии и даже самые ценные произведения народного искусства. Горький признал простую монументальность народной поэзии самым достоверным мерилом всемирной литературы. Народность — сказал Иващенко — это самое характерное и ценное качество великих литературных произведений, а Константинов недавно установил, что все могущество классической литературы и искусства состоит в том, что в них выражается творческий дух народа. Но если фольклористика не проводит активности в направлении,

отмеченном классиками марксизма, то эта высокая оценка еще более увеличивает ее ответственность.

Сознавая все это, мне нужно еще раз подчеркнуть, что наша фольклористика — вследствие многочисленных объективных затруднений — до сих пор не могла выполнить свои задачи и вполне основательно опасение, что — если не изменится положение — она, большей частью не по своей вине, отстанет от развития культурной революции. Преобладающее большинство наших исследователей, ознакомившись с марксизмом-ленинизмом, равно как и с учением Сталина, видит уже правильный путь, по которому нужно идти. При исследованиях крестьянского фольклора все более продвигается вперед рабочий фольклор, благодаря коллекционерской деятельности Л. Дег и некоторых других исследователей. Наши фольклористы знают, что народная поэзия имела активную, боевую роль не только в эпоху угнетения, но имеет и теперь, во время нашей культурной революции.

Однако, все это лишь начало. Наши задачи могут быть выполнены только созданием центрального научного института по фольклористике, как я подчеркнул — в виде **ceterum censeo** — в одном из моих прежних докладов АН Венгрии.

Это подкрепляется и примером советской фольклористики.

ЛИТЕРАТУРА*

A szovjet nyelvtudomány kérdései (= Вопросы советского языкознания), **Budapest** 1950, стр. 294, 332.

J. V. Konsztantynov, **Történelmi materializmus** (= Исторический материализм), **Budapest** 1952.

B. Kedrov, **A természet és a társadalom fejlődésében végbemenő ugrások formáiról** (= О видах скачков, состоящихся в эволюции натуры и общества) : **Társadalmi Szemle** (= Общ. Ревю) VIII, 314.

М. К. Азадовский, Двадцать лет советской фольклористики : Советский Фольклор VI, 3.

А. М. Астахова, Значение трудов т. Сталина по языкознанию с точки зрения развития фольклористики : Изв. АН СССР 1951, стр. 533.

И. Дмитраков, Теория об аристократическом происхождении фольклора и ее реакционный характер : Сов. Этн. 1950, стр. 155.

Sz. V. Tolsztov, **A szovjet ethnográfiai iskola** (= Советская школа этнографии) : **Ethn. IX.**, 24.

С. П. Толстов, Значение трудов И. В. Сталина по вопросам языкознания для развития советской этнографии : Сов. Этн. 1950, стр. 3. Опубликовано и по венгерски : **Szovjet Néprajztudomány** (= Советская Этнография) 1951, II.

Sz. Tokarjev, **Az ethnogenezis problémája** (= Вопрос этногенеза) : **Ethn. LXI, 1.**

П. И. Кушнер : Учение Сталина о нации и национальной культуре и его значение для этнографии : Сов. Этн. 1949/4, стр. 3.

Б. А. Серебренников, К вопросу о недостатках сравнительно-исторического метода в языкознании : Изв. АН СССР 1950, IX/3, стр. 177. Опубликовано и по-венгерски : **Nyelvtudományi Int. Közleményei** (= Изв. Института языковедения АН Венгрии) II, 2.

* Здесь я не привожу подробной литературы этнографии или фольклористики по вопросам, затронутым в моем докладе, так как я считаю это совершенно излишним. Поэтому я не привожу ни богатого материала работ К. Марота, ни специальной литературы, относящейся к некоторым деталям поднятых вопросов.

J. V. Szergijevszkij, Az irodalomtudomány kérdései I. V. Sztálin munkáinak fényében (= Вопросы литературоведения в освещении трудов И. В. Сталина по языкознанию :) Irodalomtörténet (= История литературы) 1952, стр. 150.

O. Nahodil—J. Kramarik, Práce J. V. Stalina o marxismu v jazykovédě a nekteré otázky současné ethnografie : Česky lid 1951, 6. (= Дополненное издание вышло из печати в Праге в 1952 году.)

А. В. Збруева, Луговской могильник : Тр. Инст. этн. им. Н. Н. Миклухо—Маклая, II, Москва 1947, стр. 280. (На эту статью обратил мое внимание Дь. Ласло.)

Материал прений, имевших место в рамках торжественного заседания АН Венгрии по обсуждению трудов И. В. Сталина по языкознанию, с докладами Дь. Немета, Э. Мольнара, Дь. Лукача и Б. Фогараши, был опубликован в Akad. Közl. (= Изв. АН Венгрии) I/1 (1951).

Fogarasi Béla, A társadalom-történeti tudományok helyzete és feladatai Sztálin elvtárs új munkáinak megvilágításában (= Положение и задачи общественно-исторических наук в освещении новых трудов т. Сталина) : Akad. Közl. Ált. társtud. sorozat (серия социологич. публ.) 1951, 1.

Fogarasi Béla, A történelmi materializmus alkotó továbbfejlesztése Sztálin nyelvtudományi munkáiban (= Творческое развитие исторического материализма в лингвистических трудах Сталина): Akad. Közl. 1951, LVIII. 487. стр. 261.

Lukács György, Irodalom és művészet mint felépítmény (= Литература и искусство, как явления надстройки) : Akad. Közl. 1951. (LVIII, 488. f.)

Marót Károly, Hozzászólás Lukács György, Sztálin cikkeinek tanulságai az irodalom- és művészettörténet szempontjából c. tanulmányához (= Примечания к труду »Уроки статей Сталина с точки зрения истории литературы и искусства« Д. Лукача). Манускрипт.

Szabolcsi Bence, Sztálin nyelvtudományi cikkeinek tanulságai a zenetudomány szempontjából (= Уроки лингвистических статей Сталина для музыкознания : Új Zenei Szemle (= Новое Ревю Музыки) 1951, сент.

Szabolcsi Bence, Adatok az új magyar népdalstílus történetéhez (= К истории нового стиля венгерских народных песен) : Új Zenei Szemle, 1950.

Trencsényi-Waldapfel Imre, Az irodalom, nyelv, a forma kérdései Sztálin nyelvtudományi munkáinak megvilágításában (= Вопросы литературы, языка и формы в освещении трудов Сталина по языкознанию). Манускрипт.

Ortutay Gyula, A magyar néprajztudomány elvi kérdései. (= Принципиальные вопросы венгерской этнографии) : Ethn. LX, 1.

THE SIGNIFICANCE OF STALIN'S WORKS ON LINGUISTICS FOR FOLK-LORE

GY. ORTUTAY

SUMMARY

In the introduction to his paper the author deals with the historical development of Hungarian ethnography and folk-lore, pointing out one of the characteristic deficiencies in this development : with a few notable exceptions, Hungarian scholars have shown little interest in questions of general theory. The author emphasises that the discussion of Stalin's linguistic works gives Hungarian ethnographers an opportunity of re-examining the fundamental principles, methods, and theoretical problems of their particular field of learning. The paper then examines folk-lore as part of the active superstructure. The author analyzes the historical growth of the material and elements of folk-lore, the problems connected with their rise, disappearance, or preservation through a succession of ages. The historical effects of the active character of the superstructure as well as of its loss of significance through inanity are presented in concrete, particular examples (marriage customs, rites, beliefs, the structure of folk-tales, etc.), the author thus showing the emptiness of those artificial, mistaken conceptions which rest on a supposed contrast between survival and revival. The paper deals also with the interrelation of form and content in folk-lore, pointing out, by way of conclusion, the most urgent tasks of contemporary Hungarian ethnography.

DIE BOGENFALLE BEI DEN FINNOUGRIERN

AUF DEM WEGE AUS SIBIRIEN NACH EUROPA UND IN DEN SÜDLICHEN VERBREITUNGSGEBIETEN

Von
BERTALAN KOROMPAY

Zahlreiche Diskussionen wurden schon über das Thema geführt, ob die sogenannte finnisch-ugrische Ethnographie verwirklicht werden kann, doch bewegte sich diese Diskussion in letzter Zeit eher in einem prinzipiellen Rahmen. Einerseits waren es die unter dem Einfluss von *Marr* stehenden Ethnographen, die sich einem Vergleich der Kulturen der finnisch-ugrisch sprechenden Völker widersetzten, da sie die Zielsetzung, Elemente gemeinsamer Herkunft nachzuweisen, durch die Tatsachen nicht begründet fanden.[1] Andererseits hatte auch in Finnland neuerdings die Auffassung Oberhand gewonnen, dass man nicht von einer finnisch-ugrischen Urkultur sprechen könne und dass deshalb auch die finnisch-ugrische Ethnographie als Programm keine Berechtigung besitze, es sei denn als Begleiterin und Stütze der finnisch-ugrischen Sprachwissenschaft. Diese Auffassung wird von *Vilkuna*, dem Professor für Ethnographie an der Universität Helsinki, dem Nachfolger auf dem Lehrstuhl von *Sirelius* für finnisch-ugrische Ethnographie, in seiner beachtenswerten Antrittsrede geteilt, deren Titel bereits den Inhalt wiederspiegelt: »Die finnisch-ugrische Ethnographie sucht ihren Weg«.[2] Der Ausgang der noch nicht abgeschlossenen Diskussion wird durch die Tatsache entschieden werden, ob es gelingt, Elemente in der Kultur der »finnisch-ugrischen Völker« zu erschliessen, die mit Bestimmtheit finnisch-ugrische Perspektiven aufzeigen, d. h. über die sprachliche Verwandtschaft hinausgehend auf eine kulturelle Angewiesenheit dieser Völker aufeinander ein Licht zu werfen vermögen. Die Aufgabe besteht nun darin, die einzelnen Fragen der Reihe nach einer scharfen Kritik zu unterziehen und sie analytisch zu untersuchen. Weisen sie finnisch-ugrische Probleme auf oder nicht? Wenn auch nur bei einer einzigen Erscheinung nachgewiesen werden

[1] *Tscheboksarow*, 1949, S. 198. Von der tiefgreifenden Veränderung seiner Auffassung zeugen seine Arbeiten in Nr. 4. Jg. 1951. und Nr. 1. Jg. 1952. der Sowjetskaja Etnografija, wo der verdienstvolle Forscher sein Vorurteil im Sinne von *Marr* aufgibt und Selbstkritik übt, sich aber auch weiterhin über die Möglichkeit der vergleichenden ethnographischen finnisch-ugrischen Studien noch sehr zurückhaltend ausspricht.

[2] *Vilkuna*, 1950. Die Vorlesung ist auch in französischer Sprache zugänglich in der Zeitschrift *Laos* (Uppsala), 1951. — Die Besprechung der Ansichten *Tscheboksarows* und *Vilkunas* mit historischem Rückblick auf die Entwicklung der Frage s. im kurzen Artikel des Verf.: Die Krise der finnisch-ugrischen Ethnographie *(Korompay*, 1951).

kann, dass sie einen finnisch-ugrischen Kern in sich birgt, dann kann der finnisch-ugrischen Ethnographie nicht mehr völlig die Berechtigung abgesprochen werden, weil ja dann die Annahme, dass noch andere finnisch-ugrische Probleme vorhanden sind, die bisher nur nicht als solche erkannt wurden, auch weiterhin ihre Gültigkeit besitzt.

Eine derartige Frage, die noch der Aufhellung harrt und die heute am ehesten geeignet erscheint, das Vorhandensein von finnisch-ugrischen Fragen unter Beweis zu stellen, ist das Problem der Bogenfalle. Der Verfasser befasst sich seit mehr als anderthalb Jahrzehnten mit diesem Problem, und sooft er sich in das Studium der Bogenfalle vertiefte, kamen ihm die finnisch-ugrischen Beziehungen dieses Gegenstandes immer deutlicher zum Bewusstsein. In der ungarischen Ethnographie besitzt diese Frage bereits eine beträchtliche Literatur.[3] Wenn sie jetzt — bei Hinzuziehung eines reichhaltigeren Untersuchungsmaterials als bisher — einer neuerlichen analytischen Prüfung unterzogen wird, so geht das Bestreben dahin, dem Fachmann die Orientation in dieser Frage von grosser prinzipieller Bedeutung zu erleichtern.

Eingangs sei noch eine Bemerkung gestattet. Der Verfasser hat eine besondere, von derjenigen anderer abweichende Auffassung über die methodischen Grundlagen der Fallenforschungen. Den Eckpfeiler der hier durchgeführten Untersuchungen bildet die Feststellung, dass das charakteristischste Teilstück jeder Falle, sozusagen der Nervus rerum, die Auslösevorrichtung ist, mit anderen Worten jene Konstruktion, welche die Wirksamkeit der Kraftquelle der Falle zurückhält, um sie im geeignetesten Augenblick freizusetzen. Die Speicherung, Zurückhaltung der Kraftquelle — Schwippgalgen, Gewicht, Verdrehungselastizität, d. i. Torsion — kann auf vielerlei Art erfolgen, doch nicht auf so vielerlei, wie man anzunehmen geneigt ist, und keinesfalls ist sie etwas Zufälliges. Die Kraftquelle der Bogenfalle ist der Bogen, wobei im allgemeinen eine Drückerauslösung angewandt wird. So soll nämlich hier jenes weit verbreitete und bei vielen Fallentypen anzutreffende System genannt werden, bei dem die Auslösung des gespannten Mechanismus durch Druck auf einen Drücker oder eine Zunge bewerkstelligt wird. Die Drückerauslösung besteht, wie noch gezeigt werden wird, aus mehreren Grundelementen, und das Vorhandensein oder Fehlen dieser Elemente bzw. ihre auf verschiedene Weise mögliche Verbindung scheint der sicherste Wegweiser bezüglich der Verwandtschaft, Abstammung und Entwicklung der Variationen verschiedener Fallentypen zu sein. Die Auslösevorrichtung ist ein derartig wichtiger Teil der Fallen, dass wenn man sie als Grundlage annimmt, bei sozusagen jedem Fallentyp auf der ganzen Welt der ihm in der Systematik zukommende Platz durch entspechende vergleichende Untersuchungen bestimmt werden kann. Natürlich besteht die Aufgabe der Forschung nicht einzig und allein in der Systematisierung, und besonders nicht

[3] Ihre Besprechung s. weiter unten auf S. 33—34.

jetzt, im Zusammenhang mit den Bogenfallen. Bei der Untersuchung der Verbreitung der einzelnen Typen ist aber auch auf die Berücksichtigung der einzelnen Formmerkmale aus dem obigen Grunde besonderes Gewicht zu legen. Die Grundlage jeder vergleichenden ethnographischen Forschung hat in der Überlegung zu bestehen, dass die Gegenstände und Erscheinungen nicht zufällig so beschaffen sind, wie sie sind, sondern dass aus ihrer Beschaffenheit mit Hilfe der vergleichenden Analyse ihre Geschichte herauszulesen ist, ohne sich durch vorherige Kombinationen bezüglich ihrer Herkunft, Wanderung und Verbreitung allzusehr leiten zu lassen. Der dritte Gesichtspunkt — neben Aufbau (Auslösung) und Form — ist die Funktion der Falle. Was für ein Tier mit der Falle gefangen werden soll, wie und wann sie benutzt wird, das wird vom Gesichtspunkt der Funktion gefragt, und die Antwort darauf wird auf Grund der Beobachtung der Rolle des Gegenstandes im Leben selbst gegeben. Um ein der Natur des Objektes je mehr entsprechendes Resultat zu erhalten, wurde bei den vorstehenden Untersuchungen von diesen Gesichtspunkten ausgegangen und diese dann noch durch die Folgerungen ergänzt, die aus der geographischen Verbreitung, der Traditionsverbundenheit und der typischen Beschaffenheit gezogen werden konnten.

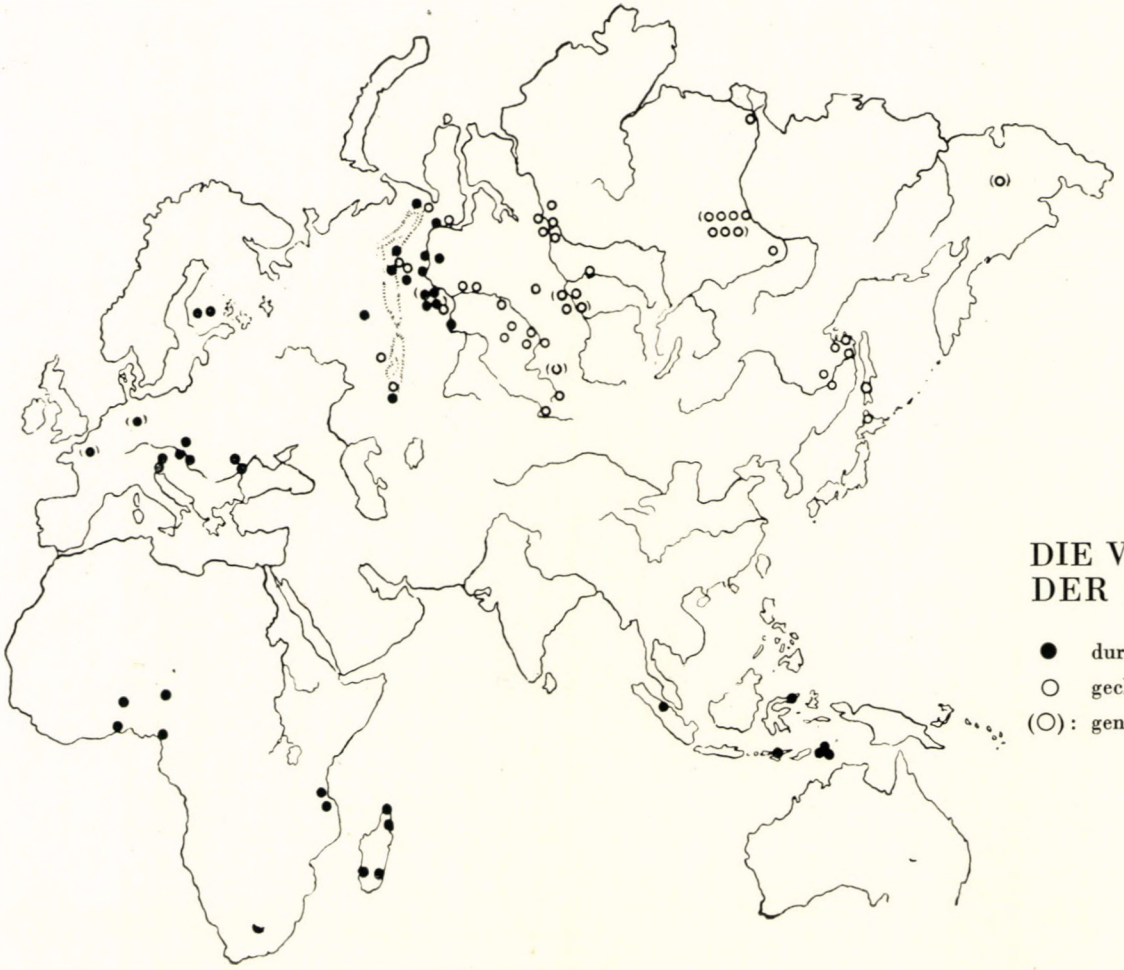
Die Verbreitung der Bogenfalle, dieses charakteristischen Jagdgerätes, ist überaus interessant. Ein Teil der auch auf der beiliegenden Verbreitungskarte eingezeichneten Angaben stammt aus Afrika und Indonesien, doch liegt der Schwerpunkt des Verbreitungsgebietes im Norden, in Eurasien. Während der Zusammenhang der südlichen Varianten mit den nördlichen ein ziemlich schwieriges ethnographisches Problem darstellt, auf das erst nach Erledigung der dringenderen Fragen zurückgekommen werden kann, so bildet das eurasische Verbreitungmaterial sowohl vom Gesichtspunkt der Entwicklung als auch geographisch eine Einheit: es zieht sich von der Insel Sachalin über ganz Sibirien, über den Ural bis nach Finnland, Frankreich, Krain, Ungarn und Bessarabien. Diese Entwicklung, diese Verbreitung lässt sich jedoch in mehrere Abschnitte einteilen, nämlich Sibirien, Ural und Europa. Während in Sibirien bis zum Ural die Entwicklung an der Form genau gemessen und bestimmt werden kann, sind die Fäden in Europa nicht so übersichtlich, die Zusammenhänge sind lockerer, und die Richtung der Entwicklung kann meistens nur durch Bezugnahme auf den uralischen Abschnitt gekennzeichnet werden. Hier tritt auch die finnisch-ugrische Frage stärker in den Vordergrund. Die vorliegende Arbeit soll nunmehr den Weg von Sibirien nach Europa verfolgen, wobei als erstes jenes Gebiet behandelt sei, wo die Bogenfalle sowohl in der Vergangenheit wie auch heute in höchster Blüte stand bzw. steht: Sibirien.

A. DER WEG DER BOGENFALLE NACH EUROPA

1. Sibirien

In dem auf den Seiten 83-85 befindlichen Verzeichnis, welches das hier berücksichtigte Vergleichsmaterial über die Bogenfalle enthält, beziehen sich 97 Angaben auf Eurasien. Mehr als die Hälfte davon, nämlich 54, stammen aus Sibirien. Diese verteilen sich wie folgt : 44 Angaben gehören zum sogenannten durchbrochenen Typ der Bogenfalle (auf der Karte mit einem leeren Kreis bezeichnet), während 12 Angaben den sogenannten geschlossenen Typ darstellen (mit einem schwarzen Kreis bezeichnet). Diesseits des Urals verringern sich, wie ersichtlich, diese Zeichen. Unmittelbar unterhalb des Urals sind noch zwei leere Kreise eingezeichnet, doch weiter im Westen sind nur noch hie und da schwarze Kreise zu sehen, die auf das Vorkommen des geschlossenen Typs hinweisen. Hier soll einstweilen von den leeren Kreisen die Rede sein, von den durchbrochenen Varianten der sibirischen Falle, zu der noch die zwei Angaben diesseits des Urals hinzugezählt werden sollen (so dass ihre Zahl insgesamt 46 beträgt). Der geschlossene Typ wird dann in einem weiteren Kapitel unter der Überschrift »Ural« behandelt werden. Zuerst seien jedoch die Begriffe »durchbrochener« und »geschlossener« Typ klargestellt.

Diese Unterscheidung bezieht sich nicht auf irgendein kleines Teilstück der Bogenfalle, sondern auf das Gesamtbild. Als durchbrochen gilt jene Art der Falle, die aus mehreren Stücken besteht, durchbrochen ist, als geschlossen die zu einem einzigen Stück vereinigte, massive Form des Fallenkörpers. Dieser Typ ist in der Literatur auch unter der Bezeichnung »Armbrustfalle« bekannt. Die Charakterisierung der Bogenfalle sei mit der Auslösevorrichtung begonnen, um nach Darstellung ihrer Form und Funktion die bisherige einschlägige Fachliteratur zu erwähnen. Das Verhältnis der beiden Varianten zueinander ist nicht fraglich ; die Abhängigkeit der zweitenVariation von der ersten geht ja auch schon aus dem Verbreitungsbild, aus dem allgemeinen Vorkommen des durchbrochenen Typs und aus dem vereinzelten, beschränkten Auftauchen des geschlossenen Typs zur Genüge hervor. Ausserdem gilt aber bei der Entwicklung der Fallen auch der allgemein gültige Satz, dass immer diejenige Konstruktion als älter und ursprünglicher angesehen werden muss, die stärker an die Erde gebunden ist. Im Laufe der Entwicklung zeigt sich nämlich früher oder später instinktiv das Bestreben, das in die Erde getriebene Gerät emporzuheben, es transportierbar zu machen, die selbständigen Teile zu vereinigen und auf diese Weise die ganze Konstruktion zu vereinfachen. So lässt sich auch das Verhältnis des durchbrochenen zum geschlossenen Typ der Bogenfalle nicht anders vorstellen, als dass der geschlossene Typ aus dem durchbrochenen entstanden ist, dass er eine einfachere Form des durchbrochenen darstellt. Von diesem in ganz Sibirien wohlbekannten Typ soll nun bei der Verfolgung



DIE VERBREITUNG DER BOGENFALLE

● durchbrochener Typ

○ gechlossener Typ

(○): genauere Ortsangabe fehlt

der Entwicklung ausgegangen werden, wobei die Untersuchung jener weiteren Frage, wie sich dieser Typ, die durchbrochene Form der Bogenfalle, in einer älteren Urzeit ausgebildet hat und von wo er stammt, einer späteren Besprechung vorbehalten sein soll.

Zuerst sei also die Auslösevorrichtung einer näheren Betrachtung unterzogen. Sie ist in ganz Sibirien mit wenigen Ausnahmen (5 von 46 Angaben) vollkommen einheitlich, was auf das grosse Alter des durchbrochenen Typs und auf seine gleichmässige Traditionsverbundenheit in ganz Sibirien schliessen lässt. Die Falle besteht aus einem Rahmen (dem »Halter« der Drückerauslösung), der mit seinem gabeligen Ende — wenn er gabelig ausgebildet ist — in die Erde oder in den Schnee gesteckt wird. Sie besteht ferner aus einem senkrecht an den Rahmen gebundenen Bogen, aus einem die Rolle des Pfeiles übernehmenden und bei den Giljaken auch Pfeil genannten[4] hammerförmigen Schlagstück und ausserdem aus der Auslösevorrichtung, die in diesem Falle die Drückerauslösung ist. Bei dieser können ausser dem Halter, der auch hier anzutreffen ist, sowie ausser der Kraftquelle, die in den meisten Fällen nicht durch einen Bogen, sondern durch einen Schwippgalgen oder irgendein Gewicht repräsentiert wird, drei Elemente unterschieden werden ; diese sind der Drücker, der Klemmer und die Schnur. Der Drücker liegt waagerecht in der Öffnung der Falle, im Wege des Tieres, mit der Aufgabe durch seine Niederdrückung den Mechanismus der Falle auszulösen ; an ihm lehnt der Klemmer, der dazu dient, den Drücker in waagerechter Lage zu halten ; der Schnur, welche vom Klemmer ausgeht, fällt die Rolle zu, mit ihrem anderen Ende unmittelbar am Zurückhalten bzw. (bei Schwippgalgenschlingen) an der Vermittlung der Wirkung der Kraftquelle teilzunehmen. Dies wären die allgemeinen Merkmale der Drückerauslösung.[5] Bei der Bogenfalle kommt zu diesem weit verbreiteten, sinnigen Mechanismus noch hinzu, dass zur Vervollkommnung der Auslösevorrichtung das obere Ende der Schnur der an ein hier »Spannhebel« genanntes, vom Halter an einem kurzen Stiel herabhängendes, die Rolle eines Hebels spielendes Wipphölzchen befestigt ist, hinter dem die Sehne des Bogens der Bogenfalle aufgezogen wird (Abb. 1). Die Rolle des Spannhebels besteht darin, dass er die Empfindlichkeit des Auslösers noch steigert und das Zuschlagen des als Pfeil dienenden Schlagstückes durch eine doppelte Sicherung bis zum günstigsten Augenblick zurückhält : erstens mit Hilfe des Klemmers, in der Öffnung der Falle, und zweitens mittels des Spannhebels, durch Zurückhalten der Sehne und infolgedessen auch des Schlagstückes.

[4] *Schrenck*, 1891, S. 552.

[5] Diese Bestimmung des Wesens und Begriffs der Drückerauslösung ist im Laufe der Studien des Verf. entstanden ; ebenso auch die später gebrauchte Bezeichnung der Schlingenauslösung. Die Benennungen ihrer Bestandteile — Halter, Drücker, Klemmer — werden schon im Werke *Lips*' konsequent verwendet. Vor ihm begann *Roth* im J. 1911 für dieselben Fallenteile zuerst die Umschreibungen *half hoop withe*, *tapering pencil*, *key pin*, und im J. 1924 die Bezeichnungen *withe* und *frame*, *trigger*, *bar* zu gebrauchen.

Dieser sibirische Mechanismus der Bogenfalle zeugt von einer solchen technischen Vollkommenheit, dass er schon längst nicht nur die Aufmerksamkeit der Ethnologen auf sich gezogen, sondern auch — wie z. B. beim italienischen Forscher *Sommier* und beim deutschen Forscher *Frobenius* — ihre Bewunderung hervorgerufen hat.[6] Es kann natürlich keineswegs die Rede davon sein, dass es sich hier um die Verwirklichung irgendeines plötzlich gekommenen Einfalls handelt, noch davon, dass ihn verschiedene sibirische Völker unab-

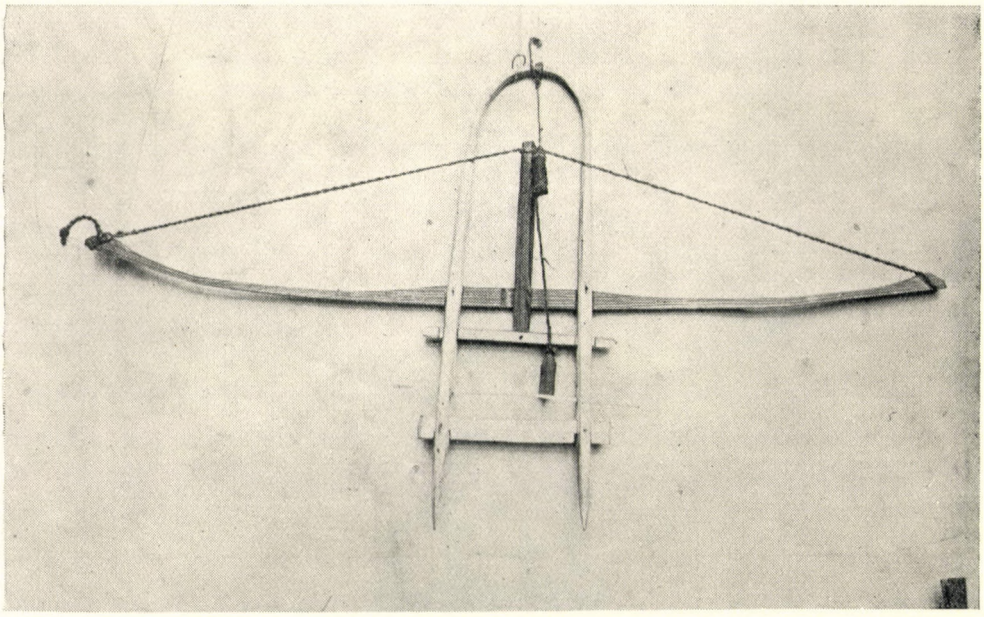


Abb. 1. Bogenfalle der Russen am Jenissei. Staatl. Museum für Völkerkunde, Berlin

hängig voneinander erfunden haben. Die Forschungen führen zu einem anderen Resultat: dass nämlich das Wesen des Fallenauslösemechanismus, die Drückerauslösung, eine von anderen Fallentypen übernommene Vorrichtung ist, und dass das Neue, das als zusätzlicher Spannhebel in Erscheinung tritt, gleichfalls keine Erfindung der sibirischen Völker darstellt; auch diese haben — wie später noch zu zeigen sein wird — den Spannhebel von anderen Völkern übernommen. Die besondere Bedeutung Sibiriens, der Heimat des Pelztierfanges mit Fallen, liegt hier also nicht in der Erfindung des Mechanismus, sondern vielmehr in der Verbreitung bereits vorhandener Fallenkonstruktionen. Vielleicht können die konservative, nördliche, arktische Umgebung und das fortwährende Nomadentum der Jagd treibenden Völker Sibiriens, ihre ununter-

[6] *Sommier*, 1885, Anm. auf S. 243; *Frobenius*, 1902, S. 298.

brochene Berührung miteinander, als Erklärung dafür herangezogen werden, dass dieses zum Wildfang dienende Gerät sich auf einem solchen riesigen Gebiet, durch so viele tausend Jahre bis zum heutigen Tage unverändert oder mit kaum messbaren Veränderungen erhalten hat und dort weiterlebt.

Was nun die Form der Bogenfalle anbelangt, so können Abweichungen in bezug auf die Form der aus allen Gegenden Sibiriens gesammelten Varianten

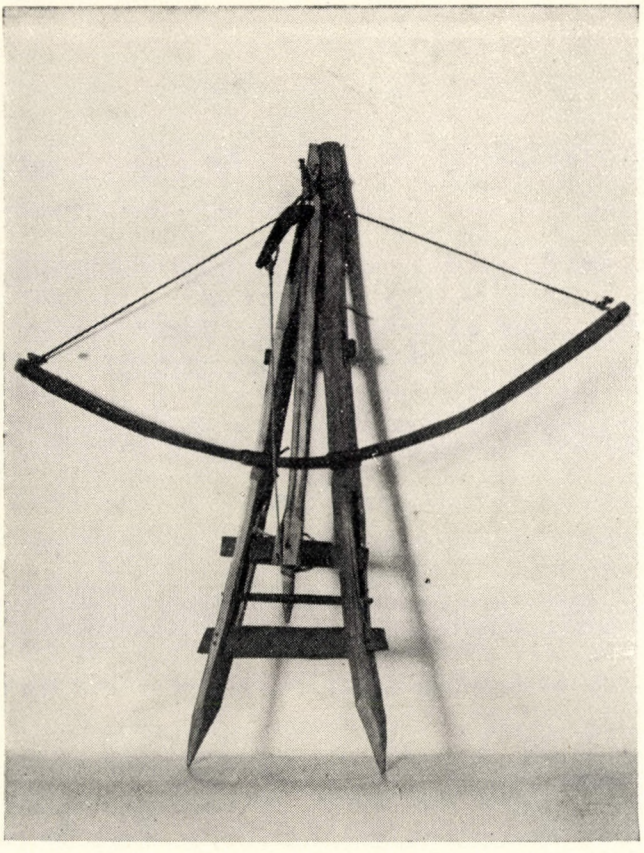


Abb. 2. Modell einer Falle der Golden. Udan, Amurgebiet. Ethnogr. Museum, Budapest

bei sozusagen streng geographischer Ordnung am ehesten nur an der Form des Rahmens beobachtet werden. Wie schon vor dem Verfasser festgestellt wurde,[7] weist die Falle an zwei Enden Sibiriens, an den Flüssen Ob und Amur miteinander übereinstimmende, gabelig auseinanderstrebende Formen auf (Abb. 2). Demgegenüber verwenden in den dazwischenliegenden Gebieten die Jenissei-Ostjaken sozusagen ausschliesslich die bogenförmige Rahmen-

[7] *Gunda*, 1940, S. 37—39, 41.

form, während bei den Jakuten, Tungusen und den mit ihnen in Berührung stehenden Völkern, von den Tschuktschen bis zu den Tataren des Altai und den Kalmücken die viereckige, aber gabelige, oder häufiger die aus einem einzigen Holzstück bestehende, dreimal eckig eingebogene — zum In-die-Erde-stecken ungeeignete, weil gabellose —, oben durch Verzapfung verbundene Formen zu finden sind (Abb. 3). Unter diesen sind wohl die Typen der miteinander übereinstimmenden Formen der beiden Aussengebiete als die älteren anzu-

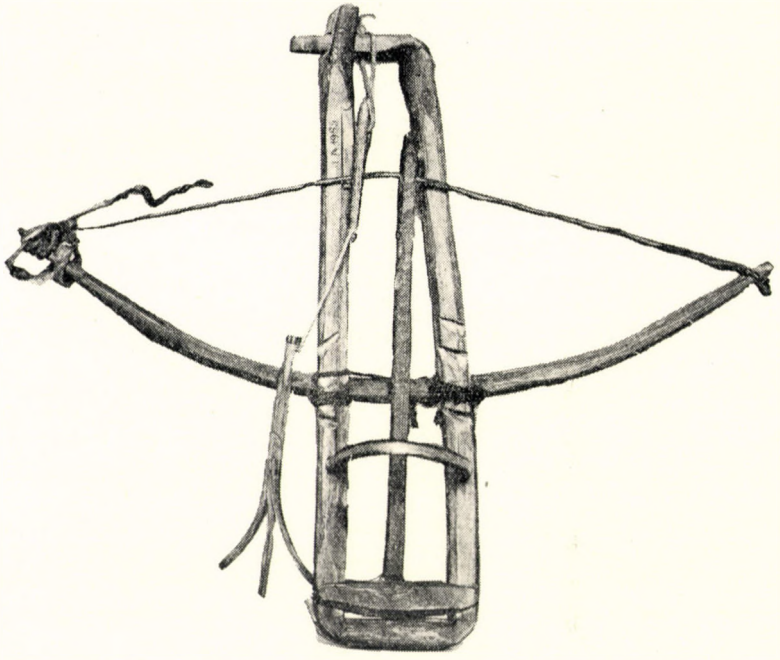


Abb. 3. Bogenfalle der Kalmücken. Staatl. Museum für Völkerkunde, Berlin

sehen, ohne dass vom Gesichtspunkt der Form ein Unterschied zwischen dem Ob- und Amurgebiet gemacht werden könnte. Eine Analyse der Form gibt hier vom Gesichtspunkt des Ursprungs kaum einen nützlichen Hinweis. Die Tatsache indessen, dass diesseits des Urals die Tscheremissen und Baschkiren zu ihren Bogenfallen, die im Vergleich zu den sibirischen Exemplaren einen zweifellos unvollkommeneren durchbrochenen Typ darstellen, einen Rahmen anfertigen, der gleichfalls kein gabeliges Ende besitzt, eckig aus einem einzigen Holtzstück gebogen ist, doch oben eine andere Verbindung hat, scheint die Richtung der Weiterentwicklung der Falle anzudeuten (Abb. 4). Es darf mit Sicherheit angenommen werden, dass der durchbrochene Typ ursprünglich mit einem gabeligen Ende versehen war.

In zahlreichen sibirischen Reisebeschreibungen und Quellen ist zu lesen, dass die Bogenfalle im Winter in den Schnee gesteckt und vor der Höhle des

zu erlegenden Tieres aufgestellt wurde, wenn es gelang, diese aus den Spuren aufzufinden ; oder aber wurde hinter der Falle eine Grube gegraben und eine Lockspeise hineingelegt, wie dies *Pápay* von den Ostjaken berichtet.[8] Die erste Lösung wird auch von *Pfitzenmayer* und *Silantjew* und im Bericht über die Golden auch von *Baráthosi-Balogh* erwähnt. Weniger glaubwürdig klingt jedoch, was *Baráthosi-Balogh* schreibt, dass nämlich »wenn sie sie woanders-

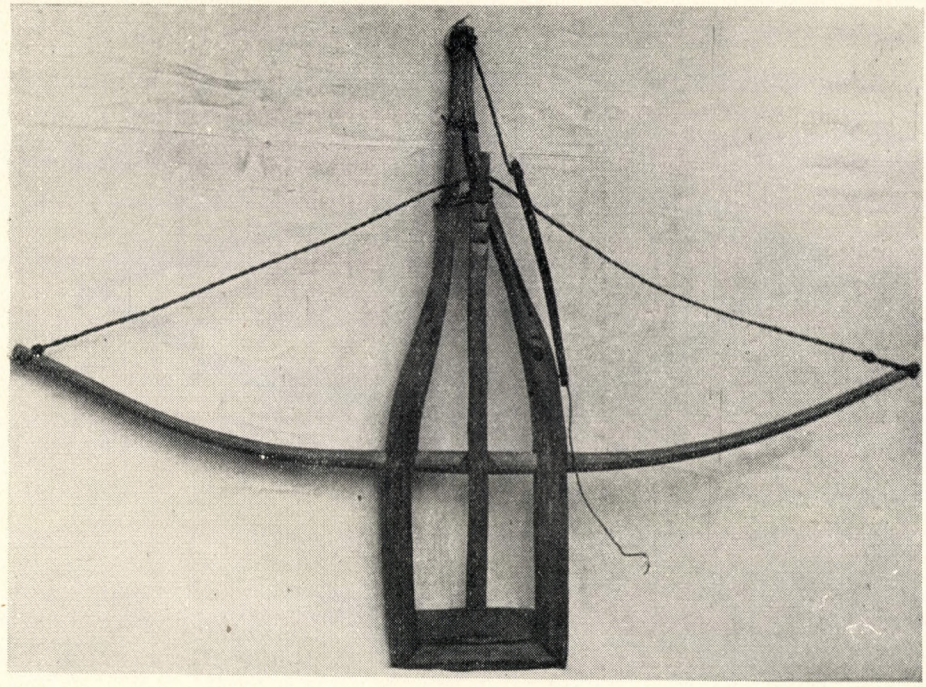


Abb. 4. Baschkirische Bogenfalle, durchbrochener Typ. Auslösung unvollständig. Ihen, ehem. Gouv. Orenburg. Ethnogr. Museum, Budapest

hin aufstellen (d. h. nicht vor das Schlupfloch des Tieres), sie einen Köder hineinstecken«[9] ; diese Mitteilung scheint aber durch eine von einer giljakischen Falle gemachten Photographie bestätigt zu werden, die dem Verfasser seinerzeit vom Hamburgischen Museum für Völkerkunde überlassen wurde. Auf dieser wird hinter der Öffnung der Falle ein kleiner Sack gezeigt, in welchen die Maus oder Ratte natürlich nur mit Hilfe eines Köders hineingelockt werden konnte. Eine interessante Angabe über die Giljaken wird auch von *Schrenck* mitgeteilt. Er schreibt : sie machen oberhalb der Schneedecke eine Höhlung in den Baumstamm, in diese legen sie einen Köder, während sie die Falle vor

[8] *Pápay*, 1898, S. 29.

[9] *Baráthosi-Balogh* auf dem Inventarzettel Nr. 76476 des Ethnogr. Museums in Budapest; *Pfitzenmayer*, S. 266; *Silantjew*, 1898, S. 185.

den Baumstamm im Schnee aufstellen.[10] Diese Methode ist auch deshalb von Interesse, weil von ihr auch aus dem entgegengesetzten Ende Sibiriens, von den Ostjaken, in den Beilagen zu der im Jahre 1776 erschienenen Reisebeschreibung von *Georgi* (auf S. 23) eine Illustration vorhanden ist. Auf dieser Illustration sieht man einen Hermelin sich an den Baum heranschleichen, neben dem ein Tscherkan (ostjakische Bogenfalle) aufgestellt ist. Wenn man die Falle an den Baum anlehnte, so konnte natürlich auch das gabelige Ende vernachlässigt werden, und wurde demzufolge auch vernachlässigt. Über die tscheremissische Variante des durchbrochenen Typs ist im Inventar des Nationalmuseums von Helsinki die Aufklärung zu lesen, dass die zum Fang von Eichhörnchen und anderen Waldtieren benützten Fallen auf Bäume aufgehängt werden.

Die Tiere, zu deren Fang die Fallen dienen, sind also verschieden. Trotzdem gibt es vielleicht kein Tier, das typischer als Beute der Bogenfalle bezeichnet werden darf als das Hermelin. Die Samojeden benannten auch ihre Falle nach dem Hermelin, obwohl sie sie auch zum Fang des Eisfuchses benutzten.[11] Neben dem Hermelin ist bei den Ostjaken das Eichhorn das am häufigsten mit der Falle erlegte Tier. Vereinzelt können auch, wie dies hier bereits im Amurgebiet gezeigt wurde, nicht nur die Edelpelztiere des Waldes, sondern auch gewöhnliche Nagetiere Opfer der Fallen sein. Darüber, sowie über die genaue Anwendung der verschiedenen Fallen in den einzelnen Gebieten, gibt das Werk *Silantjews* erschöpfende Auskunft. An einer Stelle schreibt er, dass sogar so weit im Süden, wie in den Niederungen des Kaspischen Meeres und des Aralsees, eine Anwendung des Tscherkans zum Fang von Wüstenfüchsen vorkommt, die im Herbst aus dem Norden nach dem Süden zu ziehen pflegen.[12] So ist es denn verständlich, dass die Bogenfalle, dieses charakteristische Gerät der Waldzone für den Fang von Pelztieren, ihren Weg in die diesseits der Waldzone gelegenen Zonen gefunden hat, durch welche dann die Völkerwanderungen vom Osten nach dem Westen und Süden gezogen sind. Auf diesem Wege dürfte auch die Nachfolgerin der sibirischen Hermelinfalle, die ungarische Zieselfalle, nach Europa gekommen sein. Sie musste ja diesen Weg eingeschlagen haben, da sie nun unleugbar hier ist.

In diesem Zusammenhang sollen nun auch die in der Literatur der Bogenfalle bisher veröffentlichten Auffassungen erwähnt werden. Der Umstand, dass der geschlossene Typ der Falle bei den Finnen und Ob-Ugriern gemeinsam ist, wurde schon von *Ahlqvist* verzeichnet.[13] Die ungarische Zieselfalle wurde zuerst von *Moszyński* in die Untersuchung der auch bei den Grossrussen vorhandenen Bogenfalle einbezogen, wobei er in diesem der slawischen Ethno-

[10] *Schrenck*, 1891, S. 553.

[11] Der jurak-samojedische Name der Bogenfalle *pījeŋin* ist nach der Mitteilung *J. Györkes* die Frequentativform von *pījeku* 'Hermelin'.

[12] *Silantjew*, 1898, S. 360.

[13] *Ahlqvist*, 1885, S. 164.

graphie geweihten Werk eventuelle slawische-ungarische Zusammenhänge eher vermuten lässt, als dass er sie ausspricht.[14] *Györffy* wies dann darauf hin, dass die ungarische Falle wahrscheinlich aus einer »vorungarischen« Zeit stammt, ein Ausdruck, der bei seiner vorsichtigen Nomenklatur der Bedeutung »finnisch-ugrisch« gleichkommt.[15] Die erste ausführliche Aufarbeitung dieses Fragenkomplexes ist mit dem Namen von *Gunda* verknüpft. In Anlehnung an die Auffassung *Györffys* vertrat er an verschiedenen Stellen die Ansicht, dass die Bogenfalle überhaupt vom finnougrischen-samojedischen Urvolk erfunden und in Sibirien verbreitet wurde. Nach Osten wurde seiner Meinung nach die Bogenfalle bis zum Amur und der Insel Sachalin durch den Pelzhandel gebracht, während sie nach dem Westen, nach Europa, in mehreren Wellen, zum Teil mit der Landnahme der Ungarn im Donaubecken und zum Teil mit einer noch unbestimmten »kontinentaleuropäischen« Verbreitung gelangte.[16] Zu dieser Verröffentlichung von *Gunda* hat der Verfasser seinerzeit Stellung genommen,[17] doch soll hier nicht näher darauf eingegangen werden, da seine Meinung ohnehin einige Seiten später, an der entsprechenden Stelle ausführlich zum Ausdruck kommt.

2. *Ural*

Vom durchbrochenen Typ soll nunmehr zur Behandlung des geschlossenen Typs übergegangen werden. Dieser ist, wie bereits erwähnt, aus dem durchbrochenen Typ entstanden. Als Ort der Entstehung darf die Gegend des Urals angenommen werden, jene Gegend, wo auch heute noch beide Typen gemeinsam vorkommen. Mit Ausnahme Ungarns, wo infolge der sich ständig erneuernden Sammlung natürlich eine grosse Zahl von Angaben über Bogenfallen bekannt geworden ist, gibt es kein anderes Gebiet Eurasiens, aus dem man ein derartig massenweises Vorkommen der geschlossenen Bogenfalle kennen würde wie aus diesem. Von den in den Aufzeichnungen des Verfassers vorkommenden 54 Angaben stammen 14 aus diesem Gebiet, u. zw. in folgender Verteilung : 9 ostjakische Angaben, 2 wogulische, 1 samojedische, 1 syrjänische und 1 baschkirische. (Die aus dem Buche von *Arsenjew* inzwischen bekannt gewordene syrjänische

[14] *Moszyński*, 1929, S. 61.
[15] *Györffy*, 1934, S. 53, 62.
[16] Die Arbeiten *Gundas* sind in den Jg. 1937 und 1939 des Néprajzi Múzeum Értesítője (Anzeiger des Ethnographischen Museums) erschienen. Er befasste sich dann ausführlicher in der Zeitschrift *Ethnos* (Stockholm) im J. 1940 mit der Frage der Verbreitung und Bedeutung der Bogenfallen in Nordasien und Europa. (Ihre Titel s. im bibliographischen Anhang dieser Studie.) In der vorliegenden Arbeit wird gewöhnlich auf die letztere Studie im Ethnos Bezug genommen. Hier möchte der Verf. die antreibende Wirkung hervorheben, welche die überaus interessante Gesichtspunkte und sehr reichhaltige literarische Kenntnisse aufweisenden Arbeiten *Gundas* auf seine Fallenforschungen ausgeübt haben.
[17] *Korompay*, 1945, S. 10—11.

Angabe ist mit der *Hofmann*schen identisch.[18]) Ein grosser Teil der Angaben lässt sich lokalisieren, u. a. auch die ob-ugrischen. So stammen beispielsweise die beiden wogulischen Angaben aus Sygwa, zwei von den ostjakischen aus Beresow, eine aus Mushi, eine aus Kasym (dies sind alles nördliche ostjakische Gegenden), die südlichste Angabe kommt vom Irtysch, aus Zingala, die übrigen vier sind unbestimmt. Zu diesen zählt eine der ältesten publizierten Angaben, die von *Ahlqvist*, von der bloss auf Grund des eingeschlagenen Reisewegs angenommen werden kann, dass sie eine aus dem Norden ist. Seltsam mutet an, dass der ungarische Forscher *Jankó* von der Gegend des mittleren Obs keine geschlossene Falle nach Hause brachte, sondern nur durchbrochene. Die im Ethnographischen Museum in Budapest befindlichen geschlossenen Bogenfallen wurden von *Pápay* gesammelt.

Demnach kann auf Grund des heutigen Wissens die Verbreitung des geschlossenen Typs wie folgt zusammengefasst werden : dieser spätere, in einem Stück zusammengefasste Typ der Bogenfalle kommt beiderseits des Urals vor, und zwar nicht nur im Osten und Westen, sondern auch zugleich im Norden und (bei den Baschkiren) im Süden. Aus der einzigen zur Verfügung stehenden samojedischen Angabe wird man kaum weitgehende Folgerungen ziehen dürfen, obzwar sie an und für sich ein in bezug auf die Form besonderes Stück darstellt ; es ist nämlich nicht ausgeschlossen, dass die Bogenfallen der Samojeden letzten Endes ostjakischen Ursprungs sind.[19] Betreffs der Ostjaken dürfte aber die Beobachtung von Bedeutung sein, dass der geschlossene Typ bei ihnen meistens im Norden und in den nahe zum Ural gelegenen Gebieten vorkommt, während er weiter im Osten (im Tal der Juganen) unbekannt ist. Von dort sind nämlich bisher nur Angaben über den durchbrochenen Typ bekannt geworden. Aus all dem kann der Schluss gezogen werden, dass der geschlossene Typ eine sich eng an den Ural anschmiegende Variante der Bogenfalle darstellt ; nicht nur dass er aus diesem Gebiet bekannt ist, er stammt auch von dort ; er wurde von den Vorfahren jener Völker erfunden, die ihn auch heute noch dort benutzen. Wenn man diesen Gedankengang weiter fortsetzt, so gelangt man schliesslich zum finnisch-ugrischen Problem der Bogenfalle.

Doch bevor davon die Rede sein soll, möge zuerst der Gegenstand für sich sprechen. Die Funktion der geschlossenen Bogenfalle weicht nicht sehr von der des durchbrochenen Typs ab, nur insoferne, als jene ausschliesslich zum Fang von kleineren Tieren, hauptsächlich von Hermelin und Eichhörnchen, verwendet wird. Die einzige ins Gewicht fallende Veränderung der Auslösevorrichtung besteht darin,

[18] *Arsenjew*, Zyrjane i ich ochotnič'i promysly. Erwähnt von *Wichmann*, 1923, S. 208. *Arsenjew* gibt auf S. 37 an (1873), dass der *džerkan* bei den Syrjänen in grossem Gebrauch stand. Dieselbe Abb. auch bei *Silantjew*, 1898, S. 201.

[19] *Lehtisalo*, 1913, S. 13, als er auf die Bogenfalle der Jurak-Samojeden zu sprechen kommt, begnügt sich damit, über sie nur folgendes mitzuteilen : »Ihre Konstruktion und Anwendung ist dieselbe wie bei den entsprechenden Fangapparaten der Nordostjaken.«

dass der Drücker meistens fehlt und dass der Klemmer in der vereinigten Rolle von Klemmer und Drücker in der Öffnung der Falle angebracht wird. Dieselbe Lösung kam dann auch bei der ungarischen Zieselfalle zur Anwendung. Ausnahmsweise konnte bei der syrjänischen Falle aus Ustsissolsk der Drücker nachgewiesen werden ; diese Falle lässt mit ihrer kistenförmigen, doch hinten offenen Fortsetzung dem Hermelin eine so grosse Öffnung frei, dass dabei der von

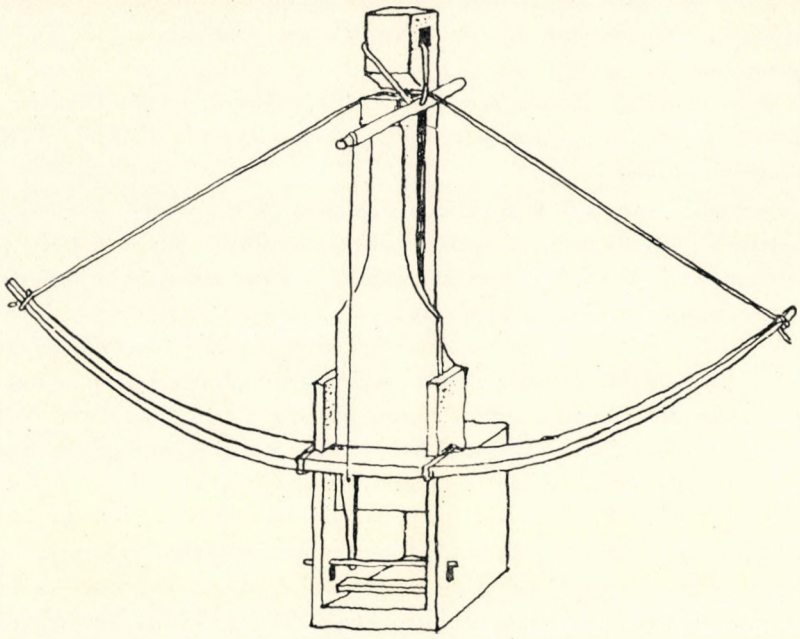


Abb. 5. Syrjänische Bogenfalle, Ustsissolsk. Nach Hofmann

der durchbrochenen Falle übernommene Drücker noch recht gut verwendet werden kann (Abb. 5). Es ist möglich, dass das samojedische Exemplar gleichfalls eine solche Einrichtung besass (Abb. 6, vgl. auch die Rekonstruktion von *Lips*). Diese Varianten bilden also von diesem Gesichtspunkt einen Übergang vom durchbrochenen Typ zu einer vereinfachten Lösung des geschlossenen Typs.

Man kann auf Grund eines Vergleiches sich unschwer eine Vorstellung davon machen, wie dieser Übergang erfolgt ist. Man muss nur eine durchbrochene Variante zur Hand nehmen, die bereits kein gabeliges Ende mehr besitzt. Eine solche ist die tscheremissische und baschkirische durchbrochene Falle. Was ist hier mit ihr geschehen, dass die geschlossene Form entstanden ist? Es sind drei, sich aus einander ergebende Formänderungen eingetreten (Abb. 7). Der durchbrochene Rahmen wurde zu einem einzigen, massiven Fallenkörper vereinigt, das Schlagstück, der Schneller (ursprünglich der Pfeil der Bogenfalle),

übergab seinen Platz einem gleichfalls massiven, breiten Schieber, während die Öffnung der so gebildeten massiven Falle in der Mehrzahl der Fälle durch ein

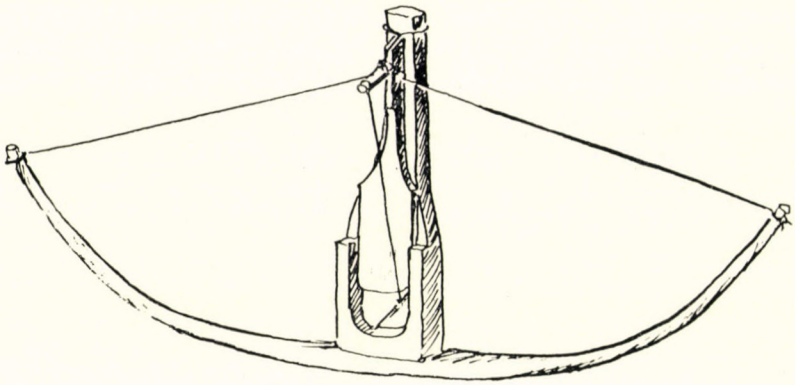


Abb. 6. Samojedische Falle. Nach Lips

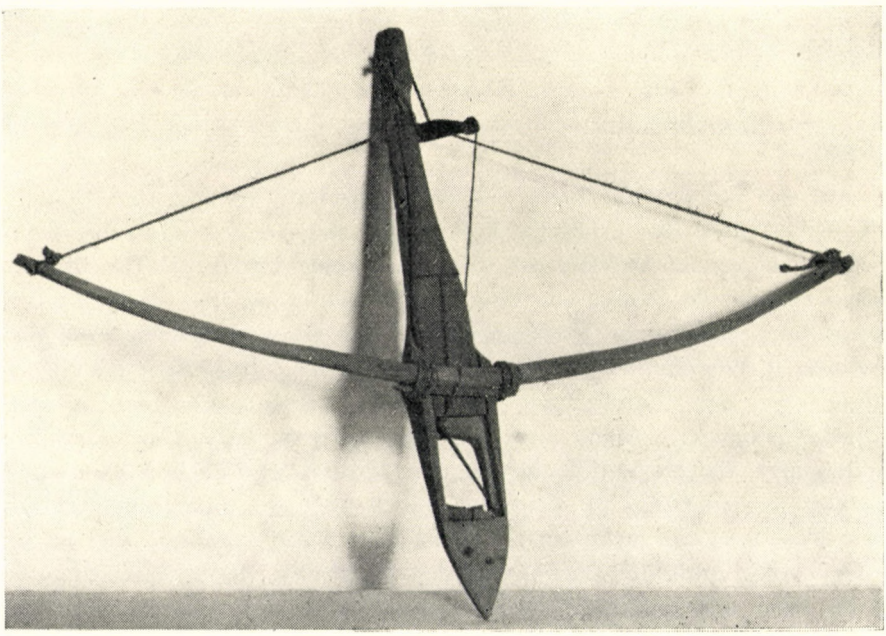


Abb. 7. Modell der ostjakischen Hermelinfalle *śarkan*, As kort, Bezirk Beresow. Ethnogr. Museum, Budapest

kleines Loch vertreten ist, das in runder oder viereckiger Form durch den massiven Fallenkörper gebohrt wurde. Unterhalb dieses Loches wurde das untere Ende der spatenförmigen Falle meistens etwas abgerundet oder zugespitzt. Die uralische Falle ist sowohl als Konstruktion als auch als Formentyp, genau

so wie ihr durchbrochener Vorgänger, als ausserordentlich einheitlich anzusprechen. Beide sind Bestandteile ein und derselben Jagdkulturzone, der sibirischen, doch nimmt die uralische Bogenfalle den westlichsten Streifen dieser Zone ein, deren Grenze etwas diesseits des Urals liegt. Die beschriebenen Vereinfachungen führten zu einer Weiterentwicklung der Falle. So hing es denn nur noch von einer günstigen Gelegenheit ab, dass sie aus ihrer uralischen Heimat auf den Schwingen der durch die Völkerwanderung erregten Winde weitergetrieben und nach entsprechenden Modifikationen, die jeweils durch den Anwendungskreis bedingt sind, zum Allgemeingut anderer Völker und Kulturen wurde.

In dem über die Verbreitung und die Entwicklung Gesagten ist auch stillschweigend das Wesen der hier vertretenen Auffassung über den finnisch-ugrischen Ursprung der Bogenfalle enthalten. Doch ist es hier notwendig, dies auch Punkt für Punkt wie folgt zusammenzufassen : 1. Die Bogenfalle kann im allgemeinen — worunter der durchbrochene und geschlossene Typ zusammen verstanden werden soll — nicht finnisch-ugrischer Herkunft sein. 2. Die Ansicht, dass sie Sibirien vom Westen her erobert hat, muss abgelehnt werden. 3. Die Bedeutung der finnisch-ugrischen Völker kommt darin zum Ausdruck, dass sie in der Uralgegend den verbreiteteren durchbrochenen Typ zum geschlossenen umgestaltet haben, der auch als uralischer Typ bezeichnet werden kann. 4. Eine weitere Bedeutung der finnisch-ugrisch sprechenden Völker besteht auch in der Weiterverpflanzung der uralischen Bogenfalle nach dem Westen.

Auf was für Beweise kann sich diese Anschauung stützen? Erstens auf die Tatsache, dass der uralische Typ in der Gegend des Urals bei finnisch-ugrischen Völkern anzutreffen ist. Eine Ausnahme bilden die Baschkiren, ein türkisch sprechendes Volk, von dem aber bekannt ist, dass es in kultureller Hinsicht durch zahlreiche Übergänge mit den sie umgebenden Finnougriern verbunden ist. Wenn man der wissenschaftlichen Auffassung, dass sich ungarische Stämme vor der Landnahme mit ihnen verschmolzen haben,[20] Glaubwürdigkeit beimisst, so kann man sich auch nicht daran stossen, dass sie vom Gesichtspunkt der Bogenfalle als zu den finnisch-ugrischen Völkern gehörig betrachtet werden (Abb. 8). Zweitens haben auch die Sammlungsstellen, von wo die Varianten des uralischen einheitlichen Typs stammen, viel zu sagen. Bei der kartographischen Verfolgung der Resultante dieser Sammlungsstellen fällt der Blick fast unwillkürlich auf jenes Gebiet, das nach der Feststellung der Sprachforscher die älteste Heimat der Finnougrier gewesen sein dürfte : auf die nächste Nähe des Urals. Ob man nun diese Heimat diesseits des Urals sucht, wie dies die ungarischen Forscher tun, oder ob man sie in Übereinstimmung mit einzelnen sowjetischen Forschern jenseits des Urals verlegt, jedenfalls befindet man sich auf einem Gebiet, das seit den ältesten Zeiten die Heimat

[20] *Németh*, 1930, S. 313—315.; vgl. auch SE. 1952, Nr. 3, S. 47—48.

der Finnougrier (und nur von ihnen) war. Drittens ist es eine zumindest nachdenkliche Erscheinung, dass der uralische Typ der Bogenfalle auch entferntere ungarische und finnische Varianten hat. Von wo gelangten sie so weit? Was für Zusammenhänge bestehen im Hinblick auf den Gegenstand zwischen ihnen? Wenn man auch vorläufig die Antwort auf diese Fragen schuldig bleibt (da ihre Beantwortung ja Sache der nächsten Kapitel ist), so kann man nichts-

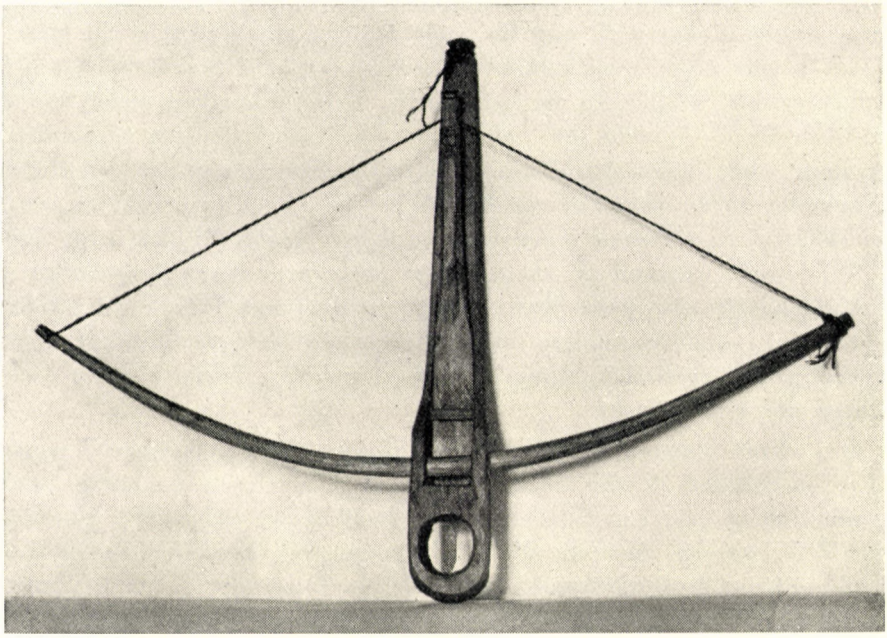


Abb. 8. Baschkirische Bogenfalle, geschlossener Typ. Auslösung unvollständig. Ihen, ehem. Gouv. Orenburg. Ethnogr. Museum, Budapest

destoweniger sich schon jetzt auf sie als Probleme berufen, die eine Erweiterung des Blickfeldes in grossem Ausmass zu fördern vermögen. Die finnisch-ugrische Sprachwissenschaft als hauptsächlichste Stütze der finnisch-ugrischen Forschungen stellt zwar keine Beweise für ein derartiges Alter dieses Gegenstandes zur Verfügung, doch gibt sie an Hand des Wortes *Tscherkan* Stoff zum Nachdenken, so dass durch Verbindung von linguistischen Ergebnissen mit ethnographischen auf Grundlage des bisher Gesagten auch etwas weitere Folgerungen gewagt werden dürfen.

Der Verfasser war lange Zeit der Ansicht gewesen, dass *Tscherkan* der allgemeine Name beider Varianten der Bogenfalle in ganz Sibirien ist. Es stellte sich heraus, dass dem nicht so ist. Dieser Name wird nur von den Russen wahllos für beide Typen verwendet, doch nicht von den Jagdvölkern Sibiriens. Diese haben dafür ihre eigenen, besonderen Bezeichnungen, und der Name Tscherkan

wurde wahrscheinlich nur von den sich zwischen sie ansiedelnden Russen in Sibirien verbreitet. Solche ursprüngliche Namen, wo das Wort nicht aus der Sprache des Sammlers in die Beschreibung des Gegenstandes Eingang gefunden hat, sind für den durchbrochenen Typ: das giljakische *klai* [22—23]*, das goldische *döŋurö* [25—26], das tungusische *ńariga* [37], das kalmükische *čergi* [48], das ostjakisch-samojedische *lāta* [49—51], das jurakisch-samojedische *pījєŋin* [52], das ostjakische *pēttuχ* [55], das wogulische *janaŋ* [61]; für den geschlossenen Typ: das ostjakische *serkan* [65], *śarkan* [66—67], das wogulische *šāpkas* [68], und für beide Typen: das baschkirische *ετmε* [63, 77]. Von diesen geht nur das kalmückische Wort *čergi* auf das russische *tscherkan* zurück, die übrigen spiegeln die sprachliche Differenziertheit wider, die auch heute noch in der Sprache der tiefer liegenden Volksschichten vorhanden ist. Wenn man neben diesen Angaben in anderen Quellen findet, dass bei *Hofmann* der Name der syrjänischen Falle *dshärkan* [76], bei *Popow* jener der dolganischen *čerkan* [44], bei *Seroschewski* jener der jakutischen *čyrkan* [31], bei *Lips Tscharkan* [34] lautet, während sie *Pfitzenmayer* unter dem Namen *Tscherkan* [36] und *Middendorff* als *čirkan* [30] erwähnt, so darf man darin — nach Meinung des Verfassers — nichts anderes erblicken, als eine gewisse Einbürgerung und Ablagerung des russischen Umgangswortes auf die obenerwähnten tieferen Schichten der Volkssprache.

Das Wort Tscherkan selbst ist im Russischen ostjakischen Ursprungs. Die Russen haben es übernommen, als sie vom XVI. Jh. an in ständiger Berührung mit den Ostjaken in Sibirien waren. Nach *Kalima* fiel diese Übernahme in eine Zeit, wo sich an Stelle des *ś*-Anlautes im Ostjakischen noch *č*- befand[21], doch gibt er keine Auskunft darüber, auf welchen Zeitpunkt dieser Lautzustand angesetzt werden kann; deshalb ist denn auch dieses ostjakische Lehnwort der russischen Sprache nicht als chronologisches Kriterium verwendbar.

Jedenfalls hat aber das ostjakische Wort einen etwas anderen Sinn als das russische. Während die Russen beide Typen der Bogenfalle mit Tscherkan bezeichnen, verstehen die Ostjaken darunter (anscheinend ausschliesslich) den geschlossenen Typ. Das ostjakische Wörterbuch von *Karjalainen* weist am Irtysch und auf dem Gebiete der nördlichen Ostjaken (an der Demjanka weniger klar) in Verbindung mit diesem Worte auf lauter derartige Gegenstände hin,[22] unter den sprachlichen Anmerkungen von *Pápay* findet sich nur die auf den geschlossenen Typ bezügliche Bedeutung dieses Wortes[23] und unter den dem Verfasser bekannten Angaben gibt es keine einzige, die dieser Unter-

* Die in Klammer gesetzte Nummer bezieht sich auf die Aufzählung der berücksichtigten Angaben (s. »Angaben zur Verbreitung der Bogenfalle« und »Angaben zur Verbreitung des Selbstschusses«).

[21] *Kalima*, 1930, S. 72, vgl. *Karjalainen*, 1905, S. 26.

[22] *Karjalainen*, 1948, S. 919.

[23] *Pápay*, 1898, S. 28—29.

scheidung entschieden widersprechen würde. Bei den Wogulen scheint dieses Wort überhaupt unbekannt zu sein. Dort ist am Sygwa der Name *šāpkas* gebräuchlich, der in der Form von *t'apχes* aufgezeichnet bei den Ostjaken einen allgemeinen Begriff für »Eisen, Falle« darstellt.[24] Es finden sich hingegen nur wenige Angaben darüber, wie die Ob-Ugrier den durchbrochenen Typ genannt haben. Im Gebiet von Wasjugan kommt der Name *pēttuχ*, bei den Wogulen von Sygwa der Name *janaŋ* vor, die Bedeutung des letzteren lautet nach *Pápay* »zwirnig«, was zweifellos auf die Art der Auslösung hinweist.

Über den Ursprung des ostjakischen Namens Tscherkan herrscht in der Sprachwissenschaft die Auffassung, dass es eine syrjänische Übernahme ist. *Wichmann* zitiert die ursprünglichere Form des Wortes aus dem Dialekt von Petschora der syrjänischen Sprache in der Gestalt *t's'ark*. Seiner Ansicht nach stellt das Wort *t's'arkan* eine Diminutivform davon dar, doch nach der Meinung von *Karjalainen* und *Fuchs* (die letzterer in einem Brief an den Verfasser vom 6. Januar 1951 zum Ausdruck bringt) hat man es hier mit einer Ableitung davon zu tun, die durch ein Gerätnamen bildendes Suffix entstanden ist.[25] Die Bedeutung des ersteren Ausdrucks lautet »Hermelinfalle« ; demgemäss passt auch die Bedeutung der abgeleiteten Form vorzüglich auf die hier behandelte Falle geschlossenen Typs. Der Sprachbezirk, aus dem er die letztere Angabe erwähnt, ist das am westlichen Abhang des Urals gelegene Schtschugor-Tal, das sich unmittelbar — nur durch den Ural getrennt — an jenes von den Ob-Ugriern bewohnte Gebiet anschliesst, aus dem die geschlossene Variante der Falle so gut bekannt ist. Diese nächste Nachbarschaft zwischen den syrjänischen Übergebern und den ostjakischen Übernehmern berechtigt wohl zur Annahme, dass allerengste Verbindungen bestanden haben. Da auch die Syrjänen ihren eigenen geschlossenen Fallentyp besitzen, so scheint kein Hindernis zu bestehen, den Namen und das Alter des Gegenstandes zusammen mit dem Gegenstand selbst aus einer Zeit herzuleiten, in der die Syrjänen mit den Ugriern in einer auf gemeinsamer Wohnstätte beruhenden Gemeinschaft lebten.

Wo dies war, ist unbekannt. Es ist heute noch strittig, ob die Ostjaken von der westlichen Seite des Urals auf die östliche übersiedelt sind wie die Wogulen, von denen dies *Kannisto* auf Grund von Ortsnamen bewiesen hat.[26] Die Sprachforscher sind auch bei den Syrjänen der Ansicht, dass sie in früherer Zeit weiter im Süden wohnten als heute ; in ihrer Sprache finden sich alte bulgarisch-türkische Lehnwörter. Wenn also auf diese Weise der Gegenstand und Name syrjänisch sind, und wenn die Ostjaken den Namen von den Syrjänen übernommen haben, dann ist es möglich, dass seine ursprüngliche Heimat in der Zeit des bulgarisch-türkischen Einflusses und in der vor dieser liegenden

[24] *Karjalainen*, 1948, S. 915.
[25] *Wichmann*, 1923, S. 208 ; *Karjalainen*, 1905, S. 26.
[26] *Kannisto*, 1927.

Zeit — vor mehr als 1000 Jahren — noch weiter im Süden liegt;[27] er ist vielleicht an einem Ort zu suchen, wo die süduralischen tscheremissischen und baschkirischen Angaben im Bezirk Birsk bzw. in Ihen bis zum heutigen Tage die Verbreitungskontinuität in den westlich vom Ural gelegenen Gebieten aufrechterhalten; an einem Ort, wo die zwei Typen, die durchbrochene und die geschlossene Bogenfalle — wie heute bei den Baschkiren, so auch in alter Zeit — miteinander vermischt und nebeneinander in Gebrauch standen.

Das Wort Tscherkan kann also in dieser Beziehung gewissermassen als Wegweiser dienen. Es zeigt den Weg über den Ural, nach Westen zu den Syrjänen. Das dem syrjänischen entsprechende wotjakische Wort (das von *Munkácsi* mitgeteilte *ćark-nal'k*) bezeichnet, wenn auch nicht gerade die Verbindung des Gegenstandes, so doch die des Wortes mit der südlichen Richtung.[28] Andererseits weist die Verbreitung des Gegenstandes bei den Tscheremissen und Baschkiren, von denen *Rudenko* schreibt, dass er bei ihnen die Bogenfalle in den Gebieten des Flusses Belaja und ihrer Nebenflüsse sowie beim Tabyn-Stamm in grösserer Anzahl gefunden hat, nach Norden.[29] Sicher ist jedenfalls, dass die Bogenfalle, so wie auch ihr entwickelterer uralischer Typ, aus der Waldzone stammen musste. All dies hilft, zusammen wie auch einzeln, jene grosse räumliche Entfernung zu überbrücken, jenen gewaltigen zeitlichen Weg zu verkürzen, der nicht nur zwischen den in verschiedenen Gegenden lebenden nördlichen Jurak-Samojeden und den südlichen Baschkiren, sondern in weiterer Beziehung auch zwischen den ungarischen und finnischen Verbreitungsgebieten und dem in Uralgebiet befindlichen Zentrum liegt.

3. Ungarn

In Ungarn ist die Bogenfalle in Transdanubien und im Gebiet zwischen Donau und Theiss (Tisza) verbreitet. Das Verbreitungszentrum befindet sich im südlichen Transdanubien, besonders in den Komitaten Somogy und Veszprém, in der Nähe des Plattensees (Balaton). Die extremsten Angaben stammen im Osten von Makó, Nyiregyháza, im Norden aus dem Palowzenland, von Patvarc, im Westen von Kapuvár und im Süden aus dem Komitate Baranya.[30] Im Angabenverzeichnis sind 27 Varianten angeführt, von denen 10 vom Verfasser gesammelt wurden. Wenn zu dieser Angabensammlung noch die Daten von *Gunda* (auf Grund der in der Zeitschrift Ethnos publizierten Karte) hinzugezählt werden, so liesse sich die Anzahl sämtlicher erreichbarer Varianten um weitere 20 erhöhen. Aus Siebenbürgen ist die Falle nicht bekannt. Die im

[27] *Wichmann*, 1903, S. 147; *Zsirai*, 1937, S. 207.
[28] *Munkácsi*, 1896, S. 310.
[29] *Rudenko*, 1925, S. 11.
[30] In Nyiregyháza wurden von *M. Márkus* nur ihre Fragmente aufgefunden: *Márkus*, 1937, S. 347, 506; derselbe publizierte aus dem Kom. Baranya eine stark degenerierte Variante: *Márkus*, 1940, S. 371—2.

Jahre 1938 an die Museen in Bukarest, Sofia und Belgrad gerichteten diesbezüglichen schriftlichen Anfragen des Verfassers zeitigten kein positives Ergebnis. Der ungarische Name des Gegenstandes *íjascsapda* »Bogenfalle«

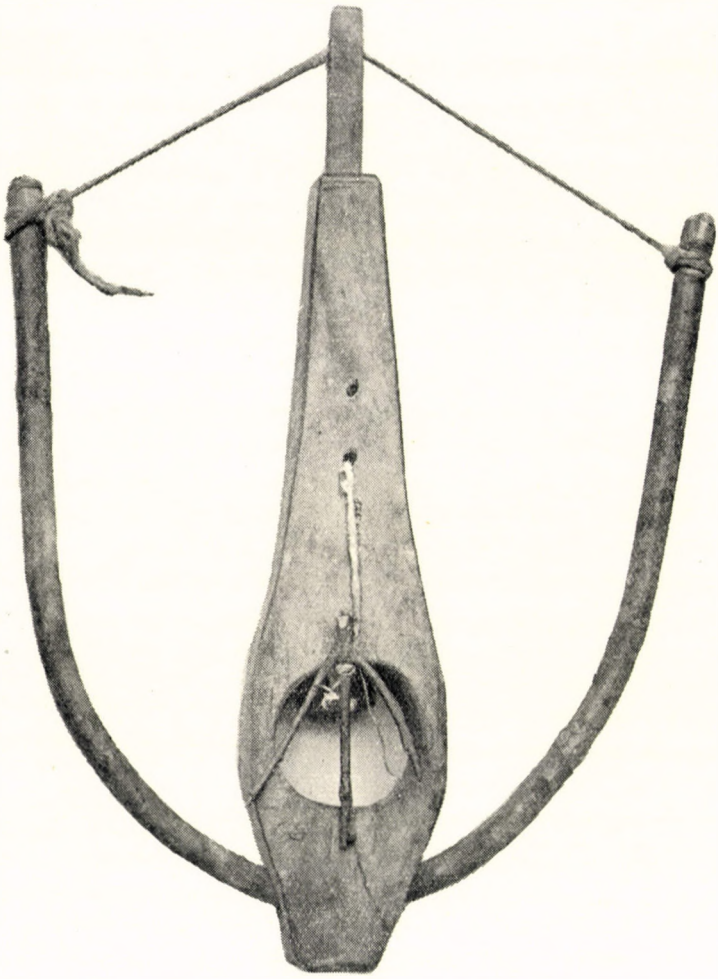


Abb. 9. Ungarische Zieselfalle, Törökkoppány, Kom. Somogy (Gesammelt von B. Gunda). Ethnogr. Museum, Budapest

ist natürlich nur die in der Schriftsprache gebräuchliche Bezeichnung des Gerätes. Das Volk nennt sie nur *ürgefogó* »Zieselfänger«, höchstens vereinzelt *ürgecsapda* »Zieselfalle« (Hercegfalva), *ürgekelepce* »Zieselfalle« (Galgamácsa) oder *ürgekaloda* »Zieselfänger« (Monor). Seinem Namen kommt also keine besondere ethnographische oder linguistische Bedeutung zu.

Nunmehr soll die Bogenfalle in Ungarn zuerst vom Gesichtspunkt ihrer Form, dann von dem ihrer Funktion behandelt werden, und schliesslich eine Untersuchung ihrer konstruktionellen Besonderheiten erfolgen.

Der älteste Typ der ungarischen Falle entspricht jenem Exemplar, das im ethnographischen Sammelwerk »Magyarság Néprajza« (Ethnographie des Ungarntums,[1] Bd. II, Abb. 81—82) aus Csajág publiziert ist. Dieser Typ wird durch eine leicht keilförmige Verjüngung des Fallenkörpers gekennzeichnet (Abb. 9). Durch diesen wird der Bogen gesteckt. Mit der Zeit nimmt die Falle im-

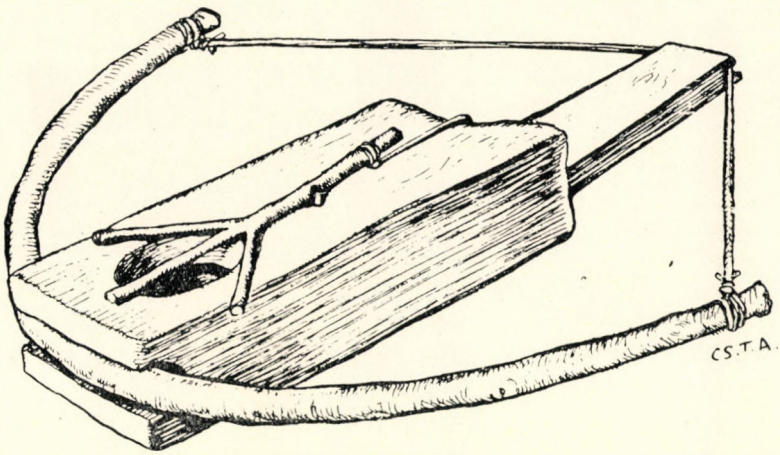


Abb. 10. Die ungarische Zieselfalle in neuerer Ausführung, Galgamácsa, Kom. Pest. Ethnogr. Museum, Budapest

mer mehr die Gestalt eines Prismas an. Ihr Behälter wird mit Querleisten gesichert. So ist sie nicht nur in Transdanubien, sondern auch im Gebiet zwischen Donau und Theiss verbreitet. Weiter vom Zentrum entfernt (z. B. in Galgamácsa) verändert sich die Lage des Bogens : er wird nicht durch die Falle durchgesteckt, sondern bloss an ihr Ende geklemmt (Abb. 10). Dies sieht jedenfalls wie eine spätere Modifikation aus. Später beginnt sich die Falle zu degenerieren. Ihr Bogen wird durch eine Feder verdrängt oder durch eine nach oben ausschlagende gebogene Rute ersetzt, eventuell wird auch ihr Mechanismus modernisiert. Über solche Entartungsprozesse berichten *Vajkai*[31] und *Márkus*. Der Verfasser selbst fand solche degenerierte Formen in Pátka und Szólád. Es weist auf eine verhältnismässig lebendige Tradition des Zieselfanges mit Fallen in Transdanubien hin, dass nicht nur die schönsten Stücke der Bogenfallen, sondern auch die verschiedensten degenerierten Varianten von hier festgestellt wurden.

Mehr als dies über unbedeutende Varianten der Form zu sagen, erscheint hier überflüssig ; es sei jetzt vielmehr eher der allgemeine Typ untersucht.

[31] *Vajkai-Wagenhuber*, 1938, S. 157, 161.

Auch die ungarische Falle, wie die uralische, ist schliesslich und endlich ein Fanggerät von überaus einheitlichem Gepräge. Im Körper der Falle lässt sich unschwer die uralische massive Form erkennen ; an ihrem Ende befindet sich eine runde Öffnung, die für das zu fangende Tier bestimmt ist. Der Unterschied zwischen dem uralischen und dem ungarischen Typ besteht nur darin, dass dieser noch geschlossener ausgebildet ist. Der äussere Teil darf füglich als Behälter bezeichnet werden. Der darin laufende Schieber ist nicht so breit, so spatenförmig wie beim uralischen Typ, er erinnert eher an eine gewöhnliche Latte. Ein Unterschied besteht auch darin, dass der Schieber der Zieselfalle — was beim uralischen Gerät nicht der Fall ist — durch eingeschlagene Nägel, die den Ziesel (*Citellus citellus L.*) aufspiessen, wirksamer gemacht wird. Beim Fang von Pelzwild wäre diese Methode natürlich nicht zweckmässig gewesen, da das wertvolle Fell des Tieres dabei beschädigt wird. *Gönczi* scheint sich jedenfalls geirrt zu haben, als er bei der Beschreibung der im Museum von Kaposvár befindlichen Falle aus Csepely schreibt, dass auf diese herausstehenden Zähne »Fleisch gespiesst wird« (Abb. 11).[32] Es bestand nämlich keinerlei Notwendigkeit, die ungarische Bogenfalle mit einem Köder zu versehen. Sie wurde immer oberhalb des Zieselloches gelegt. Gerade die köderlose Einrichtung der ungarischen Falle unterscheidet sie, infolge ihrer besonderen Funktion als Zieselfalle nicht nur von sämtlichen übrigen europäischen Typen (mit Ausnahme der ihr nächststehenden bessarabischen Falle), sondern auch von ihren uralischen und sibirischen Vorgängerinnen. Der Umstand, dass die Bogensehne durch das am Ende des Schiebers gebohrte Loch durchgezogen ist, bildet im Vergleich zum uralischen Typ keine Neuheit : auch dort ist die gleiche Lösung anzutreffen ; dass aber auch der Bogen durch den Behälter gesteckt wird, ist eine Neuerung (und zwar eine äusserst zweckmässige, so sehr, dass man sie auch bei den Bogenfallen in Afrika und Indonesien findet), die bei den bisher gesichteten Varianten Eurasiens nur bei der baschkirischen Falle (sowohl bei der durchbrochenen wie auch bei der geschlossenen Variante) verwirklicht wurde. Man wird sie im folgenden in der Nachbarschaft Ungarns, in Krain, wieder treffen.

Die Frage der Auslösevorrichtung wird nun absichtlich auf später aufgeschoben und vorerst das Problem der Funktion behandelt. Es sind nur spärliche Angaben bekannt, nach denen die Zieselfalle zu etwas anderem verwendet wurde als zum Zieselfang. Eine solche Angabe bezieht sich auf eine Variante aus Törökkoppány, die durch eine nach oben ausschlagende Schwippgalgenkonstruktion sowie durch ein grosses Format ausgezeichnet ist und zum Iltisfang dient. Man möge aber nicht glauben, dass die Verwendung der Bogenfalle zum Fang von Zieseln eine ungarische Erfindung ist. Schon *Middendorff* weiss zu berichten, dass in Nordsibirien Iltisse, Wandermäuse und sogar Ziesel mit ihr gefangen, wurden.[33] Auch *Silantjew* erwähnt ihre Rolle beim Fang von vielen kleineren

[32] Brief an den Verfasser vom 19. I. 1938.
[33] *Middendorff*, 1877, S. 611.

und grösseren Tieren, so auch bei dem des Ziesels.[34] Diese Mannigfaltigkeit der Funktionen steht mit dem Hermelin- und Eichhornfang in gutem Einklang. Dies konnte auch in der Praxis der Baschkiren festgestellt werden. *Mészáros* vermerkte (auf den Inventarzetteln des Ethnographischen Museums in Budapest), dass die Baschkiren beide Typen zum Fang von kleinen Pelztieren, die in Erdlöchern hausen, verwenden, während *Rudenko* betont, dass die Rolle ihrer Bogenfallen gleich der des Tscherkans ist und dass als hauptsächlichste Beute

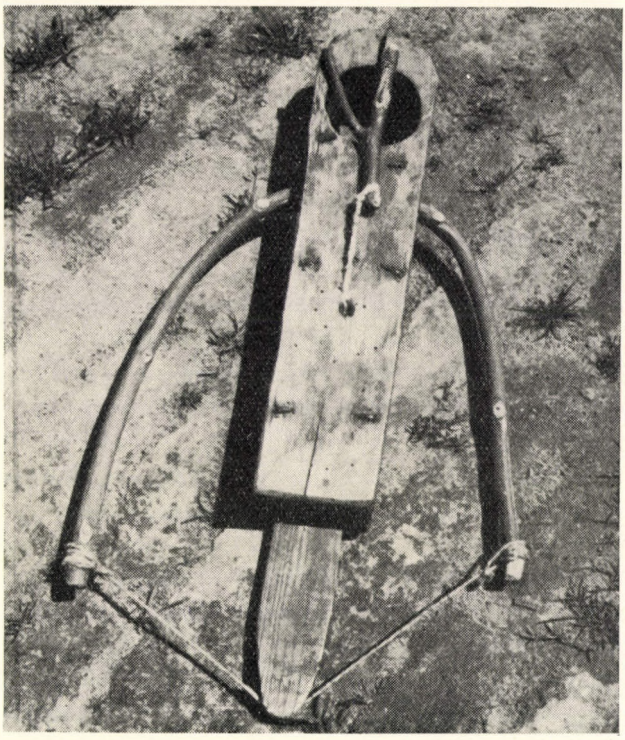


Abb. 11/a. Vorderansicht einer ungarischen Zieselfalle, Nagycsepely, Kom. Somogy. Rippl-Rónai Museum, Kaposvár

der Hermelin zu gelten hat.[35] Diese Doppelspurigkeit des Gebrauches sowohl gegen Tiere, die auf den Bäumen, wie auch gegen solche, die in der Erde leben, ist bis heute für die Bilchfalle der Slowenen Krains charakteristisch. Die Tatsache, dass die ungarische Zieselfalle fast ausschliesslich auf diese Rolle beschränkt war, wird durch die Gegebenheiten des Flachlandes erklärt. Um so interessanter und charakteristischer ist es jedoch, dass die aus dem Osten mitgebrachte Bogenfalle trotzdem nicht spurlos in der waldlosen Ungarischen Tiefebene und an den pelztierarmen Hängen Transdanubiens verschwand,

[34] *Silantjew*, 1898, S. 365.
[35] *Rudenko*, 1925, S. 11.

sondern in einer sekundären Rolle weiterlebte. Die Kraft der Tradition siegte hier über die ungünstigeren Verhältnisse der geographischen Gegebenheiten, die Falle akklimatisierte sich. Aus dem Umstand, dass man sie, anstatt sie senkrecht aufzustellen, flach über das Zieselloch auf die Erde legte, ergab sich jedoch auch zwangsläufig die Notwendigkeit, die Konstruktion ihres Mechanismus umzugestalten. Dies geschah durch das Weglassen eines der wichtigsten Elemente der uralischen Falle, des Spannhebels.

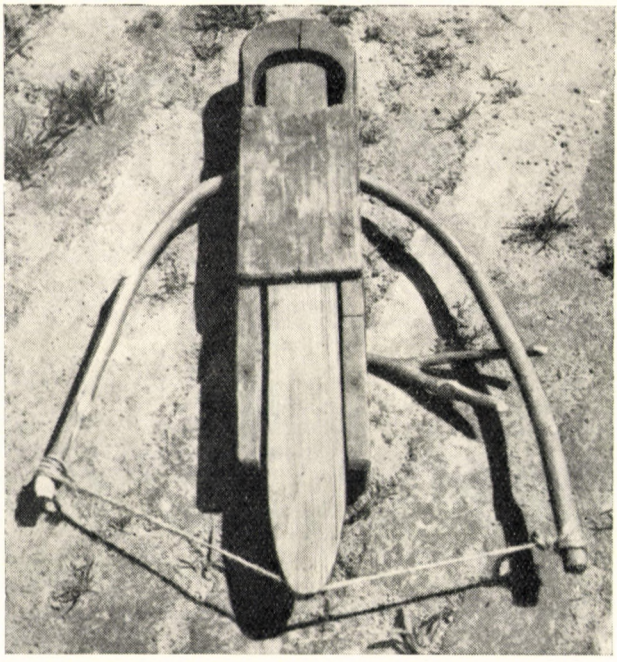


Abb. 11/b. Dieselbe Falle umgekehrt, nach der Auslösung

Der Wegfall des Spannhebels ist nicht nur ein ungarisches, sondern ein europäisches Merkmal. Es ist ein gemeinsames Kennzeichen der sich vom Ural entfernten Bogenfalle. An Stelle des Spannhebels führt der ungarische Typ eine Vereinfachung ein, die in der Welt der Fallen auch anderswo wohlbekannt ist. Der Spannhebel kann nämlich dadurch ersetzt werden, dass man die Schnur um einen fixen Punkt herum gleiten lässt; an der einen Seite kommt die Kraftquelle (z. B. die Druckkraft des Gewichtes) zur Geltung, doch wird dies durch die um den fixen Punkt »gelegte« Schnur infolge ihrer Befestigung an der anderen Seite provisorisch, d. h. bis zum Zeitpunkt der Auslösung, verhindert. Diese Lösung, die als »um einen fixen Punkt gelegte Schnur« bezeichnet werden kann, ist bei der ungarischen Zieselfalle zu sehen. Die Schnur

zieht im Innern des Behälters den Schieber, bzw. hält ihn zurück. Ein kleines Loch im Oberteil des Behälters, durch welches die Schnur hindurchgleitet, stellt für die Auslösevorrichtung jene Stütze, jenen fixen Punkt dar, der beim sibirischen Mechanismus durch den Spannhebel gegeben war. An der oberen Seite des Behälters wird die Spannschnur oberhalb der Öffnung mit einem Gabelhölzchen fixiert. In der vereinigten Rolle von Drücker und Klemmer findet man hier, so wie auch bei der uralischen Falle, nur einen einzigen Klemmer, welcher der Form nach gewöhnlich so beschaffen ist (dreigabelig) wie das entsprechende Element der durchbrochenen kalmückischen Bogenfalle (woraus aber noch

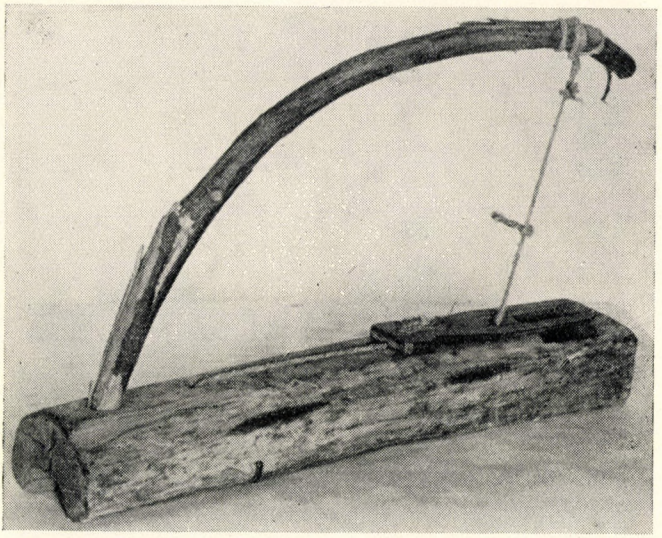


Abb. 12. Die Zieselfalle mit der Hebelstange. Pátka, Kom. Fehér. Ethnogr. Museum, Budapest

nicht unbedingt auf eine Verwandtschaft geschlossen werden soll). Die Anordnung des Gabelhölzchens ist in Ungarn etwas anders als die des Klemmers im Ural. Dort befindet er sich in der Öffnung des Tscherkans, während es hier oberhalb der Öffnung an einen kleinen Nagel befestigt wird. Wie ersichtlich, können aber alle diese geringfügigen oder (infolge des Wegfalls des Spannhebels) bedeutenderen Abänderungen bei der heutigen Zieselfalle in Ungarn nicht das leicht erkennbare Bild der uralischen Falle verwischen. Auch bei der ungarischen Falle wiederholt sich die Drückerauslösung. Die verwandtschaftlichen Bande der ungarischen Zieselfalle mit dem uralischen Typ, ihr Abstammungsverhältnis von diesem, sind an jedem einzelnen Bestandteil, am Behälter und am Schieber, am Bogen und an seiner Befestigung, sowie an den Elementen der Auslösevorrichtung, an der Schnur und am Klemmer, wie auch an ihrer Funktion unmissverständlich zu erkennen. Es besteht nicht der geringste Zweifel, dass die ungarische Bogenfalle aus dem Ural nach Ungarn gekommen ist.

Worin besteht also der Unterschied, der diese ganz allgemein vom uralischen Typ trennt? Dies besteht darin, dass dieser auslösungsempfindlichere, vollkommenere und feiner ausgeführte Typ durch einen Mechanismus von weniger gefälliger Form abgelöst wurde, der aber in seiner Einfachheit dem Zweck vollkommen entspricht. Sobald die Bogenfalle auf den Boden gelegt wurde, musste natürlich ihre Form geschlossener werden und mehr einem geschlossenen Behälter gleichen. Der Spannhebel konnte nicht weiter Verwendung finden. Trotz alledem ergab sich ein in einer gewissen Beziehung schwerfälliges Gerät, indem es bei jeder einzelnen Aufstellung in die Hand genommen, von der Erde aufgehoben und nachher vorsichtig zurückgelegt werden musste, wobei besonders darauf zu achten war, dass der Bogen nicht durch irgendein Gewächs in seiner Wirkung gehemmt wurde. Hier brachte die aus Pátka und Törökkoppány bekannte Neuerung Abhilfe: die Bogenfalle wurde in Gedanken gleichsam halbiert und der eine Arm des Bogens als ein nach oben strebender Schwippgalgen aufgefasst und als solcher verwendet (Abb. 12). Die Falle konnte nunmehr auch dann gespannt werden, wenn sie am Boden liegen blieb. Aus der geringen Verbreitung dieser Lösung lässt sich aber der Schluss ziehen, dass sie sich dennoch nicht richtig bewährte. Als ursprüngliche Neuerung aus Transdanubien verdient sie aber insoferne Beachtung, als sie ein Zeugnis von der ständigen Lust des Menschen, Dinge zu verändern, ablegt: in diesem Fall versuchte er aus der Bogenfalle eine Schwippgalgenfalle zu gestalten.

4. Bessarabien

Über die bessarabische Bogenfalle finden sich in der Mitteilung von *Lagercrantz* drei Angaben[36]. Fundorte sind Teplitz und Brienne. Sie wurden unter der deutschen Bevölkerung gesammelt. Das eine Exemplar (aus Brienne) schliesst sich in bezug auf die Form eng an jenen ungarischen Typ an, bei welchem der Bogen an das Ende des Fallenkörpers befestigt wird (Abb. 13), während die anderen zwei (aus Teplitz) den Prozess der allmählichen Formänderung widerspiegeln. Ihr Mechanismus ist aber gleichförmig. Abgesehen von solchen Kleinigkeiten, dass der Klemmer nicht gabelförmig ist und seine Befestigung nicht an einem Nagel, sondern am Rande der Öffnung erfolgt, besteht eine interessantere Abweichung vom ungarischen Typ lediglich darin, dass die Schnur nach der Auslösung nicht in das im Behälter befindliche Loch hineinläuft, sondern dass sie an jener Stelle um den Rand des Behälters geschlagen ist, wo der Schieber in den Behälter eingeführt wird.[37] Wenn man

[36] *Lagercrantz*, 1940.

[37] Für diese drei Veränderungen können auch ungarische Beispiele erwähnt werden. So für die letztere aus Galgamácsa (93—94), die erste aus Hercegfalva (100) und Törökkoppány (109) und für die zweite ebenfalls aus Törökkoppány (109). Vom ursprünglicheren Typ Transdanubiens können demnach die Varianten von Galgamácsa den Übergang zu den Angaben Bessarabiens weisen.

diese Falle näher betrachtet, so kann in der Mittellinie des Schiebers nicht nur an der Brienner, sondern auch an der einen Teplitzer Variante, eine Rille wahrgenommen werden, die zur Führung der Schnur bestimmt ist und ausserdem auch das Abwetzen und Zerreissen der Schnur verhindert.

Auch die Beobachtug weiterer Einzelheiten an diesen drei Fallen ist nicht ohne Interesse. An der Brienner Falle ist weniger gut, an den beiden Teplitzer Varianten jedoch besser sichtbar, dass die Zieselfalle eigentlich aus zwei aufeinander befestigten Brettern besteht : das untere ist eigentlich die Grundlage des oberen. In die Ebene des oberen Bretts fällt die Bewegung des

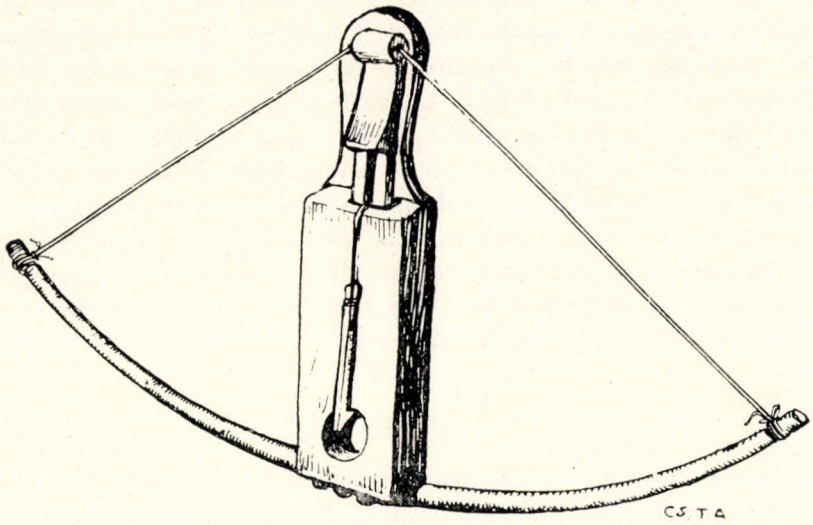


Abb. 13. Deutsche Zieselfalle. Brienne, Bessarabien. Nach Lagercrantz

Schiebers, die also auf einer gleichsam gesicherten Bahn unbehindert durch etwaige Pflanzen erfolgt. Diese rückwärtige Fortsetzung des Behälters, dieses den Schieber von unten stützende Element, kann in der Regel auch bei der uralischen Falle beobachtet werden ; es ist also nicht von der Hand zu weisen, dass man es hier mit einem älteren Element zu tun hat.

Wenn auch die Konstruktion, die so sehr der ungarischen gleicht, einen einheitlichen Typ repräsentiert, so weichen aber die drei Varianten hinsichtlich der Form sehr voneinander ab. Bei der ersten Teplitzer Angabe besteht der Bogen aus Metall, die Gestalt der Falle ist gedrungen, formlos (Abb. 14). Bei der zweiten Teplitzer Angabe wurde statt des Bogens ein Sägeblatt verwendet : die Entwicklung zeigt also dieselbe Richtung wie in Transdanubien und in Krain. Es spricht für eine gewisse Volkstümlichkeit der Bogenfalle, dass in denselben Ortschaften, in Brienne und Teplitz, auch Fallen anderen Systems

gesammelt wurden (Schwippgalgenschlingen), wobei sich oberhalb ihrer Öffnung der von der Bogenfalle entlehnte Klemmer wiederholt.[38]

Vom Standpunkte des Gebrauches stellt die bessarabische Bogenfalle eine ebensolche Zieselfalle dar wie ihr ungarisches Gegenstück. Aus all diesen Übereinstimmungen geht hervor, dass die ungarische und bessarabische Falle in dieselbe Gruppe einzureihen sind. Die bessarabischen Angaben können hierbei als etwas abgesonderte Weiterbildungen des ungarischen Verbreitungsgebietes angesehen werden.

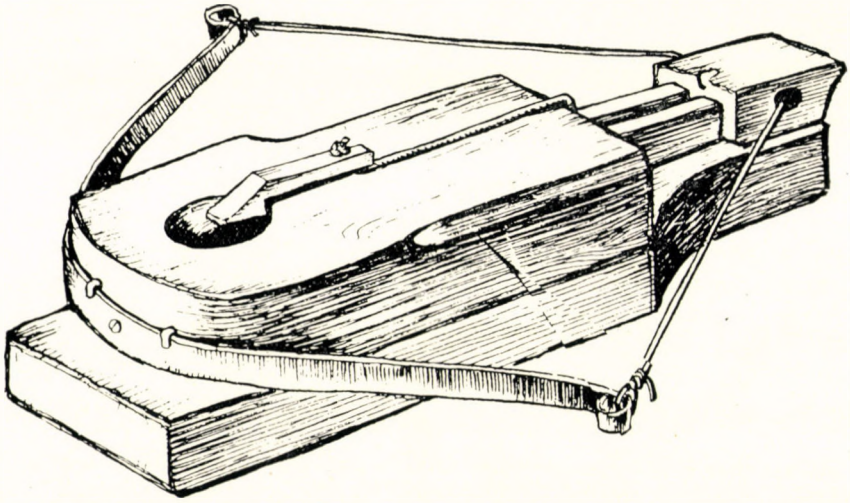


Abb. 14. Deutsche Zieselfalle. Teplitz, Bessarabien. Nach Lagercrantz

Die Deutung des bessarabischen Vorkommens hat zu verschiedenen Erklärungen angeregt. *Lagercrantz*, der sie mitteilt, hat sich selbst auf verschiedene Weise zu ihr geäussert. Zuerst wies er auf ihre Identität mit den sibirischen Bogenfallen hin, die seiner Meinung nach aus dem Fernen Osten gekommen waren ; er berief sich auf die krainischen und finnischen Angaben und sprach die Ansicht aus, dass der bessarabische Typ »Europa ursprünglich auf demselben Wege erreicht hat« (S. 6). In der Zusammenfassung seiner Abhandlung sagt er jedoch : »der bei weitem überwiegende Teil der Fallen geht freilich in erster Linie auf die deutsche Bevölkerung zurück« (S.7). So bleibt denn die Frage offen, ob er hier die sibirische Übernahme unmittelbar aus Sibirien oder (wahrscheinlicher) durch Vermittlung über Deutschland verstand.

Gunda schreibt hierüber folgenderweise : »Nach Bessarabien brachten sie entweder die deutschen Siedler aus ihrer früheren Heimat mit, oder sie

[38] *Lagercrantz*, 1940, Abb. 6—8.

wurde von dem Umvolk übernommen.« Unter diesem Wort (Umvolk) versteht er die gemischte rumänische, russische, tatarische Bevölkerung Bessarabiens und scheint auch zu wissen, dass in Bessarabien die Falle »im weiteren Gebiet« bekannt ist.[39]

Aus der vorsichtigen Deutung beider Verfasser, die mehrere Möglichkeiten offen lässt, ist letzten Endes zu entnehmen, dass nach ihrer Auffassung die deutsche Vermittlung eine der wahrscheinlichsten Erklärungen für das dortige Auftauchen der Falle bildet. Sie berufen sich auf ein deutsches Jagdbuch aus dem XVIII. Jahrhundert (Adelicher Zeitvertreiber usw.); das wäre die Grundlage für die Annahme einer Verbreitung der Falle in Deutschland. Wie später noch gezeigt werden soll, ist diese Ausgabe nichts anderes, als die Übersetzung eines früheren, aus dem XVII. Jahrhundert stammenden französischen Werkes. So kann denn die deutsche Herkunft der bessarabischen deutschen Falle höchstens auf Grund jener verschwommenen Annahme realisiert werden, dass die Falle in älteren Zeiten möglicherweise auch in Deutschland vorhanden war, ohne jedoch von der ethnographischen Sammeltätigkeit nachgewiesen werden zu können. Dies ist aber zur Verbindung der Angaben herzlich wenig.

Die Angaben zeigen, wie ersichtlich, etwas anderes. Die französische und die aus dieser Quelle übernommene deutsche Angabe hat nichts mit dem bessarabischen Typ gemein, wie denn auch die jetzt bekannten Varianten der krainischen Falle keine unmittelbare Übereinstimmung mit diesem aufweisen. Der bessarabische Typ besitzt vom ethnologischen (d. h. konkret analytisch vergleichenden) Gesichtspunkt nur in eine einzige Richtung eine Verbindung, nämlich nach Ungarn. Zwar soll hier nicht die Möglichkeit bestritten werden, dass sie deutsche Siedler nach Bessarabien brachten — hier müsste das Zeugnis der Siedlungsgeschichte helfend einspringen —, doch bleibt auch in diesem Fall die ethnographische Tatsache einer Übereinstimmung des Gegenstandes bestehen, die auf Ungarn als den wahrscheinlichsten Ursprungsort der bessarabischen deutschen Falle hinweist. Jene gegensätzliche Meinung, dass die ungarische Falle etwa aus Bessarabien nach Ungarn gekommen sein könnte und dass der dort gefundene Typ ursprünglicher wäre als der ungarische, ist aus zwei Gründen unannehmbar: 1. Der Unterschied zwischen den bessarabischen und ungarischen Varianten ist so gering, dass ihre Trennung für grössere Zeitabschnitte unmöglich ist. 2. Gegen diese Herleitung spricht auch das Prinzip der Quantität: in Ungarn ist die Falle derart verbreitet und bodenständig, dass den ein recht unterschiedliches Gewicht aufweisenden bessarabischen Angaben den ungarischen gegenüber keine grössere Bedeutung zukommen kann. Bessarabien kann nicht — nach dem heutigen Stand der Wissenschaft — der Ausgangspunkt oder das Zentrum der mitteleuropäischen Verbreitung der Bogenfalle sein.

[39] *Gunda*, 1940, S. 48.

Von der Richtigkeit dieser Auffassung kann man sich am leichtesten überzeugen, wenn man zur Untersuchung der im benachbarten Krain anzutreffenden slowenischen Angaben schreitet und so an Hand dieser einen Einblick in das hohe Alter der mitteleuropäischen Verbreitung der Bogenfalle gewinnt.

5. Krain

Aus Krain sind sieben Angaben über die Bogenfalle bekannt. Die Mehrzahl von ihnen verdankt der Verfasser dem Ethnographischen Museum in Laibach, das in den Jahren 1938 und 1940 auch wertvolle Auskünfte über die Fallen gab. Diese stammen aus Unterkrain. Drei sind aus der Umgebung von Dobrepolje und Velike Lašče, eine ist nicht näher bestimmt, zwei wurden in der Nähe von Kočevje gesammelt, eine wurde aus Oberkrain, aus dem Dorf Mošnje von *Hadrovics* aus dem Gedächtnis mitgeteilt. Hinsichtlich der Beschreibung der Falle sei hier das im Jahre 1689 erschienene Quellenwerk von *Valvasor* erwähnt, sowie die Mitteilungen von *Urbas*, *Koštiál* und *Mrkun*.[40] Das älteste Exemplar ist ungefähr hundert Jahre alt. Sein Name lautet *šklop* (wahrscheinlich ein schallnachahmendes Wort). Andere Namen für die Fallen sind nach *Urbas* und *Koštiál* auch *samojster* bzw. *samǫstreł* (was nur »Selbstschuss« bedeutet).[41] Auch der Name, der von *Mrkun* angegeben wird, umschreibt den Zweck des Gegenstandes : *polhove škatlje*, d. i. »Bilchschachtel«[42] (Bilch : *Myoxus glis L.*, slovenisch *polh*).

Was ihre Funktion anbelangt, so wurde die Falle nur zum Bilchfang verwendet. Als solche übertrifft sie im allgemeinen die ungarische Zieselfalle an Bedeutung. Der Bilchfang dauert von Anfang September bis Mitte Oktober. In Jahren, in denen die Buchen einen grossen Ertrag aufweisen, tauchen die Bilche in grossen Scharen in den Wäldern Krains auf. Jeder Bilchfänger hat sein eigenes Jagdgebiet. Die Aufstellung der Fallen wird bis zur Dämmerung durchgeführt und die Fallen werden dann nachts kontrolliert. *Valvasor* schreibt, dass wenn ein Bilchfänger z. B. hundert Fallen hat, er zumindest zu dritt nach den Fallen sehen muss, weil einem Mann 20—30 Fallen, die er vier- bis fünfmal kontrollieren muss, genug zu tun geben. Er schreibt : es kommt vor, dass in einer Nacht in hundert Fallen 3—400 und sogar 500 Bilche gefangen werden.[43] Der Jäger lauscht nur immer auf den Lärm, der durch das Klappen der Fallen verursacht wird. Die gefangenen Bilche werden zu Kränzen zusammengebunden und so auf der Schulter nach Hause getragen. Das Fleisch der Bilche wird gebraten und so verzehrt, während aus ihrem Pelz Mützen hergestellt werden. *Urbas* erwähnt auch Ortsnamen,

[40] Die Titel ihrer Publikationen s. im bibliographischen Anhang.
[41] *Urbas*, 1891, S. 372; *Koštiál*, 1931, S. 213.
[42] *Mrkun*, 1939, S. 75.
[43] *Valvasor*, 1689, S. 439.

die mit dem Wort Bilch zusammengesetzt sind (Billichberg, Billichgraz). Auch diese scheinen auf die Bedeutung des Bilchfanges hinzuweisen. [44]

In diesem Zusammenhang könnte man auch Angaben über den ungarischen Zieselfang anführen. Über das Zusammenbinden zu Kränzen weiss auch *Vajkai* zu berichten. In Galgamácsa wurde das Zieselfleisch als Delikatesse betrachtet und am Ostersonntag gegessen. Darauf zielt auch der Spruch hin : ohne Ziesel ist Ostern nicht Ostern. Das Fleisch wurde wie Schinken geräuchert. Im Jahre 1935 wurden bei einem Haus 180 Stück gefangen. Aus diesem Grunde erhielten die Bewohner von Galgamácsa von ihren Nachbarn den Spottnahmen »Zieselfänger«. [45] Nach *Borzsák* dauerte die erste Zeit des Zieselfanges in Monor bis zum Karfreitag, die wirkliche Zeit des Zieselfanges begann indessen anfangs Juli. [46] In weit grösserem Ausmass erinnert aber der krainische Bilchfang an die Pelztierjagd in Sibirien. Nach *Karjalainen* hing die wirtschaftliche Lage der am Flusse Wach lebenden Ostjaken dermassen vom Eichhornfang ab, dass wenn es in einem Jahre nur wenige Eichhörnchen gab, am Flusse Wach die Not einzog. [47] Obgleich der Bilchfang, wie *Mrkun* bemerkt, viel von seiner alten Verbreitung eingebüsst hat, so ist dennoch Krain dasjenige Gebiet Europas, wo die alte Funktion der Bogenfalle dank der natürlichen Umstände verhältnismässig am unversehrtesten erhalten blieb. Um so auffallender ist es jedoch, dass sich das Konstruktionsbild der Falle so weit vom uralischen Muster entfernt hat.

»Bilchschachtel« ist keine schlechte Bezeichnung für die krainische Falle, denn sie fängt den durch sie angelockten Bilch tatsächlich in einer Schachtel (Abb. 15). In ihrem mit einer Schiebeklappe absperrbaren Inneren befindet sich ein Köderbügel *(bigelca)*, auf welchen frisches oder gedörrtes und in Öl getränktes Obst gespiesst wird (Abb. 16). Der äussere Einschnitt des Bügels wird von einem Eisenstift gestützt, der hier die Rolle des Klemmers spielt und der mittels eines Scharniers an den aufgezogenen Schieber befestigt ist. Die Auslösung wird natürlich durch die Verschiebung des Köderbügels und durch die Ausschaltung des Eisenstiftes in Tätigkeit gesetzt. [48] In der Auslösevorrichtung erkennt man unschwer eine Variante der Köderauslösung, die aber in keinerlei unmittelbaren Verbindung zur Drückerauslösung steht. Der am Ende der Schnur hängende und in oder über die Öffnung der Falle gesteckte Klemmer, oder in Ungarn das Gabelhölzchen (das auch die Rolle des Klemmers übernimmt), fehlt hier vollständig, und an ihrer Stelle trifft man hier absolut fremde Elemente, wie die Schachtel, den Köderbügel, den Eisenstift und die Schiebeklappe.

[44] *Urbas*, 1891, S. 371. Über die Abnahme der Bedeutung des Bilchfanges : *Mrkun*, 1939, S. 74.

[45] Aufzeichnungen von *P. Reuss* aus dem J. 1936. *Vajkai*, 1938, S. 160.

[46] *Borzsák*, 1937, S. 450.

[47] *Karjalainen*, 1902, S. 9.

[48] Die Beschreibung der Konstruktion im Vergleich mit dem beigelegten Bilde s. bei *Mrkun*, 1939, S. 75—76.

Überlegungen, wie all dies hierher gekommen sein dürfte, wo doch der Gegenstand selbst der ungarischen Zieselfalle so ähnlich ist, führten schliesslich zum Ergebnis, dass der ungewohnte Mechanismus mit dem Austausch der Auslösevorrichtung erklärt werden kann, zu der — nach Ansicht des Verfassers — eine in der Ungarischen Tiefebene nicht unbekannte, auf dem Balkan jedoch ganz gewöhnliche, zum Fuchsfang dienende Schlagfalle als Modell gedient haben dürfte. [49] Die Anwendung eines anderen Mechanismus dürfte wohl auf der Beobachtung beruhen, dass die Bilchfalle wirksamer ist, wenn man sie nicht über das Schlupfloch des Tieres legt, sondern wenn man den Bilch bei Berücksichtigung seiner Fressgier — mittels eines Köders — in die Falle lockt.

Die Annahme eines Austausches der Auslösevorrichtung ist im gegebenen Fall nicht nur berechtigt, sondern eine geradezu notwendige Arbeitshypothese, deren Heranziehung auch durch den Hergang des Bilchfanges bestätigt wird. In den Beschreibungen des Bilchfanges steht nämlich, dass die Bogenfalle beim Bilchfang in Krain in zweierlei Funktionen in Anwendung steht. Einerseits wird sie mit Hilfe von Stäben an die Bäume gestützt (zu diesem Zweck besitzt jede Falle ein Loch, in das der Stab gesteckt wird), und andererseits wird sie über das Schlupfloch des Bilches gelegt, offenbar ohne Lockspeise und der oben beschriebenen besonderen Bestandteile (worüber aber leider keine Photographie oder genaue Beschreibung vorhanden ist). Wenn aber diese zweite Funktion der Bilchfallen derjenigen der ungarischen Zieselfallen entspricht, so muss man zwangsläufig auf den Gedanken kommen, dass sie dann einander auch in bezug auf die Konstruktion gleichen. Tatsächlich besteht auch eine solche Übereinstimmung! Dies wird einerseits von *Urbas* und *Koštiál* und andererseits auch von *Mrkun* klar zum Ausdruck gebracht. Doch sei hier ihnen das Wort erteilt. Die Beschreibung von *Urbas* lautet: »Eine solche Falle besteht im wesentlichen aus einem ausgehöhlten viereckigen Stück Holz von ungefähr 25 Centimeter Länge und 10 Centimeter Breite. Die Höhlung ist durch einen leicht beweglichen Schuber schliessbar, welcher beim Aufstellen mittels einer Schnur, an deren Ende ein Stützhölzchen mit dem Köder sich befindet, in die Höhe gezogen, bei Berührung des Köders aber durch einen elastischen Holzbogen zurückgeschnellt wird.« [50] *Mrkun* schreibt darüber: »Es muss erwähnt werden, dass im Laufe der ganzen nächtlichen Bilchjagd die Bilche auch auf eine andere Weise gefangen werden, d. h. in den sogenannten *polšnja* (d. i. Bilchlöchern). In jedem Wald pflegten mehrere solche unterirdische Bilchlöcher oder Aushöhlungen vorhanden zu sein, in die sich die Bilche tagsüber zurückziehen. Der erfahrene Bilchfänger kennt bereits sämtliche Ausgänge dieser Schlupflöcher.

[49] Angaben für diese Fuchsfalle: Ungarisch: 1. *Györffy*, 1934, Abb. 85. — 2. *Roska*, 1912, S. 185. — 3. Herzegowina: *Moszyński*, 1929, S. 54. — 4. Montenegro: *Vlahović*, 1933, S. 23. — 5. Serbisch-kroatisch: *Petrović*, 1931, Abb. 16. — 6. Bulgarisch: *Obrębski*, 1931, Taf. 4, Abb. 3—4. — 7. *Vakarelski*, 1931, Abb. 23—24. — 8. *Vakarelski*, 1935, Abb. 1.—9. Slowakisch: *Bednárik*, 1943, S. 41. — 10. Russen in Sibirien: *Silantjew*, 1898, S. 181.

[50] *Urbas*, 1891, S. 372.

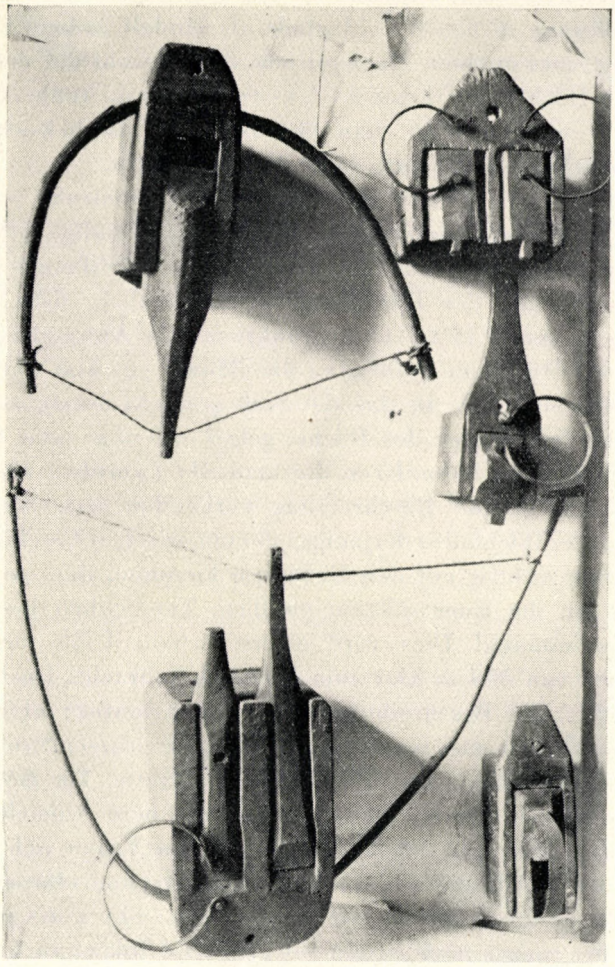


Abb. 15. Slowenische Bilchfallen aus Krain. Ethnogr. Museum, Laibach-Ljubljana

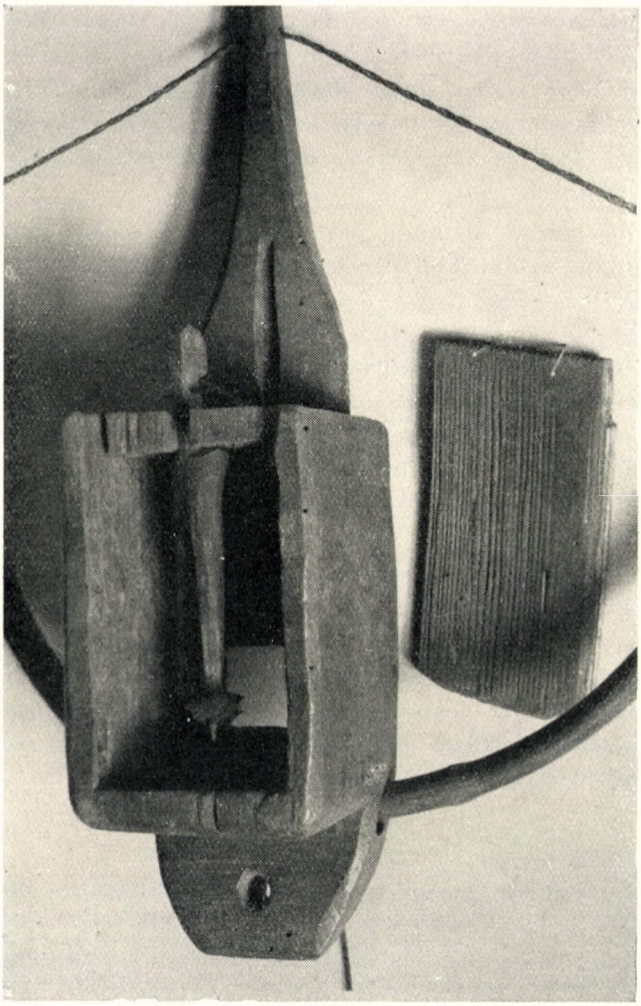


Abb. 16. Die slowenische Bilchfalle (Krain) geöffnet, von hinten. Ethnogr. Museum, Laibach-Ljubljana

Zu diesem Fang wird eine besondere Falle benutzt, die der beschriebenen äusserst ähnlich sieht, nur etwas grösser ist. Der kluge Bilchfänger legt diese Falle so auf das Bilchloch und beschwert sie und umgibt sie so mit Steinen, dass der Bilch nur durch die Falle aus seinem Loch herauskommen kann.«[51] Obzwar die zitierten Textteile keine vollständige Erklärung für alle offenen Probleme bieten, so geht aus ihnen immerhin hervor, dass die Elemente der Drückerauslösung, wie Schnur und Klemmer, auch bei der krainischen Bilchfalle vorhanden waren. Diese Belege genügen aber, diesen bisher nur unzureichend erforschten (und gegenwärtig für die ungarischen Forscher unzugänglichen) Typ der Bogenfalle mit der Zieselfalle Transdanubiens in Beziehung zu bringen.

Die diesbezügliche Meinung des Verfassers ist folgende. Der über das Schlupfloch gelegte zweite Typ der krainischen Bilchfalle darf als die ältere Variante angesehen werden, aus dem sich dann durch Umgestaltung der Auslösevorrichtung der jetzige, besser bekannte Typ ausgebildet hat. Dieser ältere Typ ist wahrscheinlich eine Übernahme der transdanubischen ungarischen Falle. Dadurch würden sich jene ersten Annahmen als unrichtig erweisen, die das krainische Verbreitungsgebiet irgendwie in den Kreis der »deutschen«, sowie der französischen und finnischen Vorkommen einzubeziehen bestrebt waren, während statt dessen — anscheinend — bestätigt würde, dass die ungarischen und slowenischen Verbreitungsgebiete von der Umgebung und der Funktion abhängige, verschiedene, und sich sogar stets mehr voneinander absondernde Entwicklungsstufen der ethnographischen Interessensphäre und des Gebrauches eines ursprünglich eigentlich einzigen Gerätes darstellen.[52] Demgemäss lässt sich also der ethnographische Platz der krainischen Bilchfalle, ebenso wie derjenige der bessarabischen Zieselfalle, als von der ungarischen Bogenfalle historisch bedingt bezeichnen. Wenn man als gegeben ansieht, dass letztere mit der Landnahme aus dem Uralgebiet nach Ungarn gekommen

[51] *Mrkun*, 1939, S. 79.

[52] Die diesbezüglichen literarischen Stellen sind: *Lagercrantz*, 1938, S. 123: »Es scheinen mir daher starke Gründe für die Annahme vorzuliegen, dass auch der Krain-Typ Europa vom Fernen Osten her über das Innere von Asien erreicht hat . . .« *Lagercrantz*, 1940, S. 6.: »Die Armbrustfallen gehören . . . zu den zentraleuropäischen Einschlägen in dem Jagdfallenbestand Bessarabiens. Am deutlichsten geht dies aus der dritten Armbrustfalle hervor (Abb. 12), die sich typologisch gesehen eng an die Belege anschliesst, die wir aus Krain, Deutschland und Finnland kennen.« — *Gunda*, 1940, S. 48: »Weil das französische und bessarabisch deutsche Vorkommen eine ausgebreitete europäische Verbreitung vermuten lässt, ist der ungarische Ursprung der slowenischen Formen nicht wahrscheinlich, obwohl die slowenischen und ungarischen Gebiete geographisch einander nahe stehen.« In dieser Arbeit rechnete er die krainische Falle zu dem von ihm kontinentaleuropäisch bezeichneten Verbreitungsgebiet. Im früheren Absatz — *Gunda*, 1937, S. 441 — stimmte seine Auffassung mit der hier ausgesprochenen überein. Dort heisst es ungarisch: »Für die ungarische Verbreitung der Bogenfalle stehen uns — wenigstens bisher — keine westtransdanubischen Angaben zur Verfügung, doch der Mangel an geographischer Verbreitung schliesst die Herkunft der slowenischen Formen aus Ungarn noch nicht aus. Auch können wir ihr Vorkommen in Krain nicht auf eine andere Weise erklären als durch eine ungarische Herkunft.«

ist, dann kann man sich die Verbreitung der ersteren von Ungarn her, hauptsächlich aus Transdanubien her — zuerst nach Krain und erst viel später nach Bessarabien — vorstellen. Insoferne sich diese Auffassung als richtig erweist, würde sie einen weiteren Beitrag zu den alten ungarisch-slowenischen kulturgeschichtlichen Beziehungen darstellen, die ungarischerseits schon durch sehr alte slawische Lehnwörter aus dem XI. Jahrhundert und slowenischerseits durch bereits neuzeitliche, aber gleichfalls mehrere Jahrhunderte alte Sagen und Balladen über König Matthias belegt sind.

Für die Annahme eines solchen Zusammenhanges ist ausser Übereinstimmungen bei der Form (wie z. B. das Durchstecken des Bogens durch

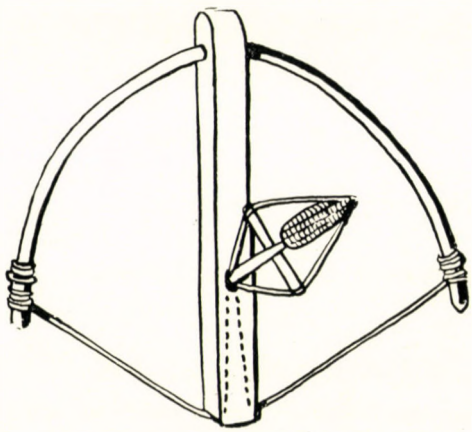


Abb. 17. Kroatische Bogenfalle für den Vogelfang. Brdovec (Kroatien). Ethnogr. Museum, Agram-Zagreb

den Rahmen, die Verjüngung des Fallenkörpers, die Spatenform des Schiebers) noch ein als gewichtig anzusprechender Beweis vorhanden. Dieser besteht in der kroatischen Variante der Bogenfalle aus der Ortschaft Brdovec bei Agram (Zagreb) nahe zur alten ungarischen Grenze.[53] Sie ist nichts anderes als eine Mischform von zwei Fallenarten, nämlich der ungarischen Zieselfalle und einer Vogelschlinge (finnisch : *pynnä*, deutsch : *Sprenkel*, Abb. 17). Als Konstruktion ist sie eine Vogelfalle — ihr kroatischer Name ist : ***zamka na lucenj za lov na ptice*** —, doch der Form nach weist sie den Behälter und den Bogen der ungarischen Zieselfalle auf. Ihr Vorkommen in dem südlicheren kroatischen Gebiet beweist, dass in älteren Zeiten das Verbreitungsgebiet der ungarischen Bogenfalle noch grösser war als heute. Namentlich gegen Westen schlägt diese Angabe eine Brücke, und zwar gerade in der Richtung nach Krain. Sie bezeichnet den Weg, auf dem sich die alt n Kulturbeziehungen des ungarischen Volkes verwirklicht haben dürften, und stellt eine Erinnerung

[53] Publiziert : *Korompay (Krompecher)*, 1939, S. 246, Abb. 7.

an einen sich über weite Gebiete erstreckenden Zusammenhang von Jagdkulturen dar, der heute nur noch durch die Gleichartigkeit der Bogenfallen aufrechterhalten und symbolisiert wird.

6. Frankreich

In der Literatur finden sich manchmal Hinweise, als ob die französische und die deutsche Bogenfalle zwei verschiedene Belegstücke wären. Es wurde hier bereits erwähnt, dass diese Ansicht auf einem Irrtum beruht : das deutsche Buch (Adelicher Zeit-Vertreiber) ist die Übersetzung eines früheren französischen Werkes (Les ruses innocentes, 1695), wie dies nicht nur auf Grund der Gleichheit der Kapitelüberschriften und der Abbildungen, sondern auch aus einem Vergleich der die Bogenfallen behandelnden Abschnitte festgestellt werden kann. Hieraus folgt, dass ein Quellenwert nur der früheren, der französischen Ausgabe zukommt ; von ihr darf angenommen werden, dass sie die Beschreibung eines tatsächlich in Gebrauch stehenden Gegenstandes gibt ; die deutsche Übersetzung dagegen beweist vom ethnographischen Gesichtspunkt nichts ausser der Volkstümlichkeit des Buches ; Deutschland ist also als — im ethnographischen Sinn genommenes — Verbreitungsgebiet der Bogenfalle unberücksichtigt zu lassen. Der Kenntnis über die Verbreitung der Bogenfalle in Westeuropa liegt also bisher lediglich eine einzige, aus dem XVII. Jahrhundert stammende Quelle zugrunde.

Das Wesentliche der umständlichen Beschreibung der französischen Bogenfalle kann wie folgt zusammengefasst werden. In der französischen Ausgabe trägt sie den Namen *arbalête* (d. h. Armbrust), während sie im deutschen Text *Palester* genannt wird. [54] Sie ist ein recht langes (3½ Fuss), dünnes (6 Zoll) Fanggerät für Ratten. Sie wird mit ihrem sich verjüngenden Ende waagerecht in die Risse der Steinmauer der Obstgärten gesteckt, so dass der Bogen nach abwärts blickt. Als Lockspeise werden in sie gekochte Nüsse, Speckschwarten, Kerzen, gekochte Birnen, Kastanien oder andere Nahrungsmittel gelegt. Der französische Autor *(Fortin?)* hält diese Falle für die wirksamste gegen Ratten und veranschaulicht auf drei Abbildungen die Art und Weise ihrer Anfertigung, ihrer Aufstellung und ihrer Auslösung.

Bei Betrachtung dieser Fallen ergibt sich als erster Eindruck, dass die französische Falle vom Gesichtspunkt der Form und des Aufbaues ein weiteres Abrücken vom uralischen Typ bedeutet. Ihre Ausführung trägt den Stempel des Strebens nach weiterer technischer Vervollkomnung (Abb. 18). Der Bogen ist auf den Fallenkörper mit einem Haken befestigt. Es ist wahrscheinlich der besonderen Aufstellungsweise der Falle zuzuschreiben, dass ihr zum Fangen bestimmter Teil (mit dem Schieber) nur ungefähr die Hälfte der Fallenlänge ausmacht : das über die Befestigungsstelle des Bogens hinausragende Endstück muss nämlich in den Mauerriss hineingesteckt werden.

[54] *Fortin*, 1695, S. 227 ; Adelicher Zeit-Vertreiber Cap. 31.

Bei der Auslösung sind zwar sowohl der Klemmer als auch die Schnur vorhanden, doch beide in doppelter Zahl. Die eine Schnur führt zum Bogen, die andere zum Querholz. Die an den beiden Schnurenden hängenden kleinen Klemmer müssen ineinandergesteckt und so in die Öffnung der Falle getan werden, dass sie in der Öffnung das Zurückklappen des Schiebers verhindern. Das Zerren des am längeren Klemmhölzchen befestigten Köders verursacht

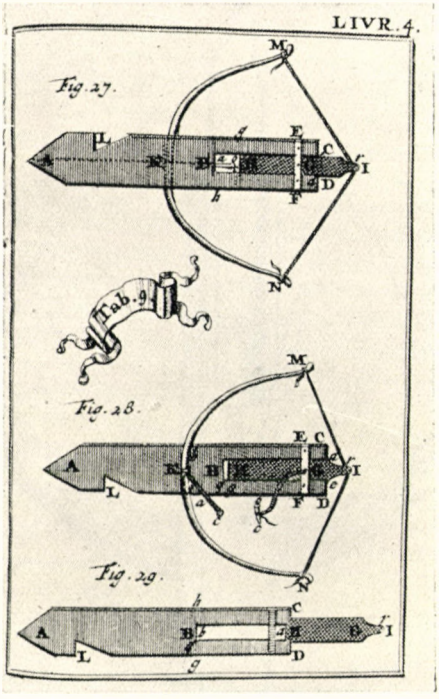


Abb. 18. Französische Rattenfalle. Nach Fortin

dann das Umfallen der beiden Klemmer, wodurch der Auslösemechanismus in Tätigkeit gesetzt und das Tier in der Öffnung der Falle festgeklemmt und gefangen wird. Eine so späte Modifikation des Auslösesystems ist nur noch in Finnland anzutreffen, wohin nunmehr der nächste Schritt führen soll. Eine Bewertung der französischen Angabe soll nach der Beschreibung der finnischen Daten zusammen mit diesen erfolgen.

7. *Finnland*

Die finnische Bogenfalle war in der Literatur bisher nur auf Grund einer einzigen Angabe bekannt, die in der grossen finnischen Ethnographie von *Sirelius* vorkommt. Sozusagen durch einen Zufall war es dann dem Verfasser geglückt, im Museum der Vaterländischen Gesellschaft in Kuopio auf ein

zweites Exemplar zu stossen, so dass nun auf Grund der damals angefertigten Zeichnungen und der vom Museum erbetenen und erhaltenen Photographie die Kenntnisse über dieses Stück durch neue Beiträge ergänzt werden können.

Sirelius gibt über die von ihm erwähnte Falle an, dass sein Name *linnunnakki* ist, dass es zum Eichelhäherfang verwendet wird und aus Mittel-

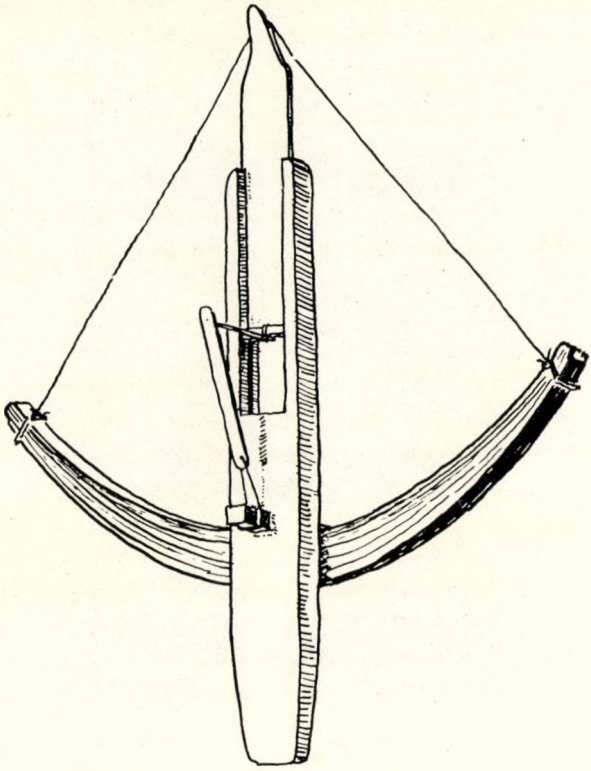


Abb. 19. Finnische Eichelhäherfalle. Mittelfinnnland. Nach Sirelius

finnland stammt. Eine nähere Ortsbezeichnung fehlt. Der Gegenstand selbst war im Jahre 1938 im Nationalmuseum von Helsinki nur aus *Sirelius'* Beschreibung bekannt (Abb. 19). Diese lautet : »An den an seinem oberen Ende gegabelten Schaft wurde ein Bogen aus Wacholder oder einem jungen Fichtenstämmchen befestigt. Der Pfeil, ein dünnes Brett, lief in den Schenkeln der Gabelung, und mit dem an den Gabelenden angebrachten Querholz war ein Klemmer verbunden. Beim Spannen wurde das Schlagstück auf das kürzere Ende des Klemmers gehoben ; das längere Ende wurde in der Kerbe einer kurzen Latte befestigt, die wieder unten für den Köder an einen Zapfen gebunden war. Wenn der Vogel, ein Eichelhäher, sich in die Gabelung gesetzt hatte und an dem Köder

pickte, löste er den Klemmer von der Köderlatte, entspannte das Schlagstück und blieb zwischen diesem und den Gabelschenkeln hängen.«[55] Aus der Beschreibung ist ersichtlich, dass auch hier, so wie bei der französischen Falle, das Wesen der Auslösevorrichtung im Ineinanderstecken von zwei Stäbchen (Klemmern) besteht. Aus seinen Worten, dass sich der Eichenhäher auf den unteren Teil der Gabelung setzt, konnte die Tätigkeit der Falle so aufgefasst werden, dass sie vielleicht in senkrechter Lage aufgestellt wurde. Aus der neuen Angabe geht hervor, dass diese Deutung unrichtig war.

Die Falle des Museums in Kuopio wurde in Konnevesi gesammelt und im Jahre 1936 in das Museum gebracht. Ihr Name lautet: *tiiaisen nakki*, d. i. Meisenfalle. Ihre Gesamtlänge beträgt (nach Auslösung) 42 cm, ihre Breite 5,5 cm. Der in ihr befindliche Schieber ist 25 cm lang, d. h. ein gutes Stück länger als die Hälfte des ganzen Gegenstandes. (Bei der französischen Angabe ist das Verhältnis eher umgekehrt; bei der Variante von *Sirelius* ist das Verhältnis des Schiebers zur Gesamtlänge der Falle 3 : 5.) Aus der Museumsbeschreibung notierte sich seinerzeit der Verfasser: »Spielzeug von Knaben. Die kleine Falle muss in eine Mauerritze hineingesteckt werden. Als Lockspeise wurde Schmalz in die Falle getan. Hauptsächlich wurden Meisen angelockt.« Eine ähnliche Aufklärung über die Falle gab später (1949) die Museumsleitung, wobei sie die obige Notiz dahin ergänzte, dass »das Spielzeug« im Winter verwendet wird. »Die Falle wird im Winter in eine Spalte der Aussenmauer des Hauses gesteckt und als Lockspeise Talg hineingelegt. Die in die Falle geratenen Meisen wurden lebendig wieder freigelassen.« Durch diese Mitteilung ist es nunmehr doppelt erwiesen, dass die Aufstellung der finnischen Vogelfalle genau so erfolgt, wie die der französischen Rattenfalle: damit sie ihrer Aufgabe entsprechen könne, ragt sie in gespanntem Zustand — wie ein Nagel — waagerecht aus der Mauer heraus. Diese überraschende Übereinstimmung hinsichtlich der Funktion kann auch bei weiteren Vergleichen als Leitstern dienen. Diese sollen nun derart durchgeführt werden, dass zuerst die beiden finnischen Varianten miteinander verglichen werden, wonach dann die französische Falle den finnischen gegenübergestellt wird.

Die Falle aus Konnevesi weist folgende Einzelheiten auf (Abb 20). Der Fallenkörper besteht aus Fichtenholz, der Bogen aus Wacholder. Der Bogen wird (so wie bei *Sirelius)* hinter einem senkrecht in den Fallenkörper getriebenen Bolzen angebracht. Bei der ganzen Falle ist kein Nagel notwendig. Für den Schieber ist in der Innenwand des Astteiles eine Rinne ausgeschnitzt. Die Sehne ist nicht wie gewöhnlich bei den Fallen geschlossenen Typs durch ein am Ende des Schiebers befindliches Loch durchgezogen, sondern schmiegt sich, wie auch bei *Sirelius* [56], in eine Vertiefung des Schiebers. Es ist wahr-

[55] *Sirelius*, 1919, S. 88—89.
[56] Ausnahmsweise auch in Ungarn, s. die Angaben Nr. 93—95, 97, 106, 108.

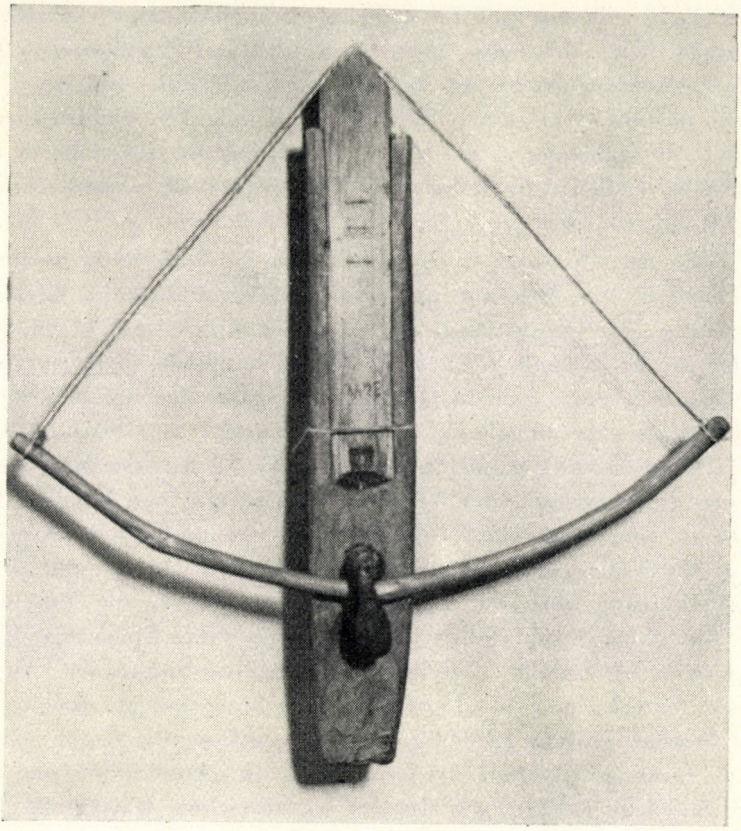


Abb. 20. Finnische Meisenfalle. Konnevesi. Museum der Vaterländischen Gesellschaft, Kuopio (Finnland)

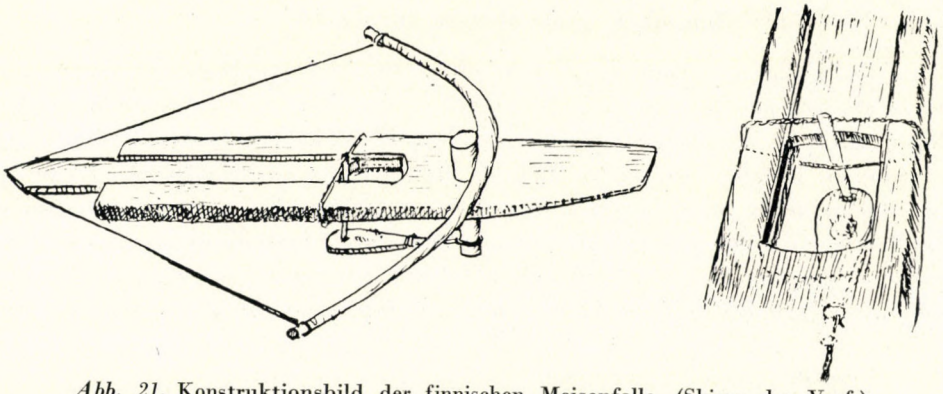


Abb. 21. Konstruktionsbild der finnischen Meisenfalle. (Skizze des Verf.)

scheinlich, dass die Variante von *Sirelius*, schon infolge ihrer Bestimmung grösser ist als die Meisenfalle aus Konnevesi. Der einzige bedeutendere Unterschied in bezug auf ihre Form ist das Fehlen des zur Auslösevorrichtung gehörenden Querholzes bei der Meisenfalle. Dieses Querholz wird dort an der entsprechenden Stelle, oberhalb der Fallenöffnung, durch eine doppelt um den Fallenkörper geschlungene Schnur ersetzt, wobei aber diese Bindung das Auslösesystem nicht verändert. Die hier gezeigte Skizze, die vom Verfasser seinerzeit in Kuopio angefertigt wurde (Abb. 21), zeigt ihre Identität mit den Prinzipien der Variante *Sirelius*', nur das Hölzchen, auf das der Köder gelegt wird, weist hier eine Löffelform auf, weshalb es auch vom Direktor des Museums Talgtöpfchen *(talikuppi)* und Talglöffel *(talilusikka)* genannt wurde.

Wenn man all dies mit der französischen Falle vergleicht, so gelangt man zu folgendem Ergebnis. Die wichtigste Übereinstimmung, auf deren Spur weitergegangen werden soll, besteht in der bereits erwähnten Art und Weise der Verwendung. Es ist auch eine Übereinstimmung in betreff auf den Köder vorhanden (Talg). Ähnlich ist auch die Befestigung des Bogens an die flache Seite des Fallenkörpers. Weiters lässt sich auch beim Querholz der gleiche Verwendungszweck feststellen : der eine Klemmer wird daran festgebunden. Im allgemeinen stimmt jener wesentliche Grundsatz der Auslösevorrichtung bei den drei Fallen überein, dass der Schieber — nicht wie bei der uralischen Falle durch einen Spannhebel, und auch nicht wie bei der ungarischen Falle durch eine über den Behälter geworfene Schnur, sondern — unmittelbar an der Fallenöffnung zurückgehalten wird. Zweifelsohne ist dies die primitivste, doch in diesem Falle die späteste, weil degenerierte Auslösungsart. Im allgemeinen stimmt auch das Gesamtbild der in Zeit und Raum so entfernten finnischen und französischen Falle miteinander überein.

Der Unterschied zwischen ihnen besteht natürlich vor allem in ihrem Jagdziel — der Meisenfang erfordert eine viel empfindlichere Auslösevorrichtung als die Rattenjagd — und ausserdem auch noch in den Einzelheiten der Auslösung. In der finnischen Falle bilden die beiden ineinandergreifenden Hölzchen auf der dem Boden zu gerichteten Seite einen rechten Winkel ; dieselben Hölzchen sind bei der französischen Falle in der Öffnung in einer Linie anzutreffen. Dies ist ein geringfügiger, aber keineswegs unbedeutender Unterschied, der bei der finnischen Falle vielleicht durch die analoge Einwirkung der ganz ähnlichen Klemmerverbindung der in Osteuropa (auch in Ungarn) verbreiteten, für den Mäusefang bestimmten Schlagfalle (oder wie sie in der Ethnographie genannt wird : Brettfalle) und der Torsionsfalle (auf finnisch gleichfalls : *nakki)* erklärt werden kann.[57]

Wenn man nun als Wesen des Auslösesystems die so ineinandergreifenden beiden Hölzchen ansieht (unabhängig davon, ob sie sich unter oder in der Fallen-

[57] Beispiele : *Györffy*, 1934, Abb. 87 ; *Ecsedi*, 1933, Abb. 19 ; *Sirelius*, 1919, S. 131, Taf. IX. Abb. 1—3.

öffnung befinden), so können der französische (deutsche) und der gemeinsame finnische Typ scharf den mitteleuropäischen (ungarischen, bessarabischen, krainischen) Realisationen der Bogenfalle gegenübergestellt werden. Zwischen diesen beiden grossen Gruppen lässt sich kaum ein Zusammenhang erkennen. Die französisch-finnische Falle stellt ein weiteres Abrücken vom uralischen Typ dar als z. B. die ungarische. Von jener hat sie sich — wenn es der Verfasser richtig beurteilt — in zwei Stufen entfernt, was 1. durch den Wegfall des Spannhebels und 2. durch die oben beschriebene Ausführung der Zurückhaltung der Auslösevorrichtung gekennzeichnet wird. An der ersten Entwicklungsphase nahmen auch die mitteleuropäischen Typen teil, woraus sich auch das Geschlossenerwerden der Falle in Europa sozusagen auf der ganzen Linie ergibt ; in der zweiten Phase stehen die französische und die finnischen Fallen — bei Auftreten von entsprechenden Formmerkmalen, die diese Typen von den mitteleuropäischen trennen — allein da.

Über ihre Verbindung mit dem uralischen Verbreitungszentrum kann kein Zweifel bestehen. Es kann angenommen werden, doch ist es schwer zu beweisen, dass jene Falle, aus der sich dann die Vogelfalle entwickelte, von den Finnen aus dem Ural mitgebracht wurde. Eine andere Frage ist dagegen, wie die Falle nach Westeuropa geraten ist. Soll man hier von einer westeuropäischen Übergabe einer finnischen Vermittlung sprechen oder soll man umgekehrt von der Vorstellung ausgehen, dass eine Welle der westlichen Verbreitung nach Finnland verschlagen wurde? Uns scheint die letztere Erklärung weniger wahrscheinlich als die erstere und da unser Beweismaterial noch einer Ergänzung bedarf, werden wir noch auf diese Frage besonders im Nachtrag II dieser Arbeit zurückkommen.

Wenn man alles zusammenfasst, so kann die europäische Verbreitung der Bogenfalle mit vollem Recht als finnisch-ugrisches Problem bezeichnet werden. Zu einem solchen Problem wird sie gestempelt einerseits durch die oben erörterten Zusammenhänge der ungarischen Falle mit der bessarabischen und krainischen Falle, und andererseits durch die offensichtliche Übereinstimmung des finnischen und französischen (deutschen) Typs. Doch nicht nur ihre extremen Abkömmlinge, die europäischen Typen, die ja ziemlich vereinzelt auftauchen, und dementsprechend sich auch im Gebrauchszweck unterscheiden, sondern vielmehr die auch heute im Uralgebiet lebenden finnisch-ugrischen Völker (diesseits des Urals die Syrjänen und Tscheremissen und jenseits davon die Ob-Ugrier) bezeugen den Anteil der Finnougrier an diesem alten Fanggerät. Gerade wenn man an den Ursprungsort, an die als finnisch-ugrisch nachgewiesene ursprüngliche Umgebung des geschlossenen Typs der Falle denkt, so kann man nicht umhin, in der europäischen Geschichte der Bogenfalle die Finnougrier, ihre einzelnen nach Süden und Norden verschlagenen Stämme, als ursprüngliche Initianten und Vermittler der westlichen Verbreitung und Weiterentwicklung zu betrachten.

Dies muss um so eher betont werden, als einer der angesehensten Forscher, *Vilkuna*, im Jahre 1938 folgendes über die finnisch-ugrische Frage schrieb: »Wir haben uns gewöhnt von einer finnisch-ugrischen Kultur zu sprechen und haben diese häufig so aufgefasst wie irgendeine nationale Einheit und ein übersichtliches Gebiet. Leider gibt es aber ein solches nicht, wenn man nämlich unter finnisch-ugrischer Kultur Kulturerscheinungen versteht, welche sich nur im Besitze der finnisch-ugrischen Völker befinden und welche die anderen Völker nicht kennen, höchstens als Lehnelemente; welche man also auf den Kulturschatz einer gemeinsamen Urzeit zurückführen könnte. Doch gelang es nicht, auch nur eine einzige, diese Erfordernisse befriedigende Erscheinung nachzuweisen. Man sprach z. B. über den finnisch-ugrischen Bogen — das Wort ist alt —, doch weist der finnisch-ugrische Bogen dieselbe Struktur auf wie bei vielen anderen Nachbarvölkern. Dies ist auch der Fall im Zusammenhang mit vielen sog. finnisch-ugrischen Fang- und Fischereigeräten. Ihr Verbreitungsgebiet folgt überhaupt keinen nationalen Grenzen und sie sind auch sonst nicht typischer für die finnisch-ugrischen Völker als für viele ihrer Nachbarn«.[58]

Auf Grund der vorliegenden Abhandlung dürfte es wohl klar geworden sein, dass diese Meinung — ein zu ihrer Zeit gefälliger und kritischer Standpunkt — nicht vollständig der tatsächlichen Lage entspricht. Als Kritik leistet sie insoferne gute Dienste, als sie dort zur Vorsicht mahnt, wo man bisher leichthin von finnisch-ugrischen Theorien sprach, die aber noch nicht genügend untermauert waren. Doch gerade weil sie verallgemeinert, übertreibt sie auch. Was die Fallen anbetrifft, so ist deren Verbreitung keineswegs so unempfindlich gegenüber den Beziehungen zwischen den einzelnen Völkern und gegenüber den Grenzen der einzelnen Jagdkulturen, wie es in der kühnen Verallgemeinerung von *Vilkuna* heisst. Die Bogenfalle und vielleicht auch einige andere Fallen ausser ihr können als Beispiel dafür dienen, dass ein waches Verfolgen des finnisch-ugrischen Standpunktes in der Ethnographie nicht hoffnungslos ist. Die in vorliegender Abhandlung angeführten Ergebnisse und Folgerungen dürfen zumindest bewiesen haben, dass die Bogenfalle eine vom finnisch-ugrischen Gesichtspunkt (um einen Ausdruck *Vilkunas* zu gebrauchen) »typische« Erscheinung darstellt, die typischer für die Finnougrier ist als für viele ihrer Nachbarvölker. Vorausgesetzt, dass das Verhältnis der verschiedenen Varianten zueinander im Laufe der vorliegenden Besprechung der Falle richtig beleuchtet wurde, kann nach der Meinung des Verfassers auch kein Zweifel darüber bestehen, dass zumindest dieser Gegenstand alle Kriterien erfüllt und allen Anforderungen gerecht wird, die von den gestrengen Richtern der »finnisch-ugrischen Ethnographie« dieser gegenüber gestellt zu werden pflegen!

[58] *Vilkuna*, 1938, S. 316.

B. DIE SÜDLICHEN BEZIEHUNGEN DER SIBIRISCHEN BOGENFALLE

Bisher wurde die Entwicklung der Bogenfalle behandelt, wie sie in einer geraden Richtung von Sibirien über den Ural bis zu ihrer Verbreitung in Europa zu verfolgen ist. Jetzt ist es an der Zeit, von dem als einheitlich angesprochenen Standpunkt der sibirischen Bogenfalle, dem durchbrochenen Typ, auf ihre Vorgänger und ihre Beziehungen einen Blick zu werfen, nämlich auf ihre südlichen Varianten. Die bisher geschilderte Entwicklung soll also auch nach rückwärts verfolgt werden, wobei versucht werden wird, eine Antwort auf die Frage zu geben (bzw. neue Gesichtspunkte zur Frage beizusteuern), wie man sich die Entwicklung der Bogenfalle in ihrer sibirischen Heimat vor dem hier beschriebenen Entwicklungsprozess vorstellen kann bzw. wie der Verfasser sie sich auf Grund der bisherigen Fallenforschungen vorgestellt hat.

1. Beziehung zum Selbstschuss

Die Beziehung des Selbstschusses (Stellbogens) zur Bogenfalle ist offenkundig. Die Forscher (z. B. *Sirelius*, *Lips)* betrachteten diese Beziehung stets als selbstverständlich,[59] doch fehlte bisher eine geschichtliche Beleuchtung dieser Frage vom Gesichtspunkt der Auslösevorrichtung. Nun, der Selbstschuss — sowohl der selbsttätige Speer wie auch der selbsttätige Bogen — ist, wie aus dem auf S. 85 befindlichen Angabeverzeichnis ersichtlich, nicht nur im nördlichen sondern auch im südlichen und südöstlichen Teile Asiens verbreitet. Vom Gesichtspunkt der Auslösevorrichtung gibt es zweierlei Auslösemechanismen: allgemein die Schlingenauslösung (Abb. 22) * und seltener die Drückerauslösung (Abb. 23). Aus der Tatsache, dass man die Drückerauslösung nur in Westsibirien bei den Ob-Ugriern antrifft, während die Schlingenauslösung überall im unter-

* Aus dem Tagebuch von *J. Jankó* über seinen ostjakischen Aufenthalt: »31. VIII. 1898. Mittwoch. Meine Ostjaken stellten heute in Kolsomowy den Selbstschuss auf, dessen allgemeiner Name *njuχ-jagol* ist. Seine Bestandteile sind: der Bogen (*f*) *jagol* liegt auf zwei Gabelstützen (*h, h*) *jagoltijuχ*, so dass sein Mittelteil unter die Einkerbung der Achse (*b*) *tlχantiploχ* geklemmt ist; die Achse ruht auf dem Bogen, ihr Ende liegt in der Gabel eines gespaltenen Astes (*a*) *tlχantiploχ purruχjuχ*. An die Achse ist die Schnur (*c*) *kükluχi kajlχ* des sehnenspannenden Klemmers (Spannhebels) gebunden. Der sehnenspannende Klemmer (*d*) *küktlχol* ist unten gabelig und stützt sich mit seiner Gabel auf die Achse. Von seiner Spitze geht die Schnur des Springklemmers (*e*) *küktscholwatjtschondsho* aus, die den Springklemmer in der Mitte umschlingt. Der Springklemmer selbst (*k*) *pünnük* ist an beiden Enden zugespitzt, die eine Spitze passt in eine (obere) Einkerbung (*m*) *tjantjiploχnjulχ* der Achse, während die andere mit dem Endstück der Achse (*l*) *ruχpül* durch die Schlinge der Springschnur (*n*) *juntsuum* verbunden ist. Diese Schnur geht durch die Spalte des Holzes (*o*) *juntsaurplüχjuχ* hindurch, und zwar entsprechend der jeweiligen Grösse des Tieres. Der Pfeil, bestehend aus Eisenspitze *njalwaχ*, Schaft *atnjalwej* und Nock *njalungel*, liegt neben der Achse auf dem Bogen auf, wobei die eine (obere) Nock auf der Sehne ruht. Damit er nicht seitlich abrutscht wird der Stab (*i*) *njolpeu-tinti-juχ* an ihn angelehnt. Das Tier stosst an *n* an, diese reisst die *k* mit *l* verbindende Schlinge heraus, der Klemmer *k* wird frei und *e* wird locker, *d* neigt sich nach rückwärts, daraufhin wird die Sehne des Bogens gelöst und der Pfeil fliegt ab und bohrt sich in den Hals oder in die Brust des Tieres.

Der Selbstschuss wird zur Erlegung des Rentiers, Damhirschen, Bären, Hasen, Fuchses, Otters verwendet, doch erhielt er seinen Namen vom Damhirsch.«

[59] *Sirelius*, 1919, S. 88; *Lips*, 1927, S. 270; so auch *Gunda*, 1940, S. 44.

suchten Material vorkommt, gelangt man zwangsläufig zum Ergebnis, dass die Schlingenauslösung ursprünglicher und älter war und dass die Drückerauslösung des Selbstschusses etwas ganz Neues ist, auf das die Ob-Ugrier vielleicht auf Grund einer Adaptation des bei der Bogenfalle vorhandenen Auslösemechanismus verfallen sind. Im Zusammenhang mit der Schlingenauslösung der Falle ist das Verhältnis wahrscheinlich eher umgekehrt. Interessant ist,

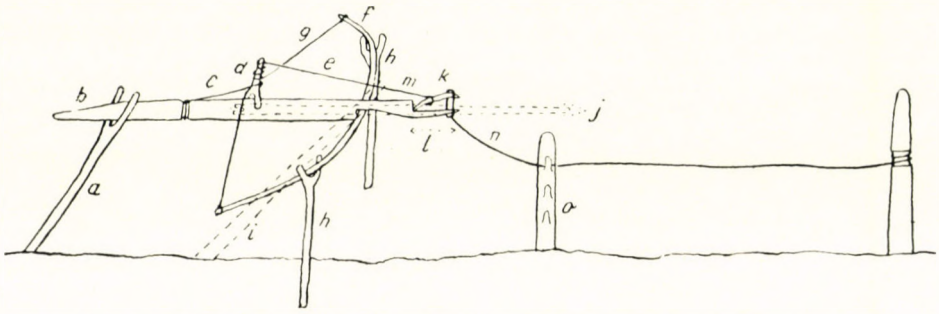


Abb. 22. Ostjakischer Selbstschuss, Gross-Jugan. Zeichnung und Beschreibung aus dem Tagebuch J. Jankós

dass am Amur zwei Angaben (bei den Ainus bzw. Golden), am Ob drei Angaben (bei den Ostjaken und Wogulen) auch beim Mechanismus der Bogenfalle die Schlingenauslösung anführen;[60] hiervon stammt auch der wogulische Namen

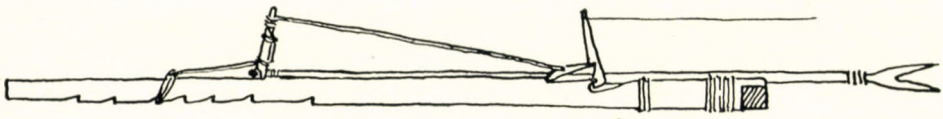


Abb. 23. Längsschnitt des ostjakischen Selbstschusses mit Drückerauslösung. Nach Martin

der einen Falle : *janaŋ*, d. i. »zwirnig«. Woraus besteht dieses Auslösesystem? Das Wesentliche daran ist eine kleine Schlinge, die um den Klemmer gewunden ist ; das Herunterziehen der Schlinge vom Klemmer löst die Tätigkeit der Kraftquelle aus (Abb. 24). Die Schlinge ist beim Selbstschuss mit einem über den Weg des Tieres gespannten Strick und bei der Falle durch Zwirnfäden verbunden. In der Öffnung der Bogenfalle verstellen die Zwirnfäden genau so den Weg des Hermelins wie im Fall des Selbstschusses der ausgespannte Strick den Weg z. B. des Rentieres.

Wenn sich nun aus dem Verhältnis des Selbstschusses zur Bogenfalle der Schluss ziehen lässt, dass die Falle aus dem Selbstschuss entstanden ist, dann ist es auf Grund der Übereinstimmung der Auslösevorrichtung und der Ver-

[60] Im Verzeichnis der Angaben Nr. 21, 25 und 54, 56, 59.

breitung wahrscheinlich, dass die ursprüngliche Auslösevorrichtung der Bogenfalle die Schlingenauslösung war. Dieser Gesichtspunkt erschliesst endlich ein Kriterium, das im Laufe der Forschung zur Feststellung des Ursprungsortes der Bogenfalle herangezogen werden kann. Aus dem Umstande jedoch, dass die Schlingenauslösungen der sibirischen Bogenfallen ziemlich verschieden sind, ist ersichtlich, dass sich kein einheitlicher Typ auszubilden vermochte:

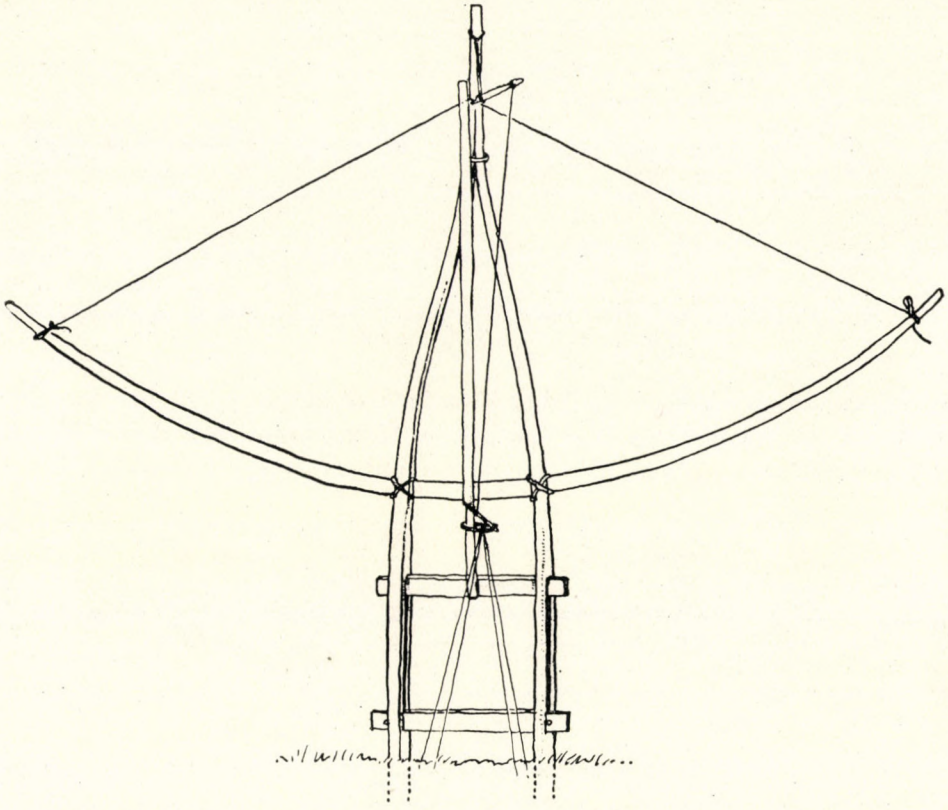


Abb. 24. Ostjakische Bogenfalle mit Schlingenauslösung. Jugan. Nach Martin

bei den Ob-Ugriern steht sie der Drückerlösung nahe, während sie bei den Ainus und Golden in einem Versuchsstadium stecken blieb (Abb. 25). Es musste also eine andere Kulturwelle gekommen sein, welche die Drückerauslösung mit sich brachte und die Schlingenauslösung bei den Bogenfallen verdrängte. Aus dem Erhaltenbleiben ihrer Spur am Ob und am Amur folgt, dass der Übergang vom Selbstschuss zur Bogenfalle in diese Gegend verlegt werden darf, und nicht etwa in das mittlere Gebiet Sibiriens, wo bei den Jakuten und Tungusen die Auslösevorrichtung der Falle und des Selbstschusses einen gegensätzlichen

Charakter aufweist: bei der ersteren ist nur die Drückerauslösung bei der letzteren nur die Schlingenauslösung bekannt.

Hier stellt sich nunmehr zum zweiten Mal — wie schon anlässlich der Analyse der Form der Bogenfalle — die schwierige Frage, in welcher die Meinungen der bisherigen Forscher so sehr auseinandergehen, ob nämlich die

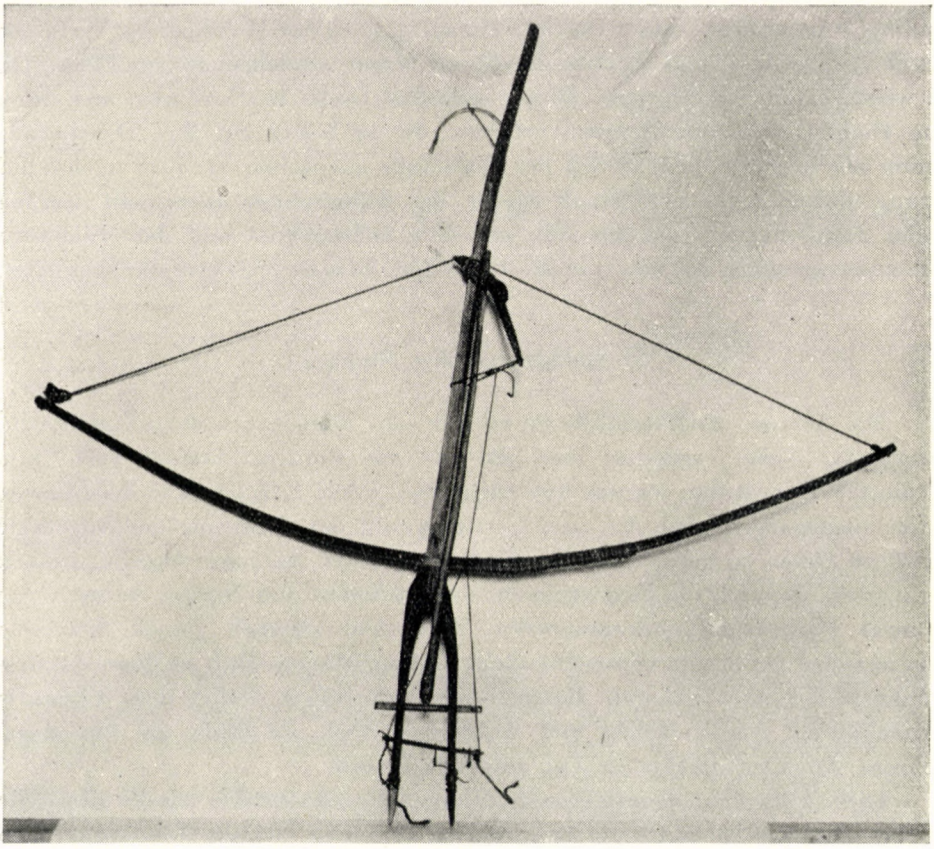


Abb. 25. Bogenfalle der Golden mit Schlingenauslösung. Naicha, Amurgebiet. Ethnogr. Museum, Budapest

Bogenfalle west- oder ostsibirischen Ursprungs ist.[61] Die Prüfung der Form konnte keine Entscheidung bringen, während die Untersuchung der Auslösevorrichtung ihrerseits auch nicht imstande ist, unumstössliche Beweise zu liefern, da aus Ostasien insgesamt zwei Bogenfallen mit Schlingenauslösung bzw. mit einem an sie gemahnenden Auslösesystem bekannt sind (die eine

[61] Die Auffassungen, die mit dieser Frage im Zusammenhang stehen, werden in der vorliegenden Arbeit wiederholt erwähnt: auf S. 34 und 51 und in Anm. 52.

davon im Besitz des Ethnographischen Museums in Budapest). Der Verfasser hatte ursprünglich auch gar nicht die Absicht, über das finnisch-ugrische Problem hinausgehend zu dieser Frage Stellung zu beziehen ; jetzt neigt er jedoch trotzdem eher zur Auffassung von *Lagercrantz*, der öfters, aber stets ohne nähere Begründung, den Ursprung der Bogenfalle aus dem Fernen Osten betonte. Der Grund hierfür liegt darin, dass sich die Drückerauslösung der sibirischen Bogenfalle mit einem aus dem Südosten Asiens kommenden Einfluss in Verbindung bringen lässt; dieser Einfluss konnte — nach der Meinung des Verfassers — Sibirien leichter und rascher am Flusse Amur erreichen als am Flusse Ob, im westlichsten Teil Sibiriens. Dieser südostasiatische Einfluss wird hier durch eine Eichhornfalle aus Assam vertreten, die in bezug auf ihre Drückerauslösung als Vorfahre oder Modell der Bogenfalle anzusehen ist. Erst nach Schilderung dieser Eichhornfalle soll wieder der Selbstschuss untersucht werden, wobei dann versucht werden soll, aus dem Selbstschuss und der Eichhornfalle zusammen den Aufbau und die Form der sibirischen Bogenfalle abzuleiten.

2. Südostasiatischer Einfluss

Die Assamer Eichhornfalle ist ein für ganz Südostasien charakteristisches Fanggerät. Nahe Varianten von ihr sind aus Borneo, Sumatra und China bekannt.[62] Der Grund, warum hier nicht von dieser Variante aus dem Fernen Osten ausgegangen wird, die vom Gesichtspunkt der Ableitung der Bogenfalle aus dem Osten so gelegen käme, sondern von der Assamer Angabe, besteht darin, dass dadurch die Realisationen der im Süden und Norden verbreiteten, in zwei Variationen vorkommenden, doch dem gleichen Zweck dienenden Pelztierfallen am besten veranschaulicht werden können. Nun sei diese Assamer Eichhornfalle einer näheren Betrachtung unterzogen, wobei ihre Varianten vernachlässigt werden sollen und wobei sie selbst natürlich als ein durch mehrere Angaben gestützter Typ angesehen wird.

Diese Falle kann ebenfalls in den Boden gesteckt werden wie die sibirische. Sie besteht aus fächerförmig zusammenklappbaren Stäben sowie aus einer noch sonderbareren bogenartigen Feder, die nach ihrer Auslösung auf den einen Stab einen nach abwärts gerichteten Druck ausübt. Wenn das Eichhorn durch die Falle springen will und dabei die Drückerauslösung in Tätigkeit setzt, wird dieser Stab abwärts, gegen seinen Rücken gedrückt und das kleine Tier ist im Nu gefangen. Der hier verwendete Stab sowie der sonderbare »Bogen« spielen also zusammen dieselbe Rolle, die bei der Bogenfalle dem Bogen, der

[62] Die Angaben für diesen Fallentyp — wobei die Variationen ihrer Auslösevorrichtung in Verbindung mit anderen Kraftquellen ausser acht bleiben — sind : 1. Assam : *Kauffmann*, 1938, Abb. 12. — 2. China, Prov. Kiangsi : *Hommel*, 1937, S. 127. — 3. Sumatra : *Lips*. 1927, Abb. 174. — 4. *Fischer*, 1918, Taf. 10, Abb. 6. — 5. Borneo : *Ling Roth*, 1896, S. 443 ; vgl. *Lips*, 1927, Abb. 173.

Sehne und dem von ihr bei der Auslösung nach unten geschnellten Schieber zukommt. Doch nicht nur die Tätigkeit der Falle sowie die Drückerauslösung zeigen eine Analogie, auch in bezug auf die Form sind Parallelen vorhanden. Vor allem weist der Rahmen der Eichhornfalle, der in die Erde steckbare Stab, das gleiche Äussere auf wie einer der beiden Stäbe des Rahmens der sibirischen Bogenfalle, in dessen Rinne sich der Klemmer und das Schlagstück in einer

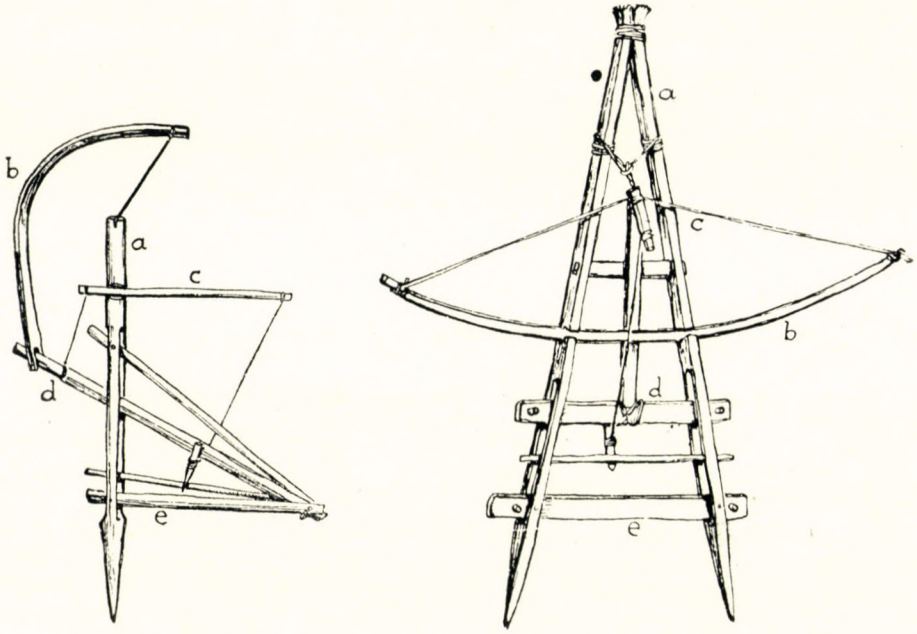


Abb. 26. Die Eichhornfalle von Assam mit der giljakischen Bogenfalle verglichen. Die entsprechenden Teile mit gleichen Buchstaben bezeichnet. Nach Kauffmann und Schrenck

gesicherten Bahn abwärts bewegen können, bis sie sich unten an eine massive Schwelle stossen, die sie zum Stillstand bringt.

Was brauchte es nun, damit aus dieser südlichen Eichhornfalle die nördliche Bogenfalle entstand? Es dürfte wohl auch ohne besondere Inanspruchnahme der Einbildungskraft klar sein, dass sie unschwer zur Bogenfalle umgebildet werden konnte (Abb. 26), wenn man 1. ihr durch Anbringung eines zweiten in die Erde zu steckenden Stabes einen ordentlichen gabelförmigen Rahmen gab, wenn man 2. ihren etwas unbeholfenen »Bogen« durch einen wirklichen Bogen ersetzte und diesen, wie es sich gehört — nach unten blickend —, an den Rahmen befestigte und wenn man 3. schliesslich in konsequenter Folge davon den Pfeil des Bogens wie einen Hammerstiel mit dem nach unten schnellenden Stab der Eichhornfalle vereinte. Dass die so erfolgte Umgestaltung der Eichhornfalle in eine Bogenfalle eine vollkommen reelle Erklärung zum

Verständnis der zwischen ihnen bestehenden Verwandtschaft bietet und dass in dieser »Ableitung« nichts Übertriebenes ist, kann vor allem auch dadurch bewiesen werden, dass kein einziges Teilstück der Eichhornfalle nach dieser Umgestaltung unverwendet blieb. Denn selbst das Gleichgewichtsstäbchen, das in den Einschnitt des Pfahles befestigt ist, kann man — wenngleich verkürzt und in der Mitte an den Rahmen gebunden — in einer mit der alten ausserordentlich übereinstimmenden neuen Funktion d. i. in der Rolle einer zweiseitigen Sicherung des Auslöseapparates bei der Bogenfalle wiedersehen : im wohlbekannten Aufgabenkreis des Spannhebels!

Diese Eichhornfalle ist aber allein nicht genügend, um den Ursprung der Bogenfalle zu erklären. Es wurde bereits erwähnt, dass auch der Selbstschuss dem sibirischen Jäger als Modell diente, als er die Bogenfalle zum ersten Mal erfand und zusammenstellte. Denn die Verbreitung des Selbstschusses ist ja grösser als die der Falle, und der Brauch, das Tier durch sein eigenes Zutun zu erlegen, ist nicht nur eine uralte List der asiatischen, sondern auch der europäischen Jagdkultur. So ist es denn unumgänglich notwendig, die Bogenfalle auch mit dem Selbstschuss zu vergleichen, besonders da Selbstschuss und Bogenfalle auch heute nebeneinander in Sibirien vorkommen und dieselbe Funktion erfüllen, höchstens mit dem Unterschied, dass das eine Gerät gegen grössere und das andere gegen kleinere Tiere verwendet wird. In der Tat ist denn auch dieser Zusammenhang nicht weniger augenfällig als bei der Eichhornfalle, nur dass er sich nicht so sehr auf die Auslösevorrichtung, als vielmehr auf das Gerät als Ganzes sowie auf die Form bezieht.

Der Selbstschuss ist ein starr, bewegungslos mit dem Erdboden verbundenes Gerät. Die Falle ist dies nicht, denn sie kann aufgehoben und überall wieder in den Boden gesteckt werden. Sie ist transportierbar und deshalb technisch entwickelter als der Selbstschuss. Dies bedeutet, dass dieser entwicklungsgeschichtlich als der Vorfahre, als der unmittelbare Vorgänger der Falle bezeichnet werden muss, der auf eine viel grössere Vergangenheit zurückblickt als die Falle. Beim Selbstschuss kommt in Sibirien der Bogen niemals allein vor, er ist immer mit dem Stiel verbunden, wie bei der Armbrust. Der Stiel wieder ruht auf Stützen. Die Tatsache, dass er von hier abgehoben wurde und dass die Stützen weggelassen wurden, war der Ausgangspunkt seiner weiteren Entwicklung. Die Phasen dieser Entwicklung waren dann folgende. Der Stiel des Bogens wurde in zwei Teile gespalten, oder aber wurde zum Bogen ein gabeliges Holz gesucht (vgl. Abb. 25). Dieses nahm, wie bereits gesehen, die Auslösevorrichtung der Falle in sich auf. Der wegfliegende Pfeil des Selbstschusses wurde in dieser Konstruktion als Schlaggerät so fixiert, dass er nur noch eine Auf-und-Nieder-Bewegung vollführen konnte. Als hauptsächlichstes konstruktionelles Erbstück übernahm die Bogenfalle vom Selbstschuss in unveränderter Form den Spannhebel. Beide Auslösesysteme, die Drückerauslösung wie auch die Schlingenauslösung, hatten dies schon längst realisiert. Die Frage bestand

nur darin, ob sich die Schlingen- oder aber die Drückerauslösung bei der Falle durchsetzen wird. Es darf angenommen werden, dass die ersten Versuche mit der Schlingenauslösung angestellt wurden, doch erhellt aus der zahlenmässigen Mehrheit der Angaben, dass schliesslich die Drückerauslösung siegte. Diese wurde dann in einem derartigen Ausmass zum eigentlich typischen Konstruktionsprinzip der sibirischen Bogenfalle, dass sie im Westen, am Ob, selbst die Auslösevorrichtung des Selbstschusses zu verdrängen vermochte. Alle diese Vorgänge dürften jedoch kaum einzig und allein auf Grund der Gesetzmässigkeit der Fallenentwicklung erfolgt sein. Dazu dürfte wohl die ganz ähnlich aufgebaute südostasiatische Eichhornfalle den Anstoss gegeben haben. Die Übernahme des Auslösungsprinzips der Bogenfalle wurde durch den richtunggebenden Einfluss einer analogen Falle gefördert. Deshalb sagte der Verfasser schon in einem früher erschienenen Aufsatz und sagt es auch heute, dass »die Bogenfalle in Sibirien (heute würde er bereits 'Ostsibirien' sagen) unter dem Einfluss von Jagdkulturen aus dem Süden entstanden ist«.[63]

3. Die südlichen Varianten der Bogenfalle

Der Spannhebel, dieser charakteristische Bestandteil der sibirischen Bogenfalle, der auch beim Selbstschuss vorhanden ist und von diesem zur Bogenfalle kam, soll jetzt als Brücke zu den südlichen Varianten der Bogenfalle dienen. Diese Varianten können — wie aus beiliegender Verbreitungskarte ersichtlich — in nicht zu grosser Zahl (insgesamt 19) in drei Erdteilen, nämlich in Afrika, in Abhängigkeit davon in Südamerika und schliesslich in Indonesien nachgewiesen werden.[64] Als Grundlage ihrer Klassifizierung kann ausser der natürlichen Gliederung nach Kontinenten der Gesichtspunkt dienen, ob sie den Spannhebel aufweisen oder nicht. Von diesem Gesichtspunkt trennen sich drei indonesische Angaben von den Inseln Flores und Babber sowie eine afrikanische Angabe aus Madagaskar von den übrigen ab und verraten einen Zusammenhang mit dem Selbstschuss.[65] Es kann nicht der geringste Zweifel bestehen, dass diese — wie dies aus einem Vergleich der Falle von der Insel Flores mit einem Selbstschuss aus Cochinchina hervorgeht (Abb. 27 und 28) — sich unmittelbar aus dem südostasiatischen Stellbogen entwickelt haben. Bei diesen südlichen Varianten wurde nämlich das Konstruktionsprinzip des Selbstschusses von der Elefanten- und Hirschfalle dadurch auf die Mäusefalle übertragen (wie sonderbar auch dieser grosse Unterschied in bezug auf die Funktion erscheinen mag), dass dessen sämtliche Bestandteile, nämlich Pfeil, Bogen und Auslösevorrichtung, auf ein einziges Bambusrohr befestigt wurden. Demgemäss repräsen-

[63] *Korompay*, 1945, S. 11.

[64] Die Klarstellung der afrikanischen Herkunft von zwei südam erikanischen Varianten: *Lindblom*, 1924, S. 56—57.

[65] Im Verzeichnis der Angaben Nr. 15, 17, 18, 19.

tieren auch die südlichen Varianten der Bogenfalle, wie ja auch ihre uralischen und europäischen Typen, den geschlossenen Typ, doch muss betont werden, dass zwischen diesen extremen Verbreitungsgebieten keinerlei geographischer Zusammenhang besteht, es handelt sich hier lediglich um Analogien. In dieser Hinsicht wird hier die Meinung von *Lagercrantz* abgelehnt, der die westafrikanische Bogenfalle als eine europäische Übernahme betrachtet.[66] Nach der Ansicht des Verfassers haben nämlich nicht nur die afrikanischen Angaben nichts mit den europäischen Typen gemein, sondern es ist auch noch keineswegs erwiesen, ja geradewegs unwahrscheinlich, dass die südlichen Varianten der Bogenfalle, also die indonesischen und afrikanischen Fallen, eine unmittelbare Verbindung mit der sibirischen Bogenfalle besitzen, die über die Vermittlung des Selbstschusses hinausgeht. So gehören denn die folgenden kurzen

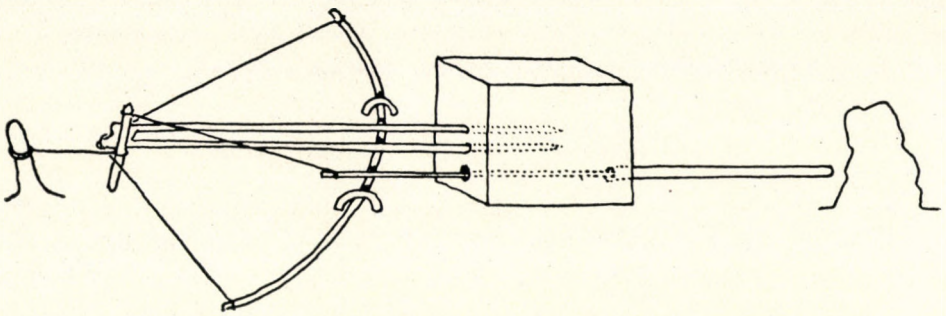


Abb. 27. Selbstschuss in Cochinchina. Nach Montandon

Feststellungen eigentlich nicht mehr in das Kapitel der sibirischen Bogenfalle, sondern stellen eine knappe Aufzeichnung einer Entwicklungslinie dar, die sich im Süden abzuzeichnen begann.

Diese Entwicklung, diese Verbreitung nimmt in Indonesien ihren Anfang und weist gegen Afrika hin, um von dort nach Südamerika überzuspringen. Schon in Indonesien ist der Typ, kaum dass er sichtbar ist, grossen Veränderungen ausgesetzt : seine Pfeile verschwinden, der Bogen wird verdoppelt, und zwar derweise, dass der eine Bogen auch weiterhin die Feder vertritt, während der sekundäre Bogen zum Festhalten der Maus dient. Diese eigentümliche »Neuerung« wiederholt sich auch auf Madagaskar. In Afrika bildet sich die Falle zu einem verhältnismässig einheitlichen Typ aus, der bei der Berücksichtigung des grossen Verbreitungsgebietes jedenfalls als Gegenstand ansehnlichen Alters zu betrachten ist. Der ursprüngliche Typ dieser Falle wird im hier angegebenen Verzeichnis durch sechs afrikanische und zwei südamerikanische Angaben dargestellt. Der Fallenkörper wird meistens aus Bambusrohr gebildet, doch zeigt die *Weule*sche Abbildung, auf die in der Literatur am häufigsten Bezug genommen wird, eine

[66] *Lagercrantz*, 1938, S. 124.

weniger geschlossene Form (Abb. 29), und so lässt sich die Auslösevorrichtung auf dieser Abbildung besser untersuchen. Auch hier hat man es also — wie im allgemeinen so oft bei allerlei Fallen — mit einer gewissen Zusammensetzung

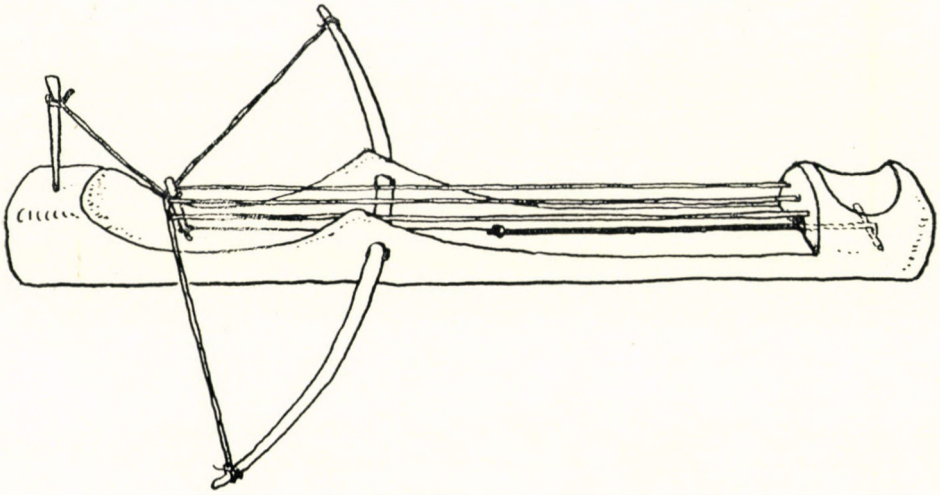


Abb. 28. Mäusefalle. Flores. Nach Kate und Lips

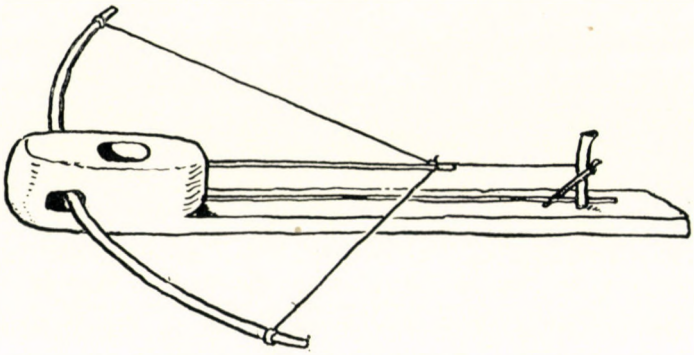


Abb. 29. Rattenfalle. Ostafrika. Nach Weule

der Drückerauslösung, mit einer Verbindung von Klemmer und Drücker zu tun. Die grösste Modifikation gegenüber dem indonesischen Typ, z. B. gegenüber der Falle aus Flores, besteht darin, dass die Sehne des Bogens nicht hinter einem Spannhebel gespannt ist, sondern dass man an der Stelle des Spannhebels einen unbeweglichen Bolzen antrifft, der als fixer Punkt ein Umschlingen durch die Schnur ermöglicht. Diese Falle kommt zwar dem Aussehen nach der ungarischen Zieselfalle ziemlich nahe, doch ist ihre Fallenöffnung nicht durchbrochen und sie wird daher auch nicht über dem Schlupfloch des Tieres aufgestellt. Aus diesem Grunde, und weil zum Fangen der Maus unbedingt ein Köder in sie

gelegt werden muss, entfernt sich aber ihre Konstruktion recht bedeutend von jener der ungarischen Falle. Zwischen diesen beiden Fallen besteht denn auch — wie bereits erwähnt wurde — kein wie immer gearteter Zusammenhang.

Eine andere Degenerationserscheinung der indonesischen und madegassischen Varianten ist ausser dem sekundären Bogen die sog. Abnageaufstellung. Bei diesem Auslösesystem, das alle anderen Auslösungsprinzipien ausser acht lässt, wird die Freisetzung der Kraftquelle auf jenen kleinen Faden abgestellt, der vor dem Köder in der Falle ausgespannt ist. Wenn die Maus an den Köder herankommen will, wird sie von diesem Faden daran gehindert, so dass sie ihn zernagt, wodurch der Auslösemechanismus in Gang gesetzt wird. Dies ist eine

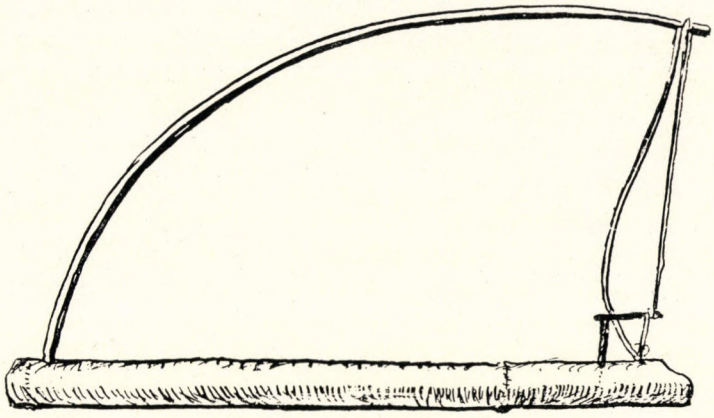


Abb. 30. Hülsenschwippgalgenschlinge. Babber. Nach Lips

sehr primitive, vielenorts anzutreffende Auslösungsart, die durch den typologischen Namen der Springfeder-Mäusefallen (Hülsenschwippgalgenschlinge) auch in Ungarn gut bekannt ist.[67]

Wenn man nun die Geschichte der indonesischen und afrikanischen Bogenfallen weiter untersuchen wollte, so liessen sich auf dieser Spur in Verbindung mit den indonesischen und afrikanischen Typen der sog. Hülsenschwippgalgenschlinge noch weitere Beobachtungen anstellen. Auf Grund dieser Untersuchungen würde es sich dann herausstellen, dass in diesen südlichen, äquatorialen Gebieten die Bogenfalle und die Hülsenschwippgalgenschlinge eigentlich fast der gleiche Typ sind (Abb. 30). Der Unterschied zwischen ihnen ist nur so gross wie z. B. zwischen den gewöhnlichen Zieselfallen Transdanubiens und der »halbierten« Bogenfalle aus Pátka (Abb. 12), die wie erwähnt den Bogen durch eine Schwippgalgenschlinge ersetzen und dadurch die Falle verbessern wollte. Als solche einarmige Bogenfallen treten die auch in Afrika und Süd-

[67] Ein Beispiel: *Ecsedi*, 1933, Abb. 25—26.

amerika heimischen indonesischen Hülsenschwippgalgenschlingen in Erscheinung, in deren Mechanismus sich die mannigfaltigen Variationen der Drücker- und Schlingenauslösung wiederholen.[68]

Aus diesen immer weitere Kreise ziehenden Vergleichen geht letzten Endes die entscheidende Bedeutung hervor, welche die Beobachtung der Einzelheiten der verschiedenen Gegenstände und Objekte für die Ethnographie besitzt. Nur die Analyse vermag die Zusammenhänge aufzudecken, doch ist die Analyse allein natürlich ungenügend: die Gesichtspunkte der Zusammenhänge und Entwicklungslinien können nur als das Ergebnis von tiefschürfenden Studien zutage treten, die ihrerseits wieder auf diesen Analysen beruhen. So konnte denn auch in der Frage der Beziehungen der Bogenfalle der Verfasser solange nicht klar sehen, bis die Beobachtung der Elemente der Drückerauslösung einen Leitfaden aufzeigte, der von der ungarischen Bogenfalle nach Sibirien und von dort nach Südostasien führt. Es stellen sich natürlich ferner die Fragen, wie weit die Drückerauslösung im Zusammenhang mit den verschiedenen Fallentypen sich verbreitet hat, in welchen Typen sie in Erscheinung tritt, von welcher Grundlage und woher ihre ganze Entwicklungsgeschichte ihren Ursprung genommen hat. Ihre blosse Erwähnung sprengt jedoch bereits den Rahmen der vorliegenden Abhandlung, so dass über die diesbezüglichen Forschungen des Verfassers nur in einer anderen, grösseren Arbeit berichtet werden könnte. Hier genüge die Erwähnung, dass Indonesien eben vom Gesichtspunkt der mannigfaltigen Verwendung der Drückerauslösung dasjenige Gebiet darstellt, das mit voller Berechtigung als wahres Ausstrahlungszentrum und Heimat dieses Auslösesystems und der in Verbindung damit erdachten Fallentypen angesehen werden darf.

NACHTRAG I

Ergänzende Literaturangaben

Die vorliegende Arbeit beruht auf dem Vergleichsmaterial, und den Forschungen die vom Verfasser schon im Jahre 1943 im wesentlichen abgeschlossen wurden. Als sich ihm jetzt die Möglichkeit für die Publikation eines Teiles seiner Fallenforschungen bot, war es ihm selbstverständlich mehr daran gelegen, die schon erzielten Ergebnisse mitzuteilen, als neue, inzwischen in der westlichen Literatur aufgetauchte Angaben zu verarbeiten.

Hieraus ergibt sich als Mangel dieser Abhandlung, dass mehrere in den letzten Jahren erschienene Beiträge in ihr nicht mehr berücksichtigt wurden. Wie aus *Lagercrantz*' Contribution to the Ethnography of Africa (1950), S.

[68] Die afrikanischen Hülsenschwippgalgenschlingen für Fallen indonesischer Herkunft erklärt durch *Lagercrantz*, 1938, S. 150.

112—116 ersichtlich, fehlen hauptsächlich zwei Quellen: *Elwin*, The Baiga, London 1939, wo eine indische Variante der Bogenfalle bekannt gegeben wird, und *Mérite*, Les Pièges, Paris 1942, wo, wie es scheint, mehrere volkstümliche Varianten aus verschiedenen Teilen Frankreichs beschrieben werden.

Wer die obigen Auseinandersetzungen über die französische Rattenfalle gelesen hat, wird leicht einsehen, was für hohes Interesse die blosse Existenz von französischen volkstümlichen Varianten für den gesamten französisch-finnischen Fragenkomplex haben kann, und dass auch der Verfasser durch sie gewissermassen seine hier darüber ausgesprochene Meinung bedroht sieht, als er nämlich im Verhältnis der finnischen zur französischen Variante die ersteren als ursprünglicher bezeichnete. Er war jedoch nicht imstande, seine diesbezüglichen Vermutungen zu ändern — da ihm bisher die Arbeit *Mérites* unzugänglich war —, und wird voraussichtlich auf die Frage des Verhältnisses der französischen volkstümlichen Varianten zur französischen Buchvariante und somit der westeuropäischen Verbreitung zu jener in Finnland noch eigens einmal Stellung nehmen müssen.

Dass seine Abhandlung auch sonst nicht als vollkommen abgeschlossen gilt, sondern z. B. auch der ältere krainische Typ noch einer genaueren Schilderung bedarf, um den Zusammenhang mit der ungarischen Zieselfalle endgültig zu beweisen, geht aus dem auf S. 58 Gesagten genügend hervor.

Schliesslich sei darauf hingewiesen, dass die von *Gunda* zuerst in die Literatur eingeführte und auch von *Lagercrantz* neuerdings geteilte Ansicht, dass gewisse archäologische Reste aus Turkestan in den Publikationen *Steins* die Bogenfalle geschlossenen Typs repräsentierten,[69] nach der Auffassung des Verfassers nicht gebilligt werden kann: einerseits, weil sie zu wenig Greifbares für einen Vergleich bieten und eigentlich nur den Fallenkörper aufweisen, und andererseits, weil sie nichts über die Kraftquelle, geschweige denn über den Auslösemechanismus zu berichten wissen.

NACHTRAG II

Zur Stellung der französischen Rattenfalle

Aus der wichtigen Ergänzung, die die Arbeit von *E. Mérite* Les pièges (1942) zur Kenntnis der französischen Bogenfallen liefert, ersehen wir nachträglich, dass es in Frankreich zweierlei Typen von Fallen dieser Art gegeben hat: 1. die Rattenfalle, die durch die Angabe von *Fortin* (siehe weiter oben) und durch die hier auf Abb. 31 wiedergegebene Falle von *Bresse* belegt ist, und 2. die Feldmäusefalle aus der Languedoc. Von der letzteren bringt *Mérite* mehrere Exemplare. Sie befindet sich schon in einem starken Degenerationszustand, was einerseits die Ersetzung des Bogens durch eine neue Kraftquelle, die Stahlfeder,

[69] *Gunda*, 1940, S. 49; *Lagercrantz*, 1950, S. 114.

anderseits die Abnageaufstellung zur Genüge charakterisiert. Übrigens sieht diese Falle von Südfrankreich den ungarischen Zieselfallen nicht unähnlich. Bezüglich der entwicklungsgeschichtlichen Stellung der südfranzösischen Varianten ist man auf blosse Vermutungen angewiesen.

Vom Standpunkt des finnisch-französischen Typs ist der Umstand wichtig, dass die Falle von Bresse, die sonst auch in Poitou vorkommt (und also im Osten und Westen Frankreichs beheimatet ist), sich eng an die Angaben *Fortins* und die finnischen Varianten anschmiegt, ja gewissermassen sogar als ein Bindeglied zwischen Frankreich und Finnland aufzufassen ist.

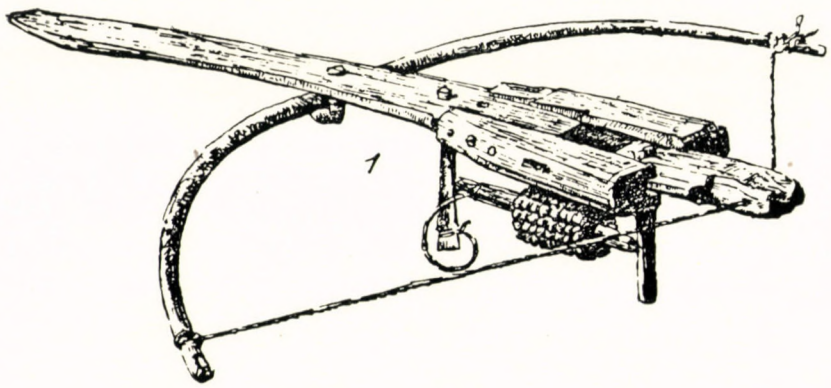


Abb. 31. Französische Rattenfalle von Bresse. Nach Mérite

Sieht man sich die Abbildung von *Mérite* etwas genauer an, so erkennt man, dass der Maiskolben der französischen Rattenfalle ganz dieselbe Funktion erfüllt, wie der »Talglöffel« der Meisenfalle im Museum von Kuopio. Bis in die Einzelheiten lassen sich die Übereinstimmungen zwischen den beiden Typen von Finnland und Frankreich verfolgen (in formeller Hinsicht : die Verlängerung des Fallenkörpers, die Anbringung des Bogens hinter einem aus dem Fallenkörper hervorragenden Pfosten usw. ; in struktureller : der Auslösemechanismus bestehend aus einer Lockspeisenlatte, aus zwei senkrechten Stützhölzern und einer Schnur für die Festbindung der Lockspeisenlatte). So lässt sich unserer Meinung nach die Annahme nicht von der Hand weisen, dass sie auch genealogisch engstens zusammengehören. Unserer Ansicht nach stehen die Fallen von Finnland und die von Bresse einander am nächsten. Auf Grund der Rattenfalle von Bresse lässt sich die Buchvariante von *Fortin* aus dem J. 1695 gut ableiten, die wahrscheinlich eine den volkstümlichen Varianten nachgebildete technische »Vervollkommnung« vertritt.

Als Resultat der Analyse der Angaben von *Mérite* ergibt sich die folgende Behauptung. Obzwar die Bogenfalle in Frankreich weit besser vertreten ist, als es uns bei der Verfassung der obigen Arbeit bekannt war, steht doch

den dort ausgeführten Folgerungen von der östlichen Herkunft dieses Fanggeräts das hier gewonnene Ergänzungsmaterial durchaus nicht im Wege. Die französische Bogenfalle scheint wenigstens einen Teil des Weges, der sie vom Ural nach Europa brachte, in Gemeinschaft mit der entsprechenden finnländischen Falle hinterlegt zu haben.

NACHTRAG III

Vorkommen der ungarischen Zieselfalle in Sowjetrussland

Noch ein Problem verdient hier besondere Beachtung: der interessante Umstand, dass die ung. Zieselfalle in einigen Teilen Südrusslands, namentlich im Don- und Wolgagebiet unverändert aufgefunden wurde. Dies erfuhren wir ganz kürzlich aus einer kleinen im J. 1953 erschienenen und der Schuljugend zugedachten Broschüre *L. Andrejews:* Охота без ружья (Jagd ohne Flinte), wo auf S. 23 bis 25 eine genaue Beschreibung der Bogenfalle *(lovuška-luk* oder *čerkan)* und ihrer Herstellung mit zwei Abbildungen anzutreffen ist.

Die Übereinstimmung geht so weit (sie erstreckt sich bis auf die kleinsten Details des Fangapparates, z. B. auf die Nägel am Ende des Schubers), dass an eine Entlehnung auf natürlichem Wege, d. h. durch geographische Verbreitung unmöglich gedacht werden kann. Das Auftauchen dieser Falle in Südrussland erklärt sich nach Meinung des Verfassers dadurch, dass sie während des letzten Weltkrieges (im J. 1942) von ungarischen Soldaten hierher verpflanzt worden ist. Dass sich damals ungarische Bauernburschen hier tatsächlich mit der Verfertigung von Tier- bzw. Mäusefallen abgegeben haben, ist ihm selbst aufgefallen, als er in einer verhältnismässig stillen Periode des Krieges als Dolmetscher an die Front kommandiert in einigen Dörfern des Dongebiets nach Fanggeräten der dortigen russischen Bewohner forschte und dabei einmal fast den Irrtum beging, solche Produkte ungarischer Soldaten als ursprünglich russische anzusehen.

Die rasche Aufnahme und Verbreitung der ung. Bogenfalle in Sowjetrussland hängt wohl mit der Bewegung zusammen, in deren Dienste die genannte Broschüre steht. Sie hatte sich zum Ziele gesteckt, im Kreise der Leser der Molodaja Gwardija (Junge Garde) Propaganda für den Tierfang schädlicher Nager zu betreiben und konnte in den Jahren 1950 und 1951 — wie die Einleitung der Schrift angibt — schon ausgezeichnete Resultate (den gut organisierten Fang von vielen tausend Zieseln durch Schulkinder) aufweisen.

Es scheinen also triftige Gründe dafür zu sprechen, dass wir es hier nicht mit einer streng ethnographischen Tatsache, sondern mit einer Einwirkung von oben, der Massnahme einer Massenbewegung zu tun haben,

die natürlich vom Ethnographen als solche gewertet und wenn auch nicht unterschätzt, so doch bei seinen Vergleichen beiseite gestellt werden muss. Genaueres lässt sich hierüber leider noch nicht sagen, da die Anfrage des Verfassers an den Autor der erwähnten Broschüre (vom 27. XII. 1953) bis zu dem Zeitpunkt der ersten Korrektur dieser Schrift unbeantwortet blieb.

ANGABEN ZUR VERBREITUNG DER BOGENFALLE

A) Die Varianten aus dem Süden

a) *Afrikanische Auslösung :*

Afrika : **1.** Mittel-Afrika : *Lane Fox*, 1877, Abb. 30. — **2. Ost-Afrika :** *Weule*, 1908, Taf. 37, Abb. 5 a—b, vgl. *Lips*, 1927, Abb. 184. — **3. Ruwuma :** *Fülleborn*, 1906, Abb. 202—203. — **4. West-Afrika :** *Lindblom*, 1926, II, Abb. 45. — **5. Bafia :** *Tessmann*, 1934, Taf. 2, Abb. 1. — **6. Togo :** *Zech*, 1898, S. 114. — **7.** Ebd. : *Lips*, 1927, Abb. 185.
Süd-Amerika : **8. Jamaica :** *Lane Fox*, 1877, Abb. 31. — **9. Surinam :** *Lindblom*, 1924, Abb. 17.

b) *Abnageaufstellung :*

Madagaskar : **10.** *Montandon*, 1934, S. 226. — **11.** *Linton*, 1933, S. 55, Abb. 2 c (sekundärer Bogen). — **12.** *Decary*, 1939, S. 13. Abb. 5 oben (sekund. Bogen).
Sumatra : **13.** *Maass*, 1910, S. 295 (sekund. Bogen).
Babber : **14.** *Lips*, 1927, Abb. 194.

c) *Indonesien :*

Madagaskar : **15.** *Decary*, 1939, S. 19, Abb. 6 (sekund. Bogen).
Celebes : **16.** *Meyer-Richter*, 1903, Taf. 5, Abb. 10 (sekund. Bogen).
Flores : **17.** *Kate*, 1895, Taf. 2, Abb. 17, vgl. Lips, 1927, Abb. 183.
Babber : **18.** *Lips*, 1927, Abb. 193 (sekund. Bogen). — **19.** *Lips*, 1927, Abb. 192 (sekund. Bogen)

B) Eurasien

a) Durchbrochener Typ :

Ainus : **20.** Hokkaido-Sachalin : *Lips*, 1927, Abb. 186. — **21.** *Batchelor*, 1901, S. 463. vgl. *Lips*, 1927, Abb. 187.
Giljaken : **22.** *Schrenck*, 1891, Taf. 43, Abb. 4. — **23.** *Lips*, 1927, Abb. 188. — **24.** Hamburgisches Museum für Völkerkunde, Nr. 20.129 : 102.
Golden : **25.** Amur-Gebiet, Naicha : Ethnogr. Museum, Budapest, Nr. 76476. — **26.** Ebd., Udan : Ethnogr. Museum, Budapest, Nr. 76477.
Tschuktschen : **27.** *Bogoras*, 1904, S. 143.
Jakuten : **28.** Jakutsk : Staatl. Museum für Völkerkunde, Berlin Nr. I. A. 2254, vgl. *Gunda*, 1940, Abb. 6. — **29.** *Bush*, 1971, S. 316. — **30.** *Middendorff*, 1877, S. 612 oben. — **31.** *Seroschewskij*, 1896, S. 304. — **32.** *Karutz*, 1925, S. 75. Abb. 9. — **33.** *Findeisen*, 1934, S. 102. — **34.** *Lips*, 1927, Abb. 190 a—b. — **35.** Staatl. Museum für Völkerkunde, Berlin Nr. I. A. 3287.
Tungusen : **36.** Bulun : *Pfitzenmayer*, 1926, S. 267. — **37.** Podkamennaja Tunguska : Nationalmuseet, Etnogr. Samling, København, Nr. K. 891. vgl. *Gunda*, 1940, Abb. 1 B.
Jenissei-Ostjaken : **38.** Turuchansk-Gegend : *Donner*, 1933, Abb. 21 und 23. — **39.** Ebd. : *Donner*, 1933, Abb. 22. — **40.** Ebd. : *Gunda*, 1940, Abb. 3. — **41.** Ebd. : Wiwa-Fluss : Staatl. Museum für Völkerkunde, Berlin Nr. I. A. 4670. — **42.** *Byhan*, 1909, Taf. 5. — **43.** Suomen Kansallismuseo, Helsinki, Nr. 5090 : 2.
Dolganen : **44.** Turuchansk-Gegend : *Popow*, 1937, S. 175, Abb. 32.
Russen : **45.** Jenissei : Staatl. Museum für Völkerkunde. Berlin, Nr. I. A. 3781. — **46.** *Silantjew*, 1898. S. 185.
Tataren im Altai : **47.** Oirat-Gebiet : *Gunda*, 1940, Abb. 1 A.
Kalmücken : **48.** Staatl. Museum für Völkerkunde, Berlin, Nr. I. A. 1955.

Ostjak-Samojeden: **49.** Narym: Suomen Kansallismuseo, Helsinki, Nr. 4934 : 73. vgl. *Gunda*, 1940, Abb. 2 B. — **50.** Minēl ēd: Suomen Kansallismuseo, Helsinki, Nr. 4934 : 74. — **51.** Tas-Fluss: *Prokofjew*, 1932, S. 9.

Jurak-Samojeden: **52.** Obdorsk: *Lehtisalo*, 1913, S. 13. vgl. *Gunda*, Abb. 2 A.

Ob-Ugrier: **53.** Narym: *Koscharow*, 1890, Abb. 3. — **54.** Vas-Jugan: *Sirelius*, 1919, Abb. 60. — **55.** Ebd.: Suomen Kansallismuseo, Helsinki, Nr. 3904 : 543. — **56.** Jugan: *Martin*, 1897, Taf. 2, Abb. 5—8. — **57.** Mittlerer Ob: Ethnogr. Museum, Budapest, Nr. 40160. — **58.** Ebd.: Ethnogr. Museum, Budapest, Nr. 40159. — **59.** Konda: Suomen Kansallismuseo, Helsinki, Nr. 3904 : 545. — **60.** Soswa: Suomen Kansallismuseo, Helsinki, Nr. 4810 : 142. — **61.** Sygwa: Suomen Kansallismuseo, Helsinki, Nr. 3904 : 541.

Tscheremissen: **62.** Bezirk Birsk: Suomen Kansallismuseo, Helsinki, Nr. 4921 : 133, vgl. *Manninen*, 1934, S. 26 unten.

Baschkiren: **63.** Ihen, ehem. Gouv. Orenburg: Ethnogr. Museum, Budapest, Nr. 83283.

b) Geschlossener Typ:

Samojeden: **64.** *Lips*, 1927, Abb. 191.

Ob-Ugrier: **65.** Mushi: *Sommier*, 1885, S. 243. — **66.** Beresow: Ethnogr. Museum, Budapest, Nr. 31744. — **67.** Ebd.: Ethnogr. Museum, Budapest, Nr. 31745. — **68.** Sygwa: Suomen Kansallismuseo, Helsinki, Nr. 3904 : 546. Wahrscheinlich identisch: *Sirelius*, 1919, Abb. 61. — **69.** Ebd.: Suomen Kansallismuseo, Helsinki, Nr. 3904 : 547. — **70.** Kasym: *Buschan*, S. 297, Abb. 200 : 4. — **71.** *Ahlqvist*, 1885, S. 164. — **72.** Irtysch: Suomen Kansallismuseo, Helsinki, Nr. 3904 : 548. — **73.** *Gunda*, 1940, Abb. 1 C. — **74.** Hamburgisches Museum für Völkerkunde, Nr. 13. 108 : 39. — **75.** *Georgi*, 1776, Taf. 23.

Syrjänen: **76.** Ustsissolsk: *Hofmann*, 1856, S. 40, Abb. 4.

Baschkiren: **77.** Ihen, ehem. Gouv. Orenburg: Ethnogr. Museum, Budapest, Nr. 83282.

Finnen: **78.** Mittel-Finnland: *Sirelius*, 1919, Abb. 62. — **79.** Konnevesi: Kuopion Isänmaallisen Seuran Museo, Nr. 3644.

Franzosen: **80.** *Fortin*, 1695, IV. Abb. 27—29, vgl. Adelicher Zeit-Vertreiber IV. Abb. 27—29. vgl. *Gunda*, 1939, S. 252. Abb. 5.

Bessarabien: **81.** Brienne: *Lagercrantz*, 1940, Abb. 12. — **82.** Teplitz: *Lagercrantz*, 1940, Abb. 10. — **83.** Ebd.: *Lagercrantz*, 1940, Abb. 11.

Krain: **84.** *Koštiál*, 1931, S. 213. vgl. *Urbas*, 1891, S. 375. — **85.** Dobrepolje Gegend: Etnografski Muzej, Ljubljana, Nr. E. 2238. — **86.** Ebd.: Etnografski Muzej, Ljubljana, Nr. E. 2239. vgl. *Mrkun*, 1939, S. 75. — **87.** Ebd.: Etnografski Muzej, Ljubljana, Nr. E. 2229. — 88. Kočevje Gegend: Etnografski Muzej, Ljubljana, Grebenec-Sammlung, Nr. 53. — 89. Ebd.: Etnografski Muzej, Ljubljana, Grebenec-Sammlung, Nr. 59. — 90. Ober-Krain, Mošnje: mitgeteilt von *L. Hadrovics*.

Kroaten: **91.** Brdovec: *Korompay*, 1939, S. 246, Abb. 7.

Ungarn: **92.** Patvarc, Kom. Nógrád: Palóc Museum, Balassagyarmat, Nr. 2764. — **93.** Galgamácsa, Kom. Pest: Ethnogr. Museum, Budapest, Nr. 136176. — **94.** Ebd.: Ethnogr., Museum, Budapest, Nr. 136177. — **95.** Uri, Kom. Pest: Ethnogr. Museum, Budapest, Nr. 133847. — **96.** Kiskunfélegyháza: Kiskun Museum, Kiskunfélegyháza, Nr. 532. — **97.** Halom, Kom. Pest: Ethnogr. Museum, Budapest, Nr. 134767. — **98.** Ebd.: Ethnogr. Museum, Budapest, Nr. 134766. — **99.** Pátka, Kom. Fehér: Ethnogr. Museum, Budapest, Nr. 135963. — **100.** Hercegfalva, Kom. Fehér: István király Museum, Székesfehérvár, Nr. 8657. — **101.** Enying, Kom. Veszprém: Bakonyer Museum, Veszprém, Nr. 2984. — **102.** Csajág, Kom. Veszprém, Bakonyer Museum, Veszprém, Nr. 2545. vgl. *Vajkai*, 1938, S. 156. — **103.** Ebd.: Ethnogr. Museum, Budapest, Nr. 126687, vgl. *Györffy*, 1934, Abb. 81—82. — **104.** Balatonfőkajár, Kom. Veszprém: Ethnogr. Museum, Foto Nr. 71744. — **105.** Nagycsepely, Kom. Somogy: Rippl-Rónai Museum, Kaposvár, Nr. 4738. — **106.** Ebd.: Ethnogr. Museum, Budapest, Nr. 136625. — **107.** Törökkoppány, Kom. Somogy: Ethnogr. Museum, Budapest, Nr. 135845., vgl. *Gunda*, 1940, Abb. 4. — **108.** Ebd.: Ethnogr. Museum, Budapest, Nr. 135847. — **109.** Ebd.: Ethnogr. Museum, Budapest, Foto Nr. 105526. — **110.** Értény, Kom. Tolna: Ethnogr. Museum, Budapest, Foto Nr. 105527.

Degenerierte Varianten:

111. Nagycsepely, Kom. Somogy: Ethnogr. Museum, Budapest Nr. 136626 (Blechverkleidung). — **112.** Csetény, Kom. Veszprém: *Vajkai*, 1938, S. 157 (Feder einer Gärtnerschere). — **113.** Szólád, Kom. Somogy: Ethnogr. Museum, Budapest (Regenschirmdraht). — **114.** Egyházaskozár, Kom. Baranya: *Márkus*, 1940, S. 372 (zwei Gummistreifen). — **115.** Pátka, Kom. Fehér: Ethnogr. Museum, Budapest, Nr. 135961 (Schwippgalgen). —

116. Ebd.: Ethnogr. Museum, Budapest, Nr. 135962 (Schwippgalgen). — **117.** Törökkoppány, Kom. Somogy: Ethnogr. Museum, Budapest, Nr. 135849 (Schwippgalgen).

ANGABEN ZUR VERBREITUNG DES SELBSTSCHUSSES

a) Selbsttätiger Speer:

Assam: **1.** *Kauffmann*, 1938, Abb. 19.
Malaiische Halbinsel: **2.** Sakai: *Hale*, 1885, Taf. 11, Abb. 2. — **3.** Ebd.: *Lips*, 1927, Abb. 167—168.
Indochina: **4.** *Izikowitz*, 1939, Abb. 21.
Sumatra: **5.** *Moszkowski*, 1909, S. 113.
Borneo: **6.** *Skertchly*, 1891, Taf. 6, 8, Abb. 7—9. vgl. *Lips*, 1927, Abb. 169. — **7.** *Skertchly*, 1891, Taf. 9, Abb. 10.
Philippinen: **8.** *Reed*, 1904, S. 45, Abb. 1.

b) Selbsttätiger Bogen (Stellbogen):

Malaiische Halbsinsel: **9.** *Hale*, 1885, Taf. 11, Abb. 3. vgl. *Lips*, 1927, Abb. 175.
Cochinchina: **10.** *Montandon*, 1934, S. 225.
Ainus: **11.** *Batchelor*, 1901, S. 461—462. — **12.** *Lips*, 1927, Abb. 178—179. — **13.** *Munsterhjelm*, 1922, S. 166. — **14.** Riksmuseets Etnografiska Avdelning, Stockholm, Nr. 1514.
Giljaken: **15.** *Schrenck*, 1891, Taf. 43, Abb. 1—3. vgl. *Lips*, 1927, Abb. 180.
Orotschen: **16.** *Margaritow*, 1888, Taf. 2, Abb. 1.
Golden: **17.** *Lopatin*, 1922, Abb. 38. — **18.** Ethnogr. Museum, Budapest, Foto Nr. 22714. — **19.** Ethnogr. Museum, Budapest, Nr. 76470. — **20.** Ethnogr. Museum, Budapest, Nr. 82423.
Tungusen: **21.** *Middendorff*, 1977, S. 606. vgl. *Lips*, 1927, Abb. 181. — **22.** *Pfitzenmayer*, 1926, S. 265.
Russen in Sibirien: **23.** *Moszyński*, 1929, S. 61.
Dolganen: **24.** *Popow*, 1937, S. 164, Abb. 20.
Ob-Ugrier: **25.** *Ahlqvist*, 1885, S. 162. — **26.** *Martin*, 1897, Taf. 2, Abb. 1—2. vgl. *Lips*, Abb. 182. — **27.** Ethnogr. Museum, Budapest, Nr. 31751. (Modell.) — **28.** *Sirelius*, 1919, Abb. 57. — **29.** *Kannisto*, 1928, S. 378. — **30.** *Manninen*, 1934, S. 24. — **31.** Suomen Kansallismuseo, Helsinki, Nr. 3904: 493. — **32.** *Jankó*, II. S. 90.

LITERATUR

Abkürzungen

In den Anmerkungen und im Literaturverzeichnis wurden einige Zeitschriften und fortlaufend veröffentlichte Arbeiten wie folgt abgekürzt:

BA. = Baessler Archiv (Berlin).
DENMÉR. = Dolgozatok az Erdélyi Nemzeti Múzeum Érem- és Régiségtárából (Kolozsvár-Klausenburg-Cluj).
Ethn. = Ethnographia (Budapest).
FUF. = Finnisch-ugrische Forschungen (Helsinki).
IAE. = Internationales Archiv für Ethnographie (Leiden).
JRAI = The Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland (London).
JSA. = Journal de la Société Africanistes (Paris).
JSFOu. = Journal de la Société Finno-Ougrienne (Helsinki).
LS. = Lud Słowianski (Kraków, Polen).
MSFOu. = Mémoires de la Société Finno-Ougrienne (Helsinki).
NÉ. = A Néprajzi Múzeum Értesítője (Budapest). Diese Zeitschrift ist auch unter dem Titel »A Magyar Nemzeti Múzeum Néprajzi Osztályának Értesítője« (Budapest) erschienen.
NyK. = Nyelvtudományi Közlemények (Budapest).
Nyr. = Magyar Nyelvőr (Budapest).
SE. = Sowjetskaja Etnografija (Moskau-Leningrad).
Vir. = Virittäjä (Helsinki).
VSz. = Vasi Szemle (Szombathely, Ungarn).
ZfE. = Zeitschrift für Ethnologie (Berlin-Braunschweig).

*

Adelicher Zeit-Vertreiber Oder Neu-erfundene Jagd-Ergötzungen. 2. Druck. Augsburg o. J. (erste Hälfte des XVIII. Jhs.). IV. Buch, Cap. 31—32.

Ahlqvist, A., Unter Wogulen und Ostjaken. Acta Soc. Scient. Fenn. XIV. Helsingfors, 1885.

Batchelor, I., The Ainu and their Folk-lore. London, 1901.

Bednárik, R., L'udové pol'ovníctvo na Slovensku. Spisy Národopisného Odboru Matice Slovenskej v Turčianskom Sv. Martine. Sväzok 3. Turčiansky Sv. Martin, 1943.

Bogoras W., The Chukchee. The Jesup North Pacific Expediton. Memoir of the American Museum of Natural History, VII. 1. Leiden—New York, 1904—1909.

Borzsák, E., Pákászat Monoron és környékén (Sammeltätigkeit und Wildbeuterei in Monor und Umgebung). Ethn. XLVIII, 1937, S. 450—454.

Buschan, G., Die Völker Asiens, Australiens und der Südseeinseln. Illustrierte Völkerkunde. *(Byhan, A.*, Nord-, Mittel- und Westasien.) Berlin, o. J.

Bush, R., Reindeer, Dogs and Snow-Shoes. London, 1871.

Byhan, A., Die Polarvörker. Leipzig, 1909.

Decary, R., La chasse et la piégeage chez les indigènes de Madagascar. JSA., IX, Fasc. 1, 1939.

Donner, K., Ethnological Notes about the Yenisey-Ostyak (In the Turukhansk Region). MSFOu. LXVI, 1933.

Ecsedi, I., Népies vadfogás és vadászat a debreceni határban és a Tiszántúlon. (Volkstümlicher Wildfang und Jagd im Debrecener Gebiet und jenseits der Theiss.) A Déri Múzeum Néprajzi Osztályának Ismeretterjesztő Közleményei, H. 3. Debrecen, 1933.

Findeisen, H., Menschen in der Welt. Stuttgart, 1934.

Fischer, H. W., Katalog des Ethnographischen Reichsmuseums. Bd. XII. Süd-Sumatra (Sumatra, IV). Leiden, 1918.

(Fortin, F. F.), Les ruses innocentes. Par F. F. F. R. D. G. dit le Solitaire Inventif Suivant la Copie de Paris. Amsterdam, 1695.

Frobenius, L., Völkerkunde in Charakterbildern. Hannover, 1902.

Fülleborn, F., Das Deutsche Njassa- und Ruwuma-Gebiet. Deutsch-Ostafrika, IX. Berlin, 1906.

Georgi, J. G., Kupfer zur Beschreibung aller Nationen des Russischen Reichs. St. Petersburg, 1776.

Gunda B., Előzetes jegyzetek az ijjas csapdák néprajzi problémájához. (Preliminäre Notizen zum ethnographischen Problem der Bogenfallen.) NÉ. XXIX, 1937, S. 439—442.

Gunda B., Néprajzi vonatkozások régi francia vadászkönyvekben. (Ethnologische Beziehungen der Angaben alter französischer Jagdbücher.) NÉ. XXXI, 1939, S. 247—260.

Gunda, B., Die Armbrustfallen in Nordasien und ihre ethnologische Bedeutung. Ethnos, V, Stockholm, 1940, S. 35—53.

Györffy J., Vadászat. (Jagd.) A Magyarság Néprajza. (Ethnographie des Ungarntums.) 1. Ausg. Bd. II. Budapest, o. J. (1934) S. 27—63.

Hale, A., On the Sakais. JRAI. XV, 1885, S. 285—301.

Hofmann, E., Der nördliche Ural und das Küstengebirge Pae-Choi. Bd. II. St. Petersburg, 1856.

Hommel, R. P., China at Work. New York, 1937.

Izikowitz, K. G., Traps from the Lamet and the Puli-Akha, Laos, French-Indochina. Ethnos, IV, Stockholm, 1939, S. 2—20.

Jankó, J., Tagebuch d. Reise in Russland 1897—98. Ungarisch. (Handschrift.) Bd. —II.

Kalima, J., Vogul és osztják kölcsönszók a zürjénben (Wogulische und ostjakische Lehnwörter im Syrjänischen). Nyr. LIX, 1930, S. 72—73.

Kannisto, A., Über die früheren Wohngebiete der Wogulen im Lichte der Ortsnamenforschung. FUF. XVIII, 1927, S. 57—89.

Kannisto, A., Vogulit. In »Suomen suku«, Bd. II. Helsinki, 1928. S. 371—393.

Karjalainen, K. F., Ostjakkeja oppimassa. V. Vachin ostjakit. JSFOu. XX, 1902, S. 3—32.

Karjalainen, K. F., Zur ostjakischen Lautgeschichte. I. Über den Vokalismus der ersten Silbe. MSFOu. XXIII, 1905.

Karjalainen, K. F., Ostjakisches Wörterbuch. Bearbeitet und herausgegeben von *Y. H. Toivonen*. Helsinki, 1948.

Karutz, R., Völker Nord- und Mittelasiens. Atlas der Völkerkunde. Stuttgart, 1925

Kate, H. ten., Beiträge zur Ethnographie der Timorgruppe. IAE. VIII, 1895, S. 1—16

Kauffmann, H. E., Die Fallen der Thadou-Kuki in Assam. ZfE. LXX. 1938, S. 1—18*.

Korompay (Krompecher) B., Finnugor eredetű csapdáink kérdéséhez. (Zur Frage der ungarischen Fallen finnisch-ugrischer Herkunft.) NÉ. XXXI, 1939, S. 239—247.

Korompay B., A finnugorság szerepe az eurázsiai vadászműveltségben (Die Rolle der Finnougrier in der Jagdkultur Eurasiens). Ethn. LVI, 1945, S. 9—14.

Korompay B., A finnugor néprajz válsága (Die Krise der finnisch-ugrischen Ethnographie). NyK. LIII, 1951, S. 292—297.

Кошаров, П., Художественно-этнографические рисунки Сибири. Томск, 1890. № 4.

Koštiál, J., Der Fang des Bilches in Krain. LS. II. Kraków, 1931. S. 212—214.

Lagercrantz, S., Beiträge zur Kulturgeschichte der afrikanischen Jagdfallen. The Ethnographical Museum of Sweden. New Series. Publication No. 5. Stockholm, 1938.

Lagercrantz, S., Über eine Sammlung Jagdfallen von der deutschen Bevölkerung in Bessarabien. BA. XXIII, 1940, S. 1—7.

Lane Fox, Colonel, Catalogue of the Anthropological Collection. London, 1877.

Lehtisalo, T. V., Zur Jagd bei den Juraksamojeden. JSFOu. XXX/2, 1913—18. S. 1—13.

Lindblom, G., Afrikanische Relikte und indianische Entlehnungen in der Kultur der Buschneger Surinams. Göteborgs Kung. Vetenskaps- och Viterhets Samhälles Handlingar. XXVIII, Göteborg, 1924.

Lindblom, G., Jakt- och fångstmetoder bland afrikanska folk. Bd. I—II. Stockholm, 1925—1926.

Ling Roth, H., The Natives of Sarawak and British North Borneo. London, 1896.

Linton, R., The Tanala. Field Museum of Natural History Anthropological Series XXII, Chicago, 1933.

Lips, J., Fallensysteme der Naturvölker. Ethnologica, III. Leipzig, 1927. S. 123—272.

Лопатин, И. А., Голды. Амурские, уссурийские и сунгарийские. Владивосток, 1922.

Maass, A., Durch Zentral-Sumatra. Bd. I. Berlin, 1910.

Manninen, I., Esineellinen kansatiede. Suomen suku, Bd. III. Helsinki, 1934.

Маргаритов, В. П., Об орочах императорской гавани. Санктпетербург, 1888.

Márkus M., Népi vadfogás módjai Nyiregyháza vidékén. (Volkstümlicher Wildfang in der Umgebung von Nyiregyháza.) Népr. Ért. XXIX, 1937, S. 345—350.

Márkus M., Az íjas csapda újabb érdekes változata. (Eine neuere, interessante Variante der Armbrustfalle.) Ethn. LI, 1940, S. 371—2.

Martin, F. R., Sibirica. (Sammlung F. R. Martin.) Stockholm, 1897.

Meyer, A. B.—Richter, O., Celebes, Bd. I. Publikationen aus dem Königl. Ethn. Mus. zu Dresden. XIV. Dresden, 1903.

Миддендорф, А., Путешествие на север и восток Сибири. Часть 2. Санктпетербург, 1877.

Montandon, G., L'ologenèse culturelle. Traité d'ethnologie cyclo-culturelle et d'ergologie systématique. Paris, 1934.

Montandon, G., La civilisation aïnou et les cultures arctiques. Paris, 1937.

Moszkowski, M., Auf neuen Wegen durch Sumatra. Berlin, 1909.

Moszyński, K., Kultura ludowa słowian. Bd. I. Kraków, 1929.

Mrkun, A., Lov na polhe v Dobrepoljski okolici. Etnolog, XII. Ljubljana, 1939. S. 74—81.

Munkácsi B., A votják nyelv szótára. (Wörterbuch der wotjakischen Sprache.) Budapest, 1896.

Munsterhjelm, L., Färder i Fjärrar Östern. Helsingfors, 1922.

Németh Gy., A honfoglaló magyarság kialakulása (Die Entstehung des Ungartums der Landnahmezeit). Budapest, 1930.

Obrębski, J., Przyczynki do łowiectwa wschodniej części półwyspu Bałkańskiego. LS. II. Kraków, 1931, S. 165—181.

Pallas, P. S., Reise durch verschiedene Provinzen des Russischen Reiches. III. Teil. St. Petersburg, 1776.

Pápay, J., Notizen und Texte aus der Gegend von Obdorsk. 24—30 Dez. 1898. (Handschrift.) Im Nachlass J. Pápays im Archiv der Ung. Akademie der Wissenschaften.

Петровић, П., Народне ловачке справе код Срба и Хрвата LS. II. Kraków, 1931. S. 182—197.

Pfitzenmayer, E. W., Mammutleichen und Urwaldmenschen in Nordost-Sibirien. Leipzig, 1926.

Попов, А. А., Охота и рыболовство у долган. Память В. Г. Богораза. Москва—Ленинград, 1937.

Prokofjew, E., Nargь wattь. Leningrad, 1932. (Ostjakisch-szamojedisches Schulbuch.)
Reed, W. A., Negritos of Zambales. Manila, 1904.
Roska, M., Rókafogó csapda. (Falle für den Fuchsfang.) DENMÉR. III, 1912, S. 185—187.
Roth, W. E., An Introductory Study of the Arts, Crafts and Customs of the Guiana Indians. 38 Annual Report of the Bureau of American Ethnology, Washington, 1916—17. 1924.
Руденко, С. И., Башкиры. Том 2. Ленинград, 1925,
Schrenck, v. L., Reisen und Forschungen im Amur-Lande. Bd. III. Die Völker des Amurlandes. St. Petersburg, 1891.
Серошевский, В. Л., Якуты. Том. 1. Санкпербург, 1896.
Силантьев, А. А., Обзор промысловых охот в России. Санктпетербург, 1898.
Sirelius, U. T., Suomen kansanomaista kulttuuria. Bd. I. Helsinki, 1919.
Skertchly, S. B. J., On some Borneo traps. JRAI. XX, 1891, S. 211—219.
Sommier, St., Un' estate in Siberia. Firenze, 1885.
Tessmann, G., Die Bafia. Stuttgart, 1934.
Чебоксаров, Н., Еще раз о некоторых вопросах изучения финноугорских народов. Советская Этнография 1949, стр. 197—204.
Urbas, W., Das Volksleben der Slowenen. Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. Bd. Kärnten und Krain. Wien, 1891. S. 353—378.
Vajkai-Wagenhuber A., Adatok a Bakony gyűjtögető és vadfogó életmódjához. (Zur Sammel- und Jagdtätigkeit im Bakonyer Wald.) VSz. V, 1938, S. 152—163.
Вакарелски, Хр., Ловни способи и уреди. LS. II, 1931, S. 149—164.
Вакарелски, Хр., Бит и език на тракийските и малоазийските българи. Часть 1. Бит. София, 1935.
Valvasor, J. W., Ehre des Herzogthums Krain. Laybach, 1689. Bd. III., Cap. XXX.
Vilkuna, K., Kansatieteellisistä alueista. Vir. 1938, S. 310—321.
Vilkuna, K., Suomalais-ugrilainen kansatiede tietään etsimässä. Vir. 1950, S. 373—384.
Vlahović, M. S., Lov u Kolašinu. Musée Ethnographique de Beograd. Éditions Spéciales. Fasc. 3. Beograd, 1933.
Weule, K., Wissenschaftliche Ergebnisse meiner ethnographischen Forschungsreise in den Südosten Deutsch-Ostafrikas. Mitteilungen aus den Deutschen Schutzgebieten. Ergänzungsheft. Nr. 1. Berlin, 1908.
Wichmann, Y., Die tschuwassischen Lehnwörter in den permischen Sprachen. MSFOu. XXI, 1903.
Wichmann, Y., Etymologisches aus den permischen Sprachen. FUF. XVI, 1923—1924, S. 185—212.
Zech, Gr. v., Vermischte Notizen über Togo und das Togohinterland. Mitteilungen aus den Deutschen Schutzgebieten. Bd, XI. Berlin, 1898, S. 89—161.
Zsirai M., Finnugor rokonságunk. (Unsere finnisch-ugrische Verwandtschaft.) Budapest, 1937.

ПУТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЧЕРКАНА ИЗ СИБИРИ В ЕВРОПУ И ЕГО СВЯЗИ С ЮГОМ

Б. Коромпаи

Р е з ю м е

В течение последних лет много говорилось о том, осуществима ли т. н. финно-угорская этнография. Не только этнографы, находившиеся под влиянием М а р р а, были против сравнения культуры народов, говорящих финно-угорские языки — в целях выявления в них элементов общего происхождения — но и даже этнографы в Финляндии за последнее время пришли к выводу, что о финно-угорской первобытной культуре даже и говорить нельзя, вследствие чего финно-угорская этнография не может пользоваться правом в качестве программы. Исход еще незаконченных прений решится тем, удастся ли найти в культуре »финно-угорских народов« такие элементы, выяснение которых возможно только в определенно финно-угорской перспективе.

Таким, нуждающимся еще в объяснении вопросом — наибольше позволяющим надеяться на то, что именно существуют финно-угорские этнографические вопросы, — является проблема черкана (ловушка-лук). Автор поставил себе целью: 1. выявить связи истории развития сибирского черкана и его европейских вариантов, а 2. предоставить дальнейшие данные к вопросу о происхождении сибирского черкана и о его связях с южными вариантами. В целях достижения первой поставленной задачи, автор рассматривает группы некоторых типов черкана в отдельных главах: 1. в Сибири, 2. на Урале, 3. в Венгрии, 4. в Бессарабии, 5. в бывшей австрийской Крайне (Югославия), 6. во Франции, 7. в Финляндии. Рассмотренные данные для сравнения приведены в списке (117 данных) и на карте.

Результаты, достигнутые автором, резумируются кратко следующим образом: в Сибири известны два главных типа черкана: открытый и закрытый тип. Из того обстоятельства, что открытый тип распространен по всей Сибири, а закрытый тип встречается только на Урале, а далее из рассматривания связей формы двух типов ясно, что закрытый тип создался из открытого типа. Оба типа применяются главным образом для ловли горностая.

Среди венгерских исследователей вопросом черкана наиболее подробно занимался Б. Г у н д а. По его мнению черкан создался и распространялся финно-угорско-ненецким пранародом. По мнению автора, черкан в общем не может быть финно-угорского происхождения, однако значение финно-угорских народов, с точки зрения западни, определяется тем, что они из более распространенного открытого типа на Урале создали закрытый тип, который можно назвать уральским типом.

Производя вывод из слова ч е р к а н, которое, по всей вероятности, подлинное название только закрытого типа западни, можно считать вероятным, что ханты заимствовали западню вместе с ее названием у коми (на северном Урале). Так как аналогичное название черкана встречается в языке удмуртов — живущих подальше к югу — первоначальную роль черкана можно отнести к южным областям европейской стороны Урала, где он среди марийцев и башкирцев существует сплошь до настоящего времени. По теперешнему наличию черкана, предмет известен на восточных склонах Урала среди хантов и маньсей, а на западных склонах Урала у коми, у мари и у башкир; кроме того у нас имеются сведения о его нахождении у ненцев (без точного указания местности).

Самый обильный материал наличия черкана в Европе попадался из Венгрии особенно из Задунайской области, где им широко пользовались. Немецкое население Бессарабии пользуется западней почти того же типа как и венгерский черкан; даже функция западней аналогична: их применяют для ловли суслика. В соседней с Венгрией Крайне (Югославия), словены применяют ту же самую западню для ловли сони (*Myoxus glis. L.*). Но конструкция черкана здесь уже другая. Автор того мнения, что происхождение разницы конструкции объясняется изменением настораживания. Судя из различных описаний, у черкана была еще другая конструкция, которая соответствовала венгерской западне для ловли суслика. По всей вероятности, черкан попал в Крайну пораньше, а в Бессарабию — гораздо позднее, из Венгрии.

Наличие черкана известно также и во Франции и в Финляндии. Во Франции его упоминает древнее описание из XVII-го столетия, а в Финляндии он встречается еще и теперь. Рассматривая эти французские и финляндские типы, автор доказывает существующую между ними связь, которая особенно проявляется в размещении западни (когда ставят западню, ее горизонтально вкалывают в стену). Во Франции черкан служит для ловли крыс, а в Финляндии для ловли соек и синиц.

Наблюдение разнообразных подробностей этой западни приводит к результату, согласно которому среднеевропейские (в Венгрии, Бессарабии, Крайне) как и французские и финляндские типы создались путем упрощения сравнительно более совершенной конструкции уральского черкана: их зависимость от уральского черкана нельзя оспаривать. Черкан закрытого типа в Европе связан с финно-угорскими типами благодаря венгерским и финляндским вариантам. Автор согласен со взглядом Дьёрффи и Гунда, по которым черкан попал в Венгрию одновременно с великим переселением народов, во время переселения венгерского народа из своей древней родины при Урале в среднюю Европу.

В заключительной части автор излагает вопрос о происхождении западни, варианты которой встречаются — хотя и в меньшем количестве, но в большом распространении — в Индонезии, в Африке и даже в Южной Америке. Относительно связей между сибирскими и юговосточноазиатскими вариантами автор того мнения, что последние возникли и распространялись на запад в результате отдельного развития. Исходным пунктом развития — в случае как сибирской, так и индонезийской западни — был самострел, служивший о сновой для образования формы и конструкции черкана. Однако структуру одной частисибирской западни— происхождение настораживания—нельзя вывести из самострела, так как у азиатских самострелов настораживание совсем другое (т. н. петельное настораживание), чем у черканов (у которых мы находим палочное настораживание). В этом отношении, автор, сближает сибирский черкан с одной юговосточноазиатской западней для белок, с системой настораживания, которое в большой степени совпадает с системой сибирского черкана. На этой основе автор предполагает, что сибирский черкан — первоначальный открытый тип западни — создался в восточной Сибири, по всей вероятности, где-то в долинах Амура, под влиянием юговосточноазиатских воздействий.

SOME NOTES ON THE ETHNOGRAPHY OF NEW GUINEA

By
TIBOR BODROGI

Ethnographical Museum in Budapest

INITIATION RITES AND GHOST-CULT IN THE ASTROLABE BAY REGION

Although Astrolabe Bay is one of the earliest known territories of New Guinea we possess comparatively little knowledge of the cultures of the various groups of peoples inhabiting it. In addition, the greater part of the scanty information available dates back to the end of the last century, and refers chiefly to questions of the material culture of the region. Due mainly to the then prevailing poor state of ethnographic study, none of the larger monographic works dealing with the Astrolabe Bay gives a coherent, comprehensive picture of the cultures of the peoples living on its shores. Particularly deficient and incomplete is our knowledge of the social and mental cultural levels, and far from sufficient is that of the distribution of languages, although there exist a few rather solid linguistic works.

Undoubtedly, the fragmentary character of this material, which does not easily lend itself to modern treatment, is responsible for the fact that in the more important, comprehensive discussions on Melanesia Astrolabe Bay receives no or only superficial attention. This is all the more to be regretted as even from the meager information at hand it definitely transpires that this territory is one of the most archaic parts of New Guinea. Obviously, exploration and disclosure of the characteristics of its very ancient culture promise to yield many valuable data to be used in an attempt to unravel the strands of the cultural history of the northern shores that have so far seemed hopelessly entangled and confusing.

The archaic culture of Astrolabe Bay has by now become a thing of the past, a mere memory. The coastline is one of those regions where German colonization began as early as 1884,[1] and the contact with the West soon made the greater part of the items of this old culture disappear. The change took place with amazing rapidity within a few years.[2] While between 1891—93

[1] *Nachrichten*, 1887, p. 9.

[2] *Parkinson*, 1900, p. 18: ». . .on Kaiser Wilhelms-Land too ethnographical material has been disappearing remarkably fast. Since 1887 I have visited that area at various intervals, and I can witness that during these years the ethnographical peculiarities of the tribes there have declined to a great extent, in certain places quite particularly so. In the year 1893 I came to know better the shores from Dallmannhafen up to Berlinhafen. In those days it was a simple

the Hungarian scholar *Samuel Fenichel*[3] was still able to send home to the Hungarian National Museum a great variety of elaborately carved cultic objects, *Lajos Biró*,[4] some years later (around 1897), had to be satisfied with the simplest utensils of everyday life as tangible proofs of the region's culture. The rapidity of this change probably accounts for the fact why the European museums are so scantily provided with objects coming from Astrolabe Bay, if my information on this point is correct. Apart from the collection of *N. N. Miklucho-Maclay* now in Leningrad,[5] the Ethnographical Museum in Budapest alone possesses material sufficient and suitable to give a picture of a wider cultural range on a more comprehensive scale.[6]

Research into the archaic culture of Astrolabe Bay has thus become more and more a study of a historical character that can be pursued only by collecting random notices from the past and chance descriptions, and by examining material of earlier days preserved in ethnographical museums. This remark applies to the initiation rites more than to any other sphere of cultic activity in New Guinea. The change was most rapid in this feature of native life for this custom seems to have been among the first that gave way under the impact of Christian-missionary influences. While the sources from the nineties of the last century abound in material concerning customs and beliefs on initiation, *Aufinger*, in the thirties of the present century, could only record mere scraps, incoherent and disconnected remnants of them.[7]

It follows from what has been so far said that the object of the present paper is to furnish contributory data to the disclosure of the old culture of the Astrolabe Bay peoples and, in general, to the cultural history of the northern shores of New Guinea by collecting, sifting and evaluating the literature extant on initiation and ghost-cult in these regions. Further, it is intended to supplement the picture thus evolved by the publication of those relevant objects kept in the Ethnographical Museum in Budapest that have not yet been made known elsewhere. It seems as if it were appropriate that the concluding chapter to the present paper be written by an ethnographer doing field work.

---

affair to put through an exchange for native objects. On my travels in 1898 and 1899, I found, to my surprise, that a number of objects, which could be easily had five years ago, were no more available, or were supplanted by imitations far below in workmanship from the older specimens.«

[3] *Wichmann*, 1912, p. 539.
[4] *Wichmann*, 1912, pp. 641—643.
[5] Каталог, 1886.
[6] *Biró and Semayer*, 1901. (No items of the *Fenichel* Collection have as yet been published.) Unfortunately, we had no opportunity of inspecting the material in the German museums and had to restrict ourselves to the published material. There is probably a considerable amount of material in the Museum of the Rheinischen Missionsgesellschaft, Barmen. (Völkerkundliche Ausstellung der Rheinischen Mission. Barmen, 1914, pp. 6—10.)
[7] *Aufinger*, 1941.

I.

1.

The first European to land near Bongu in Astrolabe Bay was the Russian ethnographer *Miklucho-Maclay*,[8] and he also was the first who reported on the initiation rites of boys and their circumcision as was then practised by the native population. This is the description he gave : »Boys are circumcised at the age of 13—15. To perform the operation a sharpened flintstone is used. Incisions are made on the prepuce in a way so that the operation should leave one or more circumscribed scars. Circumcision is customary with the Papuans of MaclayCoast,[9] and is generally practiced in most of the villages along the shores and in some localities among the hills of the Island. However, in a few of the higher-lying villages (Englam-Mana, Tongum-Mana, Maragum-Mana) these rites are not practiced, nor are they observed on the Island of Tiara,[10] one of the islands of the archipelago of the 'happy people'.[11] As the initiation rites are thought to display manliness and virility, those who do not practise it, are despised by its professed adherents«.[12]

Dealing with the ethnology of Maclay Coast, *Miklucho-Maclay* describes not only the technique of circumcision but also recognizes that it is connected with initiation rites. He states : »Reliable witnesses have given me the following report on circumcision.[13] The operation is performed on boys of 12—13, and it takes place outside the village in a forest. A sharp shard of a flintstone is used to perform it. Thereafter the party, that consists only of men, leads the initiated back to the village amidst music, songs and general rejoicing. Following circumcision the boy is considered a young man invested with the rights denied to childhood«.[14]

Of the ghost-cult underlying initiation *Miklucho-Maclay* succeeded in ascertaining but little, most probably because he had language difficulties.[15] As can be seen from his communications and judging by the native terms he mentioned, he mainly drew upon the Bongu, Gumbu and Gorendu who spoke

[8] *Miklucho-Maclay*, 1873, a., b., *Miklucho-Maclay*, 1875 ; *Miklucho-Maclay*, 1876 ; Миклухо-Маклай, 1950—1951, I—III ; *Worsley*, 1951—1952 ; *Finsch*, 1888, a. ; *Wichmann*, 1910, pp. 151—154. pp. 184—186 ; *Sokoloff* and *Faivre*, 1947, pp. 93—103.

[9] The name of the present Rai-Coast, according to *Miklucho-Maclay*.

[10] Tiara-Siar. See *Aufinger*, 1942-45, a., p. 631. Map. ; *Nachrichten*, 1893, pp. 56—57.

[11] The name of the islands round Madang and the present Rai-Coast, according to *Miklucho-Maclay*.

[12] *Miklucho-Maclay*, 1873, a. p. 244 ; Миклухо-Маклай, 1950—1951, II, p. 40.

[13] In the following the word »circumcision« will be used in the sense of the German word »Beschneidung«, referring to all types of cuts executed on the penis. The »circumcision proper« is to denote the complete cutting off of the prepuce, i. e. a special type of circumcision as distinct from incision, supra-incision, excision and sub-incision. *Piddington*, 1950, p. 177.

[14] *Miklucho-Maclay*, 1876, p. 299 ; Миклухо-Маклай, 1950—1951, III, p. 84.

[15] *Miklucho-Maclay*, 1876, pp. 303—308 ; Миклухо-Маклай, 1950—1951, III, pp. 90—94; *Hanke*, 1909, p. 4.

the same dialect.[16] »The festivals and everything that goes with them... are called *Ai* in the dialect of my neighbours«.

The festive rites, dances and feasting are performed in a secluded spot that has been specially dedicated to the rites of the *Ai*. Women, children and uninitiated boys are excluded from the festival. »For the purpose of keu-chewing[17] boys are often employed. Some of the initiated young men leave the party and go back to the village, get the chewing performed by uninitiated young boys, who cannot take part in the *Ai*, and then bring the chewed keu to the place of the *Ai*-rites.«[18]

According to *Miklucho-Maclay* feasting is the outstanding feature of an *Ai*-festival. In order to eat and drink undisturbed, children and women are kept away from the festival meals since they might be worrying the men for a share in the repast. To discourage them from approaching, the men employ musical instruments since the womenfolk have been made to believe in the harmful effect of their sounds.

Men are invited from the neighbouring villages for the hosts to receive invitations from their guests on similar occasions in the future.

As a souvenir of a well-spent *Ai*-feast, the lower jawbones of all pigs or dogs killed for the feast, are preserved in the Boamramra.[19]

Other types of festivals are usually held in the months of November and December, in the season when the fruit-crops ripen and the Papuans have less to do on their clearings. One of them, where only men are admitted, is called *Ai-mun*, while another, held within the village with women and children present, is known by the name : *Sel'-mun*. At an *Ai-mun* curious masked processions are formed. Tall wooden figures, called *Aidogan*, are carried from the village to the place of the *Ai* where they receive a new coat of paint and play an important role in the masquerades. The *Aidogan* is a *telum* made of a single tree-stem which is carved into several figures in tiers. The *Ai-mun* lasts for a few days during which time the men work themselves up into a frenzy so that masked procession, feasts, music etc. follow one upon the other through several days and nights almost without abreak for rest. »...sometimes the *Ai* wanders from one village to another. On such occasions a sham fight is fought between the invading *Ai* and the male members of the Sel'-mun«.[20]

[16] The correct way of rendering the word should be Bonů. *Hanke*, 1909, p. 137. As the former way of writing, i. e. Bongu, is universally used, we have adopted it too. The village is situated ca. 5°30' S. and 145°48'7" E. on the shores of Astrolabe Bay. Gumbu lies east of Konstantinhafen, Gorendu to the north. In 1896 these two villages did no more exist, they were united with Bongu. This settlement counted 200 inhabitants in 1900. *Hanke*, 1909, pp. 1—2.

[17] *Keu* ‚Piper methysticum'. *Miklucho-Maclay*, 1876, pp. 28—30 ; Миклухо-Маклай, 1950—1951, III, pp. 112—115, 125—128 ; *Nevermann*, 1938.

[18] *Miklucho-Maclay*, 1876, p. 328 ; Миклухо-Маклай, 1950—1951, III, p. 112.

[19] The correct term for Boamramra is *bōdō*.

[20] *Miklucho-Maclay*, 1876, pp. 332—333; Миклухо-Маклай, 1950—1951, III, pp. 116—117.

Comrie, an Englishman, visited Astrolabe Bay on H. M. S. *Basilisk* in 1874. He made a few observations on the rite of circumcision. »Circumcision was general, and appeared to be performed by a straight incision through the dorsum of the prepuce, there being no ablation of supernumerary skin or mucous membrane ; the cicatrices left were very unsightly and did not speak at all highly for the surgical skill of the operator.«[21] It is regrettable that *Comrie* failed to give exact details of the locality where he had made his observations. He only wrote : »Having visited ..... in 1874, that portion of New Guinea lying between East Cape and Astrolabe Bay.«[22] Judging from the method of operation as described by him, we may assume that his information applies to the coastal region about Astrolabe Bay.

Zöller, who visited Astrolabe Bay in 1888, being mainly interested in Bogadjim and the region round Mount Finisterre, mentions both circumcision and ghost-cult but seems to be unaware of their interconnection. According to him »There can be no doubt that this custom (circumcision) is observed almost all along the entire Astrolabe Bay including the regions lying inland except probably Bokadschim if the information of the missionaries can be relied upon«.[23]

Zöller also reports on the *Asa*-cult of Bogadjim. »We are best informed about the much discussed *Asa*-festival of the village Bokadschim, an important event in the life of the people there. In the village there are neither idols, nor images of the ancestors.[24] The missionaries are of the opinion that certain wooden blocks, painted red, serve in their stead. Although the existence of a temple has so far been denied there can be no doubt that the people of Bogadschim do have a special *Asa*-house and that this may reasonably be looked upon as a kind of temple. The *Asa*-festivals seem to be observed at irregular intervals, and they usually last for several weeks. Visitors crowd together from all over the surrounding country. In the *Asa*-house the visitors stand about, blow their horns and break into shouts of 'chou, hou'.«[25]

The bulk of our information and data derive from the great festival of initiation held in Bogadjim in the year 1893. *Hoffmann*, a missionary of the Rheinische Missions-Gesellschaft, stationed in Bogadjim, wrote the following

[21] *Comrie*, 1877, p. 109.
[22] *Comrie*, 1877, p. 102.
[23] *Zöller*, 1891, p. 278. This assumption of *Zöller*'s is erroneous as we shall see further down by reference to *Hagen*'s statement on the subject. Instead of Bokadschim we have used the form Bogadjim, since this is universally accepted. »The Bogadjim tribe, as *Mr. Kubary* informs us, has a language of its own, differing from both the northern Gorima and the southern Male. They inhabit a single village divided into four parts ; from these Laluhu lies nearest to the coast, Cákuru and Kerin are lying to the north while Bom is the centre of the settlement. The territory of Bogadjim stretches about one mile to the north up to the river Jori-ia . . . The northern branch of the river serves as the border between them and the Gorima-area with the inhabitants of which the Bogadjim tribe has been living in a ceaseless 'feud'«. *Nachrichten*, 1888, p. 20.
[24] *Zöller* is mistaken here too, see *Hagen*, 1899, Table 42.
[25] *Zöller*, 1891, p. 269.

about it on the 3rd March, 1893: »Great festivals are just being held in Bogadjim. The ritual of circumcision was begun two months ago but it has not yet been finished. The thing will last for four months all in all. Three small houses have been erected in different places where the youngsters circumcised, children aged 4—5 and boys 14—15, are kept and are most carefully guarded by the grown-ups. The youngsters come not only from Bogadjim itself but also from all the neighbouring villages and from the hills, so that there is a regular stream of strangers in the village in these days. Work in the fields has entirely stopped. The men are lying about the place of the festival all day long, blow their horns, chatter and drink. The women have to provide the food but the strictest precautions are observed not to allow them to come anywhere near the place of idols. Now and then, and it seems to me mostly when the women are slow in collecting and preparing the taro needed, processions are organised into the village, amidst great shouting and din when the women are expected to take to flight. Two more months and they will make an end of the show amidst great rejoicings after which the young men will be taken back to the village. Great preparations are being made for the closing festival, ornaments are prepared and the so important red colour is made ready to paint the face with ..... the participants are looking forward to the end of the festivals for they are forbidden to drink water all the time through and they may have nothing else to eat but roasted taro ..... They are allowed meat only on certain fixed days and then the meat must be roasted. The other day I saw that they had a snake, 4—5 metres long, and a pig over their fire«.[26]

Another report containing some relevant information appeared in the same year (1893) in *Eich*'s account of his missionary activities in the Astrolabe Bay submitted to the Rheinische Missions-Gesellschaft. *Eich* describes the religious situation in those parts and mentions the *Asa*-rites, too. »Idolatry, in the strict sense of the word, is unknown among the Papuans. The stronghold of the Prince of Darkness consists in the *Asa*-observance which is nothing else but a service of the demons. Only men and grown-up young men are allowed to participate, women and children are completely excluded from it. The *Asa*-festivals or services are usually held outside the village in a remote place where a hut has been built to store the masks and wind-instruments, used at the ritual observances, but these instruments must be neither seen nor heard by the women or uninitiated children. The women are kept in complete ignorance about the *Asa*-observances and are therefore in constant dread of it. Pigs, dogs and fruit sacrificed at the *Asa*-services are eaten up by the men themselves in the greatest secret from the rest of the community.«[27]

[26] *Hoffmann*, 1893, pp. 209—210. *Bartels* is mistaken when he attributes this letter to *Arff*. *Bartels*, 1894, p. 200 (Berichte der Rheinischen Missions-Gesellschaft, 1893, p. 209 contains the following passage: »Concerning the situation in Bogadjim Brother *Hoffmann* writes in his letter of March 3rd this year«.)

[27] *Eich*, 1893, p. 6.

The most detailed description of the *Asa*-observances, however, has been preserved in *Hagen*'s work. In his account of the *Asa*-rites and the rites of the initiation, he relies both on information gained from local missionaries and on his own observations.

Hagen points out that the peoples of Astrolabe Bay are being held together by the strong ties of a secret religious cult which is stronger than the ties of birth or of political organization. In Bogadjim,[28] this secret cult is called *Asa*. The real nature of this cult has not yet been sufficiently cleared up but it seems highly probable that it is a social grouping mainly of religious character. Only men are allowed to take part in the rites of this secret cult, women and children are always rigorously excluded. To the latter the word *Asa* implies something that is a blend of the awful, terrible and supernatural, which threatens the uninitiated with fearful consequences. When the shout is passed around that the *Asa* is approaching, or when the sounds of the *Asa*-instruments are heard even from a distance, the women and the children take to flight in a state of genuine panic.

The elder boys are initiated into the rites of the *Asa*-cult in the course of their circumcision ritual. Among the various rites of the *Asa*-festivals outstanding importance is always accorded to the rites of circumcision and initiation. A youth is being introduced to the secrets of the *Asa*-cult while he is awaiting the healing of his wounds, isolated from the entire village community and hidden in the *Asa*-house *(Asa-tal)*. Thus a certain moral education is also provided along with the ritual of initiation.

The *Asa*-house always lies remote from the village, usually it is built in a forest. As a rule, it is the joint possession of one or more villages. Thus for instance Gorima and Sarrar, two parts of Bogadjim, have a common *Asa*-house. The *Asa*-house is a simple hut with its interior completely shut off from an outside view. It differs from the usual hut of the village only in so far as it is even simpler in its furnishing. The interior is bare except for the sleeping couches set up for the novices. On the walls are hung the dance-masks made of wood that are called *Asa*-heads *(Asa-katé)* since they are used exclusively at the *Asa*-festivals. The ritual musical instruments are also placed along the walls. Such ritual musical instruments are the *Asa*-horns, -flutes, -rattles and -ocarinas. Of late (1894), the men's houses have begun to take over the part played formerly by the *Asa*-houses, and due to this the *Asa*-houses disappear by and by. While the *Asa*-house is communal property of the village, or of that section of the village that took part in its construction,[29] the objects guarded in it

[28] *Hagen*, 1899, p. 222. »The Bogadjim settlement is held together next to the language only by its geographical situation, being the keyposition for commerce with the interior, and by a religious tie, the secret cult of the *Asa*«.

[29] *Hagen*, 1899, pp. 194—195; *Hoffmann*, 1898, a. pp. 72—74.

(masks and musical instruments) remain personal property of the individual participants in the cult.

Initiation rituals are held once in 10—15 years. Their most essential part is circumcision. Circumcision itself is, in actual fact, nothing but an excision since only a small part of the prepuce is removed. In Bogadjim it goes by the name of *mulung-airas (mulung* = prepuce ; *airas* = to drop). The operation can only be performed on boys who already have worn the *mel*[30] which means that they must be at least 3—4 years old. Since initiation festivals are held only at longer intervals, it is obvious that the age of those to be initiated varies between 4 and 19 years. Should, however, a village of friendly commercial relations prepare to hold an *Asa*-festival before one is due again at home, a contingent of boys may be sent along to have circumcision performed upon them there. Nor does it seem unlikely that the *Asa*-festivals are arranged in rotation according to some plan, now in this and then in another village. The native population of Bogadjim assert that in their village the next festival will take place in 15 years.

The initiation rites always take place in summer when the crops have already ripened and before the time for cultivating the new clearing in the forests has arrived. According to *Hoffmann* and *Arff* the festival usually lasts four months.

The beginning of the festival is marked by the segregation of the novices in the *Asa*-house though it is not unlikely that this event may be preceded by other preparatory stages. In the months following the novices are kept on a fast and have to undergo various ritual tests. They are strictly forbidden to partake in cooked meals, to drink water, to wash or to bathe. Women must not set eyes on them during this period and before the closing rites of the festival. The fathers of the novices, and the men invited, put up in a free space in front of the *Asa*-house together with the trading-friends from the other villages. There they spend their time in playing the ritual musical instruments, in dancing and eating. Only roasted taro may be eaten ; meat is kept for the closing feast, and drinking water is just as much forbidden to them as to the novices. In the meantime the fathers work ornaments for their sons to wear, first of all the *tsaue*,[31] a double-plaited armlet band, which the initiated young man receives as a first visible sign of the acknowledgement of his manhood. The absent fathers of strange youths, who came from other villages to be initiated, are represented in the party by a trade-friend in the festive village. It is the duty of the deputy-parent to see to preparing the various ornaments of his protegee and to perform all other rites that are incumbent on the fathers. In such instances the father presents the trade-friend who deputises for him with foodstuffs such

[30] A loincloth made of *tapa*. *Biró* and *Semayer*, 1901, pp. 47—49.
[31] *Biró* and *Semayer*, 1901, p. 43.

as pigs, dogs, taro and other crops. With orphans it is the duty of the next male kin to replace the dead father.

Circumcision is performed in the following manner. The men take the novices to a small rivulet : the *Asa*-square. There a man versed in such operations is called upon to perform the act. He stretches the novice flat on his back. Another man takes hold of the outstretched arms of the youngster while the »surgeon« sits on his thighs. Then the »surgeon« pulls a portion of the prepuce over a small piece of flat wood over which he cuts off a part from its dorsum with one quick incision using a piece of glass for the operation, formerly a sharpened piece of obsidian. The severed particle is then thrown into the river. The wound is washed, leaves are put over it and then it is bandaged. All the operations need not be performed by one and the same man. They may be spread over a few weeks, and the expert absenting himself, some other male member of the party who is sufficiently versed in such procedures may take his place.

The novices spend their time in the *Asa*-house while their wounds are healing. The father of every novice has prepared a small model of a hut which he puts by his son's couch. The model serves as a receptacle for food, and in the mornings the father, or his deputy, places the daily food ration in this receptacle.

On moonlit nights the novices are taken once in every eight nights, later only at full moon, to the river for a bath amidst a festive procession.[32] The party is headed by a few young men playing their *Asa*-ocarinas being followed by a few older men who shout or sing into pumpkin and bamboo trumpets, and these again are followed by the rest of the men who surround the novices and accompany the march by singing or crooning. This uproar mainly serves the purpose of keeping the womenfolk away, but, on the other hand, it is also intended to highten the solemnity of the occasion. Such a festive bathing takes place about five times in the course of a four months' segregation.

The onerous duty of providing for the festive party entirely falls upon the shoulders of the women. They have to procure food for the men engaged in the *Asa*-festivals. If they slacken in their duties, the *Asa* itself warns and threatens them with the direst consequences. The warning for the *Asa* is given by the men who move into the village amidst a terrific din : shouting, making all kinds of noises and beating their drums. Terrified, the women flee from the *Asa* but, as a reminder of its warning, the men drive small sticks into the ground before their homes and fasten fresh leaves on them.

Bogadjim consists of four clearly delimited parts, and out of these parts only Sarrar and Gorima share a common *Asa*-house while the other two parts

[52] This contradicts *Hoffmann*'s statement who reported that during the four months the youths were forbidden to wash or bathe.

of the village have an *Asa*-house each. Therefore it not seldom happens that one *Asa* goes to visit the other in a festive procession.

During the four months of segregation another cultic object is also achieved. It is during this period that the novices come to know the *Asa* and that they are introduced to the *Asa*-cult.

The climax of the festive period is reached with the closing ceremonies that mark the end of segregation when the initiated are allowed to reenter the village. For this solemn occasion meat has been collected of pigs, large snakes, pouched mammals, crocodiles, monitor lizards etc. The meat of these animals is cut into chunks, put into wicker-baskets and smoked over the fireplace in the *Asa*-house. At last the great day itself arrives. According to *Hoffmann*, whose description has been taken over by *Hagen*,[33] the period of the four months came to an end on the 6th of May (1893). The preparations had already been made for the great festival which would take place on Monday. Ropes of rotang were brought and grass and gay coloured plants were wound around them. The food receptacles (models of huts) of the initiated, and flowers etc. were tied on to the rotang ropes, and these garlands were fastened across the road to two palm-trees that stood at the entrance of the village. Obviously, this was meant to be a kind of festive portal through which the relatives of the initiated and the other guests to the *Asa*-festival were to enter the village. Visitors had been pouring in from Saturday on by sea and over land from every direction. On Saturday night there was much excitement in the village. Young and old men were sitting round a huge bonfire at the *Asa*-square singing to the accompaniment of drums until well into Sunday morning. Then commenced the bathing of the novices. After the bath the hair of the novices was shaved off from the forehead, temples and nape including the eyebrows and eyelashes. Nobody slept a wink the following Sunday night either. Monday morning the novices, clean and shaved, put on their *mel*-s, plaited waists and head-dresses, the latter consisting of hen- and parrot-feathers, ornamented with shells and filed dogs' teeth. The festive equipment includes a net bag containing the kit of grown-up men. The bodies of the novices were painted with red, blue and white colours from head to foot. The girls, the small children and the uninitiated boys were similarly decked out and painted late Monday morning.

All the preparations complete, the participants ceremoniously formed a procession. At the head of the group marched an old man with a drum in his hand, behind him came small girls, then the novices followed by the men. The rear was made up by another old man who, like the one at the head, carried a drum. Beating drums and singing, the procession first passed around the village and then went through it and finally settled down at the centre of the village

[53] See also *Hoffmann*, 1894, pp. 57—62.

where everybody received one gulp of water and a piece of roasted pig or snake.[34]

Essentially, this brought the festive cycle to its end, yet some concluding acts deserve mentioning. One of these was that the initiated had to visit the neighbouring villages and there make an ostentatious display of their ornaments. The villages visited were expected to present pigs and dogs to the arrivals. Were the gifts deemed insufficient, another and yet another procession was arranged and if no satisfactory result could be brought about, the stingy villagers were eventually threatened with war.[35]

The *Asa* played an important role not only at the initiation of youths but also at interments. *Hagen* describes the custom for us writing that the *Asa* appears at the bier of the dead person »in order to paint his body. The frightening sounds of the *Asa*-horn are heard from afar, the women take to flight in sudden terror. The blower of the horn appears and paints the dead body red and white, and covers it up with wreathes twisted from the large red roses of the hibiscus. Sounding his horn once more he then disappears«.[36]

About the *Ai*, in Bongu the correlate of the *Asa*, *Kunze* reports an interesting story. Once upon a time, the *Ai*, who was an ogre, lived in the village. He never worked in the fields but always stayed at home. It often happened that when the men came home from their work on the fields, they found some of their children missing. Disgusted with these strange happenings, the men one day stationed themselves in ambush and saw how the ogre killed the children with a spear that were playing in front of his home, how he dragged their bodies into his hut and devoured them there. Infuriated, they banded together to destroy the *Ai*, surrounded his hut, set fire to it and the *Ai* was burnt to death in his own home. After a time a coconut palm and pumpkin grew up on the site and also the tree the seeds of which are now put on the rattles used at the *Ai*-festivals. Ever since the *Ai* refrains from devouring children and lives on pigs.[37]

In trying to determine the essence of the *Ai Hanke*, who had been in charge of the missionary services in Astrolabe Bay for the Rheinische Missions-Gesellschaft and was head of the missionary establishment in Bongu, writes as follows[38] in his Bongu grammar and vocabulary : »*Ai* is a mythological ogre who plays the leading part in the secret cult of the Bongu people. As the legends have it, the *Ai* used to destroy the fields, devour all the crops and when at last caught

[34] *Hagen*, 1899, p. 234. »While he has not yet been circumcised, he is not allowed to eat pork or dog's flesh . . . but only fish, crabs and various mussels.« *Hagen*, 1899, p. 247. »Dogs, pigs, crocodiles as well as large snakes are food for festive meals, which are forbidden to women, and may be prepared and eaten only by the men at the *Asa*-place in front of the *Asa*-house or at some distance from the village.«

[35] *Hagen*, 1899, pp. 234—238.

[36] *Hagen*, 1899, p. 259. *Hagen* submits two stories of the *Asa* in the appendix to his work, but these have no significance from the point of view of our subject.

[37] *Kunze*, 1926, p. 91.

[38] On the missionary work in Astrolabe Bay, see among others : *Bergmann*, 1894 ; *Nachrichten*, 1894, p. 33 ; 1897, pp. 65—66 ; 1890, p. 89 ; 1898, p. 69.

and brought into the village he began to devour the children. He was burnt to death but from his ashes grew plants of which the instruments employed at the rites of the secret cult are now made«.

»The *Ai* festivals, to which women and uninitiated young boys have no access, mainly consist in rich meals that are accompanied by 'music' played on bamboo reeds, pumpkins, flutes and whistles. Here in Bongu the scene for them is, as a rule, laid at some hidden spot in the depth of a forest. If the weather is unfavourable, huts put up expressly for this purpose or the ordinary men's houses are used.«[38a]

In Bongu the term for circumcision is *mului*.[39]

Werner reports initiation rituals from the interior of Astrolabe Bay. His observations refer to the village Damun where, according to him, circumcision is not practised but the initiation cult exists. He thinks initiation could have been performed only at greater intervals since there were great differences in age between the novices. The youngest could hardly have been more than 4 years old, whereas the oldest might have been about 16—17. The number of novices was six all in all. »The party proceeded to a rivulet in the nearby forest where it settled down on moss-covered rocks. After a fire had been made, some of the men began to shave. Thereupon the rites proper were started. At the further end of a gorge like ravine of the brook a kind of a yoke was put together from sticks. On its horizontal upper bar plants were fastened in a way that they formed a hanging semicircle. One of the men placed himself in front of the yoke, got hold of one novice after the other, spat a chewed mass of red colour on chest and back, and delivered a few energetic strokes on the body with the stalk of a plant. After this treatment the novice, who had previously taken off his clothing, passed through the leafy semicircle under the yoke, stepped into a mould formed by the riverbed where he took a long bath with ablutions. During these proceedings one of the older men was sitting on a rock overlooking the scene, singing a song and beating his drum. The ablutions of the novices having been finished, the rest of the party also took a bath though somewhat away from the yoke. Equally interesting were the closing acts which consisted mainly in a ceremonial shaving of all hairy parts of the body leaving only a circular tuft on the top of the skull, which was then be smeared with red paint .... For the shaving broken pieces of glass-bottles were used. All the human offal such as hair and nails, were carefully gathered up and then burned, doubtless to protect, the persons concerned from harmful magic. In the end a number of small bunches of flower, such as were used to decorate armlet bands with, were spat upon, then tied in large leaves, and the packages, about a foot long, were slowly burned to cinders by holding them over a fire....«

[38a] *Hanke*, 1909, p. 121.
[39] *Hanke*, 1909, p. 190.

»Having completed their festive attire by putting on necklaces of glass-beads, new clean loincloths and armlet bands they formed a procession and set out to the village accompanied by beating drums and boys carrying betel and cocoa-nuts.«

»These festivals were attended by men only but at the dances held in the evening also by girls and women in their festive attires.«[40]

Dempwolff gives an account of the ghost-cult and initiation rites on Graged Island.[41] Here the ghost is called *Mesiab*. »*Mesiab* means, on the one hand, 'ghost' while, on the other hand, it is the proper name of a mythological figure who plays a great part in the secret cult of the men and at the initiation of youths, etc. This *Mesiab* is identical with the *nosa* of the *Kate (Kai)* and with the *Balom* of the *Jabem*«. Women are excluded from the cult of *Mesiab*, and therefore every object that is connected with the *Mesiab*-cult is kept carefully hidden in the communal houses of the men. In honour of the *Mesiab* the men perform a ritual dance called the »flame-of-the-*Mesiab*« in the secrecy of their club houses. After the dances have been performed, the *Mesiab* stays on in the men's house without asking for food any more. If after a month's time he again wishes to be fed, then a new feast will be prepared for him. When he has had his fill he sets out on a journey. A stand of bamboo is erected in the village square as soon as he has left, and while this stand is still there, the *Mesiab* is away. During his absence the *kasusi*-flute is being kept in the men's house where »it bewails its ancestor — the *Mesiab* is its ancestor — who is staying away so long on his journeys«. When the women hear its sound they ask why the flute has not gone away too. Then the men answer that the *Mesiab* has left it at home, and that is why it complains. While the *Mesiab* is away it is forbidden to sound a drum or to make any similar noises. Whenever food is being prepared, some of it is taken to the men's house and set before the flute that it may also partake in it. The cult of the *Mesiab* also includes the *kag*-pipe, a pipe made of bamboo. The *kag*-pipe is not a musical instrument, it is used only as a speaking tube. Another type of flute, the *sabun*-flute, also belongs to the parapharnelia of the *Mesiab*-cult. It is not kept in the men's house but in the forest. Sometimes the men build stands from bamboo with jungle creepers, climb on top of them and play their flutes there. As soon as the women hear this sound they ask about it, and then they usually get this answer : »The *Mesiab* calls, you must prepare food and bring it to him«.

The initiation of the youths commences with a procession. Here the novices appear adorned with armlet bands, boar's tusks, dog's fangs, shells, combs and belts. After the procession is over and the finery and make-up of the youths have been sufficiently admired, the parents set taro, bananas and yams at their son's feet. Then the uncle or cousin, who has presented the novice with fineries,

[40] *Werner*, 1911, pp. 182—183.
[41] By another name : Ragetta. *Aufinger*, 1942—1945, a., p. 631. Map.

goes up to his candidate, pulls at the joints of his fingers so as to produce a cracking sound. This is meant to be a magic blessing and is accompanied by the following words addressed to the novice : »After leaving this place commit no more sins, be obedient to our fathers and to the commands of your uncles. When you commit a sin, when you all commit sins, that will be evil and bad for you, and it will lead you on to disaster«.

Following this address there comes the command : »Go ahead. Return to the forest and stay in the forest! Take off your bags and your new loin-clothes, and keep them carefully in the huts outside the village. You may eat only food that has been roasted on fire and you are not allowed to cook in pots. Later on, when I give you the word, you will put seawater in pots and boil it. Then you will chew wood and chew roots, and boil the cud in seawater. Then take it back into your mouths and with it you will spit solemnly towards the sun and entreat the sun : Depart from me vile maladies and evil wounds, may they depart to you and avoid our bodies, so that we may go back home in good health. May also the evils go to you, to the sun, so that we may return to our homes healthy and happy and without any illness«.

When the novices performed these rites, »then they are made to chew sugarcane, rinse their mouths with its juice, swallow some of it and then spit it out. They rinse their mouths and gargle with cocoa-nut milk and spit it out«. After this ceremony they may again eat cooked food and are allowed to live again in the village in the house of the youth. Those novices who did not keep these prescriptions contracted severe ailments and recovered only with the help of the sorcerer. During initiation the novices are strictly forbidden to eat cuttle fish, giant mussel, fishes called *sae* and *tab*, plainly all animals that live in the sea«.[42]

Aufinger's study, published in 1941 on the customs of initiation and circumcision along Astrolabe Bay, is an important contribution to our subject. He relied almost entirely on what he had been told by informants on the spot ; he possessed hardly any literature on the subject he was investigating. Although his work acquaints us only with the procedures of circumcision pure and simple, stripped of all its religious aspects, yet we learn from it in what light the aged natives of 1930 still look upon ancient initiation and which of its elements proved sufficiently resistant to become tradition. At the same time, *Aufinger*'s study makes us realise that an ancient native religion can sink into almost complete oblivion within less than 40 years, and that it is necessary to check oral information given by old people by comparing it with data obtainable from literature.

The facts related by *Aufinger* concerned localities about Madang and the Rai (Maclay) Coast. His study gives an excellent account of »how the old custom of circumcision, once an integral part of the initiation of youths and as

[42] *Dempwolff*, 1929, pp. 208—212, 230—232.

such, encompassed by multifarious ceremonies, transformed into simple incision free of any ceremonious adjuncts, spreading in this simplified form even into such parts of the Island where the old custom of circumcision had never been practised«.

The older form, circumcision proper, was formerly practised on the small islands round Madang (Sek, Panutibun, Granget, Yabob and Bilibili), along a narrow coastline south of Madang as far as Melamu (Konstantinhafen) and along the Rai Coast eastwards till beyond Siassi.[43]

In the old days circumcision, as a part of the initiation rites, generally took place during the great feasts *(maror)*. These feasts begun after the yam crops had been lodged and often lasted for months. Their timing depended on practical considerations since there had to be a certain amount of food in readiness for the ritual meals. For this reason — but also because in between the pigs had to be grow up too — these feasts could not be held every year, from 2 to 3 years had to elapse between two consecutive festivals.

Aufinger assumes that circumcision had a religious basis but he could not find any facts to corroborate his assumption. »My informants will not give away anything on this subject, but they will keep on saying '*Kulubob* made us the gift of circumcision'«. Formerly when somebody had died following circumcusion, it was the custom to say »The *Tambaran* has eaten him up«. All these statements seem to point to an esoteric religious basis of circumcision.

In their languages the various natives called circumcision by the word *mulung* and it is still known by that name. This word means »great festive pomp« in distinction from *maror*, »the usual festive pomp«. Circumcision was performed on the youths at the beginning of their maturity. When the elders had fixed the date of circumcision, the youths hid in the brushwood where huts had been built for them. While the novices lived in these huts they were not allowed to meet women. They were forbidden to eat meat or fats, and their meals had to be prepared without any fat or water. Prohibition was extended to a certain type of red fish *(tak)* too. During the initiation the »uncle« (this word was used in a most general sense) was responsible for the novice. It was he who made the ornaments for him and dressed him up in his festive attire for the procession taking place after the circumcision. The novice's father was not allowed to be present at the act of circumcision. Nor was any novice allowed to watch the circumcision of another. During the operation the novice sat on a tree-trunk with outspread thighs and legs putting his hands on his knees. The »uncles« kept him fast in this position ; one sat behind him and embraced

[43] This statement is doubtful, at least as far as the date is concerned. Both *Miklucho-Maclay* and *Hagen* maintain that already about 1871 and 1893 the supra-incision type of circumcision was practized in Bongu and Bogadjim. Thus, if we accept the theory that supra-incision developed from circumcision proper we must assume that this change had taken place much earlier.

his chest ; an »uncle« sat on each side of the novice holding tight his hands and legs. Usually it was the grandfather who performed the operation on his own grandson. Anyhow it was always an old and »big« man who was entrusted with this office. As a cutting instrument they used a hard stone *(galling)*.[44] Prior to the act of circumcision, the master of ceremonies repeated the following magic formula over the cutting instrument : »Oh, fire-stone not any more ; oh, Hai'es-his-tooth now ; little fish quick catch, bite through, hold tight«. That means : as the shark bites the little fish in two with one bite, so shall the knife, which is no more a stone but a shark's tooth, quickly cut through the prepuce. After this incantation the master of ceremonies, with his left hand, got hold of the prepuce of the novice who was sitting in front of him, pulled it as far down as he could over the glans »and with a quick cut, at a rectangle to the penis, cut off the dorsum of the prepuce. Thus, this was a circumcision in the real sense of the word«.

The operation performed, the master of ceremonies uttered some magic words over the wound. The blood was cought up in a bamboo stick, dried on the sun and mixed up with ochreclay to be used later for painting the novice with it. Finally, the wounds were bandaged with green leaves. Until the wounds had been healed the youths were not allowed to leave their hut in the forest. During the night they had to sleep naked on their backs with feet spread wide apart. The elder men took great care that the novices should not change this position whilst asleep. During the day the penis was fastened to their bodies between the thighs by means of long, narrow leaves. After the wound was healed, which usually took 3—6 months, the novices returned to their village amongst ceremonies and decked out with their »great festive attire«, their bodies painted with the blood from the circumcision.

The ornaments to this great festive attire had been made by the »uncles« and it was also they who dressed and painted the novices for the ceremonial procession. They accompanied the young men back to the village. For their offices these »uncles« received gifts from the fathers such as dogs, pigs, wooden bowls and so on, equivalent in value to the ornaments with which they presented the youths.

Because of the frequent deaths following circumcision, this procedure was given up. There was always a possibility for accidents, thus for instance if the hand of the operator shook he cut the frenulum preputii or injured the glans penis. On Sek island, where a great number of deaths had occurred, they stopped circumcision altogether.

[44] *Hagen*, 1899, p. 192. »The Bogadjim people though they have steel knives mostly use bamboo-splinters and obsidian slivers for circumcision. At the square in front of the Stephansort Hospital, where once there had stood an *Asa*-house of a one-time village, I myself have found an obsidian clump, the size of a child's head, that by all probability had been used for circumcision.«

In the last 20—30 years circumcision proper gave way almost everywhere to supra-incision, and »today everywhere in the places mentioned above, excepting Sek, supra-incision has come to be practiced. Lately, this manner of circumcision has been spreading further north and also inland«. Nevertheless the islanders and the inhabitants of the coastline believe circumcision to be their exclusive prerogative.

According to *Aufinger*, the women are responsible for the wide-spreading of this custom. »The saying is that women who know something about it will only marry circumcised men«.

In places where supra-incision is the prevailing custom, the boys are operated upon at an age between 8 and 12. No religious ceremonies are attached to this operation, nor is any definite date fixed for it in advance. On a number of boys having reached a certain age in the village, the elders decide to have the operation performed on them. They inform the fathers of the candidates about their decision so that the necessary preparations should be made.

Supra-incision takes place near some river or brook. In the forest huts are built for the novices. There are no special prohibitions whatsoever. The boys are told that they still have some of their mothers blood in them, and that this has to be removed, so that they might develop into strong and handsome young men.[45]

The operation itself is performed in the following manner. »One of the doctors pushes the thick end of a leafstalk of some decorative plant between the glans penis and the prepuce of the youth who is sitting in front of him on a tree-trunk. Tightening the prepuce over the stalk, he makes a long cut with a sharp bamboo-knife.« The other »doctor« collects the blood into a split cocoa-nut-shell, which is afterwards burried, blood and all. The youths then wash in the river or brook, and their wounds are bandaged in the manner already described. The wounds usually heal in 2 to 3 months. During this time the youths stay in the forest. After the time of their segregation is over, they are festivelly arrayed and in a solemn procession led back into the village. »In this way circumcision has radically changed in 20—30 years both in its form and religious content. As supra-incision the custom has been spreading unresistingly.«[46]

Though it lies outside the Astrolabe Bay territory, mention must be made of Karkar (Dampier) Island[47] because of the similarity of its initiation rites to those of the Bay region proper. An early and only description of the initiation ritual there can be found in the writings of *Kunze* who was the first missionary on the island.[48]

[45] This explanation has been known from other areas too. See for instance *Nilles*, 1940, p. 97.

[46] *Aufinger*, 1941, pp. 25—39.

[47] Little is known about the ethnography of the people on Karkar Island. See: *Kunze* 1896; *Nachrichten*, 1894, p. 47; *Höltker*, 1937; *Hubers*, 1942—45,

[48] *Kunze*, 1892, 1897, 1926.

According to him, the most essential part of the natives' religion is the cult of the *Barak*-ghost. The ghost itself is known all along the shores of New Guinea, although by different names. On the island of Siar he is called *Mesiab*, in Bogadjim they call him *Asa*. The festivals in honour of the *Barak*-ghost are held at uncertain dates, yearly, every other year, or at even longer intervals ; they celebrate it now in this and then again in another village.

Women must not take part in any cultic activities connected with the *Barak ;* they are not to know anything about matters concerning it, and must not even set eyes on any item of the religious parapharnelia.

The most significant of the festive proceedings arranged in honour of the *Barak* is the one connected with the initiation of youths. At the festival in Kulobob, which was attended by *Kunze* in November 1891, a number of boys were indoctrinated in the ghost-cult. The candidates were selected by the elders from among the boys between 9 and 12 years of age.

As a rule, these inauguration ceremonies commence with declaring the young boys mature. Maturation and, in general, all other festive proceedings take place in the *gogoi* and on the square in front of it. *Gogoi* is the designation for a hut built especially for cultic purposes. In it are kept the ritual musical instruments made of pumpkin and bamboo. While the *Barak*-festivals are on, every woman and child must avoid the place of the ceremonies. Sentinels are set watching that nobody should stealthily come near it. The festive square itself is fenced in. The *gogoi* is beautifully adorned. Long poles are driven in the ground round about it and these are decorated with multi-coloured foliage. Similarly decorated sticks are pushed across the roof of the *gogoi*. Apart from two narrow openings the inside of the hut is completely barred from the outer world. Even the two small entrances are screened from profane eyes by mats set up wall-like in front of them.

When *Kunze* arrived at the place of the festival, the solemnities had already been going on for 3—4 days and a number of youths had already been declared mature. Many mountain-dwellers were present as visitors. All along the front of the *gogoi* the youths of Kulobob were lined up in rows. The majority of them had already been initiated. Among them were standing those who were to be declared mature on that particular occasion. A curious figure was stately walking up and down in front of the line. He had a huge mask on his head, a real work of art of Papuan wood-carving. Its facial part looked awful, resembling rather some ante-diluvian monster than a human's face. To the top of the mask a decorated pole was fastened, some two meter in length. This not only made the mask extremely heavy to wear, but caused great difficulty for the wearer to keep his balance. Whenever at certain peculiar movements or bendings of the body the pole swung dangerously beyond its centre of gravity it cost the man no small effort to keep his balance and he was thus in constant danger of giving away his identity. The attire of this figure was rather different

from what the Papuans usually wear. His body was covered by a much-worn European overcoat, on his back hung a »*lawalap*«, a loincloth made of two coloured bandana handkerchiefs. In both hands he held boar tusks. Having, for some time, walked up and down the line of the youths with peculiar movements of the head he presently stopped in front of one of the candidates, glared at him, then hit him on the forehead with his fist, or on the chest, and thus declared him »mature«. During these proceedings the youths displayed greatest solemnity and attention. Moreover, on some faces fear and even horror could be noticed.

Whenever a *Barak* personificator had grown tired, he disappeared, and another man took his place with the same mask and attire. He behaved in much the same way as the first man did. Every time he seized a candidate, as if at a sign, 3—4 of the young men already initiated rushed at the novice, caught him, threw him up in the air, and caught him again. Then one of the lads pressed the novice's face against his own chest so that the novice should not see what was happening around him, some other lads were holding him tight while the rest of the youngsters were hitting his back with open palms or with twigs broken from the nearby trees. Thereafter two men each seized the novice's limbs and began to pull at him, as if they wanted to tear him to pieces. This was done with the idea that thereby the young man grows big and strong. Had the *Barak* not beaten him, he would remain small and weak. When all this had been performed, the oldest man of the village, Madana by name, delivered a moral homily to the novices charging them with the duty of keeping silent about what they had seen and experienced and not to give it away to the women. In the days following the youths had to fast, and for a certain period they were forbidden to eat meat and taro. Then the initiated youths went into the nearby forest where they spent one night in hiding. The next morning they boarded canoes, and in the company of a few men sailed over to Rich Island. While they were away, dishes were heaped up on the festive square with cooked taro, bananas, pigs' and dogs' meat. The food was meant for the *Barak*.

To the question why the youths were to hide, they answered : »The *Barak* has eaten them, that is what we tell the women and the girls ; in a few days he will spit them out again«. And, truly, a few days later they returned from Rich Island, and naturally they maintained to have come rightaway from the stomach of the *Barak*. The *Barak*-festival was continued. Now came the second part of it. This took place in the *gogoi*. Here 10—12 large wooden drums had been placed, and all of them were being beaten day and night by two men each with heavy clubs in a varying rhythm. Next to every drummer stood another man ready to take over when fatigue set in. These men played on bamboo-pipes in the meantime. Another 20—30 men were playing on bamboo-pipes too. The sound of the bamboo-pipes was strengthened by an instrument like a horn giving off a booming sound. Time to time they stopped the drumming. During

these intervals one of the men addressed the party through a bamboo-tube in a disguised voice. This man represented the *Barak*. When he stopped talking, the rest of the men answered in a choir, and in this way a sort of dialogue took place between the *Barak* dwelling in the *gogoi* and the men gathered in his honour.

The men who stayed and feasted in the *gogoi* were supplied with taro, bananas, dogs' and pigs' meat by the women. The dishes filled with food were placed on a long platform, and everybody helped himself from the bowls to as much food as he liked.

While the *Barak*-festival lasted, great numbers of men visited it from the neighbouring villages. They came on foot or on canoes ; even people living in the farthest parts of the hills put in an appearance. The visitors joined in the drumbeat and music-playing, taking turns at the instruments. Thus, the noise in the *gogoi* was kept up practically all the time with the exception of a few breaks while the *Barak* was reciting his part. Men from the neighbouring villages sometimes came twice or even three times. All this showed organization and so did the fact that everyone on the island knew exactly when he was supposed to appear in Kulobob at the *Barak*-festival. Naturally the Rich-islanders were also there among the visitors. During the twelve-day *Barak*-festival, according to *Kunze*'s estimation, at least 2000—2500 men visited Kulobob. Not only the inhabitants of the coast were there but also the mountain-folk.[49]

In earlier days circumcision was known everywhere in Karkar Island. In the villages on the coastline, however, it is no longer practised probably because of the physical pains it causes. The mountain villagers still observe it.[50]

Kunze states, there was usually a swine-market held at the time of the festival. The pigs were tied securely and laid down in front of the hut. Then the most respected elder of the village pointed with a stone-axe to each pig in turn and called upon the buyer to come forward. Amidst great noise and, often, drum music, the buyer rose, together with all the men from his own village, went up to the selected pig and put down the price.[51]

2.

The summary of the available literature as outlined in the preceding chapter seems to confirm that by relying on literature alone it is only possible to arrive at incomplete, fragmentary solutions of the problems that present themselves to us. This is mainly due to the fact that most of the written sources date back to the last decades of the 19th century, i. e. to a time when ethnographical methodology was still undeveloped. But apart from this, it must be admitted

[49] *Kunze*, 1892, pp. 196—207.
[50] *Kunze*, 1897, p. 84.
[51] *Kunze*, 1897, p. 78.

that, except in *Aufinger*'s study, initiation and ghostcult have never been in the centre of scientific interest and the majority of the sources mention both these subjects only in passing. The fragmentary and incoherent presentation is also a consequence of the fact that most authors lacked a proper knowledge of and experience in scientific ethnography. The reports of the German protestant missionaries are more in the nature of descriptive stories of local life, which as such were chiefly intended for publication in popular missionary periodicals and bound to respect their peculiar viewpoints.

Besides *Aufinger*, only three authors possessed some expert ethnographical knowledge. *Miklucho-Maclay* did splendid spade-work in his days, and his experiences served for a long time as a guide in the study of the peoples of Astrolabe Bay.[52] It is deplorable that his scanty knowledge of the native languages and the esoteric character of initiation and ghost-cult made it impossible for him to get better acquainted with the questions of native religious life.[53] *Hagen*, who was working as a physician in Astrolabe Bay, concentrated his valuable work upon the material culture of the natives. Unfortunately, he too had difficulties with the native languages, and as regards religion he was therefore compelled to rely almost entirely on information supplied by the missionaries which, of course, could not be satisfactory from a scientific point of view. *Dempwolff* was mainly interested in the study of native mental culture to which he made some valuable contributions. He also directed his attention to linguistics, and so his remarks on ethnographic points remained rather casual and fragmentary. From among the missionaries *Kunze*'s work is perhaps the most useful but his highly colourful *tableaux vivants* do not touch upon many points important to us.

It is a cause for regret that *Kubary*, who spent many years in Astrolabe Bay,[54] has left no important contributionon the ethnography of this region, all the more so as his precise working methods are well known from other territories.[55]

Summarising, it is obvious that the reports from the end of the last century could leave no complete picture of initiation and ghost-cult as it existed in those days. On the other hand, as can be deduced from *Aufinger*'s reports, by to-day an entirely different situation prevails, the old cult and rituals are buried or dimmed in the minds of the native informants themselves to such an extent that there are no longer any means at our disposal to reconstruct a reliable and complete picture of the past.

[52] *Finsch*, 1888, b. p. 37, p. 64; *Romilly*, 1886, p. 221. He writes: »We saw a few canoes coming off to us, but they seemed rather shy at first, till I shouted out the magical name of *Maclay*; then they came up, as fast as they could.« See also: *Finsch*, 1885, p. 9.

[53] *Miklucho-Maclay*, 1876, pp. 303—308; Миклухо-Маклай, 1950—1951, III, pp. 90—94.

[54] *Kubary* was in charge of a station of the New Guinea Company at Konstantinhafen. *Schmeltz*, 1897, pp. 134—135. His activity was, unfortunately, restricted to his official duties and to the shorter trips of exploration connected with them. *Nachrichten*, 1888, pp. 60—64.

[55] See e. g. *Kubary*, 1889; *Kubary*, 1892; *Kubary*, 1895.

Particularly poor are our data concerning the psychological bases of initiation and ghost-cult. Though we may say that we possess the descriptions of most of the features that may once have been essential elements of the ritual of initiation yet the nature of this material does not in itself enable us to draw inferences as to the psychological groundwork of these native observances.[56] Therefore, our work must be directed first of all to establish the place of the Astrolabe Bay initiation within the cultural history of New Guinea.

In our opinion, the fragmentary descriptions deriving from different regions are really parts of one and the same ghost-cult and initiation ritual. This is corroborated by the observation that the various descriptions show many points in common, and anyhow the vicinity of the localities, where our data derive from, make fundamental differences rather unlikely. Nor is there any reason to assume fundamental differences in view of the cultural unity of the Astrolabe Bay peoples, a fact that is further attested by the products of material culture coming from all over the Astrolabe Bay. This fundamental unity is proved also by linguistic facts. According to *Aufinger*'s Melanesian speaking informants the initiation is called *mulung* in Astrolabe Bay, the meaning of *mulung* being literally »great pomp« as opposed to *maror* that denotes just »ordinary, common pomp«. The same word is used in connection with initiation in Bogadjim and Bongu too, i. e. in the non-Melanesian linguistic areas, meaning »prepuce« in Bogadjim, whereas *mulung airas* means »circumcision«. In Bongu *mulun̂* is used for the act of circumcision while *mulun̂ daûar* denotes the performance itself of the operation.[57] In Bongu the word *maror* means rich, well-to-do, and the phrase *maror atar* is employed to express a festival that has been preceded by weeks of preparation.[58]

A similar coincidence of features can be seen in the various myths as well. Thus, for instance, the myth of *Kilibob* and *Manup*, apart from a few minor details, can be found in practically every locality mentioned in our survey. (An analysis of the myth and an examination of its dispersion over our territory will be given further down.)

If on this basis it is agreed that in the descriptions given in the previous chapter we have before us various fragments of essentially the same cult and ritual, then the outstanding features of this cultic unity may be summed up as follows :

1. The initiation is an integral part of the ghost-cult. Initiation at the same time means the indoctrination of youths in the ghost-cult.

2. The ghost-cult and everything that belongs to it is secret. Women and uninitiated boys are excluded from it.

[56] For this reason we refer only to the literature of the subject and first of all to the works of *Reschke*, 1935 ; *Jensen*, 1933, and to the articles under the relevant headings in the Encyclopaedia of Religion and Ethics.

[57] *Hanke*, 1909, p. 190.

[58] *Hanke*, 1909, p. 185.

3. The ghost, the central figure of the cult, is an ogre or a monster (a shark[59]) ; in some places, judging from the masks, it is some anthropomorphic being.

4. Candidates are kept segregated, usually in a special building situated in some remote place.

5. Initiation ceremonies take place at longer intervals.

6. Among the novices there may be included boys from other villages on condition that the two localities are on friendly terms and have trading relations.

7. The novices must observe a strict taboo of food and drink.

8. During the initiation rituals every candidate is under the strict control of one of the grown-up men.

9. The ghost swallows the boys.

10. At the time of the circumcision the ghost bites the prepuce of the novices.

11. The boys are contained in the stomach of the ghost until their wounds are healed.

12. At the end of the period of initiation, usually after partaking of some pork offered to him in sacrifice, the ghost gives up the youth and spits him out.

13. The act of circumcision is sometimes accompanied by the shaving of the novices' body. Beating, shaking the novice, and spitting on him may take the place of circumcision.

14. During their seclusion the novices receive rudimentary indoctrination.

15. The rites of initiation being over, the youths receive new clothings, new ornaments and are painted.

16. The newly initiated are taken back to the village in a festive procession amidst great rejoicing.

17. The cultic equipment comprises: *a)* masks, *b)* flutes or reeds of bamboo, *c)* bull-roarers, *d)* ocarinas, *e)* rattles, *f)* dancer's swords and *g)* ancestral images.

3.

Investigational results so far attained plainly point to the fact that the intricate combination of initiation rites in New Guinea constitutes, in essence, a homogeneous whole.

On the basis of his studies of the initiation rituals of the Bukawa and of the Jabim peoples along the Huon-Gulf Coast, *Deacon* comes to speak of *Balum*-type cults, and assumes that the »highly dramatic representation of the death and resurrection of the novices is the central feature in the rituals of initiation«.[60]

[59] *Speiser*, 1945—1946, p. 16, writes of crocodiles and not sharks. We have been unable to find out on what he based his statement.

[60] *Deacon*, 1925, p. 332.

In his view »the association of the *Balum*-cult with Melanesian-speaking peoples, the use of masks (on Tami Is.) to represent ghosts, the drinking of kava on ceremonial occasions by the old men and the prohibition of its use by the uninitiated, indicate at least that the *Balum*-cult was brought to New Guinea by a cultural migration«.[61] *Deacon* professes to have discovered the Indonesian counterpart of the *Balum*-type cults in the *Kakihan*-Society in Ceram[62], and believes »that it may be regarded as the prototype of the initiation cults of the Melanesian-speaking peoples in the Mandated Territory of New Guinea, and probably therefore of the initiation cults of the Tugere, or Marind, and of the Gogodara in S. W. New Guinea«.[63]

Reschke, too, conceives of the initiation rituals of New Guinea as a cultic unity. He states that »on the whole initiation of the youths of the Melanesian and the Papuan tribes of New Guinea present a fundamentally uniform picture.«[64] According to him, the essential characteristics of initiation in New Guinea can be summed up as follows :

1. By the common belief of the Melanesian and the Papuan tribes the ghost either swallows the novices or they are annihilated by fire. The two views blend into each other and seem to express the same idea : the novices must die at the beginning of the initiation.

2. The dying of the candidate in the ghost takes place through the circumcision.

3. Following a practical training given them during their segregation for guidance in the course of their further life and having thereby grown ripe to be true »Children of the ghost« the renascent candidates enter the normal daily life of their tribe.

4. With all the tribes, each individual stage of initiation corresponds to a natural phase of human development.

5. With all the tribes, the ghost is the Holy of Holies within which the transformation and the development of the novice is accomplished.

6. The ghost generally reveals itself as the first parents, as the first father and the first mother simultaneously, to whom all the members of the tribe owe their rise and bodily existence, and all their mental, spiritual and material possessions.

7. The ghost materializes in the flute, the bull-roarer, the mask, the dancing and the ghost-house, interpreted as the body of the ghost.

8. Fertility rites close the initiation ritual. Although these show a rich variety of forms, the fundamental idea underlying them all is the same.[65]

[61] *Deacon*, 1925, pp. 332—333.
[62] In addition to *Deacon*'s study on the *Kakihan*-Society of Ceram, see also *Jensen*, 1948, pp. 80—126.
[63] *Deacon*, 1925, p. 335.
[64] *Reschkle*, 1935, p. 163.
[65] *Reschke*, 1935, pp. 163—164.

Speiser deals with the cultic history of Melanesian initiation in more than one instance and at considerable length.[66] He attempts to determine the place to be assigned to the individual features of initiation and comes to the conclusion that certain features are primary while others are secondary. Investigating the primary features of initiation in New Guinea, he established the following essential elements :

1. Food taboos are present in practically all of the initiation rituals.
2. In none of the types of initiation is segregation ever missing and the motif of being kidnapped and killed by the ancestral spirits is often hinted at.
3. Teaching and investing with strength are features usually present.
4. Wherever food taboos are observed, the lifting of the interdiction always takes place among solemn ceremonies.
5. The idea of re-birth is traceable in most of the cases.[67]

As regards the origin of initiation *Speiser* maintains it is polygenetic »with strong tendencies to converge«. In his opinion initiation derives from pre-Austronesian cultural layers, not forgetting, however, »that it is still being strongly cherished by the Austronesian Melanesians«.[68] From among the secondary features of initiation *Speiser* assumes that the ghost-flute is pre-Austronesian while the man-swallowing ghost, circumcision and the bull-roarer are Melanesian cultural phenomena.[69]

Comparing these findings and characteristics with the traits as outlined by us above for initiation in the Astrolabe Bay region we are forced to admit that the initiation rites in the territory under review definitely belong to the New Guinean initiation complex defined as a coherent cultic unity.

But we may go one step further, for beyond these general congruities several particularly characteristic features of Astrolabe Bay initiation point to a considerably closer connection with the initiation cults of the northern coastal regions.

Deacon seems to have been aware of this closer contact stating that in some of the cults on the northern coast of New Guinea, more particularly in the *Balum*-cult of the Huon Gulf region and the initiation ritual of Karesau Island, he detected the purest Melanesian counterparts of the *Kakihan*-Society of Ceram. It struck him that in these two geographically widely separated areas initiation in each case closely attached itself to ghost-cult and cultic-society, and that the ghost, always the central figure in these cults, showed invariably the same essential characteristics. We, too, are of the opinion that all the ghosts and ogres of the northern coastal regions, always the prime agents in initiation,

[66] *Speiser*, 1928—1929 ; *Speiser*, 1944 ; *Speiser*, 1945—1946.
[67] *Speiser*, 1945—1946, p. 8.
[68] *Speiser*, 1945—1946, p. 31.
[69] *Speiser*, 1945—1946, p. 17, p. 11, p. 26 ; *Speiser*, 1944, p. 13. For further details on the bull-roarer in Melanesia see also *Zerries*, 1942.

may be traced back to a common ancestral form. If *Deacon*'s statement about the cults of Ceram and Karesau Islands can be accepted, namely, that »we are dealing in these two widely separated areas with the expressions of one and the same religious cult«,[70] then this identity is even more obvious in Northern New Guinea.

There is another basis which is bound to make us suppose common origin. This is the linguistic basis, the analysis of the ghost names as they appear in connection with initiation in Northern New Guinea. Quite obvious seems to be the common root to *bar (lum)*[71] in Bukawa and Jabim, *Barak* on Karkar Island, *Parak* and *Pakuk*[72] in the Aitape region and *Brag*[73] in the Nor-Papuan language. Mention must be made in this context of the Graged and Siar Island *Mesiab*, the Bilibili Island term *Meriab*,[74] the Karesau *Kaiwar*[75] and the Monumbo *Murup*, *Möröb*.[76] According to *Reschke* »all these names of ghosts have an initial or final syllable with *mbar*, *war* or *par*. In the Graged word *Mesiab* the onetime *r* changed into an *s* following the well-known law of rhotacism. The earlier form of the word was *Meriab*,[77] *Merab*, which corresponds to the Monumbo word *Murup*, *Möröb*..... These tribes must have formerly known one single ghost with common name, a fact that finds confirmation in the close relationship between the ghost-cults of the different tribes«.[78] Reschke considers the root of the word to be of Austronesian origin and assumes that »the Polynesian deity *Kane*, who combined all these life-giving powers in one person, might have wandered as far as New Guinea where he was adopted by the ghost-cults of the Melanesian and Papuan tribes«.[79]

The findings of *Deacon* and *Reschke* supplemented by our own data seem to permit the conclusion that the ghost- or ogre-cult forming the most essential part of New Guinean initiation rituals reached Melanesian territory from the west as a culture-immigrant, and its prototype should be looked for and found in Indonesia, according to *Deacon* on the Island of Ceram.

Speiser shares this opinion about the Austronesian character of the ghost-cult seeing that in his view: »...it seems admissible to consider the ghost's swallowing the candidate to be a Melanesian element which in New Guinea penetrated far into the pre-Austronesian area«.[80]

[70] *Deacon*, 1925, pp. 351—352.

[71] On the *Balum*-cult and the initiation rituals at Huon Gulf see *Lehner*, 1911; 1930; 1934—1935; *Schellong*, 1889; *Bamler*, 1911; *Keysser*, 1911; *Zahn*, 1911; *Hogbin*, 1947—1948.

[72] *Meyer*, 1932, 1933.

[73] *Schmidt*, 1926, pp. 48—56.

[74] On a note explaining his photograph, *Biró* calls the group of players of this cultic instrument: *meriab*-chorus.

[75] *Schmidt*, 1907.

[76] *Vormann*, 1915—1916.

[77] This inference of *Reschke*'s is strengthened by the comments in Note 74.

[78] *Reschke*, 1935, p. 103.

[79] *Reschke*, 1935, pp. 104—105. About the linguistic situation of the northern coastal regions see: *Ray*, 1919; *Capell*, 1940—1941.

[80] *Speiser*, 1945—1946, p. 17.

These views are not contradicted in the least by the fact that in some places within the territory under review, as in Bogadjim and Bongu, we come upon ghost-names which show no connection whatsoever with the roots *mbar*, *war* and *par*. Though it is an occurrence common enough that cultural immigrants, whether phenomena or material objects, are taken over together with their original names, yet by no means can this be considered a hard and fast rule. That this is so, is clearly shown by the initiation rituals in the Lake Sentani area, to which, as *Wirz* conclusively proved, the cult had been imported recently. »About fifty years ago«, he writes, »at a time when the graybeards of today were youngsters, the peoples of Sentani knew nothing whatsoever about the secret cults of the coast-dwellers«.[81] Cults adapted or, to be more exact, purchased often come to be reshaped and remodeled. »...a great many new elements come to be added to them in the first place, their amalgamation with a belief in the *Uarfo* ....«[82] Moreover, the central figure of the former religion, the *Uarfo* himself, undergoes some changes ; he now devoures and swallows the young men or tears off their limbs.[83] This change in form is further emphasised by certain customs during initiation when for instance ».... after festive meals the young men are wont to decorate their empty cooking vessels with all sorts of phantastic figures which represent mostly a fish or a monster *(Uarfo)*.«[84] The *Uarfo*, as can be seen, has taken over the character of the central figure in the new cult without, however, giving up his old name for the new.

Probably, the same process took place elsewhere, too ; first of all in the non-Melanesian speaking areas. The new cultic ideas embedded themselves in the old cultic soil. The old names of the local ghost or ghosts remained unchanged yet the ghost himself became invested with new features and qualities.

Apart from concepts relative to the ghost, there is another feature that links up the initiation rituals of the northern coastal region, namely, that circumcision, including here all proceedings with the penis, can be found in every type of them. Investigating the spreading of circumcision, *Speiser* came to the conclusion that : »Geographically, the custom of circumcision has spread all along the northern coast of New Guinea, though it appears not to have penetrated inland to any depths, then along the Huon Gulf to New-Britain and to North New-Ireland with its neighbouring islands«.

»This expansion makes it quite clear that coming from Indonesia circumcision first spread along the northern coastline of New Guinea, then traveled simultaneously by way of New-Britain to the north and, on a direct route, to the New Hebrides and New Caledonia.«[85]

[81] *Wirz*, 1923, p. 53. See also *Wirz*, 1928, pp. 323—355.
[82] *Wirz*, 1923, p. 61.
[83] *Wirz*, 1923, p. 65, 68.
[84] *Wirz*, 1923, p. 74. On the subject of *Uarfo* see pp. 24—39.
[85] *Speiser*, 1944, p. 14.

From *Speiser*'s investigations it would thus appear that the custom of circumcision, as found in the initiation rituals of the northern shores, came there carried on the waves of Melanesian migration and so it must be assumed that this element of initiation, next in importance to the ghost-cult, is also of Melanesian origin.

We cannot, however, agree with *Speiser*'s statements in every respect. Thus, we cannot accept his statement that those native groups »who practise real circumcision speak, like the Indonesians do, Austronesian languages, whereas those who put grass and the like into the urethra, mostly belong to the pre-Austronesian peoples«.[86] We cannot share this view because on close examination of the proper places which from a linguistic point of view are to be assigned, on the one hand, to those groups of peoples which practise »real circumcision« and, on the other hand, to those employing other manipulations with the penis, we find that none of them can be strictly limited to Melanesian or non-Melanesian speaking entities.

The circumcision as established by custom in the non-Melanesian speaking areas clearly shows that pre-Austronesians do know »real circumcision« too. Melanesian speaking groups, for instance in Karesau, are acquainted with the piercing of the penis, next to »real circumcision«. Were the manipulations with the penis other than circumcision pre-Austronesian cultural phenomena, then they would be more widely spread in the interior of the island. Today, they occur only along the coast and its vicinity. It seems probable, therefore, that similar to the circumcision-incision process observed by *Aufinger*, here too we are facing a local degeneration of »real circumcision«.

The third essential common feature in the North New Guinean initiation rituals is the fact that the ghost-flutes play everywhere a significant role. This peculiarity was noticed by *Deacon*, who wrote : »Initiation cults of the *Balum*-type in the Mandated Territory of New Guinea are associated with the use in their ritual of sacred flutes«.[87] Agreeing with *Haddon*,[88] *Deacon* thinks the flutes to be of Melanesian origin, and takes the coupling of the flute with the ghost of monster-like properties for a further proof of an existing genetical linkage between the Melanesian initiation rituals and the Kakihan Society of Ceram Island.

On our part, we disagree with *Haddon*'s statement that »we may confidently ascribe the sacred flutes to direct Melanesian influence«.[89] Investigating

[86] *Speiser*, 1944, p. 13.
[87] *Deacon*, 1925, p. 335.
[88] *Haddon*, 1920.
[89] *Haddon*, 1920, p. 256. In this study *Haddon* mentions the custom of initiation along the northern shores and in Astrolabe Bay basing his statement on the investigations of *Hagen*, *Biró* and *Semayer*. *Haddon* corroborates our view that the ghost-flutes play a considerable role in the initiations of the northern shores : »Their use extends along the whole northcoast and into Netherlands territory as far as the Nimburan.« (See p. 252). His view is that initiation and ghost-cult connected with it is non-Melanesian, and he motivates it in this way : »When

the distribution of the ghost-flutes *Speiser* points out that »they are found only in the north and the Central Mountains«[90] and, therefore, they must be considered as pre-Austronesian cultural phenomena. We may accept *Speiser*'s view all the more as the use of the ghost-flutes is connected with the initiation ritual not only along the coast but also in the interior of New Guinea, where they even play a central part in it.[90a]

Thus our investigations have led us to the following results :

On the shores of Northern New Guinea between the Huon Gulf and Humboldt Bay and on the outlying islands initiation rites are in more than one respect essentially the same. In the present author's opinion the most significant agreeing features are the two facts that the various names of the ghost can in most place s be traced back to the same root, and that everywhere the same properties are attributed to the ghost. These characteristics are clearly of Melanesian origin. The same seems to apply to another feature, namely to that of circumcision, or whatever attention is given to the male genital organ. Finally, there is the use of ghost-flutes common in all initiation rituals all along the northern coast line the origin of which is obviously pre-Austronesian.

Now, since all these characteristics are also characteristics of the initiation ceremonies of Astrolabe Bay, the assumption appears to be justified that the initiation rituals of Astrolabe Bay link up with those of the northern shores of New Guinea. It is also equally probable that the initiation cult in the Astrolabe Bay region combines elements both of Melanesian and Papuan (pre-Austronesian) origin. Melanesian is the conception of ghost together with all his essential characteristics and the circumcision as an accompanying feature of the ghost-cult ; on the other hand, the use of the ghost-flute must be considered as Papuan (pre-Austronesian).

4.

The essential oneness of the initiation complex as practised on the coast of Northern New Guinea and the fact that the initiation ritual of Astrolabe Bay belongs within it, can also be corroborated by some mithological data. Thus the myth of *Kilibob* and *Manup* in Astrolabe Bay contains features which can

the coastal people have these ceremonies we constantly find that there are certain intimate relations with the mountain people, which would hardly be the case if the ceremonies had been introduced by the former. The conviction is thus borne in on one that the ceremonies belong essentially to the mountain folk. But the mountain people are universally regarded as aborigines, and ethnologists term them Papuan« (See p. 256). This view of *Haddon*'s does not contradict our final conclusions because we do not believe that cultural exchange takes place exclusively along such rigid lines. We also know quite well by now the initiation rituals and the ghost-cults of the »mountainfolk«, and that both differ considerably from those of the coastal people.

[90] *Speiser*, 1945—1946, p. 11.

[90a] *Aufenanger* and *Höltker*, 1940, pp. 67—85 ; *Vicedom* and *Tischner*, 1943—1948, II, pp. 180—185.

be found along the northern coastline in all the localities where the type of initiation as outlined above has been found predominant.

Hoffmann was the first to make known this myth from Bogadjim.[91] In his work, *Hagen* published the same variant, apart from a few unimportant details,[92] mentioning that the myth was also known on Siar Island.[93] The most detailed description of the myth has been given by *Dempwolff*[94] though certain elements of his version seem to be spurious additions (the turning into a tortoise of *Manumbu*, or to be exact, *Kilibob*'s wife ; the tortoise hunt, etc.[95]). It is to be regretted that *Kunze* gives only the names of these mythical figures as used in Karkar, but even the few scraps he does mention are sufficient to point to the heroic-cultural activities of the two main heroes, and make it highly probable that the Karkar version belongs to the same mythcomplex.[96] *Höltker*'s communication makes it certain that the myth has been known on Karkar Island too : »I myself have heard the myth from the natives«.[97] *Aufinger* recently reported an abridged variant of the myth from the Yabob Islands where we did not know that it had ever existed.[98] We submit this variant in full since it combines all the chief elements that have been found elsewhere, and because on certain points it most clearly expounds the fundamental concept of the myth.

Kilibob and *Manup* were brothers. One day *Kilibob* went fishing. His wife, *Rorpain*, went into the garden to fetch vegetables. Presently an arrow fell down next to her. This arrow belonged to *Manup*. *Rorpain* would not return the arrow before *Manup* had promised her to tattoo the decorations of his arrow on her mons Veneris. With his bamboo-knife *Manup* tattooed the pattern as was required from him. *Rorpain* was bleeding severely. *Manup* tried to stop the bleeding with leaves, then threw the soiled leaves into the sea. The waves carried the blood-stained leaves out to the open sea, exactly to the spot where *Kilibob* had been fishing. When *Kilibob* saw the blood-stained leaves he thought some harm had befallen his wife or his brother, but on his return he found nothing amiss. But while they were pulling the canoe to the shore, he noticed that somebody had been tattooing his wife's mons Veneris. When his wife refused to name the culprit, *Kilibob* decided to search for him. Next morning he called together all the men from the village, and asked them to help him build a big house. He ordered each of them to bring him a handsomely carved post. A few days later the men brought the posts. *Kilibob* examined each post with

[91] *Hoffmann*, 1898, b.

[92] *Hagen*, 1899, pp. 281—285. See also : *Tappenbeck*, 1901, pp. 57—61 ; *Krieger*, 1899, p. 128, p. 150, p. 188.

[93] *Hagen*, 1899, p. 285.

[94] *Dempwolff*, 1910, pp. 69—81.

[95] As it becomes clear from *Dempwolff*'s account, the two brothers have been mixed up in the first half of the mythical story. *Dempwolff*, 1910, p. 81.

[96] *Kunze*, 1897, p. 65.

[97] *Höltker*, in *Aufinger*, 1942—1945, b., p. 313.

[98] *Aufinger*, 1942—1945, b.

care. On one of them he recognized the same pattern that he had seen on his wife. Then he found out that this post had been carved by *Manup*. Thereupon *Kilibob* decided to kill *Manup*. When the holes were dug for the posts, *Kilibob* told his brother to jump into one of them and help straighten the post. His intention was to let the heavy post fall on his brother and so kill him. But *Rorpain* had warned *Manup*, and so he could make his own arrangements. He asked the white ants to dig an underground tunnel from the hole to his own house. Next morning *Manup* chewed betel-nut and spat the red juice of it into a cocoanut-shell. He hid the cocoanut-shell among his hair and slid down into the pit. When the men lifted the post over the pit with the intention to drop it on him *Manup* hid in the underground tunnel and put the cocoanut-shell on the bottom of the hole. When the men dropped the post into the pit it crunched the cocoanut-shell and the red juice splashed about. Seeing this, *Kilibob* thought it was his brother's blood, and that *Manup* was dead. Overjoyed he had his brother's largest pig tied up so that they could kill it for a celebration. But *Manup* called the pig to him and with his friends they killed one of *Kilibob*'s largest pigs and feasted on it. The parents feared a ceaseless feud between the brothers. So they decided that the brothers had better part. When they were ready, each of them stepped into a canoe in the company of their friends. *Manup* and his friends sailed northwest, while *Kilibob* sailed southeast, towards Dampier Straits. It is said that *Kilibob* was light-skinned while *Manup* was of a darker complexion. When after a long time the white men arrived through Dampier Straits the people of the Yabob Islands thought it was *Kilibob* who returned with his friends.

The basic features of this myth, can be retraced in every version current in the Astrolabe Bay region. The adultery, or rather the adulterous tattooing, the husband's revenge, the culprit's shrewd escape and the parting of the brothers appear with the same features in every variant. Even smaller details show agreement. *Kilibob*, the elder brother, is led to discover the adultery by means of leaves (Bogadjim, Bilibili, Yabob), *Kilibob* notices the tattooing while pulling his boat to shore when his wife steps over the outrigger (Bilibili, Yabob) ; the elder brother wants to carry out his revenge when building a house ; he tries to establish the culprit's identity by the decoration on the post ; or he himself carves the scene of the adultery on the wood (Bogadjim, Bilibili, Yabob) ; *Manup*'s death is planned to take place in the hole dug up for the post of a house, but he is helped by some animals, who dig an underground tunnel for him ; at the same time he misleads his brother with the red juice of the betelnut (Bogadjim, Bilibili, Yabob) ; the two brothers sail away (in Yabob, Bilibili ; in Bogadjim only *Mandumba*, with one companion) ; these sea-voyages are connected with the rise of settlements on the islands (Bogadjim, Bilibili).

This agreement in the details is corroborated by an investigation of the names in the myth. In Bogadjim the name of the two brothers is *Kolibob* and

Mandumba, on Bilibili Island *Kilibob* and *Manumbu*, on Yabob Island *Kilibob* and *Manup*, while on Karkar Island *Kelibob* and *Mandumbe*. In Bogadjim and in Bilibili Island *Kelibob*, *Kilibob* is the elder one of the two brothers and *Mandumba*, *Manumbu* the younger. The versions from Yabob and Karkar Islands do not mention this point, but it is obvious that in the Yabob Island version, as the story of the myth undoubtedly shows, *Kilibob* has to be the elder and *Manup* the younger brother.

Accordingly, the myths in Astrolabe Bay show a uniform appearance. This uniformity has been stressed by *Höltker*, too, who at the same time called attention to some further extensions of it. »The area where these myths are known, reaches from Astrolabe Bay to Karkar Island and, in all probability, beyond it, southwards as far as Finsch Haven, and to the north as far as the mouth of the Sepik River and, may be, even further. At any rate, a number of tales, which I have collected in the Bogia-district (such as the myth of *Ongkai (= Manup)* and *Moide (= Rorpain)* from Manam Island) substantially agree with the myth of *Kilibob* and *Manup* irrespective of the difference in the names«.[99]

Let us first examine the spreading of the myth to the south-east. Some fragments of the myth can be found with the Jabims as also has been pointed out by *Hagen*. Thus the Jabim variant agrees with the Bogadjim one on the voyage of the Cassowary and the Cock, when the two animals steer with their feathers, and when the Cassowary makes a hole in the bottom of the boat.[100] Similarly a myth has been known from Huon Gulf where we find : the adultery, the discovery of it, the escape of the adulterer to a tree, and the part the chips play in the story.[101] This myth shows a similarity to the Bilibili variant too. The transformation of the persecuted person into a star is a later addition or completion. The same myth can be found, according to *Höltker*, still further east on the Gazella-Peninsula in the persons of the brothers *To Kabiana* and *To Purgo*.[102]

Northwestward, beyond the afore mentioned Bogia district, one again meets variants of the myth of the two brothers. In Monumbo, the version agrees with that of the Astrolabe Bay even in its details. The name of the two brothers is *Monumbo* and *Liwówó*. The elder brother, *Monumbo*, was married ; one day he went fishing to the sea. While he was away, *Liwówó*, the younger brother, seduced his wife. Not satisfied with this, he shaved off the hairs from her mons Veneris and painted a decoration on that place. The pattern *Liwówó* employed is used as a motif in decoration to this very day. When *Monumbo* learned about

[99] *Höltker*, in *Aufinger*, 1942—1945, b., p. 313.
[100] *Hagen*, 1899, pp. 284—285.
[101] *Bamler*, 1911, pp. 530—532 ; *Zahn*, 1911, p. 389. *Dempwolff* has already called the attention to this myth (see *Dempwo'ff*, 1910, p. 81).
[102] *Höltker*, in *Aufinger*, 1942—1945, p. 313.

this, a fit of violent anger seized him, he took whatever valuable property he could lay hands on and proceeded westwards. Nor did the younger brother want to stay on in Monumbo. But he was in a difficult position. He had neither good boats, nor tools, etc. for *Monumbo* had taken all these with him. He had to sail with a very inadequate equipment. He was already out on the open sea when the outriggers of his boat broke off and he had to fasten them with inferior material. Later on, this misfortune repeated itself again and again. Whenever he had to stop to repair his boat, a cliff rose up from the sea. This is the origin of the cliffs between Monumbo and Hatzfeldhafen.[103]

If we take the two brothers' parting and their going opposite ways to be the central feature of the myth, then we find that it travelled an even greater distance westward. *Gehberger* records a similar brother-myth from the Melanesian speaking Samap, west of the estuary of the Sepik River, in which the two brothers are called *Ribariba* and *Wanakau*. *Ribariba* was the elder brother and *Wanakau* the younger. The two brothers had been building boats, but the younger brother's boat was better, because he had cheated his elder brother and gave him inferior material. As *Ribariba*'s vessel was not seaworthy, he stayed behind and began to till the earth. The offsprings of *Ribariba* live at Tamrak, in the Samap territory where they are mainly engaged in agriculture, and speak a language different from that of other groups in the same village. *Wanakau*, the younger brother, sailed towards the west with his men, but later turned and proceeded eastwards. He died in a village named Kaup, where some men, jealous of his powers, killed him. Two of his fellow-travellers learned to build boats ; from that time on boats have been found everywhere, while formerly they were not known anywhere.[104]

We also know of similar brother-myth from the Melanesian speaking Tumleo, in the Aitape area. Here the elder brother's name is *Pisíl*, the younger's is *Tanawau*. (In Jakamaul the elder is *Kaiarár*, the younger is *Alevoetung* or *Tenál.)* Upon their father's death the two brothers set out to find the soul of their dead mother. The elder brother went towards the east, the younger towards the west. »According to some of the versions, the elder brother, *Pisíl*, who went to the east, was of tall stature, white-skinned, shining like the white people. The smaller brother, *Tanawau*, who went to the west, seems to have been of dark complexion just as the people of New Guinea are«.[105] On their journey the two brothers were being more and more separated by an ever-widening river ; *Pisíl* kept to the eastern, *Tanawau* to the western banks of that river. The brothers got separated, and while they were sailing east and west, they occasionally went out to the open sea to look for each other. At the places where they reached the sea, promontories arose. On their way they also

[103] *Vormann*, 1910, pp. 417—418.
[104] *Gehberger*, 1950, pp. 296—300.
[105] *Meyer*, 1932, p. 433.

created rivers ; the elder drew the beds of these rivers with a large spear, the younger one with a smaller bamboo-spear. That is why the rivers in the east are wider than those in the west. It was these two brothers who had created everything. The elder brother gave the eastern tribes their armour, their ornaments, their singsings and the *Parak*-system, etc. This is why the peoples in the east have weapons, ornaments, singsing, *Parak*, etc. different from those of the peoples of Tumleo in the west, where it was the younger brother who introduced them. This is also the reason why the eastern peoples have the spear and the westerners the bow and arrow.[106]

Not unlike this myth is the one of *Tenál—Pisín* as known in Ulau and Suein. »*Tenál—Pisín* are two brothers : the tall *Pisín* went towards the east, the small *Tenál* towards the west«. In another version *Tenál—Pisín* is one person who comes from the east and marches towards the west.[107]

This east-west trend can also be traced in connection with *Wunekau*, in whose case we have to do not with one person but with two *Wunekau* brothers. The names of the two brothers vary but in the majority of instances »the name *Wunekau* is given to the elder brother in the east, while the younger brother is mostly called by secret names as in Jakaul : *Kaibúl*, *Haikau*, *Saikau*, etc. A *Wunekau* priest in Suein told me that with them the elder of the *Wunekau* brothers is mostly addressed by the name *Manub* and the younger by the name *Ribob*«.[108] Besides, *Wunekau* is the chief culture hero.[109]

If we accept the separation and sea voyages of the two brothers as the most essential features of the myth then we can virtually prove the extension of the mythical theme of *Kilibob* and *Manup* from the Huon Gulf to as far as Aitape. (The variants of the Huon Gulf region itself agree with the myth on different details.) This general correspondence of traits becomes even more striking when we investigate the common features apparent in the smaller details.

Investigations in that direction make it quite clear that as the other two brothers of the different myths, so are *Kilibob* and *Manup* of the Astrolabe Bay version culture heroes, physicographical shapers and tribal ancestors. Thus in the variants from Astrolabe Bay, Bogadjim and Bilibili the rise of the islands and of the villages was due to the sea voyage of *Mandumba*, *Manumbu*.[110] In Bogadjim, it was *Kilibob*'s wife who created taro. On Karkar Island, it is asserted that *Mannube* brought into being the northern part of New Guinea, while Kelibob created the islands from his bow and arrow, and later on the

[106] *Meyer*, 1932, p. 433.
[107] *Meyer*, 1932, p. 439.
[108] *Meyer*, 1932, p. 821.
[109] *Meyer*, 1933, p. 32.
[110] In the account of the creation of the islands, we can detect an eastern orientation.

mountains of New Guinea from his broken bow. In Monumbo, the existence of the cliffs is attributed to a voyage of *Liwówó*. In Samap, the origin of agriculture is ascribed to *Ribariba*, and that of shipping to *Wanakau*. In Tumleo, it is believed that the promontories of the coastline preserve the memory of the voyages by *Pisíl* and *Tanawau*, and that even the rivers were created by them with their spears, and everything mankind possesses was given to it by the two brothers. It must be remembered that in Tumleo the *Parak* system also is attributed to the two brothers, and that in Astrolabe Bay — as *Aufinger* reports — circumcision is believed to have been given to the people by *Kulubob*. Moreover, on Graged Island, as *Dempwolff* informs us, a number of customs are linked up with *Kilibob*'s name : »A long time ago, our master *Kilibob* himself brought this custom to our fathers and mothers, to our clansmen, to our grandparents and to our ancestors, and taught us to observe it«.[111]

Similarly corresponding traits are to be found in the motif of boat-building. The boat of one of the brothers does not withstand the hardships of a sea voyage, or it breaks up at the first trip. In the Bogadjim version, *Mandumbu*'s boat falls to pieces, and only after he has tied it up with his mother's sinews and veins, does it become seaworthy. In the Bilibili version, the elder brothers boat is destroyed, whereas in Monumbo that of the younger brother falls to pieces. The same motif appears in Samap, where the art of building boats is given to the people by the younger brother.

Particularly essential agreement reveals itself on certain points in the version as current in the Aitape region and that of Yabob Island in Astrolabe Bay. In both of them the elder brother proceeds eastward, the younger westward. The elder brother is of a lighter and the younger of a darker complexion. There is similarity even in their names, for in the Aitape region one of the brothers is called *Ribob*, the other *Manub*. Another point on which the Aitape and Astrolabe Bay versions agree is the belief that initiation and circumcision was introduced by the two brothers. From among the different ghost-names the Aitape term *Parak* and the Karkar term *Barak* stand nearest to each other. We may even go one step further. In the Astrolabe Bay[112] as well as in the Aitape region[113] the myth is well known according to which the *Ai* or *Parak* fed on human flesh before it was burnt and annihilated. In both places the ghost's annihilation is connected with the origin of the ritual musical instruments. So when they relate the burning of the *Parak* they say : »In the ancient times the *Parak* did not wail through the bamboo-flute«,[114] and only later »did the ghost of the burnt *Parak* return in the form of bambooflutes«.[115] In Bongu, the musical

[111] *Dempwolff*, 1929, p. 214.
[112] *Hanke*, 1909, p. 121 ; *Kunze*, in *Zerries*, 1942, p. 58.
[113] *Meyer*, 1932, pp. 451—454.
[114] *Meyer*, 1932, p. 452.
[115] *Meyer*, 1932, p. 454.

instruments used at the initiations came into existence from the ashes of the burnt *Ai.*[116]

We do not think great significance need be attached to the fact that the roles the two brothers play in the myths are often interchanged. It is far more essential that in all the myths the two brothers in some way or other always oppose each other, that they always differ in character, and that as culture heroes they bring different things to mankind. Of even greater importance do we consider the fact that in most of the myths one of the brothers is definitely a seafaring person. He builds the first boat, his boat resists the perils of the sea, while that of his brother suffers damage and perishes. If, for a working hypothesis, we accept the Yabob and Aitape version to be the original and agree that in all the others the names of the brothers merely interchange, then we realise that the elder brother is in every respect superior to the younger one. Elaborating this hypothesis, we find that the elder brother, who builds boats, who knows about sailing, is lighterskinned and taller, while the younger, who is of dark complexion, knows nothing about sailing and is an agriculturist. In addition, the elder brother always tends toward the east and the younger toward the west.

On the basis of these facts it is, perhaps, not undue precipitancy to advance the idea that the antagonism of the two hero-brothers should be looked upon as the reflection of historical processes, that is, as the mythical expression of the relations between the invading Melanesian peoples and the Papuan population compelled to relinquish its original place under the sun. The superiority displayed by the light-skinned elder brother and his orientation towards the east, also support the conclusion that the myth itself is of Melanesian origin, and that the non-Melanesian groups have taken it over retaining the essential elements though frequently interchanging the roles of the brothers.

Höltker also stresses the Melanesian origin of the myth. According to him the fact ».... that in all the variants the brothers separate on the sea, the one travelling to the North, the other to the South, and not to the East and West towards the sea or the interior[117], seems to furnish further justification of the conclusion that the original carriers of this piece of narrative were of a maritime (i. e. Melanesian) stock«. *Höltker* refers here to the NW and SE directions as applied in the *Yabob* variant, which correspond to the directions West and East respectively, as employed by us.[118]

This Melanesian character of the myth together with the facts established by us, namely, that the ghost and its names as well as the circumcision are Melanesian phenomena, and that the myth is current in all those places (with the exception of Samap) where the initiation ritual shows affinity to that of

[116] So, among others, the tree the seeds of which are used on the dance-rattle.
[117] A north-south orientation can be found only in *Kunze*, 1897, p. 65.
[118] *Höltker*, in *Aufinger*, 1942—1945, b., p. 313.

Astrolabe Bay, justify the assumption that all along the northern coast of New Guinea we are really facing one and the same cultic complex of initiations.[118a]

5.

While lack of sufficient material prevents us from dealing at any length with its social characteristics, we should like to mention that in our opinion initiation in Astrolabe Bay presents a phenomenon quite close to amphictyony. Our sources convincingly prove that initiation is not the internal affair of just one or the other group of uniform speech and social patterns. On the contrary: the youths of any one community may be initiated in any other one; festivals arranged in one place mobilise the population of large areas; initiation cere-

[118a] *Riesenfeld*'s work came to hand after this study had been finished. He analyzed the Melanesian myths *(Riesenfeld*, 1950, pp. 350, 381—385, etc.) and dealing with the northern coastal region, specially with Astrolabe Bay *(Riesenfeld*, 1950, pp. 366—372), he mentions the *Kilibob-Manup* myth as well. He points out in connection with Astrolabe Bay that: »Since also this myth has frequently been found in connection with the stone-using immigrants, it is manifest that not only are we confronted with an occurrence of some isolated themes in this region, but that the whole set of myths of the stone-using immigrants has been introduced here«. *(Riesenfeld*, 1950, p. 372). In connection with the myths of the Aitape area, he makes the following remarks: »The following data will show that not only does the story of the antagonistic brothers occur in this region, but also many other themes belonging to the great cycle of myths of the stone-using immigrants« *(Riesenfeld*, 1950, p. 384). Our investigation has been limited to the subject of a narrower range and dealt mainly with the Astrolabe Bay region. Therefore, we are not in a position to say whether the myths and the initiation connected with it, belong to the culture of the »stone-using immigrants«, or not. Even *Riesenfeld* feels compelled to add at the end of his summary on Astrolabe Bay: »These data show how little we know of the influence of the stone-using immigrants in this region«. There is some proof of the assumption that both Astrolabe Bay and Dampier Island were visited by megalithic migrants *(Riesenfeld*, 1950, p. 368).

Riesenfeld's view about Astrolabe Bay is corroborated by *Aufinger*'s remark, 1942—1945, b., unknown to *Riesenfeld*, where he pointed out that the antagonism between the two brothers is emphasized by one of them being of light colour and the other of dark, one of them sailing towards the East and the other towards the West.

An analysis comprising larger areas clearly shows *(Riesenfeld*, 1949; *Riesenfeld*, 1950, pp. 258—273) that this mythcomplex belongs to the Melanesian megalithic culture. It may be of some interest to notice that there are outstanding similarities between Astrolabe Bay and the northern coastline of New-Britain. At the latter place, among the Bolas, »another myth relates that formerly only a certain black substance was used as food. A woman called *Runepai* introduced taro, yams, bananas and sugarcane« *(Riesenfeld*, 1950, p. 272). *Runepai* in this myth shows a similarity with *Rorpain* of the Bogadjim version, partly in name and partly in her culture heroic character, which cannot be looked upon as a mere convergence, the more so as among the Bolas we find the myth about the antagonistic brothers too.

From all this we might draw the conclusion that the initiation cult and the brother-myth belong to two different cultural layers and that their appearance within one story is the result of a later intertwining. From the two cultural layers, as *Riesenfeld* states *(Riesenfeld* 1950, pp. 680—681), that of the stone-using immigrants is the earlier and the one connected with initiation is the later. This is proved among others by the peoples of the Sentani Lake area where the megalithic culture is clearly recognizable (in addition to *Riesenfeld* see also *Wirz*, 1928) and where initiation has only been a recent acquisition.

In the last resort, all this is not in the least contradicting our former statements. Even if initiation and the brother-myth had different cultural origins, the myth must have been connected with initiation ever since the end of Melanesian migration, as we have seen in Astrolabe Bay and in the Aitape area, and this points to the unity of the initiation complex in the North of New Guinea.

monials offer opportunity for and enhance intercommunication between politically independent communities different also in language.

Analising gatherings of this character, *Mühlmann* sums up their social and political significance in these words : »After all, there exist cultural means by which politically different communities establish contact with each other seeking ultimately to build up some superstructure of their villages. The opportune time for these endeavours are the common festivities held at certain periods to which people swarm in great numbers from all sides«.[119]

In literature, such types of gatherings, named amphictyonies by *Mühlmann*,[120] have so far been recorded from the Huon Gulf area only.[121] However, the initiations of Astrolabe Bay, too, do show an amphictyonic character, although somewhat vaguely and indistinctly.

Thus *Hoffmann*, writing about initiation at Bogadjim, mentions that »not only youths of Bogadjim but young men from all the neighbouring villages take part in it, so that there is a regular stream of strangers«.[122] *Hagen* reports that these festivals are held at long intervals »but should such a festival take place in between in one of the villages with which trading relations exist, then a number of young men will be sent there for circumcision«.[123] *Hoffmann* writes about the closing ceremony of the initiation ceremony held in May 1893 : »Saturday afternoon a number of friends came across the water and on land.«[124] *Kunze*'s description is the most detailed : »Visitors arrive every day from other villages to the *Barak*-festival ; they come in large bands and in troops, some in canoes, some on foot, even from the remotest parts of the hills. Fresh arrivals come in every morning and evening so that in the *gogoi* there are always about 75—100 men together, sometimes even more. Those from the neighbouring v llages sometimes come twice or three times and the whole thing seems to be so well-organized that every village on the island knows exactly on which day to arrive to the *Barak*-festival. Of course, the neighbours from Rich Island also take part in it. During the twelve days of the *Barak*-festival, according to my estimation, not less than 2000—2500 men must have visited Kulubob at one time or another«.[125] It is not unlikely that the *bog*-festivals on Graged Island are gatherings of a similar nature. This assumption rests on *Dempwolff*'s following communication : »...after they all have had a drink, he comes back and

[119] *Mühlmann*, 1940, p. 54.
[120] *Mühlmann*, 1938, pp. 10—11.
[121] *Mühlmann*, 1940, p. 54; *Hogbin*, 1947, p. 132. (»The first procedure was the announcement of what was contemplated to the surrounding countryside. Messengers went out to invite two men from each settlement to visit the village on a certain date, and when all had assembled the headman gave notice of his intentions and presented them with bull-roarers... etc.«)
[122] *Hoffmann*, 1893, p. 209.
[123] *Hagen*, 1899, p. 235.
[124] *Hoffmann*, 1894, p. 59.
[125] *Kunze*, 1892, p. 204.

sits in the middle, breaks up ripe cocoanuts and addresses those present by saying : 'Oh you people of Laupain, Asaupain, Ijmalan, of Janudamon, Naslon and Sausau, when you will have left us, do not calumniate us, leave off the practice of magic so that we may live in piece. Let us, then, rejoice and enjoy what the festive table offers us'«.[126]

It is to be regretted that our sources do not inform us on a number of points which are highly relevant to our subject. Thus, among others, the question remains unanswered to what tribes and to which areas the people belonged who had appeared at the initiation festivals. Not even *Kunze*'s report can be called adequate considering that he does not make it sufficiently clear whether the festivals were, or were not, attended by non-Melanesian speaking peoples of the northern half of the Island. Yet, it can be taken for an established fact that temporarily the initiation ceremonials united different linguistic and social groups of peoples. This is clearly seen in the case of Bogadjim. According to *Hoffmann*'s report the visitors came on water and on land. As we know that the Bogadjim dialect is spoken only by a small number of natives, and that only a part of Bogadjim abuts on the sea-shore, it seems obvious that the visitors must have belonged to communities that spoke other languages. It is even probable that the visitors arriving by boats had come from the islands since, as *Werner* puts it »the people of Bongu and the dwellers of Rai Coast were forbidden to build any vessels, and only lately have they begun to make.....«[127]

It is also probable that in Astrolabe Bay, just as with the *Balum*-cult festivals in the Huon Gulf region,[128] a Treuga Dei was associated with the festival. This follows from the general nature of this type of gatherings, and from the fact that inhabitants of friendly villages almost invariably took part in them. Obviously, *Dempwolff*'s report cited above also refers to this peace-making tendency. (»Do not calumniate us, and leave off the practice of magic, so that we may live in peace«.) And lastly it must be kept in mind that, in *Kunze*'s opinion, on Karkar Island the *Barak*-festival went together with a pig-market which clearly shows that the cultic aim was purposly coupled with an economic one. Marketing time, as everywhere else, is a period of peace here too.

[126] *Dempwollff*, 1929, p. 235.
[127] *Werner*, 1911, p. 118.
[128] *Lehner* 1935, pp. 271—272, and *Biró*'s handwritten unpublished Notes. »The *Balum*-bullroarer plays a role at the similarly called peace-festivals of the natives, and only in the last act of that festival . . . The original *Balum*-bullroarer stands not only as a dead memory, but it is a real representative of the peace-loving *Balum*-festivals. When a strife breaks out for some petty reason between individuals or parties, the *abumtau* holds up the *Balum*-bullroarer in front of them, reminding them that they promised to keep peace, and then the fight has to stop«. See also *Hogbin*, 1947, pp. 132, 134. »Quarreling and fighting were also outlawed, and it is said that from this time till the ceremony was over anyone found guilty of murder, adultery or other major offences had to be killed by his own kinsfolk. . . The ancestors used to insist . . . that peace would confidently be expected for a year ot two«.

The available data are, as we have seen, insufficient to discuss thoroughly the origin of these amphictyonic gatherings. Nevertheless it seems necessary to raise a few questions in connection with them.

Any investigation of the amphictyonic gatherings in Astrolabe Bay and its neighbourhood has to depart from two different angles. First, we believe, it must be assumed that with the non-Melanesian peoples these amphictyonic festivals came to be installed and were strengthened by trading relations. Proof of this is supplied by the fact that, according to our data, the Bogadjim language, for instance, is used along one part of the coastal region as a mediating agent for trading purposes,[129] and that the institution of trade-friendship is well-known here too.[130] We would also refer to *Mühlmann*, who points out that trade-friends — proxenoi — further to a considerable extent the intercourse between different linguistic groups. The assumption seems obvious enough that although the villages and groups invite each other to their festivals and feasts in expectation of a return of hospitality, (as was pointed out by *Miklucho-Maclay*)[131] they also do this in order to strengthen their ties of commercial friendship. But since trading activities require peaceful conditions, it is no unjustified conclusion that a Treuga Dei must have been essential to the completeness of the festivals, a surmise that is corroborated by *Dempwolff*'s statements. The festivals certainly give an opportunity not only to strengthen the ties of an already existing friendship, but also to restore relations marred by temporary contentions and quarrels. In the course of time, the original economic aim may become obscured and with a widening of the peaceful area, even unnecessary, and cedes its place entirely to the cultic aim which now appears to be primary and reflects itself upon our minds as the cultural unificator of the different communities.

The second point we wish to make is that in these amphictyonic gatherings it is difficult not to assume the presence of survival phenomena. Primarily to the Melanesian speaking groups driven apart during their migrations must these amphictyonic gatherings have offered opportunities to restore, even though temporarily, their former, lost but still remembered, unity. Among these gatherings the one linked up with initiation is the most important. In the life of a group initiation dwarfs everything else since it performs the most important social as well as religious functions within it. It reinforces the group with new members and thereby again and again secures the continuation of its life. The fact that its rituals are always adapted to dramatic representation and that this dramatization increases the tension evolved by the event itself, greatly adds to its significance. The excitement created by the singing and music is a constantly recurring psychological motive seeking outlet in action and serv-

[129] *Hagen*, 1899, p. 218.
[130] *Hagen*, 1899, p. 219.
[131] *Miklucho-Maclay*, 1876, p. 332; Миклухо-Маклай, 1950—1951, III, p. 117.

ing as an urge to repeat the cultic activity again and again ; the common memories of past rituals also further this desire.

Some amphictyonic gatherings and among them perhaps the gatherings of the Melanesian speaking islanders of Astrolabe Bay may have had an origin of this nature. However, with the passing of time the contact slackened between the groups which before becoming scattered over the various islands arrived here on one and the same migrational wave, and the notion of their common origin was by and by forgotten. But the festivals which once played a central part in the life of the former community (as e. g. the outstanding event of initiation) remained and it is now these cultic ceremonials that from time to time and temporarily reunite the scattered groups. They constitute the only factor which, over and above some possible minor conformities in material, social and spiritual culture, still reflects the one-time unity and thereby secures the idea of its continuation in the minds of the different groups living in dispersion. Therefore from a psychological, sociological and cultural standpoint, an amphyctyony must be looked upon as a survival and revival at the same time ; its existence proves a former social unity of which it is a remnant and through the functions connected with it it ensures the continuity of at least a unity of cultic character and a renewal of society.

A process similar to the one reported by *Mühlmann* in connection with Polynesia, must have taken place in these regions of New Guinea. Therefore, his statement that »ethnologically amphictyonies must be interpreted as the counterbalancing force acting in opposition to dispersion«[132] may be taken to be valid also in respect of the phenomena we have just been investigating. Our analysis has proved that in New Guinea, too, »it would be a mistake to view the myth as nothing but a myth (als Nur-Mythos)«[133] since in these legends it is again the historical past that is reflected.

All this should, of course, not suggest that we equate the Polynesian and the New Guinean amphictyonies. The concrete historical antecedents creating them must have been considerably different. But the general psychological basis (and here *Mühlmann* quotes the romantic *Schelling)*, must have been similar at both places. The fear of dispersion, the fear that social unity might be broken up, which is, of course, being brought about by economic and social causes (dispersion tears asunder the social fabric, loosens the traditional framework of society and endangers the material basis of social existence), gives rise to the opposite of Diaspora, namely to the amphictyonies counteracting the tendencies of disruption by temporarily keeping up a cultic and sociological unity for the duration of these gatherings. In other words, the antithesis between the former unity and the present dispersion becomes relieved in the amphic-

[132] *Mühlmann*, 1938, p. 99.
[133] *Mühlmann*, 1938, p. 98.

tyonies which some later time may again be followed by a wider and more efficient social integration.

*

It must be admitted that what has been said in the foregoing is of a rather speculative character, but we cannot help agreeing with *Speiser*'s dictum that »the cultural history of the South Sea is so entangled that it cannot be solved without some attempts at speculation«.[134] We hope, however, that in a few questions we have succeeded in verifying and complementing some of the results of former investigators.

II.

The material objects of initiation and ghost-cult are just as important functional factors in the cultic activities as are the charms, the singing or the teachings given to the novices. Thus, the mask conjures up the ghost or the ancestor, the ghost house is the material manifestation of the ghost body, while the interior of the house is believed to be the belly of the ogre. In the booming sound of the bull-roarer the complaint of the ghost can be heard ; the spirit-flute or the long bamboo-stick interprets the wishes of the ghost to his attendants at the festival. It is only natural, therefore, that the objects are surrounded by the same secrecy and restrictions as all the ritual acts connected with initiation. These objects must only be made, seen and handled by men. For women and the non-initiated the breaking of these rules means death or illness, the offended ghost will take his revenge, or rather the members of the cult who are responsible for keeping up at any price the secrecy of the cult and of its appurtenances.

Hagen reports that »the three ritual instruments, the *Asa*-flute, the *gul* and the ocarina, are meant to be heard by men's ears only, and on the penalty of death are forbidden to be seen or heard by women, even though they be Europeans«.[135] On Karkar Island the ghost may only be seen by the men, »the women are not allowed to see it, or the instruments, else they must die«.[136] *Miklucho-Maclay* writes from Bongu : »All these instruments, commonly known under the name of '*Ai*', are to be handled exclusively by men. Women and children are strictly forbidden to set eyes on them or even to hear them from near«.[137] *Biró*[138] and *Dempwolff*[139] report the same prohibitions.

[134] *Speiser*, 1945—1946, p. 33.
[135] *Hagen*, 1899, p. 190.
[136] *Kunze*, 1897, p. 8.
[137] *Miklucho-Maclay*, 1876, p. 321 ; Миклухо-Маклай, 1950—1951, III, p. 106.
[138] *Biró* and *Semayer*, 1901, pp. 176—185.
[139] *Dempwolff*, 1929, p. 230.

PLATE I



PLATE II



The instruments themselves were the property of the individual members, at least in Bogadjim. The place where they were kept, was the so-called *Asa*-house *(Ai*-house, *gogoi)*, a building erected for the purposes of the cult and common property of the village, or some parts of it.[140]

1.

Masks

The masked dances, the processions and the personification of the ghost by the mask, belonged to the most important items of the initiation and the cult. In Bongu they held masked processions at the *Ai-mun* festivals ;[141] on Karkar Island a masked man declared the novices mature.[142] We know from Bogadjim, that masks were known there too : »real masks, called *Asa-kate (kate* 'head'), are found in our parts — Bogadjim — as well. They are hung up in the *Asa*-houses .... and are used only on the occasion of dances at the *Asa*-festivals. They are usually of wood, made with the stone-axe and shell-knife, and though somewhat rough and clumsy they are really remarkable considering the primitive tools they have been executed with«.[143]

We only know the names of the Bogadjim and Bongu masks. In Bogadjim, as we have seen it, they are called *Asa-kate* and in Bongu *Ai-gate*.[144]

The masks are anthropomorphic, hatchet-faced, and their craftmanship is rather rough and rude. On their backs, which are done with somewhat less care, the traces of carving are clearly seen. Every mask has features entirely of its own. On each of them there are spy-holes under the eyes that are usually carved bas relief.

2.

MUSICAL INSTRUMENTS

Dance rattles

Their use has been described by *Miklucho-Maclay :* »By shaking them up and down, the nutshells come into contact and produce a clattering noise that can be modulated by the number of shells in the rattle and by the speed at which it is shaken. Beginning with a dull noise it can go over into a frantic crescendo. In these modulations the Papuans find an immense delight«.[145] *Schmeltz* mentions the dancing-rattles in the *Kubary* collection of Konstantinhafen.[146] The same type of rattles are described by *Schurtz*[147] and *Werner*[148]

[140] *Hagen*, 1899, p. 195 ; *Hoffmann*, 1898, a., p. 72.
[141] *Miklucho-Maclay*, 1876, p. 332 ; Миклухо-Маклай, 1950—1951, III, pp. 116—117.
[142] *Kunze*, 1892.
[143] *Hagen*, 1899, p. 172. Table 27.
[144] *Hanke*, 1909, p. 122.
[145] *Miklucho-Maclay*, 1876, pp. 322—323 ; Миклухо-Маклай 1950—1951, III, p. 108.
[146] *Schmeltz*, 1895, pp. 243—244. Table XVI/2.
[147] *Schurtz*, 1900, p. 511 (See also *Fuhrmann*, 1922, p. 102).
[148] *Werner*, 1911, pp. 56—57. Fig. 43 (Bogadjim).

and such can be found in the *Miklucho-Maclay* collection, too.[149] *Hagen*, quoting *Schmeltz*, remarked that in Bogadjim he had not come across any dance-rattles at all,[150] nor did *Biró* include any in that part of his catalogue that contains the description of musical instruments.[151] *Finsch*, however, makes mention of such rattles in his account.[152] Specimens of these musical instruments must have been very rare even around 1890 and could only be found by the merest chance in the coastal villages. The dance-rattle mentioned by *Werner* must have come from the interior or else it had belonged to a collection of some museum.

The typical feature of a dance-rattle consists in the execution of its handle which is usually cut of one piece of wood and worked into an anthropomorphic or zoomorphic figure. The rattling sound is produced by the dry shells of Pangium edule (in Bongum : *orlan*[153]). They are threaded up on fibres which are fastened into a square hole at the upper end of the handle or, if the hole is missing, into a ring made of fibre applied to the handle.

Two names of the dance-rattles have been preserved from Bongu : *Ai-gatê-si* which means locks of the *Ai*[154] and *orlan-Ai.*[155]

Flutes

Unfortunately, our sources do not give an exact description of the flutes used at the initiation rituals. In some instances it is not even clear whether they are really flutes or simply bamboo pipes. For this reason, and as these instruments are used for the same purpose, we shall deal with them together.

We have already spoken about the function of the flutes while dealing with initiation.[156]

Hanke and *Miklucho-Maclay* mention flutes from Bongu. *Hanke* reports that their name is *Ai-kabrai*, i. e. the parrot of the *Ai.* »This is a bamboo pipe about two metres long, made of a certain specie of bamboo : the *damangu ;* it serves as a wind-instrument«.[157] The name and the use of the instrument is described by *Miklucho-Maclay* in the following way : »The *Ai-kabrai* is a bamboo stick about 2 metres long or longer, about 50 millimetres in width ; the dividing walls of the nodes have been removed so that the entire length of the bamboo stick is formed into one long pipe. They take this bamboo stick

[149] Миклухо-Маклай, 1950—1951, III, p. 104. Fig. I/4 ; Каталог, 1886, No. 57 ; *Miklucho-Maclay* Collection, Leningrad, 170 (168—57), 171 (402—78), 172 (402—265).
[150] *Hagen*, 1899, p. 188.
[151] *Biró* and *Semayer*, 1901, pp. 176—193.
[152] *Finsch*, 1914, p. 544.
[153] Миклухо-Маклай, 1950—1951, III, p. 55, p. 132,
[154] *Hanke*, 1909, p. 122.
[155] *Miklucho-Maclay*, 1876, p. 322 ; Миклухо-Маклай, 1950—1951, III, p. 108.
[156] As to the manner of their use see *Wirz*, 1923, pp. 66—68 ; *Graf*, 1947. For a more recent occurrence in the interior of New Guinea see *Wirz*, 1952.
[157] *Hanke*, 1909, p. 122.

in their mouths and the wide diameter seems not to disturb the Papuans in the least, and they blow it, they yell, cry, growl and grunt through it, etc..... They practise on it for hours at length at their festivals. Its sound, a multitoned howl, could be heard on windless, quiet nights along the seashores as far as 2—3 miles. This simple instrument is called *ai-kabrai*; '*kabrai*' means in the Papuan dialect a psittacus with a loud, shrill voice«.[158] *Hagen* mentions flutes from Bogadjim,[159] and *Dempwolff* describes the way they are used on Graged Island.[160] *Biró* collected flutes in Bogadjim and in Bongu. These are much shorter than those described by *Hanke* and *Miklucho-Maclay*, yet *Biró* calls them all *Ai* or *Asa* objects. Biró remarks that their name in Bongu is *Ai-karam* and in Bogadjim *Asa-parrara.*[161] We know from *Finch*'s report that on Karkar Island the length of the flutes is over 2 metres.[162] *Kunze* does not mention the shape of the flutes, he probably refers to the *Ai-kabrai* described by *Miklucho-Maclay.*[163]

Horns

Hanke mentions an instrument from Bongu called *Ai-aini* made from the dried skin of Lagenaria vulgaris.[164] *Miklucho-Maclay* reports that the name of the instrument in Bongu is *hol-Ai.* This is »a curved or straight trumpet-like wind-instrument made of the root of a variety of the Lagenaria.[165] This is used for making music as the former instruments are. Through it they speak, shout, cheer, cry, grunt, crow, whistle etc.«[166] *Hagen* has come across the same instrument in Bogadjim by the name of *gul* and adds that it is known in the interior of the island, too.[167] On Karkar Island »a ghost speaks occasionally through this instrument«.[168] *Zöller* has found it in Bogadjim, too.[169] One of the photographs in the *Biró* Collection suggests that it was known on Bilibili Island as well.

Ocarinas

In Bongu ocarina-like musical instruments are known by the name of *Ai-mongi-la.* »This is a kind of a pipe made from the shell of an unripe or very

[158] *Miklucho-Maclay*, 1876, pp. 321—322; Миклухо-Маклай, 1950—1951, III, p. 106, p. 107. Fig. I.; *Miklucho-Maclay* Collection Leningrad, 169 (168—50).
[159] *Hagen*, 1899, p. 186.
[160] *Dempwolff*, 1929, pp. 231—232.
[161] *Biró* and *Semayer*, 1901, pp. 181—182.
[162] *Finsch*, 1914, p. 529.
[163] *Kunze*, 1892, p. 203.
[164] *Hanke*, 1909, p. 122.
[165] This obviously rests on a mistake since it was the fruit of the Lagenaria vulgaris that was used for making trumpets.
[166] *Miklucho-Maclay*, 1876, p. 322; Миклухо-Маклай, 1950—1951, III, p. 106, p. 107., Fig. 3; *Miklucho-Maclay* Collection, Leningrad, 168 (168—58).
[167] *Hagen*, 1899, p. 189.
[168] *Kunze*, 1893, p. 8.
[169] *Zöller*, 1891, p. 269.

small cocoanut. It has a hole at one end and one at the side. The hole at the end serves for blowing into the instrument while the hole at the side is opened and shut with one finger. The sound produced in this way is like the call of a cuckoo«.[170] *Miklucho-Maclay* heard it called *munki-Ai* in Bongu.[171] *Finsch*, following *Miklucho-Maclay*, mentions it under the names *munki-Ai* and *mangi-Ai*, but erroneously connects it with the *Asa*-festivals.[172] *Hagen* seems to have seen it in Bogadjim.[173] *Biró* reports that it was known in Bogadjim and in Bongu by the names of *ulo-Asa*, *vob-Asa*, *Asa-kore*, *mangi-Ai* and *mangi-Asa*, and adds that »they play a role only at the great festival of Tamol, and at the *Asa*-festival when the *Asa*-dance is performed to the sounds of this instrument. The dance melody is easily played, one has only to blow into the hole at the side and to open and close the hole at the end with the thumb at regular intervals. The main thing is not so much the melody as the rhythm that regulates the steps of the dance«.[174]

Bull-roarers

Little is known about the part these instruments play. *Miklucho-Maclay* did not come across them in Bongu, and *Hanke* gives only Bongu word for the »roaring« sound of the bull-roarer.[175] According to *Hagen*, »the bull-roarer exists in Bogadjim too, most likely it has the same religious significance at the initiation festivals as it has in Finschhafen«.[176] *Finsch* succeeded in collecting a number of these instruments in Astrolabe Bay which shows that its use must have been wide-spread.[177] On Graged Island, as witnessed by *Dempwolff*, it is used at the *siao* dance.[178] We find a number of bull-roarers from the Astrolabe Bay region in the *Fenichel* and *Biró* Collections; the latter held these to be not only ritual objects but also spelling and charming sticks.[179]

Besides these musical instruments, *Hanke* and *Miklucho-Maclay* describe one more from Bongu made of a leaf. *Hanke* gives the following description of it : »An *Ai-dobok* consists of the leaf of a certain plant, the leaf is held between the two thumbs pressed together in a way so that the two hands form into a hole underneath the leaf. When the air is blown through the two thumbs by raising them close to the mouth, a peculiar whistling sound of a deeper tamber

[170] *Hanke*, 1909, p. 122.
[171] *Miklucho-Maclay*, 1876, p. 322 ; Миклухо-Маклай, 1950—1951, III, p. 106, p. 107. Fig. 5 ; Каталог, 1886, No. 59.
[172] *Finsch*, 1914, p, 302. p. 529, Ta le XIX. Fig. 428.
[173] *Hagen*, 1899. p. 189.
[174] *Biró* and *Semayer*, 1901, pp. 178—181.
[175] *Hanke*, 1909, p. 239.
[176] *Hagen*, 1899, p. 189.
[177] *Finsch*, 1914, p. 543.
[178] *Dempwolff*, 1929, p. 229.
[179] *Biró* and *Semayer*, 1901, pp. 182—193.

is produced«.[180] *Miklucho-Maclay* gives a similar description of this »musical instrument« but he does not mention its name.[181]

3.

Dance-swords

From our sources it is *Biró* alone who mentions dance-swords. *Finsch* considers them to be weapons, and describes them accordingly. *Biró* differs from him writing : »Chiefly at the great festival of Tamol, at the *Asa*-festivals these dance-swords play an important part«. Their name is *Asa-seburu* or *sebaru-sulum ;* in Bongu they are called *mulum-panyi*, and in Erima : *ulisu*. Thus, even by their names these swords are ritual objects first of all.

These dance-swords are flat wooden sticks with hilts at one end and points rounded off ; they are decorated with carvings or incrusted or painted red.[182]

4.

Carved Figures

We know little about the beliefs and ideas attaching to these figures. Only that much seems to be probable that in most cases they represent ancestors. Very likely there is a difference between, on the one hand, the posts of the meeting houses with figures of men and women in tiers carved out of one piece of wood and, on the other hand, the 1—2 metres high single figures of men and women, and the small carvings of from 10 to 80 cm size.

Dempwolff is definite about the ancestral character of these figures as can be seen when he quotes a native remark concerning the building of a men's house. According to the natives the spirits of the ancestors are present at the building of the men's house and this is what they say to each other : »As a holy shrine you have built the men's house, you have carved the holy ancestral figures and brought them here and erected them in the men's house«. And then they add : Certainly, they obey the commands of the *Mesiab*. We are of one mind as the Father of our kindred has taught us«.[183]

Miklucho-Maclay is of the opinion that »they are surely nothing else than the so-called 'Korwar's' from Doreh«. He also gives a description of the figures : »the *telums* are made of wood,[183a] rarely of clay,[183b] and represent human figures of both sexes. Nearly all of them wear fantastic decorative pat-

[180] *Hanke*, 1909, p. 122.
[181] *Miklucho-Maclay*, 1876, p. 323 ; Миклухо-Маклай, 1950—1951, III, p. 109.
[182] *Biró* and *Semayer*, 1901, pp. 173—176.
[183] *Dempwolff*, 1929, pp. 232—233.
[183a] *Miklucho-Maclay* Collection, Leningrad, 185 (168—50), 186 (168—41), 187 (402—3), 188 (402—17), 189 (402—6), 190 (403—20.) ; Каталог, 1886, Nos 38, 39, 40, 41, 51, 52.
[184b] *Miklucho-Maclay* Collection, Leningrad, 198 (168—51), 194 (168—52), 195 (402—15).

terns on their heads, and the figures of the men are mostly executed with genitalia of enormous sizes. Nearly all of them have a long tongue hanging down so that in many figures it is joined to the penis. These peculiarities of representation may be taken as characteristic features. In Englam-mana (a village in the hills) I came across a strange *telum* with a man's body, a crocodile's head and with a tortoise as a kind of a head covering«.

»Every figure has the nose pricked through as the Papuans have, and every *telum*, if there are more than one in the village, has a proper name of its own«.

»The significance of these wooden figures has not become quite clear to me, though, as I have said, I know for certain that they are in some way or other connected with the embryonic religious ideas of the Papuans. Thus, I found in some mountain villages, that *the big stones are honoured as telums too.*«[184]

One type of the ancestral figures is called *Aidogan*. These play a part at the *Ai*-festival in the course of which a procession of masked natives carry »wooden *telums* of long poles with figures in tiers, the so called *Aidogans*, from the village to the *Ai*-place where they receive a new coat of paint, and thus renewed they play an outstanding role at the masked processions«.[185]

The posts of the large meeting-house on Bilibili Island represent human figures carved above one another in tiers. »This type of carving, called *Aimaka*, represents four male and two female figures in the nude carved in tiers and painted red and black on a white ground.«[186]

In *Hagen*'s opinion »people held in great esteem while alive, are carved in figures after their death«, but he admits that he has been unable to get full confirmation on this point. These figures are not particularly important since »no special notice is taken of them in Bogadjim ; only once in a while is there a big feast prepared for them consisting of pigs, cocoanuts and dogs' meat ; no women are allowed to be present at the feast..... The *silums* ..... are set in the middle of the feasting group«.

Hagen reports that all the statues are made in Bongu, and »that accounts for the similarity of the type all over Astrolabe Bay«.[187]

Zöller states that in Bogadjim figures of the ancestors are unknown ; these are replaced by sticks painted red, but that in Bilibili very handsomely carved figures can be found.[188] His former observation concerning Bogadjim, as has already been pointed out, must be considered erroneous.

[184] *Miklucho-Maclay*, 1876, pp. 316—317 ; Миклухо-Маклай, 1950—1951, III, pp. 100—102.
[185] *Miklucho-Maclay*, 1876, p. 332 ; Миклухо-Маклай, 1950—1951, III, p. 118.
[186] *Finsch*, 1888, b., p. 73.; 1888, c; pp. 118—119.; 1914, p. 554.
[187] *Hagen*, 1899, p. 267.
[188] *Zöller*, 1891, pp. 269—270.

The style of the figures, however, cannot be called uniform, and for this reason we do not think it probable that their place of origin could exclusively have been Bongu. By comparing the different publications (*Schmeltz*,[189] *Werner*,[190] *Hagen*,[191] *Biró*,[192] *Miklucho-Maclay*,[193] *Kunze*[193a]) it becomes obvious that the connection of the labial parts with the penis is not to be found everywhere, nor can the painting of the figures be called a universal custom. Not even the piercing of the nose can be seen on each specimen. As regards the elongation of the labial parts it must be stated that, contrary to the opinion of *Miklucho-Maclay*, it is not a hanging tongue at all but, as *Hagen* reports, a *bul*, which is »an ornament used at dances which, as we have seen, is taken into the mouth at dances or at feuds«.[194]

Our sources disagree as to the names of the ancestor figures. From Bongu we know the designations *telum*, *tselum*, *tselum-mul*, *sulum*, *Ai-dogan*, from Bogadjim *silum*, from the Bilibili Islands *Aimaka*. The forms *telum*, *tselum*, *silum* can be traced back to *sulum* mentioned by *Hanke*,[195] which we consider the correct one, while *Aimaka* and *Aidogan* might refer to different types altogether.

5.

Style

It was *Preuss* who first expressed an opinion concerning the proper place of the style of the material from Astrolabe Bay. According to him, the area of the type of style characteristic of the Astrolabe Bay extends from Cap Fortification to Cap Croisilles.[196] The few objects which stood at *Preuss*'s disposal, hardly a dozen of figures and no masks at all, made it hard for him to arrive at reliable observations. His objects came from a few localities only, so that the conclusions drawn from them are rather of local importance than typical of the style generally employed.[197] *Speiser* included Astrolabe Bay in the *Tami*-style area but his assumption must be considered erroneous. As his quotations show, he relied exclusively on *Biró*'s work, for the decorative features of the Astrolabe Bay objects ; as he had no access to a wider range of objects, he examined the dance-swords only that had been collected by *Biró* (see *Biró* and *Semayer*, 1901, Table XVII, figs. 1—5). From among these dance-

[189] *Schmeltz*, 1895, p. 244. Table XVI/1—1a.
[190] *Werner*, 1911, Figs. 40, 41, 44.
[191] *Hagen*, 1899, Table 42.
[192] *Biró* and *Semayer*, 1901, p. 196.
[193] Миклухо-Маклай, 1950—1951, I, p. 227, III, p. 101.
[193a] *Kunze*, 1926, p. 77.
[194] *Hagen*, 1899, p. 267.
[195] *Hanke*, 1909, p. 209.
[196] *Preuss*, 1897, p. 85.
[197] *Preuss*, 1897, p. 88.

swords those numbered 1—3, though collected in Bogadjim, had not been made in Astrolabe Bay. An examination of these patterns and their comparison with those of the other material shows that these dance-swords derive from Huon Gulf.[198]

We do not know of any other publication dealing with the decorative style of Astrolabe Bay. Careful sifting of the available sources makes us feel convinced that the material from Astrolabe Bay is little known. *Chauvet*,[199] *Frobenius*,[200] *Fuhrmann*,[201] *Meyer*,[202] *Leenhardt*,[203] *Vatter*,[204] *Willitsch*,[205] *Firth*,[206] *Speiser*[207] publish no material at all from Astrolabe Bay. The information available in printing and the material in our museum, has led us to share the conclusions of *Preuss*: Astrolabe Bay is an independent area of decorative style in New Guinea. Its features are unique, not similar to the *Tami*-style nor to the styles of the adjoining western areas. Nothing like it is known anywhere in New Guinea, wherefore we feel justified in supposing that here we have to do with a style independently developed, and probably Papuan.

*

Tables

The objects published in the tables annexed were collected by *Samuel Fenichel* in Astrolabe Bay in 1891—1893, and are in possession of the Ethnographical Museum in Budapest (Hungary). It is much to be regretted that the notes of the author are fragmentary since *Fenichel* died in the hospital of Stephansort amidst tragic circumstances in March 1893. That makes it impossible for us to trace the items in his collection to definite villages. That much is certain, however, that his objects came from the innermost part of Astrolabe Bay, mostly from Bongu village, which was his permanent residence in New Guinea.

Exact information on provenience will be given of the objects only that do not derive from the *Fenichel* Collection.

[198] *Speiser*, 1936, p. 330. (On p. 333 the following passage is obviously an error that has escaped the author's attention: »*Tami*-style prevails along the coast line of New Guinea from Astrolabe Bay to Humboldt Bay«.) Among the drums of the Astrolabe Bay we find specimens coming from Huon Gulf (see *Bodrogi*, 1949, p. 222, Fig. 31).

[199] *Chauvet*, 1930.
[200] *Frobenius*, 1897.
[201] *Fuhrmann*, 1922.
[202] *Meyer*, 1889.
[203] *Leenhardt*, 1947.
[204] *Vatter*, 1926.
[205] *Willitsch*, 1935.
[206] *Firth*, 1936.
[207] *Speiser*, 1941.

BIBLIOGRAPHY

Abbreviations

AfAnthr. = Archiv für Anthropologie (Berlin).
AV. = Archiv für Völkerkunde (Wien).
Anthr. = Anthropos (St. Gabriel-Mödling b. Wien, — bzw. Posieux-Froideville, Kt. Freiburg, Schweiz).
AT. = Acta Tropica (Basel).
BA. = Baessler Archiv (Berlin).
FEthn. = Folia Ethnographica (Budapest).
JAF. = Journal of American Folklore (Menasha—Wisconsin).
JRAI. = The Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland (London).
IAE. = Internationales Archiv für Ethnographie (Leiden).
JSO. = Journal de la Société des Océanistes (Paris).
MGG. = Mitteilungen der Geographischen Gesellschaft (für Thüringen) zu Jena (Jena).
MAG. = Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien (Wien).
Gl. = Globus (Gotha).
Nachr. = Nachrichten über Kaiser-Wilhelms-Land und den Bismarck-Archipel (Berlin).
NTN. = Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlandsch-Indie (Batavia-'Gravenhage).
PM. = Petermanns Geographische Mitteilungen (Gotha).
TKBG. = Tijdschrift van het Koninklijk Bataviaasch Geneezschap van Kunsten en Wetenschappen (Weltevreden).
ZES. = Zeitschrift für Eingeborenen-Sprachen (Berlin).
ZfE. = Zeitschrift für Ethnologie (Berlin-Braunschweig).

*

Aufenanger, H. and *Höltker, G.*, Die Gende in Zentral Neu-Guinea. Vom Leben und Denken eines Papua-Stammes im Bismarck-Gebirge. Wien-Mödling, 1940.

Aufinger, A., Einige ethnographische Notizen zur Beschneidung in Neu-Guinea. Ethnos, Vol. VI. Stockholm, 1941. Pp. 25—39.

Aufinger, A., Die Geheimsprachen auf den kleinen Inseln bei Madang in Neu-Guinea. Anthr., Vol. XXXVII—XL. 1942—1945. a. Pp. 629—646.

Aufinger, A., Die Mythe vom Brüderpaar *Kilibob* und *Manup* auf den Yabob-Inseln Neu-Guineas. Anthr., Vol. XXXVII—XL. 1942—1945. b. Pp. 313—315.

Bamler, G., Tami. In *Neuhauss, R.*, Deutsch-Neu-Guinea. Vol. III. Berlin, 1911. Pp. 489—564.

Bartels, Hr., Besprechung über die Mitteilung Arff. ZfE. Vol. XXVI. 1894. P. 200.

Bergmann, G., Die Missionsstation Siar in Kaiser-Wilhelms-Land. Rheinische Missions-Traktate, Nr. 62. Barmen, 1894. Pp. 1—27.

Biró, L. and *Semayer, W.*, Beschreibender Katalog der ethnographischen Sammlung Ludwig Biró's aus Deutsch-Neu-Guinea (Astrolabe Bay). Budapest, 1901.

Bodrogi, T., Yabim Drums in the Biró Collection. FEthn. Vol. I. No. 2—4. Pp. 205—222.

Capell, A., Language Study for New Guinea Students. Oceania, Vol. XI. Sydney, 1940—1941. Pp. 40—75.

Chauvet, St., Les arts indigènes en Nouvelle Guinée. Paris, 1930.

Comrie, R. N., Anthropological Notes on New Guinea. JRAI., Vol. VI. 1877. Pp. 102—119.

Deacon, A. B., The Kakihan Society of Ceram and New Guinea Initiation Cults. Folklore, Vol. XXXVI. London, 1925. Pp. 332—361.

Dempwolff, O., Sagen und Märchen aus Bilibili. BA., Vol. I. No. 1. 1910. Pp. 63—102.

Dempwolff, O., Ethnographische Schilderungen aus Graged (Neu-Guinea). ZES., Vol. XIX. 1929. Pp. 205—236, 309—315.

Eich, Fr., Die Rheinische Mission im Kaiser-Wilhelms-Land. Rheinische Missions-Traktate, Nr. 53. Barmen, 1893.

Encyclopaedia of Religion and Ethics.

Finsch, O., Reise nach Neu-Guinea. Nachr., Berlin, 1885. Pp. 9—13.

Finsch, O., N. von Miklucho-Maclay. Deutsche geographische Blätter, Vol. XI. Bremen, 1888. a.

Finsch, O., Samoa-Fahrten. Leipzig, 1888. b.

Finsch, O., Ethnologische Erfahrungen und Belegstücke aus der Südsee. Beschreibender Katalog einer Sammlung im k. k. naturhistorischen Hofmuseum in Wien. Zweite Abtheilung: Neu-Guinea. Wien, 1888. c. Pp. 37—130.

Finsch, O., Südseearbeiten. Hamburg, 1914.

Firth, R., Art and Life in New Guinea. London and New York, 1936.

Frobenius, L., Oceanische Masken, 1—2. IAE., Vol. X. 1897. Pp. 69—71, 206—209.

Fuhrmann, E., Neu-Guinea. Hagen, 1922.

Gehberger, J., Aus dem Mythenschatz der Samap an der Nordwestküste Neuguineas. Anthr., Vol. XLV. 1950. Pp. 295—341, 733—778.

Graf, W., Zur Spieltechnik und Spielweise von Zeremonialflöten von der Nordküste Neuguineas. AV., Vol. II. 1947. Pp. 87—101.

Haddon, A. C., Migrations of Cultures in British New Guinea. JRAI., Vol. L. 1920. Pp. 237—281.

Hagen, B., Unter den Papuas in Deutsch-Neu-Guinea. Wiesbaden, 1899.

Hanke, A., Grammatik und Vokabularium der Bongu-Sprache (Astrolabe-bai, Kaiser-Wilhelmsland). Archiv für das Studium deutscher Kolonialsprachen, Vol. VIII. Berlin, 1909.

Hoffmann, A., A letter *in:* Berichte der Rheinischen Missions-Gesellschaft, Vol. L. Barmen, 1893. Pp. 209—210.

Hoffmann, A., Ein Kinderfest auf Neu-Guinea. Der kleine Missionsfreund, Vol. XL. Barmen, 1894. Pp. 57—62.

Hoffmann, A., Mitteilungen über die Anschauungen und Gewohnheiten der Eingeborenen im Dorfe Bogadjim bei Stephansort in Bezug auf Besitz und Erbschaft. Nachr., 1898. a. Pp. 72—74.

Hoffmann, A., Eine Roté sa aus Neuguinea. MGG., Vol. XVI. 1898. b. Pp. 48—50.

Hogbin, H, Ian., Pagan Religion in a New Guinea Village. Oceania, Vol. XVIII. Sydney, 1947—1948. Pp. 120—146.

Höltker, G., Neue ethnologische und anthropologishe Forschungen auf Manam und seinen Nachbarinseln (Neuguinea). Anthr., Vol. XXXII. 1937. Pp. 647—649.

Hubers, P. H., Kleine musikethnologische Beiträge von der Insel Karkar in Neuguinea. Anthr., Vol. XXXVII—XL. 1942—1945. Pp. 122—126.

Jensen, Ad. E., Beschneidung und Reifezeremonien. Stuttgart, 1933.

Jensen, Ad. E., Die drei Ströme. Züge aus dem geistigen und religiösen Leben der Wemale, einem Primitiv-Volk in den Molukken. Leipzig, 1948.

Каталог предметовъ Этнологической коллекции Съ ОС—Въ Тихаго Океана Н. Н. Миклухо-Маклая. С-Петербургъ, 1886.

Keysser, Ch., Aus dem Leben der Kaileute. In *Neuhauss, R.:* Deutsch-Neu-Guinea. Vol. III. Berlin, 1911. Pp. 3—241.

Krieger, M., Neu-Guinea. Berlin. 1899.

Kubary, J. S., Ethnographische Beiträge zur Kenntnis des Karolinen Archipels. Vols I—III. Leiden, 1889, 1892, 1895.

Kunze, G., A letter from the island Karkar *in:* Rheinische Missions-Berichte, Vol. XLIX. Barmen, 1892. No. 6. Pp. 196—207.

Kunze, G., Allerlei Bilder aus dem Leben der Papua. Rheinische Missionsschriften, Barmen, 1897. H. 3.

Kunze, G., Karkar oder Dampier Insel. PM., Vol., XLII. 1896. Pp. 193—195.

Kunze, G., Bilder aus dem Leben der Papua. 3. Auflage. Barmen, 1926.

Leenhardt, M., Arts de l'Océanie. Paris, 1947.

Lehner, St., Bukaua. In *Neuhauss, R.*, Deutsch-Neu-Guinea. Vol. III. Berlin, 1911. Pp. 397—489.

Lehner, St., Geister- und Seelenglaube der Bukaua und anderer Eingeborenenstämme im Huongolf Nord-Neu-Guineas. Mitteilungen aus dem Museum für Völkerkunde in Hamburg. XIV. Hamburg, 1930.

Lehner, St., The Balum Cult of the Bukaua of the Huon Gulf, New Guinea. Oceania, Vol. V. Sydney, 1934—1935. Pp. 338—345.

Lehner, St., Sitten und Rechte des Melanesierstammes der Bukawac. AfA., Vol. XXIII. 1935. Pp. 239—284.

Meyer, A. B., Masken von Neu Guinea und dem Bismarck Archipel. Königliches Ethnographisches Museum zu Dresden, 1889. Vol. VII.

Meyer, P. H., Wunekau, oder Sonnenverehrung in Neuguinea. Anthr., Vol. XXVII. 1932. Pp. 423—455, 819—854; Vol. XXVIII. 1933. Pp. 27—53.

Miklucho-Maclay, N. N., Anthropologische Bemerkungen über die Papuas der Maclay-Küste in Neu-Guinea. NTN., Deel XXXIII. 1873. a. Pp. 225—251.

Miklucho-Maclay, N. N., Mijn verblijf aan de Ostkust van Nieuw-Guinea in de jaren 1871 en 1872. NTN., Deel XXXIII. 1873. b. Pp. 114—127.

Miklucho-Maclay, N. N., Ethnologische Bemerkungen ueber die Papuas der Maclay-

Küste in Neu-Guinea. NTN., Deel XXXV. 1875. Pp. 66—94; Deel XXXVI. 1876. Pp. 294—334.

Миклухо-Маклай, Н. Н. Собраине сочинений, том — III. Академиа наук СССР. Москва—Лепинград, 1950—1951.

Mühlmann, W. E., Staatsbildung und Amphiktyonien in Polynesien. Stuttgart, 1938.

Mühlmann, W. E., Krieg und Frieden. Ein Leitfaden der politischen Ethnologie. Heidelberg, 1940.

Neuhauss, R., Deutsch-Neu-Guinea. Vol. I—III. Berlin, 1911.

Nevermann, H., Kawa auf Neuguinea. Ethnos, Vol. III. Stockholm, 1938.

Nilles, P. J., Eine Knaben-Jugendweihe bei den östlichen Waugla im Bismarckgebirge Neuguineas. IAE., Vol. XXXVIII. 1940. Pp. 93—99.

Parkinson, R., Die Berlinhafen-Section. Ein Beitrag zur Ethnographie der Neu-Guinea-Küste. IAE., Vol. XIII. 1900. Pp. 18—54.

Piddington, R., An Introduction to Social Anthropology. Vol. I. London, 1950.

Preuss, K. Th., Künstlerische Darstellungen aus Kaiser-Wilhelms-Land in ihrer Bedeutung für die Ethnographie. ZfE., Vol. XXIX. 1897. Pp. 77—141; Vol. XXX. 1898. Pp. 74—125.

Ray, S. H., The Languages of Northern Papua. JRAI., Vol. XLIX. 1919. Pp. 317—342.

Reschke, H., Linguistische Untersuchung der Mythologie und Initiation in Neuguinea. Anthropos Bibliothek, Vol. III. H. 5. Münster, 1935.

Riesenfeld, A., Ignorance of Physiological Paternity in Melanesia. JAF., Vol. XLII., 1949. Pp. 145—156.

Riesenfeld, A., The Megalithic Culture of Melanesia. Leiden, 1950.

Romilly, H., The Western Pacific and New Guinea. London, 1886.

Sokoloff, V. and *Faivre, J. P.*, Miklucho-Maklay (1846—1888). A propos du centenaire de sa naissance. JSO., Vol. III. 1947. No. 3. Pp. 93—103.

Speiser, F., Über Initiationen in Australien und Neu-Guinea. Verhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft in Basel, Vol. XL. Basel, 1928—1929. Pp. 53—259.

Speiser, F., Über Kunststile in der Südsee. ZfE., Vol. LXVIII. 1936. Pp. 304—368.

Speiser, F., Kunststile in der Südsee. Führer durch das Museum für Völkerkunde, Basel. Basel, 1941.

Speiser, F., Ueber die Beschneidung in der Südsee. AT., Vol. I. 1944. Pp. 9—29.

Speiser, F., Kulturgeschichtliche Betrachtungen über die Initiationen der Südsee. Separatum aus: Bulletin der Schweizerischen Gesellschaft für Anthropologie und Ethnologie, 1945—1946. Pp. 1—34.

Schellong, O., Das Barlumfest der Gegend Finschhafens (Kaiser-Wilhelms-Land). Ein Beitrag zur Kenntniss der Beschneidung der Melanesier. IAE., Vol. II. 1889. Pp. 145—162.

Schmeltz, J. D. E., Beiträge zur Ethnographie von Neu-Guinea. V. Ueber eine Sammlung aus Konstantinhafen, Astrolabebai, IAE., Vol. VIII. 1895. Pp. 241—244.

Schmeltz, J. D. E. † Johann Stanislaus Kubary. IAE., Vol. X. 1897. Pp. 132—136.

Schmidt, P. J., Die Ethnographie der Nor-Papua (Murik-Raup-Karau) bei Dallmannhafen, Neu-Guinea. Anthr., Vol. XVIII—XIX. 1926. Pp. 38—71.

Schmidt, P. W., Die geheime Jünglingsweihe der Karesau-Insulaner (Deutsch-Neu-Guinea). Anthr., Vol. II. 1907. Pp. 1029—1056.

Schurtz, H., Urgeschichte der Kultur. Leipzig and Wien, 1900.

Sydow, v. E., Die Kunst der Naturvölker und der Vorzeit. Propyläen-Kunstgeschichte. Vol. I. Berlin, 1932.

Tappenbeck, E., Deutsch-Neuguinea. Berlin, 1901.

Vatter, E., Religiöse Plastik der Naturvölker. Frankfurt, 1926.

Vicedom, G. F. and *Tischner, H.*, Die Mbowamb. Die Kultur der Hagenberg-Stämme im östlichen Zentral-Neuguinea. Vol. I—III. Hamburg, 1943—1948.

Vormann, P. F., Zur Psychologie der Religion, Soziologie und Geschichte der Monumbo-Papua (Deutsch-Neuguinea). Anthr., Vol. V. 1910. Pp. 407—418.

Vormann, P. F., Die Initiationsfeiern der Jünglinge und Mädchen bei dem Monumbo-Papua, Deutsch-Neuguinea. Anthr., Vol. X—XI. 1915—1916. Pp. 159—179.

Völkerkundliche Ausstellung der Rheinischen Mission. Barmen, 1914.

Werner, E., Kaiser-Wilhelms-Land. Beobachtungen und Erlebnisse in den Urwäldern Neuguineas. Freiburg, 1911.

Wichmann, A., Entdeckungsgeschichte von Neu-Guinea (1885—1902). Nova Guinea, Vol. II. 1. Partie. Leiden, 1910.; Vol. II. 2. Partie. Leiden, 1912.

Willitsch, G., Betrachtungen über die bildende Kunst Melanesiens und daraus sich ergebende Folgerungen für die Ethnologie. ZfE., Vol. LXVII. Berlin, 1935. Pp. 331—348.

Wirz, P., Dies und jene über die Sentanier und die Geheimkulte im Norden von Neu-Guinea. TKBG., Deel LXIII. 1923. Pp. 1—80.

Wirz, P., Beitrag zur Ethnologie der Sentanier (Holländisch-Neuguinea). Nova Guinea, Vol. XVI. Leiden, 1928.

Wirz, P., A Description of Musical Instruments from Central North-Eastern New Guinea. Koninklijk Instituut voor de Tropen, Meedeling No. C. Amsterdam, 1952.

Worsley, P. M., N. N. Mikloukho-Maclay, Pioneer of Pacific Anthropology. Oceania, Vol. XXII. Sydney, 1951—1952. Pp. 307—314.

Zahn, H., Die Jabim. In *Neuhauss, R.*, Deutsch-Neu-Guinea. Vol. III. Berlin, 1911. Pp. 289—397.

Zerries, O., Das Schwirrholz. Stuttgart, 1942.

Zöller, H., Deutsch-Neuguinea und meine Ersteigung des Finisterre-Gebirges. Stuttgart-Berlin-Leipzig, 1891.

BAST SHIELDS FROM THE HUON-GULF REGION

The data at our disposal appear to limit the use of the many-folded bast shields of rough finish with multifarous painted decorations on their outer surface to the area around Finschhafen and especially to the territory of the Kai (Kate) tribe living in the Sattel Mountains. *Pöch*, who was the first to mention this protective armour, happened to come across it at the upper stretches of the river Mape, near the territory of the Poums of the Kai tribe.[1] *Finsch*, basing his account on *Pönch*'s, also stated that this protective armour had mainly been in use among the Poums, and added that the *Schlechter*-expedition — in search of caoutchouc — had seen similar protective armour in the Bismarck Mountains among the people of the Hokrocho tribe.[2] *Keysser* writes of a protective weapon of a similar type which he calls a bast-armour and had found along the river Bulesome.[3] *Neuhauss*, dealing with the weapons used in the region around the Huon Gulf, states that the use of the bast shields extends only over the territory of the Poums and Hupes settled north and west of the Sattel Mountain, and adds that this type is also known along the coast in the vicinity of Kap König Wilhelm.[4] The bast armour of the Kambe tribe referred to by *Keysser*, might be taken to have been a further development of the bast shield under discussion.[5]

The bast shield is not mentioned by *Frobenius* in his comprehensive survey.[6] *Speiser* classified it by the name »Bastbündel« in the group of »Panzerschilde« (Bogenschilde) saying that it was known in the Solomon Islands too.[7]

The bast shield as known and used on the territory of the Kai tribe by the Poums and Hupes, and by the natives living in the vicinity of Kap König Wilhelm is made of a softened and roughly treated bast derived from the bark of trees known to me only by their native names : — *uontoganan* (in Poum), *sisio* (in Jabim), *talenibi* (in Jabim), *ausimin* (in Jabim). Bast treated in the man-

[1] *Pöch*, 1907, p. 57.
[2] *Finsch*, 1914, p. 364.
[3] *Keysser*, 1912, p. 566.
[4] *Neuhauss*, 1913, I, pp. 317—319; III, pp. 22, 259.
[5] *Keysser*, 1912, p. 566. Fig. 2, 3.
[6] *Frobenius*, 1900,
[7] *Speiser*, 1942, p. 100.

PLATE III



PLATE IV



ner described by Schellong[8] and cut up into sheets or strips, 60 cms wide and 120 cms long, is folded lengthwise in the middle, and two to ten layers are placed upon each other. These sheets are then laced together by bast fibres in stitches at unequal distances along the two longer sides. The bottom-end is usually left free and unlaced. The upper end is folded and securely stitched on; under this fold a bast string *(mu* in Poum, *gam* in Jabim) is passed through and tied into a knot at the free ends so that the shield — an apron, in fact — can be suspended round the neck. The shield is worn over the left shoulder; it covers the left side of the body and reaches to about the knees of a grown-up man. The shield worn in this manner does not hinder the wearer from using his bow and arrow. The man handling a bow stands with his shield left side turned towards the enemy while with his right hand he can draw his bow. The shield provides some protection against an arrow the point of which does not pierce through the fibres of the bast, and this prevents the arrow from injuring the body of its wearer.[9]

The name of the bast shield is *maluku* with the Poums and the Hupes, and it is called *mangi* around Kap König Wilhelm.[10] According to *Pöch*, its name in the Poum dialect is *bunda*.[11]

The outer surface is decorated in red and black colours in the characteristic style of the Huon Gulf territory.[12] On the basis of native informants *Biró* states that the dominant figurative decoration was meant to represent a human face over which a dancing cap was placed. The face itself shows the characteristic decorative painting of the natives festive make-up,[13] and the head-dress is the well-known piece always used at festivals and at dances. The name of the head-dress is *modibu* in Jabim which means: »in the shape of a bird« or »like a bird«, but they also call it by the name that is given to the framework of the head-dress: *kwalam-tapa* meaning the frame for the cockatoo feathers.[14]

[8] *Schellong*, 1888, 221—222.
[9] *Pöch*, 1907, p. 57; *Neuhauss*, 1913, I, Fig. 211.
[10] *Neuhauss*, 1913, I, p. 307.
[11] *Pöch*, 1907, p. 57.
[12] *Neuhauss*, 1913, I, pp. 359—365; *Speiser*, 1936, pp. 330—335.
[13] *Neuhauss*, 1913, I, p. 396.
[14] »The *kwalam-tapa* consists of a hat-shaped framework made from strips of cane or bamboo. Both sides of the frame are covered with sheets from fibres of a cocoa-nut tree. Red and white transverse stripes are painted on these, or they are decorated with *selam* heads (for the motif of the *selam* snake see *Bodrogi*, 1949, pp. 216—7). Two supports are made to raise from this framework, one in front, the other in the rear. These, being pliable, are bent so as to meet at their apices, where they are fastened together. At this point, a cross-shaped bit is tied to the construction to stick tufts of feathers into it. These support are made of the soft inner layers of the stalk of a sago-palm leaf *(labi* in Jabim) so the feathers can easily be stuck into them. Only the feathers from the wings and tail of a white cockatoo are suitable for this purpose *(kwalam:* Cacatua Triton). A slender grating of thin sticks is driven into the *labi* columns to keep the long feathers straight and in position.« From *Biró*'s unpublished handwritten notes. No 568. — *Neuhauss*, 1913, Fig. 314.

Biró found the same type of decorations on the large wooden shields used around Huon Gulf,[15] the only difference being that while on the wooden shields the whole body is portrayed, the body has been left out on the bast shields, and only the face and the head-dress are represented. This explanation of *Biró*'s is shared by *Preuss* who takes these figures on the wooden shields for dancing figures, and the decorative patterns above the heads for feather head-dresses.[16] The decorative elements accompanying the motifs of face and cockatoo head-dress, are usually executed in the *Tami*-style,[17] the characteristic features of which style I have last called the *Jabim*-style.[18]

The objects described in the following are in the possession of the Ethnographical Museum in Budapest (Hungary). The objects themselves were collected by *Lajos Biró* from 1896 to 1902.

*

PLATES

I. Bast shield. Huon Gulf, Poum.

The material is bast of a reddish brown colour. The bast derives from the *talenibi* tree. The bast shields are folded twice so that their thickness consists of four layers. The sheets are laced together along their entire length on both sides. At the upper fold a thin bast cord is passed through and tied into a knot at its free ends. The decoration is executed in red and black; the most characteristic decorative unit is a stylized human face with a dancing cap placed above it; these have been placed in the middle at the bottom and in the upper right corner.

Measurements: — length 105 cms; extreme width 75 cms. Exhibit No 66 205. Archive's number for collector's unpublished handwritten notes: — 666.

II. Bast shield. Huon Gulf, Poum.

The material is bast of a greyish brown colour, made from the *talenibi* tree. The bast sheets are folded twice so that their thickness consists of four layers. The sheets are laced together along their entire lengths on both sides. A thin bast cord is passed through the upper fold and tied into a knot at its free ends. The decorations have been done in red and black. The central feature of the decoration is a stylized human face with decorative elements of a dance cap, in the middle of the outer surface. The two decorative elements near the bottom represent stars (*asamen* in Poum; *utitalata* in Jabim).

Measurements: — length 95 cms; extreme width 43 cms. Exhibit No 66 206. Archive's number for collector's unpublished handwritten notes: — 666.

III. Bast shield. Huon Gulf, Poum.

The material is bast of reddish brown colour, made from the bark of the *ausimin* tree. The two-folded bast sheets are not of equal length, two layers of one sheet covering only one-third of the entire length in such a way that on the lower part two, on the upper, four layers give protection. One side of the shield is laced along its entire length, the lower edge is laced as well. Through the upper fold a thin bast strip is threaded through with its free ends tied into a knot. The outer surface is decorated with a black and red design. The human face is missing this time, and its place has been taken by the usual decorative elements. The entire decorative

[15] This type of decoration is applied by the *Kai*, *Jabim*, *Bukaua*, and *Labo* tribes and is common along the shores of Huon Gulf as far as Laukanu. According to *Frobenius*, this type of shield belongs to the Asiatic type (*Frobenius*, 1900, pp. 27—28. Fig. 1.), according to *Speiser* to the class of »Deckschilde«. *Speiser*, 1942 p, 92; *Geissler*, 1908, p. 126. Figs. 1—3; *Neuhauss*, 1913, p. 107, III, p. 22. Figs. 207, 2 9; *Finsch*, 1888, p. 78 (216).

[16] *Preuss*, 1897, pp. 104—5. Figs. 1, 15.

[17] *Speiser:* 1936, pp. 330—335.

[18] *Esdrogi*, 1949, p. 207.

pattern goes by the name : *guililum* (in Jabim) meaning : small animals of the sea. Some of the decorative elements of this pattern in detail are : *kalumben*, meaning the footprints of a seacrab and consisting of a combination of V-shaped lines stretching along the entire border of the shield ; the two crosses placed closely at the lower part denote the sea-stars (Asperioda) *utitalata* in Jabim ; *kapongngaola* is the name of the two designs at the middle near the lower and upper edges ; they consist of two interlaced circles joined by *kalumben* decorations. The lower part of the shield is marked off from the rest by a decorative pattern consisting of red circles and black spots placed within square frames. This pattern is known as *gwui-lilum* meaning small snail.

Measurements : — length 109 cms, length of the shorter sheet 56 cms, extreme width 55 cms. Exhibit No 66207. Archive's number for collector's unpublished handwritten notes : 666.

IV. Bast shield. Huon Gulf, Poum.

The material is a reddish brown bast. The shield is made of two shorter and two longer sheets of bast folded so that the bearer be protected by four layers in the upper half and by two in the lower. The upper fold covers about half of the shield. It is laced at the entire length of both its sides by two thick cords of fibre. The decorations are in black and red. The outstanding decorative pattern consists of a stylized human face with a dancing cap in the upper half of the surface. The rest of the decorations consists of the *utitalata* design mentioned above, and red and black lines cutting off the corners.

Measurements : — entire length 90 cms, length of the upper part with four layers 56 cms ; extreme width 40 cms. Exhibit No : 67 448. Archive's number for collector's unpublished handwritten notes : 666..

V. Wooden shield. Huon Gulf, Bukawa.

Name : *lautu* in Jabim and Bukawa ; *malo* or *maro* in Kai ; *walife* in Poum. It is made from a soft type of wood, rough-grained and showing a tendency to splintering. Shape : an oblong slightly bent ; upper edges rounded. The outer surface contains decorations in red and black colours. The main decorative element is a dancing human figure placed in the centre of the area bordered by marginal decorations running along the edges of the shield. The body, the head, and the feather head-dress each, are apart from each other, not joined in the representation.

Measurements : — length 186 cms, width 45 cms. Exhibition No 37 904. Archive's number for collector's unpublished handwritten notes : 613.

VI. Wooden shield. Huon Gulf, Bukawa.

Referred to by the same names as the shield under 5. It is made of soft wood, rough-grained, with a tendency to splintering. Shape : oblong slightly bent. The upper edges are rounded. The main decorative element is a dancing figure. Marginal decorations run along the edges.

Measurements : — lenght 178 cms ; width : 43 cms. Exhibit No 37 905. Archive's number for collector's unpublished handwritten notes : 613.

BIBLIOGRAPHY

Bodrogi, T., Jabim Drums in the Biró Collection. FEthn., Vol. I. Nos. 2—4, 1949. Pp. 205—222.

Finsch, O., Südseearbeiten. Hamburg, 1914.

Finsch, O., Ethnologische Erfahrungen und Belegstücke aus der Südsee. II. Abteilung, Neu-Guinea. Wien, 1888. Pp. 37—130.

Frobenius, L., Die Schilde der Oceanier. Naturwissenschaftliche Wochenschrift, 1900, Heft 1.

Geissler, B., Die Kampfschilde der Jabim, auf Deutsch-Neuguinea. Gl., Vol. XCIV. 1908. Pp. 126—128.

Keysser, C., Vom Sattelberg zum Markham. ZfE., Vol. XLIV, 1912. Pp. 558—584.

Neuhauss, R., Deutsch Neu-Guinea. Bd. I—III. Berlin, 1913.

Pöch, R., Einige bemerkenswerte Ethnologika aus Neu-Guinea. — Ein Pfeilschutz aus mehrfachen Baumbastlagen bei den Poum, Deutsch Neu-Guinea. MAG., Vol. XXXVII. 1907, Pp. 57—71.

Preuss, K. Th., Künstlerische Darstellungen aus Kaiser-Wilhelms-Land. ZfE., Vol. XXIX. 1897, Pp. 77—141.

Schellong, O., Über die Herstellung einiger Ethnographica der Gegend Finschhafens (Kaiser Wilhelmsland). II. Die Herstellung von Basttuch, obo. IAE., Vol. I. 1888, Pp. 220—223.

Speiser, F., Über Kunststile in Melanesien. ZfE., Bd. LXVIII. 1936. Pp. 304—369.

Speiser, F., Über Schutzwaffen in Melanesien. IAE., Vol. XL. 1942. Pp. 81—122.

ДАННЫЕ К ЭТНОГРАФИИ НОВОЙ ГВИНЕИ

Т. Бодроги

Резюме

Обряды посвящения и культ духов в заливе Астролябе

Несмотря на то, что залив Астролябе принадлежит уже к давно известным областям Новой-Гвинеи, все же о древней культуре его населения мы располагаем только сравнительно незначительными этнографическими данными. Этой причиной главным образом является то, что рано начавшаяся колонизация, быстро преобразовала первоначальную культуру, и новые исследования уже не могут уловить подлинную картину этой древней культуры. Следовательно, исследование древней культуры населения залива Астролябе, стало в первую очередь исторической задачей, а исследования в наши дни должны исходить из полученного таким образом материала. Серьезным затруднением при этой работе является обстоятельство, что описания из раннего периода колонизации — за исключением единственного описания Н. Н. Миклухо-Маклая — мало удовлетворяют требованиям современной науки. Несмотря на то, автор предполагает, что собирание этих разбросанных данных, и их сравнение с более подробными описаниями из других областей, приводят к результатам, дополняющим установления относительно культуры северного побережья Новой Гвинеи. Поэтому настоящий очерк занимается такой группой явлений — (обряды посвящения и культ духов) — о которой мы располагаем достаточными описаниями как о заливе Астролябе, так и о других местах северного побережья, и для оценки по истории культуры которой имеются достаточные опорные точки.

Очерк разделяется на две части. Первая часть занимается изложением и оценкой материала посвящения и культа духов, а вторая часть описывает принадлежащий предметный материал Будапештского этнографического музея (Венгрия), используя при этом литературные данные.

В первом пункте первой части автор приводит в хронологическом порядке данные, относящиеся к рассматриваемому предмету, т. е. вкратце излагает их. Первым образом он приводит самые ранние данные русского ученого Н. Н. Миклухо-Маклая из 1870—71 гг., относящиеся главным образом к деревне Бонги. За Миклухо-Маклаем следует Комри, который упоминает обрезание, затем Золлер, который в своей работе, опубликованной в 1891 г., описывает восхождение гор Финистерр, сообщая довольно недостоверные данные о богадьимском культе asa. Более точные описания имеются лишь от 1893 г. В 1893 г. состоялся последний большой праздник посвящения в Богадьиме ; миссионеры, находявшиеся в этих краях от 1887 г., имели возможность записать довольно точные подробности относительно сущности посвящения и его ритологии. Пользуясь отчасти устными сообщениями миссионеров, отчасти же их популярными статьями, опубликованными в популярных журналах, а кроме этого на основе своего собственного наблюдения, Хаген написал свой научный труд, опубликованный в 1899 г. Научный труд Хагена представляет собой самый исчерпающий источник об обрядах посвящения и культа духов в заливе Астролябе. Данные Хагена, относящиеся главным образом к Богадьиму, в которых мы находим подробные информации о ходе посвящения, о верованиях, об обрезании и о предметном материале, дополняются — относительно Бонгу — заметками Кунце и Ханке. Из областей, лежащих за заливом Астролябе, мы обязуемся Вернеру довольно общими данными из 1910-ых годов, а Демпвольф ознакомляет нас с отдельными подробностями посвящения и культа духов на острове Грагед.

Современными описаниями мы располагаем только в конце 30-ых годов. Сборник Ауфингера появился в печати в 1941 г. на страницах журнала Этнос. Его утверждения ясно доказывают все изменения, происходившие в ритологии посвящения за последний полвека. Бросается в глаза, но весьма естественно, что посвящение в наши дни совершенно потеряло свои религиозные основы, а остался только светский обычай обрезания.

Описание Кунце об острове Каркар (Дампие) пополняет материал о заливе Астролябе, сообщая ценные наблюдения относительно функции маски ; а также из его описаний можно узнать социологические характерности обрядов посвящения.

Второй пункт занимается оценкой представленного материала. Автор устанавливает, что изложенные и сами по себе довольно отрывочные части дополняют друг друга, и что на основе этих частичных данных мы вправе начертить характерные моменты обрядов посвящения и культа духов. Автор подтверждает свое мнение не только совпадением

PLATE V



PLATE VI



отдельных подробностей, но и лингвистическими и мифологическими доказательствами. Характерные обряды посвящения он приводит в 17-и пунктах, используя эти характерности в дальнейшем как основу разбора истории культуры этих народностей.

В третьем пункте очерка автор указывает на то, что на основе, проведенных до сих пор исследований, в Новой Гвинее следует считаться с однообразным — в сущности — комплексом посвящения. В прочем к этому же заключению пришли Дикн, Решке и Шпейзер в своих работах об обрядах посвящения. Сравнивая результаты этих авторов с материалом о заливе Астролябе, автор пришел к тому заключению, что посвящение в заливе Астролябе принадлежит к общему момплексу обрядов посвящения в Новой Гвинее. Автор думает, что кроме этого общего совпадения, обряды посвящения северного побережья находятся в более тесной генетической связи друг с другом, и что к этим обрядам можно отнести и посвящения в заливе Астролябе. На возможность совпадения обрядов посвящения на северном побережье указывал уже и Дикн, и собранный с тех пор материал также установил эти взгляды. В подтверждение своего мнения автор упоминает, что в центре обрядов посвящения — северного побережья — стоит дух, облеченный свойствами чудовища, и что названия этого чудовища можно вывести из общего корня. Автор доказывает, что действительность его тезиса не сокращается тем, что в отдельных областях встречаются и другие названия духа, причем его свойства те же. Он иллюстрирует примерами то частое явление, что в случае заимствования, прежнее название духа сохраняется, в то время как его свойства меняются. Вторым доказательством автора является то, что при обрядах посвящения северного побережья, всегда находим обрезание, или же какой-нибудь другой процесс искалечивания или возбуждения пениса. Распространение этого процесса в Меланезии ограничено, а в Новой Гвинее он встречается только на северном побережье. Во-третьих автор указывает на то, что при каждом из упомянутых им посвящений, важную роль играет флейта духа, распространенная на северных частях Новой Гвинеи. Анализируя эти три важные совпадающие черты — используя при этом вышеприведенные установления — можно заключить, что из совпадающих черт, роль духа и обрезание являются чертами меланезского происхождения, а флейта духа является папуаской чертой. Следовательно, обряды посвящения северного побережья показывают смешение культурных воздействий.

Четвертый пункт очерка сообщает мифологические данные, в целях дополнительного доказательства, и оценивает их. Автор устанавливает, что в отдельных областях обряды посвящения, или дух, находящийся в центре обрядов, связан с двумя антагонистическими братьями, и что этот миф об антагонистической братской паре встречается во всех областях, в которых мы находим вышенамеченный процесс посвящения. При рассматривание мифа, выяснилось, что он отражает исторические события. На это указывают разные антропологические характерности братьев, противоположенные направлению их странствований, как и та черта, что один из братьев снабжен выраженно »мореходным« характером. Совпадения в некоторых подробностях мифов, и даже в названиях братьев настолько поразительные, что их происхождение безусловно общее. По мнению автора — и это мнение подтверждается прежде всего восточно-западной ориентацией, проявляющейся в мифе, и частями, которые связаны с морскими мотивами — этот миф меланезского происхождения, и его связь с обрядами посвящения можно отнести к общей волне меланезского странствования.

В пятом пункте автор старается доказать характер »amphiktyonia« обрядов посвящения в заливе Астролябе. Даже наши скудные данные показывают на то, что праздничества посвящений привели в движение массы больших областей, и что в период этих посвящений было в силе что-то вроде Treuga Dei. По мнению автора посвящения имели характер amphiktyonia благодаря двум связанным друг с другом фактором, возникновение которых, может происходить и независимо друг от друга. Одним из этих факторов является существование торговых отношений, торговной дружбы. В случае же наличия другого фактора — и этот фактор может присоединяться к первому — amphiktyonia не что иное, как общие празднества, раннего общественного единства, которые сохранялись и после diaspora (главным образом благодаря силе преданий), делая таким образом возможным временное востановление потерянного единства. Все это показывает, что эти собрания имели характер как пережитков, так и возрождений.

Вторая часть очерка излагает предметный материал, связанный с посвящением и культом духов, на основе того соображения, что предметы представляют собой неотделимую часть ритологии. Это доказывается тем, что и относительно предметам встречаются такие запрещения, которые обеспечивают таинственность самого ритуала. Далее в порядке обсуждения автор рассматривает маски, инструменты, танцовальные мечи, и древние статуи. В каждой группе сперва выясняется роль предметов в обрядах посвящений и в культе духов на основании относящихся литературных данных, а затем изла-

гаются музееведческие данные и опубликования о предметах. В заключение автор занимается стилем залива Астролябе и доказывает, что в противоположность утверждениям Шпейзера, залив Астролябе представляет собой отделенную область стиля, как это сразу видно на основе представленного материала картин.

Щиты из тапа в окрестности Финч-харбор

Опубликование материала занимается с одной группой коллекции Биро из гольфа Хуон, со щитами из тапа, на основе предметов, находящихся в Будапештском Этнографическом Музее. Пользуясь с относящимися литературными данными и записями Л. Биро, автор излагает распространение, изготовление и применение щитов этого типа, их названия туземцами, далее рассматривает особенности стиля украшений щитов. Наряду с щитами из тапа, автор для сравнения иллюстрирует два изогнутых (jabim) деревянных щита.



1. Exhibit No 8920. Mask. Background black, on the face in places traces of red paint. Height 45 cms



2. The same mask, side view



3. Exhibit No 8924. Mask. Colour dark brown. Height 49 cms



4. Exhibit No 8918. Mask. Colour purplish brown. Height 45 cms



5. Exhibit No 8919. Mask. Colour purplish brown. Height 43 cms



6. Exhibit No 8923. Mask. Colour dark-brown. The headdress represents three wild boar tusks bent into a circle. Height 57 cms



7. Exhibit No 8933. Mask. Colour blackish, the labial parts are framed white, on the face stripes of white. Height 53 cms



8. Exhibit No 8931. Mask. Half of the face is painted black, the other half red, round the labial parts the colur is white. Height 40 cms



9. Exhibit No 8925. Mask. Colour greyish brown with purple shades. Height 42 cms



10. Exhibit No 8922. Mask. Colour dark brown, glossy. Height 69 cms



11. Exhibit No 8932. Mask. Colour purplish, glossy. Height 66 cms



12. Side view of the same mask



13. Exhibit No 8929. Mask. A very old piece, cracked in places. Colour dark brown, in places with purple and black paint. Height 39 cms



14. Exhibit No. 8930. Mask. Colour purplish brown. Height 39 cms



15. Exhibit No 8927. Mask. Colour purplish brown. Height 47 cms



16. Exhibit No 8926. Mask. Colour blackish. Height 60 cms



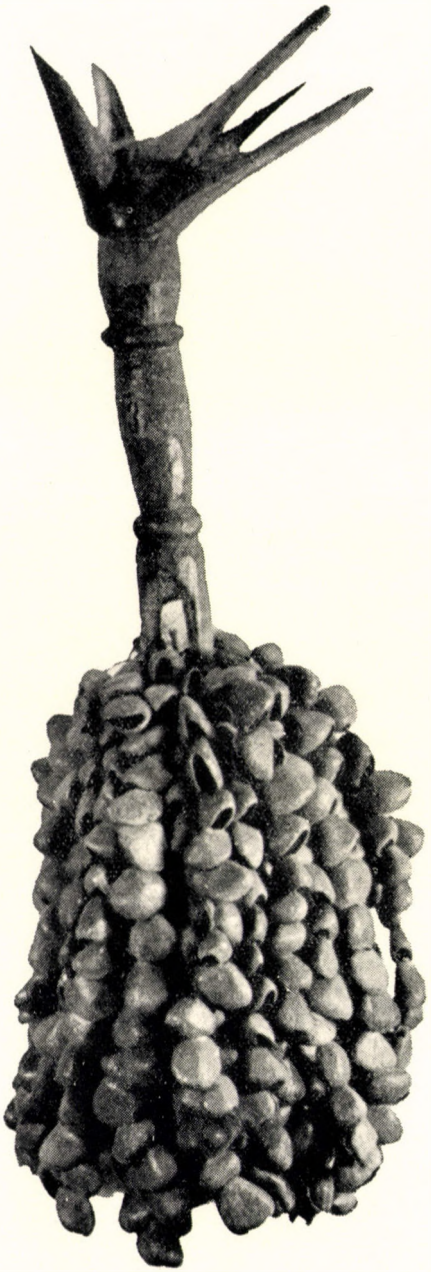
17. Exhibit No 8921. Mask. Purple coloured. Height 43 cms



18. Exhibit No 8928. Mask. Colour blackish brown. Height 60 cms



19. Side view of the same mask



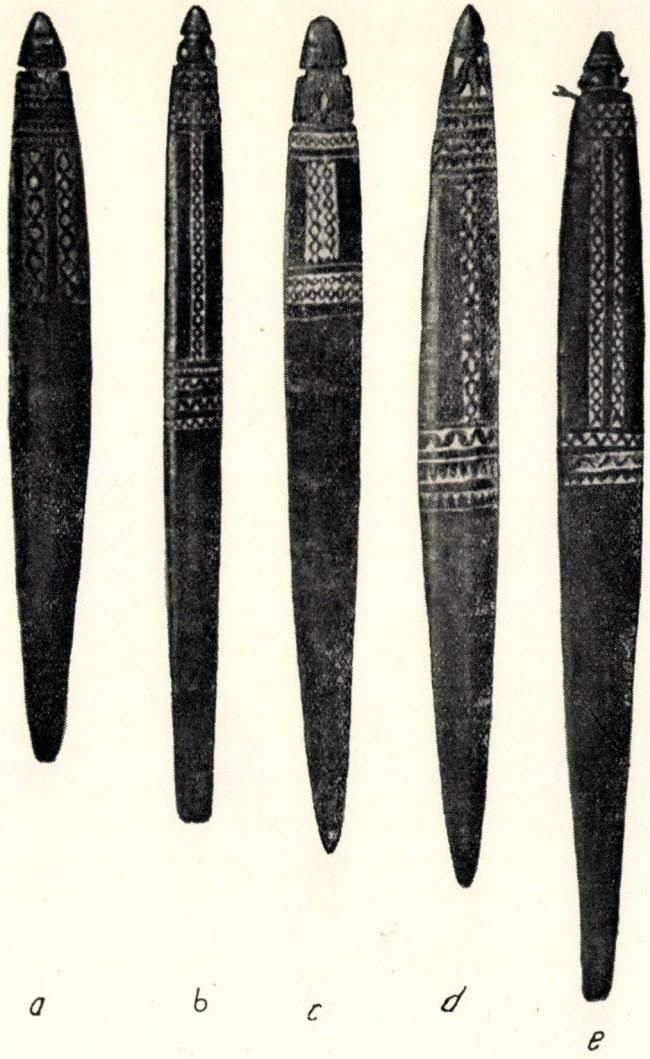
20. Exhibit No 11769. Dance-rattle. The colour of the handle is light brown, that of the shells blackish brown. Length of the handle 45 cms



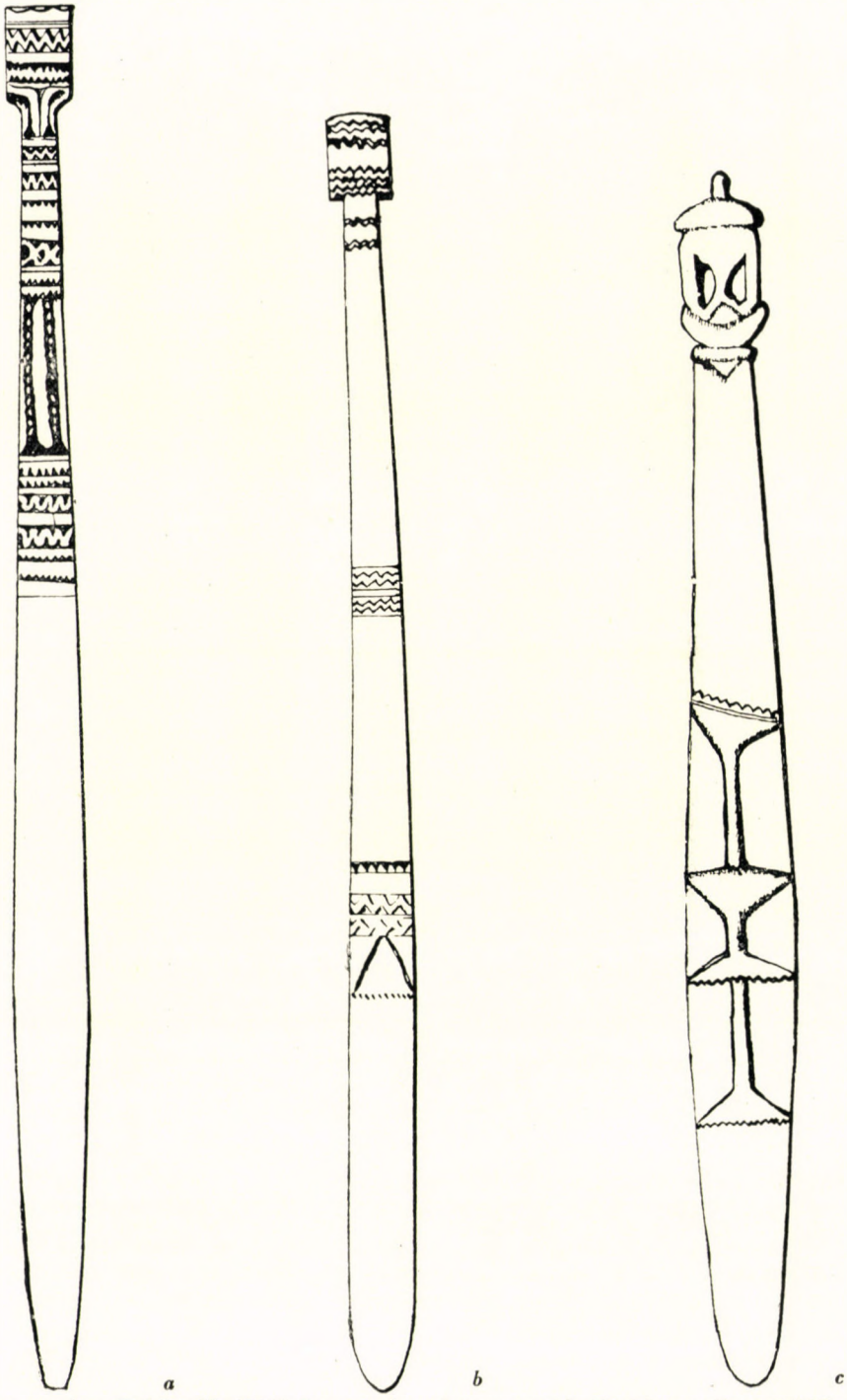
21. Exhibit No 11762. Dance-rattle. Light brown, the shells are black. The length of the handle is 45 cms



22. Exhibit No 11771. Part of a handle of a dance-rattle. Anthropomorphic carving. Colour black, labial parts hanging and in contact with penis. The entire length of handle 61 cms.
23. Exhibit No 12627. Handle of a dance-rattle. Colour black. The hole where the string with the shells is fastened can be clearly seen at the lower end. Length of the handle 67 cms



24. Bull-roarers. *a.* Exhibit No 9074. Colour purplish. On one side it is decorated by incrusted carvings. Length 48,5 cms. *b.* Exhibit No 9043. Colour dark brown. One side is decorated by incrusted carvings. Length 43,5 cms. *c.* Exhibit No 9069. Colour dark brown. One side is decorated by incrusted carvings. Length 41 cms. *d.* Exhibit No 9064. Colour dark brown, on one side are incrusted carvings. Length 39,2 cms. *e.* Exhibit No 9070. Colour dark brown. On one side incrusted carving but dimly discernible. Length 35,4 cms

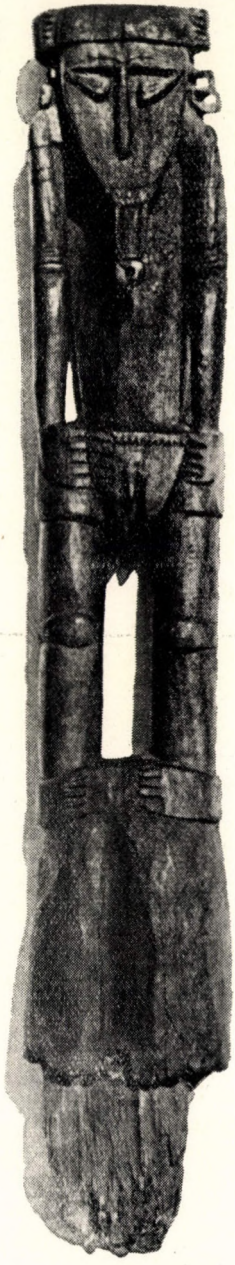


a *b* *c*

25. Dance-swords. *a*. Exhibit No 12846. Incrusted carving on one side. Dark brown. Length 135 cms. *b*. Exhibit No 12847. Colour dark brown; incrusted carving on one side. Length 121cms. *c*. Exhibit No 16090. Bas relief. Colour dark brown, on one side purple and white painting. Length 117 cms



26. Exhibit No 11864. Ancestral figure. Colour light brown. Height 192 cms



27. Exhibit No 11868. Ancestral figure. Colour purplish brown. Height 167 cms



28. Exhibit No 11766. Ancestral figure. The colour is light brown. Height 190 cms



29. Exhibit No 11863. Ancestral figure. Colour light brown. Height 114 cms



30. Exhibit No 11865. Ancestral figure. Colour light brown. Height 99 cms



31. Exhibit No 11862. Ancestral figure. Colour light brown. Height 111 cms



32. Exhibit No 11861. Ancestral figure. Colour light brown. Height 178 cms



33. Exhibit No 11874. Wooden figure. Colour greyish brown. Represents a man's and a woman's figure standing on a cylindrical pedestal. Height 96,5 cms



34. Exhibit No 11882. Wooden figure. Colour greyish black. Broken in places. Man's figure with prominent sexual characteristics. Height 51 cms



35. Exhibit No 11876. Wooden figure. Colour blackish brown. Prominent female sexual characteristics. Height 45 cms



36. Exhibit No 11887. Wooden figure. Colour blackish brown. Standing on a small square pedestal. Man's figure with prominent sexual characteristics. Height 17 cms.
37. Exhibit No 11883. Fragment of wooden figure. Colour glossy black. Considerably worn away. Height 21 cms



38. Exhibit No 11875. Wooden figure. Colour greyish black. Standing on an asymmetric cylindrical pedestal. It has prominent male sexual characteristics. Height 48 cms



39. *Merriáb (Meriab)* chorus from Bilibili Island. Men are playing ocarinas and pumpkin trumpets. *Biró*'s photograph, 1897



40. Circumcised youths from Bilibili Island. *Biró*'s photograph, 1897



41. Ancestral figure *(telum)* from Bongu. Drawing by *Miklucho-Maclay*, 1877. *In* Миклухо-Маклай, 1950—1951, III. p. 101



42. A masked Papuan from Bongu. Drawing by *Miklucho-Maclay*, 1870—71. *In* Миклухо-Маклай, 1950—1951, III, p. 117

ZUM RELIGIONSETHNOLOGISCHEN HINTERGRUND DES »NUNGU« IM KILIMANDSCHAROGEBIET

Von
LÁSZLÓ VAJDA

Ethnographisches Museum, Budapest

»Vom Topfschwingen, allzuwörtlich 'Topfschlagen' übersetzt, ist am häufigsten und ausführlichsten von allen Dschaggasitten in europäischen Darstellungen gehandelt worden« — schreibt in seinem grossen Werke über die Rechtsüberlieferungen des die Abhänge des Kilimandscharo bewohnenden Dschaggavolkes *Gutmann*, der beste Kenner der Ethnographie dieser Gegend[1]. Dieser Ausspruch ist zwar zutreffend, doch steht es ausser Zweifel, dass die dem Verfasser zugänglichen Werke der ausgedehnten Literatur über den Kilimandscharo diesen nur schwer zu beobachtenden Brauch grösstenteils verschweigen. Nichtsdestoweniger sind mehrere ausführliche Beschreibungen darüber vorhanden, wobei auch Versuche zu seiner Interpretation angestellt wurden. Trotz alledem wird man aber kaum behaupten können, dass der ideengeschichtliche Hintergrund der mit dem *nungu* zusammenhängenden magischen Bräuche durch diese — auch umstrittene Punkte umfassende — Literatur in beruhigender Weise aufgehellt wäre.

Das Verdienst der Entdeckung des *nungu* beansprucht *Thomé* für sich — zu Unrecht. Seine Beschreibung[2] war es jedoch, welche die Aufmerksamkeit der Forscher auf diese bisher wenig beachtete Erscheinung lenkte. Die *nungu* sind, wie er schreibt, aus Ton verfertigte kleine Idole von Menschengestalt, manchmal auch Töpfe mit Brustansätzen, deren Besitz in einem gewissen Grade als Privileg der Häuptlinge betrachtet werden kann. Es werden ihnen Opfer dargereicht, wobei dieses »Opfer« für jedes einzelne Exemplar jeweils verschieden ist. (Dieser individuelle Charakter wird später auch von *Gutmann*[3] bekräftigt.) Der *nungu* wird vom Häuptling zur Entscheidung strittiger Fragen verwendet: sowohl der Kläger als auch der Beklagte müssen auf die Wahrheit ihrer Behauptung schwören; wer Unwahres behauptet hat, wird vom *nungu* getötet. Wenn jemand bestohlen wurde, dann kann er den Dieb auf die Weise verfluchen, dass dieser — falls er ihm nicht das gestohlene Gut zurückerstattet — der *nungu* vernichten möge. Doch wird der *nungu* vom Häuptling auch benutzt,

[1] *Gutmann*, 1926, S. 619.
[2] *Thomé*, 1903, S. 231 ff.
[3] *Gutmann*, 1926, S. 655.

um sich der Schweigepflicht seiner Krieger bei einem wichtigen Beschluss zu vergewissern ; wer das Geheimnis nicht bewahrt, fällt dem *nungu* zum Opfer. Die Vernichtungskraft des *nungu*, diese potentiale Macht, wird dann ausgelöst, wenn sie durch Besprechen gegen eine oder mehrere bestimmte Personen gerichtet wird, oder aber wenn jemand — ähnlich wie bei einem Gottesurteil — sich selbst dieser Macht übergibt. An der Macht des *nungu* zweifelt niemand, u. zw. auch deshalb nicht, weil die Häuptlinge den Erfolg des Fluches im geheimen wahrscheinlich durch Gift sicherzustellen wussten.

Die Beschreibung von *Thomé* löste in Fachkreisen lebhaften Widerwillen aus. Er berichtet ohne jedes Schamgefühl, wie er die Stücke seiner Sammlung den verzweifelt flehenden Dschaggahäuptlingen »im Interesse der Wissenschaft« brutal entriss. Dieses wissenschaftliche Mäntelchen rechtfertigt sein Vorgehen um so weniger, als er laut Zeugnis seines im Archiv des Ethnographischen Museums in Budapest befindlichen Briefes[4] nicht zögerte, die erbeuteten 13 *nungu* um 500 Rps. sofort zum Kaufe anzubieten. Was nun seine Beschreibung und Deutung anbelangt, so zeugt jede einzelne Zeile *Thomés* von einem vollkommenen Dilettantismus. Er brüstet sich naiv mit seiner »Entdeckung«, ohne zu wissen, dass der *nungu* bereits in den älteren Beschreibungen[5] des Dschaggagebietes vorkommt. Die Interpretation des *nungu* bedeutet für ihn keinerlei Problem, da er die Gegenstände einfach als »Götzen« deutet, offensichtlich auf Grund der Tatsache, das ihnen »Opfer« gebracht wurden. Immerhin stellt er fest, dass der Name der entdeckten »Götzen« *(nungu)* im Kidschagga »Topf« bedeutet.

Durch die Beschreibung von *Thomé* angeregt beschäftigte sich später *Raum* wiederholt mit der Frage des *nungu* der Dschagga. Seine erste Arbeit,[6] die eigentlich eine Polemik gegen die Mitteilungen von *Thomé* darstellt, enthält bereits die richtige Feststellung, dass der *nungu* kein Götze ist. In der Religion der Dschagga lassen sich nach ihm zwei Vorstellungskreise feststellen : einerseits der Glaube an die Geister der Toten und andererseits an das Höchste Wesen. »Die patriarchalische Gliederung der Geisterwelt fordert die Zurückführung der Geister der Familien- und Geschlechtsstammväter auf einen gemeinsamen Urvater, den Stammvater des Stammes oder des Volkes . . . So erklärt sich auch der durchaus schattenhafte Charakter des Bantugottesgedankens . . . Eine Veranlassung, ihn durch Opfer zu verehren, besteht für den einzelnen nicht, er steht zu fern, um ihm schaden zu wollen ; er denkt sich ihn als gut«.[7] Das Höchste Wesen ist also passiv, während die Ahnengeister nur die physische Seite des Lebens (Ernte, Gesundheit, Kindersegen) beeinflussen. »Untersteht nun aber das soziale, insbesondere das rechtliche Leben bei den Negern über-

[4] Archiv des Ethnographischen Museums, Budapest, 113/1902.
[5] *Merker*, 1903, S. 30.
[6] *Raum*, 1904, S. 101 ff.
[7] *Raum*, 1904, S. 103.

haupt keinen höheren Mächten? Dann hätte ihre Religion hier eine klaffende Lücke. Diese Lücke besteht nicht ; hier treten Zaubermittel und Gottesurteile ein. Sie sind die andere Seite der Religion der Ostafrikaner, wenn man sie überhaupt Religion nennen kann. Sie liegen . . . unter der Schwelle der Religion . . .«.[8] Da aber die dem *nungu* zugeschriebene Kraft nicht einen Personen-, sondern einen Dingcharakter aufweist, deren Hervorrufen nicht den Dingcharakter des Objektes verändert, kann der *nungu* nicht als »Götze« angesehen werden. Der *nungu* ist ein Rechtsmittel von magischem Charakter, ähnlich wie das Gottesurteil ; er ist aber nicht mit diesem identisch, weil er den Täter nicht nur aufdeckt, sondern auch bestraft.

Was nun das dem *nungu* gebrachte und von *Thomé* als entscheidender Beweis aufgefasste, angebliche Opfer betrifft, so ist dieses nach *Raum* kein Opfer, sondern »eine neue Zaubermedizin ; sie ist dazu bestimmt, die sonst weiter wirkende Kraft des *nungu* zu bannen«.[9] »Die Entzauberung ist der Zweck der ganzen Zeremonie, die von dem Herrn Pater als Opfer missverstanden wurde«.[10]

Für den Götzencharakter der *nungu* würde die anthropomorphe Ausbildung eines Teiles von ihnen sprechen ; diese Erklärung ist aber nur scheinbar zufriedenstellend, da es ja auch topfförmige *nungu* gibt, wie denn auch der Name selbst »Topf« bedeutet. Die Annäherung an die menschliche Gestalt ist nichts anderes als »willkürliche Spielereien, deren Zweck nur darin bestehen kann, die magischen Töpfe auch äusserlich von den gewöhnlichen zu unterscheiden«. Die Benennung »Topf« ergibt sich auf Grund einer Analogie. »In einer mir bekannten über dem *nungu* gesprochenen Beschwörungsformel kommt der Satz vor : . . . zerbrich wie dieser Topf. Der Wunsch gilt dem Verbrecher. Der tönerne, zerbrechliche Charakter des als Fluchmittel dienenden Topfes soll sich demselben mitteilen. Hierin liegt vielleicht die Erklärung für den sonst weiter nicht verständlichen Umstand, dass gerade ein Topf als Fluchmittel dient«.[11]

Auf den ersten Teil dieser Meinung *Raums*, auf die Frage des Verhältnisses der anthropomorphen und topfförmigen *nungu* wird im weiteren noch zurückzukommen sein. Was die Herleitung des Namens *nungu* »Topf« und des topfförmigen *nungu* aus dem Analogiezauber betrifft, so wurde dies schon von *Gutmann*[12] widerlegt : »Ganz abgesehen von der Tatsache, dass es dann nicht heissen dürfte : *ikapa nungu* (d. h. '*nungu* schlagen'), sondern *ipara nungu* (d. h. '*nungu* zerschlagen'), wird auch sonst die ganze Auffassung ausgeschlossen durch das Fehlen jedes Gleichsatzes und jeder Handlung, die gerade diesen Fluchwunsch veranschaulichen oder andeuten wollte.«

[8] *Raum*, 1904, S. 103.
[9] *Raum*, 1904, S. 104.
[10] *Raum*, 1904, S. 105.
[11] *Raum*, 1904, S. 104.
[12] *Gutmann*, 1926, S. 664.

In einer späteren Arbeit[13] ergänzte *Raum* die Beschreibungen über die Anwendung des *nungu* mit neuen Einzelheiten, in der Interpretation ging er aber nicht über den von ihm in seinem älteren Werke eingenommenen Standpunkt hinaus.

Wenn man von einer Aufzählung der Abhandlungen über die auf den *nungu* bezüglichen Bräuche absieht, die sich nur auf eine Wiederholung der bis dahin gemachten Feststellungen beschränken,[14] so muss hier in erster Linie die verdienstvolle Arbeit von *Dundas* erwähnt werden, die aber gerade die Erforschung des Wesens des *nungu* kaum vorwärtsbrachte. Wie aus seiner Beschreibung hervorgeht,[15] kannte *Dundas* den Brauch des Schwingens des Fluchtopfes nicht so sehr aus eigener Erfahrung, als vielmehr aus den diesbezüglichen Beschreibungen von *Raum* und *Gutmann*. »*Gutmann* has described this (d. i. den *nungu)* as being actually a cookingpot . . . My own inquiries have disclosed that if the actual pots are used they are rare, most usually they take the form of clay cylinders, such as are in use for the same purpose among the Wakikuyu who call them Kithathi«.[16] Was den ideengeschichtlichen Hintergrund des *nungu* anbelangt, neigt *Dundas* zur Ausbildung einer ähnlichen Auffassung wie die obenzitierte Ansicht *Raums*. »How such objects came to be called Nungu, is a matter of conjecture, but the breaking of a cooking-pot is unlucky ; in Pare it serves to pronounce a curse, and it may be that cooking-pots were, and are still, used for the purpose by the Wachagga, and that the cylindrical Nungu of clay or stone was introduced later«.[17]

Die gründlichste Beschreibung des *nungu* der Dschagga verdankt man *Gutmann*[18]. Ähnlich wie *Raum* hebt auch er hervor, dass der *nungu* nicht nur ein »Rechtsstreitentscheider, wie andere Ordale ist, sondern ein Vollstrecker der Rechtsrache, in Wirkung gesetzt vor allem gegen den unbekannten Übeltäter und gegen den Rechtsstreitgegner, der es ablehnte, vor die Spruchgemeinde zu kommen oder ihrem Schiedsspruch zu folgen«.[19] Er erwähnt gleichfalls die formalen Unterschiede der *nungu* (Topfform und Menschenform) und stellt mit Entschiedenheit fest : »die Topfform ist das ursprüngliche und die Handlung gestaltende Fluchmittel gewesen«.[20] Laut seiner Feststellungen besass ursprünglich jede stärkere Sippe ihren *nungu*, »das Nebeneinander so vieler Töpfe in einem Lande führte aber doch zu vielen Unzuträglichkeiten und hinderte das Rechtlenken vom Spruchrasen her«,[21] deshalb (?) zog die sich immer stärker entwickelnde Häuptlingsmacht die Anwendung des *nungu* in ihren Kreis : die im

[13] *Raum*, 1909, S. 377 ff.
[14] Z. B. *Schwanhäusser*, 1910, S. 44 ff.
[15] *Dundas*, 1924, S. 174.
[16] In bezug auf *kithathi* vgl. *Hobley*, 1910, S. 139 ff ; *Murphy*, 1926, S. 135.
[17] *Dundas*, 1924, S. 174.
[18] *Gutmann*, 1926, S. 619 ff. Vorher und weniger ausführlich : *Gutmann*, 1909, S. 169 ff.
[19] *Gutmann*, 1926, S. 620.
[20] *Gutmann*, 1926, S. 620.
[21] *Gutmann*, 1926. S. 621.

Besitz der unterjochten Sippen gewesenen *nungu* wurden diesen einfach weggenommen und die übrigen Sippen gezwungen, den *nungu* nur mit Erlaubnis des Häuptlings zu gebrauchen. Nach *Gutmann* ist der *nungu* »eine Selbsthilfe des Schwachen gegen einen Starken«;[22] die Widerlegung dieser unrichtigen Einstellung soll in diesem Aufsatz nicht behandelt werden, da auf den *nungu* als Machtmittel des Häuptlings in einem anderen Zusammenhang — in Verbindung mit der Macht des Dschaggahäuptlings — zurückgekommen werden soll.

Im weiteren gibt *Gutmann* eine gründliche Beschreibung des verwickelten Verlaufes des Verfluchens (des Bestrafens) mit dem *nungu*. Ohne hier auf die Einzelheiten eingehen zu wollen, kann festgestellt werden, dass der *nungu* sozusagen ein Zentrum der verschiedensten magischen Vorgänge bildet : zauberkräftige Kräuter und tierische Körperteile, Analogiegesten, Verbote usw. haften in einer unerhörten Vielfalt an den mit dem *nungu* verbundenen Bräuchen. Alle diese mit Analogien usw. verbundenen Zeremonien treten in der magischen Praxis der Dschagga auch in anderen (vom *nungu* unabhängigen) Beziehungen in Erscheinung. Dasselbe ist auch bei den Pare der Fall, die den *nungu* gleichfalls kennen und häufig anwenden ; hier wird (wie *Gutmann* auf Grund einer Mitteilung von *Oldewage* berichtet) ein Stück des Kleides, ein Haar usw. der zu bezaubernden Person in den *nungu* hineingetan (wenn dieser topfförmig ist) und die Zauberhandlung besteht eigentlich darin, dass die Termiten, die in den bis zum Rand eingegrabenen Topf hineinkriechen, den Kleiderfetzen usw. der zu verzaubernden Person zernagen und so auch die Person selbst magisch vernichten. *Gutmann* stellt auch fest — wobei er aber die Gültigkeit seiner Aussage sonderbarerweise nur auf die Pare beschränkt —, »dass es sich bei der Pareart des Fluchtopfschwingens nicht etwa um den ursprünglichen Lebensboden der Sitte handelt . . ., sondern um lose verbundene Reste aus einem zerfallenen Gebilde . . . Fluchtopf und Einlage sind . . . nur eine zufällige Verbindung. Das Hineinwerfen des Zeugfetzens in einen Termitenhaufen unter entsprechenden Verwünschungen, wie es anderwärts geübt wird, wäre jedenfalls ein kürzerer Weg zum Ziele«[23]. Als wichtiges Moment sollen noch jene verwickelten Handlungen und Texte hervorgehoben werden, die nicht weniger kompliziert sind als der attentative Teil der Zeremonie und deren Ziel es ist, die unaufhaltbare Zauberkraft des aktivierten *nungu* auf die zu verzaubernde Person zu konzentrieren und den Verflucher selbst (der im Verlaufe des Aktes in die gefährliche Nähe des *nungu* gerät), sowie die unschuldigen Mitglieder der Sippe der zu verzaubernden Person gegen die Schädigungen der Vernichtungskraft zu neutralisieren. Mit anderen Worten, es soll auch verhindert werden, dass sich der *nungu* gegen die den Zauber sprechende Person (und gegen andere) wende. Diese unheimliche Wirkung der in Erregung gebrachten Kraft strahlt also an sich ohne bestimmte

[23] *Gutmann*, 1926, S. 657.

[22] *Gutmann*, 1926, S. 656 ; ähnlich wird es auch von *Dannholz* (1916, S. 114) bewertet : »der Fluchtopf ist 'das Schwert des Schwachen'«.

Richtung auf die Menschen aus, und es müssen die Methoden und Kunstgriffe bekannt sein, durch welche ihre Wirkung in eine bestimmte Richtung gelenkt werden kann. Selbst wenn keine anderen Beweise vorlägen, so geht bereits aus diesem Umstand hervor, dass der *nungu* nicht irgendeine moralische Sicherung der Gesellschaftsordnung ist, dass er nicht nur den Bösen bestraft, sondern dass er gegen jedermann angewendet werden kann.

Das ganze auf den *nungu* bezügliche Material wird von *Gutmann* in drei Teile gegliedert : *a.* die Wortformen als Flucherreger (und Fluchbeschwichtiger), *b.* der Topf als Fluchträger, *c.* die zur Fluchverstärkung benützten Hilfsmittel.

a. Auf Grund einer sorgfältigen und geistreichen philologischen Analyse der Fluchformel beweist *Gutmann* in überzeugender Weise, dass die Dschagga die Vernichtungskraft des *nungu* sich als ein dem Feuer ähnliches Element vorstellen. »Feuer heisst : *moḏo*. Wenn aber gesagt wird, das Leben des Fluchtopfes möge den Gegner ergreifen, so heisst das *mō fo imema li*. Und wenn gesagt wird, der Topf möge ihm Unheil erregen, so wird dieses Unheil *mŏ* genannt . . . *Moḏo* wäre demnach zu übersetzten mit Hausglut, Herdfeuer, *mō* mit Lebensglut, inneres Feuer, *mŏ* mit Zornglut, Fremdfeuer . . . Die Feuerkraft des Topfes, die zornig erregte Lebensglut wird zum Unheilfeuer, zum Fremdfeuer im Schuldigen, das seine ruhige Lebensflamme verwirrt und erstickt.«[24]

b. Gutmann charakterisiert zusammenfassend auch die formellen Merkmale der *nungu;* diese sollen im Anhang des vorliegenden Aufsatzes behandelt werden. Zum Nunguwesen der Pare zitiert er die Mitteilung *Oldewages :* »Wie die Herdsteine so sei auch der Topf ein heiliges Ding, voll von Kräften des Lebens und des Todes. Der Topf vermittelt die Lebenskraft, indem er das Essen gar macht . . . Dass er bei geeigneter Behandlung auch Kräfte des Todes auslöst, liegt sehr nahe«.[25] In bezug auf die Dschagga stellt aber *Gutmann* auf Grund der Formmerkmale des *nungu* (Farbenstreifen und Geschlechtszeichen) mit Entschiedenheit fest : »Jedenfalls bezeugen auch die Merkmale des Fluchtopfes deutlich genug, dass es sich um einen ursprünglichen Feuerzauber handelt«.[26]

c. Die Untersuchung der zur Verstärkung der Fluchwirkung benützten Hilfsmittel (besonders Pflanzen) zeigt wieder, dass hier teilweise Gewächse vorkommen, deren giftige Behaarung Brandblasen hervorruft und teilweise wieder solche, deren Farbe die magische Assoziation mit dem Feuer verständlich erscheinen lässt. Letzten Endes ist also »der Feuerzauber der Gestalter des Topfschwingens gewesen«.[27]

Als Ergebnis der gründlichen Materialsammlung und der vertieften analytischen Arbeit von *Gutmann* wurde eine Reihe von Fragen gelöst, die mit den auf den *nungu* bezüglichen Dschaggasitten zusammenhängen. Immerhin steht

[24] *Gutmann*, 1926, S. 666 f.
[25] *Gutmann*, 1926, S. 657.
[26] *Gutmann*, 1926, S. 668.
[27] *Gutmann*, 1926, S. 669.

es ausser Zweifel, dass teils die Unterschiede, die in der Auffassung der verschiedenen Verfasser bestehen, und teils die Mängel, die sich aus der ungenügenden Beleuchtung gewisser Punkte ergeben, zu weiterer Stellungnahme und Forschungsarbeit anspornen. Die eine Möglichkeit dieser weiteren Forschungen besteht in der Heranziehung der religionsgeschichtlichen Vergleichsmethode. Diese soll nun im nachstehenden bei der Beantwortung folgender Fragen helfen :

Warum nennen die Dschagga das gefürchtete Fluchmittel *nungu*, das heisst Topf?

Was für Bedeutung kommt dem Feuerprinzip zu, welches — wie auf Grund der Untersuchungen *Gutmanns* zweifellos bewiesen ist — in der Vorstellung über die Zauberkraft des *nungu* eine entscheidende Rolle spielt?

Was für Verhältnis besteht zwischen den menschenförmigen und den topfförmigen *nungu*?

*

Wie gezeigt, bezeichnen die Dschagga mit dem Namen *nungu* 'Topf' ein magisches Machtmittel, das aus Ton hergestellt ist und bald die Form eines Topfes besitzt, bald wieder menschenähnliche Gestalt annimmt. Die Benennung stimmt also nicht mit der formalen Eigenschaft eines Teiles der auf die gleiche Weise bezeichneten Gegenstände überein. Dieser Widerspruch wird zwar scheinbar durch die Annahme aufgehoben, dass das Fluchmittel ursprünglich ausnahmslos in Topfform vorkam und dass der Name so primär der Form entsprochen hat, bis dann später auf irgendeine Weise auch der anthropomorphe *nungu* auftrat. Doch selbst bei Annahme dieser Hypothese bleibt die Frage offen, welche Vorstellungen wohl den Gedanken aufkommen liessen, *gerade den Topf* zum magischen Zaubermittel werden zu lassen.

In dieser Beziehung wurde — wie zu sehen war — die auf Analogiezauber beruhende Erklärung *Raums*,[28] der auch die Auffassung *Dundas*'[29] ähnlich ist (»zerbrich wie dieser Topf«), schon von *Gutmann*[30] widerlegt. Die Meinung von *Oldewage*, die *Gutmann* wiedergibt[31] (»der Topf ist ein heiliges Ding, er vermittelt die Lebenskraft, indem er das Essen gar macht«), darf als gekünstelt und unbegründet angesehen werden, denn die mit magischer Kraft ausgestatteten Gegenstände gelangen niemals durch solche poetisch-symbolische Assoziationen zu ihrer Kraft ; doch selbst dann bleibt es problematisch, warum es gerade der Topf ist, der unter den Lebenskraft vermittelnden Objekten diese Rolle erhält ; und *last but not least* ist es vollkommen unverständlich, dass dieses »heilige Ding«, das die Lebenskraft vermitteln soll, nicht zu einem Mittel des guten, sondern vor allem des bösen Zaubers wird. Die Bemerkung *Oldewages* (». . . dass es bei geeigneter Behandlung auch Kräfte des Todes auslöst, liegt sehr nahe«) ist vollständig nichtssagend. Schliesslich bringt auch die Feuerzau-

[28] *Raum*, 1904, S. 104 ; *Raum*, 1909, S. 378.
[29] *Dundas*, 1924, S. 174.
[30] *Gutmann*, 1926, S. 664.
[31] *Gutmann*, 1926, S. 657.

bertheorie von *Gutmann* das Problem, warum das den Feuerzauber bergende und emanierende Mittel gerade den Namen *nungu*, d. i. Topf, erhielt und warum es in seiner Form eine Zwiespältigkeit aufweist, nicht der Lösung näher.[32]

Die Antwort auf diese Frage war im Besitze *Gutmanns*, als er beobachtete, dass das Wort *nungu*, d. i. Topf, mit dem Worte *mungu*, d. i. Gott, zusammenhängt, doch unterliess er es, weitere Schlüsse daraus zu ziehen. So sei denn hier die Beschaffenheit des als *Mungu* bekannten Gottesbegriffes untersucht.

Es ist allgemein bekannt, dass in einem grossen Teil von Ostafrika die Vorstellung eines Hochgottes verbreitet ist, dessen Name sich aus einer der Varianten der Reihe *Mulungu* ~ *Mlungu* ~ *Muungu* ~ *Mungu* ~ *Mulugu* ~ *Mulugo* ~ *Uluko* ~ *Uluku* ergibt. Diese Gottesgestalt kann bei folgenden Völkern und in folgenden Gegenden angetroffen werden:

Kilimane[33], Lamba[33a], Sena[34], Cwabo [35], Makua[36], Mwera[37], Makonde[38], Nyanja[39], Yao[40], Ngoni[41], Mozambique[42], Mombasa-Bezirk[43], Suaheli,[44] Saramo[45], Luguru[46], Kami[47], Khutu[48], Sagara [49], Gogo[50], Irangi[51], Wanda [51a], Nyamwezi[52], Nyanyembe[53], Sukuma[54], Bondei[55], Shambala[56], Giriama[57], Nika[58], Teita [59], Pokomo[60], Kamba[61], Kikuyu[62], Nandi [62a], Rundi[63], Mubali[63a].

[32] *Gutmann*, 1926, S. 620.
[33] *Torrend*, 1891, S. 68.
[33a] *Doke*, 1931, S. 225 ff.
[34] *Schebesta*, 1929, S. 1 ff.
[35] *Schulien*, 1928, S. 671 ff.
[36] *Livingstone* 1880, I, S. 35; *Adams*, 1902, S. 54.
[37] *Adams*, 1902, S. 40.
[38] *Livingstone*, 1880, I, S. 29
[39] *Johnston*, 1897, S. 449; *Werner*, 1906, S. 46 ff.; *Stannus*, 1910, S. 299; *Tew*, 1950, S. 46.
[40] *Hetherwick*, 1902, S. 91 ff.; *Weule*, 1908, S. 63; *Tew*, 1950, S. 18.
[41] *Häflinger*, 1901, S. 45.
[42] *Schmidt*, 1926, S. 172.
[43] *Johnstone*, 1902, S. 264.
[44] *Torrend*, 1891, S. 68.
[45] *Schmidt*, 1926, S. 172; *Baumann*, 1936, S. 44.
[46] *Scheerder-Tastevin*, 1950, S. 271 ff.
[47] *Schmidt*, 1926, S. 172.
[48] *Schmidt*, 1926, S. 172.
[49] *Torrend*, 1891, S. 68.
[50] *Claus*, 1911, S. 49 f.
[51] *Seidel*, 1898, S. 425.
[51a] *Baumann*, 1936, S. 48.
[52] *Bösch*, 1930, S. 26 ff.
[53] *Torrend*, 1891, S. 68.
[54] *Torrend*, 1891, S. 68; *Koritschoner*, 1937, S. 61.
[55] *Torrend*, 1891, S. 68.
[56] *Karasek-Eichhorn*, 1923—1924, S. 387.
[57] *Torrend*, 1891, S. 68.
[58] *Krapf*, 1858, I, S. 225 f, 236, 323.
[59] *Johnston*, 1884, S. 406; *Bostock*, 1950, S. 30.
[60] *Torrend*, 1891, S. 68; *Werner*, 1915, S. 335.
[61] *Hobley*, 1910, S. 85; *Hobley*, 1922, S. 307; *Lindblom*, 1916, S. 205 ff.
[62] *Cayzac*, 1910, S. 309 f.
[62a] *Huntingford*, 1927, S. 447.
[63] *Lindblom*, 1916, S. 205.
[63a] *Schebesta*, 1934, S. 37 f.

Das Verbreitungsgebiet dieses Hochgottes umfasst laut *Schmidt*[64] das ganze östliche Küstengebiet vom Tanafluss bis zum Mündungsgebiet des Sambesi, und gegen das Innere des Kontinentes zu bis zum Viktoria-, Tanganjika- und Njassa-See. *Baumann*[65] weist darauf hin, dass der Name des Gottes hauptsächlich in letzterer Zeit sich stark verbreitet hat, teilweise infolge des Vordringens des Kisuaheli zur allgemeinen Verkehrssprache und teilweise durch die Wanderung der Ngoni-Gruppen, nicht zuletzt auch infolge der Tätigkeit der Missionäre, die vielenorts den Namen *Mulungu-Mungu* zum einheimischen Namen des christlichen Gottesbegriffes verwendeten.

Man steht also einer Hochgottvorstellung gegenüber, die über ein bedeutendes Gebiet verbreitet ist und auch in der Literatur häufig auftaucht. Die Diskussionen über die Deutung dieser Figur sind aber noch keineswegs als abgeschlossen zu bezeichnen.

Was nun den Namen selbst anbetrifft, kann der Verfasser der vorliegenden Abhandlung — da er sich zu einer Stellungnahme in den Fragen der Bantu-Philologie nicht kompetent fühlt — lediglich registrieren, dass sich aus der Reihe der Deutungen besonders zwei, anscheinend gut miteinander vereinbarende Meinungen herauszukristallisieren scheinen, obwohl die etymologischen Versuche keineswegs einheitlich sind. Die eine Auffassung, die durch die Autorität von *Meinhof*[66] gestützt wird, setzt das Wort *mulungu* Wörtern von der Bedeutung von 'Familienstamm', 'Rasse, Stamm', 'Ahnen' 'Reihe, Linie' gleich ; demgemäss dürfte also die Grundbedeutung des Wortes irgendwie der Ausdruck der Abstammung, der mit den Ahnen verbindenden kontinuierlichen Blutsbande gewesen sein. (Die nachstehende von *Schmidt*[67] vorgeschlagene Latitude in bezug auf die Bedeutung muss hier als unzulässig abgelehnt werden ; ». . .so ist es klar, dass es [nämlich das Wort *mulungu*] *ursprünglich* nur 'Geist' im allgemeinen, besonders 'Ahnengeist' bedeutet haben kann.«) Wahrscheinlich kann auch die Herleitung des Namens von Wörtern von der Bedeutung 'gross, alt' (z. B. *kulungwa)* in diesen Begriffskreis gezogen werden.[68]

Mit dieser Art von Interpretation des Namens stimmt auch die Tatsache überein, dass die *Mulungu*-Idee bei vielen Völkern ausgesprochen mit dem Ahnenkult zusammenhängt oder zumindest eine manistische Färbung besitzt.

Die andere etymologische Erklärung, die eine besondere Beachtung verdient, stammt von *Schebesta*[69], der den Namen *mulungu* vom Zeitwort *kulungu*

[64] *Schmidt*, 1926, S. 171 f. ; zum Mulungu-Begriff der Tonga vgl. *Baumann*, 1936, S. 32.
[65] *Baumann*, 1936, S. 41 ; dem Verfasser unzugänglich war die Mitteilung von *E. W. Smith* (in : African Ideas of God, a Symposium. London, 1950.)
[66] *Meinhof*, 1906, S. 7.
[67] *Schmidt*, 1926, S. 172.
[68] Z. B. *Werner*, 1906, S. 59 f.
[69] *Schebesta*, 1929, S. 1 ff.

'schaffen, formen' ableitet. Dass auch diese Interpretation ihre Berechtigung besitzt, erhellt aus jenen Angaben, die *Mulungu* in der Rolle einer schöpferischen Gottheit anführen.

In Verbindung mit der Bedeutung 'schaffen, formen' soll hier auf jene sich öfters wiederholende sprachliche und begriffliche Beziehung hingewiesen werden, die zwischen den afrikanischen *Hochgottbenennungen und der Benennung der Töpferarbeit* festgestellt werden kann. Bei den Ila ist z. B. die eine Bezeichnung für den Schöpfer-Hochgott *Lubumba* 'der Former' ; das Grundwort lautet *kubumba* 'formen, ähnlich dem Töpfern einer Frau'.[70] Die primäre Hochgottgestalt der Shambala ist *Kiumbe;* »mit Hilfe von *kiumbo*, des Schöpfers (eines Kieselsteins) formt man einen Topf, *waumba nungu*«.[71] Bei den Nyamwezi findet man neben *mzumbi* ~ *muvumbi* ~ *mutundi* 'Schöpfer' das Wort *Muvumbi* ~ *muvumvi* 'Töpfer'.[72] *Mulungu* selbst trägt bei den Kamba — als Schöpfer — den Namen *Muumbi*, »from *umba* 'fashion', most usually employed in the meaning of 'to fashion earthenware vessels'«.[73] Bei den hier besonders interessanten Dschagga wird der Akt der göttlichen Schöpfung durch das Wort *igumba* 'bilden' bezeichnet, »das sonst nur noch vom Töpfer gebraucht wird«.[74] Dieses Zeitwort hängt etymologisch mit dem — bei den Shambala — bereits erwähnten Gottesnamen *Kyumbi* zusammen, der zwar bei den Dschagga fehlt, doch bei den benachbarten Pare (neben dem mit den Dschagga gemeinsamen Hochgott *Izuwa)* angetroffen werden kann,[75] und dessen sprachliche Entsprechungen sich als Gottesnamen in weit entfernte Gebiete verfolgen lassen.[76] In diesem Zusammenhang kommt einer der Überlieferungen der Dschagga über die Erschaffung des Menschen eine besondere Bedeutung zu : »Moreover *Ruwa* was not really the creator of mankind, he merely liberated the first human beings from some mysterious vessel by bursting it. On this account he is known as ‚*Ruwa mopara wandu*' God who burst (out) men«.[77] Hier ist die Beziehung *sowohl* der Schöpfung *als auch* der Ahnen (also beider vorausgesetzter Grundbedeutungen von *mulungu* ~ *mungu)* mit dem tönernen Topf klar ersichtlich.

Wenn man noch in Betracht zieht, dass in den meisten Bantusprachen der Wortstamm *lunga* ~ *longo* ~ *ungu* als Bezeichnung für 'Lehm, Erde' dient und dass demgemäss die Derivate dieses Wortstammes häufig in der Bedeutung von 'Tongefäss' auftauchen,[78] so bildet dies eine weitere Bestätigung des Obengesagten. Weiters ist hier auch die natürliche assoziative Beziehung zu berück-

[70] *Baumann*, 1936, S. 34.
[71] *Karasek—Eichhorn*, 1923—1924, S. 39.
[72] *Dahl*, 1915, S. 599.
[73] *Lindblom*, 1916, S. 206.
[74] *Gutmann*, 1909, S. 182.
[75] *Dannholz*, 1916, S. 13 f; *Kotz*, 1922, S. 192.
[76] *Baumann*, 1936, S. 44.
[77] *Dundas*, 1924, S. 108.
[78] Beispiele s. *Baumann*, 1936, S. 82 f.

sichtigen, die zwischen den manistischen und chthonischen Vorstellungen nachweisbar ist. (Beispiele: Kiyao *mulungu* 'Geisterwelt, Ahnengeist', *chilungu* 'Erdbeben'[79]; Kisuaheli *wazimu* 'böse Geister', *kisumu* 'bei den Geistern = = unterirdisch'[80]; es muss hier auch auf den Mythos der Hervorrufung des ersten Menschen aus einem Erdloch, Termitenhaufen usw. hingewiesen werden.[81])

Aus dem Namenmaterial geht also hervor, dass der Name *nungu* des schreckenerregenden Fluchmittels der Dschagga *primär nicht Topf bedeutet*, sondern in inniger Verbindung mit manistisch-chthonischen und schöpferischen Ideen steht. Dass das Zeitwort, das den göttlichen Schöpfungsprozess bezeichnet, auch in der Bedeutung von 'töpfern' gebräuchlich ist, dürfte nicht ein sprachlicher Überrest des — der biblischen Erzählung ähnlichen — Mythos der Schöpfung aus dem Ton sein, sondern eine auf einer einfachen Betrachtungsbasis entstandene Analogievorstellung, die eine Ähnlichkeit zwischen den Prozessen der Formung des Tongefässes aus der amorphen Tonmasse und der Erschaffung der Welt voraussetzt. Dies kann man sich um so leichter vorstellen, als in den ostafrikanischen Schöpfungsmythen eine Schöpfung *ex nihilo* im christlichen Sinn des Wortes überhaupt nicht vorkommt, sondern eher nur ein »Ausbilden«, »Ordnen« von Seiten des Hochgottes oder des dessen Rolle einnehmenden Heros. Als Beispiel sei hier die Schöpfungssage der Yao erwähnt: der Urheber faltet die flache Erde in Berge und Täler, zieht Gräben für die Flüsse usw.[82] Zwischen einem solchen »Schöpfungs«-Vorgang und dem Arbeitsvorgang der Topferzeugung ohne Töpferscheibe können leicht Assoziationen entstehen. Der Umstand, dass die Bedeutung 'Topf' des Wortes *nungu* in der Dschaggasprache nur sekundär sein kann, wird auch dadurch bewiesen, dass die Dschagga die Töpferei erst spät, von aussen her kennenlernten.[83]

Zum Verständnis der *Mulungu*-Vorstellung muss aber ausser den Namenformen auch das ethnographische Tatsachenmaterial selbst einer Prüfung unterzogen werden. Eine Übersicht über die verschiedenen Interpretationsarten gibt das Werk von *Baumann*.[84] Nach der Meinung von *Baumann* ist der *Mulungu*-Begriff im wesentlichen manistisch, wobei er aber teils infolge älterer, autochtoner Gottesvorstellungen, teils infolge äusserer Einflüsse an manchen Orten verschiedenerlei Schattierungen angenommen und sich bald mit Schöpfervorstellungen und bald mit chthonischen bzw. solaren Zügen bereichert hat. »Durch den Triumphzug des Suaheli als Handelssprache und durch die Tätigkeit der Missionäre ist der *Name* dieses Gottes weit über sein ältestes Geltungsgebiet getragen worden. Daher ist es erklärlich, dass an den Rändern des Verbreitungs-

[79] *Hetherwick*, 1902, S. 94.
[80] *Raum*, 1904, S. 101.
[81] Aus Obigem kann mit grosser Wahrscheinlichkeit ein inhaltlicher und geschichtlicher Zusammenhang zwischen den östlichen *Mulungu*- und den westlichen *Kalunga*-Vorstellungen angenommen werden.
[82] *Werner*, 1906, S. 70 ff.
[83] *Raum*, 1904, S. 104; *Gutmann*, 1909, S. 169.
[84] *Baumann*, 1936, S. 40 ff.

gebietes des Namens eine Abschwächung der *Idee* unvermeidlich wurde . . . Die älteste *Mulungu*-Vorstellung, am besten bei den Yao und im südlichen Tanganyika erhalten, ist rein manistisch«.[85]

Doch selbst die von *Baumann* als schlüssiger Beweis angeführten *Mulungu*-Vorstellungen der Yao, welche bereits mehrere Male als Grundlage religionsgeschichtlicher Diskussionen gedient haben, bestätigen keineswegs eindeutig die Interpretation eines »Ahnengottes«. Aus der Beschreibung von *Hetherwick*[86] geht klar hervor, dass der *mulungu*-Begriff folgende Bedeutungen besitzt : 1. die schöpferische Gottheit, 2. die Seele *(lisoka)* nach dem Tode, wenn sie bereits Bewohnerin der Geisterwelt und Gegestand von Kulten ist, 3. die Geisterwelt im allgemeinen, 4. alles, was unbegreiflich und wunderhaft ist. Es muss hierbei auch berücksichtigt werden, dass das Hauptwort *mulungu* grammatikalisch nicht in die Personen bezeichnende Hauptwortklasse gehört (es stellt also keinen Persönlichkeitsbegriff dar), sondern »a quality or faculty of the human nature whose signification he has extended so as to embrace the whole spirit world«.[87]

Der primär unpersönliche Charakter des *mulungu*-Begriffes der Yao dürfte demnach als erwiesen anzusehen sein.[88] Auch jene Auffassung, die z. B. von *Beth*[89] und vor ihm schon von *Róheim*[90] vertreten wurde, darf nicht als übertrieben abgelehnt werden (wie dies *Baumann* tat[91]). Laut dieser Auffassung ist nämlich der ursprüngliche Bedeutungsinhalt des *mulungu*-Begriffes eine dem *mana* ähnliche Macht,[92] — nicht die magische Kraft eines bestimmten Objektes, sondern eine allgemeine übernatürliche Wirkungskraft, an welcher der Mensch teilhaftig zu werden bestrebt ist und welche Ehrfurcht und ein Gefühl von Unterordnung auslöst ; ein Fluidum, das man nicht auf magische Weise erwerben kann, sondern welches — auf Art der Gläubigen — von der Natur als Ganzheit erwartet wird, und das häufig auch einen Kult besitzt ; — besonders ist

[85] *Baumann*, 1936, S. 63 ; eine im wesentlichen ähnliche Auffassung vertritt *Schmidt*, 1926, S. 171 ff.

[86] *Hetherwick*, 1902, S. 92 ff.; ähnlich ist auch die Ansicht von *Scheerder—Tastevin*, 1950, S. 242.

[87] *Hetherwick*, 1902, S. 94.

[88] *Baumann* (1936, S. 40.) erwähnt als Beweis der Ursprünglichkeit der manistischen Deutung den Yao-Brauch, dass auf gewisse Haufen jeder Vorübergehende einen Stein, einen Zweig, eine Blume usw. wirft. Nach ihm entspricht dieser — hier in Verbindung mit *Mulungu* vorkommende — Ritus dem Steinwurf bei den Heitsi-Eibib-Gräbern der Hottentotten. Diese Erklärung kann aber nicht akzeptiert werden, weil der in Rede stehende Ritus über die ganze Welt verbreitet ist und manchenorts einen derart verschiedenen Inhalt besitzt, dass ihm auch methodisch kein einheitlicher manistischer Sinn zugesprochen werden kann. Vgl. die Arbeit des Verfassers : Das Problem der Obo-Haufen, Diss. Budapest, 1948. Handschrift. Ungarisch.

[89] *Beth*, 1914, S. 173.

[90] *Róheim*, 1914, S. 162 ff.

[91] *Baumann*, 1936, S. 40.

[92] Jedenfalls gibt auch *Baumann* zu (1936, S. 40 f.), dass zur Ahnengott-Idee der Yao »noch Elemente der Idee einer 'übersinnlichen Macht' beigemischt sind«, und knüpft eine geistreiche Hypothese an die manistisch-zölaren Beziehungen von ähnlichen Gottesgestalten. Leider war dem Verfasser seine letzte Arbeit über afrikanische *mana*-Vorstellungen (Nyama, die Rachemacht. Paideuma, Bd. 4. 1950, S. 191—230) nicht zugänglich.

aber diese Kraft Häuptlingen und anderen, sich durch ihre Taten ausgezeichneten Personen zu eigen.[93]

Was nun die Dschagga anbetrifft, so ist in ihrer Religion kein *Mulungu* genannter Hochgott anzutreffen; das Höchste Wesen ist hier der ausgesprochen solare *Ruwa* ~ *Iruva*. In seinem öfters zitierten grossen Werke erbringt *Baumann* den überzeugenden Beweis,[94] dass der *Iruva* der Dschagga eine (zumindest) sekundäre Gottesvorstellung darstellt und dass in seinem Charakter die Eigenschaften der atmosphärischen Himmelsgötter vom *Kyumbi*-Typ nachgewiesen werden können. (Unter anderem wird dies auch durch das Vorhandensein des mit *Kyumbi* etymologisch zusammenhängenden Zeitwortes *igumba* ‚schöpfen' bei den Dschagga belegt.) Die oben skizzierten Zusammenhänge lassen es indessen als äusserst wahrscheinlich erscheinen, dass der historische Charakter der Gottesvorstellung der Dschagga noch weit tiefgründiger und komplizierter ist, da sich nicht nur der Platzaustausch *Kyumbi-Iruva* abgespielt hat, sondern auch — vielleicht noch vor der *Kyumbi*-Vorstellung, vielleicht gleichzeitig mit ihr, aber in Spuren *(nungu)* noch koexistierend mit der *Iruva*-Vorstellung — irgendeine verwirklichte Form des *mulungu-kalunga*-Vorstellungskreises bei den Dschagga vorhanden gewesen sein muss.[95]

*

Der *mulungu*-Begriff dürfte also auch bei den Dschagga heimisch gewesen sein. Dieser Begriff kann jedoch — wie gezeigt wurde — von der unpersönlichen Kategorie der allgemeinen Zauberkraft angefangen bis zu der *par excellence* personifizierten Idee der Ahnengeister und der schöpferischen Gottheit in überaus verschiedenen Formen zutage treten. Eine zusammenfassende und erschöpfende Analyse der einst mals bei den Dschagga vorhandenen *mulungu*-Vorstellungen kann zwar nicht die Aufgabe dieser Abhandlung sein, doch soll jedenfalls das sich an den Fluchtopf knüpfende Brauchmaterial einer genaueren Prüfung unterzogen werden, und zwar vom Gesichtspunkt der Art und Weise, in der die *nungu* ~ *mulungu*-Idee innerhalb dieses Kreises in Erscheinung tritt. (Diese Trennung ist hier wichtig, denn es ist ja leicht möglich, dass sowohl unpersönliche als auch pesonifizierte Vorstellungen gleichzeitig existiert haben.)

Aus allem, was *Gutmann*[96] über die Feuerartigkeit der Wirkungskraft des *nungu* nachwies, wird offenbar, dass man hier einer eigentümlichen Form des unpersönlichen Zauberglaubens gegenübersteht. (Als Analogie für eine ähnliche Feuerbeziehung der Zauberkraft sei hier auf das Beispiel des *mana*-Begriffes

[93] *Preuss*, 1931, S. 288; vgl. *Tastevin*, 1940, S. 196 f.
[94] *Baumann*, 1936, S. 52 f.
[95] Es sei hier darauf verwiesen, dass die Dschagga die *nungu* in eigenen Häuschen hielten *(Thomé*, 1903, S. 233; *Gutmann*, 1909, S. 171); wahrscheinlich entsprechen diesen die von den Nika erwähnten »*Mulungu*-Häuschen« *(Krapf*, 1858, I, S. 235 f.).
[96] *Gutmann*, 1926, S. 666 ff.

der Maori verwiesen.[97]) Es kann festgestellt werden, dass bei den Dschagga diese feuerartige Vorstellung der materiellen Zauberkraft nicht ausschliesslich in Verbindung mit dem *nungu* in Erscheinung tritt ; dies wird auch durch das Zauberwort *huo* 'kühle dich ab' bewiesen, das beim Akt der Neutralisation der verschiedenen zauberkräftigen Objekte gebraucht wird. »Wenn z. B. ein Hirsefeld ganz ungewöhnlich hohe Halme hat, so sagen sie, die Hirse hätte einen 'König' bekommen. Dadurch ist das Feld Sitz schädlicher Kräfte geworden. Es muss ‚abgekühlt' werden . . . Wenn der Blitz in eine Pflanzung schlägt, so werden die Bananen Sitz schädlicher Kräfte und müssen ‚abgekühlt' werden«.[98]

Der unpersönliche Machtcharakter der Zauberkraft des *nungu* wird durch das im vorstehenden (S. 189 f.) hervorgehobene Fehlen jeglicher Richtung, durch die sich nach allen Seiten und gegen jedermann richtende Gefährlichkeit bewiesen, die den Benützer des *nungu* zwingt, seine eigene Sicherheit durch besondere Zeremonien zu schützen. Der Zusammenhang der Zauberkraft des *nungu* mit dem übrigen Zauberglauben der Dschagga wird auch durch den Ausdruck *ikapa nungu*, *kapa nungu* '*nungu* schlagen' dokumentiert. »Dieses Wort *kaba* =schlagen gewinnt nämlich in Verbindung mit zahlreichen Dingwörtern die Bedeutung von : etwas in Bewegung und Tätigkeit setzen . . .«.[99]

Da aber bei anderen Völkern sehr häufig auch manistische Interpretationen des *mulungu*-Vorstellungskreises vorkommen und da diese manistischen Beziehungen meistens mit der Person des Häuptlings, mit den mit ihm verbundenen magisch-kultischen Vorstellungen in Zusammenhang stehen, sowie weil der *nungu* der Dschagga — wie gezeigt wurde — besonders als Attribut der Häuptlingsmacht erscheint, ist es notwendig, die Frage aufzuwerfen, ob nicht auch der *nungu* der Dschagga manistische Aspekte aufweist.

In seinem Werke »Schöpfung und Urzeit des Menschen im Mythus der afrikanischen Völker« führt *Baumann* zahlreiche Beispiele an, um zu beweisen, dass der um die Person des Häuptlings entstehende magisch-religiöse Nimbus innig mit dem Ahnenkult verknüpft ist. Er macht zwar die Bemerkung, dass »gerade jene Gottesvorstellungen, die *mana-orenda*-artige Züge tragen, wie etwa der Imana Ruandas und der Jwok der Niloten, gerade in Gebieten des rituellen Königsmordes und des Gottkönigs zu finden sind«[100], doch kehrt er bei der Deutung dieser Beziehung sofort auf die Linie des Ahnenkultes zurück.

Ohne das Vorhandensein eines Zusammenhanges zwischen der Häuptlingsmacht und dem Ahnenkult bestreiten zu wollen, hält es der Verfasser der vorliegenden Arbeit für wenig wahrscheinlich, dass die Interpretationsmethode von *Baumann* auch beim *nungu* der Dschagga so einfach angewandt werden kann. In der Staatsorganisation der Niloten und der von Ruanda handelt es

[97] *Thurnwald*, 1929, S. 94 f.
[98] *Raum*, 1904, S. 105.
[99] *Gutmann*, 1909, S. 169.
[100] *Baumann*, 1936, S. 41.

sich sowohl politisch als auch religiös um Häuptlingtümer eines anderen Typs (nämlich um wirkliche Königreiche) als bei den Dschagga, bei denen sich in den Überlieferungen noch lebhaft die Erinnerung aufrechterhielt, dass die *nungu* ursprünglich im Besitze der einzelnen Sippen waren und dass sie erst mit dem Erstarken der Häuptlingsmacht unter deren Machtattribute eingereiht wurden.

Es besteht aller Grund, in bezug auf das Wesentliche im Zusammenhang mit den Dschagga die Meinung von *Thurnwald* über die Verbindung des *mana*-ähnlichen »Macht«-, »Kraft«-Begriffes und des Haupttums als richtig anzunehmen. »Die Anerkennung des Häuptlingtums selbst« — schreibt *Thurnwald*[101] — »ist auf eine gewisse *Überlegenheit* zurückzuführen, die einzelnen Personen oder Personengruppen zugeschrieben wird . . . Angeregt durch diese persönliche 'erfolgreiche Überlegenheit' ist später die ganze *Mana*-Philosophie ausgebildet worden«[102]. Dieser Satz *Thurnwalds* weist zwar einige — hauptsächlich terminologische — Unzulänglichkeiten auf (besonders in der allzu weiten Interpretation des Begriffes'Häuptlingtum', die auch sämtliche Formen des primitiven Haupttums umfasst), nichtsdestoweniger darf sie *mutatis mutandis* im ganzen als auf den vorliegenden Fall anwendbar angesehen werden. Wenn man die zahlreichen ausgesprochen juvenilen Züge der Institution des Häuptlingtums der Dschagga in Betracht zieht, so liegt der Gedanke auf der Hand, dass die persönliche Qualität in der Ausbildung des allgemeinen Zauberglaubens eine massgebliche Rolle gespielt hat. Dagegen bedeutet diese persönliche Überlegenheit — was wieder eine Rückkehr zur Meinung *Baumanns* darstellt — nicht nur den Nimbus des auf dem Gebiete des praktischen Lebens unter Beweis gestellten Erfolges, sondern sie weist auch religiöse Momente auf. In der Reihe dieser religiösen Momente muss nun gerade der Verbindung mit den Ahnen eine entscheidende Rolle beigemessen werden.

Bevor die erstarkende Häuptlingsmacht die *nungu* in ihre Verfügungssphäre gezogen hatte, waren diese in der Hand der Sippen. Obzwar keine unmittelbare Angabe darüber vorhanden ist, darf in allgemeiner Kenntnis der Sippentraditionen der Dschagga füglich angenommen werden, dass in der alten Anwendung des *nungu* im Kreise der Sippe deren hierarchische Ordnung konsequent eingehalten wurde. »Der Ritenalte . . . ist der jeweilig älteste in der Opfergemeinschaft der Sippe . . . Er bespeichelt zuerst das Opfertier und nach ihm tun es die anderen. Hier erschliesst sich der eigentliche Sinn des Speichelns auf das Opfertier : er soll Sippenkraft übermitteln und eine Lebenseinheit herstellen, in diesem Falle an die Ahnen. Als dann neben das Blutprinzip das Schichtungsprinzip trat und es immer mehr verdrängte, hat auch das Einzelwesen diese Elemente, die miteinander das Lebenseinheitsgefühl trugen, aus ihrem ursprünglichen Zusammenhange gelöst und ihnen ein magisches Sonderdasein gegeben. Der Ritenalte

[101] *Thurnwald*, 1927, S. 11.
[102] Vgl. *Thurnwald*, 1929, S. 98 ff.

ist der letzte Versichtbarer ihres Zusammenhanges mit dem Lebensgrunde der Sippe, d. i. dem Ahnenverbande. Sein Ansehen ist darum ein natürliches und uranfängliches«[103] Neben dem Ritenalten hat die Sippe auch einen politischen Führer; »er wird nicht bestellt durch vererbbare Zusammenhänge, sondern rein nach seiner persönlichen Tüchtigkeit«.[104]

Es ist unmöglich mit voller Gewissheit auszusagen, ob im Falle der Beleidigung der Sippe die Bestrafung des eine Wiedergutmachung ablehnenden Missetäters mit dem *nungu* im Zeitalter der Verwendung der *nungu* durch die Sippe in den Tätigkeitskreis des Ritenalten oder des Rechtsvormundes gehört hat. Am wahrscheinlichsten ist es, dass beiden eine Aufgabe zufiel; die Bewachung des *nungu* und die zeremonielle »Abkühlung« des »erhitzten« *nungu* dürfte auf Grund des heute zur Verfügung stehenden Materials eher die Aufgabe des Ritenalten gewesen sein, während die Durchführung des Fluches eher in den Wirkungskreis des Rechtsvormundes zu fallen scheint. Doch ist das Problem der Trennung hier nicht entscheidend. Aus dem Wesen des Sippenverbandes folgt, dass sich die beiden Funktionäre bei jeder Aktion gegenseitig unterstützen (»der Ritenalte und der Rechtsvormund standen nicht unverbunden nebeneinander in der Sippe, sondern stützten und ehrten einander«[105]), so dass jede Initiative des politischen Führers notwendigerweise auch eine ideologische Untermauerung erhielt. Diese ideologische Stütze war die Auswirkung 1. des Wissens um die Macht der Ahnen, der gemeinsamen *Ahnenverehrung* durch die Sippe als Blutsverband *und* 2. des funktionbedingten *persönlichen Prestiges* des mit den Ahnen in engster Beziehung stehenden, mit ihnen eine ständige Verbindung pflegenden Ritenalten sowie des durch seine Qualitäten und seine Energie hervorragenden Rechtsvormundes.

Es trifft also jenes Teilstück der Auffassung *Thurnwalds* nicht zu, wo er sagt: »man hat den Eindruck, dass sich erst an die Staffelung der Gesellschaft der Gedanke einer Staffelung verschiedener geistiger Kräfte knüpft«.[106] Die *nungu*-Vorstellung der Dschagga gewinnt erst dann an Klarheit, wenn man in der noch ungestaffelten Sippengesellschaft jene zwangsläufigen Züge aufdeckt, die aus der Bewunderung und der Anerkennung entstanden sind, die man den Äusserungen persönlicher Qualitäten zollte (sei es der politischen oder religiösen Führerrolle bzw. der zu dieser notwendigen Anlagen), was dann zur Annahme eines an gewisse Personen gebundenen Kraftüberschusses führte. *Thurnwald* verfällt hier wieder in einen terminologischen Fehler: der ungestaffelte Charakter der Gemeinschaft bedeutet nicht zwangsläufig auch Undifferenziertheit.[107]

[103] *Gutmann*, 1926, S. 13 f.
[104] *Gutmann*, 1926, S. 13 f.
[105] *Gutmann*, 1926, S. 15.
[106] *Thurnwald*, 1927, S. 4.
[107] Vgl. *Hofstra*, 1933, Sep. S. 95 ff.

Die Vorstellung des »ausserordentlich Wirkungsvollen«, der Glaube an die allgemeine Zauberkraft wurde also bei den Dschagga im Schosse des Sippenverbandes geboren,[108] wobei als Eltern die manistische Ideologie der Sippe *und* die an die Person gebundene, eine irrationalisierende Tendenz aufweisende Achtung vor der Autorität anzusprechen sind.

Es ist noch eine schwer zu lösende Frage übrig : warum individualisierte sich nicht der an den *mulungu* ~ *nungu* knüpfende Zauberkraftsglaube der Dschagga zu einem Hochgottglauben? warum trifft man nicht einen *Mulungu*-Hochgott in der alten Religion der Dschagga (vor dem Auftauchen von *Iruva)* anstatt deren supponierbarer Urgestalt *Kyumbi?* Es ist leicht möglich, dass auch bereits *Kyumbi* eine sekundäre Gottesgestalt war, der einen älteren *Nungu*-Hochgott verdrängt hatte. Doch ist dies kein Postulat. Immerhin erscheint es verlockend — in Analogie zu zahlreichen, von anderen Völkern stammenden Beobachtungen —, auch bei den Dschagga anzunehmen, dass der Glaube an eine allgemeine Zauberkraft keine primitive, präanimistische Vorstellung war, denn es ist ja allbekannt, dass sich in den primitivsten Gesellschaften kaum eine Spur davon findet.[108] Demnach würde die Gestalt von *Kyumbi* (oder eines angenommenen Proto-*Kyumbi)* historisch vor der unpersönlichen *nungu*-Vorstellung existiert haben. Diese Arbeitshypothese gewinnt aber erst dann festen Boden, wenn es wahrscheinlich wird, dass bei anderen Völkern — wo *Mulungu* als Hochgott vorkommt — diese juvenile Gottesgestalt, die mit jedem ihrer Züge ihre Herkunft von einer allgemeinen und unpersönlichen Zauberkraft verrät, überall eine ältere Hochgottvorstellung verdrängt hat. Jedenfalls sieht man aus diesem Problem selbst, dass in der ostafrikanischen Religionsgeschichte mit überaus komplizierten Vorgängen zu rechnen ist.

*

Der mit dem *nungu* verknüpfte Vorstellungskreis sowie seine Ritologie weisen sozusagen kein einziges Moment auf, von dem man behaupten könnte, dass es ausschliesslich bei den Dschagga vorkommt. Die Zauberkraft selbst ähnelt in jener Form, in der sie in der *nungu*-Praxis auftritt und im Selbstbewusstsein und Lebenslauf der verzauberten Person eine totale Störung hervorruft, lebhaft an den Verzauberungszustand *(thahu)* bei den Kamba und den Kikuyu.[109] Der *nungu* selber zeigt fremde Beziehungen : er ist bei den Parc vorhanden[110] und entspricht in vielen Einzelheiten dem *kithathi* der Kikuyu.[111] Die *nungu*-Objekte selbst werden nicht im Lande der Dschagga, sondern haupt-

[108] Der Verfasser siehet die »Individualität« der *nungu*, nämlich die Tatsache, dass jedes einzelne Exemplar auf eine andere Weise »abgekühlt« werden muss, als Überrest der partikularen Praxis der Sippen an (siehe oben).

[109] *Hobley*, 1922, S. 103 ff. ; *Beecher*, 1935, S. 516 ff.

[110] *Alberti—Germann*, 1911—1912, S. 66, 68 f. ; *Dannholz*, 1916, S. 114.

[111] *Hobley*, 1910, S. 139 ff. ; *Dundas*, 1915, S. 253 ; *Dundas*, 1924, S. 174.

sächlich in Taveta und in Kahe hergestellt[112], und die Töpfer der Dschagga fertigen — obzwar auch bei den Dschagga Töpferzentren vorhanden sind — keine *nungu* an.[113] Ebenfalls auf die Herkunft von fremden Gebieten weist der Umstand hin, dass in den Besprechungsformeln der Name des Fluchtopfes manchmal *ndžambā* lautet, was wahrscheinlich mit Usambara (Šambā) in Zusammenhang stehen dürfte.[114] Die Übereinstimmung in bezug auf die Terminologie der *nungu*-Praxis bei den Dschagga und den Pare lässt den Gedanken aufkommen, dass der *nungu* vielleicht unmittelbar von den Pare zu den Dschagga gekommen ist ; es ist bekannt, dass die Zauberer der Pare seit alters her in hohem Ansehen standen und in komplizierten Fragen auch von den benachbarten Völkern angerufen wurden, weil man ihrem Wissen ein grösseres Vertrauen entgegenbrachte als dem der eigenen Zauberer.[115]

All dies weist darauf hin, dass der Gang der formellen Entwicklung des *nungu* der Dschagga nur in einem weiter gespannten Zusammenhang dargestellt werden könnte; dies ist jedoch infolge der Unzulänglichkeit der Beschreibungen vorderhand nicht durchführbar. Im folgenden soll deshalb lediglich versucht werden gleichsam als Arbeitshypothese diejenigen Momente zu skizzieren, die nach Ansicht des Verfassers bei der Entwicklung des *nungu* mit grösster Wahrscheinlichkeit bestanden haben dürften.

Alle Anzeichen sprechen dafür, dass von den *nungu*-Formen, die aus dem rezenten Gebrauch bekannt sind, *die topfförmige am jüngsten ist.* Auf Grund des Obengesagten darf es als erwiesen gelten, dass der Name ursprünglich nicht Topf, sondern eine allgemeine Zauberkraft bedeutete, die sich bei manchen Völkern in der Vorstellung von Ahnengeistern bzw. eines schöpferischen Hochgottes personifizierte, und dass er die Bedeutung 'Topf' nur im Wege über chthonische Zusammenhänge und über die assoziative Einbeziehung des schöpferischen »Formierungs«-Vorganges gewonnen hat. Es ist demnach als völlig natürlich anzusehen, dass mit dem Verblassen der ursprünglichen Vorstellung und dem unveränderten Weiterleben des Namens sowie der Auflockerung gewisser Ritusformen früher oder später die Möglichkeit bestand, an den nunmehr nur noch in der Bedeutung von 'Topf' bekannten Namen den Gegenstand gleichsam »anzupassen«.[116]

Mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit lässt sich indessen die, wenngleich nicht sicher »primäre«, so doch die *älteste* erreichbare *Form* der gegenständlichen Verwirklichung der *nungu*-Idee bestimmen. Diese älteste *nungu*-Form dürfte kaum etwas anderes gewesen sein als jene durchlöcherten Steine, die im Tan-

[112] *Thomé*, 1903, S. 233 ; *Raum*, 1904, S. 104 ; *Gutmann*, 1909, S. 170 ; *Gutmann*, 1926, S. 655.

[113] *Gutmann*, 1926, S. 655.

[114] *Gutmann*, 1926, S. 655. Vgl. das Wort *Topfzerschlagen* 'Selbstmord, eine Art bösen Todes' bei den Shambala *(Karasek—Eichhorn*, 1923-1924, S. 14).

[115] *Gutmann*, 1926, S.

[116] *Storch*, 1895, S. 319.

ganyika-Gebiet in grosser Zahl in der Erde gefunden werden[117] und denen die Dschagga eine magische Bedeutung beimessen. Diese Steine werden sogar zur Verfluchung benützt, genau so wie die Fluchtöpfe.[118] Als nicht hierher gehörende Frage soll das Problem der historischen und ethnischen Datierung dieser Steine im folgenden nicht behandelt werden ;[119] immerhin kann als sicher gelten, dass sie als archäologische Funde in die Hände der Dschagga-Bevölkerung gelangten ; auch gibt es Angaben dafür, dass sie *nungu* genannt werden. *Dundas*[120] schreibt: »one *Nungu* dug up in the village of the Great Chief Horombo, and supposed to be his own, is a round piece of lava, with a hole in the centre«. Hier kann man sich auch auf einen Brief des ungarischen Sammlers *Bornemisza*[121] berufen, der am Anfang des jetzigen Jahrhunderts erfolgreich das Kilimandscharogebiet durchforscht hat. In diesem Briefe berichtet er über die Mitteilung eines sehr intelligenten Dschagga, dass diesem sehr alte (!) *nungu* bekannt seien, die heutzutage bereits sehr selten sind, einstmals jedoch verbreitet waren und die für viel mächtiger gehalten wurden als die heutigen ; die letzteren d. h. Puppen und Töpfe wurden vom verstorbenen Häuptling *Sina* (geb. ca. 1800, gest. 1897) aus Kahe und Arusha Chini eingeführt und unter den Dschagga verbreitet. Derselbe Gewährsmann bemerkte noch, dass die erwähnten alten *nungu* sich vom Vater auf den ältesten Sohn vererbten. Aus der dem Briefe *Bornemiszas* beiliegenden Beschreibung geht klar hervor, dass diese »alten« *nungu* nichts anderes als die wohlbekannten durchlöcherten Steine sind.

Es ist eine unzählige Male gemachte religionsgeschichtliche Beobachtung, dass die ungewohnten, auffallenden Erscheinungen eine gewisse Dominanz gewinnen können und dass sie, nachdem sie in magisch eingestellten Gemeinschaften eine gewisse Bedeutung erlangt haben, als Träger von Zauberkräften angesehen werden. »Dass das Staunen der Anfang ist, gilt, wie *Söderblom* bemerkt, nicht nur für die Philosophie, sondern auch für die Religion. Von einer Übernatürlichkeit oder Transzendenz ist hier noch gar nicht die Rede . . . Es gibt aber ein Erlebnis, das sich knüpft an das Andere, das auffällt. Theorie und sogar die allergeringste Verallgemeinerung sind noch weit entfernt ; man begnügt sich mit der empirischen Feststellung : dieser Gegenstand fällt aus dem Gewöhnlichen heraus. Das geht hervor aus der *Macht*, welche er entwickelt.«[122] Als Analogie zu den irrationalen Vorstellungen, die mit den durchlöcherten

[116] Über »die mythenschöpfende Kraft und die die wissenschaftliche Etymologie überholende Wichtigkeit der sogenannten Volksetymologie« enthalten besonders die Werke von *K. Marót* wertvolle Hinweise ; vgl. neuestens : *Marót*, 1951, S. 53, mit Hinweisen auf ältere Literatur.

[117] *Stuhlmann*, 1910, S. 20.

[118] *Gutmann*, 1926, S. 658 ff.

[119] *Gutmann*, 1926, S. 661 f. leitet sie von den Buschmännern her ; zahlreiche Verfasser verknüpfen sie — anscheinend fälschlicherweise — mit den hamitischen Wanderungen ; eine originelle Meinung wird hier von *Wölfel* (1942, S. 105) vertreten.

[120] *Dundas*, 1924, S. 174.

[121] Archiv des Ethnographischen Museums, Budapest, 113/1902. Das Datum des Briefes lautet : 18. Dezember 1902.

[122] *Leeuw*, 1933, S. 3 f.

Steinen im Kilimandscharogebiet verknüpft sind, sei hier auf den Donnerkeilglauben verwiesen, der überall auf der Welt angetroffen werden kann und als dessen Grundlage gleichfalls durch die Fremdheit der ungewohnten, auffallenden Steinwerkzeuge hervorgerufene Reflexionen zu betrachten sind.[123]

Wenn man das archäologisch bewiesene hohe Alter der von den Abhängen des Kilimandscharo zutage geförderten durchbohrten Steine in Betracht zieht sowie auch die Tatsache berücksichtigt, dass diese Steine — obgleich Artefakten — aus der Erde in »fertigem Zustand« in die Hände der Dschagga gelangen, muss rein logisch auch angenommen werden, dass sie weit früher ihre magische Bedeutung erlangt haben als die Tonpuppen oder sogar die Töpfe. Aus dem primären Sinn des Wortes *nungu* (»Zauberkraft«) kann ohne jegliche Schwierigkeit der Gedanke aufkommen, dass sie auch schon primär so genannt wurden. Es sei hier auch an die Angabe von *Bornemisza* erinnert, nach der die Eingeborenen die Stein-*nungu* als ausgesprochen älter ansahen als die übrigen Formen.

Es gibt bei den Dschagga noch ein Fluchmittel, das den Anzeichen nach älter als die Tonpuppen und Töpfe ist. Es ist dies die *Fluchglocke*, die sich in der Form nur unwesentlich von der profanen Kuhglocke unterscheidet und deren Anwendung darin bestand, dass man mit der Glocke in der Hand hin und her lief und dabei Flüche gegen die zu verwünschende Person ausstiess.[124] Es steht ausser Zweifel, dass zwischen den Fluchglocken und den Fluchtöpfen eine historische Kontinuität vorhanden ist ; charakteristisch dafür ist die Angabe, dass der Fluchtopf des Häuptlings von Madjame von derselben Person behütet wurde, die früher Hüter der Fluchglocke war,[125] gleicherweise ist bekannt, dass die Fluchglocken auch vererbbare magische Mittel einzelner Sippen waren.[126]

Wahrscheinlich traten schon gleichzeitig mit den Fluchglocken auch die puppenförmigen *nungu* auf. Die Tatsache, dass diese tatsächlich älter als die topfförmigen *nungu* sind, wird nicht nur durch jene logische Überlegung bezeugt, dass die durch die Verblassung des ursprünglichen Bedeutungsinhaltes des Wortes *nungu* zustande gekommene, mit der heutigen Bedeutung des Namens (»Topf«) vollständig übereinstimmende Form offensichtlich die jüngste sein muss ; auf das höhere Alter der anthropomorphen Ton-*nungu* weist auch hin, dass es Angaben über eine anthropomorphisierende Weiterbildung der durchlöcherten Steine gibt.[127] Warum es zu einer menschenähnlichen Ausbildung gekommen ist, lässt sich nicht genau feststellen. Diesbezüglich darf, solange keine konkretere Erklärung vorhanden ist, die Auffassung von *Gutmann* angenommen werden : »Der Ausbau zur menschlichen Gestalt entspringt dem

[123] Letztens : *Höltker*, 1944, S. 3 ff. ; vgl. *Lagercrantz*, 1940, S. 1 ff.
[124] *Raum*, 1904, S. 104 ; *Gutmann*, 1909, S. 174 ; *Dundas*, 1924, S. 174 ; *Gutmann*, 1926, S. 663.
[125] *Gutmann*, 1909, S. 174.
[126] *Gutmann*, 1926, S. 663.
[127] *Gutmann*, 1926, S. 658.

Spieltriebe nach Verdeutlichung. Seine Ansatzstelle aber ist der Arbeitstrieb: nach Verstärkung der im Werkzeuge eingeschlossenen Kraft. Und diese Verstärkung versuchte man durch das Anbringen der Geschlechtsmerkmale.«[128] Dies könnte man noch damit ergänzen, dass man in die Erhabenheiten und Vertiefungen der unebenen, abgenützten Oberfläche der Steinringe anthropomorphe Formen, Geschlechtsmerkmale usw. — auch ohne nachträgliche Weiterbildung — leicht »hineinsehen« kann.

Den Gang der Formentwicklung kann man sich also in groben Zügen folgendermassen vorstellen: Fluchstein — Fluchglocke bzw. Fluchpuppe — Fluchtopf.

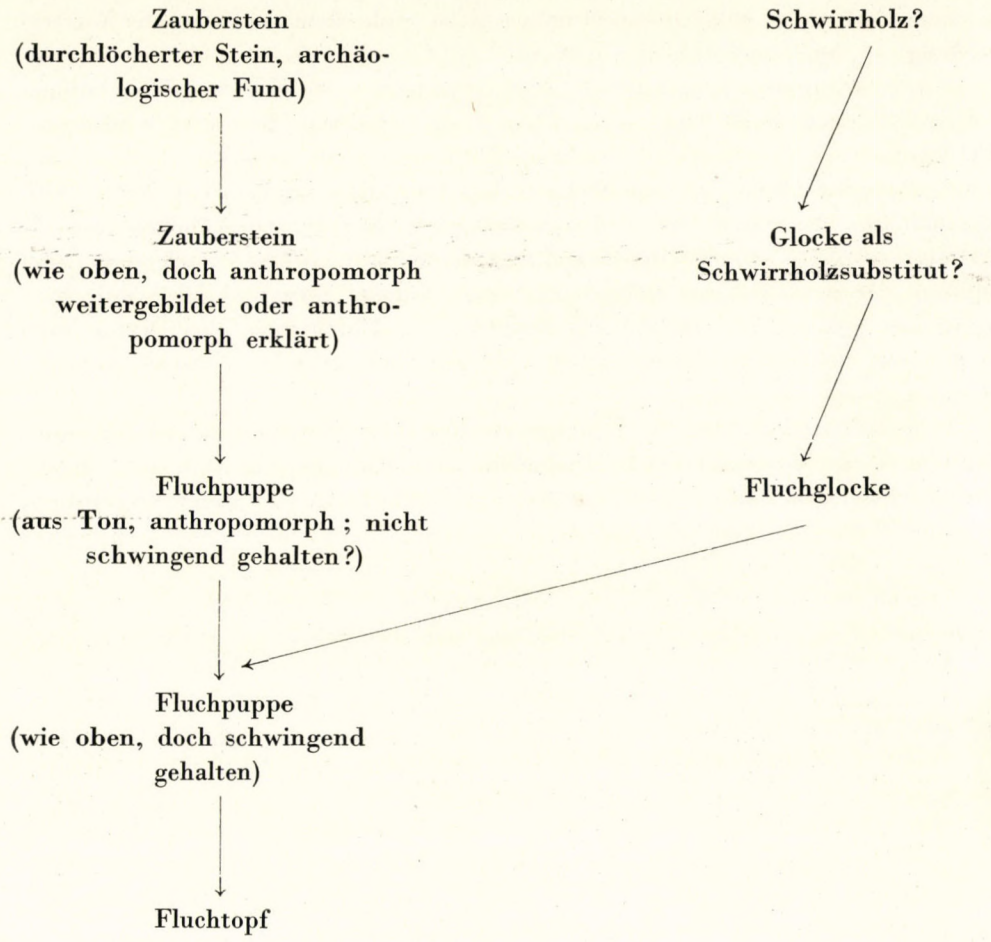
Diese Entwicklungsreihe weist aber auch einen ungeklärten Punkt auf, nämlich das Auftreten der Fluchglocke. Dass der zu menschlicher Gestalt weiterentwickelte Fluchstein zur Fluchpuppe und später (nach dem Verblassen der ursprünglichen Bedeutung des Namens *nungu*, infolge der Wirkung der sekundären Bedeutung 'Topf') zum Fluchtopf führt, kann man sich recht leicht vorstellen. Doch wie passt die Glocke in diesen Zusammenhang?

Vielleicht wird man sich nicht sehr von der Wahrheit entfernen, wenn man in Verbindung mit dieser Frage auf den möglichen Einfluss des afrikanischen *Schwirrholzes* verweist. Bei den mit den Dschagga in enger Verbindung stehenden Pare ist das Schwirrholz ein ständiges Akzessorium der Weihezeremonien.[129] *Hirschberg* stellt fest,[130] dass der grundlegende gemeinsame Zug der verschiedenen Anwendungen des afrikanischen Schwirrholzes der Schreckcharakter ist. Für das Schwirrholz der Pare trifft diese Feststellung vollkommen zu. Dieses furchtbare Instrument, das kannibalische Züge aufweist und auf die Ungeweihten und Frauen fluchartig wirkt, ist eine den Tod bringende Erscheinung. Da seine Funktion im Erregen von Schrecken besteht, kann es leicht mit Vorstellungen verknüpft werden, die im allgemeinen mit Fluch in Verbindung stehen.[131] Es kann auch nachgewiesen werden, dass die Anwendung der aus Eisen angefertigten Glocken bei manchen Völkern Afrikas mit dem Schwirren in Verbindung steht und ausgesprochen als dessen Substitut anzusehen ist.[132] Es ist infolgedessen nicht ausgeschlossen, dass die Glocke auch bei den Dschagga als Substitut des bei den Pare noch vorhandenen Schwirrholzes auftrat, wobei sie aber ihre Beziehung zur Initiation verlor und zu einem allgemeinen Fluchmittel wurde. Diese Annahme wird auch durch den Umstand gestützt, dass die Fluchpuppen und Fluchtöpfe — wahrscheinlich als Erinnerung an den Akt des Schwirrens — an einen langen Stock gehängt und so an jenen Ort befördert werden, wo die Fluchhandlung durchgeführt wird, und dass sie auch

[128] *Gutmann*, 1926, S. 659.
[129] *Kotz*, 1922, S. 62 f, 75 f.
[130] *Hirschberg*, 1940, S. 119.
[131] *Zerries*, 1942, S. 206.

während der Zeremonie am Stocke schwingend gehalten werden, während man die Zauberformeln spricht.[133]

Der wahrscheinlichste Entwicklungsgang der Formen des *nungu* der Dschagga dürfte also in seinen Hauptphasen folgenderweise ausgesehen haben:



Bei der Annahme dieser Formänderungsreihe entsteht wieder die Frage bezüglich der Kraft, der Beschaffenheit der Wirkung des *nungu* bei den Dschagga. *Gutmann*, der verschiedene Exemplare des Fluchtopfes untersucht hat, stellt selber fest, dass »auf die Form der Töpfe nichts ankommt«,[134] und setzt dabei

[132] *Zerries*, 1942, S. 214 f.

[133] *Thomé*, 1903, S. 234; *Gutmann*, 1926, S. 622; im obenerwähnten Brief teilt *Bornemisza* dem Museum mit, dass »die gesandten *nungu* ursprünglich an einen Stock gebunden waren und an diesem gedreht wurden; da aber der Stock zu lange gewesen wäre, wurde er nicht mit in das Paket eingepackt«.

[134] *Gutmann*, 1909, S. 174.

auch eine historische Beziehung zwischen der Fluchglocke und den aus Ton hergestellten Fluchmitteln (dem Fluchtopf und der bei ihm als sekundär angegebenen Fluchpuppe) voraus ;[135] trotzdem bestreitet er aber, dass die magisch-vernichtende Anwendung dieser Mittel und der Zaubersteine auf der gleichen ideengeschichtlichen Grundlage beruhe. »Tontopf und eiserne Glocke sind beide im Feuer entstanden und Gebrauchsgegenstände einer verhältnismässig hohen Entwicklungsstufe menschlicher Kultur. Der Lochstein hat allein von ihnen keinerlei Gebrauchswert, denn nur diesen magischen. Wie aus einer fremden Welt verschlagen steht er zwischen den beiden andern«.[136] *Gutmann* nimmt also an, dass die feuerähnliche Wirkungskraft des *nungu* nur vom physischen Feuer stammen könne. In Wirklichkeit ist aber diese Einschränkung keine zwangsläufige. Die Assoziation des aus dem magischen Zaubermittel emanierenden Fluidums mit dem Feuer (Hitze) kann vielenorts angetroffen werden, auch bei Objekten, die nicht im Feuer hergestellt wurden und sogar bei Personen mit übernatürlichen Kräften (Schamanen, Hexen usw.). Aus der Fülle von Beispielen soll hier nur ein einziges herausgegriffen werden, das der Ewe in Togo, wo das Wort *dzo* sowohl die in den Gegenständen verborgene magische Macht als auch das Feuer bedeutet.[137] Auch die Dschagga hielten nicht nur die aus dem (physischen) Feuer ableitbare Kraft für feuerähnlich bzw. hitzeähnlich, was durch den Umstand bewiesen wird, dass sie das Zeitwort 'abkühlen' auch in Verbindung mit dem Vertreiben einer Krankheit gebrauchen.[138]

*

Zusammenfassend kann nun folgendes gesagt werden :

1. Der Name *nungu* des Fluchmittels der Dschagga bedeutete ursprünglich eine allgemeine Zauberkraft.

2. Diese allgemeine Zauberkraft als Idee kann — in vielerlei Formen konkretisiert — auf grossen Gebieten Ostafrikas nachgewiesen werden. Im Laufe ihrer Personifikation wurde sie bald zur Vorstellung der schöpferischen Kraft, bald zu derjenigen der Ahnen und bald zu jener der chthonischen Mächte. Durch eine aus der unmittelbaren Anschauung entstandene Assoziation gelangte dann ihr Name auch in die Terminologie der Töpferarbeit.

3. Die ostafrikanische *Mulungu*-Gottesgestalt (als Personifikation des unpersönlichen *mulungu)* und der westafrikanischen *Kalunga*-Hochgott (als Personifikation eines mit dem *mulungu* wahrscheinlich auch etymologisch zusammenhängenden *kalunga*-Begriffes) stehen aller Wahrscheinlichkeit nach miteinander in Verbindung.

[135] *Gutmann*, 1926, S. 663.
[136] *Gutmann*, 1926, S. 660.
[137] *Spiess*, 1902, S. 314.
[138] *Raum*, 1911, S. 203 f.

4. Die Wirkungskraft des *nungu* der Dschagga ist ein feuerartiges Fluidum, dessen Vorstellung sich im Sippenverband ausgebildet hat; dies erfolgte auf die Wirkung eines untrennbar miteinander verbundenen Kräftepaares, das sich einerseits aus der Macht der Ahnen und anderseits aus dem Prestige der irrational erklärten Erfolge der Sippenfunktionäre zusammensetzte.

5. Vor der heutigen Hochgottgestalt der Dschagga *(Iruva)* war bei ihnen nachweisbar der *Kyumbi*-Gottesbegriff vorhanden. Es ist eine offene Frage, ob dieser einen hypothetischen, früheren *Mulungu-Nungu*-Hochgott verdrängt hat, oder aber ob der Glaube an eine unpersönliche Zauberkraft *(mulungu-nungu)* gleichzeitig mit der Gestalt des *Kyumbi* gelebt hat.

6. In der Formentwicklung der Fluchmittel der Dschagga wird die nachweisbar älteste Stufe durch die durchlöcherten Steine vertreten. Durch deren spielerisch-magische Anthropomorphisation (die mit der Darstellung der die Kraftausstrahlung fördernden Genitalien beginnt) kommen dann die menschenähnlichen Ton-*nungu* zustande.

7. Das topfförmige Fluchmittel stellt die jüngste Stufe der Formentwicklung dar und ist eine mit dem Verblassen der ursprünglichen Bedeutung des Namens *nungu* zustande gekommene volksetymologische »Anpassung«.

8. Der wahrscheinlichste Verlauf des Entwicklungsvorganges zwischen der ältesten Stufe (Stein) und der jüngsten (Topf) wird durch das Schema auf S. 206 vorgeführt. Hier wird jedenfalls eine vergleichende Untersuchung der ähnlichen Vorstellungen und Objekte der Kamba, Kikuyu, Pare, Teita, Shambala usw. das letzte Wort zu sagen haben.

Anhang

Im nachfolgenden sollen die in der Sammlung des Ethnographischen Museums in Budapest befindlichen *nungu* der Dschagga beschrieben werden. Die im Besitze des Museums befindlichen und von den Dschagga gleichfalls als magische Fluchmittel verwendeten durchlöcherten Steine seien bei einer anderen Gelegenheit behandelt; ebenfalls wird jetzt von einer Aufzählung der Fluchglocken abgesehen. Dagegen scheint eine ausführliche Beschreibung der Fluchpuppen und Fluchtöpfe von allgemeinem Interesse zu sein, da — nach bestem Wissen des Verfassers — nur in wenigen Sammlungen Exemplare davon vorhanden sind und auch in der Literatur nur die von *Thomé* mitgeteilten Bilder vorkommen.

a) *Fluchpuppen*

In der Sammlung befinden sich 31 aus gebranntem Ton hergestellte Fluchpuppen. (Das 32. Stück, das unter Inv. Nr. 53.689 registriert ist, weist

[139] *Gutmann*, 1926, S. 667.

derartige Beschädigungen auf, dass hier von seiner Beschreibung Abstand genommen werden muss). Die ganze Kollektion stammt aus der Sammlung von *Bornemisza*, aus den Jahren 1902—1903. *Bornemisza* sammelte in dieser Zeit im Kilimandscharogebiet und sandte dem Museum ein umfangreiches ethnographisches Material. Mit seiner Vermittlung wandte sich damals auch *Thomé* an das Museum, um die von ihm gesammelten *nungu* zum Kaufe anzubieten. Aus den Dokumenten kann nicht mehr genau festgestellt werden, auf welche Weise letzten Endes die *nungu* in den Besitz des Museums gelangten, doch dürfte das Museum auf den Brief *Thomés* wohl kaum geantwortet haben, da im Archiv keinerlei Kopie einer Antwort zu finden ist. In einem Briefe von *Bornemisza* steht jedoch, dass wenn das Museum nicht die *nungu* von *Thomé* erwerbe, er sie für sich selber kaufen werde. Wahrscheinlich ist dies auch geschehen. In dem von *Bornemisza* für das Museum gesammelten Dschaggamaterial sind keine *nungu* vorhanden, doch befinden sich unter den Gegenständen, die nach dem Tode von *Bornemisza* aus seinem persönlichen Nachlass in den Besitz des Museums übergingen, die 31 (bzw. 32) Fluchpuppen und die hernach zu beschreibenden Fluchtöpfe. Es ist sicher, dass der *Bornemisza*-Nachlass auch die *Thomés*chen Exemplare (oder zumindest einen Teil von ihnen) umfasst, weil jede einzelne der von *Thomé* veröffentlichten Zeichnungen mit je einem Stück des *nungu*-Materials des *Bornemisza*-Nachlasses identifiziert werden kann. Während jedoch *Bornemisza* die Fundorte der dem Museum gesandten Gegenstände äusserst genau angab, verliess er sich leider in seiner eigenen Sammlung anscheinend auf sein Gedächtnis ; als Fundort der nach seinem Tode (1905) in das Museum gelangten Gegenstände ist nämlich nur »Deutsch-Ostafrika« vermerkt. In seinen Briefen finden sich aber zweimal Hinweise auf die *nungu*, wobei es ausser Zweifel steht, dass die in seinem Nachlass gefundenen Exemplare aus dem Kilimandscharogebiet, aus den Häuptlingtümern der Dschagga stammen. *Bornemisza* selber sammelte übrigens sozusagen im ganzen Dschaggagebiet ; in dem dem Museum gesandten Sammlungsverzeichnis finden sich die Namen folgender Dschaggastaaten : Useri, Rombo, Marangu, Kilema, Kirua, Moshi, Uru, Kibosho, Kindi, Narumu, Madjame, Kibongoto, Shire.

Über die *nungu* wird, wie gesagt, in zwei Briefen von *Bornemisza* Erwähnung getan (beide befinden sich im Archiv des Ethnographischen Museums in Budapest). Am 30. Oktober 1902 schreibt er aus Kibosho, dass ausser den 16 *nungu*, die sich im Besitze *Thomés* befinden, und ausser den 4 Exemplaren, die er bisher selbst gesammelt hat, insgesamt höchtens noch ein Dutzend in den Händen der Dschagga sein kann. (Diese Behauptung trifft natürlich nicht zu.) Nicht viel später, am 18. Dezember 1902, steht in seinem aus Kibosho datierten Briefe (in dem er über die durchlöcherten Steine schreibt), dass die aus Ton hergestellten Fluchpuppen vom Häuptling *Sina* von Kibosho (geb. ca. 1800, gest. 1897.) bei den Dschagga eingeführt wurden, während früher in derselben Funktion nur die durchlöcherten Steine in Anwendung standen.

Was die Formmerkmale der Fluchpuppen anbelangt, so sollen in der nachstehenden Beschreibung — ohne Rücksicht auf den Grad der Anthropomorphisation — die kleineren bzw. grösseren Teile der mehr oder weniger gegliederten Gegenstände unter dem Namen »Kopf« bzw. »Rumpf« erwähnt werden, wobei auch sonst die der Anatomie des menschlichen Körpers entsprechenden Benennungen Anwendung finden.

Bei den dem Verfasser bekannten puppenförmigen *nungu* können folgende Typenkreise unterscheiden werden:

1. Typ. Zylindrische Form; am Kopf sind die Gesichtsteile nicht gekennzeichnet; der Kopf wird meistens durch eine Furche vom Rumpf getrennt. Am Brust- und Bauchteil des Rumpfes sind in zwei Reihen Ansätze angeordnet. Zwischen den zwei Ansatzreihen verläuft auf der ventralen Seite eine deutliche, tiefe Furche, an deren oberem und unterem Endpunkt je ein tiefes Loch (Mund und Vagina?) zu sehen ist.

2. Typ. Dieser Typ steht dem ersten Typ nahe, doch ist der Kopfteil nicht vom Rumpf getrennt, sondern weist die Gestalt eines vorstehenden Rohres auf.

3. Typ. Dieser Typ steht ebenfalls dem ersten nahe, doch ist seine Gestalt unförmig, unregelmässig zylindrisch, ausserdem befindet sich auf der Bauchseite des Rumpfes auch keine Längsfurche.

4. Typ. Mehr oder minder zylindrische Form; am Kopfe sind die Gesichtsteile angedeutet; der Rumpf ist mit weiblichen Genitalien versehen; über die ventrale Seite des Rumpfes ziehen sich in zwei Reihen Ansätze dahin.

5. Typ. Ähnlich wie der 4. Typ, doch sind die Ansätze nicht in zwei, sondern in mehreren Reihen angeordnet.

6. Typ. Ähnlich wie der 4. Typ, doch mit männlichen Genitalien.

7. Typ. Ähnlich wie der 4. Typ, doch ist der Geschlechtscharakter unsicher.

8. Typ. Von verschiedener Gestalt; am Kopfe sind die Gesichtsteile nicht bezeichnet, der Geschlechtscharakter ist unsicher oder fehlt ganz.

Ad 1.

Von diesem Typ befinden sich 5 Exemplare in der Sammlung des Museums.

Inv. Nr. 53 673. An der ventralen Seite je sechs Ansätze. Der Kopf ist nicht deutlich vom Rumpf abgesondert. Farbe vorne rot, hinten und an den Seiten schwarz. Länge: 202 mm.

Inv. Nr. 53 674. Dieser *nungu* weist ebenfalls je sechs Ansätze auf. Der Kopf ist durch eine Furche vom Rumpf getrennt. Von den an der ventralen Seite befindlichen zwei Löchern liegt das obere in der Nähe des Halses. Ein Teil der Rückseite sowie die Ansätze sind rot, die übrigen Teile (auch die ventrale Furche) schwarz. Länge: 172 mm.

Inv. Nr. 53 675. An der ventralen Seite je fünf Ansätze. Das am oberen Endpunkt der Furche befindliche Loch liegt ein gutes Stück unterhalb des Kopfes. Die Ansätze sowie die Vorderseite des Kopfes sind rot, die übrigen Teile (auch die Furche) schwarz. Länge: 153 mm.

Inv. Nr. 53 676. An der ventralen Seite je sechs Ansätze. Das obere Loch befindet sich auch hier unterhalb des Kopfes. Vorderseite rot, Rückseite schwarz. Länge: 172 mm.

Inv. Nr. 53 681. Die Zahl der Ansätze beträgt je sechs. Der Oberteil des Kopfes ist konvex. Das obere Loch liegt wiederum unterhalb des Kopfes. Die Ansätze und die zwischen ihnen befindliche Furche sowie der Kopfteil sind rot, die übrigen Teile schwarz. Länge: 160 mm.

Über diesem Typ ist noch im allgemeinen zu bemerken, dass die Anordnung und Zahl der Ansätze die Möglichkeit ausschliessen, dass man sie auch als — stilisierte — Darstellungen der Gliedmassen ansieht, während die unterhalb des Kopfes befindliche Lage des oberen Loches darauf hinweist, dass dieses keine Mundöffnung darstellen will. Die Exemplare selbst sind gut erhalten, nicht abgenützt oder beschädigt.

Ad 2.

Dieser Typ ist nur durch ein einziges Exemplar vertreten.

Inv. Nr. 53 704. Kann mit einem der Zeichnungen von *Thomé* (1903, S. 232) identifiziert werden. Sein Fundort ist — auf Grund der Inschrift der Zeichnung — nachweisbar Kibosho. Klein, von zylindrischer Form an der Bauchseite der Länge nach vertieft. Ausser dem am vorstehenden Kopfteil befindlichen Loch weist er auch noch ein zweites tiefes Loch am unteren Teil der Bauchseite auf. An der Vorderseite sind je drei Ansätze. Unbemalt, von einer natürlichen lichtbraunen Farbe. Länge: 67 mm.

Ad 3.

Auch dieser Typ ist lediglich durch ein einziges Exemplar vertreten.

Inv. Nr. 53 694. Der Kopfteil ist durch eine Furche vom Rumpf getrennt. An der ventralen Seite befinden sich bloss je zwei Ansätze. In der Nähe des unteren Endes der Bauchseite befindet sich eine starke beulenartige Erhebung (Phallos?) und oberhalb davon ein recht tiefes Loch, auf dessen Boden die Reste eines weissen Materials zu sehen sind. Zu seinen Charakteristika gehört noch, dass sich auf der Rückseite des Rumpfes ein hervorstehendes Rückgrat dahinzieht, während gegen die Mitte der Bauchseite eine schräge Einschnürung beobachtet werden kann. Seine Farbe ist vorne und im analen Teil der Rückseite rot, der übrige Teil der Rückseite sowie der Kopf sind schwarz. Länge: 162 mm.

Ad 4.

In der Sammlung sind 8 Exemplare dieses Typs vorhanden.

Inv. Nr. 53 679. Der Kopfteil wird durch einen recht naturgetreu geformten Halsteil vom Rumpf getrennt. An der ventralen Seite des Rumpfes befinden sich im Brustteil je zwei Ansätze (Arme und Brüste?), während das anale Endstück an den zwei Rändern ausgezogen ist (Beine?). Eine grosse und tiefe Vagina sowie ein kleiner Anus sind markiert. Am Kopfe sind neben dem offenen Mund und den Augen auch die Ohren dargestellt. Die Rückseite ist dunkel, die Vorderseite rot. Länge: 173 mm.

Inv. Nr. 53 680. Am Kopf sind ausser den Augen und dem offenen Mund auch die Ohren und die Nasenlöcher dargestellt. Die unteren Enden sind nicht ausgezogen, sondern am Vorderteil des Rumpfes befinden sich in zwei Reihen je drei Ansätze. Die Vagina ist klein, untief (es ist auch nicht ausgeschlossen, dass es sich hier um einen abgebrochenen Phallos handelt); der Anus ist ein kleines Loch am unteren Ende des Rumpfes. Vorderseite rot, die Rückseite zeigt Spuren einer schwarzen Färbung. Länge: 146 mm.

Inv. Nr. 53 682. Schlanke, zylindrische Form, zwischen Kopf und Rumpf eingeschnürt. Am Kopfe zeigt ausser den die zwei Augen und den Mund bezeichnenden Löchern ein weiteres Loch auch die Nase an; die Ohren sind nicht markiert. An der ventralen Seite sind in zwei Reihen je fünf dornenförmige Ansätze angeordnet. In der Nähe des unteren Endes des Rumpfes bezeichnet ein Loch die Vagina, ein weiter unten gelegenes Loch dann den Anus. Der Vorderteil des Kopfes, die Gegend der Brust, des Bauches und der Vagina am Rumpf sind rot, die übrigen Teile schwarz. Länge: 145 mm.

Inv. Nr. 53 684. Ein Bruchstück; der Kopfteil fehlt, deshalb ist es auch nicht feststellbar, ob die Gesichtsteile angedeutet waren. An der Vorderseite sind je vier Ansätze von unregelmässiger Form zu sehen, des weiteren eine sehr grosse Vagina und im unteren Ende des Objektes

ein auffallend grosser Anus. Auch oberhalb der Vagina ragt ein Ansatz hervor, mit dem wahrscheinlich der Nabel bezeichnet werden sollte. Einfärbig dunkel. Länge des Bruchstückes: 94 mm.

Inv. Nr. 53 693. Der Kopf ist durch eine Furche vom Rumpf getrennt. Am Kopf befinden sich in einem Halbkreisbogen oberhalb des Mundes 6 kleine Löcher. Je vier Ansätze, starke Vagina. Der Gegenstand läuft in einen flachen Unterteil aus, Anus ist nicht angedeutet. Einfärbig dunkel, nur die Vorderseite des Kopfes ist rötlich. Länge: 110 mm.

Inv. Nr. 53 695. Unregelmässige, zylindrische Gestalt; Kopf und Hals recht naturgetreu geformt. Am Kopf oberhalb der grossen, runden Mundöffnung zwei grössere, und noch höher zwei kleinere Löcher; an der Seite des Kopfes sind die Ohren auch plastisch dargestellt, wobei die Ohröffnungen durch zwei Löcher markiert sind. An der Vorderseite den Brüsten entsprechend je ein kleiner Ansatz, am unteren Ende wieder je ein Ansatz (Beine?). In der Mitte der Bauchseite eine kleine Erhabenheit (Nabel), weiter unten zwei kleine Knollen, unter ihnen eine grosse Vagina; am Unterteil ein Analloch. An der rechten Hälfte der Vorderseite verläuft ein breiter roter Streifen, anderswo ist der Rumpf dunkel oder bräunlich. Länge: 128 mm, (Dieses Exemplar stammt aus der Sammlung von *Thomé*, Fundort Kibosho; vgl. *Thomé*, 1903. S. 233.)

Inv. Nr. 53 697. Ein von den übrigen in einem gewissen Masse abweichendes Exemplar. Die ganze Oberfläche ist geglättet; am Kopf ist die Darstellung des Mundes, der Augen und der Nase zwar primitiv, doch zeigt sie ein naturalistisches Bestreben. Unterhalb des eingeschnürten Halses befindet sich am Brustteil eine Grube, von hier bis zur Vagina verläuft am Brustteil ein längsgerichteter Grat, zu dessen beiden Seiten je drei asymmetrisch angeordnete Ansätze liegen. Auch die Darstellung der Vagina ist naturalistisch; in der Nähe des unteren Endes ist ein kleiner, punktartiger Anus. Der Gegenstand ist lebhaft rot gefärbt, nur in der Mittellinie der Rückseite, sowie an der Aussenseite der einen Ansatzreihe, und schliesslich zwischen der anderen Ansatzreihe und dem Bauchgrat verläuft je ein breiter, schwarzer Streifen. Länge: 149 mm. Das Objekt ist in einem vorne offenem Behälter aus zusammengedrehten Bananenblättern untergebracht; an diesen Behälter ist oben ein aus Bast gedrehtes Schnurstück befestigt.

Inv. Nr. 53 701. Kleines, durch Brüche beschädigtes Exemplar. Am Kopfe sind offener Mund, Augen und Ohren dargestellt; am Rumpfe befinden sich den Armen und Beinen entsprechend je zwei Ansätze, in der Mitte der Brust ein Buckel. Die Vagina ist nicht angedeutet, dagegen ist am unteren Ende des Rumpfes eine grosse, breite und tiefe Analgrube. In die Mundöffnung gestopft sind Blattreste zu sehen. Einfärbig dunkelbraun. Länge: 87 mm.

Ad 5.

Von diesem Typ können 5 Exemplare vorgeführt werden.

Inv. Nr. 53 688. Der Kopf ist nicht weniger breit als der Rumpf und wird nur durch eine eingeritzte Furche von diesem getrennt. Am Kopfe sind oberhalb der Mundöffnung je zwei Löcher zu sehen, sowie an den zwei Seiten je ein Ansatz, an dessen Enden Finger angedeutet sind. Je ein Ansatz, dessen Enden ähnlicherweise in Finger ausgehen, befindet sich auch in der Nähe des unteren Endes des Rumpfes. Ausserdem sind an der Vorder- und Rückseite des Rumpfes noch neun kleinere, spitzige Ansätze angeordnet. Zwischen den Füssen eine markante Vagina, am unteren Ende des Rumpfes ein kleines Analloch. Der ganze Gegenstand ist dunkel, doch weist die Rückseite eine etwas lichtere Schattierung auf. Länge: 145 mm.

Inv. Nr. 53 691. Der Kopf, der die gleiche Breite wie der Rumpf besitzt, wird von diesem nur durch eine eingeritzte Furche getrennt. Am Kopf befinden sich oberhalb der lochförmigen Mundöffnung in einem Halbkreis vier Löcher; kleine Beulen bezeichnen die Ohren. Oben und unten je zwei fingerförmig ausgebildete Ansätze (Arme und Beine), hinter diesen sind in je einer unregelmässigen Reihe je drei spitze Ansätze angeordnet. Beim Nabel eine kleine Beule; die Vagina wird nur durch kleine, ansatzmässige Lippen markiert, Anus fehlt. Vollkommen dunkel gefärbt, nur am Kopf befinden sich rötliche Flecken. Länge: 121 mm.

Inv. Nr. 53 692. Der Kopf ist überhaupt nicht vom Rumpf getrennt. Die Mundöffnung fehlt, am Kopfteil sind auch die Ohren dargestellt. In der Höhe des Kopfteiles ist an beiden Seiten je ein spitzer Ansatz zu sehen (Arme?), darunter je ein grösserer (Brüste?) und in der Nähe des unteren Endes des Rumpfes je ein in Finger ausgehender Ansatz (Beine). Ausserdem sind auch an der Rückseite des Rumpfes an beiden Seiten je zwei Ansätze vorhanden. Einfärbig schwarz, nur der Kopfteil ist an der Vorderseite rot. Länge: 138 mm.

Inv. Nr. 53 698. Der Kopf wird durch eine Furche vom Rumpf getrennt. Oberhalb der lochförmigen Mundöffnung befinden sich im Halbkreis 4 Löcher. An den Rändern der Bauchseite verlaufen in senkrechten Reihen je sieben Gruben, neben denen spitzige Ansätze stehen. Zwar

Gegenstand ist also kein wirkliches Gefäss. An den zwei Seiten, einander gegenüber, befindet sich je ein Ansatz ; am einen ist der Beginn eines kleinen Querloches sichtbar (als ob man ein Loch zum Aufhängen hätte herstellen wollen), doch ist es nicht vollständig perforiert. Spuren einer Färbung sind nicht festzustellen. Die eine Seite des Topfes ist mit eingeritzten senkrechten und waagerechten Kreuzlinien verziert ; an der anderen Seite fehlt diese Verzierung. Höhe : 75 mm, Durchmesser der Mundöffnung : 23 mm.

Inv. Nr. 53 707. Dickwandiges Gefäss mit halbkugelförmigem Boden und von unregelmässiger, zylindrischer Form ; es verengt sich ein wenig gegen die unregelmässig kreisförmige Mundöffnung zu. Der Rand der Mundöffnung ist unregelmässig gezackt. An den Seiten sind in drei senkrechten Reihen je drei Ansätze angeordnet. Die Fläche zwischen den Ansatzreihen ist rot gefärbt. Höhe : 88 mm, Durchmesser der Mundöffnung : 35 mm.

Inv. Nr. 53 708. Runder Boden, sehr dicke Wand ; Höhe und Breite fast gleich ; der Topf verengt sich gegen die unregelmässig kreisförmige Mundöffnung zu nur geringfügig. An den Seiten 15 unregelmässig verstreute Ansätze. Keine Spuren von Färbung. Höhe : 55 mm, Durchmesser der Mundöffnung : 20 mm.

Inv. Nr. 53 709. Kleines Gefäss, das sich nach unten zu kegelförmig zuspitzt, einen runden Boden hat und sich gegen die Mundöffnung zu wieder verengt ; von regelmässiger, gut gebildeter Form. An den Seiten waren ursprünglich neun grosse, kegelförmige Ansätze angeordnet, von diesen sind zwei abgebrochen. Von einem Punkt des Mündungsrandes verläuft ein angeklebter Lederstreifen bis zum Boden ; den Spuren nach setzte sich dieser Streifen ursprünglich bis zum entgegengesetzten Punkt des Mündungsrandes fort. Es sind keine Spuren von Färbung vorhanden. Höhe : 58 mm, Durchmesser der Mundöffnung : 24 mm.

Inv. Nr. 54 259. Von unregelmässiger Bombenform ; um die kreisförmige Mundöffnung herum sind die Ränder stark zurückgebogen. An der einen Seite befinden sich in zwei waagerechten Reihen drei bzw. fünf Ansätze ; an der anderen Seite sind keine Ansätze vorhanden. Unterhalb des zurückgebogenen Mündungsrandes sind an je zwei einander gegenüberliegenden Punkten in der Gefässwand Vertiefungen zu sehen ; diese Vertiefungen durchbrechen an der ansatzlosen Seite die Gefässwand vollständig. Ausserdem sind auch unterhalb der unteren Ansatzreihe untereinander je zwei kleinere Vertiefungen sichtbar. An der mit Ansätzen versehenen Seite lassen sich Spuren einer roten Färbung feststellen. Höhe : 65 mm, Durchmesser der Mundöffnung : 35 mm. (Von *Thomé* in Kibosho gesammelt ; vgl. *Thomé*, 1903, S. 234.)

Inv. Nr. 54 260. Sehr dickwandiges Gefäss von regelmässiger Bombenform ; die kreisförmige Mundöffnung ist mit einem Randwulst versehen. An der einen Seite des Gefässes zwei kleine Ansätze. Stark beschädigtes, abgenütztes Exemplar ; keine Spuren von Färbung. Höhe : 88 mm, Durchmesser der Mundöffnung : 33 mm. (Von *Thomé* in Kibosho gesammelt ; vgl. *Thomé* 1903, S. 233 ; auf der ursprünglichen Zeichnung sind von einem Opferschaf stammende Hautstücke in das Gefäss gestopft.)

Inv. Nr. 54 261. Zylindrisches Gefäss mit rundem Boden und breitem, kreisförmigem Mund ; unterhalb der Mundöffnung eingeschnürt. Bei der Einschnürung ist die Gefässwand an drei Stellen durchbrochen ; an derselben Seite sind Spuren einer roten Färbung sichtbar. Höhe : 88 mm, Durchmesser der Mundöffnung : 32 mm.

* * *

Die Charakterisierung der verschiedenen Formen der Fluchpuppen und Fluchtöpfe darf also auf Grund des Obigen noch keineswegs als vollständig geklärt gelten. Was *Gutmann* über die Formeigenschaften der Fluchmittel der Wadschagga schreibt[139], ist nicht befriedigend und scheint nach einem Vergleich mit den vorliegenden Ausführungen auch nicht immer zuzutreffen ; so z. B. ist die Frage des Verhältnisses der männlichen und weiblichen Figuren noch klarzustellen. Immerhin kann aber mit ziemlicher Gewissheit behauptet werden, dass *Gutmann* die Bedeutung der Färbung richtig erkannt hat : die rote Farbe ist meistens auf der die feuerartige Fluchkraft ausstrahlenden »Angriffsseite« zu finden, während die verfluchende Person durch die dunkle Farbe der ihr zugewandten Seite geschützt wird. Doch auch hier gibt es Ausnahmen. Jedenfalls ist auch noch bei den Töpfen ein Farbenunterschied zwischen der

einen Seite des Topfes und der anderen Seite vorhanden. — Die Tendenz zur Anthropomorphisierung ist offenkundig, obwohl bei einem beträchtlichen Teil der beschriebenen Objekte die Ansätze wohl kaum Gliedmassen usw. darstellen können, sondern wahrscheinlich eher als — ohne anthropomorphisierenden Gedankeninhalt angewandte — fluchkraftemanierende »Antennen« aufzufassen sind. Es steht auch nicht fest, dass die Bezeichnung der Genitalien als erster Schritt der Anthropomorphisierung zu gelten hat. Die Tatsache, dass bei einem Grossteil der Objekte die Ausbildung des Mundes hervorgehoben ist, scheint auf die magische Rolle der Körperöffnungen *im allgemeinen* (nicht nur der Genitalien) hinzuweisen.

Um in allen diesen Fragen klar sehen zu können, sind unbedingt genaue Beschreibungen und Abbildungen von je mehr weiteren Exemplaren erforderlich; eine weitere Vorbedingung hierfür wäre auch eine umfassende Darstellung der auf die Formgebung bezüglichen Intentionen der diese Gegenstände verfertigenden und gebrauchenden Eingeborenen.

LITERATUR

Abkürzungen

AT. = Acta Tropica (Basel).
Afr. = Africa (London-NewYork-Toronto).
AfAnthr. = Archiv für Anthropologie (Braunschweig).
AfRelwiss. = Archiv für Religionswissenschaft (Berlin).
Anthr. = Anthropos (St. Gabriel-Mödling b. Wien, — bzw. Posieux-Froideville, Kt. Freiburg, Schweiz).
BA. = Baessler Archiv (Berlin).
BiblAfr. = Bibliotheca Africana (Innsbruck).
EtnStud. = Etnologiska Studier (Göteborg).
JRAI. = The Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland (London).
JSA. = Journal de la Société des Africanistes (Paris).

*

Adams, P., Lindi und sein Hinterland. Berlin, 1902.

Alberti, J. — Germann, P., Zauberglaube und Mannbarkeitsfeste bei den Wapare, Deutsch-Ostafrika. Jahrbuch des städtischen Museums für Völkerkunde zu Leipzig, Bd. 5. Leipzig, 1911—1912, S. 64—88.

Baumann, H., Schöpfung und Urzeit des Menschen im Mythus der afrikanischen Völker. Berlin, 1936.

Beecher, L. J., The African explains Witchcraft. III. Kikuyu. Afr., vol. 8, 1935, S. 516—519.

Beth, K., Religion und Magie bei den Naturvölkern. Leipzig-Berlin, 1914.

Bostock, G., The Peoples of Kenya: The Taita. London, 1950.

Bösch, F., Les Banyamwezi. Anthropos-Bibliothek, T. III. fasc. 2, Münster i. W., 1930.

Cayzac, P., La religion des Kikuyu. Anthr., Bd. V, 1910, S. 309—319.

Claus, H., Die Wagogo. BA. Beiheft II. Berlin, 1911.

Dahl, E., Nyamwesi-Wörterbuch. Abhandlungen des Hamburger Kolonialinstitutes, Bd. XXV. Hamburg, 1915.

Dannholz, J. J., Im Banne des Geisterglaubens. Züge des animistischen Heidentum bei den Wasu in Deutsch-Ostafrika. Leipzig, 1916.

Doke, C. M., The Lambas of Northern Rhodesia. London, 1931.

sind von diesen ein oder zwei abgebrochen, doch betrug ihre ursprüngliche Zahl in jeder Reihe 7 Stück. Einfärbig dunkel, vorne, am Kopfteil, mit einigen helleren Flecken. Länge : 115 mm. — Der Rumpf ist mit Bananenfasern umwickelt. Am Hals ist ein von einem Schafopfer stammender Hautring befestigt ; vom Ring geht an der Rückseite ein nach unten gerichteter Zweig aus. (Dies ist das Exemplar, das als erstes von *Thomé* gefunden wurde ; sein Fundort ist Kibosho ; vgl. *Thomé*, 1903, S. 231.)

Inv. Nr. 53 699. Klein ; zylindrisch, mit eingeschnürtem Halsteil. Am Kopfe über der Mundöffnung zwei Löcher, oberhalb davon in einem unregelmässigen Halbkreise vier weitere Löcher. Der Rumpf ist unten flach. An seinen Seiten sind rundherum fünf Reihen zu je vier spitzen Ansätzen angeordnet. Grosse, kraterförmige Vagina, daneben zwei punktartige Löcher. Längs der Mittellinie des Rückens ein länglicher roter Fleck, sonst ist der ganze Gegenstand dunkel. Länge : 88 mm.

Ad 6.

Von diesem Typ besitzt das Museum 6 Exemplare.

Inv. Nr. 53 677. Zylindrisch. Der platte Kopf wird durch eine Einschnürung vom Rumpf getrennt. Am Kopf sind der Mund, die Augen und Ohren dargestellt ; an der Bauchseite befinden sich je sechs Ansätze in zwei Reihen angeordnet. Nabel und Phallos werden durch eine Beule markiert ; am unteren Ende ist ein kleines Analloch. Von rötlicher Farbe, an den Seiten und an der Rückseite mit Spuren von dunklerer Färbung. Länge : 155 mm.

Inv. Nr. 53 678. Der Kopf, der die gleiche Breite wie der Rumpf besitzt, wird von diesem nur durch eine eingeritzte Furche getrennt. Die an den beiden Seiten des Kopfes sichtbaren Vertiefungen stellen wahrscheinlich die Ohren dar ; an der Vorderseite des Kopfes sind oberhalb von zwei Löchern im Halbkreis angeordnete weitere drei Löcher zu sehen. An der Vorderseite des Rumpfes zwei Reihen zu je sechs Ansätzen. Der den Phallos bezeichnende Ansatz ist abgebrochen, es ist nur noch seine Stelle sichtbar. Am unteren Ende des Körpers ist der Anus nur schwach angedeutet. Vorne, zwischen den Ansätzen dunkler als bei den übrigen Teilen des Objektes. Länge : 169 mm.

Inv. Nr. 53 683. Zylindrisch ; der Kopf wird durch eine leichte Einschnürung vom Körper getrennt. Am Kopfe ist ausser dem Mund, den Augen und den Ohren die Nase nicht bloss durch zwei Punkte dargestellt, sondern plastisch als markante Adlernase ausgebildet ; die Ohren sind durchbohrt. Am Rumpfe befinden sich insgesamt sechs Ansätze ; von diesen stellen die beiden oberen wahrscheinlich Brüste dar (sie sind kleiner), die nächsten die Arme bzw. die Beine. Zwischen dem unteren Ansatzpaar ein starker Phallos mit freier Glans, darunter Scrotum. Am unteren Ende des Körpers ein kleiner Anus. Um den Hals ist ein Bastband gewickelt, ursprünglich war auch ein von der Haut eines Opfertiers stammender Ring darauf befestigt. Einfärbig nussbraun. Länge : 161 mm. (Von *Thomé* in Kibosho gesammelt ; vgl. *Thomé*, 1903, S. 234.)

Inv. Nr. 53 685. Klein, unregelmässig zylinderförmig, der Kopf und der Rumpf sind nicht scharf voneinander getrennt. Am Kopfe sind zwei grosse Vertiefungen (Augen?) und zwei die Ohren darstellende Erhöhungen zu sehen. An der Bauchseite je drei Ansätze in zwei Reihen. Am unteren Ende des Rumpfes ein grosses Analloch, darüber ist auch die Wölbung der Schenkel angedeutet. In der Mitte ein kleiner Ansatz mit abgebrochener Spitze, wahrscheinlich der Phallos. Die Vorderseite und die Seiten des Objektes sind rot, die Rückseite grau-schwarz. Länge : 108 mm.

Inv. Nr. 53 687. Zylindrisch, mit eingeschnürtem Hals. Am Kopfe bezeichnet ein Punkt den Mund, zwei Punkte die Nase und weitere zwei Punkte die Augen ; auch die Ohren sind markiert. An der Vorderseite des Rumpfes sind je zwei Ansätze zu sehen, diese laufen fingerförmig aus und repräsentieren offenbar Arme und Beine. Zwei unterhalb der Arme befindliche kleinere spitze Ansätze entsprechen wahrscheinlich den Brüsten. Zwischen den Beinen liegt ein Ansatz mit abgebrochener Spitze (Nabel?), darunter ein kleiner Phallos mit Scrotum. Die Vorderseite des Kopfes, die Brust und die Arme, sowie der anale Teil sind dunkel, die übrigen Teile rot. Länge : 172 mm.

Inv. Nr. 53 696. Zylindrisch, der Kopf wird durch eine eingeritzte Furche vom Rumpf getrennt. Am Kopfe ist der Mund nicht dargestellt, nur die Nase, die Augen und Ohren. An der Ventralseite je drei Ansätze, von diesen sind die mittleren stark seitlich verschoben. Das obere und untere Ansatzpaar zeigen eine fingerförmige Ausbildung. Zwischen den Beinen befinden sich drei unregelmässig angeordnete kleine Ansätze ; es ist möglich, dass der obere den Nabel, der mittlere (der unregelmässig seitlich verschoben ist) den Phallos und der unterste das Scrotum oder den Anus repräsentiert. Ein gesondertes Analloch fehlt. Die Bauchseite ist rot, die übrigen Teile sind schwarz. Länge : 135 mm.

Ad 7.

In diese heterogene Gruppe können drei Exemplare eingeteilt werden.

Inv. Nr. 53 686. Unregelmässige, sich nach unten bauchförmig verbreiternde Gestalt; der Kopf ist schmäler als der Rumpf. Am Kopfe sind oberhalb des Mundes vier unregelmässig angeordnete Löcher sichtbar, ausserdem auch bei den durch Erhöhungen angedeuteten Ohren je ein Loch. Die Vorderseite des Rumpfes ist stark beschädigt, teilweise abgebrochen; auf Grund der vorhandenen Spuren dürften je fünf oder sechs Ansätze sich längs des Vorderteiles hingezogen haben. In der Brustgegend eine hervorstehende Wölbung. An der Stelle der Genitalien befindet sich eine Bruchfläche. Die Färbung ist verblasst, nur in der Bauchgegend sind noch Spuren von Bemalung zu erkennen. Länge: 125 mm.

Inv. Nr. 53 702. Dieses Stück wird gegen das untere Ende des Rumpfes zu breiter, der Unterteil ist abgerundet, im ganzen topfförmig. Der Kopf ist schmäler als der Rumpf und wird durch eine Einschnürung von diesem getrennt. Am Kopf ist zwischen den zwei Augenhöhlen eine hervorstehende Nase zu sehen. Am Rumpfe befinden sich zwei recht grosse Ansätze (weibliche Brüste?); Genitalien und Anus sind nicht angedeutet. Einfärbig grau, an beiden Seiten mit Spuren von roter Färbung. Um den Hals ein aus Bananenbast geflochtener Ring, der rückwärts in einer Schlinge endet (wahrscheinlich zum Aufhängen), sowie ein aus der Haut eines Schafopfers stammender Ring. Länge: 95 mm. (Von *Thomé* in Uru gesammelt; vgl. *Thomé*, 1903. S. 231.)

Inv. Nr. 53 703. Stark abgenütztes, beschädigtes Exemplar. Am Kopf sind vielleicht die Spuren der beiden Augenhöhlen zu erkennen. An der einen Hälfte der Ventralseite des Rumpfes ist oben und unten je ein grosser Ansatz zu sehen; wahrscheinlich befanden sich auch an der anderen Seite zwei Ansätze, die aber abgebrochen sind. Die Genitalien können nicht deutlich wahrgenommen werden, es ist wahrscheinlich, dass sie weibliche waren. Der Gegenstand ist abgegriffen, abgenützt, eine Färbung kann nicht festgestellt werden. Um den Hals befindet sich ein Ring aus der Haut eines Opferschafes. Länge: 95 mm.

Ad 8.

Dieser Gruppe können zwei Exemplare zugeordnet werden.

Inv. Nr. 53 690. Von gedrungener Gestalt; der Kopf wird durch eine Einschnürung vom Rumpf getrennt. An der Vorderseite des Rumpfes oben und unten je zwei formlose Ansätze (Arme und Beine?), in der Mitte ein kleinerer Ansatz (Nabel?). Zwischen den beiden unteren Ansätzen verläuft eine kleine Kante quer über den Rumpf; die Genitalien oder der Anus sind nicht angedeutet. Ein Merkmal dieses Gegenstandes besteht darin, dass in der Mittellinie der Rückseite ein sich scharf abhebendes Rückgrat verläuft. Die Rückseite des Kopfes und Rumpfes ist rot, die Vorderseite aschgrau. Länge: 120 mm.

Inv. Nr. 53 700. Von kleiner, ovaler Gestalt; der schmale Kopf wird durch eine tiefe Einschnürung vom Rumpf getrennt. An der Vorderseite des Rumpfes befinden sich je zwei kleine Ansätze; unten ist die Bruchstelle eines abgebrochenen Ansatzes wahrzunehmen (Phallos?). Rundherum sind Spuren roter Färbung; an der einen Seite auch Spuren von Rindermist, als ob der Gegenstand darin eingepackt gewesen wäre. Länge: 97 mm.

b) *Fluchtöpfe*

In der Sammlung des Museums befinden sich 8 von den Dschagga stammende Fluchtöpfe, ebenfalls aus dem Nachlass von *Bornemisza*. Über ihre Herkunft sowie über die Weise, wie sie in den Besitz des Museums gelangten, siehe das bei den Fluchpuppen Gesagte. In bezug auf die Fluchtöpfe konnten in den Aufzeichnungen *Bornemiszas* keinerlei Angaben gefunden werden.

Inv. Nr. 53 705. Kleiner Topf mit spitzem Boden, runder Öffnung und dicker Wand; an seiner Seitenfläche sind im Kreis sieben Ansätze angeordnet. Eine Färbung kann nicht festgestellt werden. Das Gefäss ist rundherum mit einer Schnur umwickelt. Höhe: 66 mm, Durchmesser der Mundöffnung: 24 mm.

Inv. Nr. 53 706. Bombenförmiger Topf mit abgerundetem Boden; die mit einem dicken Wulst versehene runde Mundöffnung wird nach unten zu enger und hört dann bald auf, der

Dundas, C., The Organization and Laws of Some Bantu Tribes in East Africa. JRAI. Vol. 45, 1915, S. 234—306.

Dundas, Ch., Kilimanjaro and its People. London, 1924.

Gutmann, B., Dichten und Denken der Dschagganeger. Beiträge zur ostafrikanischen Volkskunde. Leipzig, 1909.

Gutmann, B., Das Recht der Dschagga. Arbeiten zur Entwicklungspsychologie, hsg. von F. Krueger, VII. München, 1926.

Häflinger, O., Land und Leute von Ungoni. o. O. 1901.

Hetherwick, A., Some Animistic Beliefs of the Yaos. JRAI. Vol. 32, 1902, S. 89—95.

Hirschberg, W., Der Ahnencharakter des afrikanischen Schwirrholzes. Ethnos, Bd. 5. Stockholm, 1940. S. 112—121.

Hobley, C. W., Ethnology of A-kamba and other East African Tribes. Cambridge, 1910.

Hobley, C. W., Bantu Beliefs and Magic. London, 1922.

Hofstra, S., Differenzierungserscheinungen in einigen afrikanischen Gruppen. Amsterdam, 1933.

Höltker, G., Der Donnerkeilglaube vom steinzeitlichen Neuguinea aus gesehen. AT. Bd. 1, 1944. S. 30—51.

Huntingford, G. W. B., Miscellaneous Records relating to the Nandi and Kony Tribes. JRAI. Vol. 57, 1927, S. 417—461.

Johnston, H. H., Der Kilima-Ndjaro. Leipzig, 1884.

Johnston, H. H., British Central Africa. London, 1897.

Johnstone, H. B., Notes on the Customs of the Tribes occupying Mombasa Sub-District. JRAI. Vol. 32, 1902, S. 263—272.

Karasek, A.—Eichhorn, A., Beiträge zur Kenntnis der Waschambaa. BA. Bd. 1, 1911, S. 155—222; Bd, 3. 1913, S. 69—131; Bd. 7, 1918—1922, S. 56—98; Bd. 8, 1923—1924, S. 1—53.

Koritschoner, H., Some East African Native Songs. Tanganyika Notes and Records, No. 4. Daressalam, 1937. S. 51—64.

Kotz, E., Im Banne der Furcht. Hamburg, 1922.

Krapf, J. L., Reisen in Ostafrika. Bd. I—II. Stuttgart, 1858.

Lagercrantz, S. Der Donnerkeil im afrikanischen Volksglauben. EtnStud., Bd. 10, 1940. S. 1—40.

Leeuw, G. van der, Phänomenologie der Religion. Tübingen, 1933.

Lindblom, G., The Akamba in British East Africa. Upsala, 1916.

Livingstone, D., The Last Journals of — in Central-Africa from 1865 to his Death. London, 1880.

Marót, K., Die Trennung von Himmel und Erde. Acta Antiqua Acad. Scient. Hung. vol. 1. Budapest, 1951, S. 35—66.

Meinhof, C., Grundzüge einer vergleichenden Grammatik der Bantusprachen. Berlin,1906.

Merker, M., Rechtsverhältnisse und Sitten der Wadschagga. Petermanns Geographische Mitteilungen, Ergänzungsheft 138. Gotha, 1903.

Murphy, J. H. B., The »Kithitho« at Mivukoni, Mumoni District, Kenya Colony. Man, vol. 26. London, 1926, No. 135.

Preuss, K. Th., Die Hochgottidee bei den Naturvölkern. Afr., Vol. 4, 1931, S. 287—301.

Raum, J., Über angebliche Götzen am Kilimandscharo, nebst Bemerkungen über die Religion der Wadschagga und die Bantuneger überhaupt. Globus, Bd. 85. Braunschweig, 1904, S. 101—105.

Raum, J., Versuch einer Grammatik der Dschaggasprache (Moschi-Dialekt). Archiv für das Studium deutscher Kolonialsprachen, Bd. 11. Berlin, 1909.

Raum, J., Die Religion der Landschaft Moschi am Kilimandjaro. AfRelwiss., Bd. 14, 1911.

Róheim, G., A varázserő fogalmának eredete. (Der Ursprung des Begriffes Zauberkraft. Ungarisch). Budapest, 1914.

Schebesta, P., Die religiösen Anschauungen der Asena. BiblAfr., Bd. 3, 1929, S. 1—10.

Schebesta, P., Vollblutneger und Halbzwerge. Salzburg-Leipzig, 1934.

Scheerder, P.—Tastevin, C.: Les Wa lu guru. Anthr., Bd. 45, 1950. S. 241—286.

Schmidt, W., Der Ursprung der Gottesidee. Bd. I.² Münster i. W., 1926.

Schulien, M., Opfer und Geburt bei den Atschwabo in Portugiesisch-Ostafrika. In: Festschrift für P. W. Schmidt, Wien, 1928, S. 655—676.

Schwanhäusser, H., Das Seelenleben der Dschagganeger. Diss. Amorbach, 1910.

Seidel, A. Grammatik, der Sprache von Irangi nebst Wörterverzeichnis. In: *Werther, C. W.*, Die mittleren Hochländer des nördlichen Deutsch-Ost-Afrikas. Berlin, 1898.

Spiess, C., Zaubermittel der Evheer in Togo. Globus, Bd. 81. Braunschweig, 1902, S. 314—320.

Stannus, H. S., Notes on Some Tribes of British Central Africa. JRAI. Vol. 40, 1910, S. 285—335.

Storch, Lt., Sitten, Gebräuche und Rechtspflege bei den Bewohnern Usambaras und Pares. Mitteilungen aus den deutschen Schutzgebieten, Bd. 8. Berlin, 1895, S. 310—331.

Stuhlmann, F., Handwerk und Industrie in Ostafrika. Abhandlungen des Hamburgischen Kolonialinstitutes, Bd. 1. Hamburg, 1910.

Tastevin, C., La notion de l'énergie primordiale, mana, chez les Noirs d'Afrique. JSA. T. 10, 1940, S. 196—197.

Tew, M., Peoples of the Lake Nyasa Region. Ethnographic Survey of Africa. Ed. by *D. Forde*. East Central Africa, Part 1. London-NewYork-Toronto, 1950.

Thomé, P., Die Götzen am Kilimandscharo. Globus, Bd. 83. Braunschweig, 1903, S. 231—235.

Thurnwald, R., Stichwort »Mana«. In: *M. Ebert*, Reallexikon der Vorgeschichte, Bd. 8. Berlin, 1927.

Thurnwald, R., Neue Forschungen zum Mana-Begriff. AfRelwiss., Bd. 27, 1929, S. 93,

Torrend, J., A Comparative Grammar of the South African Bantu Languages. London, 1891.

Werner, A., The Natives of British-Central-Africa. London, 1906.

Werner, A., The Bantu Coast Tribes of the East African Protectorate. JRAI. Vol. 45, 1915, S. 326—354.

Weule, K., Wissenschaftliche Ergebnisse meiner ethnographischen Forschungsreise in den Südosten Deutsch-Ostafrikas. Mitteilungen aus den Deutschen Schutzgebieten, Ergänzungsheft No. 1. Berlin, 1908.

Wölfel, D. J., Die Hauptprobleme Weissafrikas. AfAnthr., Bd. 27, 1942, S. 89—140.

Zerries, O., Das Schwirrholz. Studien zur Kulturkunde, Bd. 7, Stuttgart, 1942.

NUNGU В ОКРЕСТНОСТЯХ КИЛИМАНДЖАРО ИСТОЛКОВАНИЕ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ИСТОРИИ КУЛЬТА

Л. Вайда

РЕЗЮМЕ

Слово ***nungu***, наименование магических средств порчи (колдовства) у племен джагга, живущих в окрестностях Килиманджаро (Восточная Африка), в современном языке обозначает горшок. Форма этих орудий или антропоморфная или же похожая на маленькую посуду. Анализируя явления, связанные с ними, автор приходит к следующим выводам:

1. Слово ***nungu***, наименование орудий порчи у джагга, первоначально обозначало общую магическую силу.

2. Эта общая магическая сила, как идея — в весьма различных формах конкретизации — обнаруживается на больших территориях Восточной Африки. При персонификации она превратилась в идею творческой силы, в идею предков или в идею сил, связанных с землей. Путем непосредственной ассоциации она вошла как наименование в гончарную работу.

3. Божества ***Mulungu*** в Восточной Африке (как персонификация безликого ***mulungu*** = ***nungu***) и ***Kalunga*** в Западной Африке — имеющее значение ***»Hochgott«*** (как персонификация идеи ***kalunga***, по всей вероятности и этимологически связанной с ***mulungu***) предположительно связаны друг с другом.

4. Сила действия ***nungu*** у джагга — это какой-то флюид, вроде огня; его идея возникла в родовом строе, под воздействием неразрывно связанных сил власти предков с одной стороны и престижа родовых руководителей, происходящего из иррационально истолкованных подвигов.

5. Есть доказательство о том, что до божества ***»Hochgott«*** ***(Iruva)*** у племен джагга существовало понятие божества ***Kyumbi***. Остается открытым вопрос, вытеснило ли оно раннего, только предполагаемого ***»Hochgott« Mulungu-Nungu***, или же верование в безликую колдовскую силу ***(mulungu-nungu)*** существовало одновременно с ***Kyumbi***.

6. В развитии форм орудий порчи у джагга, самую старую ступень представляют перфорированные камни. Начавшаяся изображением половых органов, способствующих излучению силы, антропоморфизация этих камней игрово-магическим путем создала *nungu* из глины, имеющее форму человека.

7. Орудие порчи формы горшка представляет собой последнюю ступень развития. Это является народно-этимологическим »исправлением« названия *nungu*, первоначальное значение которого стерлось.

8. Схема на стр. 205 показывает вероятное развитие между самой старой (камень) и самой новой (горшок) ступенями. Решить этот вопрос можно будет лишь после сравнительного исследования соответствующих идей и объектов у племен камба, кикую, паре, тейта, шамбала и т. п.



Abb. 1. Fluchpuppe. Kilimandscharo. Inv. Nr. 53673

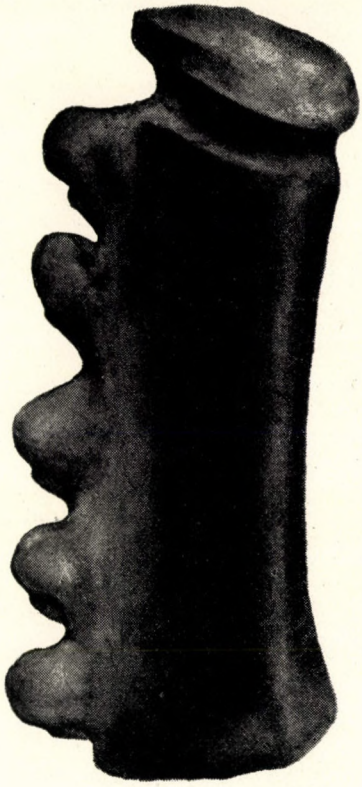


Abb. 2. Fluchpuppe. Kilimandscharo. Inv. Nr. 53675

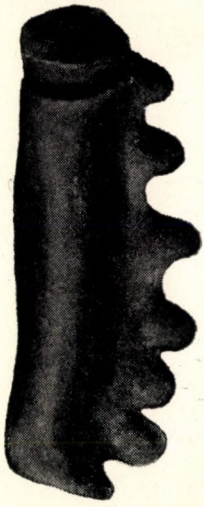


Abb. 3. Fluchupppe. Kilimandscharo. Inv. Nr. 53674

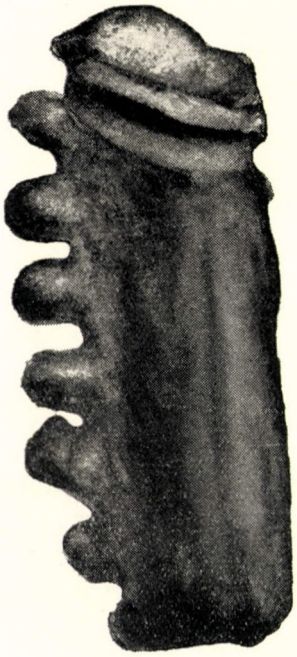


Abb. 4. Fluchpuppe. Kilimandscharo. Inv. Nr. 53681

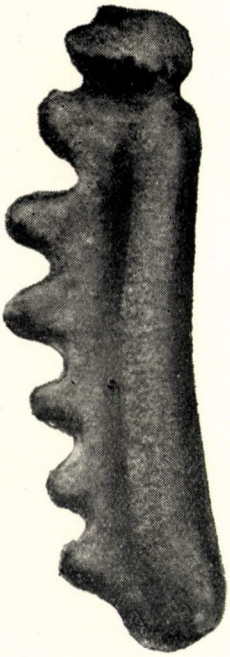


Abb. 5. Fluchpuppe. Kilimandscharo. Inv. Nr. 53676

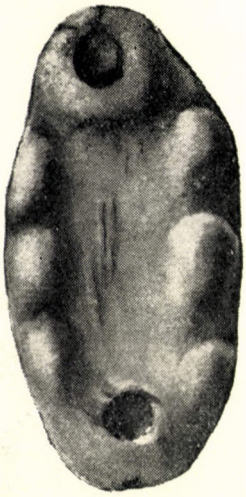


Abb. 6. Fluchpuppe. Kibosho. Inv. Nr. 53704

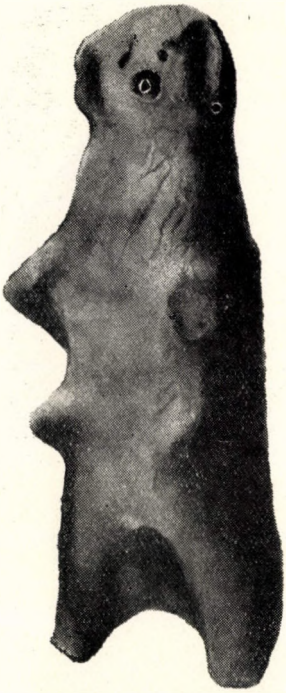


Abb. 7. Fluchpuppe. Kilimandscharo. Inv. Nr. 53679

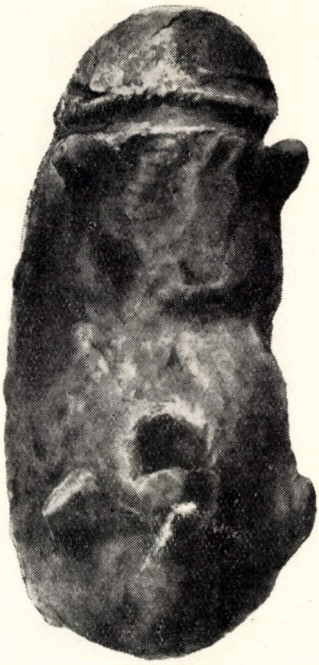


Abb. 8. Fluchpuppe. Kilimandscharo. Inv. Nr. 53694

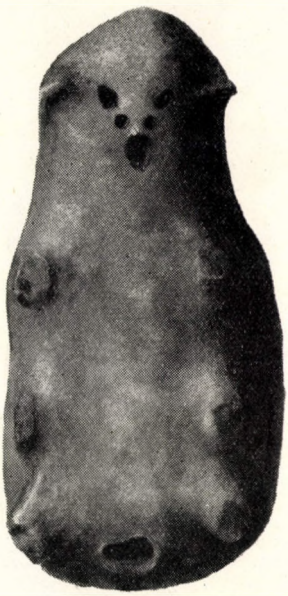


Abb. 9. Fluchpuppe. Kilimandscharo. Inv. Nr. 53680



Abb. 10. Fluchpuppe. Kilimandscharo. Inv. Nr. 53693



Abb. 11. Fluchpuppe. Kilimandscharo. Inv. Nr. 53682



Abb. 12. Fluchpuppe. Kilimandscharo. Inv. Nr. 53684

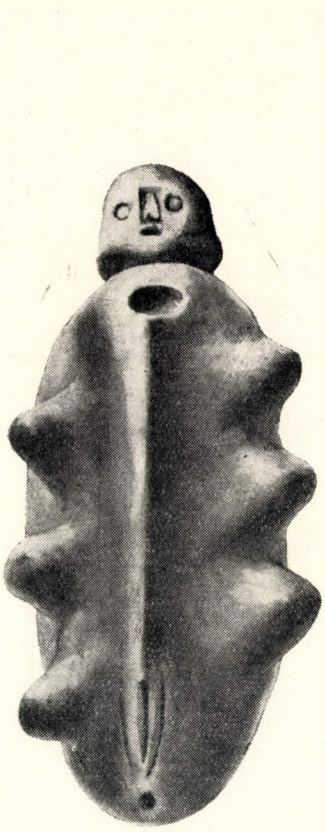
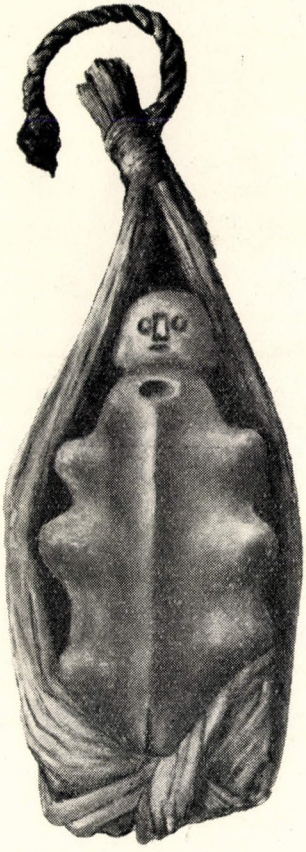


Abb. 13. Fluchpuppe. Kilimandscharo. Inv. Nr. 53697



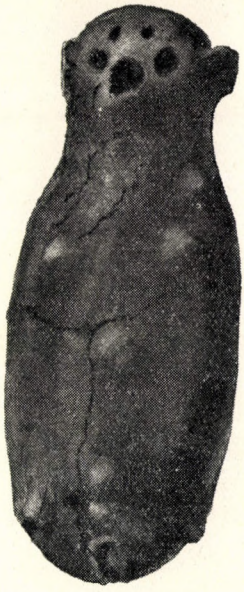


Abb. 14. Fluchpuppe. Kibosho. Inv. Nr. 53695

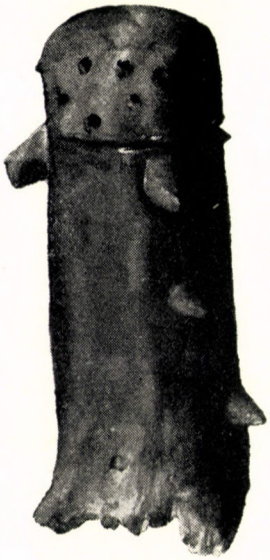


Abb. 15. Fluchpuppe. Kilimandscharo. Inv. Nr. 53 691



Abb. 16. Fluchpuppe. Kilimandscharo. Inv. Nr. 53 688



Abb. 17. Fluchpuppe. Kilimandscharo. Inv. Nr. 53 701



Abb. 18. Fluchpuppe. Kilimandscharo. Inv. Nr. 53 692



Abb. 19. Fluchpuppe. Kilimandscharo. Inv. Nr. 53 699

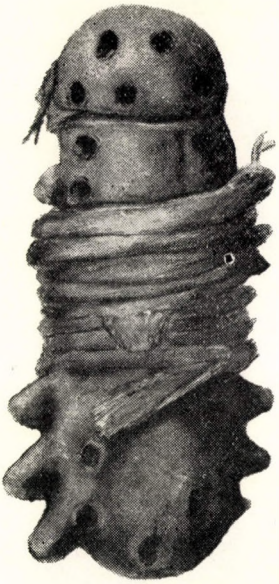


Abb. 20. Fluchpuppe. Kibosho Inv. Nr. 53 698



Abb. 21. Fluchpuppe. Kibosho. Inv. Nr. 53 683



Abb. 22. Fluchpuppe. Kilimandscharo. Inv. Nr. 53 677



Abb. 23. Fluchpuppe. Kilimandscharo. Inv. Nr. 53 678



Abb. 24. Fluchpuppe. Kilimandscharo. Inv. Nr. 53 696



Abb. 25. Fluchpuppe. Kilimandscharo. Inv. Nr. 53 685

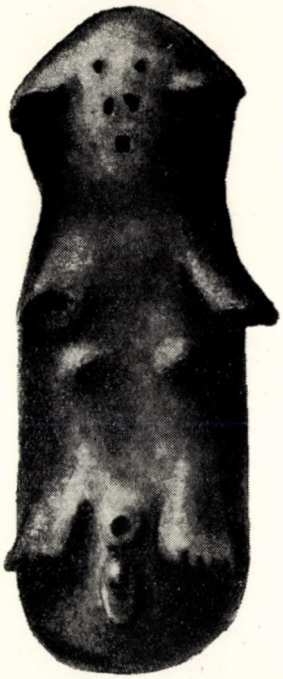


Abb. 26. Fluchpuppe. Kilimandscharo. Inv. Nr. 53 687



Abb. 27. Fluchpuppe. Uru. Inv. Nr. 53 702



Abb. 28. Fluchpuppe. Kilimandscharo. Inv. Nr. 53 686



Abb. 29. Fluchpuppe. Kilimandscharo. Inv. Nr. 53 703



Abb. 30. Fluchpuppe. Kilimandscharo. Inv. Nr. 53 690



Abb. 31. Fluchpuppe. Kilimandscharo. Inv. Nr. 53 700



Abb. 32. Fluchtopf. Kilimandscharo. Inv. Nr. 53 706



Abb. 33. Fluchtopf. Kilimandscharo. Inv. Nr. 53 705



Abb. 34. Fluchtopf. Kilimandscharo. Inv. Nr. 53 707



Abb. 35. Fluchtopf. Kilimandscharo. Inv. Nr. 53 708



Abb. 36. Fluchtopf. Kilimandscharo. Inv. Nr. 53709



Abb. 37. Fluchtopf. Kibosho. Inv. Nr. 54259

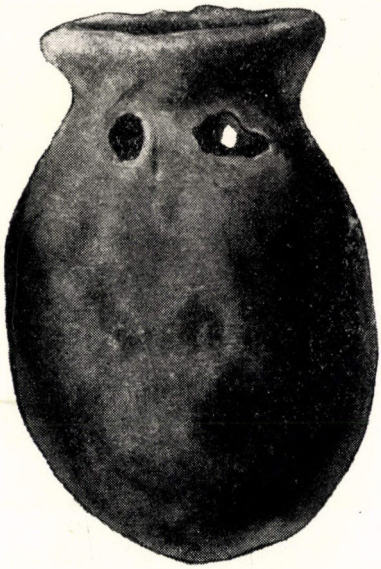


Abb. 38. Fluchtopf. Kibosho. Inv. Nr. 54261

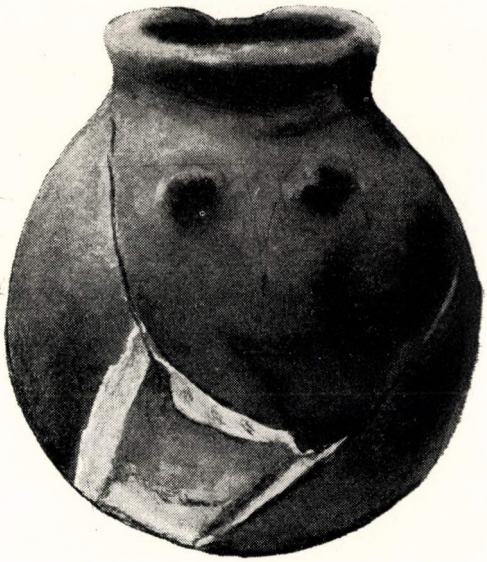


Abb. 39. Fluchtopf. Kibosho. Inv. Nr. 54260

ЯНОШ КСАНТУС

ИШТВАН ШАНДОР

Этнографической Музей, Будапешт

1. Цель и задача исследования

Основоположник и первый кустос Этнографического Музея в Будапеште, Янош Ксантус принадлежит к ряду скитавшихся по белу свету венгерских патриотов, которые после неудачной освободительной войны Венгрии 1848—49 г., эмигрировав за границу, несмотря на тяжелую борьбу за существование, достигли замечательных жизненных успехов и приобрели неувядаемую славу и всеобщее уважение. Этим сыном Венгрии, получившим свое образование по естествоведению не на своей родине, а в Новом Свете, было решено немало естествоведческих вопросов, открыто немало неисследованных территорий Америки, поэтому совершенно не удивительно, что его имя стало более и ранее популярным в Америке, нежели в Венгрии. Возвратившись, он проявил и у себя на родине многогранную и кипучую деятельность.

Ксантусу многим обязана венгерская этнография. Благодаря его хлопотам, была приобретена ценная дальневосточная коллекция, положенная в основу Этнографического Музея в Будапеште.[1] Он собрал первую коллекцию памятников венгерской крестьянской культуры,[2] организовал первые этнографические выставки в Венгрии и был фактотумом венгерской этнографии впредь до появления Отто Германа.[3] Бессмертных произведений после него, к сожалению, не осталось, но будучи гениальным организатором и коллекционером крупного масштаба он оставил после себя целый ряд важных учреждений. В виде частного предприятия им создан Зоологический Сад в Будапеште. Его американские и азиатские коллекции были положены в основу Общегосударственного Естественно-научного Музея, а его коллекция южноазиатских рукописей и книг хранится как высокоценный депозит в Музее Восточно-азиатского Искусства. Коллекция венгерской кустарной промышленности, собранная Ксантусом для мировой

[1] Mocsáry, 1899, 16.
[2] Sándor, 1953,
[3] Sándor, 1951, 223—242.

выставки в 1873 г., послужила исходным пунктом для создания Музея Прикладного Искусства в Будапеште и даже в Венгерском Историческом Музее часто встречаются таблички, прикрепленные к экспонатам, с надписью: »из коллекции Яноша Ксантуса«.

По своей многосторонней и значительной деятельности Ксантус является одним из последних венгерских полигисторов, о творениях которого больше писалось в заграничной научной литературе, нежели в венгерской. Это объясняется главным образом тем, что его деятельность оценивалась в Венгрии слишком односторонне, а его портрет был изображен поверхностными чертами наивного романтизма. Он считался прежде всего героем освободительной войны, возглавленной Кошутом, и мучеником, преследуемым австрийским деспотизмом после капитуляции возле Вилагоша, затем членом эмиграции, от которой в свое время ожидалось освобождение нации Заброшенный в далекие страны чужих материков, он признавался покровителем угнетенных колониальных народов, равно как и ученым-путешественником, исследователем экзотических стран, выбравшимся из полной неизвестности и достигшим всемирной славы. Да, все это верно и безусловно составляет положительную сторону его жизни. Но при обрисовке его действительного портрета нельзя забывать ни о его ожесточенной борьбе за самое скромное существование, ни о его неуклюжей ловкости в добывании насущного хлеба. При виде достигнутых им успехов, выдерживающих самую строгую критику, нельзя забывать о его некритичностях, дешевых литературных приемах и даже о его трудах, граничащих с плагиатом. И это было вполне естественно в классическую эпоху свободной конкуренции капитализма. Мы знаем, что трактуя о деятельности Ксантуса, критика оказывается необходимой, потому что только она может показать нам, сколько должно быть отнесено из его шарлатанства и авантюризма на счет эпохи и окружающей среды, и до какой степени способствовали его деяния развитию науки и прогрессу. Насколько односторонними являются романтические взгляды, превознесшие Ксантуса до небес, настолько односторонним было и стремление Г. М. Маддена оценить деятельность Ксантуса не на базе его творчества и положительных черт его характера, а на основании его недостатков и пороков, с полным пренебрежением условий тогдашней общественной жизни.[4]

После того как член-корреспондент Л. Мочари посвятил памяти Ксантуса речь на одном из заседаний АН Венгрии в 1898 году, его деятельность описывалась не в подробных монографиях, а только в популярных брошюрах, не опиравшихся на самостоятельные исследования. При таких условиях совсем не удивительно, что не были использованы ни его манускрипты, ни материал опубликованных в периодиках статей о его восточно-

[4] Madden, 1949.

и южноазиатских экспедициях. Биографы Ксантуса не уделили никакого внимания богатому архивному материалу, о деятельности венгерского ученого, хранящемуся в разных научных институтах Америки, несмотря на то, что он содержал много новых точек зрения для переоценки взглядов, относящихся к его личности и деятельности. Пренебрежение этим материалом облегчило возникновение одностороннего взгляда Маддена, установления которого должны быть модифицированы во многих пунктах, с учетом данных отечественных источников. Наконец, отнюдь не была сделана еще попытка для выяснения вопроса, каким образом бывший участник освободительной войны, затем дезертир австрийской императорской армии во время своей европейской эмиграции вступил в сношения с международным рабочим движением.

В нижеследующем мы желаем дать по меньшей мере беглый отчет о наших, основанных на упомянутых источниках исследованиях, имеющих целью модифицировать и дополнить картину, нарисованную Мадденом, равно как и указать на причины, толкнувшие Ксантуса войти в контакт с международным рабочим движением.

2. Молодость Ксантуса

Свою иноязычную фамилию Ксантус унаследовал от своих секейских предков. Насколько ему было известно, его предки прибыли из Греции в Трансильванию, что подтверждается и происхождением его фамилии. Но в родовых грамотах он фигурировал не как член иммигрантской семьи, а как потомок древнего секейского рода, пользовавшийся дворянским званием (родовым именем —»Чик-тапольцаи«) на основании права, унаследованного еще от первых секейских завоевателей страны.[5] Исходя из этого, мы можем предполагать, что окончание фамилии — характерное творение эпохи гуманизма. Семья Ксантуса играла известную роль в истории Трансильвании, начиная от XVI столетия.[6] Его отец Игнац Ксантус, родившись в старом гнезде семьи в 1788 году, по окончании университета, стал юрисконсультом графов Сеченьи, вследствие чего он был вынужден переселиться в Трансданубию.[7] Его способности обратили на себя внимание самого выдающегося венгерского реформатора двадцатых годов прошлого столетия-Стефана Сеченьи, вступившего именно в это время в общественную жизнь Венгрии и стремившегося дополнить свое образование специфическими элементами венгерской культуры. Долгое время, вплоть до 1832 г. Игнац Ксантус обучал »величайшего венгра« юридическим и политическим наукам, венгерскому и латинскому языкам, будучи его учителем, секретарем и совет-

[5] Сообщение геолога Я. Ксантуса (Клуж, Румыния) на основании семейных документов.

[6] Endes, 1938, 35.

[7] Szólás, 1942, 159.

ником по политическим делам, а также и первым рецензентом его литературных произведений. В доносах секретных агентов венского двора указывается, что кроме Павла Надь и Николая Вешеленьи также и И. Ксантус оказывал большое влияние на Сеченьи в усвоении радикально-прогрессивных взглядов венгерского мелкого дворянства.[8]

Жена Игнаца Ксантуса, Терезия Вундерлих (1807—1877) родилась в с. Бербальтавар комитата Ваш. Он случайно познакомился с 16 летней девушкой, дочерью агронома, и после некоторого промедления женился на ней. Она была не только домовитой, но и очень образованной женщиной, пространные письма которой, написанные бойким пером, обнаруживают необычайно широкий кругозор. Их семейная жизнь началась в имении Стефана Сеченьи, в Чоконье (ком. Шомодь) — вцентре помещичьего правосудия, где находилась и тюрьма для приговоренных помещичьим судом крепостных крестьян. Новобрачные быстро вошли в жизнь провинциальной интеллигенции Южной Трансданубии, не только благодаря родственным связям, но и вследствие организаторской деятельности молодого мужа, создавшего — следуя примеру Сеченьи — казино в городе Капошвар. Это, конечно, значительно оживило активность доносчиков Вены.[9]

В этой обстановке родился их первый сын, Янош, 5 октября 1825 г., а спустя несколько лет, и их дальнейшие дети, Дьюла и Амалия.[10] Дети, повидимому, учились большей частью заочно, но возможно, что в первые учебные годы они ходили и в местную школу, в с. Чоконье. Печ и — под влиянием семейных традиций — Варажд были городами, где Янош Ксантус продолжал свое учение, но один год провел и в гимназии г. Дьёр. В г. Печ прослушал также и курс юридических наук.[12]

Окончив названный курс в 1845 году, как виценотариус сыграл значительную роль в общественной жизни комитата Шомодь. Спустя год, он переехал в Пешт для юридической практики и, выдержав экзамен на адвоката, получил диплом в 1847 году.[13]

Переживания, сохранившиеся в памяти с ранних лет юношества, укрепляли его авантюризм и обострили его этнографические и естественно-научные интересы, равно как и его пристрастие к охоте, столь характерное для провинциальной интеллигенции.[14] Рано появились и первые следы его научной и коллекционерской амбиции : в 1844 году собрал гро-

[8] Bártfai Szabó, 1926, 171—173., 202—204.; Széchenyi, 1889, 77.; Széchenyi, 1926, LXXVII, CXXVII.; Széchenyi, 1934, 665.

[9] Széchenyi, 1932, 772 ; приведенные данные взяты из сообщения Марии Ксантус (Дьёр), равно как и из метрической книги католической церкви в Бербальтаваре.

[10] См. записи метрической книги католической церкви в Чоконье—Вишонте.

[11] Сообщения Марии Ксантус.

[12] См. метрическую книгу гимназии бенедиктинского ордена в г. Дьёр из 1841—1842 уч. г.; Szólás, 1942, 158.

[13] Szólás, 1942, 158—159.

[14] Sándor, 1951, 223—224.

мадный материал истории семейства Сеченьи для семейного архива, находящегося в г. Шопроне,[15] а в 1845 году написал статью, посвященную этногенезу цыган, в которой вслед за Домени де Риенци (**Domeny de Rienzi**) обработал современную литературу вопроса, с дополнением результатов собственных наблюдений, произведенных в цыганских селениях, находившихся в побережных лесах р. Дравы. Статья была опубликована в 1848 году в журнале **»Hon és külföld«** (= Родина и зарубежье).[16]

События венгерской революции и освободительной войны выбили из колеи молодого провинциала. Восприимчивый к прогрессивным идеям молодой человек — под влиянием событий — присоединился к движению Кошута, с полной готовностью вступить в борьбу с угнетательницей венгерского народа, Австрией.

События венгерской революции застали Ксантуса дома. Летом 1848 г., под влиянием первых слухов о брожении в пограничной зоне сербского населения, он поступил в национальную милицию в Чоконье, но услышав, что войска Еллашича вторглись на территорию Венгрии, отправился в столицу и встал в ряды венгерской артиллерии, уведомив об этом своих родителей только позднее. Будучи сержантом артиллерии, он принял участие в битве под Пакоздом 29 сентября 1848 г. Благодаря отличной боеспособности молодой венгерской артиллерии, битва закончилась венгерской победой.[17] Так как младший брат Ксантуса, Дьюла находился под ружьем в г. Комаром, для совместного служения с ним он обратился к начальству с просьбой о назначении его в названную крепость.[18] Перевод состоялся в батальон инфантерии № 46, где в скором времени его произвели в старшие лейтенанты, но при разведке 8 февраля 1849 г. в окрестностях г. Эршекуйвар он попал в плен. Австрийцы лишили его знаков отличия, разорвали его форменную одежду и, несмотря на зимнее время, пешком отправили в г. Пожонь. Сильно простудившись он слег в больницу, откуда перевели его в Кёниггрец, в тюрьму военнопленных. После полной победы реакции, после печальных происшествий у Вилагоша и в Араде, »гиена из **Brescia**«, Гайнау — в довершение дела мести — перевел венгерских воинов в австрийскую армию без чинов и званий. В качестве рядового солдата был переведен и Ксантус в пильзенский полк имени Хевенхюллер—Меч (**Khewenhüller—Metsch**). Его мать, не останавливаясь перед расходами, прилагала все старания для освобождения сына от военной службы. Ее старания в конце концов увенчались успехом, так как после долгих хлопот и, очевидно, при гомоши придворных связей семьи Сеченьи ей удалось добиться увольнения сына от службы, освободившись от которой,

[15] **Bártfai Szabó**, 1926, 57.
[16] **Xántus**, 1848.
[17] **Mocsáry**, 1899, 2; **Vajda** 1951, 105.
[18] Сообщение Марии Ксантус.

он не возвратился на родину, а поехав в Дрезден, вступил в сношения с венгерскими эмигрантами. Затем выехал в Прагу для передачи друзьям сведений, приобретенных в эмигрантских кругах. Венские агенты следили за каждым шагом Ксантуса и однажды, когда он вошел в отель, в котором проживал, был арестован. Его лишили прав на производствои, строго наказав, отправили обратно к своему бывшему полку, гарнизон которого находился уже в г. Аусиг. В то время он не имел даже права покидать казарму без конвоя. Но получив паспорт, гражданское платье и деньги от своих приятелей, в один прекрасный день июня 1850 г. Ксантус дезертировал из армии австрийского императора после девятимесячной службы.[19] Потрепанный ночной бурей, он пешком добрался до Тетшена и на одном берлинском пароходе, нагруженном фруктами, перебрался через саксонскую границу. В Гамбурге капитан парохода, идущего в Англию, ангажировал его в качестве матроса. Так он попал в Лондон, по всей вероятности, во второй половине 1850 г.[20] Некоторое время он был физработником, но его закаленный организм, упорное прилежание и настойчивость, равно как и его талант к рисованию и умение играть на рояле помогли ему преодолеть все невзгоды первого времени. В Лондоне он научился говорить по-английски и приобрел некоторые познания даже в испанском языке. Знание названных языков значительно поспособствовало его заграничной карьере. Его предприимчивость помогла ему посетить также и Францию и Бельгию в 1851 году — читается в его первой, до некоторой степени достоверной биографической справке.[21] Судя по корреспонденциям, написанным для газеты »Magyar Hírlap« (= Венгерская газета), эти поездки совершались во второй половине 1852 г.[22]

Период пребывания Ксантуса в Западной Европе был полон драматическими событиями в европейской политике. В первые дни 1851 г. австрийские войска вошли в Гольштейн через Гамбург, а в декабре того же года Наполеон III путчем создал вторую французскую империю. Эмигранты, выехавшие за границу после потери венгерской освободительной войны, были принуждены покинуть свои прежние убежища, потому что они не чувствовали себя в безопасности. Это относилось и к Турции, откуда Кошут и его друзья переехали в Западную Европу. В конце концов Англия оказалась единственным местом в Европе, где в это время, в эпоху либерального капитализма могли найти убежище преследуемые лица и эмигранты всех прогрессивных движений.

Идеи независимости, с энтузиазмом проповедываемые Ксантусом, обратили на себя внимание еще во время пребывания его в Дрездене,[23]

[19] Saly, 1859, 218; Mocsáry, 1899, 3.; Wurzbach, 1890, 59. k. 50—52.
[20] Mocsáry, 1899, 3.; Wurzbach, 1890, 50.
[21] Saly, 1859, 218.
[22] Magyar Hírlap, 1852, 3129.
[23] Wurzbach, 1890, 50.



Рис. 1. Ксантус в 1849 году. (Кёниггрец, в тюрьме венгерских военнопленных. Акварель. В коллекции манускриптов Общегосударственной Библиотеки им. Сеченьи. под № Oct. Hung. 433.)

но с тех пор как он переехал в Лондон и заключил тесную дружбу с. Э. Шимоньи, он поддерживал сношения не только со своими соотечественниками, проживавшими в эмиграции, но и с революционными кругами французской, итальянской, немецкой и польской эмиграции, в рядах которой находились такие выдающиеся личности, как Виктор Гюго, Луи Блан (**Louis Blanc**), Маццини и т. п. Из сообщения его первой жены известно, что именно в это время Ксантус связался с рабочим движением. »Он был учителем, журналистом, работником, ходил с Марксом на митинги и взял на себя миссию осуществить государство утопии.«[24] Еще яснее видно это стремление из статьи газеты Ф. Силадьи в **»Magyar Hírlap«**, написанной о социалдемократическом банкете, устроенном 24 февраля 1851 г. в память Парижской февральской революции, на котором участвовало 960 лиц. В драпированном красными тканями зале, в котором вывешенный траурный флаг напоминал присутствующим о потере освободительной войны Венгрии, под председательством французского утописта Луи Блан выступило 49 ораторов, в том числе вышеупомянутый Э. Шимоньи и Ксантус. В раскаленной атмосфере банкета »представители всех наций провозгласили отказ от прав собственности« и подчеркнув, что »освобождение того или другого народа немыслимо без освобождения всех других«, они поставили себе задачей содействовать проведению »всеобщей революции в целях создания социалдемократической республики во всей Европе.«[25]

В начале следующего года, Ксантус — под влиянием Кошута — отвернулся от утопистических иллюзий всемирной революции и возвратился к своим реальным политическим идеям, которые возникли еще во время борьбы за независимость Венгрии, а затем развивались согласно констелляции европейской и всемирной политики Об этом свидетельствует факт, что он подписал декларацию о приверженности Кошуту 19 февраля 1852 г.[26]

Память о его пребывании в Лондоне сохранилась и в его »Письмах из Лондона«, отмеченных знаком x или X, опубликованных большей частью в первых месяцах 1852 г. в газете **»Magyar Hírlap«**. В этих письмах, число которых доходит до 20, описаны важнейшие события не только английской политики, не только культурной жизни, но и рабочего движения. Кроме того, упомянуты также и воспоминания автора, относящиеся к родному краю, комитату Шомодь, сообщены различные естествоведческие наблюдения, новинки разных экспедиций и иногда даже и происшествия в эмихграции.[27]

[24] **Pásztor, 1923** (на основании устного сообщения первой жены Ксантуса).
[25] **Magyar Hírlap, 1851, 1794,; Eötvös, 1901, 96—98.**
[26] **Jánossy, 1940—1948.; Vajda, 1951, 105—108.**
[27] О пребывании Ксантуса в Лондоне несколько замечаний читается у **Pulszky** ук. соч. 15.

3. В Америке

5 мая 1852 г. Ксантус отправился в Америку. Он высадился в Нью Йорке, куда по окончании своего американского турне прибыл и Кошут, пробывший там вплоть до 15 июля, и в первый раз посетил могилу Вашингтона. Ксантус не мог считаться с поддержкой со стороны венгерских эмигрантов, так как они не имели организации подобно лондонской.[28] Неизвестно, сколько времени провел он в Нью Йорке, но что его фамилия не значится в списках венгров, проживавших там в 1852 году, является фактом.[29] В конце года он работал уже чертежником в одном предприятии по железнодорожному строительству к западу от г. Сент-Луис (Saint Louis).[30] В марте 1853 г. он переехал в Новый Орлеан (New Orleans), где много страдал от желтой лихорадки, и оставался в городе или же в окрестностях его вплоть до середины 1854 г. »Новый Орлеан является тем местом в свободных штатах, где скоро можно нажить капитал« — подчеркивает он в письме, написанном к матери.[31]

Со своим гуманистическим и юридическим образованием Ксантус не мог ужиться с условиями жизни Нового Света, и его знание языков и способности к рисованию и музыке тоже мало помогали ему в добывании средств к жизни. Он занимался всем, что попало. Был разносчиком газет, продавцом в магазине, букинистом, аптекарем и даже »поденщиком, работавшим в канале, стоя по пояс в воде«.[32]

Вырвавшись из этого положения необеспеченного существования, летом 1854 г. Ксантус поехал в южную часть штата Айовы, в селение фермеров, бывших венгерских эмигрантов.[33] Еще в Новом Орлеане завязал он сношения с венгерскими эмигрантами, в часности с Анталом Валлаш.[34] Из фермеров, проживавших в Айове, чаще всего упоминает он о бывшем вицегубернаторе комитата Торонталь, а затем председателе сегедского революционного суда Кошута, Ференце Варга, равно как о его старом знакомом из комитата Шомодь, бывшем начальником полиции города Комаром, позднее консулом США в России, Дьёрдь Помуц. У них провел он наибольше времени, проживая в »Новом Араде«, в четырех милях от города Фэрвью (Fairview), в окрестностях реки Томпсон (Thompson), помогая им в полевых работах. Побывал и в »Новой Буде«, где он посетил бывшего министра внутренних дел правительства Кошута, Ласло Мадарас. Последний продал Ксантусу часть своего имения, с разрешением записать проданные земли на его имя, но только для вида, чтобы владеть имением

[28] Jánossy, 1940—1948; Kende, 1927, 77—100.
[29] Kende, 1927, 259—260.
[30] Xántus, 1857, 7—14.
[31] Xántus, 1857, 26—29, 36.
[32] См. статью анонимного автора в »Vasárnapi Ujság« 1862, стр. 61.
[33] Xántus, 1857, 36—51.; Kende, 1927, 155—163, 207—226, 240, 273—274, 341—342.
[34] Xántus, 1875, 2.

выше допущенного лимита. Возникшие из этой »сделки« ссоры и процессы свидетельствуют о том, что Ксантус не оставил по себе хорошего воспоминания среди своих соотечественников, подобно его приятелю Дьёрдь Помуц, судебные процессы которого с эмигрантами »Нового Арада« также хорошо известны.[35]

Год, проведенный в венгерском селении штата Айовы, не внес желаемого изменения в судьбе Ксантуса и в последних числах августа 1855 г. он остался вновь одиноким в муравейнике авантюристов Нового Света без заработка и всяких перспектив на будущее. Он попробовал достать себе место в Сент-Луисе, но когда его попытки закончились неудачей, в полнейшем отчаянии он решился на отчаянный шаг : 24 сентября вступил в американскую армию как »private soldier«, расписавшись на вербовочном листе под псевдонимом »Вешеи« (Vésey), заимствованным от своих родственников из комитата Шомодь.[36] Этот псевдоним, равно как и обьяснения Ксантуса к названному шагу ясно показывают, как думал он о своем поступке.

Американская армия в то время была до некоторой степени таким же убежищем для отщепенцов общества, как и французский иностранный легион. Шаг Ксантуса означал отказ от всяких мечтаний юных лет, от свободной жизни, от соответствующей образованию карьеры, от приличного общества. Странно, что именно этот шаг вызвал поворот в его жизни и дал возможность вписаться своим трудом в историю наук.

Направившись вверх по течению рек Миссисипи и Миссури, он прибыл в г. Канзас, откуда переправился верхом в Форт Райли (Fort Riley), где находился первый эскадрон драгунского полка № II. Разбивая бивуаки в лесистых и болотистых местах прерий, его отряд имел задачей защищать самый молодой штат США, Канзас, от нападения индейцев, прокладывать дороги и обеспечивать иммиграцию колонистов.[37] В названном местечке, столь отдаленном от всякой цивилизации, он познакомился с младшим врачом Хаммондом (W. A. Hammond), бывшим учеником секретаря-заместителя (Assistant Secretary) профессора Спенсера Фуллертон Бэрд (Spencer Fullerton Baird) (1823—1887).[38] Хаммонд заметил склонность Ксантуса к естествоведению, равно как и его пристрастие к охоте, которое так явно проявлялось в нем на всех этапах его жизни. В течение долгих лет мечтал он о том, как хорошо было бы принять участие в научных экспедициях, имеющих задачей вскрыть неизвестные науке края Америки. Под влиянием этих мечтаний вступил в сношения в 1853—54 годах в Новом Орлеане (пожалуй еще в Сент-Луисе) с вюртембергским князем Паулом и

[35] Madden, 1949, 41.; Kende, 1927, 223—224.
[36] Madden, 1949, 41.
[37] О подобной связи между военными и административными задачами говорит Ксантус и в своем произведении, написанном о его путешествии по южной части Калифорнии, см. Xántus, 1860, 37—38.
[38] Madden, 1949, 42—43.

разными учеными, как, например, с немцем Морицем Вагнер (Moritz Wagner), австрийцем Карлем Шерцер (Karl Scherzer), датчанином Х. Н. Крёер (H. N. Krøyer), русским Виктором Ивановичем Мохульским, французом Луи Агассиз (Louis Agassiz) с предложением своих услуг как научный сотрудник, но не получил от них поручений, достойных упоминания.[39] Он много думал и о работах в музеях и научных институтах, но в то время не удалось ему вступить в прочный контакт с ними.[40] Во время самой удручающей изоляции в Канзасе, он, наконец, нашел лицо, которое поставило его естествоведеческие знания на солидную базу и использовало его деятельность в работе коллекционерских организаций Америки. Этим лицом был вышеназванный молодой врач Хаммонд.

Поощряемый Хаммондом, Ксантус начал свою систематическую коллекционерскую деятельность и послал свои первые коллекции в Академию естественных наук Филадельфии (Academy of Natural Sciences of Philadelphia), которая выбрала его пожизненным членом еще 30 декабря 1856 г. под именем Луи де Вешеи (Louis de Vesey). Одновременно с этим стал поставлять материал и в Институт Смитсониен (Smithsonian Institution), в ежегодных отчетах которого с большим признанием упоминалось о его коллекциях.[41] В феврале 1857 г. Ксантус поступил в непосредственное сношение с профессором Бэрдом и его первое письмо к нему, как будто прервало темный период его беспокойной жизни.[42] Благодаря, повидимому, Хаммонду, 27 января 1857 г. Ксантуса перевели на медицинскую службу, и с 1 марта был назначен попечителем больницы.[43]

Но время, проведенное в Форт Райли, представляло собой только пролог к той музеологической работе Ксантуса в Америке, которая позднее все теснее связывалась с личностью профессора Бэрда и с деятельностью Института Смитсониен.

Работы названного института относились в первую очередь к научно неисследованным областям США. Таковой оказалась между прочим и пустыня Мохаве (Mojave), в которой была сооружена сторожевая станция в августе 1854 г. под наименованием Форт Техон (Fort Tejon). В этой крепости была расположена часть драгунского полка № 11, 6 офицеров и 81 солдат (по составу с 1856 г.). Станция существовала вплоть до сентября 1864 г. Капитан Джон Кардинер (John Cardiner), служивший в ней, обратил внимание профессора Бэрда на местность, изобилующую редкостями природы. Профессору удалось достигнуть перевода Ксантуса из Райли, где он пользовался особенным почетом своих старших, в Техон.[44]

[39] Madden, 1949, 33—38.
[40] Xántus, 1857, 21—22; Xántus, 1859. 3.
[41] Madden, 1949, 43—44.
[42] Madden, 1949, 44—49.
[43] Madden, 1949, 47.
[44] Madden, 1949, 52—53.

Судя по его корреспонденции, Ксантус отправился из Форт Райли в марте месяце 1857 г. и 19 числа того же месяца прибыл в Вашингтон. Посетив президента Буканана (Buchanan) он совершил вновь паломничество к могиле Вашингтона на Маунт-Верноне (Mount Vernon). Ксантус стремился установить связи с эмигрантами, проживавшими в Вашингтоне, но о его встрече с профессором Бэрдом в письмах не упоминается. Пробыв некоторое время в Филадельфии и Нью Йорке, переехал в Сан Франциско, куда прибыл 30 апреля, после 24-дневного путешествия. Сперва двигался на пароходе по направлению к островам Бахама, далее к Сан-Доминго, Ямайке и Новой Гранаде вплоть до Aspinwall, откуда отправился по железной дороге через Кордилльеры до Панамы. Там сел на пароход и, следуя вдоль берегов Мексики, обогнул мыс Св. Луки и прибыл в Сан-Франциско. Отправившись в Лос-Анжелес и Сан-Фернандо, свое путешествие продолжал пешком и 18 мая 1857 г. прибыл в Форт Техон.[45]

Будучи попечителем военной больницы, несмотря на загруженность текущими работами, он все же приступил к коллекционерской деятельности.[46] Недоброжелательство начальства, невежество и грубость простых солдат затрудняли его работу точно также, как и нехватки научного и технического оборудования. В довершение всего, во время отпуска главного врача вся санитарная служба крепости навалилась на него. В этом положении он часто обращался к профессору Бэрду с просьбой решения различных вопросов транспорта и боеприпасов, ловушек, консервирующих средств, равно как и об облегчении своих служебных обязанностей. Посещение Х. Б. Мёллхаузена (H. B. Möllhausen) в Техоне на некоторое время скрасило однообразие его жизни, но научную помощь оказывал ему исключительно только вышеназванный профессор. Однако, их сношения такж не были свободны от мешающих моментов. Так, например, Ксантус сам хотел обработать материал, собранный им для коллекций Института Смитсониен, но это оказалось невозможным. Тем более обрадовал Ксантуса факт, что ему удалось осуществить свой другой план : он обогатил одной частью собранного материала коллекции Венгерского Национального Музея. Между тем, его судьба также улучшилась. Благодаря ходатайству профессора Бэрда, 21 января 1859 г. его уволили от военной службы, причем его мнение об американской армии осталось не слишком лестным. Его возмущало, что в американской армии только офицеры считались людьми, а солдаты — неграми, существами низшего разряда (»in the American Army only the officers are considered men, and the others something like a last class negroes«).[47] Спустя несколько дней, Ксантус покинул Форт Техон. В то-

[45] Xántus, 1857, 154.
[46] Относительно переживаний в Fort Tejon см Madden ук. соч. 51—96.
[47] Madden, 1949, 94.

мах »Smithsonian Report« с гг. 1858 и 1859 опубликованы отчеты о его естествоведческой деятельности в названной крепости.[48]

»During the year 1858 a natural history exploration, commenced in 1857, has been nearly completed by Mr. Xantus, while connected with the military post at Fort Tejon, which, for extent and thoroughness, has perhaps scarcely a parallel on our continent, considering the fact that it was made in about sixteen months by one person, almost constantly occupied in official duties, and under various discouragements. The collections of Mr. Xantus filled 24 large boxes, and included nearly 2000 birds, 200 mammals, many hundreds of birds' nests and their eggs, with large numbers of reptiles, fishes, insects, plants, skulls, skeletons &c., all in the highest condition of preparation and preservation, and furnishing such accurate and detailed information of the zoology and botany of Fort Tejon as we possess of but few other points in the United States. Mr. Xantus also made copious notes of the habits and characters of the species, with numerous drawings.«

После уволнения от военной службы Ксантус — при посредстве проф. Бэрда — получил занятие, которое соответствовало его научным амбициям. Он был ангажирован Комиссией по исследованию побережья (Coast Survey Board) для наблюдения прилива на станции, находящейся в южной части Калифорнийского полуострова, в южном конце мыса имени Святого Луки.[49] Отправившись из Форт Техона, через 4 дня он добрался до Сан-Франциско, куда прибыл 25 января 1859 г. Представившись своим начальникам, он ознакомился со своими новыми задачами. Завел также и знакомства с учеными, проживавшими в то время в Сан-Франциско, и оснастил себя всеми удобствами коллекционерской работы. Так как он принял и поручение исполнять должность метеорологического наблюдателя, его материальное положение оказалось вполне удовлетворительным. Сев на пароход 14 марта 1859 г., мимоходом посетил остров Гуадалуп, природу которого описал впервые подробно в своем письме к профессору Бэрду. Пробыв четверо суток в Ла-Пасе (La Paz), устремился дальше и после шестисуточной езды, 4 апреля, прибыл на назначенный для него пост.

Окрестность мыса Св. Луки была в то время еще terra incognita для науки Америки. Самый близкий город находился в 30 милях от станции Ксантуса, а пункт, где он производил свои наблюдения прилива, был отдален на 7 миль от ближайшего жилья европейца.

Ксантус провел в этом месте $2^1/_2$ года в беспрестанной работе.

Служебные обязанности не отнимали у него слишком много времени, однако ограничивали свободу действий. Поэтому его коллекции — не считаясь с его поездками в Масатлан (Mazatlan) и Ла-Пас — охватили только

[48] Annual Report, 1858, 51.
[49] Относительно событий, происшедших на мысе Св. Луки, см. Madden, ук. соч. 97.

район, простиравшийся от его наблюдателного пункта на далее, чем на 75 миль. Не подлежит сомнению, что его обязанности мешали ему в исполнении коллекционерской деятельности, которая в свою очередь также вредила точности его наблюдений. Вопреки этому, Ксантус выполнил громадную и очень ценную работу, несмотря на то, что — кроме трудностей передвижения и примитивных условий жизни — и местная политика затрудняла его труды. В Сан-Хосе большинство имела консервативная партия, а в Ла-Пас — либеральная и, так как мыс Св. Луки в то время не был еще под властью США, все мексиканские партии стремились привлечь венгерского эмигранта в свой лагерь. Был период, когда три губернатора одновременно состязались за политическую гегемонию мыса и Ксантус смог миновать неприятности только благодаря тому, что он оказывал и медицинскую помощь населению. Вследствие своей коллекторской работы, равно как и в связи с различными движениями современной политики он приобрел много друзей как в рядах эмигрантов, так и в кругах туземного населения, поддерживая живые сношения и с Институтом Смитсониен, в частности с профессором Бэрдом. Собирал различных морских животных, птиц и жуков, но описание новых видов уступил профессору, вручив ему всю свою судьбу.

Для характеристики его научной деятельности, произведенной на мысе Св. Луки и прилегающих островах, можно цитировать отчет, опубликованный вышеназванным институтом:

»Ower 60 boxes, some of large size, with contents embracing (and almost exhausting) every department of natural history prepared and packed in a perfect manner, accompanied by numerous measurements, biographies, notes &c., and all made in the intervals of regular scientific duty, abundantly verify this estimate of Mr. Xantus's abilities. ... The many new species collected by Mr. Xantus are in process of elaboration, and will shortly be published. ... It is proposed when all these examinations are completed to combine them in one general memoir; on the natural history of Lower California, which will then be as well, or better known than the extremity of the corresponding Peninsula of Florida, equally included in the limits of the North American flora and fauna.«[50]

Таким образом, коллекции Ксантуса поспособствовали научному познанию природы Южной Калифорнии. Им определено место фауны мыса в зоогеографии Средней и Северной Америки в письме, обращенном к профессору Бэрду.

1 августа 1861 года, возвратившись из коллекционерского путешествия в Масатлан, Ксантус получил распоряжение ликвидировать станцию на мысе Св. Луки. Поручив профессору защиту своих личных интересов, 14 августа он направился в Сан-Франциско, чтобы, следуя своим прежним мечтам, выехать поскорее в Венгрию.[51]

[50] **Annual Report 1861, 58.**
[51] **Madden, 1949, 150.**

Амнистия 1859 г. открыла новый этап в жизни венгерских эмигрантов и дала возможность на возвращение на родину. В момент ликвидации станции в Южной Калифорнии Ксантус почувствовал, что после долголетнего брожения по Америке пора посетить мать, равно как и родного брата и сестру. В промежуток времени произошли значительные изменения в семье Ксантуса. Отец умер, а мать от горя вследствие потери мужа и от тревоги за участь отсутствующего сына временно болела психическим расстройством. Умерла и богатая тетка, имущество которой было унаследовано матерью, переселившейся в г. Дьёр.[52] Таким образом, совершенно новая обстановка ожидала дома возвращающегося Ксантуса. Его интересные путевые записки, научные успехи и всеобщее уважение, питаемое к эмигрантам, подготовили ему встречу, превысившую всякое ожидание. Сев на пароход в Нью Йорке 25 октября 1861 г., около 15 ноября прибыл в Бремен, где провел несколько дней для установления связи с различными научными институтами. Мимоходом посетил города Дюссельдорф, Франкфурт, Мюнхен, Нюрнберг и Аугсбург и 18 ноября прибыл в г. Дьёр.[53] Пребывание в Венгрии в первое время сопровождалось серией беспредельных оваций, превратившихся в политические демонстрации не только в Дьёре и его окрестностях, но и в столице, равно как и во всех местах страны. Демонстрации предоставили между прочим работу и полиции.[54]

В г. Дьёр Ксантус подружился с знаменитым археологом, бывшим в то время учителем гимназии бенедиктинского ордена Флоришем Ромер,[55] и поместил в музей гимназии объекты, привезенные с собой в дар. Во время пребывания в Будапеште он гостил у директора Национального Музея Августина Кубиньи,[56] с которым переписывался уже давно.[57]

В Будапеште им был размещен материал, собранный в Америке. АН Венгрии выбрала его членом — корреспондентом еще в 1859 году. 27 января 1862 г. он прочел свой вступительный доклад о »Данных, относящихся к физической океанографии«,[58] после чего обществом по естествоведению ему была пожалована грамота о выборе его членом-меценатом. Вооруженный своими долголетними опытами, приобретенными на Западе, он участвовал

[52] Сообщение Марии Ксантус; см. еще документы, находящиеся в Музее имени Ксантуса в г. Дьёр, относительно семейства Ксантус.

[53] См. статью анонимного автора в **»Győri Közlöny«**, 1861, 371.

[54] **Pester Lloyd**, 1861, No. 297, 298, 300.

[55] Ф. Ромер (1815—1889) археолог, бывший воин освободительной войны Венгрии в 1848—49 гг, после ее проигрыши был приговорен — за участие в ней — к 5-летнему тюремному заключению. В 1868 году он был назначен ординарным профессором университета в Будапеште. Им был создан целый ряд музеев и издан журнал **»Archaeologiai Értesítő«** (= Археологический Вестник). Он считался авторитетом в области музеологии не только в стране, но и заграницей.

[56] А. Кубиньи (1799—1873) естествовед, директор Венгерского Национального Музея, профессор университета. Он оказал большое влияние на развитие венгерской музеологии в периоде 1842—1869 г.

[57] **Pesti Napló**, 17 марта 1859; **Madden**, 1949, 145—146.

[58] **Mocsáry**, 1899, 9; **Xántus**, 1862, c. 86—100.

в Венгрии в решении многих вопросов научного и практического характера. Например, им был предложен план создания Зоологического сада в Будапеште.[59] Вследствие его ревностных хлопот 12 марта 1862 г. была назначена комиссия, решившая основать акционерное общество для осуществления этого плана. Ею же он был избран почетным председателем.

Американские связи Ксантуса не прервались и во время пребывания его в Венгрии.[60] Он и далее переписывался с профессором Бэрдом и надеялся, что с его помощью устроится на работу, разрешающую ему продолжать свою научную деятельность. Как гражданин США он хотел добиться поста американского консула где-нибудь в Средней или Южной Америке или же в Мексике, но если это не удастся, то в Будапеште или в Белграде, потому что получить службу у себя на родине при политических условиях того времени было немыслимо. Несмотря на то, что Бэрд не пообещал ему ничего положительного, 23 июня 1862 года Ксантус отправился из г. Дьёр в Америку и, проследовав через Лейпциг, Бремен и Саутгэмптон (**Southampton**), 22 июля прибыл в Нью Йорк. После некоторого времени, проведенного в Филадельфии, он переехал в Вашингтон,[61] где встретился с профессором Бэрдом, равно как и со своим бывшим протектором Хаммондом, который к тому времени был произведен в генералы медицинской службы. Помощь протекторов отнюдь не была излишней. Неуплаченные при отъезде долги не терпели уже отлагательства, а газетные клеветы бывших знакомых, проживавших когда-то в венгерской колонии штата Айова, требовали также решительного ответа.[62] При помощи Хаммонда Ксантус получил временную службу с назначением секретарем и производством в лейтенанты, а профессор Бэрд отклонил обвинения айовских венгров, которые понятия не имели о научных заслугах Ксантуса. Наконец, Ксантус устроился окончательно. Благодаря ходатайству Бэрда он был назначен консулом в Мексику, в штат Колима (**Colima**) 25 ноября 1862 г.[63]

Приняв новое назначение Ксантус не воспользовался удобствами консульской службы и окружающей культурной средой, а вернулся к трудам по естествоведению, к которым чувствовал большое тяготение. Попрежнему он хлопотал о открытии неизвестных для науки областей, о создании коллекций, способствующих развитию естествоведения не только в Америке, но и в Венгрии.

11 декабря 1862 г. Ксантус отправился из Нью Йорка на свой новый пост. Сначала воспользовался морским путем, а затем, минуя острова Куба и Гайти, сошел на сушу и по железной дороге доехал до берегов Тихого

[59] **Xántus, 1862, b. 171.**
[60] **Madden, 1949, 153—170.**
[61] **Xántus, 1862, d.**
[62] **Madden, 1949, 165—167.**
[63] **Madden, 1949, 169.**

Океана. Прибыв 28 февраля в Мансанильо (**Manzanillo**), продолжал свое сухопутное путешествие и через полутора суток прибыл в Колиму.[64] Смутное политическое положение, бесчинство различных банд и произвол при-



Рис. 2. Ксантус в 1861 году. (Рисунок Миклоша Барабаша. Литография.)

дирчивых чиновников были хорошо известны ему еще по Калифорнии. При помощи дружеских отношений, пожертвованием соответствующих денежных сумм и благодаря связям Бэрда, он стремился преодолеть трудности.[65] Постоянным местожительством его был штат Колима, с губернатором которого поддерживал сердечные отношения, но ежемесячно посе-

[64] **Xántus, 1863.**
[65] **Madden, 1949, 171—201.**

щал, Мансанильо для улаживания морских дел консульства. Любовь к свободе и независимости решительно отдалили его от своих американских подзащитных, так как все они были сецессионистами и приверженцами рабовладельческого строя. Однако, 4 июля 1863 г., в день независимости США политические несогласия исчезли и, несмотря на напряженность ситуации, все американцы, без различия к какой бы партии не принадлежали, под влиянием Ксантуса, торжественно отметили праздник США.

Но несогласия оказались более глубокими и никакая дипломатическая тактика не могла надолго обеспечить успех компромисса. При защите интересов одного из американских граждан он попал в ложное положение, из которого вытекало, будто бы он был сторонником партии, подстрекающей к бунту и мятежу против правительства. Поэтому Ксантуса уволили с дипломатической службы.

В нашу задачу не входит оправдывать поведение Ксантуса, но является весьма характерным, что до следующего февраля были назначены на пост Ксантуса не менее 3 консулов, из которых последний был приговорен к смертной казни за убийство мексиканского матроса и если бы ему не удалось бежать, то власти привели бы свой приговор в исполнение.[66]

Во время его дипломатической службы финансовое положение Ксантуса улучшилось. Это улучшение должно быть приписано не жалованию, а премиям, получаемым им в качестве страхового агента за спасенные ценности утонувших пароходов. Ксантус всячески стремился получить потерянную должность консула, но хлопоты его не увенчались успехом.[67]

Коллекционерская деятельность его в Мексике охватила район, находящийся около Мансанильо и в Колиме, диаметром в 50 миль. Хотя он и не был столь прилежным, как раньше в Форт-Техоне или на мысе Св. Луки, но отправленные им до февраля 1864 г. по адресу Института Смитсониен 43 ящика все же содержали 4237 различных предметов. Продолжение поставок — в виду политических затруднений — стало невозможным. Впрочем место, где он производил свою коллекционерскую деятельность не было ни столь неизвестным, ни столь интересным, как бывшее в Калифорнии.[68]

В декабре 1863 г. Ксантус заболел и болезнь продолжалась и в первые недели следующего года. При смутных условиях тогдашней жизни он не мог надеяться на помощь Бэрда, а Хаммонд был занят своими собственными тяжебными делами.[69]

События гражданской войны создали новое положение и в США. Планы Ксантуса относительно будущего расстраивались один за другим

[66] Madden, 1949, 178—188.
[67] Madden, 1949, 185—186.
[68] Madden, 1949, 190—195; Annual Report 1864. 82—83.
[69] Madden, 1949, 197—199.

и в конце концов осталась только единственная возможность — возвращение на родину. В начале марта он покинул Мансанильо и, после краткого пребывания в Сан-Франциско, 27 марта прибыл в Панаму, а затем, в начале апреля, в Нью Йорк. Во второй половине апреля он посетил г. Вашингтон, а через месяц — Филадельфию. В последних месяцах его пребывания в Америке обострилось его разногласие с Институтом Смитсониен в связи с распределением материала коллекций. По смыслу соглашения первый экземпляр каждой серии собранного материала был предусмотрен для названного института, второй — для Национального Музея в Будапеште, а третий — лично для Ксантуса, однако объекты коллекций были распределены — вопреки соглашению — между различными американскими институтами. Это причинило много огорчения Ксантусу, покинувшему Нью Йорк 4 июня 1864 г.[70]

4. Его успехи и научные результаты

Результаты деятельности Ксантуса в Америке должны быть рассматриваемы не в его столь популярных у нас произведениях, вышедших на венгерском языке, а в коллекциях, собранных им же, в этюдах, относящихся к разным областям естествоведения, равно как и в установлениях, встречающихся в его переписке с Бэрдом. Его венгерские произведения — несамостоятельные труды. Они не всегда были назначены даже для публикации. Его письма, написанные нервнобольной матери из Северной Америки,[71] в опубликованной форме (1858 г.) являются не подлинными произведениями и он отклонил даже и ответственность за них.[72] »Они представляют собой скорее экстракт американской литературы, посвященной экспедициям«, как он выразился в своем письме к проф. Baird. »Они представляют собой переводы сочинений Марси (Marcy), Симпсона (Simpson), Фремонта (Frémont) и Сэнсбурга (Sainsburg) в сжатой и сокращенной форме, с многочисленными иллюстрациями«.[73] Для создания их требовалось все же немало таланта и фантазии. Втечение 90 лет никто не сомневался в их оригинальности, а публика с величайшим наслаждением читала их. На фоне их лежали не исполнившиеся мечты Ксантуса, путем экспедиций служить прогрессу человечества и открыть новые территории для лучшего познания природы. Этим объясняется, что в форме собственных переживаний рассказываются в них судьбы целого ряда исследователей. Он сам представлялся героем описанных в своих письмах событий. Это неудивительно, так как молодость Ксантуса протекла в эпоху романтизма и поэтому ему были понятны слова Петефи:

[70] Madden, 1949, 198—201.
[71] Сообщение Марии Ксантус.
[72] Xántus, 1860.
[73] Madden, 1949, 223.

»Я бы украл сокровища сновидений, чтобы украсить ими скверную действительность«. Поэтому-то и выдал себя бывший сапер и будучи попечителем больницы за участника в экспедициях, вожди которых были известны ему только бегло или же из книг. Его другое произведение **»Utazás Kalifornia déli részében«** (= Путешествие по южной части Калифорнии [1860]) является уже более самостоятельным, но оно написано в сущности подобным же методом, с беспредельным использованием источников, соблюдая оригинальность только в конструкции. Названное произведение представляет собой — по собственному определению автора — »популярное описание Южной Калифорнии, содержащее и некоторые страницы из естествоведения«.[74] Непосредственный опыт и заимствованные из книг сведения, наука и беллетристика смешаны в обоих произведениях. Эта смесь должна быть приписана репортерским склонностям Ксантуса, равно как и пристрастию к переписке, столь характерному для всей его семьи. Все это, конечно, не смягчает, а только объясняет плагиат. Его эпоха была не столь щепетильна по отношению к такого рода »заимствованиям«, как наша, но они все же бросали тень не только на произведения, но безусловно и на писателя. Несмотря на это, тот, кто, отделяя разнородные элементы его творчества, определит научную ценность его произведений точнее Маддена, окажет большие услуги дальнейшим исследователям.

А что касается естествоведческой деятельности Ксантуса, во время его пребывания в Америке он достиг весьма замечательных результатов. Его интересы к естествоведению возникли довольно рано. В своем первом этюде он выступил уже как юноша, много бродивший в побережных лесах р. Дравы. Сильное впечатление произвели на него лектюры, влияние которых можно проследить начиная от Робинзона[75] через Домени де Риенци[76] и других авторов популярных сочинений о путешествиях до серьезной научной литературы естествоведения Америки. Его систематическое образование по естествоведению было приобретено во время военной службы в Америке, при непосредственной помощи Хаммонда и путем книг, полученных от профессора Бэрда.[77] Насколько удалось ему усвоить естествознание своей эпохи, это ясно видно из мнения Бэрда относительно его коллекций: **»From a scientific standpoint his collections are still unusually interesting, and he richly deserves to be considered one of the foremost zoologists of the day.«**[78] Ксантус понимал великую ценность своих коллекций. Не принимая участия в их обработке, он поддерживал тесные связи с специалистами, которые обрабатывали их, особенно в годы его пребывания в Вашингтоне и

[74] Madden, 1949, 231.
[75] Saly, 1859, 218.
[76] Sándor, 1951, 224.
[77] Madden, 1949, 147.
[78] Madden, 1949, 134—135, 169.

Нью Йорке.[79] По признанию самого Маддена, всегда склонного уменьшать значение Ксантуса, им открыто 390 новых видов растений и животных, а именно 73 вида в Форт Техоне, 290 видов на мысе Св. Луки, 26 видов в Колиме и 1 вид в другом месте. Свое пристрастие к охоте и сбору он применил для обогащения музеев. Неизвестные области Америки открыли ему такое богатство неизвестных вещей, что ему невольно пришлось подумать об учреждении, которое собирает, обрабатывает, экспонирует и сохраняет все эти вещи, т. е. о музее. »Я желал бы, чтобы весь мир участвовал в моих путешествиях и каждый человек видел все, что я вижу« — читается у него, и эти слова ясно показывают скрывавшегося в нем завзятого музеолога.

Это стремление к сбору, экспонированию и сохранению, это глубокое переживание научного и педагогического звания музея сопутствовало ему всю жизнь.

В изолированности эмиграции Ксантус открыл себе особое призвание, при помощи неутомимой коллекционерской деятельности, затейливой и отважной предприимчивости и точным знанием дела приносить наибольшую пользу музеологии. Как бывший участник освободительной войны Венгрии, он применил свои способности не только в пользу американских учреждений. »Поверьте, друзья, для венгра существует только одно место на земном шаре: его родина« — писал он в 1858 году.[80] Таким образом, неудивительно, что осуществился его план, о котором упоминал в своем письме, написанном в 1853 году: »Я мог бы оказать и своей родине некоторые услуги, обогащением коллекций Национального Музея. Не премину воспользоваться случаем, если представится таковой«.[81] Через Институт Смитсониен он посылал названному музею все новые и новые коллекции, по меньшей мере раз двадцать. Национальному Музею была передана Обществом по естествоведению и коллекция, собранная Ксантусом для общества, так как последнее не занималось сохранением коллекций. Когда он первый раз возвратился на родину, осенью 1861 г., его орнитологическая коллекция, состоящая из 500 различных экземпляров, в том числе знаменитые »колибри Ксантуса«, приобрела большую популярность во всей стране. Она была передана также Национальному Музею. »Благодаря необычайной щедрости Я. Ксантуса нашим национальным учреждением до сих пор было получено от него 62 экземпляра млекопитающих, 1267 экземпляров разных птиц, 294 птичьих яица, 105 птичьих гнезд, 116 экз. пресмыкающихся, 3783 улитки и раковины, 23 экз. радиоларий, 28 полипов, 1608 насекомых и много ценных книг« — писал в своем отчете кустос отделения музея по естествоведению Янош Фривальдский и, оценивая коллекцию с точки зрения музеологии, прибавил: »Коллекции, посланные Ксантусом,

[79] **Madden, 1949, 251—291.**
[80] **Xántus, 1860, 68.**
[81] **Xántus, 1857, 22.**

представляют собой двойную ценность для нашего национального учреждения. Они не только обогатили многочисленными видами наш материал, но поспособствовали его размещению по требованиям систематики«.[82] Это было написано именно в то время, когда Совет наместничества — по рекомендации директора Августина Кубиньи желающего подать в отставку, предложил высочайшей власти назначить Ксантуса директором Венгерского Национального Музея.[83] Во время безграничного деспотизма этому предложению не суждено было осуществиться. В кругах реакции Ксантус считался бунтарем, дезертиром австрийской армии и венгерским эмигрантом, несмотря на то, что своими научными достижениями он приобрел всемирные заслуги. Но это в сущности не изменило положения. Коллекции Ксантуса, вошедшие в материал Венгерского Национального Музея, стали важными звеньями в развитии венгерской музеологии. Очень ценным был и материал, предоставленный Музею гимназии г. Дьёр, созданному в свое время Ф. Ромером.

Ксантус не хотел быть этнографом и в первые 40 лет его жизни никто не думал о том, что первая глава истории венгерской культуры, относящаяся к вещественной этнографии, будет тесно связана с его именем. В молодости его тяготение к изучению культуры народа представляло собой только одну из партий в полифонии его рассеянных интересов, но затем — под влиянием разных обстоятельств — он перешел в область этнографии и принял участие в создании Этнографического Музея в Будапеште. Его энциклопедическое воззрение, в развертывании которого, повидимому, сыграл роль и Домени де Риенци, обеспечило соответствующее место для этнографических сведений не только в его американских письмах, но и в его путевых записках. Его сообщения не отличаются ни оригинальностью, ни достоверностью. Они относятся главным образом к общим явлением индейской культуры, а не к особенностям быта отдельных индейских кланов и племен. Общеизвестно, что Ксантус перенес сообщения Марси, относящиеся к племени уичито (wichita), на племя команчей (comanche),[84] а его сообщения, заимствованные от Эмери (Emary) и Альберта (Albert) характерны не только для индейцев, проживавших около крепости Техона, но и для десятков других племен, живших в районе, простирающемся от названной крепости до середины Новой Мексики.[85] Это укрепляет наше мнение, что ему нужно было стать сперва музеологом, чтобы позднее быть этнографом.

В отношении сбора ископаемых, растений и животных, Ксантус дошел до той степени особой профессиональной страсти музеолога, где

[82] Frivaldszky, 1865, 3—4.
[83] Mocsáry, 1899, 11.
[84] Madden, 1949, 220.
[85] См. Madden, ук. соч. 249, где цитирован труд Helen S. Giffen and Arthur Woodward : The Story of El Tejon. Los Angeles, 1942. 81—82.

метод сбора является уже важнее собираемых объектов. Он удовлетворяет эту страсть на тысяче тысяч собранных объектов »летом 1854 г., в одну темную ночь, от 9 часов вечера до 2 полуночи, когда беспрестанно гремел гром и сверкали молнии (но дождя не было), нижеподписавшийся поймал таким способом 35.000 насекомых в Новом Орлеане на кладбище, превращенном в сад« — читается в одном из его писем.[86] Четыре коллекции, охватывающие сотни тысяч разных предметов, собранных для Института Смитсониен, могут быть рассматриваемы не только как достоверные отчеты о фауне и флоре данного района, но и как самостоятельные музеи по естествоведению. Эти громадные пропорции очень характерны для Ксантуса. По ним можно предвидеть, что пристрастие Ксантуса к сбору — в сочетании с универсальными интересами его — не останется в пределах естествоведческой музеологии.

5. Зоологический сад

В начале июня 1864 г. Ксантус покинул Нью Йорк и 14 числа того же месяца прибыл в Бремен. Во время поездки его мысли были заняты вопросом зоологического сада. После высадки он посетил подобные учреждения Голландии и Бельгии, изучая в Амстердаме, Роттердаме и Антверпене их организацию, администрацию, бюджетные вопросы, равно как и научные работы, произведенные в них.[87] Особенно сердечно встретил его директор лейденского музея Шлегель и Ксантус сейчас же воспользовался случаем сопоставить его с закостенелым кабинетным ученым, »который с презрением смотрит на охотника — естествоведа, но нисколько не стесняется присвоить, что тот приобрел своим египетским трудом«. Эти экскурсы были безусловно связаны с планами Ксантуса, относящимися к Венгрии.[88]

»Создание зоологических садов стало чуть не манией во всей Западной Европе« — писал он из Антверпена с прибавлением замечания : »Через несколько дней я буду в праве сказать, что я видел уже все зоологические сады в Европе.«[89]

В г. Дьёр он прибыл 16-го июля того же года. Его здоровье пошатнулось, поэтому после недолгого пребывания в Пеште отправился в Высокие Татры на отдых и остался там до осени.[90] В следующих месяцах он стремился обеспечить себя службой и позицией, соответствующей своей научной и общественной деятельности. На съезде венгерских врачей и естествоведов в Марошвашархей 2-го сентября выступил с предложением создания библиотеки по природоведению.[91] Во время своего пребывания в

[86] Xántus, 1862, 33.
[87] Xántus, 1864, a. 213, 217 ; 1864 b. 221, 222 ; 1864 c. 229, 233 ; 1864 d. 237, 241, 245 ; далее K. J. 1863. 361—362.
[88] Xántus, 1864, b. 221, 225.
[89] Xántus, 1864, d. 237, 241, 245.
[90] Győri Közlöny, 1864, 230, 242, 256.
[91] Xántus, 1865, a. 40—41.

Трансильвании он посетил своих родственников в Чиктапольце.[92] В конце октября возглавлял предприятие в г. Дьёр, имевшее намерение покупкой нескольких паровых судов вовлечь Венгрию во всемирное торговое сношение. Кроме опыта, приобретенного на Западе, вдохновил его и пример Ференца Ковача, зятя своей матери, который своими баржами, нагруженными хлебом, положил основу богатства семьи Ксантус. Около конца года по поручению предприятия выехал в Турцию с целью покупки судов в низовьях реки Дуная.[93]

Несколько позднее дал интервью газете »Pesti Napló« (= Пештский дневник) о расширении коллекции Венгерского Национального Музея, с которым он поддерживал, как и раньше, самые тесные связи. Его планы нашли между прочим и одобрение великого венгерского поэта, Яноша Арань.[94] Затем Ксантус организовал обмен изданиями между венгерскими книгопродавцами и Институтом Смитсониен. В марте следующего года он вел переговоры об издании журнала по естествоведению совместно с Кальманом Лазарем, но одновременно с этим много хлопотал об основании общества в г. Дьёр для оказания поддержки литературе и науке, равно как и об издании газет там же.[95] Предприимчивость, подвижность и неутомимая энергия день за днем увеличивали его популярность. Поэтому, когда события 1865 г. принудили австрийское правительство подумать о восстановлении венгерской конституции, г. Дьёр, комитат Шомодь и, наконец, г. Папа предложили ему кандидатуру в депутаты, конечно, в рядах либеральной оппозиции. Однако, вышеупомянутые планы никогда не осуществились, а план кандидатуры был отклонен самим Ксантусом.[96]

При таких обстоятельствах вполне понятно, что Ксантус сосредоточил всю свою энергию на осуществление плана зоологического сада. В последние месяцы своего второго пребывания в Америке он полноправно подчеркнул: »я выдвинул идею зоологического сада, я предложил создание соответствующего общества и я председательствовал на учредительном общем собрании его«.[97] И возвратившись на родину, он дал новый толчок слишком медленно продвигающемуся делу. Управление г. Пешта 5-го марта 1865 г. предоставило акционерному обществу в аренду на 30 лет участок земли, охватывающий приблизительно 15 гектаров, для создания зоологического сада.[98] Благодаря ловкости Ксантуса подписка на акции приняла более широкий размах, несмотря на то, что в удушливой политической атмосфере

[92] Mocsáry, 1899, 11.
[93] Xántus, 1865, b. No. 68—71.; Koszorú, 1864, 407; Mocsáry, 1899, 11; сообщение Марии Ксантус.
[94] См. Xántus, 1864, e. № 241; примечание редактора Я. Арань в Koszorú, 1864. 430.
[95] Koszorú, 1865, 310; Hazánk s a Külföld, 1865, No. 11.; Győri Közlöny, 1865, 449.
[96] Győri Közlöny, 1865, 441.
[97] Pesti Napló, 1864, 133.
[98] Hazánk s a Külföld, 1865, 161—162.

трудно было добиться значительных результатов. На заседании, созванном в первых числах октября 1864 г., Ксантус сообщил, что подписка акций составляет сумму в 50 000 форинтов.[99] До весны 1865 г. акционеры внесли только одну пятую часть нарицательной стоимости акций, всего только 15 000 форинтов.[100] Наконец, 22 августа 1865 г. было созвано учредительное собрание общества и к этому времени сумма подписки на акции повысилась до 60 000 форинтов. Ксантус с большой радостью констатировал увеличение числа интересующихся. Но общество, финансирующее зоологический сад в Вене, обанкротилось (Ксантус купил от него 73 экземпляра животных) и это понизило расположение и венгерских акционеров.[101] Потребовалось развернуть все силы, чтобы общество работало без долгов. На пост научного руководителя был объявлен публичный конкурс, но из венгерских ученых никто в нем не принял участия. Ксантус также уклонился от участия в конкурсе, чтобы избежать обвинения в непосредственной заинтересованности. Таким образом, некий Л. Фицингер временно заведывал предприятием в качестве научного директора.[102]

Зоологический сад был открыт 9 августа 1866 г.[103] Его первые животные были приобретены Ксантусом еще в Мексике. Во время открытия сад имел более 300 млекопитающих и птиц. Вместо отказавшегося Фицингера, Ксантус, как вицепредседатель общества, предоставил новое учреждение в пользование публики и показал животных первым посетителям. Несколько дней спустя, он был выбран директором Зоологического сада.[104] Несмотря на то, что предприятие начало свою деятельность при самых благоприятных условиях, в первом неполном месяце число посетителей дошло до 30 000.[105] Ксантус проводил тяжелые годы на службе, подробное описание которых не входит в нашу задачу.[106] Позднее Зоологический сад превратился в общественную собственность и стал одной из достопримечательностей столицы Венгрии. Создание Зоологического сада безусловно поспособствовало увеличению престижа Ксантуса, который был выбран членом Академии по естествоведению в Дрездене 28-го ноября 1869 г.[107] Стало быть, он, повидимому достиг своей цели: как специалист, пользующийся всеобщим уважением, имел видное место и круг деятельности, подходящий к его способностям и амбициям. Из этого положения вырвала его экспедиция 1869—70 г., имевшая задачи изучить Дальний Восток.

[99] Győri Közlöny, 1864, 330.
[100] Koszorú, 1865, 311.
[101] Vasárnapi Ujság, 1866, 377.
[102] L., 1866, 302—303.
[103] Vasárnapi Ujság, 1866, 388.
[104] Pester Lloyd, 1865, No. 239.
[105] Vasárnapi Ujság, 1866, 436.
[106] K. J., 1873, 361—362.
[107] Относящийся документ находится в библиотеке Этнографического Музея под № К 3217.

6. Восточно-азиатская экспедиция

Осенью 1868 года, когда план восточноазиатской экспедиции созрел для выполнения, Ксантус был в 44 летнем возрасте. В этом возрасте стал настоящим этнографом. По указаниям, полученным от руководителей экспедиции, он имел задачей добыть этнографические вещи и коллекции. Хотя он и упомянул раньше о некоторых предметах индейской культуры, но систематическим сбором их в Америке не занимался. Мысль о сборе возникла у него уже давно. В 1856 году послал из Канзаса матери некоторые чертежи индейских ружей с примечанием: »Подлинники находятся в моем владении и предназначены для коллекции Венгерского Национального Музея.«[108] Но этот замысел в то время не осуществился и материал, собранный им в Америке, только через 20 лет вошел в коллекции этнографического отделения названного музея. Судя по данным самого древнего каталога музея, он состоял только из 44 предметов.[109] Этот материал не играл почти никакой роли в создании Этнографического Музея, в основу которого были положены коллекции, собранные Ксантусом в Восточной и Юговосточной Азии.

Экспедиция была организована в начале периода, когда направление экономики страны перешло от феодалов в руки быстро развивающейся крупной буржуазии. В это время аграрная Венгрия увидела широкие возможности индустриализации и совместно с развертыванием железнодорожного движения открывались перед ней колоссальные перспективы всемирной торговли. Венгрия не имеет непосредственного соприкосновения с культурами примитивных народностей. Она не имеет и моря. Поэтому отнюдь неудивительно, что современная венгерская печать интересовалась грандиозным предприятиям, революционировавшим современную торговлю капитализма, прорытием Суецкого канала скорее с теоретической точки зрения, нежели с азартом непосредственной заинтересованности. Замысел экспедиции возник под влиянием перспектив, относящихся к созданию Суецкого канала, но корреспондент газеты **»Pesti Napló«** с терпким объективизмом уже в самом начале указал, что названный канал не будет увеличивать объемы даже нашего транзитного оборота и окажет свое благоприятное влияние только косвенно, а именно тем, что поспособствует подъему благосостояния соседних народов, для которых Венгрия служит житницей.[110] Но не говоря о бесспорных фактах экономической географии, как же мог принять участие в колонизаторских выступлениях всемирного империализма народ, который сам десятки лет изнывал под пятой австрийского деспотизма, будучи в колониальной зависимости от него? Что Венгрия все-таки

[108] **Xántus, 1857, 22.**
[109] **Xántus, 1874, 48.**
[110] **Kemény, 1869.**

требовала своего места в восточно-азиатской экспедиции и ценой ожесточенной политической борьбы обеспечила его, это должно быть приписано сознанию невыгодности ее экономического положения. Все более и более укреплялось в стране убеждение, что по освобождении от ига деспотизма восстановление венгерской экономики невозможно без внедрения новых форм и методов мировой экономики. Таким образом, создание непосредственных торговых сношений с Дальним Востоком во время невольного примирения Венгрии с Австрией превратилось в дело общегосударственной важности, при котором этнографические задачи восточно-азиатской экспедиции играли только второстепенную роль.

Руководитель экспедиции Шерцер в своем объемистом отчете только вскользь упомянул о научных достижениях экспедиции, уделив внимание всецело успехам экономического характера.[111] Австрия, которой принадлежал в то время не только Триест, но и часть побережья Адриатического моря, уже издавна, начиная от 50-ых годов XIX столетия, носилась с планом экспедиции, ставив ей задачу немедленно использовать все возможности торговли. Но такое предприятие вряд ли мыслимо без подробного знания быта и культуры народов Востока, и отчеты, написанные о первой выставке коллекции Ксантуса, ясно показали, каким путем вошли этнографические задания в общий план экспедиции. Судя по названным отчетам, Ксантус со знанием дела собрал и выставил на показ »богатые продукты и изделия таких далеких стран, о которых столь мало было известно в нашей стране. Наши сведения были столь скудны, что мы доставили на Восток такие продукты промышленности, по сравнению с которыми изделия китайцев и соседних народов оказались несравненно лучшими. Одним словом, учить хотели там, где нам самим еще нужно было много учиться в отношении вкуса, сноровки, оформления и экономики сырья. Да, многому можно было бы еще поучиться, если бы была возможность посещать столь отдаленные страны. Но эта возможность дана только немногим, поэтому-то и создаются музеи, собираются коллекции, которые отражают промышленную и художественную деятельность отдаленных народов«.[112] В этих словах ясно вырисовываются перед нами промышленные и меркантильные возрения эпохи развивающегося капитализма, составившие национально-хозяйственный фон экспедиции.

Ксантус во всяком случае возился с совершенно другими вопросами во время своего пребывания на Дальнем Востоке. Его выступления против австрийских стремлений использовать научные результаты австро-венгерской экспедиции исключительно только для Австрии, заслуживали бы особой разработки. Напряженность, возникшая уже во время подготовок между

[111] Scherzer, 1872.
[112] Y. 1871, 514.

военными, торговыми и научными интересами Австрии и Венгрии, к счастью Ксантуса, обратила на себя внимание венгерского министра просвещения Иосифа Этвёша. Министр определил задачи Ксантуса, резко отделяя их от задачи экспедиции: »Вы имеете задачей обогатить естественно-исторические, этнографические коллекции и библиотеки Венгерского Национального Музея, Академии Наук Венгрии и университета в Будапеште путем покупки или обмена. Стало быть, Ваша задача имеет чисто научный характер и является независимой от государственных и коммерческих заданий экспедиции« — читается в договоре Ксантуса.[113] О дальновидности министра свидетельствует и то, что он согласился с условием Ксантуса и разрешил ему »оставить экспедицию и продолжать сбор так и там, как и где он считает его уместным и необходимым.« В современных комментариях правильно сказалось: »если во время дальневосточной экспедиции не существовало бы венгерского правительства (и в нем такого министра, как Этвёш), равно как и такого коллекционера, как Ксантус, то нам и теперь нужно было бы посещать Берлин, Мюнхен для ознакомления с художественными изделиями Восточной Азии.«[114]

О маршруте и распределении времени экспедиции дает справку тетрадь Ксантуса, в которую записаны даты отправления его писем и коллекций.[115] Два корабля экспедиции пустились в путь 18 октября 1868 г. и обогнув Африку, по старой дороге приблизились к Индии.[116] Ксантус отправился значительно позднее. Он сел на пароход 2 января в Триесте и, пройдя возле острова Корфу и миновав Занте и Кандию, прибыл в Александрию 7 января 1869 г. Вместе с ним следовал и руководитель экспедиции Карл Шерцер, с которым он познакомился еще в Америке.[117] Ксантус провел только немного времени в Египте. Прибыв через Каиро в Суец, он продолжал свое путешествие и на английском пакеботе достиг самого южного города Аравии, Адена,[118] а затем, к концу января, — пристани Пойнт-де-Галл (**Point de Galle**) на острове Цейлон.[119] В Цейлоне провел довольно долгое время. Через Бентотту и Кальтуру отправился в Коломбо и Канди, куда прибыл 7 февраля. Продолжая свое путешествие в экипаже, через города Гампола, Амбогаммоа и Димбула добрался до кофейной плантации, находящейся в Апper-Панакелли (**Upper Panakelly**), где устроил сбор в крупном масштабе. Возвратившись в Канди, поехал в экипаже через Путлам в Анараджапуру, откуда возратился по другой дороге в Путлам, затем через Негомбо в Коломбо

[113] **Mocsáry**, 1899, 14.
[114] **Y.**, 1871, 514.
[115] См. Этнографический Музей, Будапешт, **No. E. A. D. 163.**
[116] **Xántus, 1869, b. 170.**
[117] **Hazánk s a Külföld, 1869, No. 2.** На обложке.
[118] **Xántus, 1869, a. № 7.** На обложке.
[119] **Hazánk s a Külföld, 1869, № 11.**

и, наконец, в Галле.[120] Около 15 февраля вновь на сел пароход, предварительно отправив в Европу материал, собранный в Адене и Цейлоне.

»Это было одним из самых приятных моих морских путешествий, когда отправившись из Индии и проплыв мимо островов Никобари, Суматры и живописных берегов Малайского полуострова, в феврале 1869 г. я прибыл в воды Сингапура« — писал он в своих мемуарах. Посетив полуостров Малакку, приобрел весьма ценную коллекцию от двух португальцев.[121] Начиная от начала марта вплоть до 17 апреля Ксантус пребывал в Сингапуре, рассмотрев это место и далее как центр своих коллекционерских работ.[122] Пребывая в городе, вступил в сношения со всеми властями и органами, помощь которых была необходима ему при выполнении своих научных заданий и начал свою коллекционерскую деятельность. Проехав верхом остров в северном направлении, переправился на парусах из Сарангуна через морской пролив до устья р. Джохор и, перебравшись через район, изобиловавший морскими разбойниками, проник вглубь дремучих лесов. Обследовав деревни малайцев и плантации европейцев, вернулся с богатыми научными трофеями в Сингапур, где вследствие своего долгого отсутствия считался уже пропавшим. Здесь встретился вновь с руководителем торговой и научной службой экспедиции Шерцером, с советником посольства Рансоне (**Ransonnet**), питавшим живой интерес к естествознанию и ставшим хорошим другом Ксантуса, равно как и с другими участниками экспедиции, которые в Сингапуре ожидали прибытия кораблей.

Ксантус послал дальнейший материал на родину, но измученный зноем 14 апреля совместно с Рансоне купил билет на пароход, идущий в Сиам, чтобы там дожидаться прибытия военных кораблей экспедиции.[123] Несколько часов ранее отхода парохода прибыли в порт Сингапур »Донау« (»**Donau**«) и »Эрцхерцог Фридрих« (»**Erzherzog Friedrich**«) в потрепанном бурей состоянии. Флагман эскадры, адмирал Пец согласился, чтобы Ксантус и Рансоне немедленно отправились в Сиам, для подготовки работы экспедиции на месте.

Названные лица, совершенно выздровев на море, прибыли в Бангкок 18 апреля, а военные корабли достигли Сиама только 27 апреля. Начиная с этого времени, Ксантус находился в тесной связи с экспедицией. Военные корабли бросили якорь в Пакнаме (**Menam Roads**).

Экспедиция была встречена очень радушно, а члены его были окружены всеми удобствами европейской цивилизации. С целью планомерного продолжения своей коллекционерской деятельности Ксантус сделал

[120] **Xántus, 1877, a. XIII. 127, 292; XIV. 120, 231.**
[121] **Vasárnapi Ujság, 1869, 205.**
[122] **Xántus, 1879.**
[123] **Xántus, 1876; Xántus, 1887, 1.; A kelet-ázsiai expeditio és a siami birodalom. 1869, 595.**

несколько экскурсий вглубь страны вдоль р. Менам, но разногласия, возникшие между венгерскими и австрийскими членами экспедиции, затрудняли его работу. Венгерские члены, атташе Геза Бернат, экономические эксперты Элек Череи и Ивор Каас, чиновник посольства Генгельмюллер, были в натянутых отношениях с морскими офицерами, питающими враждебные чувства к венграм. Ксантус сравнил экспедицию с осиным гнездом и нашел весьма характерным, что перед аудиенцией у сиамского короля возникли серьезные прения для решения вопроса, имеют ли право венгерские члены посольства надеть венгерскую парадную одежду для представления. Впрочем миссия экспедиции оказалась успешной, торговые переговоры скоро окончились и заключенный договор был подписан 17 мая.[124a]

Вслед за этим деятельность Ксантуса совершенно задернута туманом. Из отчета Шерцера известно, что экспедиция 19 мая покинула гавань Пакнам и, пять дней спустя, достигла Индо-Китая возле устьев р. Сайгона у мыса Сент-Джемс (St. James). Проплыв по реке, она добралась до города Сайгона, где участники провели два дня. Эксперты собрали статистические сведения о торговле,[124b] а Ксантус продолжал свою коллекционерскую деятельность. Затем экспедиция отправилась в Гонконг, где пребывала от 2 вплоть до 13 июня для подготовления торговых переговоров. Военные корабли прибыли 19 июня в Шанхай и эксперты, вместе с кораблем »Эрцхерцог Фридрих«, задержались для приобретения данных об этом важном центре торговли шелком и чаем и для проведения экскурсий с целью сбора. Другой фрегат »Donau« пошел дальше, неся на борту членов дипломатической службы, которые сперва по реке Пей-хо, затем сухопутно стремились в Пекин. Торговые переговоры долго тянулись и закончились только в сентябре. По свидетельству своих записей, в голове Ксантуса именно в это время зародился план »посетить Маниллу, Борнео, Яву и Суматру«. 29 июня он обратился в письме к министерству просвещения: »Прошу послать мне 400—500 английских фунтов в Сингапур, куда я прибуду в ноябре месяце, вернувшись из Маниллы«. Летом Ксантус продолжал свою работу в г. Шанхае и его окрестностях.[125] 13 июля послал краткий отчет о своей экскурсии в Нинь-по и поездке в Ву-сунь по адресу министра Этвёш. Посетил также и китайские »ободранные острова«.[126]

Начиная с начала сентября, в венгерских журналах появились сенсационные сообщения о том, что Ксантус отделился от персонала экспедиции.[127] Но, повидимому, он выразил только свое желание в этом отношении, но не покинул экспедицию, ибо его записки относительно своего

[124a] Scherzer, 1873, VI—VII; Vasárnapi Ujság, 1869, 427—428.
[124b] Scherzer, 1873, VII—VIII.
[125] Xántus, 1869, d. 892.
[126] Xántus, 1869, e. 966.
[127] На обложке »Hazánk s a Külföld« от 2 сент. 1869 г.; Vasárnapi Ujság, 1869, 566.

путешествия вполне совпадают с хронологией экспедиции, сообщенной Шерцером.

Покинув Шанхай, »Эрцхерцог Фридрих« в начале сентября достиг восточных берегов Японии и в порту Нагасаки десять дней ожидал возвращения членов посольства из Пекина. Ксантус воспользовался этим случаем и собрал богатый материал на близлежащих горах, равно как и в гавании Хирадо. Экспедиция продолжала продвигаться по пути Шимоносеки. Ксантус также продолжал свою деятельность и приобрел ценный материал в порту Хиото. Его чертежи, сделанные в то время в Кобе, дошли до нас. 2 октября корабли прибыли в Иокохаму. Случай, бывший в Шанхае, повторился и здесь : члены-дипломаты экспедиции отправились в Токио, а экономические эксперты остались в Иокохаме для выполнения своих собственных задач. Удачно подготовленные переговоры — подобно сиамским — быстро закончились успехом и 18 октября был подписан торговый договор между Японией и Австро-венгерской Монархией.

Вслед затем назрело время и для коренного изменения положения. 29 октября Ксантус окончательно порвал свои сношения с экспедицией, чтобы самостоятельно продолжать свою работу.[129]

В нашу задачу не входит описывать происшествия, приведшие к этому решению. Фактом является, что руководитель экспедиции открыто вызвал Ксантуса предоставить собранные им ископаемые и промышленные изделия для австрийских музеев, редких животных для двора и, кроме того, завалил его коммерческими и другими поручениями, распоряжаясь им, как со своим подначальным. В своих записях Ксантус отметил поручения, полученные им от Шерцера 26 апреля 1869 г. По смыслу заметки, носящей заглавие »Задачи г. Ксантуса в Сиаме«, сверхштатному служащему венгерского министерства просвещения были поставлены следующие первоочередные задачи : »1. сбор ископаемых, пород, метеоритов и петрификаций для Императорского дворцового минералогического кабинета ; попытки для заключения соглашений об обмене ископаемыми ; — 2. сбор предметов для Императорского Музея промышленности и прикладных искусств, равно как и для Экономического музея министерства земледелия ; 3. предложения, делаемые начальству экспедиции в целях приобретения редких животных для Императорского и кореловского зоологического сада в Шёнбрунне.« Имея в виду навязанные ему поручения, вполне понятно, что Ксантус — вслед за своим соотечественником Ивором Каас[131] — выделился из персонала экспедиции. О причинах своего решения он упомянул в своем письме, отправленном 16 ноября 1869 г. к редактору журнала

[128] На обложке »Hazánk s a Külföld« от 2 декабря 1869 г.
[129] В Этнографическом Музее под №: E. A. D., 163.
[130] Там же, № E. A. D., 164.
[131] Vasárnapi Ujság, 1870, 66.

»Hazánk s a Külföld« (= Наше отечество и зарубежье) Виктору Соколи: »Жаль, что я не мог исполнить свое обещание. Шерцер сказал мне уже в пути, что начальство экспедиции не разрешит ни мне, ни другим участникам, переписываться непосредственно с частными лицами, в частности с журналистами. Если я пожелаю вступить с кем-нибудь в переписку, то я должен обязательно пользоваться немецким языком и передавать свои письма для цензуры, а опубликовать что-нибудь можно только с согласия начальства. Несколько позднее мне было разрешено, чтобы я пользовался венгерским языком в расчетах, посылаемых к министру Этвёшу, равно как и в письмах к матери и товарищам в музее, под условием, что я дам честное слово писать только о вопросах, интзресующих адресатов без упоминания о делах экспедиции. Вам, конечно, понятно, что я не мог согласиться на эти условия и этим и объясняется, что я ничего не написал для Вашего журнала, хотя у меня порой и являлось желание к этому . . . Вы не имеете понятия, сколько пришлось нам вытерпеть на кораблях . . . Среди участников нас, венгров, было пятеро, и мы были беспрерывно предметами ненависти и преследования, причем экспедиция — вместо того, чтобы подчеркивать новую политическую ситуацию — дезавуировала наше государственное положение, продвигая Австрию всегда и повсюду на передний план. Наши консульства работают все еще под австрийским флагом, как и раньше. На зданиях, где они находятся, написано: **Imperial Austrian Consulate**, а их печати носят все еще текст: к. к. **Oesterreichisches Consulat**, одним словом, ничего не изменилось. Это прямо стыдно для нас. С тех пор как я выделился из экспедиции, я пользуюсь своим американским паспортом и еду как американец . . .«[132]

Стало быть, венгерский путешественник, привыкший к свободе, господствовавшей в Америке в 50-ых годах прошлого столетия, начал работать самостоятельно, собирая самые ценные этнографические вещи именно в этот период своей деятельности.

Покинув Иокохаму около 6 ноября, Ксантус возвратился в Гонконг на пароходе »Формоза«. До середины декабря этот город был центром его деятельности. Оттуда он отправился в свои экскурсии: около 23 ноября посетил Макао, несколько позже — Иохампу и около 8 декабря — Кантон,[133] где узнал, что его большая коллекция, собранная в Сайгоне, которая — к сожалению — не была застрахована — вместе с пароходом — погибла.[134] Начиная с этого времени, он всячески стремился возместить потерю, по меньшей мере частично. В середине декабря выехал на Филиппинские

[132] В коллекции манускриптов Общегосударственной Библиотеки им. Сеченьи под № 1912/36.

[133] **Xántus**, 1870, b. 202—205, 212—214, 224—226, 233.

[134] **Xántus**, 1877, b. 919—920, 925, 929, 932, 939, 943, 947, 953, 954; ср. еще музейный журнал Ксантуса в Этнографическом Музее под № E.A.D. 163.

острова. Из Маниллы пробрался вглубь острова Лузона и объехав Лагуну, посетил города Санта Круз в Байе.[135] Возвратившись из Маниллы в Сингапур, начал систематическую подготовку для своего путешествия на остров Борнео.[136] Занимаясь своей коллекционерской работой, он до сих пор не отдалялся на большие расстояния от центров цивилизации, но предстоящая ему теперь задача вторгнуться в селения даякских охотников за черепами таила в себе значительные опасности. Оставив на попечение свои записи и вещи своему другу, консулу Кониги (Conighi) в Сингапуре и пополнив свои приборы, 4 января Ксантус сел на пароход.[137]

11 января 1870 г. он прибыл в одноименную столицу штата Саравак на Северном Борнео, откуда он совершал свои экскурсии вплоть до начала мая, т. е. до своего отъезда.[138] Он поместился в просторном амбаре, принадлежащем Борнео Компани (Borneo Company). Его коллекциями интересовались и туземцы острова, даяки. Ксантус вторгнулся вглубь болотистых, дремучих лесов, придерживаясь своего обычного направления по рекам от устья к верховьям. В конце января проехал 60 миль вверх по течению реки Батанг-Лупара до даякского поселения Синги, а в начале марта пробрался вдоль р. Саутуборг до гор Матанг. Отправив свои коллекции в Сингапур, посетил землю даякского племени сибуйо. Немного ранее он выслал вперед строителя с тремя помощниками, чтобы тот построил для него соответствующее помещение при слиянии рр. Симуньон и Садонг. Пройдя 80 миль от г. Саравак, Ксантус достиг со своей небольшой »экстедицией« пункта с вновь отстроенным для него помещением, которое он занял, но вдруг тяжко заболел воспалением мозга от весьма сильной инсоляции. Выздоровев, он совершил экскурсию в бывший горный поселок Борнео Компани, к заросшей лесом усадьбе Альфреда Валласа, проживавшего там в 1854 году. Подробно исследовал окрестности притоков р. Симуньона, в частности приток Мендсилл, возле которого находилось много даякских деревень, где легко было пополнить продовольственные припасы »экспедиции«. Ксантусу часто приходилось плыть на веслах по притоку Семабанг, равно как и по р. Садонг, почти до ее истока.

Даяки очень приветливо встретили его, чествуя как благодетеля, так как он преследовал самого лютого хищника их фруктовых садов, орангутанга. Поручив собранный им материал (наполнивший 15 ящиков и несколько бочек) фининспектору, проживавшему в окрестностях, он направился по р. Симуньон к одноименному озеру, для чего он проплыл 118 миль

[135] Xántus, 1886, 245—286.

[136] На обложке »Hazánk s a Külföld« от 27 янв. 1870 г.

[137] См. записи Ксантуса в его журнале, находящемся в Этн. Музее в Будапеште под № E. A. D. 163.

[138] Источники путешествия Ксантуса на Борнео кроме его регистрационной книги : Xántus, 1870 b. ; Xántus, 1880, a. ; 173—219 ; Xántus, 1870, c. № 23 (на обложке). Его собственноручные кроки находятся в Этн. Музее в Будапеште под № R 5531.

от р. Садонга, хотя озеро и находилось по прямой линии не далее 35 миль. Это путешествие Ксантуса определило географическое положение реки и озера Симуньона для колониальных властей, так как оно до тех пор не было отмечено на географических картах английского адмиралтейства.



Рис. 3. Даякский боец с оружием (Акварель Ксантуса. Борнео. 1870. Этнографический Музей, Будапешт. № 5531. 103.)

В сопровождении даякского старейшины Гассанга Ксантус обошел весь район озера, посетив 9 деревень, окрестности 3 ручейков, впадающих в озеро, равно как и 5 других даякских поселков, лежащих возле них и по р. Соганг доплыл вплоть до ее истока, к северному склону горного массива Клинг-Конг. Благодаря дружбе с туземцами, ему удалось собрать здесь самый ценный этнографический материал. Наконец он возвратился

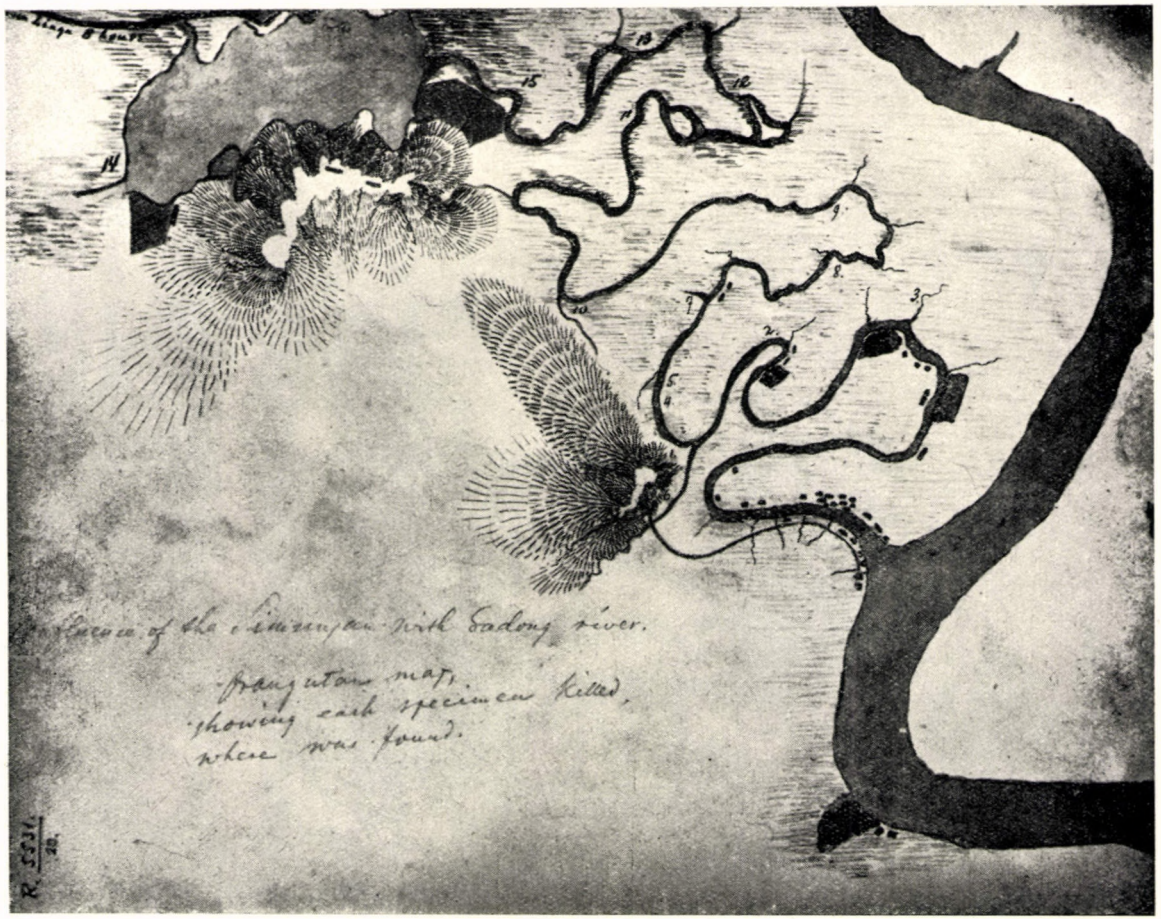


Рис. 4. Кроки Ксантуса об области рек Садонг и Симуньон. (Борнео 1870. Этнографический Музей, Будапешт. № 5531. 20.)

к берегу р. Садонг, откуда после многих перипетий 14 апреля прибыл в г. Саравак.

Изменив свой первоначальный план, он не вернулся в Сингапур, так как в его отсутствие возвратился из своей поездки в Лондон раджа штата



Рис. 5. »Дом голов« в области реки Садонг. (Акварель Ксантуса. Борнео 1870. Этнографический Музей, Будапешт. № 5531. 32.)

Саравак, двоюродный брат Джемса Брук (**James Brook**), Чарлс Брук (**Charles Brooke**) со своей молодой женой, который пригласил Ксантуса на охоту в окрестностях рр. Батанг-Лупара и Раянга. Из этой экскурсии Ксантус вернулся 29 апреля с богатым материалом, но кроме того раджа лично обогатил его коллекции своими дарами, в том числе двумя копченными даякскими черепами.

От перипетий своего путешествия в Борнео он отдыхал в Сингапуре. Но вместе с тем он отправил целый ряд ящиков на родину, приобрел весьма

ценную ботаническую коллекцию и подготовил свое путешествие на Яву. Отправившись 8 июня 1870 г.,[139] он через 5 дней прибыл в Батавию. Музеи города облегчили его работу. Ксантус вступил в тесные связи с ними и заключил соглашения об обмене предметами. Через неделю он прибыл уже в г. Бойтензорг (Buitenzorg), который стал базой для его дальнейших экскурсий. В конце июня бродил вдоль и поперек по горам Мегамендонг, в окрестностях вулкана Геде. В начале следующего месяца — находясь в Синдангале — решил поохотиться на носорога, что является предприятием более крупного размера, нежели охота на орангутанга. Охота состоялась в лесу Дьямпанг и Ксантус 6 августа послал домой известие о застреле носорога. В конце августа в Палабухане Рату достиг южного берега острова, затем возвратившись, 5 сентября прибыл в Бойтензорг, а около 11 сентября в Батавию. Там приобрел новые материалы и коллекции, заполнившие ящиков 30 и отправил их на родину.

Из этой последней восточноазиатской экскурсии Ксантус вернулся в Сингапур 17 сентября. От 24 сентября до 29 числа паковал материал, приобретенный с помощью его сайгонских связей для замещения потонувших индо-китайских вещей и 29 сентября отправил свой последний отчет на родину.[140]

Послав телеграмму о своем прибытии в Триест 5 ноября 1870 г., после короткого отдыха в г. Дьёр прибыл в Пешт. Сейчас же приступил к распаковке ожидавшегося с большим интересом материала. Об этнографической коллекции знаменитый писатель, соратник Ксантуса по освободительной войне Венгрии, Мор Иокаи написал первый подробный реферат. До прибытия Ксантуса, в сентябре парламент ассигновал 5000 форинтов для приведения собранного материала в порядок.[141] Эта сумма — ввиду отсутствия вспомогательных средств — оказалась недостаточной. За упорядочение этнографического материала — спустя год — Ксантус получил экстренный гонорар в 1000 форинтов.[142] Эта работа потребовала много времени, вследствие чего первая этнографическая выставка была открыта только в июне 1871 г. На этой выставке были экспонированы не предметы венгерского крестьянского быта, а вещи, гласящие о культуре Восточной и Юговосточной Азии.[143]

Популярность Ксантуса в это время возросла, о чем свидетельствует целый ряд празднеств, устроенных в его честь. В феврале 1871 г. бывший

[139] Помимо его журнала см. Xántus, 1871, a. 1.; Xántus, 1871, b. 62.; Xántus, 1873, 50, 62.; Xántus, 1880, b. 398—399. Его кроки, относящиеся к Яве, находятся в Этн. Музее в Будапеште под № 5531.

[140] Данные, взятые из журнала Ксантуса. См. Этнографический Музей, Будапешт, No. E. A. D. 113.

[141] Hazánk s a Külföld, 1870, №. 39. На обложке.

[142] Hazánk s a Külföld, 1871, 368.

[143] Sándor, 1951, 223—242.

директор Национального Музея Агоштон Кубиньи и заведывающий-кустос естественно-исторического отделения Янош Фривальдский устроили банкет в честь Ксантуса, на котором ему был преподнесен серебряный кубок и роскошный альбом.[144] По признанию математическо-естествоведческого

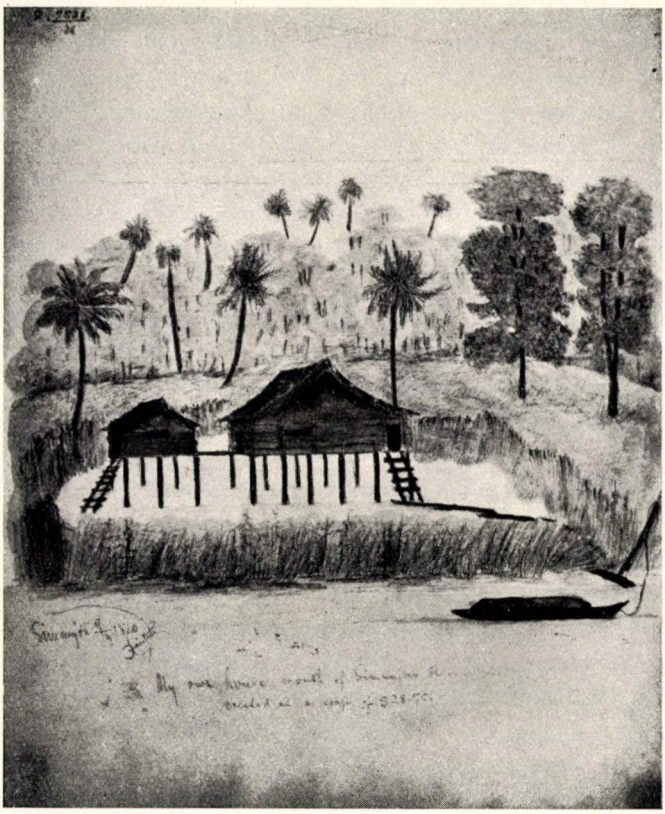


Рис. 6. Дом Ксантуса над рекой Симуньон. (Акварель Ксантуса. Борнео 1870. Этнографический Музей, Будапешт. № 5531. 36.)

отделения АН Венгрии »наш Музей приобрел европейское значение в области зоологии« только с получением американских коллекций Ксантуса,[145] а теперь эти коллекции были дополнены еще весьма ценным дальневосточным материалом.

Во время его восточного путешествия Зоологический сад очутился в критическом положении, оставшись без директора, ибо »он был душой

[144] Hazánk s a Külföld, 1871, 75.
[145] Szabó, 1868. 252.

предприятия« — как правильно заметил один из тогдашних журналов.[146] Коллекция Ксантуса, предназначенная для Зоологического сада (только лишь число обезьян превысило 150!), к сожалению, погибла в пути на корвете »Эрцхерцог Фридрих«.[147] По смыслу предварительного отчета представленного им АН Венгрии 21 мая, сборы Ксантуса привели к следующим результатам :

млекопитающие	171	экз.
скелеты и черепа	56	»
птицы для набивки чучел	771	»
птичьи гнезда и яйца	220	»
различные ящерицы, змеи и черепахи	1 362	»
рыбы	4 524	»
насекомые	53 748	»
гнезда насекомых	17	»
ракообразные	3 868	»
паукообразные	4 100	»
улитки и раковины	16 500	»
кораллы	300	»
радиолярии и черви	413	»
семена растений и т. п.	65 000	штук
ископаемые, горные породы и т. п.	428	»
монеты и т. п.	976	»
книги, манускрипты	500	»
этнографические объекты	2 690	»

Закончив свой отчет, Ксантус добавил, что »только научная обработка приобретенного материала привела бы к настоящим успехам, так как, благодаря ей, можно было бы достичь большого авторитета и в заграничной естественно-исторической литературе.«[148]

7. Во главе Этнографического отделения

Любопытно, что Ксантус с дальнейшим развитием своей научной карьеры все более и более отрывался от естественных наук, входя все в более и более тесное соприкосновение с этнографией в Венгрии. Его восточноазиатская коллекция имела большой успех среди публики : она открыла новую отрасль науки, этнографию, которая — не считаясь с спорадическими починами — была ранее почти неизвестна в Венгрии. При помощи экспо-

[146] Vasárnapi Ujság, 1869, 386.
[147] Hazánk s a Külföld, 1871, 59.
[148] Xántus, 1871, d. 147—149.

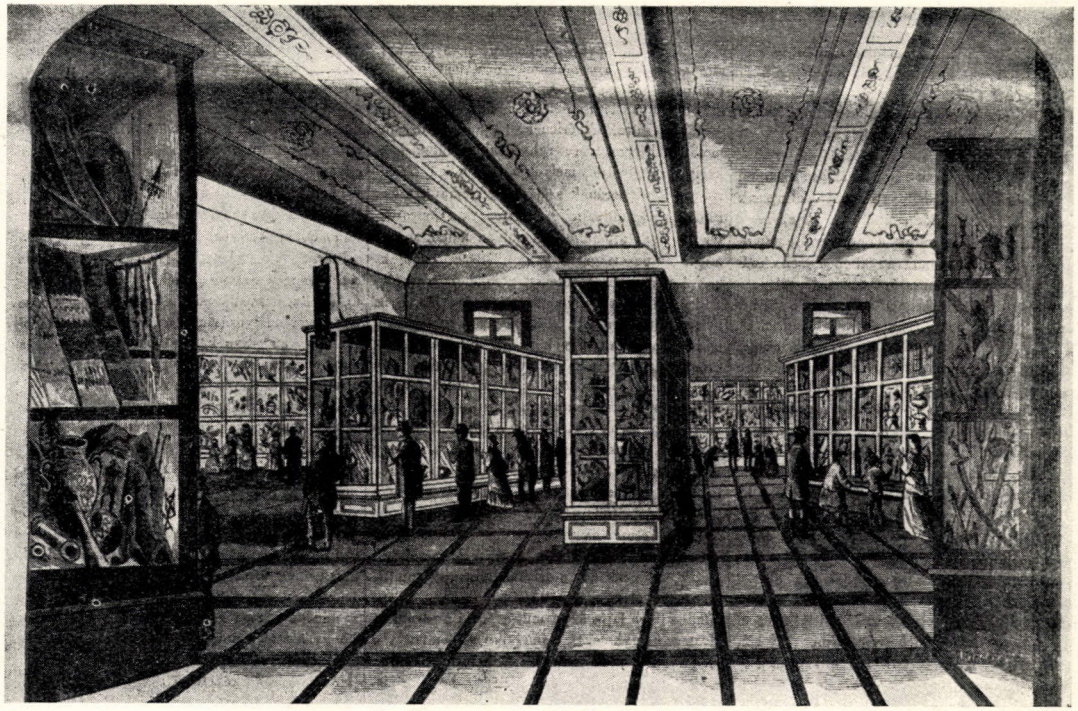


Рис. 7. Первая этнографическая выставка в Венгрии. (Из журнала »Hazánk s a Külföld« 1871. 190.)

натов Ксантус создал прочную и долговечную базу для изучения вещественной культуры примитивных народов. Его коллекции в свое время представляли собой большие ценности и в европейском отношении.

»Нам пришлось видеть самые знаменитые этнографические музеи Германии, но нигде мы не встретили более интересно и планомерно составленных коллекций японских, китайских, борнейских, явайских предметов« — установил современный анонимный критик.[149] Некоторые из его коллекций стояли вне конкуренции в европейских музеях. »Наш музей в отношении предметов, поступивших из Борнео, является нетолько знаменитым, но вслед за Лейденским музеем занимает второе место в Европе« — сказал Янош Янко в 1892 году.[150]

Таким образом, Ксантус только в качестве библиотекаря зоологического кабинета естественно-исторического отделения мог уделять некоторое внимание интересовавшим его ранее находкам,[151] потому что уход за этнографической коллекцией поглощал почти всю его энергию. Каталог первой выставки коллекции перечисляет материал Ксантуса в 2533 статьях,[152] распределение которого по отдельным местам приобретения дает следующую картину:

Япония	663	ст.
Китай	807	»
Индо-Китай	121	»
Сиам	242	»
Малайские острова	92	»
Цейлон и окрестность	112	»
Ява	165	»
Молукки	68	»
Суматра	70	»
Борнео	193	»

При этом нельзя обойти молчанием его методологические недостатки при сборе. Они объясняются в первую очередь его рационализмом, не разрешавшим ему углубиться в мышление примитивных народностей и понять некоторые особенности первобытных культур. »Однажды я хотел отправиться на лодке« — писал он в своей статье о Борнео — »вдруг несколько попугаев темного цвета с громким криком пролетело через реку. Мои люди бросили весла и с воплями: »Анту! Анту!« выскочили на берег. Они объявили, что сегодня нельзя отправиться, так как Анту в образе черных птиц

[149] Y., 1871, 515.
[150] Jankó, 1891, 367.
[151] Mocsáry, 1899, 17.
[152] Xántus, 1871, d. 1—62.

протестует против отъезда«.[153a] Теперешний коллекционер, желающий правильно поступить в данном случае, сейчас же приступил бы к выяснению вопроса об Анту. В противоположность этому, Ксантус стремился только объяснить »насколько глупо их убеждение и насколько неверно их предположение, что птицы являются воплощением Анту.« С подобным же непониманием прервал он магические обряды празднования плодовитости на берегах озера Симуньон, »когда уроженцы хотели увеличить число колокольчиков и продолжать прогулку до бесконечности.« Он сказал »Гассангу, что нужно окончить эту церимонию, потому что он голоден и настала пора ужинать«.[153b] Вообще его естественно-научное образование и практичность приспособили его скорее к сбору предметов, нежели к регистрации народных верований или других явлений фольклора. С другой стороны не подлежит сомнению, что истолкование собранных объектов невозможно без учета представлений, связанных с ними. Для ознакомления с этими представлениями необходимо долгое пребывание среди данного племени, равно как и проникновение в его созерцание. Ксантус не уделил достаточного внимания этим фактам и, кроме того, ему было некогда.

Вопреки этим недостаткам, нельзя не оценить высоко его достижения, особенно если учтем, что он не был гражданином империи, обладающей множеством колоний, а сыном народа, только что освободившегося от гнета колониального положения.

При критическом обсуждении его коллекций нужно учесть, что Ксантус приступил к коллекционерской работе в области этнографии почти без всяких этнографических знаний. Он опирался только на небольшой опыт, приобретенный в Америке по оценке вещей примитивных народностей, равно как и на свою художественную восприимчивость и эстетическое чутье. Будучи выдающимся чертежником, он занимает место и в художественной истории Венгрии.[154] Таким образом, вполне понятно, что при сборе он руководился скорее принципами эстетики, нежели этнографии. Общие претензии капитализма, фаворизирующие красивые, привлекательные вещи, еще более подкрепили в нем эту склонность. От экспедиции он получил поручение купить не только дорогие художественные вещи, но и дешевые изделия. Этим и объясняется, что Ксантус не мог удержать значительной части своих коллекций в этнографическом отделении, возглавляемом им же, а передал ее Музею Прикладных Искусств.

Имея в виду развитие этнографии и музеологии того времени, о планомерных сборах не могло быть и речи. Сбор зависел в значительной мере от случайности и в данном случае коллекционеру приходилось решать вопрос покупки по своему усмотрению. Ксантус приобрел самые ценные предметы

[153a] Xántus, 1880, a. 215.
[153b] Xántus, 1880, a. 199.
[154] Lyka, 1942, 161, 212.

своей этнографической коллекции в местах, в которых он провел больше времени, ознакомляясь с ними более подробно, в первую очередь на Борнео. Этнографический Музей в Будапеште — к сожалению — не составил еще полного списка о собранном Ксантусом материале, отдельные части кото-

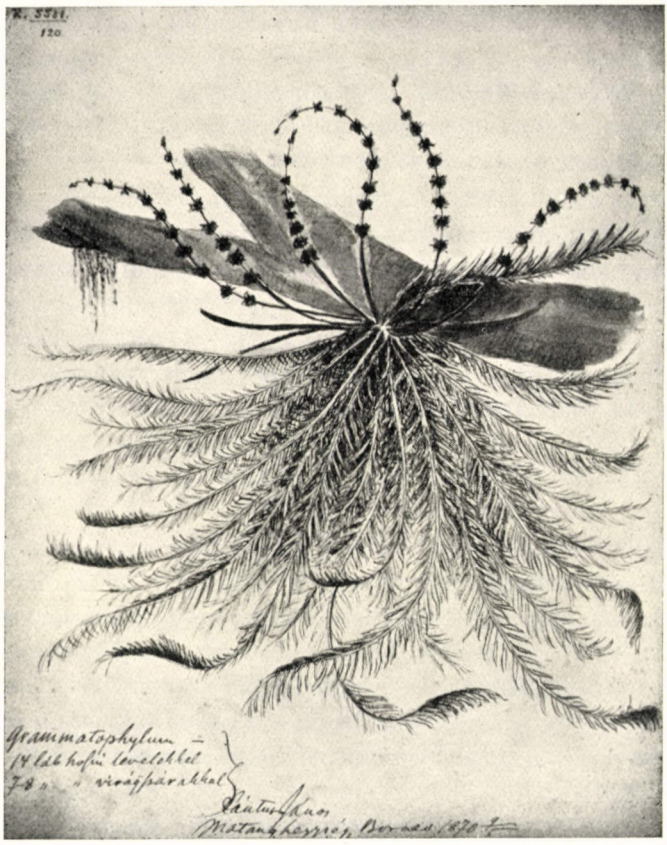


Рис. 8. **Grammatophylum**. Длина листьев приблизительно 14 футов, длина же стебелей цветов 7—8 футов. (Акварель Ксантуса. Борнео, горы »Матанг«, 1870. Этнографический Музей, Будапешт. № R 5531. 120.)

рого расхищались в течение последних 80 лет. Точно не определена даже и научная ценность собранных объектов. Жаль, что записи Ксантуса, относящиеся к этнографическим вещам и предметам прикладного искусства, до сих пор не были еще найдены. Судя по регистру, веденному Ксантусом, списки всегда отправлялись совместно с материалом. »К каждому экземпляру приложен печатный список, содержащий название и размеры объекта

с датой приобретения« — писал он еще из Америки в связи с коллекциями естественно-научного характера,[155] но также известно, что он заказал бланки списков и в Японии во время дальневосточной экспедиции. Не подлежит сомнению, что собранные им вещи имели выдающееся значение в свое время. В качественном отношении они не отстали от подобных же коллекций других стран, а в количественном отношении даже превысили их, почти всех без исключения. Методика Ксантуса не достигла степени совершенства, наблюдаемой у самых лучших коллекционеров того времени (например, у Миклухо-Маклая, действовавшего в Новой Гвинее) и некоторые коллекции, наспех приобретенные Ксантусом, имеют такую же проблематичную ценность, как и записи, относящиеся к ним.

Для увеличения своих коллекций Ксантусу выпадали редкие возможности. Впрочем, он оторвался от этой работы в 1872—73 годах надолго : ему было поручено — совместно с Ромером — собрать характерные предметы культуры венгерского крестьянства для всемирной выставки, имевшей место в 1873 году в Вене.[156] В связи с этим он составил план вскрытия отечественной этнографии, определяя круг вещественной отрасли этой дисциплины. Им было собрано большинство состоящего из 1844 объектов материала, о котором наглядную картину дает нам журналик, весьма педантично составленный по отдельным районам (комитатам) и национальностям.

Коллекция была экспонирована для публики — до открытия всемирной выставки — в Будапеште от января до апреля и имела большой успех. Эта показательная коллекция предметов венгерской крестьянской культуры, возвратившись из Вены, к сожалению, не вошла во владение Этнографического Музея в Будапеште. Во время первого мирового кризиса капитализма эту коллекцию удалось спасти для страны как коллекцию кустарного производства, предназначенную служить краеугольным камнем для создаваемого Музея Прикладных Искусств, ибо это учреждение имело задачей собирать образцы высококачественного промышленного производства и как таковое пользовалось симпатиями общественного мнения. Ксантус глубоко сожалел, что собранный им с большим трудом материал не вошел в состав Этнографического Музея, тем более, что некоторые части его дальневосточных коллекций (в том числе текстильные изделия, плетеные предметы, металлические поделки и керамика) были также переданы названному музею. Ксантус лично сделал это предложение, чтобы воспрепятствовать распродаже венгерской коллекции на выставке промышленности в Вене.[157] Предметы венгерской коллекции поступили на свое естественное

[155] Xántus, 1859, 3.
[156] Sándor, 1953,
[157] Xántus, 1872, 267.

место, в Этнографический Музей Венгрии только значительно позднее' после смерти Ксантуса.[158]

Мы воздержимся от дачи подробного отчета о дальнейших выставках и случайных сборах Ксантуса, а лишь бегло коснемся факта, что этногра-

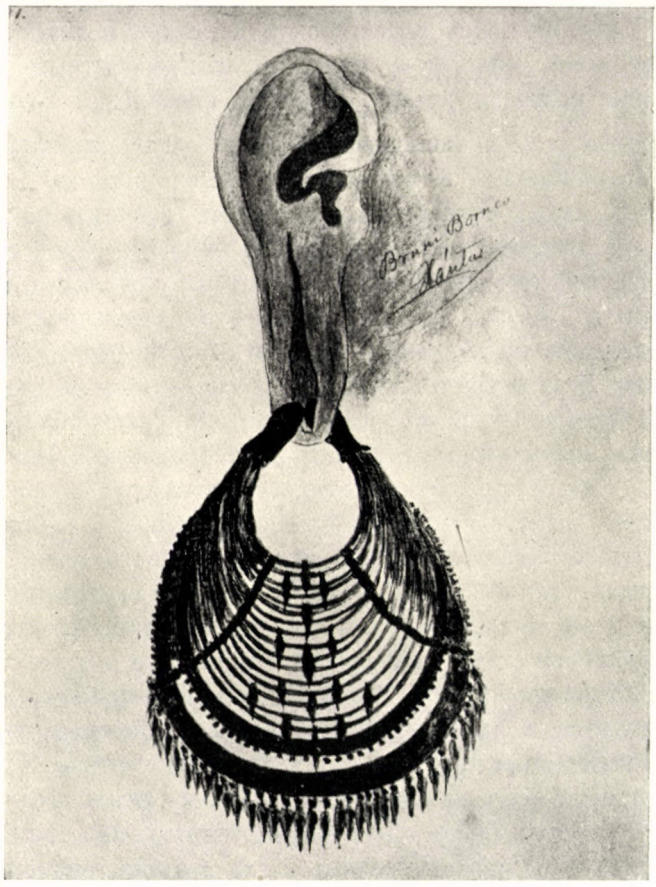


Рис. 9. Серьга. (Акварель Ксантуса. Борнео, Бруни 1870. Этнографический Музей, Будапешт. № R 5531. 82.)

фический отдел юбилейной выставки в 1896 г., устроенной в ознаменование тысячелетней годовщины завоевания страны, был создан отчасти по замыслу Ксантуса.[159] Об уходе и сохранении этнографической коллекции согласно требованиям современной музеологии не могло быть и речи, так как

[158] Jankó, 1902, 338—339.
[159] Xántus, 1892, 299—310.

экспонаты долгое время находились в витринах, помещенных в узких коридорах Национального Музея.

Карьера Ксантуса позднее до некоторой степени попала в тупик. Из его официальных докладов и предложений ясно видно, что он правильно оценивал предстоящие ему задачи, зная не только высокую ценность коллекций, но и музеологические требования, связанные с ними. Но дух непонимания, проявившийся в венгерской музейной политике по отношению пренебрегаемой культуры крестьян и первобытных народностей, преждевременно подрезал крылья высоких стремлений Ксантуса.[160]

Его научные труды, написанные в связи с дальневосточной экспедицией, были опубликованы в журналах-современниках, но никто еще не задавался целью рассмотреть их в совокупности, несмотря на то, что именно эта часть его литературной деятельности является самой самостоятельной. Одна часть этих трудов создавалась во время экспедиции. Впечатления, полученные им в Триесте, Александрии, Китае, Сингапуре, на Борнео и Яве, были написаны на местах и отправлены венгерским журналам для опубликования. Другая часть трудов была составлена на родине при помощи записей, сделанных во время путешествий. Таким образом были разработаны самые значительные статьи его, набросанные о Цейлоне, Сингапуре и Борнео. Самым характерным качеством этих трудов является наглядность описания. Ксантус как будто бы водит читателя, набрасывая перед ним исключительно живую и ясную картину о геологических и топографических свойствах данного места, о фауне, флоре и ископаемых, равно как и об обществе и его культуре. Чисто этнографический характер проглядывает только во второй статье написанной о Борнео. В других статьях общество и его культура изображены среди окружающей природы. В его наблюдениях встречаются и черты этнографического характера, но они составляют только интересные красочные места в общей картине. В своих трудах он опирался прежде всего на свои опыты, но часто ссылался и на сведения, полученные от властей, равно как и на соответствующую научною литературу. Это относится в первую очередь к его статьям, написанным о Цейлоне и геологии Китая, для которых использовано множество старинных источников. Это будет благодатной темой для грядущего исследования вскрыть и обработать его интересные и трепещущие жизнью труды, оценить его научные результаты, сделав их доступными для широких масс читателей. Хотя края, посещенные им — за исключением одной части Борнео — и были известны европейской науке, его работы все же содержали много новшеств, причем настолько хорошо изложены, что они предста-

[160] Особенно интересным является отчет Ксантуса № 9 от 25 сент. 1888 г. »об изучении Этнографического Музея в Вене«. Отчет находится в центральном архиве Этн. Музея в Будапеште.

вляют собой лектюры, пленяющие читателей и теперь. Жаль, что Ксантус позднее не создал из них произведение, имеющее чисто научный характер.

При всех своих недостатках труды Ксантуса дышат высокой гуманностью по отношению к угнетенным колониальным народам. Бывший участник освободительной войны Венгрии, воин Кошута никогда не дезавуировал свои прогрессивные идеи. Несмотря на то, что в связи со своей коллекционерской деятельностью он не мог обходиться без помощи колониальных властей и во время своих путешествий поддерживал тесные

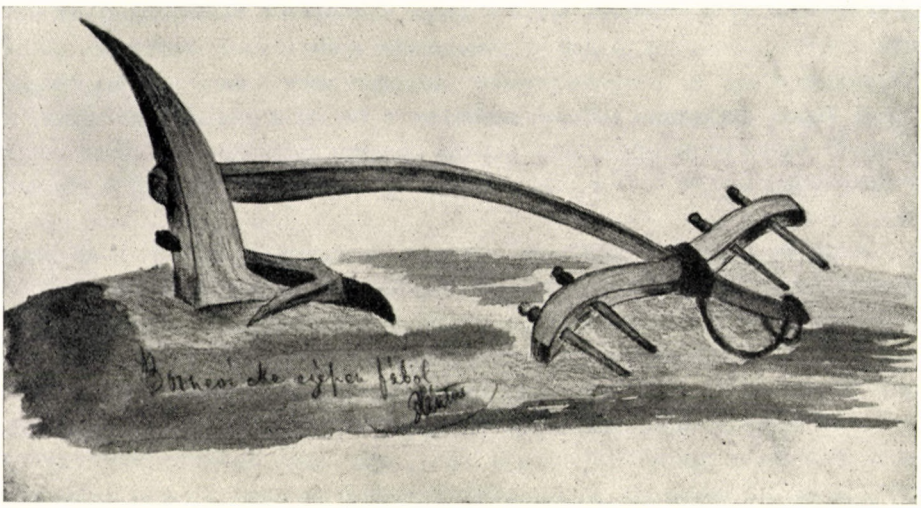


Рис. 10. Плуг из дерева. (Акварель Ксантуса. Борнео, 1870. Этнографический Музей, Будапешт. № R 5531. 39.)

связи с персоналом дипломатической и консульской службы, равно как и с чиновниками колониального управления, все же правильно обсуждал сущность колониального быта и различные формы угнетения и эксплуатации колониальных народностей. Им замечено, что в обращении с туземцами голландцы придерживаются других методов, нежели англичане и, что колонизация имеет различные формы от применения жестокого насилия до благоразумной цивилизаторской деятельности.[161] Наиболее сильно критикует он вывоз наемников из Макао. »Перу, Чили и Куба были странами, куда этот вывоз направлялся. В последнем году из Макао были экспортированы 160 000 кули . . . . . Правительство колонии взимает пошлину в $10^1/_2$ долларов с каждого экспортированного кули и эта пошлина составляет важнейшую статью его доходов . . . Когда кули высадится на берег

[161] Xántus, 1877, a. XIII. 147.

в Кубе или Перу и по смыслу контракта приступает к работе, чтобы зарабатывать 4 доллара в месяц, он имеет уже долги у хозяина, доходящие приблизительно до 82—85 долларов. Пока эта сумма, возникшая из авансов и разных такс, не заплачена, кули не имеет права покинуть своего хозяина. Как ни поверни, а такого рода сделка не что иное, как торговля рабами, ибо кули не может никогда заплатить свой долг из своей скудной зарплаты, стало быть он должен исполнять принудительную работу для своего хозяина до бесконечности«.[162] Целый ряд подобных заявлений свидетельствует о том, как правильно рассматривал он вещи в сфере колониальных вопросов. В туземце он видел и ценил человека и решительно отклонял »раболепство восточных людей по отношению к высокопоставленным лицам«, низкопоклонство и отвратительное пресмыкание, »вследствие которого бедные перед богачами готовы валяться в песке и ползать за ними, как черви«.[163] Ксантус не пропускал случая подчеркнуть это и на своей родине, где некоторые из его соотечественников в полной мере заслужили это порицание.

Ксантус женился довольно поздно: 22 октября 1873 г. в 48 летнем возрасте он заключил брак с знаменитой красавицей того времени, Габриеллой Долежал.[164] Через 8 месяцев новобрачные разошлись. Его вторая жена, бывшая жена Э. Людвига, ради него развелась с мужем.[165] В обществе он долго пользовался большой популярностью и, благодаря своему скромному поведению и хорошим манерам, приобрел много друзей. Его доклады имели большую привлекательную силу, ибо они производили глубокое впечатление на широкие массы публики своей непосредственностью и наглядностью, характеризующей и его произведения.[166] Однако, на склоне лет он все более и более изолировался и широкий круг друзей знаменитого путешественника суживался и дошел до небольшой застольной компании.[167]

Ксантус дожил до великого поворота, наполнившего новой жизненой силой венгерскую этнографию. Он увидел еще начало эпохи О. Германа, Л. Катона, Я. Янко и т. п. и участвовал в создании Этнографического Общества. Еще при его жизни появились первые этнографические журналы и Этнографический Музей перешел в свое первое самостоятельное здание. Он лично выбрал себе преемника, в лице молодого Яноша Янко, но в изменившихся условиях новой жизни чувствовал себя уже чужим.

Весной 1894 г. Ксантус простудился. Вылечившись от воспаления легких 10 апреля 1894 года, он отправился на отдых на берега Адриатического моря, в Volosca. Там устроил свой последний сбор, приобретая

[162] Xántus, 1870, a. 117—119.
[163] Xántus, 1870, a. 103—106.
[164] Fővárosi Lapok, 1873, okt. 22.; Pásztor, 1923.
[165] Сообщение Марии Ксантус.
[166] Cholnoky, 1925, 212.
[167] György, 1894, 381.

рыболовные приборы для музея. На возвратном пути сопровождающий его младший брат с испугом заметил, что ум Ксантуса помутился.[168] »Он хотел превратить Карст в золото, чтобы оказать помощь всем бедным лицам и страдальцам Венгрии« — писал один из биографов Ксантуса на основании устного сообщения членов его семьи. »Его привезли домой, в квартиру на улице Дамьянич, где он расхаживал весь день в женском платье, желая превратить все в золото, пока его не застала смерть.«[169]

Он скончался 13 декабря 1894 г.

Его память будет долго чтиться, в первую очередь благодаря своим ценным коллекциям, в частности коллекциям естественно-исторического характера, сделавшим фауну и флору едва известных или совершенно неизвестных краев доступными для музеев двух континентов, а также и открытию сотен новых видов растений и животных. Некоторые из его этнографических коллекций тоже имели большую ценность в свое время. Создав коллекцию, поставленную в основу Этнографического Музея в Будапеште, он сделал возможным, чтобы Венгрия в этом отношении опередила целый ряд западных государств, владеющих значительными колониями. Он создал также и первую коллекцию предметов венгерской крестьянской культуры, обеспечивая этим прочную базу для изучения до тех пор едва известной в Венгрии дисциплины, вещественной этнографии. Его методика, конечно, уже устарела до некоторой степени и его этнографические коллекции оставляют желать многого с точки зрения современной науки. Его литературные произведения не имеют больших претензий и те из них, в которых обработаны американские темы, не отличаются даже своей оригинальностью. Но наглядные и оживленные описания, в которых он увековечил свои впечатления, полученные на Дальнем Востоке, значительно превысили уровень тогдашней литературы о путешествиях. Ксантус был несравненно лучшим коллекционером, нежели исследователем. Будучи замечательным организатором, он удостоился признания потомства и как основоположник зоологического сада, венгерского Музея Прикладных Искусств и библиотеки Естественно-научного Музея Венгрии.

БИБЛИОГРАФИЯ

Annual Report of the Board of the Smithsonian Institution. 1857—1864. Washington.

Bártfai Szabó L., A sárvár-felsővidéki gróf Széchenyi család története (= История семейства графов Сеченьи). III. Budapest, 1926.

Cholnoky J., Xántus János emlékezete (= Память Яноша Ксантуса). Földrajzi Közlemények (= Географические Известия), LIII. Budapest, 1925. 212—214.

Endes M., Csík-, Gyergyó-, Kászon-székek (Csík megye) földjének és népének története 1918-ig (= История земли и населения чикского, дьердьёвского и касонского районов комитата Чик вплоть до 1918 г.). Budapest, 1938.

[168] Сообщение Марии Ксантус.
[169] Pásztor, 1923.

Eötvös K., Simonyi Ernő, B. : Magyar alakok (= Венгерские фигуры.). Budapest, 1901.

Frivaldsky J., Rövid vázlata azon szerzeményeknek, melyekkel Xántus János a m. n. Múzeum állattani osztályát gazdagította (= Краткий список предметов, которыми Я. Ксантус обогатил зоологические коллекции Венгерского Национального Музея) B : Magyar Orvosok és Természetvizsgálók... X. nagygyűlésének munkálatai (= Труды X. съезда венгерских врачей и естествоведов). Pest, 1865.

György A., Xántus János (= Янош Ксантус). Földrajzi Közlemények (= Геогр. Изв.), XXII. Budapest, 1894. 377—381.

Jankó J., A. R. Hein : Die bildenden Künste bei den Dayak's in Borneo. Wien, 1890. Рецензия в »Ethnographia« (= Этнография), III. Budapest, 1892. 367—369.

Jankó J., A néprajzi osztály története (= История этнографического отделения) B : A Magyar Nemzeti Múzeum múltja és jelene (= Венгерский Национальный Музей в прошлом и теперь). Budapest, 1902.

Jánossy B., A Kossuth-emigráció Angliában és Amerikában (= Кошутовская эмиграция в Англии и Америке). 1851—52. I—II. Budapest, 1940—1948.

K. J., Állatkertek és aquariumok Európában (= Зоологические сады и акварии в Европе). Természettudományi Közlöny (= Естественно-ист. Бюл.), V. Budapest, 1873. 361—362.

A keletázsiai expeditio és a siami birodalom (= Восточно-азиатская экспедиция и Сиам) : »Hazánk s a Külföld« (= Наше отечество и зарубежье), X. Pest, 1869. 595.

Kemény Zs., Suez (= Суец), в газете »Pesti Napló« от 31 окт. 1869 г.

Kende G., Magyarok Amerikában (= Венгры в Америке). Cleveland—Ohio. USA. 1927.

L., A pesti állatkert (= Зоологический сад в Пеште). »Vasárnapi Ujság« (= Воскресная газета), XIII. Pest 1866. 302—303.

Levelezések : London, febr. 25 reggel (= Переписки, Лондон, 25 февраля, утром), в газете. »Magyar Hirlap«, III. Pest, 1851. 1794.

Lyka K., Nemzeti romantika. Magyar művészet 1850—1867 (= Национальный романтизм. Венгерское искусство от 1850—1867 г.). Budapest, 1942.

Madden, H. N., Xántus Hungarian Naturalist in the Pioneer West. Palo Alto, 1949.

Mocsáry S., Emlékbeszéd Xántus János levelező tagról (= Речь, посвященная памяти члена-корреспондента Яноша Ксантуса). M. T. Akadémia elhúnyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek (= Речи, посвященные памяти умерших членов АН Венгрии). IX, № 9. Budapest, 1899.

Pásztor Á., Xántus János megkéri Doleschall Gabriellát (= Янош Ксантус сватается за Габриеллу Долешал) B : Magyar írók szerelmei (= Любовные похождения венгерских писателей), приложение к газете »Pesti Napló«. Budapest, 1923.

Pulszky F., Életem és korom (= Моя жизнь и эпоха). III. Budapest, 1881.

Rienzi, D., Ozeanien oder der fünfte Weltheil I. Stuttgart, 1840 (in : C. A. Mebold, Welt—Gemälde Gallerie).

Saly A. S., Xántus Nep. János (= Янош Хантус). »Képes Ujság« (= Иллюстрированная газета), I. Pest, 1859. 217—218.

Sándor I., Első néprajzi kiállításunk és Xántus János (= Наша первая этнографическая выставка и Янош Ксантус). Ethnographia, LXII. Budapest, 1951. 223—242.

Sándor I., Néprajzi muzeológiánk kezdetei (= Начатки этнографической музеологии в Венгрии) : Ethnographia, LXIV. Budapest, 1953.

Scherzer, K., Fachmännische Berichte über die österreichisch-ungarische Expedition nach Siam, China und Japan 1868—1871. Stuttgart, 1872.

Szabó J., A keletázsiai expeditio ügyében (= К вопросу о восточно-азиатской экспедиции). M. Tud. Akad. Értesítője (= Бюллетень АН Венгрии), II. Pest, 1868. 252—254.

Gróf Széchenyi István levelei (письма), Összegyüjtötte (под. ред.) : *Majláth Béla*. I. Budapest, 1889.

Gróf Széchenyi István naplói (дневники). Szerk. (под ред.) : *Viszota Gyula*. II—IV. Budapest, 1926—1934.

Szólás R., Adalék a Xántus-család életrajzához (= К биографии семейства »Ксантус«), Győri Szemle (= Дьёрское Обозрение), XIII. Győr, 1942. 158—160.

Vajda L., Nagy magyar utazók (= Знаменитые венгерские путешественники). Budapest, 1951.

Wurzbach, C., Biographisches Lexikon des Kaiserthums Österreich. Bd. LIX. Wien, 1890.

Xántus J., A czengár népfaj (= Народность »ценгари«). »Hon és Külföld« (= Отечество и Зарубежье), VIII. Kolozsvár, 1848. 45—47, 49—50, 53—55.

X. (Xántus J.), Külföld (= Сообщения из-за границы). в газете »Magyar Hírlap» IV. Pest, 1852. стр. 3129—3130, 3134—3135, 3157—3159, 3171—3173.

Xántus János levelei Északamerikából (= Письма из Северной Америки). Közli (под. ред.): Prépost István. Pest, 1857.

Xántus J., Pueblo los Angeles, déli California (= Пуебло лос Анджелес, Южная Калифорния) в газете »Pesti Napló« X. Pest, 1859. № 62.

Xántus J., Utazás California déli részeiben (= Путешествие по южным районам Калифорнии). Pest, 1860.

Xántus J., Utasítás a természetrajzi tárgyak gyüjtésére, elkészítésére, megtartására és tovaszállítására (= Указания для сбора, препарирования, консервирования и транспорта естественно-исторических объектов). Pest, 1862 a.

Xántus J., Indítvány az állatkert felállítása tárgyában (= Предложение о создании зоологического сада). Magyar Tudományos Értesítő (= Бюллетень Венгерской Науки), I. Pest, 1862 b. 171.

Xántus J., Levelek külföldről (= Письма из-за границ). Győri Közlöny, VI. Győr, 1862 c. 217—218, 225—226, 277—278, 285—286, 290, 297—299, 325—326, 330—331, 341—342, 345—346, 374, 406—407, 409—410, 413—414.

Xántus J., Dear Countrymen in the United States. Washington, 1862 d.

Xántus J., Adatok a tenger természettani földiratához (= Данные к физической океанографии). Akadémiai Értesítő (= Бюл. АН Венгрии), III. 1862 e. 86—100.

Xántus J., Amerikai levelek (= Письма из Америки). Győri Közlöny, VII. Győr, 1863. 6—7, 10, 11, 153—154, 157—158, 339, 343, 351, 355, 363, 375, 379.

Xántus J., Amsterdam. Győri Közlöny, VIII. Győr, 1864 a. 213, 217.

Xántus J., Leyden. Győri Közlöny, VIII. Győr, 1864 b. 221, 222.

Xántus J., Rotterdam. Győri Közlöny, VIII. Győr, 1864 c. 229, 233.

Xántus J., Antwerpen. Győri Közlöny, VIII. Győr, 1864 d. 237. 241, 245.

Xántus J., A magyar nemzeti múzeum érdekében (= В интересах венгерского национального музея): Pesti Napló, XV. Pest, 1864 e. № 241.

Xántus J., Indítvány egy természetrajzi könyvtár felállítása iránt (= Предложение для создания естественно-исторической библиотеки). В: Magyar orvosok és természetvizsgálók 1864. Marosvásárhelytt tartott X. nagygyűlésének munkálatai (= Труды X. съезда венгерских врачей и естествоведов в Марошвашархей в 1864 году). Pest, 1865 a.

Xántus J., A magyarországi gőzhajózás érdekében (= В интересах пароходства Венгрии). Győri Közlöny, IX. Győr, 1865 b. No 68—71.

Xántus J., Levele Frivaldsky Jánosnak (= Письмо к Я. Фривальдскому): »Hazánk s a Külföld« (= Наше отечество и зарубежье), IX. Pest, 1869 a. № 7 (на обложке).

Xántus J., A magyar-osztrák keletázsiai expeditiótól (= От венгерско-австрийской восточно-азиатской экспедиции). Hazánk s a Külföld (= Наше отечество и зарубежье), IX. Pest, 1869 b. 170.

Xántus J., Chinai geológiai gyüjtemény (= Геологическая коллекция из Китая) Akad. Ért. (= Бюллетень АН Венгрии). III. Pest, 1869 c. 173.

Xántus J., Khinai levelek (= Письма из Китая), Fővárosi Lapok (= Столичный Листок). VI. Pest, 1869 d. 892.

Xántus J., A kinai rongyos szigetek (= Китайские ободранные острова), Fővárosi Lapok (= Столичный Листок), VI. Pest, 1869 e. 966.

Xántus J., Hazafelé (= По пути домой) Hazánk s a Külföld (= Наше отечество и зарубежье), XI. Pest, 1870 a. 103—106, 117—119, 131—132, 171—173, 186—189.

Xántus J., Borneo szigetén (= На острове Борнео). Vadász és Versenylap (= Охота и Конский Спорт), XIV. Pest, 1870 b. 203—205, 212—214, 224—226, 233.

Xántus J., Levele Eötvös Józsefnek (= Письмо к И. Этвёшу). Hazánk s a Külföld (= Наше отечество и зарубежье), XI. Pest, 1870 c. № 23. (на обложке).

Xántus J., Djampang, rengeteg Jáva szigetén (= Лес Дьампанг на острове Яве). Ország—Világ (= Страна и Мир), I. Pest, 1871 a. 1.

Xántus J., Tjandjöer, Jávasziget (= Tjandjöer на острове Яве). Ország-Világ, I. Pest, 1871 b. 72.

Xántus J., Előleges jelentés a keletázsiai kiküldetése alkalmával gyüjtött természeti és néprajzi tárgyakról (= Предварительный отчет о естественно-исторических этнографических предметах, собранных во время восточно-азиатской экспедии). Akad. Ért. (= Бюл. АН Венгрии), V. Pest, 1871 c. 147—149.

Xántus J., A közoktatási minister megbízásából 1869/70-ben Keletázsiában országos költségen gyüjtött s a Magyar Nemzeti Múzeumban ideiglenesen kiállított népismei tárgyak leíró sorozata (= Перечень этнографических объектов, приобретенных на государственные

средства по поручению министра просвещения в 1869/70 гг. в Восточной Азии и временно выставленных в Венгерском Национальном Музее). Pest, 1871 d.

Xántus J., A magyar népismei kiállításról (= О венгерской этнографической выставке). Fővárosi Lapok (= Столичный Листок), IX. Budapest, 1872. 267.

Xántus J., Jáva szigetén (= На острове Яве). Ország-Világ Naptára (= Календарь еженедельника) Ország-Világ, 1873. 50, 62.

Xántus J., Vezető a Magyar Nemzeti Múzeum népismei gyüjteményében. Második, átdolgozott kiadás. (= Путеводитель по этнографической коллекции Венгерского Национального Музея). Pest, 1874.

Xántus J., Vállas Antal (= Антал Валлаш). Reform, VII. Budapest, 1875. 2.

Xántus J., Látogatás a siámi királynál (= Аудиенция у сиамского короля). Életképek (= Жанровые картины), I. Budapest, 1876. 279—281, 289—291, 298—299, 307—308, 314—316, 322—323, 332—333.

Xántus J., Néhány hét Ceylon szigetén (= Несколько недель на острове Цейлоне). Budapesti Szemle (= Будапештское Обозрение), XIII. Budapest, 1877 a. 127—150, 292—349; XIV. Budapest, 1877 a. 120—137, 231—284.

Xántus J., Sob Sám Tim Bu. Fővárosi Lapok (= Столичный Листок), XIV. Budapest, 1877 b. 919—920, 925, 929, 932, 939, 943, 947, 953—954.

Xántus J., Uti emlékeim Singapoore és vidékéről (= Воспоминания о путешествии в Сингапур и окрестности). Győr, 1879.

Xántus J., Borneo szigetén 1870-ben tett utazásomról (= О моем путешествии на остров Борнео в 1870 году). Földrajzi Közlemények (= Географические Изв.), VIII. Budapest, 1880 a. 245—286.

Xántus J., A gamelang (= Восточный музикальный инструмент »гамеланг«: Ország-Világ (= Страна и Мир), X. Budapest, 1880 b. 398—399.

Xántus J., Uti emlékek Luzon szigetéről (= Воспоминания о путешествии в остров Лузон). Földrajzi Közlemények (= Географические Известия), XIV. Budapest, 1886. 245—286.

Xántus J., Uti emlékek Siámból (= Воспоминания о путешествии в Сиам). Földrajzi Közlemények (= Географические Изв.), XV. Budapest, 1887. 1—28.

Xántus J., A Magyar Nemzeti Múzeum Ethnographiai Osztályának története s egy indítvány jövőjét illetőleg (= История этнографического отделения Венгерского Национального Музея и предложение относительно его будущего). Ethnographia, III. Budapest, 1892. 298—310.

Y., »Xántus néprajzi gyüjteménye« (= Этнографическая коллекция Ксантуса). Fővárosi Lapok (= Столичный Листок), VIII. Pest, 1871. 514.

— »Xántus János hazánk fia« (= Наш соотечественник Янош Ксантус). Győri Közlöny, V. Győr, 1861. 371.

— »Xántus János« (= Янош Ксантус). Vasárnapi Ujság (= Воскресная газета), IX. Pest, 1862. 61.

JOHN XANTUS

I. SÁNDOR

SUMMARY

John Xantus, promoter and first custodian of the Ethnographical Museum of Budapest, the explorer and hero of many odysseys, was born on the 5th of October, 1825. His hellenistic name may be but the creation of a fashion prevailing in the humanistic era, for documents prove him to have been the offspring not of immigrants but of an ancient Szekler family. Ignatius Xantus, his father, on becoming the legal adviser to the Széchenyi family, left Transylvania and went to live in Transdanubia. During a number of years, approximately from 1825 to 1832, Ignatius Xantus trained Stephen Széchenyi, the »greatest Hungarian« and eminent reformist, in jurisprudence, in political science as also in the Hungarian and Latin languages, being at the same time Széchenyi's loyal inspirator and comrade-in-arms in his parliamentary activities. His wife, Theresa Wunderlich, was the well-educated daughter of a landholder's steward in Transdanubia. Their married life began at Csokonya, on Stephen Széchenyi's estate in the county of Somogy, where their children, John, Julius and Amalia, were born. The boys spent the first years of their schoollife at Csokonya, attending the local primary-school; they continued their studies at Pécs and, according to recent opinion, at Varasd. As regards John, he attended the grammar-school of Győr for a year. Having passed his final examination in the grammar-school, John Xantus became a law-student; he studied this branch of science first as a private student, then at the Academy of Law at Pécs. After obtaining his academic degree he became in 1845 a

deputy clerk of the County of Somogy, and then a clerk of the Law Court in Pest. He passed his examination for a solicitor in 1847. He composed a rich collection for the Széchenyi-Archive of Sopron from the documents relating to that family. His ethnographic propensities manifested themselves for the first time in an essay on the origin of the gypsies based on own observations and on those of Domeny de Rienzi ; it appeared in 1848.

At the outbreak of the War of Liberty John Xantus joined the Hungarian army as a »honvéd« (»private«) ; fought as an artilleryman in the battle of Pákozd on September 29, 1848, against the Austrians who had invaded Hungarian territory, and was later transferred to the garrison of the fortress of Komárom where his brother appears to have served ; in February, 1849, he was taken prisoner. The Austrians marched him in midwinter from Érsekujvár to Pozsony ; owing to this, he fell ill, so that he had to be sheltered in a hospital. He then served his term as a prisoner of war in Königgraetz, and was, at the defeat of the Hungarian War of Liberty, enlisted in the Austrian imperial army as a common soldier during Haynau's reign of terror. After having served in various Czech towns, his mother succeeded in obtaining his discharge. — Being dismissed, John Xantus wended his way to Dresden where he got in touch with the Hungarian emigrants. He was therefore recaptured in Prague when attempting to return to his country, and enrolled in the army once more. Escaping, he succeeded in crossing the Saxon frontier on board a fruit cargo ship bound for Berlin on the river Elbe. He reached first Hamburg, then London, where he came in contact with the labour movement, notably with the circle of Louis Blanc, Mazzini, Victor Hugo and, allegedly, even with Marx himself. Though he was one of the orators at a festival held on February 24, 1851, to commemorate the February revolution of Paris, he soon parted company with Utopian Socialism and under the influence of Kossuth, rejoined the ranks of the Hungarian emigration which he believed pursued a more realistic policy. He took a short journey through Belgium and France. The years he spent in London were recorded in his letters to the »Magyar Hirlap« (Hungarian Journal) dealing with British political life, the labour movement, and archievements obtained in the field of natural sciences.

John Xantus left for America on May 5, 1852, where at that time Kossuth was staying. He lived some time in New York, then in the neighbourhood of Saint-Louis, and from March 1853 to about the middle of 1854, in New Orleans. His education in Hungarian law being of no avail to him whatever, he was forced to try himself as draughtsman, newspaper vendor, shop assistant, apothecary, bookseller, and also as a navy, working for a number of days on a channel, spade in hand, immersed in water up to the waist. Between the summer of 1854 and the summer of 1855 he stayed on the farm of the Hungarian emigrants in the southern part of the State of Iowa. Here, he renewed his friendship with George Pomutz, former chief of police in Komárom, and later consul of the United States in Russia. Disputes regarding certain problems of rights of possession alienated him from the relatives of László Madarász. Driven to utmost despair, Xantus joined the U. S. A. army as a private soldier on September 24, 1855. Fort Riley, a fortress in Kansas, is his first military station : his detachment builds there a road towards the Wild West, and has to defend the immigrant settlers against possible Indian raids. It is in this place that Mr. A. W. Hammond, Assistant Surgeon, spots his propensity for natural sciences, and his dexterity as a hunter. Previous attempts of Xantus at being engaged by the leaders of various American expeditions had proved futile : he could not obtain but minor assignment. Thanks to Hammond, Xantus estabilishes contact with the Academy of Natural Sciences of Philadelphia which elects him to life membership in 1856, further with the Smithsonian Institution, the Assistant Secretary of which, Prof. S. F. Baird, lends him far-reaching support in his aspirations provides him with books and with the equipment necessary for collecting natural-scientific material. Xantus augmented both of these institutes by rich natural-scientific collections. Having been transferred with Hammond's aid to the Medical Department, and promoted to hospital steward in January, 1857, Baird obtained his transfer to the Wild West, to Fort Tejon (Canada de las Uvas), in the scientifically unexplored region of the Mojave-desert where he remained from May 18, 1857, to January 25, 1859, until the termination of his military service. Upon the intervention of Baird, he was then engaged by the Coast Survey Board to observe oceanic currents, and stationed at the southern end of St. Luke's Cape. Xantus lived in this then desolate region from April 4, 1859, to August 1, 1861, the only interruptions being his exploratory expeditions to Mazatlan and La Paz. Though impeded both by his office and the political tension arising about the area of the Cape of St. Luke, Xantus performed a fair amount of collecting work in all these places. The annual Reports of the Smithsonian Institution record the high esteem in which his work was held ; they contain a warm appreciation of his pioneering activity and his vast collections with the aid of which he extended natural scientific research-work to a whole number of thitherto scientifically unexplored regions.

After the discontinuance of the Tidal Research Station of St. Luke's Cape, Xantus visited Hungary as an American citizen, and stayed in his home country from November, 18,1861,

to June 23, 1862. His father had died, and his mother removed to Győr, by that time. An enthusiastic reception was accorded to him which, under the oppression the country was then suffering, passed for a political demonstration. While in Hungary, Xantus arranged the collections sent by him previously to the National Museum, delivered his inaugural address in the Hungarian Academy of Sciences which elected him to corresponding membership in 1859, and also started a movement for the erection of a zoological garden in Budapest. Xantus regained America on the 22nd of July where Hammond, and later Baird, found employments for him. He did notable work in the scientific institutes of the great eastern metropoles. On the 25th of November, 1862, he was appointed consul of the United States in the Mexican state of Colima, and stayed in this place from the last days of 1862 till the month of March, 1864. He lost his job as consul because of political entanglements, but succeeded in acquiring a certain amount of wealth by his work as a marine insurance broker. We find him once more in New York, Washington and Philedalphia in the months of April and May of the year 1864 engaged in clearing up the property rights of his collections. He quitted America for good on the 4th of June, 1864.

The American period of Xantus' life is minutely dealt with in *H. M. Madden*'s work above referred to ; a laudable piece of work as it is, as far as the disclosure of American archive material goes, it breathes a certain spitefulness by the manner in which it criticises Xantus : the criticism contained in the work seems to be based rather on the shortcomings than the scientific achievements of Xantus. If we want to appraise the results of his American life we have to turn in the first place to his collections and his essays and correspondence relating to them. His popular Hungarian writings, excerpts from publications of American expeditions, give vivid impressions of adventures, described as his own personal experiences, though many of them had been the lot of a whole range of other explorers. These books, compiled from travel-diaries, were originally meant for the sole use of his neurotic mother, and by no means intended to be published. He therefore, declined any responsibility for the first volume edited by Stephen Prépost. All this does, of course, not exonerate, though it certainly extenuates, the fact of plagiarism. It is worth noting that during a span of ninety years no doubt was cast on the genuiness of his letters by the scientific literature ; it was only through his communications to Baird, recently found, that light has been thrown on the sources of his literary oeuvre. However, it must not be forgotten that, on the other hand, not less than 390 thitherto scientifically unknown floral and faunal species were disclosed by Xantus, and that he enriched a whole range of museums in the old and new world by collections the size of which sufficed in many cases to provide scientific material for an entire museum. Let us quote *Baird* : »From a scientific standpoint his collections are still unusually interesting, and he richly deserves to be considered one of the foremost zoologists of the day.«

Even if measured on a world scale, the natural scientific cabinet of the National Museum of Budapest possesses international significance, and this is entirely due to the Xantus-collection which comprises well over 7000 pieces. Returned to Hungary, Xantus engaged, as from the month of June, 1864, in various commercial experiments, the most notable of them being the foundation of a Zoological Garden floated as a limited company. Shortly after the failure of the corresponding institution in Vienna, the Zoological Garden in Budapest was presented to the public by Xantus, its Deputy Chairman, on August 9, 1866 ; it stood subsequently under his expert management, and he enjoyed great public esteem.

Nothing could have been further from Xantus' mind during the initial periods of his career than the idea that posteriority would once link up his name with the first objective ethnographical chapters of cultural history, although, being the polyhistor of encyclopedic attitude that he was, he had always included ethnographical observations in his writings, and had done also some ethnographical collecting work while in America. In the autumn of the year 1868, he was commissioned by Joseph Eötvös, Hungary's Minister of Public Education, to acquire ethnographic and natural scientific collections as an independently exploring member of the Austro-Hungarian East Asiatic Expedition. The expedition, a capitalistic enterprise, had the task of establishing direct commercial relations, and concluding trade agreements, with the Southeastern and Eastern countries of Asia, as well as of doing economic reconnoitring work in the months of the opening of the Suez Canal. The necessity for market-research was strikingly illustrated by the fact that the very industrial products carried by the expedition for propaganda purposes were incomparably inferior to those produced by the peoples of East-Asia, e. g. paper. Xantus has to fight many a struggle with the pro-Austrian leaders of the expedition : they instruct him to increase the public collections of Vienna, they prevent the publication of his reports, etc. However, Xantus does not swerve from his Kossuth-inspired political ideas, and remains faithful to the traditions of 1848 ; he even asserts his right to leave the expedition and to do independent exploring work at his own discretion. While the two ships of the expedition set sail to India via the Cape of Good Hope in October, 1868, Xantus took his departure on the 2nd of January, 1869, aboard a British mailsteamer

bound for India via Suez. Having landed in Ceylon at the end of January, he went all over the western and southern part of the island, using trains and other conveyances, the plantations of Upper Panakelly being the site of his most important collecting work in this region. From the beginning of March till the 14th of April, Singapore formed the base of Xantus' exploratory operations. He traversed the island on horseback in a northern direction, and, having crossed the straits, penetrated into the virgin forest, pushing up-stream along the river Djohore, performing excellent natural scientific collecting work all along the way. It is worth mentioning that, having become overdue in Singapore, he was held to have perished. After arriving in Singapore, he awaited the warships of the expedition, intending to rejoin it. Being, however, overcome by a tropical disease he obtained permission to go ahead to Siam by a special boat. They arrived in Bangkok on the 18th of April. While the commercial negotiations were being carried on, Xantus undertook several journeys on the river Menam into the country's interior, continuing his systematic collecting work all the time. The expedition left for Cochin China on the 19th of May with the intention of gathering commercial and statistical information ; they went as far as Saigon, whence they sailed off to China on the 26th of May. The expedition lingered in Hong Kong to prepare the commercial negotiations, and, this done, departed to Shanghai. The negotiations dragged on, and were not concluded until the end of September. It was during this time that Xantus made his trips to Ningpo and Woosung. After this, the scientific section of the expedition landed on the east coast of Japan, and waited ten days in Nagasaki for the arrival of the other ship which was to bring the diplomatic delegation. Using this sojourn, Xantus acquired a number of interesting collections in the near mountains and in the port of Hirado. — The two ships arrived in Yokohama on the 2nd of October. The experts remained here as long as the diplomatic delegation had signed in Tokyo the commercial treaty between Japan and the Austro-Hungarian Monarchy. It was then that, losing his patience, Xantus detached himself from the expedition which stood under the leadership of Karl Scherzer. He complained in one of his letters as follows : »You can have no idea of what we, five Hungarians, objects of hatred and persecution, had to suffer on board.« — It was exactly during his solitary expeditions that Xantus, thanks to his indomitable enterprising spirit, procured that portion of his collections which, from an ethnographical point of view, is incomparably more valuable than the rest. After staying in Hong-Kong and on the island of Luzon during the months of November and December, Xantus makes his preparations in Singapore for his dangerous venture : on January 11, 1870, he arrives at Sarawak, capital of the State of Sarawak in North Borneo, in order to visit the settlements of the Dayek man-hunters. Starting from the estuaries of the rivers, he penetrates into the interior of the swampy jungles, and, by covering 60 miles upwards along the stream of Batang-Lupar, manages to reach the Singhi Dayek settlement at the end of January ; pushing up-stream along the river Sautuborg, he arrives on the Matang-highland at the beginning of March. Following this, he pitches his tent in the neighbourhood of the mouth of the rivers Sadong and Simunyon ; he visits the site where Alfred Wallace had camped in 1854, overgrown now by the bush. He ranges over the tributaries of the Simunyon, and the Dayek settlements of that area. The aborigines afford Xantus a friendly reception everywhere ; they consider him their benefactor, the man who pursues the orang-utang, greatest enemy of their orchards. Xantus' most important enterprise during this expedition is the exploration of the coastal district around the Simunyon-lake which he reaches by crossing the region of the identically named river. This expedition cleared up the exact geographical situation of both lake and river which, so far, had been left blank on the contemporary charts of the British Admiralty. He visited nine villages on the lake-shore, as also further five Dayek settlements on the shores of the rivulets that flow into the lake. Xantus succeded in establishing intimate contact with the aborigines, and he did there his most valuable collecting work. Getting back to Sarawak on the 14th of April, he received an invitation from the rajah of the state, Charles Brooke, nephew of the adventurous James Brooke, to a shooting expedition which was to be made on the rivers Batang-Lupar and Rajang. These trips, too, yielded an abundant harvest of collected material.

After a short rest in Singapore, Xantus landed in Java, Batavia, on the 13th of June. Being granted many facilities by the local museums, he undertook there a number of exploratory trips, the most notable of them being a rhinoceros shooting expedition made on a grand scale in the forest of Djampang. — More than 200 is the number of chests with which Xantus enriched the Hungarian museums during his journey in East Asia.

He came back to his country at the beginning of November, 1870, and Hungary felt a deep gratitude for his achievements, for the East-Asiatic material, which consisted of more than 150 000 pieces. His ethnographic collection was presented to the public in the spring of 1871 as a special exhibition: a new branch of science, ethnography, thitherto unrepresented in our museums, was revealed to the public by this exhibition. It was stated by the eminent János Jankó in 1892 : »In regard to the Borneo-material, our Museum not only enjoys

European reputation, but occupies a place in Europe second only to that of Leyden.« Two decades earlier also the Japanese, Chinese, Ceylonese and Javanese collections had been considered interesting and up-to-date. As a natural scientist, Xantus evidenced but little sense for magico-religious and folkloristic phenomena. His collecting work was governed by artistic principles. The Ethnographical Museum of Budapest has still to perform the task of giving a general survey of the complete material collected by Xantus, and of elaborating a more precise scientific evaluation thereof. — While there is no doubt as to the fact that the quality of his collections is in no way inferior to the contemporary ethnographic collections of other countries, and that quantitatively it surpasses nearly all of them, Xantus' method of collecting was not as precise as that of the most prominent contemporary experts (e. g. Miklucho-Maclay, who worked in New Guinea). This statement refers only to the material of the best part of his collections, whereas much of the ethnographic material procured by Xantus in a cursory manner is of a problematic value.

It was Xantus who, in the company of Floris Romer, assembled for the Vienna World Exhibition of 1863 the first collection of the material culture of the Hungarian peasantry, and defined the sphere of objective problems of Hungarian ethnography. His East Asiatic collection helped to lay the foundations of the Ethnographic Museum, organized in 1871, while his Hungarian ethnographic collection served as the basis of the Museum of Applied Arts organized in Budapest in 1873.

The plans of the ethnographic section of the millenary exhibition arranged in Budapest in the year of 1896 to commemorate the millenial existence of Hungary were also influenced to some extent by the ideas of Xantus. The scientific treatises written by Xantus in connection with the Eastern expedition appeared in contemporary reviews : they formed the most independent period of his literary career. Part of his essays was composed during the expedition, e. g. some of the papers relating to Trieste, Alexandria, China, Singapore, Borneo and Java, whereas his treatises of greater length, e. g. those on Ceylon, Singapore and Borneo, were prepared at home, on the basis of his written notes. He presents in them a comprehensive picture of the geological and geographical formation, the natural scientific and social relations of some particular area. Only his second study of Borneo had a strictly ethnographic object in view. Every one of his works presents some new matter of detail ; he is attractive as an author, and impresses the reader as a personality of vivid force. The manner in which he interprets and treats the problems of colonial peoples reveals his exalted humanistic attitude : Kossuth's quondam soldier does nowhere deny his progressive views! He suffere much in the last years of his life ; after becoming mentally deranged in his last months, Xantus passed away on the 13th of December, 1894.

LA POPULATION DE LA RÉGION DE NÓGRÁD AU MOYEN AGE

ESSAI D'ANTHROPOLOGIE HISTORIQUE

Par
PÁL LIPTÁK

Section Anthropologique du Musée National d'Histoire Naturelle, Budapest

Ce mémoire repose sur l'examen du matériel osseux de cinq cimetières anciens. Il se propose de donner une contribution à l'étude anthropologique de la population de la région de Nógrád (contrée montagneuse des monts Börzsöny et Cserhát, au Nord de la Hongrie), pour la période allant du IXe au XIe siècle de notre ère. Le matériel craniologique des cimetières, déposé à la Section Anthropologique du Musée National d'Histoire Naturelle de Budapest, provient d'anciennes fouilles pratiquées à diverses époques, dont le résultat se réduit généralement à quelques rares collections «d'objets de vitrine» seules conservées, selon l'ancien usage. C'est de celles-ci que se compose, pour une grande partie, notre matériel.

Nos recherches s'assignaient le double but d'examiner, d'une part, la distribution géographique des types pour une région donnée et d'autre part, de suivre dans le temps les modifications de ces types ou, au contraire, leur continuité. Ce dernier point de vue n'a pu être observé que lors de l'examen des cimetières de Szob.

A cause du nombre réduit des crânes conservés, nous n'avons pu réaliser ces buts que dans des limites très restreintes. Souvent même on devait se contenter de poser les problèmes, sans oser y apporter des solutions, encore prématurées.

Nous examinerons tout d'abord le matériel provenant des deux cimetières de Szob. Ces ossements, rapportés par le professeur de lycée *András J. Horváth* de Nagymaros, ne proviennent pas de fouilles systématiques. *Horváth* qui s'intéressait surtout à l'archéologie, n'a sauvé qu'une faible partie des ossements récoltés.

I. Szob—Homokok, VIIIe—IXe siècles

Les fouilles du cimetière, dirigées par Horváth, furent effectuées en 1928/19-29, puis en 1935/19-36, dans les champs dits des Homokok, sur les terrains de Mme *Béla Spitzer* et de la famille *Gregersen*. Sur l'ensemble du matériel osseux que renfermaient les 113 sépultures mises à jour, 10 crânes en tout ont été conservés, dont quatre seulement peuvent être rattachés à leurs tombes d'origine.

— Au point de vue archéologique, Mme *Ilona Kovrig*, à qui je tiens à exprimer ici mes remerciements, a bien voulu me résumer, comme suit, le caractère général du cimetière: «Le cimetière date du VIIIe siècle, mais son usage fut continué jusqu'au IXe siècle. Sa céramique qui permet de distinguer certains apports venus du Nord-Ouest (la Slovaquie et la Moravie actuelles), doit très vraisemblablement être rattachée à l'ethnie slave occidentale.»

Passons maintenant en revue les caractères descriptifs[1] de la série de crânes recueillis, dans l'ordre de leurs numéros d'inventaire.

N° 462.*

Crâne bien conservé avec mandibule (cranium), attribué à une Femme de 35 à 40 ans (Ad.). — Voir *Fig. 1.*

En norma verticalis : le crâne est sphénoïde, peu allongé (brachycrâne), le front est étroit (sténométope), les bosses pariétales sont bien formées. Les sutures, peu compliquées, sont ouvertes. Phénozygie. — *En norma occipitalis :* le crâne se présente moyennement élevé (métriocrâne), affectant la forme «en boule». Les apophyses mastoïdes sont petites. *En norma basalis :* trou occipital de forme allongée, asymétrique. Le palais est large, l'arcade alvéolaire est parabolique, avec toutes les dents bien développées et ne montrant pas trace d'usure. *En norma temporalis :* la hauteur du crâne est moyenne (orthocrâne), la glabelle est faiblement développée (2), le front est moyennement élevé, bombé et très fuyant. Voûte bien développée en hauteur, occiput arrondi (curvi-occipital). Des deux côtés on observe des os épiptériques. La racine du nez est élevée, le nez est moyennement saillant, à dos rectiligne, l'épine nasale est petite (1—2). *En norma frontalis :* la face apparaît large (euryprosope), aux orbites grandes, arrondies et surélevées (hypsiconque), séparées par un espace interorbitaire faible. La racine du nez est étroite, le nez est large (chamaerhinien), les malaires sont plats. — La mandibule est trapue, au menton acousé, à branches moyennement élevées dont l'une, celle de gauche, est étroite, l'autre large. Les gonions sont arrondis. Arcade dentaire parabolique.

N° 463.

Crâne incomplet de conservation moyenne avec mandibule (cranium), attribué à un Homme de 45 à 50 ans (Mat.). Le côté gauche de la mandibule est patiné.

En norma verticalis : le crâne apparaît très court (ultrabrachycrâne), le front est de largeur moyenne (métriométope), les sutures offrent des dentelures simples, avec commencement de synostose. Phénozyge. *En norma occipitalis :*

[1] L'analyse métrique et morphologique a été faite conformément au système préconisé par *R. Martin.* Pour l'indication du degré de développement de la protubérance occipitale externe de la glabelle et de l'épine nasale (spina nasalis anterior), nous avons utilisé a nomenclatura de *Broca.*

* № d'inv. de la Section Anthropolopique du Musée National d'Histoire Naturelle de Budapest.



Fig. 1. Crâne féminin nº 462, du VIIIe ou IXe siècle, provenant de Szob (Dép. de Pest). Type : alpin

le crâne est aplati, dessinant un contour pentagonal. Les apophyses mastoïdes sont pointues, d'un développement moyen. *Norma basalis :* la plus grande partie de la base cranienne fait défaut. *En norma temporalis :* le crâne se présente élevé, avec la glabelle peu apparente (2), le frontal haut et vertical, la voûte moyenne et le plan nuchal aplati (planoccipital). Le côté gauche du crâne manque. *En norma frontalis :* L'orbite est vaste, arrondie et élevée (hypsiconque), la racine du nez est étroite, le malaire peu saillant. La fosse canine est de faible profondeur. — La mandibule est basse, à branche montante moyenne, aux angles goniaques légèrement extroversés. La plupart des dents sont tombées.

N° 464.

Crâne en très bon état de conservation avec mandibule (cranium), attribué à une Femme de 30 à 35 ans (Ad.).

En norma verticalis : le crâne est de forme sphénoïde, d'allongement moyen (mésocrâne), le frontal est moyennement large (métriométope), les bosses pariétales sont moyennes. Les sutures sont simples, leur oblitération n'a pas commencé. Phénozygie. *En norma occipitalis :* le crâne est d'élévation moyenne (métriocrâne), bombé. Les apophyses mastoïdes sont pointues et accusent une saillie moyenne. *En norma basalis :* le trou occipital est petit, allongé, le palais est moyennement large et profond, l'arcade dentaire est parabolique. Les dents, peu volumineuses, présentent une abrasion fonctionnelle assez modérée; toutes sont sorties, à l'exception des troisièmes molaires. *En norma temporalis :* le crâne est de hauteur moyenne (orthocrâne), avec la glabelle faiblement marquée (2), le frontal moyennement haut, bombé et vertical, la voûte basse et l'occiput arrondi. La racine du nez est d'élévation moyenne, le nez est moyennement saillant, à profil courbe, les épines nasales sont moyennes (3). Le profil facial est orthognathe. *En norma frontalis :* La face est étroite (leptoprosope), les orbites sont quadrangulaires et élevées (hypsiconques), séparées par une distance moyenne. La racine du nez est étroite, le nez est de largeur moyenne (mésorhinien) l'ouverture nasale présente un bord inférieur aigu. Les malaires sont fuyants, la largeur bimaxillaire est assez faible, les fosses canines sont à peine indiquées. La mandibule et les branches montantes sont de hauteur moyenne, les branches sont étroites, le menton est accusé, les gonions sont arrondis. L'arcade alvéolaire est hyperbolique.

N° 512. — Tombe n° 9.

Crâne à peu près complet d'une conservation excellente avec mandibule (cranium), provenant d'un Homme de 35 à 40 ans (Ad.). — Voir *Fig. 2.*

En norma verticalis : le crâne est de forme sphénoïde, très allongé (hyperdolychocrâne), au frontal large (eurymétope). Les sutures, d'une complication moyenne, sont presque partout ouvertes. Phénozyge. *En norma occipitalis :* le crâne est élevé (acrocrâne), de forme pentagonale. La protubérance occipitale externe est d'un développement moyen (3), la crête occipitale externe et



Fig. 2. Crâne masculin nº 512, du VIIIe ou IXe siècle, provenant de Szob (Dép. de Pest), tombe nº 9. Type : protonordique

la ligne courbe occipitale supérieure sont nettement marquées. Les apophyses mastoïdes sont massives. *En norma basalis :* le trou occipital est allongé, le palais est large et profond, l'arcade alvéolaire est parabolique. Les rangées dentaires sont volumineuses, à dents fortement usées. *En norma temporalis :* le crâne se présente moyennement élevé (orthocrâne), avec la glabelle franchement marquée (6) et des arcades sourcilières très saillantes. Le front, élevé, montre une disposition fuyante. La voûte est bien développée en hauteur, la courbe occipitale est arrondie. La racine du nez est moyennement haute, le nez est d'une proéminence moyenne, à dos convexe, l'épine nasale est moyenne (3). *En norma frontalis :* la face apparaît large (euryprosope), aux orbites quadrangulaires et basses (chamaeconques). La racine du nez est étroite, le nez est de largeur moyenne (mésorhinien). Le bord inférieur de l'ouverture nasale présente une forme infantile. Les malaires sont assez accentués, les fosses canines sont peu profondes. Mandibule basse, à branches de hauteur moyenne, pourvue de gonions extroversés. L'arcade dentaire, hyperboliques, est incomplète.

N° 3405.

Crâne très bien conservé, sans mandibule (calvarium), attribué à une Femme de 20 à 22 ans (Juv.).

En norma verticalis : ovoïde. Le crâne est court (brachy crâne), le frontal est large (eurymétope), les bosses pariétales sont assez bien formées. Les sutures, à dentelures fines et compliquées, sont ouvertes. Il existe une suture métopique. Cryptozyge. *En norma occipitalis :* crâne de hauteur moyenne (métriocrâne), en boule. Les apophyses mastoïdes sont pointues et assez volumineuses. *En norma basalis :* le trou occipital présente une forme allongée. La synchondrose sphéno-occipitale est ouverte. La voûte du palais est large, peu profonde, l'arcade dentaire est parabolique. Les dents, en bon état, sont toutes sorties à l'exception des troisièmes molaires. *En norma tempolaris :* le crâne est élevé (hypsicrâne), avec la glabelle effacée (1), le front haut et redressé, la voûte basse et le contour occipital arrondi. La racine du nez est élevée, le nez est moyennement saillant à profil droit, l'épine nasale est petite (1—2). *En norma frontalis :* la face supérieure apparaît large (euryène), avec des cavités orbitaires petites et élevées (hypsiconques), la racine du nez étroite, le nez moyennement large (mésorhinien), l'os malaire fuyant, la fosse canine peu profonde.

N° 3406. — Tombe n° 25.

Boîte crânienne (calvaria) presque complète de bonne conservation, avec mandibule incomplète, provenant d'un Homme de 40 à 45 ans (Mat.).

En norma verticalis : crâne de forme sphénoïde, les bosses frontales sont assez bien formées, la bosse pariétale gauche est puissante, celle de droite accuse une saillie moyenne. Les sutures offrent une dentelure fine, avec commencement de synostose. Phénozyge. *En norma occipitalis :* le crâne est de hauteur

TABLEAU I

Szob—Homokok, VIIIe—IXe siècles

Chiffres d'après Martin	Mesures et indices	(♀) 462	(♂) 463	(♀) 464	Tombe № 9 ♂ 512	Juv. 3405	Tombe № 45 ♂ 3407	Tombe № 88 ♂ 3409	♀ 3411
1.	Diam. antéro-post.	173	161	183	197	175	191	201	166
5.	D. nasion-basion	92	—	98	107	102	—	—	96
8.	D. transverse max.	140	147	139	135	143	(142)	142	136
9.	D. frontal min.	91	99	93	94	(100)	104	100	91
17.	Ht. basion-bregma	129	—	135	140	133	—	—	124
20.	Ht. auric.-bregm.	112	113	116	121	118	—	116	108
32(1-a)	Inclinaison front./plan .	51°	—	48°	49°	—	—	—	50°
40.	D. basion-prosthion	89	—	92	98	94	—	—	86
46.	D. bizygomatique	123	—	124	134	127	(138)	(131)	123
47.	Ht. fac. tot.	104	(97)	117	111	—	129	133	—
48.	Ht. fac. sup.	63	61	69	69	61	80	82	66
51.	Larg. orbite	38	41	35	41	35	(40)	42	37
52.	Ht. orbite	33	36	30	30	32	34	36	33
54.	Larg. nasale.....	24	—	23	25	(23)	27	—	22
55.	Ht. nasale	47	46	46	52	47	56	57	49
62.	Long. palais.....	43	—	44	47	46	48	—	42
63.	Larg. palais	38	—	42	43	41	—	—	—
65.	D. bicondylien	118	112	(96)	—	--	—	130	—
66.	D. bigoniaque	85	98	112	—	—	—	111	—
69.	Ht. symphysienne	28	17	32	31	—	38	37	—
70.	Ht. branche mont.....	54	58	62	62	—	—	77	—
71.	Larg. branche mont. ..	29	32	29	34	—	31	31	—
72.	Angle fac. tot.	84°	—	87°	89°	—	—	—	92°
8 : 1	Ind. céphadique	80,9	91,3	76,0	68,5	81,7	74,7	70,7	81,9
17 : 1	Indice vertic. de long. .	74,6	—	73,8	71,1	76,0	—	—	74,4
17 : 8	Indice vertic. de larg. .	92,1	—	97,1	103,7	93,0	—	—	91,2
9 : 8	Indice frontopar. transv.	65,0	67,4	66,9	69,3	69,9	73,2	70,4	66,9
47 : 45	Indice facial total	84,6	—	94,4	82,8	—	(93,5)	101,5	—
48 : 45	Indice facial supérieur..	51,2	—	59,0	51,5	48,0	58,0	62,6	53,7
52 : 51	Indice orbitaire	86,8	87,8	85,7	73,2	91,4	85,0	85,7	89,2
54 : 55	Indice nasal	51,1	—	50,0	48,1	48,9	48,2	—	44,9
63 : 62	Indice palatin	88,4	—	95,5	91,5	89,1	—	—	—

moyenne, pentagonal. La protubérance occipitale externe est peu développée (2). Ligne courbe occipitale supérieure assez bien marquée. Les apiphyses mastoïdes sont très massives. *En norma basalis :* le trou occipital est allongé.

La face fait complètement défaut. *En norma temporalis :* le crâne est élevé, la glabelle est peu apparente (2), le frontal, moyennement haut et convexe, est légèrement incliné vers l'arrière. La ligne médiane de la voûte est élevée, le contour occipital est arrondi. La mandibule est haute, la branche montante est moyennement élevée, les gonions sont légèrement extroversés. L'arcade dentaire est hyperbolique.

N° 3407. — Tombe n° 45.

Crâne fragmentaire restitué et incomplet avec mandibule (cranium), provenant d'un Homme de 40 à 45 ans (Mat.).

En norma verticalis : le crâne est ellipsoïde, allongé (dolichocrâne), avec le frontal large (eurymétope) et des sutures simples, dont l'ossification a commencé. Il existe une suture métopique. Cryptozygie. *En norma occipitalis :* le crâne est de hauteur moyenne. *En norma basalis :* La base du crâne manque. La voûte palatine est large, peu excavée. L'arcade alvéolaire, de forme upsiloïde, est incomplète. *En norma temporalis :* le crâne se présente élevé, avec la glabelle faiblement développée (2), le frontal de hauteur et d'inclinaison moyennes à courbure prononcée, la voûte basse, l'occiput très saillant (curvi-occipital). La position de la racine du nez est moyenne, le nez est fortement proéminent, à dos rectiligne. Il existe une prognathie alvéolaire. *En norma frontalis :* la face est étroite (leptoprosope), les orbites sont vastes et élevées (hypsiconques), la racine du nez est étroite, le nez est moyennement large (mésorhinien). Le bord inférieur des ouvertures nasales comporte des fossettes prénasales. Les proéminences malaires sont assez accusées, les fosses canines sont d'une profondeur moyenne. La mandibule est haute, à branches montantes moyennement élevées. Le tubercule mentonnier est bien marqué. Les angles goniaques sont éversés, l'arc dentaire est hyperbolique, à dents bien développées et usées.

N° 3408. — Tombe n° 88.

Crâne incomplet, très bien conservé, avec mandibule (cranium), provenant d'un Homme de 40 à 45 ans (Mat.).

En norma verticalis : crâne de forme ellipsoïde, au front large (eurymétope). Les sutures, d'une dentelure fine, présentent un commencement de synostose. Cryptozyge. *En norma occipitalis :* le crâne, de hauteur moyenne, dessine un contour circulaire se rapprochant du pentagonal. La protubérance occipitale externe est puissamment marqué (4), la ligne courbe occipitale supérieure est bien visible, les apophyses mastoïdes sont très saillantes. *En norma basalis :* la base cranienne est fragmentaire, le côté droit de la face fait défaut. La voûte palatine est très excavée, l'arc alvéolaire est parabolique, à dents bien développées et très usées. *En norma temporalis :* le crâne apparaît moyennement haut, avec la glabelle puissante (5—6) et des arcades sourcilières bien marquées, le frontal

de hauteur et d'inclinaison moyennes, convexe, la voûte basse et l'occiput arrondi. Sur le côté gauche, on observe un petit os épiptérique. La racine de nez est élevée, le nez est fortement proéminent, à profil courbe. La partie alvéolaire du maxillaire est élevée. *En norma frontalis :* la face est très étroite (hyperleptoprosope), avec des orbites rectangulaires et élevées (hypsiconques), la racine du nez étroite, les malaires plats, les fosses canines invisibles. Mandibule haute à branches montantes élancées, étroites. Éminence mentonnière accusée. Tubercule mentonnier. Les angles goniaques sont projetées au dehors. L'arcade dentaire, aux angles bien marqués, est hyperbolique.

N° 3410.

Voûte crânienne (calva) de bonne conservation, avec mandibule incomplète, attribuée à une Femme de 40 à 45 ans (Mat.).

En norma verticalis : pentagonoïde. Le crâne est d'allongement moyen (mésocrâne), le frontal est large (eurymétope), les sutures, d'une complication moyenne, montrent un commencement de synostose. Phénozyge. *En norma occipitalis :* crâne moyennement élevé et pentagonal.

N° 3411.

Crâne d'excellente conservation, dépourvu de mandibule (calvarium), provenant d'une Femme de 40 à 45 ans (Mat.).

En norma verticalis : sphéro-ovoïde. Crâne court (brachycrâne), au front moyennement élevé (métriométope). Les sutures sont d'une complication moyenne, leur ossification a commencé. Cryptozyge. *En norma occipitalis :* le crâne est de forme aplatie (tapéinocrâne), réalisant le type en boule. Les apophyses mastoïdes sont peu volumineuses et pointues. *En norma basalis :* le trou occipital est allongé, le palais est d'une largeur moyenne, peu excavé. L'arcade alvéolaire est elliptique, incomplète. La plupart des dents sont tombées. *En norma temporalis :* le crâne apparaît moyennement élevé (orthognathe), la glabelle est effacée (1), le front bombé a une forme élevée et une direction légèrement fuyante. Le contour médio-sagittal est élevé, la courbe occipitale est arrondie. La racine du nez est haute, le nez, à dos rectiligne, accuse une saillie moyenne, les épines nasales sont petites (1—2). *En norma frontalis :* la face supérieure est de largeur moyenne (mésène), les orbites sont vastes et élevées (hypsiconques), la racine du nez et le nez sont étroits (leptorhinien), les os malaire sont fuyants, les fosses canines sont de peu de profondeur.

*

Les principaux indices et mesures des crânes ci-dessus décrits sont résumés dans le Tableau I. Considérons, en ce qui suit, la répartition des caractères :

La différenciation sexuelle a donné 5 Hommes et 4 Femmes, le sexe d'un crâne Juv. n'ayant pu être spécifié.

Au point de vue de l'âge, on distingue : 1 Juv., 3 Ad. et 6 Mat.

L'indice céphalique des crânes examinés offre un tableau essentiellement hétérogène, avec : 1 ultrabrachycrâne, 3 brachycrânes, 3 mésocrânes, 2 dolichocrânes et 1 hyperdolichocrâne.

Pour les autres mensurations, nous ne tiendrons compte que des huit crânes relativement bien conservés, dont les données figurent dans notre tableau.

L'indice vertical de longueur distingue, sur les 5 seuls crânes mesurables sous ce rapport : 4 orthocrânes et 1 hypsicrâne, tandis que l'indice vertical de largeur, établi pour 5 crânes également, donne : 1 tapéinocrâne, 3 métriocrâne et 1 acrocrâne. D'après l'indice fronto-pariétal transverse : 1 crâne est sténométope, 3 sont métriométopes et 3 autres eurymétopes, l'indice d'un crâne n'ayant pu être calculé. L'indice facial total n'a été établi que pour 5 crânes, dont : 2 euryprosopes, 1 leptoprosope et 2 hyperleptoprosopes. 2 autres crânes se classent, d'après l'indice facial supérieur, comme euryène et mésène, le dernier crâne restant était inclassable. L'orbite est très homogène, avec 1 chamaeconque et 7 hypsiconques, à l'exclusion de la mésoconquie. L'indice nasal montre une prédominance de la mésorhinie, avec 4 mésorhiniens contre 1 chamaerhinien et 1 leptorhinien, l'indice restant indéterminé pour 2 cas. Le profil facial est généralement orthognathe. (Pour la comparaison de ces données, voir Tableau II.)

La somme des différents caractères nous montre qu'on a affaire ici a trois groupes somatiques distincts :

I. Groupe dolichocrâne (nos 464, 512, 3409) ;

II. Groupe brachycrâne, avec les petites dimensions absolues de la tête (nos 462, 463, 3411) ;

III. Ensemble de caractères mongoloïde dolichocrâne, représenté par un crâne unique (n° 3407).

Nous tenterons une appréciation morphologique et une détermination raciale plus exactes de ces groupes après l'examen anthropologique des autres cimetières, lors de la discussion des résultats.

II. Szob — Champs Vendelin, XIe siècle

C'est entre 1929 et 1933 que le Musée d'Histoire de Budapest a reçu le matériel recueilli au cimetière des champs Vendelin. Malheureusement, le matériel anthropologique, très mal conservé, se réduit à quatre crânes, seuls recueillis par *A. J. Horváth* sur un ensemble de 141 sépultures. D'après le renseignement oral que *G. Fehér* a bien voulu me donner, le cimetière se caractérise par de riches mobiliers indiquant une civilisation hungaro-slave mixte.

Voici la description morphologique des crânes :

TABLEAU II

Szob—Homokok, VIIIe—IXe siècles

Tombe N° N° d'Inventaire	— 442	— 463	— 464	9. 512	— 3405	45. 3407	88. 3409	— 3411
Age—Sexe	Ad. (♀)	Mat. (♂)	Ad. (♀)	Ad. ♂	Juv.	Mat. ♂	Mat. ♂	Mat. ♀
Norma verticalis	Sphénoïde	Sphénoïde	Sphénoïde	Sphénoïde	Ovoïde	Ellipsoïde	Ellipsoïde	Sphéro-ovoïde
Forme générale du crâne	Brachycrâne orthocrâne, métriocrâne	Ultrabrachy-crâne — —	Mésocrâne, orthocrâne, métriocrâne	Hyperdoli-chocrâne orthocrâne, acrocrâne	Brachycrâne hypsicrâne, métriocrâne	Dolichocrâne — —	Dolichocrâne — —	Dolichocrâne orthocrâne, tapéinocrâne
Front	Sténométope	Métrimétope	Métriométope	Eurymétope	Eurymétope Suture métopique	Eurymétope Suture métopique	Eurymétope	Métriométope
Glabelle	2	2	2	6	1	2	5—6	1
Face totale (Face supérieure)	Euryprosope Rétrécie en pointe	— Basse, large, ovalaire	Leptoprosope —	Euryprosope Quadrangulaire	Euryène Basse	Leptoprosope Quadrangulaire	Hyperlepto-prosope Étirée, elliptique	Mésène —
Orbite	Hypsiconque Vaste, arrondie	Hypsiconque Subquadrangulaire	Hypsiconque Quadrangulaire	Chamaecon-que Quadrangulaire	Hypsiconque Quadrangulaire	Hyciconque Subquadrangulaire	Hypsiconque Quadrangulaire	Hypsiconque Arrondie
Nez Profil du nez Épine nasale	Chamae-rhinien Rectiligne 1—2	— — —	Mésorhinien Courbe 3	Mésorhinien Courbe 3	Mésorhinien Rectiligne 1—2	Mésorhinien Rectiligne —	— Courbe —	Leptorhinien Rectiligne 1—2
Profil facial	Mésognathe	—	Orthognathe	Orthognathe	—	—	—	Orthognathe

N° 1443.

Crâne restitué de bonne conservation avec mandibule (cranium), attribué à un Homme de 20 à 22 ans (Juv.).

En norma verticalis : le crâne est pentagonoïde, moyennement allongé (mésocrâne), le front est large (eurymétope), les sutures sont relativement simples et ouvertes. Phénozyge. *En norma occipitalis :* le crâne se présente élevé, (acrocrâne), pentagonal, les apophyses mastoïdes sont faiblement marquées et pointues. *En norma basalis :* le trou occipital présente une forme allongée. La synchondrose sphénooccipitale est ouverte. Voûte palatine moyennement large et profonde, arcade alvéolaire parabolique. Toutes les dents sont bien développées, à l'exception de la troisième molaire. La face triturante des dents est restée intacte. *En norma temporalis :* élévation moyenne du crâne (orthocrâne), glabelle à peine dessinée (1), front haut, peu oblique, voûte élevée, courbe occipitale arrondie. La position de la racine du nez est élevée, le nez, à dos rectiligne, est peu saillant. Le profil facial accuse une certaine prognathie alvéolaire. *En norma frontalis :* face étroite (leptoprosope), avec les orbites moyennement élevées (mésoconques), la racine du nez de largeur moyenne et le nez étroit (leptorhinien). Le bord inférieur de l'ouverture nasale comporte des fosses prénasales. La disposition des malaires indique des pommettes peu saillantes. Les fosses canines sont faiblement marquées. La mandibule est haute, l'éminence mentonnière est fortement accusée, la branche montante est élevée et étroite, les gonions sont légèrement extroversés.

N° 1444.

Crâne bien conservé avec mandibule (cranium) provenant d'un Homme de 25 à 30 ans (Ad.). Le pourtour de l'apophyse mastoïde gauche est revêtu d'une patine verte. — Voir *Fig. 3.*

En norma verticalis : crâne ellipsoïde, allongé (dolichocrâne). Le front est large (eurymétope), les sutures sont finement dentelées et ouvertes. Phénozyge. *En norma occipitalis :* le crâne parait élevé (acrocrâne), dessinant un contour pentagonal. La protubérance occipitale externe est peu développée (1—2), les apophyses mastoïdes sont massives. *En norma basalis :* le trou occipital apparaît allongé, de forme deltoïde. L'arcade alvéolaire est parabolique, aux angles bien marqués. Les dents, volumineuses et en bon état, sont toutes sorties à l'exception des troisièmes molaires. *En norma temporalis :* le crâne est élevé (hypsicrâne), la glabelle est moyenne (3—4), le frontal est haut et légèrement fuyant. Le contour médio-sagittal est élevé, son point culminant est situé en arrière de la région bregmatique. Os épiptérique des deux côtés. La racine du nez est moyennement élevée, le nez est très saillant, à dos convexe, l'épine nasale est moyenne (3). *En norma frontalis :* face moyennement large (mésoprosope), avec les orbites de hauteur moyenne (mésoconques), la racine du nez

TABLEAU III

Szob—Vendelin földek, XIe siècle

Chiffres d'après Martin	Mesures et indices	Juv. (♂) 1443	♂ 1444	♀ 1542	♂ 1543
1.	Diam. antéro-post.	174	183	173	185
5.	D. nasion-basion	97	99	94	104
8.	D. transverse max.	131	136	137	142
9.	D. frontal min.	92	98	94	103
17.	Ht. basion-bregma	130	139	134	131
20.	Ht. auric.-breg.	113	114	116	115
32(1-a).	Inclinasion front./plan	54°	51°	50°	48°
40.	D. basion-prosthion	92	98	89	98
45.	D. bizygomatique	117	(130)	119	133
47.	Ht. fac. tot.	111	115	115	119
48.	Ht. fac. sup.	65	71	71	75
51.	Larg. orbite	37	39	37	38
52.	Ht. orbite	31	32	34	34
54.	Larg. nasale	22	23	21	27
55.	Ht. nasale	47	54	47	60
62.	Long. palais	42	49	45	45
63.	Larg. palais	38	42	36	42
65.	D. bicondylien	107	116	110	117
66.	D. bigoniaque	87	102	100	97
69.	Ht. symphysienne	28	34	33	30
70.	Ht. branche mont.	57	70	57	62
71.	Larg. branche mont.	26	30	33	39
72.	Angle fac. tot.	90°	81°	86°	89°
8 : 1	Indice céphalique	75,3	74,3	79,2	76,8
17 : 1	Indice vertic. de long.	74,7	76,0	77,5	70,8
17 : 8	Indice vertic. de larg.	99,2	102,3	97,8	92,3
9 : 8	Ind. fronto-par. transv.	70,2	72,1	68,6	72,5
47 : 45	Indice facial total	94,9	88,5	96,6	89,5
48 : 45	Indice facial supérieur	55,6	54,6	59,7	56,4
52 : 51	Indice orbitaire	83,8	82,1	91,9	89,5
54 : 55	Indice nasal	46,8	42,6	44,7	45,0
63 : 62	Indice palatin	90,5	85,7	80,0	93,3

moyennement large, le nez étroit (leptorhinien), les pommettes peu saillantes, les fosses canines planes. La mandibule est élevée, à branches étroites et hautes, à gonions éversés. Le menton est net. L'arc dentaire est hyperbolique.



Fig. 3. Crâne masculin n° 1444, du XIe siècle, provenant de Szob (Dép. de Pest). Type : nordique-dinarique

N° 1542.

Crâne très bien conservé avec mandibule (cranium), provenant d'une Femme de 30 à 35 ans (Ad.).

En norma verticalis : le crâne est pentagonoïde, d'allongement moyen (mésocrâne). Le frontal est moyennement large (métriométope). Les bosses frontales sont moyennes, les bosses pariétales bien formées. Les sutures, d'une dentelure fine, sont restées ouvertes. Phénozyge. *En norma occipitalis :* le crâne est de hauteur moyenne (métriocrâne), affectant la forme «en boule». Les apophyses mastoïdes sont petites et pointues. *En norma basalis :* le trou occipital est arrondi, la voûte du palais est étroite et allongée, d'une excavation moyenne. L'arc dentaire est parabolique. La face triturante des dents, toutes bien développées et volumineuses, est restée intacte. *En norma temporalis :* le crâne apparaît élevé (hypsicrâne), avec la glabelle effacée (1), le front haut, bombé et vertical, la voûte moyennement élevée, l'occiput arrondi. La racine du nez est élevée, le nez est fortement proéminent, à profil rectiligne, l'épine nasale est moyenne (3). *En norma frontalis :* la face est étroite (leptoprosope), les orbites sont arrondies et élevées (hypsiconques). La racine du nez est large, le nez est étroit (leptorhinien), les malaires sont fuyants, les fosses canines sont planes. Mandibule moyennement élevée, à branches montantes basses et larges, à gonions extroversés. Arcade dentaire hyperbolique.

N° 1543.

Crâne très bien conservé avec mandibule (cranium), provenant d'un Homme de 30 à 35 ans (Ad.). — Voir *Fig. 4.*

En norma verticalis : crâne ellipsoïde, d'allongement moyen (mésocrâne), au frontal large (euryprosope). Les sutures, d'une dentelure fine, sont restées ouvertes. Il existe une suture métopique. Cryptozyge. *En norma occipitalis :* le crâne est moyennement élevé (métriocrâne) et offre un contour circulaire à tendance pentagonale. La protubérance occipitale externe est d'un développement moyen (3). Apophyses mastoïdes massives. *En norma basalis :* le trou occipital affecte une forme allongée, deltoïde, la voûte palatine est large, peu profonde, l'arcade alvéolaire est parabolique. Les dents, toutes bien développées et petites, ne présentent pas trace d'usure. *En norma temporalis :* le crâne est moyennement élevé (orthocrâne), la glabelle est faiblement développée (2), les arcades sus-orbitaires sont assez proéminentes. Le front, de hauteur moyenne, s'élève à pic. La ligne médiane de la voûte est moyennement élevée, le contour occipital est arrondi. La racine du nez est haute, le nez, à profil rectiligne, est fortement saillant, l'épine nasale est petite (1—2). La partie alvéolaire du maxillaire est peu élevée. *En norma frontalis :* la face apparaît moyennement large (mésoprosope), les cavités orbitaires, vastes et élevées (hypsiconques), sont séparées par une distance interorbitaire considérable. La racine du nez

TABLEAU IV

Szob—Vendelin földek, XIe siècle

№ d'Inventaire	1443	1444	1542	1543
Age—Sexe	Juv. (♂)	Ad. ♂	Ad. ♀	Ad. ♂
Norma verticalis	Pentagonoïde	Ellipsoïde	Pentagonoïde	Ellipsoïde
Forme générale du crâne	Mésocrâne, orthocrâne, acrocrâne	Dolichocrâne, hypsicrâne, acrocrâne	Mésocrâne, hypsicrâne, métriocrâne	Mésocrâne, orthocrâne, métriocrâne
Front	Eurymétope	Eurymétope	Métriométope	Eurymétope Suture métopique
Glabelle	1	3—4	1	—
Face totale	Leptoprosope Rétrécie en bas	Mésoprosope Elliptique	Leptoprosope Rétrécie en bas	Mésoprosope Ovalaire
Orbite	Mésoconque Subquadrangulaire	Mésoconque Subquadrangulaire	Hypsiconque Arrondie	Hypsiconque Quadrangulaire
Nez Profil du nez Épine nasale	Leptorhinien Rectiligne —	Leptorhinien Courbe 3	Leptorhinien Rectiligne 3	Leptorhinien Rectiligne 1—2
Profil facial	Orthognathe	Mésognathe	Orthognathe	Orthognathe

et le nez sont étroits (leptorhinien), les malaires sont plutôt saillants. La mandibule est moyennement élevée, à branches montantes basses et larges. L'arcade dentaire est hyperbolique.

*

Les principaux indices et mesures des quatre crânes ci-dessus examinés sont résumés dans le Tableau III. L'estimation de l'âge des trois crânes masculins et du crâne féminin, dont se compose cette série, donne 1 Juv. et 3 Ad. Répartis selon les différents indices, ils se classent ainsi :

Indice céphalique : 1 dolichocrâne, 3 mésocrânes. Indice vertical de longueur : 2 orthocrânes, 2 hypsicrânes. Indice vertical de largeur : 2 métriocrânes, 2 acrocrânes. Indice fronto-pariétal transverse : 3 eurymétopes, 1 métriométope. Indice facial total : 2 leptoprosopes, 2 mésoprosopes. Indice orbitaire : 2 mésoconques, 2 hypsiconques. Indice nasal : 4 leptorhiniens. Le profil facial est généralement orthognathe. (Pour la comparaison des caractères descriptifs, voir Tableau IV.)

On retrouve ici, comme pour la série précédente, les trois groupes somatiques distincts, montrant une certaine tendance à la mésocrânie. Si l'on fait



Fig. 4. Crâne masculin n° 1543, du XIe siècle, provenant de Szob (Dép. de Pest). Type : turano-mongoloïde

abstraction du crâne Juv. n° 1443, au Groupe I correspondra ici le crâne n° 1444 (montrant en même temps une influence dinarique) ; au groupe II le crâne n° 1542, et au groupe III le crâne mongoloïde n° 1543, que certains traits distinguent cependant du type mongoloïde analogue observé dans la série précédente.

L'existence de ces types communs aux deux cimetières fait penser à la continuité d'au moins une partie de la population ayant vécu dans cette région, mais le nombre restreint de crânes dont nous disposons est évidemment insuffisant pour permettre aucune conclusion définitive.

L'étude de *Nemeskéri* sur le cimetière de Szob—Kiserdő (X^e—XIe siècles)[2] portant sur un matériel, malheureusement réduit, de 7 crânes, peut nous être d'un certain secours par le fait qu'elle comble la lacune existant entre nos deux cimetières. En comparant ses données à celles que nous avons obtenues, nous observons une certaine similitude entre les divers types et leurs principaux indices (indice céphalique, indice facial supérieur), de même qu'une concordance suffisante des valeurs moyennes de l'indice céphalique, comme on peut en juger par le tableau ci-dessous :

Comparaison des cimetières de Szob

Indices		Homokok VIIIe—IXe s.	Kiserdő X^e—XIe s. (Nemeskéri)	Vendelin-földek XIe s.
8 : 1 Indice céphalique	Hyperdolichocrâne	1	—	—
	Dolichocrâne	3	2	1
	Mésocrâne.....	2	3	3
	Brachycrâne	3	1	—
	Hyper- et ultrabrachycrâne ..	1	—	—
	Valeur moyenne :	77,7 (10)	76,5 (7)	76,2 (4)
48 : 45 Indice facial supérieur	Euryène	1	—	1
	Mésène	3	4	3
	Leptène.....	2	1	—
	Hyperleptène	1	—	—

On constatera, au cours de cette comparaison, la diminution progressive de la valeur de l'indice céphalique et sa tendance vers la dolichocrânie, fait qui tient à la réduction puis à l'absence d'éléments brachycrânes. Ajoutons qu'il reste à savoir si le même phénomène apparaîtrait aussi à l'examen d'un matériel résultant de fouilles plus complètes.

Malheureusement, nous ne disposons pas de matériel plus étendu qui permettrait d'affirmer la continuité, au moins partielle, de la population de l'époque avare jusqu'au XIe siècle.

[2] *Nemeskéri*, 1948, pp. 382—385 et 388—393.

III. Piliny—Sirmány, XIe siècle

Dans le cimetière de Piliny—Sirmány, *Nyáry* a opéré deux fouilles successives qui furent chaque fois suivies, de sa part, de publications très détaillées.[3] Celles-ci nous apprennent qu'à part certaines tombes typiquement hongroises, la plupart ont livré un mobilier funéraire dont l'origine slave paraît peu douteuse. Cette opinion est également partagée par *Eisner*,[4] qui fait remonter l'origine de ce cimetière au Xe siècle.

Malheureusement, des 160 tombes mises à jour dans le cimetière de Piliny—Sirmány, *Nyáry* n'a conservé que 11 crânes, dont 9 seulement permettent une étude anthropométrique plus détaillée. Dans une note marginale figurant dans la première publication de *Nyáry*, *A. Török* a donné une description sommaire des crânes recueillis, mais de graves et nombreuses fautes d'imprimeries altèrent ce texte au point de le rendre pratiquement inutilisable. De plus, bien que les crânes soient numérotés de I à VI (série de chiffres romains) pour le premier, et de 4 à 10 (chiffres arabes) pour le second groupe, ce numérotage, sans rapport avec les sépultures, ne nous indique pas à quelles tombes ces crânes appartenaient, fait que *Török* a également manqué de préciser.

Voici maintenant la description morphologique des crânes :

N° 2311.

Boîte crânienne restituée, incomplète (calvaria), attribuée à un Homme de 50 à 44 ans (Mat.).

En norma verticalis : le crâne est de forme eurypentagonoïde, de faible allongement (brachycrâne), le front est étroit (sténométope), les bosses pariétales sont moyennes. Les sutures ont des dentelures fines à l'état de synostose avancée. *En norma occipitalis :* le crâne se présente aplati, réalisant le type «en boule». La protubérance occipitale externe est peu développée (1—2). Les apophyses mastoïdes sont pointues et moyennement saillantes. *En norma basalis :* le trou occipital apparaît grand, présentant une forme allongée. *En norma temporalis :* le crâne est élevé, avec la glabelle moyenne (3), les arcades orbitaires assez proéminentes, le front bas, bombé et d'une disposition fuyante. La voûte est moyennement élevée, le contour occipital est convexe. La racine du nez est moyennement haute, le nez, à dos courbe, accuse une très forte saillie.

N° 2312.

Crâne fragmentaire restitué, très incomplet, avec mandibule (cranium), attribué à un Homme de 25 à 30 ans (Ad.).

En norma verticalis : le crâne est ovoïde, de longueur moyenne (mésocrâne), le frontal est moyennement large (métriométope), les sutures sont assez simples et ouvertes. *En norma occipitalis :* le crâne appraît moyennement haut, «en

[3] *Nyáry*, 1902 ; *Nyáry*, 1904.
[4] *Eisner*, 1933, pp. 268—269.

boule». La protubérance occipitale externe est peu développée (1), les apophyses mastoïdes sont petites et pointues. — La base du crâne manque. *En norma temporalis :* le crâne est élevé, avec la glabelle effacée (1), le front haut et incliné vers l'arrière, la voûte bien développée en hauteur, la courbe occipitale arrondie. La région nasale fait défaut. *En norma frontalis :* les orbites sont grandes et moyennement élevées (mésoconques), le nez est étroit (leptorhinien), les malaires sont fuyants, les fosses canines sont peu profondes. La mandibule est basse, à branches moyennement élevées et étroites, le menton est net, les gonions sont éversés. L'arcade dentaire est hyperbolique.

N° 2313.

Crâne fragmentaire restitué, incomplet, avec mandibule (cranium), attribué à un Homme de 35 à 40 ans (Ad.).

En norma verticalis : le crâne est de forme sphénoïde, allongé (dolichocrâne), le front est large (eurymétope), les sutures sont compliquées et ouvertes. Phénozyge. *En norma occipitalis :* le crâne se présente moyennement élevé, dessinant un contour subquadrangulaire. La base du crâne manque. *En norma temporalis :* le crâne est de hauteur moyenne, la glabelle est effacés (1), le front est moyennement élevé et vertical, la voûte est basse, l'occiput est arrondi. La région nasale fait défaut. La région allant du plancher nasal au bord alvéolaire est très courte. Il existe une certaine prognathie alvéolaire. *En norma frontalis :* la face est surbaissée et large (euryprosope), avec les orbites basses, les pommettes plutôt saillantes et les fosses canines assez profondes. La mandibule est trapue, à branches montantes moyennement élevées et étroites, l'éminence mentonnière est bien accusée, l'arcade dentaire est hyperbolique.

N° 2314.

Crâne d'une excellente conservation avec mandibule (cranium), attribué à une Femme de 35 à 40 ans (Ad.).

En norma verticalis : le crâne est pentagono-ovoïde, de longueur moyenne (métriométope). Les bosses pariétales sont assez bien marquées. Les sutures, d'une complication moyenne, sont presque toutes ouvertes. Cryptozyge. *En norma occipitalis :* le crâne se présente aplati (tapéinocrâne), offrant un contour pentagonal. Les apophyses mastoïdes sont petites. *En norma basalis :* le trou occipital paraît allongé, piriforme, la voûte du palais est moyennement large, l'arcade alvéolaire est parabolique. Toutes les dents sont développées, leur face triturante est intacte. *En norma temporalis :* le crâne est aplati (chamaecrâne), se rapprochant de l'orthocrânie, la glabelle est à peine indiquée (1), le frontal est bas et légèrement fuyant. La ligne médiane de la voûte est élevée, la courbe occipitale est arrondie. Du côté gauche il y a un os épiptérique. La position de la racine du nez est élevée le nez est faiblement saillant, à dos rectiligne, l'extrémité des os nasaux est brisée. Il existe un certaine prognathie alvéolaire.



Fig. 5. Crâne masculin n° 2315, du XIe siècle, provenant de Piliny (Dép. de Nógrád). Type : nordique

En norma frontalis : la face est étroite (leptoprosope), les orbites sont de hauteur moyenne (mésoconques), la racine du nez est large, de même que l'ouverture nasale (chamaerhinienne), dont le bord inférieur présente une forme infantile. Les os malaires sont fuyants, les fosses canines sont de peu de profondeur. La mandibule est trapue, les branches montantes sont basses, les gonions sont arrondis. L'arcade dentaire est hyperbolique.

N° 2315.

Crâne fragmentaire restitué et incomplet, avec mandibule (cranium), provenant d'un Homme de 35 à 40 ans (Ad.). — Voir *Fig. 5.*

En norma verticalis : le crâne est de forme sphéno-ovoïde, d'allongement moyen (mésocrâne), le front est moyennement large (métriométope), les sutures sont simples et ouvertes. Sutures métopique. Cryptozyge. *En norma occipitalis :* le crâne est d'élévation moyenne, de forme subquadrangulaire. La protubérance occipitale externe est faiblement développée (1), les apophyses mastoïdes sont assez saillantes. *En norma basalis :* base crânienne incomplète. La voûte palatine est de largeur moyenne. L'arcade dentaire est en U. La plupart des dents sont tombées *post mortem. En norma temporalis :* le crâne se présente moyennement haut, avec la glabelle de développement moyen (3), le frontal moyennement élevé et convexe, la voûte bien développée en hauteur et l'occiput arrondi. La région nasale est incomplète. Le profil facial accuse une forte prognathie alvéolaire. *En norma frontalis :* la face est moyennement large (mésoprosope), les cavités orbitaires sont moyennement élevées, (mésoconques). Le bord inférieur de l'ouverture nasale est de type infantile. Les os malaires sont assez saillants, les fosses canines sont peu profondes. La mandibule est haute, le menton est proéminent, les branches montantes sont élevées et étroites, les gonions sont extroversés. L'arc dentaire est hyperbolique.

N° 2316.

Crâne fragmentaire restitué, incomplet, dépourvu de mandibule (calvarium), attribué à un Homme de 40 à 45 ans (Mat.).

En norma verticalis : crâne ovoïde, de longueur moyenne (mésocrâne). Le frontal est moyennement large (métriométope). Les sutures, offrant des dentelures compliquées, présentent un commencement de synostose. Phénozygie. *En norma occipitalis :* le crâne est élevé (acrocrâne), de forme pentagonale. La protubérance occipitale externe est peu développée (1), les apophyses mastoïdes sont massives. *En norma basalis :* le trou occipital est de forme allongée. Le maxillaire supérieur fait défaut. *En norma temporalis :* le crâne se présente élevé (hypsicrâne), avec la glabelle peu développée (2), le front haut et bombé, la voûte élevée, le contour occipital modérément convexe (curvi-occipital). La racine du nez est moyennement élevée, le nez est fortement proéminent

TABLEAU V

Piliny-Sirmány, XIe siècle

Chiffres d'après Martin	Mesures et indices	I. ♂ 2311	II. (♂) 2312	III. (♂) 2313	IV. (♀) 2314	V. (♂) 2315	VI. (♂) 2316	4 (♂) 2317	6 (♂) 2318	10 ♂ 2321
1.	Diam. antéro-post.	186	186	195	177	189	178	181	180	177
5.	D. nasion-basion	—	—	—	94	—	98	109	99	—
8.	D. transverse max.	153	145	140	134	144	141	140	140	171
9.	D. frontal min.	89	96	98	91	99	95	103	93	104
17.	Ht. basion-bregma	—	—	—	123	—	141	138	126	—
20.	Ht. auric.-bregm.	117	119	114	114	119	115	125	117	121
32(1a)	Inclinaison front./plan	—	—	—	51°	—	—	55°	51°	—
40.	D. basion-prosthion	—	—	—	92	—	—	100	95	—
45.	D. bizygomatique	(129)	—	(135)	118	133	130	128	128	(141)
47.	Ht. fac. tot.	—	123	113	112	119	—	—	106	120
48.	Ht. fac. sup.	70	75	60	64	75	68	67	60	72
51.	Larg. orbite	—	(42)	—	36	38	40	39	37	37
52.	Ht. orbite	—	32	32	29	30	28	31	28	31
54.	Larg. nasale	—	23	—	24	—	—	29	24	(28)
55.	Ht. nasale	51	55	42	46	52	48	53	47	52
62.	Long. palais	—	—	—	44	48	—	47	41	—
43.	Larg. palais	—	—	—	37	—	—	38	37	(40)
65.	D. bicondylien	—	118	—	111	113	—	—	101	—
66.	D. bigoniaque	—	101	98	89	106	—	—	90	(110)
69.	Ht. symphysienne	—	33	28	29	35	—	—	30	31
70.	Ht. branche mont.	—	68	66	51	72	—	—	53	65
71.	Larg. branche mont.	—	25	30	29	30	—	—	26	30
72.	Angle fac. tot.	—	—	—	88°	—	—	91°	89°	—
8 : 1	Indice céphalique	82,3	78,0	71,8	75,7	76,2	79,2	77,4	77,8	96,6
17 : 1	Indice vertic. de long.	—	—	—	69,5	—	79,2	76,2	70,0	—
17 : 8	Indice vertic. de larg.	—	—	—	91,8	—	100,0	98,6	90,0	—
9 : 8	Indice frontopar. transv.	58,2	66,2	70,0	67,9	68,8	67,4	75,6	66,4	60,8
47 : 45	Indice facial total	—	—	83,1	94,9	89,5	—	—	82,8	85,1
48 : 45	Indice facial supérieur	54,3	—	44,4	54,2	56,4	52,3	52,3	46,9	50,3
52 : 51	Indice orbitaire	—	(76,2)	—	80,6	79,0	70,0	79,5	75,7	83,8
54 : 55	Indice casal	—	(41,8)	—	52,2	—	—	54,7	51,1	53,9
63 : 62	Indice palatin	—	—	—	84,1	—	—	80,9	90,2	—

à dos courbe. *En norma frontalis :* la face supérieure est de largeur moyenne (mésène), les orbites sont rectangulaires et basses (chamaeconques), les os malaires sont fuyants.

N° 2317.

Crâne restitué incomplet, sans mandibule (calvarium), attribué à un Homme de 30 à 35 ans (Ad.).

En norma verticalis : la crâne est de forme ovoïde, d'allongement moyen (mésocrâne), le frontal est large (eurymétope), les sutures, de complication moyenne, sont ouvertes. Phénozyge. *En norma occipitalis :* le crâne apparaît élevé (acrocrâne), dessinant un contour pentagonal. Les apophyses mastoïdes sont moyennes. *En norma basalis :* le trou occipital est petit, la voûte palatine est de largeur moyenne. Le palatin présente un torus sagittal. L'arc dentaire est upsiloïde, les dents sont volumineuses et usées. Une partie des dents est tombée. *En norma temporalis :* le crâne est élevé (hypsicrâne), la glabelle est plate (1), le front est haut, bombé et fuyant. La hauteur de la voûte est moyenne, le contour occipital est arrondi (curvi-occipital). La racine du nez est moyennement élevée, le profil du nez est convexe, le nez et l'épine nasale (3) accusent une saillie moyenne. Prognathie alvéolaire. *En norma frontalis :* la partie alvéolaire du maxillaire est peu élevée. La face supérieure est de largeur moyenne (mésène), avec les cavités orbitaires moyennement élevées (mésoconques), la racine du nez et le nez larges (chamaerhinien), les pommettes peu saillantes, les fosses canines de peu de profondeur.

N° 2318.

Crâne restitué en bon état de conservation, avec mandibule (cranium), attribué à un Homme de 45 à 50 ans (Mat.).

En norma verticalis : le crâne est sphénoïde, de longueur moyenne (mésocrâne), le front est moyennement large (métriométope), sur la limite de la sténométopie. Les sutures ont des dentelures fines, leur synostose est déjà avancée. Phénozyge. *En norma occipitalis :* le crâne apparaît aplati (tapéinocrâne), présentant la forme «en boule». La protubérance occipitale externe est peu marquée (1), les apophyses mastoïdes sont assez volumineuses. *En norma basalis :* le trou occipital est petit, le palais est de largeur moyenne, l'arc dentaire est parabolique. Les dents, peu usées, sont toutes sorties, à l'exception des troisièmes molaires. *En norma temporalis :* le crâne est de hauteur moyenne (orthocrâne), avec la glabelle à peine dessinée (1), le front moyennement élevé et vertical, la voûte basse et l'occiput convexe. La racine du nez est moyennement élevée, le nez est peu proéminent à dos rectiligne, l'épine nasale est petite (1—2). *En norma frontalis :* la face est large (euryprosope), les orbites sont rectangulaires et basses (chamaeconques), la racine du nez est de largeur moyenne, le nez est large (chamaerhinien), les malaires sont assez saillants, les fosses canines sont planes. La mandibule est basse, l'éminence mentonnière est bien accentuée, les branches montantes sont de hauteur moyenne et étroites, l'arc dentaire est hyperbolique.

N° 2319.

Voûte crânienne fragmentaire restituée, incomplète (calva), provenant d'un sujet de 30 à 35 ans (Ad.). Les sexe n'a pas pu être déterminé.

En norma verticalis : sphéroïde. Le crâne est court (brachycrâne), le frontal est large (eurymétope), les sutures sont simples et ouvertes. Phénozyge. *En norma occipitalis :* le crâne se présente aplati, pentagonal, avec la protubérance occipitale externe peu apparente (1—2), la ligne courbe occipitale supérieure franchement marquée et les apophyses mastoïdes assez saillantes. *En norma temporalis :* la hauteur du crâne et la glabelle (3) sont moyennes, le front est moyennement élevé, bombé et fuyant, la voûte est de hauteur moyenne, l'occiput est arrondi.

N° 2320.

Voûte crânienne (calva) restituée, de bonne conservation, avec mandibule restituée et incomplète, provenant d'une Femme de 35 à 40 ans (Ad.).

En norma verticalis : le crâne est de forme sphéro-ovoïde, allongé (dolichocrâne). Le front est large (eurymétope). Les sutures, finement dentelées, sont restées presque partout ouvertes. *En norma occipitalis :* le crâne apparaît moyennement élevé, pentagonal. La protubérance occipitale externe est d'un développement moyen (3), la ligne courbe occipitale supérieure est bien dessinée, les apophyses mastoïdes sont pointues et assez volumineuses. *En norma temporalis :* le crâne est de hauteur moyenne, avec la glabelle peu apparente (2), le frontal bas et redressé, la voûte basse et l'occiput arrondi.

N° 2321.

Crâne fragmentaire restitué et incomplet avec mandibule (cranium), provenant d'un Homme de 35 à 40 ans (Ad.).

En norma verticalis : sphéro-sphénoïde. Crâne très court (ultrabrachycrâne) d'une largeur excessive (pathologique?), avec le frontal étroit (sténométope), les bosses pariétales puissamment marquées, les sutures peu compliquées et ouvertes. Cryptozyge. *En norma occipitalis :* le crâne est aplati, «en boule». La saillie des apophyses mastoïdes est très accusée. *En norma basalis :* la plus grande partie de la base crânienne fait défaut. Le palais est à l'état fragmentaire. L'arc dentaire est upsiloïde, incomplet. *En norma temporalis :* la glabelle paraît faiblement développée (2), le frontal est élevé, assez vertical et convexe. La voûte est basse, l'arc médio-sagittal s'abaisse brusquement en avant de la région occipitale. Le plan nuchal est aplati (plan occipital). La racine du nez est haute, le dos du nez est légèrement convexe et court, le nez est proéminent. *En norma frontalis :* la face, de largeur moyenne (mésoprosope), est rétrécie en pointe. Les cavités orbitaires sont petites, rectangulaires, de hauteur moyenne (mésoconques), séparées par un espace interorbitaire considérable. La racine du

TABLEAU

Piliny-Sirmány,

N° d'Inventaire	I. 2311	II. 2312	III. 2313	IV. 2314
Age—Sexe	Mat. ♂	Ad. (♂)	Ad. (♂)	Ad. (♀)
Norma verticalis	Eurypentagonoïde	Ovoïde	Sphénoïde	Pentagonoïde
Forme générale du crâne	Brachycrâne — —	Mésocrâne — —	Dolichocrâne — —	Mésocrâne chamaecrâne tapéinocrâne
Front	Sténométope	Métriométope	Eurymétope	Métriométope
Glabelle	3	1	1	1
Face totale (Face supérieure)	Mésène	—	Euryprosope Basse, large	Leptoprosope Ovalaire
Orbite	—	Mésoconque Quadrangulaire	— Basse quadrangulaire	Mésoconque Subquadrangulaire
Nez Profil du nez Épine nasale	— — —	Leptorhinien — —	— — —	Chamaerhinien Rectiligne —
Profil facial	—	—	—	Orthognathe

nez est étroite, le nez est large (chamaerhinien). Le bord inférieur de l'ouverture nasale va se rétrécissant de haut en bas, dans le sens de la ligne médiane. Les os malaires sont fuyants. Les fosses canines sont de profondeur moyenne. La mandibule est moyennement haute, à branches montantes étroites, d'élévation moyenne. Les arcades dentaires sont hyperboliques.

C'est bien le seul crâne qu'on reconnaît dans la description sommaire de *A. Török*, qui le considère comme hydrocéphale. Il s'agit probablement d'une forme pathologique, mais la largeur anormale du crâne doit être attribuée, en partie, à une déformation *post mortem*.

*

Les principales indications métriques trouvées pour les 9 crânes mesurables sont résumées dans le Tableau V.

Voici d'après celles-ci, le classement des différentes têtes examinées :

D'après la diagnose sexuelle, il y a 8 crânes masculins contre 1 féminin. La séparation sexuelle s'est avérée parfois très difficile, à cause surtout de

VI

XIe siècle

V. 2313	VI. 2316	4. 2317	6. 2318	10. 2321
Ad. ♂	Mat. (♂)	Ad. (♂)	Mat. (♂)	Ad. ♂
Sphénoïde	Ovoïde	Ovoïde	Sphénoïde	Sphéro-sphénoïde
Mésocrâne — —	Mésocrâne, hypsicrâne, acrocrâne	Mésocrâne, hypsicrâne, acrocrâne	Mésocrâne, orthocrâne, tapéinocrâne	Ultrabrachycrâne — —
Métriométope Suture métopique	Métriométope	Eurymétope	Métriométope	Sténométope
3	2	1	1	2
Mésoprosope Rétrécie en bas, anguleuse	Mésène	Mésène Basse	Euryprosope Basse	Mésoprosope Rétrécie en bas, anguleuse
Mésoconque Quadrangulaire	Chamaeconque Quadrangulaire	Mésoconque Quadrangulaire	Chamaeconque Quadrangulaire	Mésoconque Quadrangulaire
— Bord inférieur émoussé —	— Courbe —	Chamaerhinien Courbe 3	Chamaerhinien Rectiligne 1—2	Chamaerhinien Légèrement courbe —
—	—	Orthognathe	Orthognathe	—

l'absence d'os squelettiques. La supériorité des hommes peut s'expliquer par le fait que les crânes masculins, à parois plus épaisses, ont seuls été recueillis à cause de leur meilleure conservation.

En ce qui concerne l'âge, nous trouvons : 6 Ad., et 3 Mat.-L'indice céphalique montre que la mésocrânie prédomine avec 6 sujets, contre 1 dolichocrâne, 1 branchycrâne et 1 ultrabrachycrâne (forme pathologique?). L'indice vertical de longueur n'a été établi que pour 4 crânes, dont : 1 chamaecrâne, 1 orthocrâne, et 2 hypsicrânes. L'indice vertical de largeur, calculé pour 4 crânes également, donne : 2 tapéinocrânes, et 2 acrocrânes, à l'exclusion de la métriocrâne. L'indice fronto-pariétal transverse distingue, sur les 9 sujets : 2 sténométopes, 5 métriométopes et 2 eurymétopes. L'indice facial total n'a pu être déterminé que pour 4 crânes, dont 2 euryprosopes et 2 mésoprosopes. Les 5 autres crânes sont mésènes d'après l'indice facial supérieur, seul calculable. L'indice orbitaire, calculé pour 7 crânes, montre une prédominance de la mésoconquie avec 5 sujets, contre 2 chamaeconques. L'indice nasal enfin se montre assez homogène avec 4 chamaerhiniens contre 1 leptorhinien, à l'exclusion de la mésorhinie. Cet

indice n'a pas pu être déterminé pour 4 crânes. — Comparée au matériel des autres cimetières, cette série se signale donc par la prédominance des sujets mésoconques et chamaerhiniens. Le profil facial est généralement orthognathe. (Pour la comparaison des indices, voir Tableau VI.)

Dans cette série, nous ne retrouvons plus que partiellement les groupes somatiques isolés dans les cimetières de Szob. On peut constater la présence du groupe II, représenté par les crânes n°s 2314 et 2318. Au groupe I correspond ici plus ou moins un ensemble de caractères mésocrâne représenté par les crânes n°s 2312, 2313, 2315 et sous une forme moins typique, les n°s 2316 et 2317. Le groupe mongoloïde III. n'a pas ici son équivalent, mais on devra, par contre, introduire sous réserve un quatrième groupe, représenté par l'unique crâne n° 2321, (probablement pathologique), auquel vient encore s'ajouter, par certains de ces traits, le n° 2316 plus haut mentionné. Ce dernier complexe de caractères se manifeste par une brachycrânie et même une hyperbrachycrânie nettes, ainsi que par les grandes dimensions absolues du crâne.

IV. Rád, X^{e}—XIe siècles

A Rád, au lieu dit Kishegy, 23 tombes furent mises à jour, en 1936, sous la direction de *S. Gallus*. Une grande partie du mobilier funéraire, conservé au «Musée Palóc» de Balassagyarmat, devait malheureusement être détruite au cours de la guerre, mais le rapport de fouilles de *Gallus* (enr. sous le n° 32/1936 aux Archives Archéologiques) communique les conditions de la découverte et l'inventaire des tombes. Le mobilier restant n'a donné lieu, jusqu'ici, à aucune publication. Son témoignage permet cependant de situer le début de ce cimetière à l'époque de la conquête du pays (X^{e}—XIe siècles), par les vestiges, dans plusieurs tombes, des rites funéraires typiques des inhumations de cette époque.

Malgré les fouilles systématiques par *Gallus*, le matériel osseux récolté fut incomplet et fragmentaire. Les crânes, déjà mal conservés, continuaient à se détériorer pendant la guerre, de sorte que tout ce dont dispose actuellement la Section anthropologique du Musée national d'Histoire naturelle, se réduit à 11 crânes et 8 squelettes. Encore cinq de ces crânes sont-ils trop incomplets et déformés pour qu'on puisse y prendre des mensurations, ce qui diminue finalement le nombre des pièces étudiables à six, dont une seule est réellement bien conservée. L'état défectueux de notre matériel n'a pas permis d'en faire une étude crâniométrique complète. Les mesures dont l'exactitude, à cause de la fragmentation du crâne, n'est pas absolue, sont mises entre parenthèses. Les mesures des os longs n'ont été utilisées que pour l'évaluation de la stature. Ajoutons que l'étude crânioscopique semblait permettre de résoudre la plupart des problèmes dus à l'insuffisance des mensurations. — L'inventaire du mobilier accompagne la description morphologique des crânes étudiés dans l'ordre numérique des sépultures.

N° 3248. — Tombe n° 2.

Mobilier : petites boucles d'oreilles d'argent, arc, carquois, pointes de flèches en fer, boucle de fer, paire d'étriers, mors.

Crâne fragmentaire restitué avec mandibule (cranium) et os longs d'un Homme de 35 à 40 ans (Ad.).

En norma verticalis : sphéro-sphénoïde. Crâne très court (ultrabrachycrâne), à sutures compliquées et ouvertes. Phénozyge. Le front est étroit (sténométope). *En norma occipitalis :* le crâne est large, aplati (tapéinocrâne), l'apophyse mastoïde (dont la gauche seule existe) est moyenne. La base du crâne et le temporal droit font complètement défaut. La voûte du palais est allongée, l'arc dentaire est elliptique, les dents sont usées. *En norma temporalis :* le crâne est élevé (hypsicrâne), avec la glabelle et les arcades sourcilières proéminentes (3—4), le front élevé et fuyant, le contour médio-sagittal de la voûte élevé et le plan nuchal aplati (planoccipital). Les os nasaux font entièrement défaut. *En norma frontalis :* la face est à l'état fragmentaire, les orbites sont élevées (hypsiconques), le nez est moyennement large (mésorhinien), la fosse canine est peu apparente. La mandibule est haute, robuste, à gonions extroversés, à branches montantes basses et larges. L'arcade dentaire est hyperbolique. L'éruption des deux troisièmes molaires est terminée.

N° 3250. — Tombe n° 4.

Mobilier : carquois, arc, pointes de flèches en fer, paire d'étriers, mors, deux petits hochets de bronze. Crâne, phalange unguéale et métatarse de Cheval.

Crâne fragmentaire restitué, avec mandibule (cranium) et os longs d'un Homme de 35 à 40 ans (Ad.).

En norma verticalis : le crâne apparaît court (brachycrâne) et comprimé dans le sens du diamètre oblique gauche (plagiocéphale). Le frontal est moyennement large (métriométope), les sutures sont ouvertes et offrent une dentelure de complication moyenne. Orthozyge. *En norma occipitalis :* le crâne est aplati (tapéinocrâne). La protubérance occipitale externe est peu marquée (2), les apophyses mastoïdes sont d'un développement moyen. — La base du crâne fait partiellement défaut, le palais, bien excavé (et probablement large) se trouve à l'état fragmentaire. L'arcade dentaire est parabolique. La région comprenant les molaires gauches est brisée, la troisième molaire droite est sortie. Les dents accusent une usure accentuée. *En norma temporalis :* le crâne est court (brachycrâne), la glabelle et les arcades sourcilières sont peu marquées (2), le front, de hauteur moyenne, est légèrement incliné en arrière. La ligne médiane de la voûte est modérement élevée, son maximum de hauteur correspond à la région frontale. L'occiput est très saillant (curvi-occipital). La racine du nez est moyennement haute, les os nasaux sont partiellement brisés, la partie conservée montre un profil convexe. L'épine nasale est moyenne (3), le profil facial est orthognathe.

En norma frontalis : la face est moyennement large (mésoprosope), les orbites sont élevées (hypsiconques), la racine du nez et le nez sont étroits (leptorhinien). La disposition des malaires indique des pommettes d'une saillie moyenne. Les fosses canines sont à peu près planes. La mandibule est élevée, robuste, les branches montantes sont basses et larges, les gonions sont arrondis. L'arcade dentaire est hyperbolique, toutes les dents sont bien développées, y compris les deux troisièmes molaires.

N° 3252. — Tombe n° 6.

Pas de mobilier.

Crâne fragmentaire restitué, avec mandibule fragmentaire (cranium), d'une Femme de 25 à 30 ans (Ad.).

En norma verticalis : crâne ellipsoïde, allongé (dolichocrâne). Le frontal est de largeur moyenne (métriométope), les sutures sont moyennement compliquées et ouvertes. Orthozyge. *En norma occipitalis :* le crâne se présente aplati (tapéinocrâne). Toute la base crânienne et une partie des régions temporales et pariétales manquent. Le palais est allongé, l'arcade dentaire est hyperbolique, les dents sont usées. *En norma temporalis :* le crâne est allongé (dolichocrâne), la glabelle est peu apparente (2—3), le front est de hauteur moyenne, à bosses frontales modérément marquées. Le contour médio-sagittal est peu élevé, l'occiput est fortement saillant (curvi-occipital). La racine du nez est de hauteur moyenne, le profil du nez est rectiligne, l'épine nasale est brisée. *En norma frontalis :* la face est moyennement large, avec les orbites moyennes (mésoconques), la racine du nez et le nez étroits (leptorhinien), les pommettes saillantes, les fosses canines modérément marquées. La mandibule est basse, large et présentant, avec tout le crâne, une gracilité très marquée. La branche montante est étroite et moyennement élevée. L'arc dentaire est fortement divergeant. La perte des deux premières molaires a entraîné une forte atrophie alvéolaire.

N° 3253. — Tombe n° 7.

Pas de mobilier.

Crâne de très bonne conservation avec mandibule (cranium) et os longs d'un Homme de 25 à 30 ans (Ad.).

En norma verticalis : le crâne est sphéro-sphénoïde, peu allongé (brachycrâne), le front est moyennement large (métriométope), les sutures, offrant des dentelures compliquées, sont ouvertes. Orthozyge. *En norma occipitalis :* le crâne apparaît modérément élevé (tapéino-métriocrâne), la protubérance occipitale externe est d'un développement moyen (2). *En norma basalis :* le trou occipital est allongé, d'une forme deltoïde arrondie, les condyles occipitaux sont semi-bipartites. Les apophyses mastoïdes sont petites et pointues, la voûte

palatine est allongée, profonde, l'arc dentaire est elliptique. Toutes les molaires sont sorties, les premières seules accusent une usure plus accentuée. *En norma temporalis :* le crâne se présente élevé (hypsicrâne), avec la glabelle effacée, le front haut et vertical, la ligne médiane de la voûte peu élevée, le plan nuchal aplati (planoccipital). La position de la racine du nez est élevée, le nez est saillant, à dos rectiligne, l'épine nasale est bien développée (4), le profil facial est orthognathe. La suture temporo-pariétale droite présente un os épiptérique de 4 à 10 mm de largeur. *En norma frontalis :* face étroite (leptoprosope), avec les orbites élevées (hypsiconques), la racine du nez et le nez étroits (leptorhinien), les fosses canines moyennes, les malaires peu saillants. La mandibule est haute, robuste, avec l'éminence mentonnière fortement accusée, les branches montantes basses et larges, et les gonions, celui de gauche surtout, fortement éversés (asymétrie). La configuration de la face est quadrangulaire. Le condyle occipital droit est brisé. L'arcade alvéolaire est hyperbolique, l'éruption des deux troisièmes molaires est terminée.

N° 3254. — Tombe n° 8.

Pas de mobilier.

Voûte crânienne fragmentaire restituée, incomplète (calva) et os longs attribués à un Homme de 40 à 50 ans (Mat.).

Cette pièce offre un caractère mésocrâne. Les sutures sont de complication moyenne, leur synostose a commencé. On voit les traces d'une lésion guérie dans la région sagittale et de deux orifices de *trépanation prophylactique* de 10 mm de diamètre chacun dans la région du bregma. Stature calculée : 174 cm.

N° 3255. — Tombe n° 9.

Pas de mobilier.

Voûte crânienne fragmentaire restituée (calva) avec mandibule et os longs, attribués à une Femme de 30 à 35 ans (Ad.).

Le crâne est excessivement court, fait qui doit être attribué en partie à une déformation *post mortem*. Même ainsi, l'indice céphalique doit sûrement être au-dessus de 90. Le côté droit du frontal manque. Les os étant déformés, toute mensuration était impossible. *En norma verticalis :* sphéno-sphéroïde. La région pariétale paraît très large, le frontal élevé et vertical, la ligne médiane de la voûte élevée, le plan nuchal aplati (planoccipital). Protubérance occipitale externe faiblement développée (1—2), apophyses mastoïdes moyennes et pointues. La mandibule, assez gracile, est de hauteur moyenne. Les branches montantes sont étroites, moyennement élevées, les angles goniaques sont légèrement extroversés. L'arc dentaire est hyperbolique. La troisième molaire gauche est sortie, les dents sont peu usées. Stature calculée : 169 cm.

N° 3256. — Tombe n° 10.

Pas de mobilier.

Crâne *trépané* à peu près complet, avec mandibule (cranium), d'un Homme de 25 à 30 ans (Ad.). — Voir *Fig. 6.*

En norma verticalis : crâne sphéno-sphénoroïde, très court (ultrabrachycrâne), au frontal étroit (sténométope). La région pariétale est très large. Les sutures, d'un dessin peu compliqué, sont restées ouvertes. Orthozyge. *En norma occipitalis :* le crâne est aplati (tapéinocrâne). Le bord occipital de l'os pariétal droit présente un orifice de *trépanation* de forme *allongée*, ovalaire, de 50 millimètres de long sur 40 de large (circonférence interne). Le processus avancé de réparation osseuse atteste une guérison complète de la trépanation. On relève encore la trace d'une plaie osseuse cicatrisée de forme allongée s'étendant sur la région lambdoïde et les écailles de l'occipital, dont la largeur moyenne est de 15 mm. Sa longueur exacte n'a pas pu être déterminée, la partie supérieure correspondante de la paroi crânienne étant brisée. La partie incluse entre l'orifice de trépanation et la plaie manque également, par suite d'une fracture postérieure à la mort. Les apophyses mastoïdes sont petites et pointues. *En norma basalis :* le pourtour du trou occipital fait défaut, le palais, de forme allongée, est endommagé. L'arc dentaire est parabolique, les deux troisièmes molaires sont sorties. *En norma temporalis :* le crâne est élevé (hypsicrâne), la glabelle est faiblement marquée (2—3), le front est de hauteur moyenne et modérément fuyant. Le contour médiosagittal est élevé, le plan nuchal est aplati (plan-occipital). La racine du nez est de hauteur moyenne, les os nasaux et l'épine nasale sont brisés. *En norma frontalis :* la face est moyennement large (mésoprosope), les orbites sont moyennes (mésoconques), la racine du nez et le nez sont étroits (leptorhinien). Les pommettes paraissent modérément saillantes, les fosses canines sont de profondeur moyenne. La mandibule est élevée, les branches montantes moyennement larges et basses sont presque verticales, les gonions sont faiblement extroversés. L'arcade dentaire est hyperbolique, à dents peu usées. Les deux troisièmes molaires inférieures sont sorties.

N° 3261. — Tombe n° 16.

Mobilier : deux grandes boucles d'oreilles d'argent.

Crâne fragmentaire restitué, incomplet, avec mandibule (cranium) et os longs d'une Femme d'environ 40 ans (Mat.). — Voir *Fig. 7.*

Ce crâne, fragmentaire et déformé, n'a pas permis de procéder à des mensurations. — *En norma verticalis :* le crâne est allongé (dolichocrâne). Les sutures, relativement simples, commencent à se synostoser dans la région de l'obélion et du bregma. En vue occipital, le crâne doit avoir une hauteur moyenne. La protubérance occipitale externe n'est pas développée. La base du crâne est fragmentée, incomplète. Apophyses mastoïdes petites et pointues, glabelle peu



Fig. 6. Crâne masculin nº 3256, du Xe ou XIe siècle, provenant de Rád (Dép. de Pest), tombe nº 10. Type : pamirien (dinarique?)

saillante (3), front moyennement élevé et oblique. La ligne médiane de la voûte est élevée, le plan nuchal est convexe. Les os nasaux font défaut. La face apparaît plutôt étroite, avec les orbites élevées, celle de gauche surtout (asymétrie), les fosses canines sont moyennes. La mandibule est moyennement élevée, très gracile, les branches montantes sont larges et basses. L'arc dentaire est hyperbolique. Perte de plusieurs molaires, ayant entraîné une athrophie alvéolaire. Les dents sont fortement abrasées. Stature calculée : 162 cm.

N° 3264. — Tombe n° 19.

Mobilier : torque tressé, anneau de bronze et un riche collier formé de perles en verre et en pâte vitreuse, de médailles de plomb et de pendeloques de bronze. — D'après l'inventaire de la Section Anthropologique du Musée d'Histoire Naturelle, deux squelettes seraient à rattacher à la Tombe 19 (fait dont le rapport de fouilles de *Gallus* ne fait aucune mention). Ce mobilier n'ayant pu appartenir qu'à une Femme, nous le rattacherons à ce fragment de crâne de caractère féminin.

Voûte crânienne fragmentaire restituée (calv), attribuée à une Femme de 30 à 35 ans (Ad.). La paroi crânienne est de peu d'épaisseur.

En norma verticalis : dolichopentagonoïde. Le crâne doit être méso-dolichocrâne. Les sutures sont ouvertes et simples. *Os incae bipartite.* La longueur de chaque partie triangulaire mesure env. 35 mm. Le frontal est bas, fuyant, le contour médio-sagittal est élevé, l'occiput est très saillant (curvi-occipital).

N° 3265. — Tombe n° 19 (?)

Pas de mobilier.

Crâne fragmentaire restitué, à peu près complet (calvarium) et os longs, attribués à un Homme de 40 à 45 ans (Mat.).

En norma verticalis : crâne ellipsoïde, d'allongement moyen (mésocrâne), au front large (eurymétope). Sutures simples, presque totalement fermées, avec achèvement de la synostose sagittale. Orthozyge. *En norma occipitalis :* le crâne est de hauteur moyenne (métriocrâne). La protubérance occipitale externe n'est pas développée. Les apophyses mastoïdes sont petites et pointues. La base du crâne et le palais sont à l'état fragmentaire. Les dents restantes accusent une usure accentuée. *En norma temporalis :* le crâne apparaît moyennement haut (orthocrâne), avec la glabelle et les arcades orbitaires moyennement développées (3—4), le front de hauteur moyenne et fuyant, la voûte basse, l'occiput saillant. La racine du nez est basse, l'extrémité des os nasaux et l'épine nasale sont brisées. *En norma frontalis :* la face supérieure est très large (hypereuryene), les orbites, fragmentées, doivent être basses et sont séparées par une distance interorbitaire considérable. La racine du nez est large. Tout le côté droit de la face est endommagé. Les pommettes sont fortement dilatées en dehors,



Fig. 7. Crâne féminin nº 3261, du Xe ou XIe siècle, provenant de Rád (Dép. de Pest). Tombe nº 16. Type : nordique

TABLEAU VII

Rád, X^e—XIe siècles

Chiffres d'après Martin	Mesures et indices	Tombe N° 2. ♂ 3248	Tombe N° 4. ♂ 3250	Tombe N° 6. ♀ 3252	Tombe N° 7. ♂ 3253	Tombe N° 10. ♂ 3256	Tombe N° 19. ♀ 3265
1.	Diam. antéro-post.	174	188	(180)	177	167	193
8.	D. transverse max.	164	154	133	150	153	146
9.	D. frontal min.	101	105	91	100	98	110
20.	Ht. auric.-bregm.	123	114	106	115	116	17
45.	D. bizygomatique	—	(145)	—	139	135	(144)
47.	Ht. fac. tot.	125	(128)	103	126	120	–
48.	Ht. fac. sup	(74)	(76)	62	74	(68)	64
51.	Larg. orbite	(38)	43	39	39	41	—
52.	Ht. orbite	36	(38)	30	34	32	34
54.	Larg. nasale.....	26	25	21	24	23	28
55.	Ht. nasale	54	56	45	55	(57)	49
65.	D. bicondylien	130	136	—	—	125	—
66.	D. bigoniaque	109	101	(99)	115	—	—
69.	Ht. symphysienne	36	35	26	33	31	—
70.	Ht. branche mont.....	71	73	56	68	71	—
71.	Larg. branche mont. ..	38	34	27	37	33	—
8 : 1	Indice céphalique	94,3	81,9	73,9	84,8	91,6	75,7
20 : 1	Ind. de haut. aur.-long. .	70,7	60,6	58,9	65,0	69,5	60,6
20 : 8	Ind. de haut. aur.-larg. .	75,0	74,0	79,7	76,7	75,8	80,1
9 : 8	Ind. fronto-par. transv. .	61,6	68,2	68,4	66,7	64,1	75,3
47 : 45	Indice facial total	—	(88,2)	—	90,7	88,9	—
48 : 45	Indice facial supérieur..	—	52,4	—	53,2	50,4	44,4
52 : 51	Indice orbitaire	94,7	88,4	76,9	87,2	78,1	—
54 : 55	Indice nasal	48,2	44,6	46,7	43,6	40,4	57,1
—	Stature calculée	171	169	—	166	—	166

les fosses canines sont presque planes. Ce crâne se signale, dans son ensemble, par son aspect grossier, brutal.

N° 3267. — Tombe n° 21.

Pas de mobilier.

Côté droit d'un crâne, très fragmentaire, restitué et incomplet avec mandibule et os longs, attribués à une Femme de 30 à 35 ans. La paroi du crâne est très mince.

Le crâne doit avoir une longueur moyenne. Les sutures sont ouvertes et simples. Phénozyge. En vue occipitale, le crâne est probablement élevé. Les

apophyses mastoïdes sont petites. La protubérance occipitale externe n'est pas développée. Le frontal apparaît bas, redressé, le contour médio-sagittal est élevé, le contour occipital est arrondi. La proéminence des malaires est très accusée, les fosses canines sont profondes. Le rebord alvéolaire est hyperbolique. La troisième molaire supérieure est sortie, sa face triturante est restée intacte, les autres dents sont usées. La mandibule est moyennement élevée, à branches montantes basses, de largeur moyenne. L'arc dentaire est hyperbolique. La troisième molaire inférieure gauche est sortie. Stature calculée : 162 cm.

*

Les principaux indices et mensurations des six crânes relativement bien conservés de cette série sont représentés par le Tableau VII.

Envisageons en ce qui suit la répartition des caractères, dont quelques-uns seulement peuvent servir de base à comparaison à cause de l'état fragmentaire des crânes (absence de la base crânienne, par ex.). L'indice céphalique est très hétérogène, sa valeur allant de l'ultrabrachycrânie à la dolichocrânie, selon le classement suivant : 3 ultrabrachycrânes, 2 brachycrânes, 3 mésocrânes, 2 dolichocrânes, un fragment de voûte n'ayant pu être classé. On constate ici une prédominance de brachycrânes. Pour les indices suivants, nous ne considérons que les six crânes mesurables. En vue latérale, c'est une élévation relative du crâne qui semble caractériser la série avec : 3 hypsicrânes, 2 orthocrânes et 1 chamaecrâne, tandis qu'en vue occipitale, les crânes se montrent aplatis : 4 tapéinocrânes et 2 métriocrânes. Nous devons remarquer qu'ici nous avons calculé les indices auriculo-verticaux de longueur et de largeur, seuls déterminables à cause de la fragmentation de la base crânienne. D'après l'indice fronto-pariétal transverse, les crânes se situent dans la catégorie des fronts de largeur moyenne avec : 2 sténométopes, 3 métriométopes et 1 eurymétope. L'indice facial total donne : 2 mésoprosopes et 1 leptoprosope ; pour un quatrième crâne, l'indice facial supérieur était seul calculable, qui le montre hypereuryène ; deux autres crânes étaient inclassables. L'indice orbitaire est resté indéterminé pour 1 crâne, sur les 5 autres il distingue : 2 mésoconques et 3 hypsiconques. L'indice nasal indique enfin un nez étroit avec 4 leptorhiniens contre 1 mésorhinien et 1 chamaerhinien.

La répartition des sexes est à proportions sensiblement égales, soit : 6 Hommes et 5 Femmes. Au point de vue de la stature, 3 Hommes se classent dans la catégorie des tailles surmoyennes, tandis que 2 Hommes et 3 Femmes ont la taille haute. La stature d'un Homme et de deux Femmes n'a pu être évaluée, par suite de l'absence des os longs. Quant à l'âge, on est frappé du grand nombre de sujets jeunes : 8 Ad., contre 3 Mat. (Pour la comparaison de ces données, voir Tableau VIII.)

TABLEAU VIII

Rád, X^e—XIe siècles

Tombe N° N° d'Inventaire	2. 3248	4. 3250	6. 3252	7. 3253	10. 3256	19.(?) 3265
Age—Sexe	Ad. ♂	Ad. ♂	Ad. ♀	Ad. ♂	Ad. ♂	Mat. ♂
Norma verticalis	Sphéro-sphénoïde	Plagiocéphal	Ellipsoïde	Sphéro-sphénoïde	Sphéro-sphénoïde	Ellipsoïde
Forme générale du crâne	Ultrabrachycrâne, hypsicrâne, tapéinocrâne	Brachycrâne, chamaecrâne, tapéinocrâne	Dolichocrâne, orthocrâne, tapéinocrâne	Brachycrâne, hypsicrâne, tapéinocrâne	Ultrabrachycrâne, hypsicrâne, tapéinocrâne	Mésocrâne, orthocrâne, métriocrâne
Front	Sténométope	Métriométope	Métriométope	Métriométope	Sténométope	Eurymétope
Glabelle	3—4	2	2—3	1	2—3	3—4
Face totale (Face supérieure)	— Rétrécie en bas	Mésoprosope Rétrécie en pointe	— Basse, large	Leptoprosope —	Mésoprosope Ovalaire	Hypereuryène Basse
Orbite	Hypsiconque Subquadrangulaire	Hypsiconque Vaste, quadrangulaire	Mésoconque Quadrangulaire	Hypsiconque —	Mésoconque Subquandrangulaire	— Basse, quadrangulaire
Nez Profil du nez Épine nasale	Mésorhinien — —	Leptorhinien — 3	Leptorhinien Rectiligne, d'élévation moyenne —	Leptorhinien Rectiligne, proéminent —	Leptorhinien — —	Chamaerhinien — —
Occiput	Planoccipital	Curvioccipital	Curvioccipital	Planoccipital	Planoccipital	Curvioccipital

La somme de ces caractères nous conduit à reconnaître l'existence de trois groupes distincts, dont deux, en particulier, nous paraîssent être importants et typiques. Désignons nos trois groupes par les trois premières lettres de l'alphabet :

Le groupe «A» se caractérise comme étant : brachy-ultrabrachycrâne, hypsicrâne et tapéinocrâne, avec un frontal sténométope ou sténo-métriométope, avec une face lepto-mésoprosope, des orbites hypsi-mésoconques, un nez lepto-mésorhinien et un occiput planoccipital. Les crânes susceptibles d'être rapportés à ce groupe sont les nos 3248, 3253, 3256, auxquels on peut ajouter le n° 3250, ainsi que le 3255 non mesuré à cause de son état trop fragmentaire. Cet ensemble de caractères présente les traits distinctifs du type *dinarique (?)*, mais associés à certains caractères est-europoïdes, nordoïdes et mongoloïdes (turanoïdes?) atténués, observés respectivement sur les crânes nos 3248, 3250 et 3256.

Le groupe «B» comprend des sujets : ortho- et métriocrânes, avec un front eurymétope, une face hypereuryène et un occiput curvioccipital. C'est à ce groupe que correspond le crâne n° 3265 et probablement aussi le 3267, non mesuré. Par ses caractères, ce groupe se rapproche du type *est-européen* (est-baltique).

Le groupe «C» se distingue enfin par : une tête dolichocrâne, orthocrâne et tapéino-métriocrâne, un front métriométope, des orbites méso-hypsiconques, un nez leptorhinien et un occiput curvioccipital. Les crânes appartenant à ce groupe sont les nos 3252 et 3261, auxquels vient s'ajouter probablement le 3264, non mesuré.

Ce dernier complexe de caractères paraît donc correspondre, dans les grandes lignes, au groupe I, que nous avons différencié dans les autres cimetières de la région de Nógrád. Le groupe «B» présente des affinités avec le groupe mésocrâne du cimetière de Piliny, tandis que le groupe «A» peut se rattacher au type ultrabrachycrâne du même cimetière.

On constate, par ce résumé, que le cimetière de Rád offre une ressemblance partielle avec ceux de Szob et de Piliny, mais s'en sépare nettement par la présence d'un complexe de caractères brachycrâne que nous avons appelé, sous une certaine réserve, dinarique. Une analyse morphologique plus approfondie du groupe «A» découvre dans ce complexe certains caractères plus ou moins distinctifs du *type pamirien*. Étant donné la parenté tant morphologique que génétique de ces deux types, leur discrimination n'est pas aisée à faire. Au point de vue du diagnostic différentiel, le *type dinarique* peut cependant se distinguer du type pamirien par une nez fortement proéminent à profil convexe, un front légèrement fuyant, une glabelle de développement moyen, un occiput aplati et une stature surmoyenne ou haute (168—173). Le *type pamirien* (Pamiro-Ferghanien) est entendu ici tel qu'il se trouve défini par *Jarkho* et *Guinzbourg*, dont nous avons utilisé les descriptions. D'après ces deux auteurs, le *type pamirien* se caractériserait par un nez moyennement proéminent, à profil rectiligne, un front s'élevant à pic, une glabelle faible.

ment marquée, un occiput arrondi et une stature moyenne ou surmoyenne (165—168). C'est en étudiant les ossements des kourganes des Xe—XIe siècles, près de la ville de Sarkel, que *Guinzbourg*[5] fut amené à constater la présence de ce type qu'il appelle également, par une expression synonyme, type centro-asiatique europoïde brachycrâne. Actuellement, on le rencontre surtout chez les Tadjiks, les Ouzbegs et dans la région transcaucasienne.

En considérant à nouveau le groupe brachycrâne de Rád, nous le trouvons caractérisé par un nez droit de proéminence moyenne, une glabelle faiblement ou moyennement développée et un occiput se montrant une fois convexe et trois fois plutôt aplati. La valeur moyenne de la stature atteint exactement 168 cm. Notre complexe de caractères confond donc les traits des deux types. Ce groupe brachycrâne, qui n'est nulle part signalé dans la littérature,[6] sauf un cas où il est mentionné sous réserve,[7] doit, à notre avis, être rattaché aux Hongrois conquérants. Pour avoir une idée plus précise de la composition de ces derniers, il faudra attendre, évidemment, une documentation plus étendue.

Ajoutons que si l'on cherche à rapporter les types différenciés de Rád à leur mobilier correspondant, on trouvera toujours que le mobilier caractéristique aux conquérants figure à côté des têtes brachycrânes (toutes masculines!). Quant au caractère du mobilier trouvé auprès des têtes féminines dolichocrânes, il est difficile à préciser, en raison du manque de travaux archéologiques sur ce sujet. Il est toujours certain, que les harnachements propres aux sépultures féminines hongroises du temps de la conquête ne figurent pas ici. Les tombes renfermant des crânes de type est-europoïde étaient sans mobilier.

V. Penc, XIe siècle

Nous examinerons enfin, pour être complet, les crânes extraits du cimetière de Penc. Ce cimetière, fouillé en 1936 par *S. Gallus*, est situé sur le tertre Tuszkolán (propriété de la famille Pápai), à proximité du village de Penc. Le matériel osseux récolté dans les dix-huit tombes mises à jour a subi de très graves dommages pendant la guerre. Il n'en reste actuellement que deux fragments de crânes, trop réduits pour permettre une étude métrique.

N° 3273. — Tombe n° 5.

Mobilier : deux pointes de flèches en fer.

Voûte fragmentaire restituée, incomplète, (calva), provenant d'un sujet de 40 à 45 ans (Mat.). La diagnose sexuelle est incertaine, il s'agit probablement d'un Homme.

L'extrême étroitesse et l'allongement de la voûte témoignent de la dolichocrânie. Stature calculée : 168 cm.

[5] *Guinzbourg*, 1946, pp. 81—86.
[6] *Bartucz*, 1931 ; *Nemeskéri*, 1947.
[7] *Lipták*, 1951, p. 242.

TABLEAU IX

Répartition des principaux indices par cimetières

Répartition des indices		Szob		Piliny XIe s.	Rád X^e—XIe siècles
		Homokok VIIIe—IXe siècles	Vendelinföldek XIe s.		
8 : 1 Indice céphalique	Dolicho- et hyperdolichocrâne.	4	—	2	1
	Mésocrâne	2	1	6	2
	Brachycrâne	3	3	2	2
	Hyper- et ultrabrachycrâne ..	1	—	1 (?)	3
	Valeur moyenne :	77,7 (10)	76,2 (4)	77,6 (10)	83,6 (8)
17(20) : 1 Indice (auriculo-) vertical de longueur	Chamaecrâne	—	—	1	1
	Orthocrâne	4	2	1	2
	Hypsicrâne	1	2	2	3
17(20) : 8 Indice (auriculo-) vertical de largeur	Tapéinocrâne	1	—	2	5
	Métriocrâne	3	1	—	1
	Acrocrâne	1	3	2	—
9 : 8 Indice fronto-pariétal transverse	Sténométope	1	—	2	2
	Métriométope	3	1	5	3
	Eurymétope	4	3	2	1
47 : 45 Indice facial total	Hypereury- et euryprosope ...	3	—	2	—
	Mésoprosope	1	2	2	2
	Lepto- et hyperleptoprosope ..	3	2	1	1
48 : 45 Indice facial supérieur	Euryène	1	1	2	1
	Mésène	3	3	5	3
	Leptène et hyperleptène	3	—	1	—
51 : 51 Indice orbitaire	Chamaeconque	1	—	2	—
	Mésoconque	—	2	5	2
	Hypsiconque	7	2	—	3
54 : 55 Indice nasal	Leptorhinien	1	4	1	4
	Mésorhinien	4	—	—	1
	Chamaerhinien	1	—	4	1

N° 3274. — Tombe n° 6.

Pas de mobilier.

Crâne fragmentaire restitué, très incomplet, avec mandibule (cranium), attribué à un Homme de 40 à 45 ans (Mat.).

En norma verticalis : le crâne est ovoïde. Les sutures sont d'une complication moyenne, leur synostose a commencé. Une lacune importante se trouvant à la base et en côté gauche du crâne, ainsi qu'au côté droit de la face, rend toute mensuration impossible. La glabelle accuse une saillie moyenne (3), le frontal est moyennement élevé et convexe, la voûte est assez bien développée en hauteur La face est surbaissée et large, avec les orbites basses, rectangulaires. La mandibule est de hauteur moyenne, le triangle mentonnier est bien marqué, les branches montantes sont élevées et étroites. L'arc dentaire inférieur est parabolique, les gonions sont éversés.

Nous n'avons pas dressé de tableau de ces pièces, trop fragmentaires. Leurs caractères morphologiques semblent permettre de les rapprocher du matériel recueilli dans les autres cimetières de la région de Nógrád.

*

La répartition des principaux indices crâniologiques des quatre cimetières précédemment examinés est représentée par le Tableau IX. Une nouvelle comparaison de ces données semble ici superflue. Nous nous contenterons seulement de rappeler le trait distinctif observé dans la série de Rád, qui l'éloigne de tout le reste de notre matériel. Ce caractère différentiel se traduit par sa tendance à la brachycrânie, due surtout à l'influence de l'élément pamirien (dinarique?).

L'étude d'un matériel de nombre aussi réduit doit nous rendre prudents dans la comparaison des divers indices, mesures et valeurs moyennes, leur caractère accidentel pouvant facilement nous exposer à des erreurs. Cette constatation vaut surtout pour la comparaison des valeurs moyennes établies pour des séries de 8 à 10 crânes, où la confrontation de types bien isolés peut fournir, à notre avis, des résultats bien plus sûrs. La comparaison des mesures, indices et valeurs moyennes peut, dans ce cas, être utilisée avec profit, pour le *contrôle* de la ressemblance ou dissemblance des types, à condition qu'elle accompagne la description morphologique des caractères.

Essayons de déterminer à présent la position systématique de nos types, synthétisant ainsi en quelque sorte les résultats de notre examen effectué par cimetières. Des fouilles systématiques ultérieures pourront seules décider de la justesse de ces résultats, obtenus à partir d'un matériel recueilli sans système et en nombre très réduit.

Le groupe I. a pour prototypes les spécimens nos 512 *(Fig. 2)* et 3409, provenant tous deux de Szob, du cimetière de l'époque avare. Ce groupe se signale par sa dolichocrânie nette, la très forte saillie de la glabelle, la disposition fuyante du front, un torus occipital franchement marqué et des processus mastoïdes puissants. Cet ensemble de caractères présente certaines ressemblances avec les formes du Paléolithique supérieur et plus particulièrement avec la race de Brünn. Certaines différences l'en séparent cependant, comme la plus grande hauteur du crâne examiné en vue occipitale, et l'éversement des gonions ayant

pour effet une augmentation de la largeur mandibulaire. Ce complexe de caractères peut être appelé type «protonordique» si l'on considère que la race nordique dérive, selon toute vraisemblance, de la race de Brünn,[8] dont le type protonordique représente la forme de transition. Cette conception se voit confirmée par les données du Tableau X, qui contient les valeurs moyennes des crânes masculins les plus typiques de la race de Brünn[9] (Předmost et Brno), placées à côté de celles des deux crânes de Szob et de celles calculées sur le type «pur»[10] de la race nordique, dégagé par l'analyse morphologique. On y remarque facilement la position intermédiaire qu'occupent, en général, les crânes de Szob. — Notons que la largeur mandibulaire des crânes de Szob étant atypique, il y a lieu d'admettre ici une influence cromagnoïde.

Les crânes féminins appartenant à ce type (Szob 464, Rád 3252 et 3261, — *Fig. 6*) ont un relief plus uni, plus fin, et représentent donc une forme plus «progressive». Une *variété mésocrane* nous en est offerte par le n° 1444 de Szob—Vendelin (*Fig. 3*), où l'on décèle une influence dinarique. C'est encore à ce type que s'apparente morphologiquement *l'ensemble de caractères mésocrane* du cimetière de Piliny, représenté par les crânes n°s 2313, 2315 (*Fig. 5*) et 2312, et moins nettement, par le n° 2317. Ce dernier complexe, montrant une influence *cromagnoïde ou est-europoïde* assez nette, réalise ainsi une forme de passage vers le type *est-europoïde* de Rád, dont le crâne n° 3265 peut être considéré comme le seul représentant typique.

Le groupe II méso-brachycrâne, se caractérise par les petites dimensions absolues et la gracilité du crâne, la forme ovalaire de la face se rétrécissant vers la base et le contour pentagonoïde ou sphénoïde du crâne examiné en vue supérieure. Dans l'ensemble, les caractères primitifs-infantiles y prédominent. Cet ensemble de caractères se différenciant le plus nettement des autres, peut servir d'intermédiaire reliant les deux cimetières de Szob entre eux et avec celui de Piliny. Il manque par contre complètement dans le matériel de Rád, datant de l'époque de la conquête. Sa position systématique semble assez difficile à préciser, nous pensons qu'il s'agit ici d'un mélange harmonieux des types *alpin et méditerranéen*, avec prédominance tantôt de l'un, tantôt de l'autre de ces éléments. Les crânes représentatifs de ce groupe sont les n°s 462 (*Fig. 1*), 463, 3405 et 3411 de Szob-Homokok, les n°s 1542 et 1443 Juv. de Szob-Vendelin et les n°s 2314 et 2318 de Piliny. Ce groupe, qui paraît avoir constitué un des éléments essentiels de la population de la région de Nógrád, depuis le VIIIe jusqu' au XIe siècle, a dû probablement maintenir sa continuité durant cette période.

Le groupe III, caractérisé par des traits *mongoloïdes*, n'apparaît que dans les deux cimetières de Szob, où il se voit représenté par les crânes n°s 3407 et

[8] *v. Eickstedt*, 1949, p. 538.
[9] *Matiegka*, 1934.
[10] *Schwidetzky*, 1938, p. 29.

TABLEAU X

Comparaisons avec le type «protonordique»

Chiffres d'après Martin	Mesures et indices	Race de Brünn					Type protonordique		Race nordique (Schwidetzky)
		Předmost		Brno		Valeur moyenne	Szob VIIIe—XI^{e}s		
		III.	IX.	I.	II.		N° 512	N° 3409	
1.	Diam. antéro-post.	201	196	192	204	198,2 (4)	197	201	190,5 (10)
8.	D. transverse max.	(145)	145	139	134	140,7 (4)	135	142	135,4 (10)
9.	D. frontal min.	104	105	90	95	98,5 (4)	94	100	97,3 (10)
17.	Ht. basion-bregma	(133)	134	—	140	135,6 (3)	140	—	138,9 (10)
45.	D. bizygomatique	142	135	—	—	138,5 (2)	134	(131)	129,9 (10)
47.	Ht. fac. tot.	124	117	—	—	120,5 (2)	111	133	—
48.	Ht. fac. sup.	76	67	—	—	71,5 (2)	69	82	74,5 (10)
8 : 1	Indice céphalique	71,9	73,9	72,3	65,7	70,9 (4)	68,5	70,7	70,9 (10)
17 : 1	Indice vertic. de long.	66,0	68,4	—	68,6	67,6 (3)	71,1	—	71,9 (10)
17 : 8	Indice vertic. de larg.	91,7	92,4	—	104,5	96,2 (3)	103,7	—	101,3 (10)
9 : 8	Indice fronto-par. transv.	71,7	72,4	64,8	70,9	69,6 (4)	69,3	70,4	71,9 (10)
47 : 45	Indice facial, total	87,3	86,7	—	—	87,0 (2)	82,8	101,5	—
48 : 45	Indice facial, supérieur	53,5	49,6	—	—	51,5 (2)	51,5	62,6	57,4 (10)
52 : 51	Indice orbitaire	69,0	66,7	—	—	67,8 (2)	73,2	85,7	83,1 (10)
54 : 55	Indice nasal	44,1	46,3	—	—	45,2 (2)	48,1	—	45,3 (10)

1543 (*Fig. 4*). Leur apparition est trop isolée pour qu'il soit nécessaire de déterminer leurs rapports taxinomiques. Notons toutefois que le crâne 1543 de Szob—Vendelin laisse percer des affinités turanoïdes, qui l'apparentent aux Hongrois conquérants. Une certaine parenté morphologique peut s'observer dans les types mongoloïdes des deux cimetières, mais celle-ci ne signifie guère l'existence d'un rapport génétique. Le crâne 3407 doit sans doute être rattaché à l'élément avare centro-asatique.

Le groupe IV trouve ses représentants les plus typiques dans les crânes n°s 3248, 3250 et 3256 *(Fig. 6)*, tous provenant de Rád et se caractérisant par leur brachycrânie et même hyperbrachycrânie associée à l'étroitesse relative de la face et à une planoccipitalie modérée, autant de caractères qui apparentent ce groupe au type *pamirien* (dinarique?). Le crâne n° 2321 de Piliny peut encore être rapporté à ce groupe, mais sa déformation et son aspect probablement pathologique rendent toute diagnose incertaine. L'influence dinarique se retrouve enfin sur le crâne n° 1444, déjà signalé, de Szob—Vendelin. Mais le type ci-dessus caractérise surtout, le cimetière de Rád, dont il forme un des éléments essentiels.

Ce sont les cimetières de Tchécoslovaquie et ceux de Hongrie comprenant des éléments slaves, qui peuvent le mieux servir de termes de comparaison à notre matériel de la région de Nógrád. Les différentes données utilisées sont réunies dans le Tableau XI. Parmi les anciens cimetières slaves du IXe siècle, situés sur le territoire de la Tchécoslovaquie actuelle, ceux d'Uherské Skalice[11] (4 ♂, 3♀) et de Moravské Sv. Jány[12] (4 ♂, 1 ♀) étaient seuls à retenir. Dans l'impossibilité de nous procurer l'important ouvrage de *Matiegka*[13] réunissant les données des cimetières de Tchécoslovaquie pour la période allant du VIe au XIIe siècle (63 ♂, 42 ♀), nous avons eu recours, pour certaines de ses données, à l'ouvrage synthétique de Schwidetzky.[14] Parmi les cimetières de Tchécoslovaquie XIe—XIIe siècles, ceux de Skalka[15] (2 ♂, 2 ♀) et de Dévény (Devín)[16] (71 ♂, 39 ♀) figurent dans notre tableau, placés à côté de celui de Csepel[17] (6 ♂, 3 ♀, 2 juv.), qui est l'un des deux cimetières slaves de Hongrie ayant donné lieu à des publications (l'autre étant celui de Gorzsa[18] : 5 ♂, 3 ♀). Dans le tableau ci-dessus, nous avons réuni les valeurs moyennes de l'indice céphalique et sa répartition. Toutes les données se rapportent exclusivement à des Hommes.

On constate, au cours de cette comparaison, que dans les cimetières des VIIIe—IXe siècles caractérisés par l'élément slave occidental, la composante

[11] *Červinka—Matiegka*, 1925.
[12] *Frankenberger*, 1935, pp. 5—7.
[13] *Matiegka*, 1891.
[14] *Schwidetzky*, 1938, pp. 14—15.
[15] *Frankenberger*, 1930.
[16] *Frankenberger*, 1935, pp. 29—68.
[17] *Nemeskéri*, 1949.
[18] *Banner*, 1933 ; *Szirâky-Huszár*, 1933.

TABLEAU XI

Tableau de comparaison — Hommes

Lieu de la découverte (groupe ethnique)		Uherské Skalice (Tchécosl.)	Moravské Sv. Jány (Tchécosl.)	Tchèques	Skalka (Tchécosl.)	Devín (Tchécosl.)	Csepel (Hongrie)
Époque		IXe s.	IXe s.	VIe—XIIe s.	XIe—XIIe s.	XIe s.	XIe s.
Nom de l'auteur, date de publication		Matiegka 1925	Franken-berger 1935	Matiegka 1891	Franken-berger 1933	Franken-berger 1935	Nemeskéri 1949
Indice céphalique		72,2 (4)	75,7 (4)	76,2 (63)	74,9 (2)	80,4 (71)	79,1 (6)
Répartition de l'indice céphalique	dolichocrâne	100%	25%	33%	50%	10%	17%
	mésocrâne	—	75%	46%	50%	39%	66%
	brachycrâne	—	—	13%	—	35%	—
	hyperbrychycrâne	—	—	8%	—	16%	17%
Stature		160,9 (4)	—	—	—	166,7	—

brachycrâne fait entièrement défaut, cédant la place à l'élément dolichocrâne dont on observe parfois la prédominance absolue. (Uherské Skalice.) Dans la série de *Matiegka* s'étendant sur plusieurs siècles, c'est déjà la mésocrânie qui domine, laissant paraître une forte proportion de brachycrânes. On voit se produire un phénomène analogue à Dévény, où la participation de l'élément, ou plutôt des éléments brachycrânes est encore plus marquée.

La publication très sommaire du cimetière de Gorzsa[19] offre peu de documents à mettre en comparaison. Les auteurs ne donnent ni les indices individuels, ni même les valeurs moyennes et se contentent d'indiquer le champ des variations pour les types différenciés. De plus, plusieurs données publiées sont probablement inexactes (dans le groupe dolichocrâne, par ex., les dimensions absolues des crânes féminins dépassent celles des crânes masculins). La discrimination des types effectuée par les auteurs a montré, d'une part la présence d'un type dolichocrâne de taille sous-moyenne ou moyenne qu'ils identifient, à tort, avec les Hongrois, d'autre part celle d'un élément brachycrâne (alpin), qu'ils rattachent au groupe ethnique slave. Cette hypothèse insoutenable trouve son origine dans les résultats, également erronés, de *Gáspár*[20], qui avait étudié certains crânes de l'époque des migrations et d'autres, d'âge et d'origine incertains, comme appartenant aux Hongrois conquérants. Partant de cette idée, il a dû nécessairement aboutir à de fausses conclusions, signalées déjà expressément comme telles par *Bartucz*.[21]

[19] *Sziráky-Huszár*, 1933.
[20] *Gáspár*, 1928.
[21] *Bartucz*, 1931, p. 114.

Nous avons utilisé enfin les résultats de l'étude de *Nemeskéri*[22] sur le cimetière partiellement fouillé de Csepel. Là encore, comme pour la plupart des cimetières de la région de Nógrád, on ignore malheureusement les rapports du matériel osseux avec le mobilier funéraire. La valeur moyenne de l'indice céphalique, atteignant la limite supérieure de la mésocrânie, rapproche ce cimetière de celui de Dévény, en même temps que sa répartition l'en éloigne. On constate en effet, à Csepel, l'absence totale de la catégorie brachycrâne, et une mésocrânie fortement représentée. Notons encore que, sur un ensemble de 10 crânes, l'analyse raciale tentée par *Nemeskéri* a décelé la présence, dans 8 cas, d'éléments turanoïdes, arménoïdes et sibéroïdes caractéristiques aux Hongrois conquérants, tandis que le mobilier funéraire des tombes présente, — d'après la communication orale qu'a bien voulu m'en faire *G. Fehér*, — un caractère typiquement slave.

Avec leur indice céphalique allant de 76 à 78, les cimetières de la région de Nógrád se situent entre les cimetières slaves des VIIIe—IXe et ceux des Xe—XIe siècles. On voit la dolichocrânie s'affirmer le plus nettement au cimetière de Szob, datant des VIIIe—IXe siècles. La série de Rád se distingue des cimetières slaves.

Une comparaison pouvant être tentée le plus utilement avec des cimetières dont l'analyse raciale a déjà été faite, nous avons à considérer en première ligne, parmi ceux de Tchécoslovaquie, le cimetière de Dévény, où *Frankenberger*[23] a réussi à différencier quatre types :

a) dolicho-mésocrâne, de haute taille (nordique) ;
b) méso-subbrachycrâne, de taille moyenne, (europoïde oriental) ;
c) brachycrâne, de taille sous-moyenne ou moyenne (alpin) ;
d) brachy-hyperbrachycrâne, de taille surmoyenne ou haute (dinarique).

Frankenberger attire l'attention sur le caractère racialement et ethniquement mélangé du cimetière de Dévény, fait qui paraît être expliqué par sa situation géographique. Ce cimetière réunit heureusement toutes les composantes différenciées au cours de notre examen du rare matériel provenant des cimetières de la région de Nógrád.

L'exposé précédent permettra, à notre avis, certaines déductions d'ordre ethnogénétique dans la mesure où d'autres documents, plus étendus, sur les cimetières de Hongrie des Xe—XIe siècles, viendront s'y ajouter. Au cours de cette étude, nous avons bien vu que des conclusions définitives n'étaient possibles qu'en partant de l'examen et de la comparaison de cimetières complètement fouillés. Dans le cas présent, des résultats bien plus précis sur l'interpénétration avaro-slave et hungaro-slave auraient pu être obtenus, si le matériel osseux avait été intégralement sauvé par les fouilleurs.

[22] *Nemeskéri*, 1949, pp. 95—97.
[23] *Frankenberger*, 1935, pp. 64—68.

Résumé. — Cinq cimetières, hongrois ou d'un caractère ethnique mélangé, furent partiellement fouillés. Ces cimetières se situent dans la région de Nógrád (Nord de la Hongrie) et datent des IXe—XIe siècles. Les principaux résultats de leur examen anthropologique peuvent se résumer ainsi :

1. Le matériel des cimetières de Szob laisse *supposer la continuité* d'au moins une partie de la population, du VIIIe au XIe siècle.

2. *Au groupe ethnique slave* correspondent surtout un type *protonordique* nettement dolichocrâne, un type *nordoïde* mésocrâne et un type *méditerranéen-alpin* se caractérisant par les petites dimensions absolues du crâne (Szob, Piliny).

3. *L'élément mongoloïde*, très restreint, s'apparente probablement aux *Avares* et aux *Hongrois* conquérants.

4. Un type *europoïde* brachycrâne, de taille surmoyenne, se rattache nettement aux Hongrois conquérants. Ses rapports taxinomiques le situent, entre les types *pamirien* et *dinarique* (Rád).

5. Parmi les cimetières pouvant servir de comparaison, celui de Devín (Tchécoslovaquie), à éléments hungaro-slaves mélangés, à montré le plus d'affinités avec les composantes de la population de la région de Nógrád des IXe—XIe siècles.[24]

BIBLIOGRAPHIE

Abbréviations

AÉ. = Archaeológiai Értesítő (Budapest).

AArch. = Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae (Budapest).

AHung. = Antiquitas Hungarica (Budapest).

MAG. = Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien (Wien).

SE. = Sovietskaïa Ethnographiïa (Moscou).

*

Banner, J., Der gepidische und slawische Friedhof von Hódmezővásárhely-Gorzsa. MAG. XLIII. Wien, 1933, pp. 378—379.

Bartucz, L., Adatok a honfoglaló magyarok anthropológiájához. (Contribution à l'anthropologie des Hongrois conquérants.) AÉ., t. XLV. Budapest, 1931, pp. 113—119.

Červinka, J. L.—Matiegka, J., Lebky a kostry z mohyle z doby velkomoravské u Uh. Skalice. (Résumé en français : Les crânes et squelettes des tumuli de l'époque du Royaume de la Grande Moravie près de Uh. Skalice, Slovaquie.) Anthropologie, t. III. Prague, 1925. pp. 97—108.

v. Eickstedt, E., Der derzeitige Stand der Urmenschforschung. Archiv der Julius Klaus-Stiftung, t. XXIV, Zürich, 1949. pp. 525—551.

Eisner, J., Slovensko v praveku. (La Slovaquie à l'époque préhistorique.) Bratislava, 1953.

Frankenberger, Z., Staroslovenské lebky ze Skalky u Trenčina. (Crânes slovaques anciens de Skalka près de Trenčin.) Časopis učené společnosti Safařikovi, t. IV. Bratislava 1930, pp. 331—336.

[24] Reçu 30. décembre, 1951.

Frankenberger, Z., Anthropologie starého Slovenska. (Résumé en français : Anthropologie de la Slovaquie ancienne.) Bratislava, 1935.

Gáspár, J., Schädel aus der Zeit der Landnahme Ungarns. MAG., t. LVIII, Wien, 1928, pp. 129—140.

Guinzbourg, V. V., Contribution anthropologique à l'étude ethnogénétique des Khazars. (En russe.) SE., Moscou, 1946, № 2, pp. 81—86.

Lipták, P., Anthropologische Beiträge zum Problem der Ethnogenesis der Altungarn. AArch., t., I, Budapest, 1951, pp. 231—249.

Martin, R., Lehrbuch der Anthropologie. 2è éd., Jena, 1928.

Matiegka, H., Crania Bohemica. Prague, 1891.

Matiegka, H., Homo Předmostensis I. Prague, 1934.

Nemeskéri, J., Honfoglaláskori magyarság — Árpádkori magyarság. (Les Hongrois conquérants.) AHung., t. I, Budapest, 1947, pp. 64—80.

Nemeskéri, J., Újabb adatok a X. századi magyarság embertani ismeretéhez. (Résumé en français: Contributions nouvelles à la connaissance anthropologique de la population hongroise du Xe siècle.) AÉ., 3e sér., t. VII—IX, Budapest, 1948, pp. 382—393.

Nemeskéri, J., Csepel község határában feltárt koraárpádkori leletek embertani vizsgálata. (Résumé en anglais : Anthropological examination of the finds discovered in the precincts of Csepel dating from the early period of the Árpád Dinasty.) AÉ., t. LXXVI, Budapest, 1949, pp. 91—97.

Nyáry, A., Temető királyságunk első századából. (Cimetière datant du premier siècle du Royaume de Hongrie.) AÉ., t. XXII, Budapest, 1902, pp. 210—241.

Nyáry, A., A pilinyi árpádkori temető. (La cimetière de Piliny de l'époque arpadienne.) A.É., t. XXIV, Budapest, 1904, pp. 50—70.

Schwidetzky, I., Rassenkunde der Altslawen. Stuttgart, 1938.

Sziráky, St.—Huszár, G., Beiträge zur Anthropologie Ungarns im XI. Jahrhundert. MAG. t. LXIII, Wien, 1933, pp. 229—232.

МАТЕРИАЛЫ ПО АНТРОПОЛОГИИ НАСЕЛЕНИЯ НОГРАДСКОГО РАЙОНА ВЕНГРИИ IX—XI ВВ.

П. Липтак

Резюме

В своей статье автор подверг исследованию антропологические находки 5 могильников, находящихся в ноградском районе Северной Венгрии. Находки поступили из следующих могильников : Соб-Хомокок, VIII—IX вв. (аварское время), Соб-Венделиновы земли, XI в., Пилинь-Ширмань, IX в., Рад, X—XI вв., Пенц, XI в. Из перечисленных был систематически вскрыт только могильник в селе Рад, причем материал остальных оказался — к сожалению — неполным.

Антропологический материал каждого могильника был описан автором подробно с морфологической точки зрения и были составлены таблицы, содержащие метрические и морфологические данные отдельных могильников. Исследования привели к следующим результатам :

1. Скелеты, найденные в обоих могильниках Соб, принадлежат к тому же самому типу, поэтому можно предполагать, что местность отчасти заселялась бесперебойно. Материал могильника Соб-Кишердё (X—XI вв.), опубликованный в свое время Немешкери, подтверждает это предположение, но сравнительно небольшое количество находок рекомендует большую осторожность при выводах.

2. Подобное положение наблюдается и в могильнике Пилинь. Во всех трех могильниках преобладают в большей или меньшей мере славяне. В противоположность им можно указать на могильник Рад, из которого поступили археологические находки, характерные для венгров-завоевателей страны.

3. В вышеупомянутых могильниках было констатировано наличие следующих антропологических типов :

а) Долихо-мезокранный тип с ярко выраженным профилем. В этой группе различается несколько соматических вариантов, а именно протонордический тип аварского могильника Соб, напоминающий расу Брюн, далее мезокранный нордоид тип могильника Пилинь и наконец, некоторые представители восточно-европеоидной расы.

б) Мезо-брахикранный тип, с черепами небольших размеров. Повидимому, он представляет собой смешанный альпийско-средиземноморский тип в гармонизированном виде. Этот тип является важным элементом популяции новградского района, так как он представлен во всех могильниках, за исключением могильника Рад.

в) Монголоидный тип. Представлен только в могильниках Соб. В одном из них он связан с средне-азиатским компонентом аваров, а в другом — с венграми эпохи завоевания страны.

г) Памиро-фергаский (динарский?) тип, охарактеризованный брахикранией, крупносредним ростом и умеренной планоокципитальностью. Представлен прежде всего в могильнике Рад, где он является важнейшим элементом антропологического материала.

4. Автор сопоставил новградские антропологические находки с материалом славянских могильников Чехословакии (Угерске Скалице, Моравске Св. Яны, Скалка, Девин, равно как и материал Матейки) и Венгрии (Горжа, Чепель). При этом оказалось, что материал могильника Девин, проанализованный в свое время Франкенбергером, показал наибольшое сходство с новградским материалом. В Девине были констатированы в сущности те же самые типы, как в могильниках новградского района.

5. Наконец, автор подчеркивает, что удовлетворительные результаты могут быть добыты только из могильников, вскрытых в полной мере. В этом отношении наблюдаются ощутимые недостатки не только в венгерских, но и заграничных публикациях.

BÄUERLICHES KALKBRENNEN IN UNGARN

Von
FERENC BAKÓ

István Dobó Museum, Eger

I. EINLEITUNG

Der Kalk wird seit sehr alten Zeiten als stein- und ziegelbindendes Material benützt.[1] Die Mannigfaltigkeit seiner Verwendung bildet einen überzeugenden Beweis für die bedeutende Rolle, die er in der Entwicklung der menschlichen Kultur gespielt hat.[2]

In den ungarischen Sprachdenkmälern kommt das ungarische Wort für kalk (ung. *mész)* seit dem Jahre 1161 als Ortsbenennung in Zusammensetzungen vor, in den Bezeichnungen Kalkofen (ung. *mészégető kemence)* oder Kalkgrube (ung. *mészpest)* seit 1335.[3] Es ist bekannt, dass Kalk im XV. Jh. bereits auf Schiffen transportiert wurde, so kauften z. B. die Pressburger den Kalk in Hainburg und brachten ihn auf Schiffen nach Hause.[4] Im Jahre 1556 lieferten Fuhrleute dem Palatin Tamás Nádasdy Kalk, wofür dieser mit Bargeld zahlte.[5] Es gibt Angaben aus der Zeit von 1577 bis 1596, laut denen der Forstmeister auf den Domänen Fraknó und Kismarton Kalk brennen liess, von den Kalk- und Kohlenbrennern Forstgeld einstrich, wobei er seinen Instruktionen gemäss nur das am Boden liegende Holz zu benützen erlaubte.[6] Im XVII. Jahrhundert begegnet man schon dem Verbot des Kalkbrennens, wahrscheinlich um ein zu starkes Ausroden der Wälder zu verhindern.[7] Die Limitation von Gábor Bethlen aus dem Jahre 1625 liefert die erste Angabe über das Bestehen des Kalkbrennens als geregelter Gewerbezweig.[8] Vor und nach diesem Zeitpunkt ist aber mangels Daten die Annahme berechtigt, dass das Kalkbrennen zu den

[1] Kalköfen werden zuerst von *M. P. Cato* im Jahre 184 v. u. Z. erwähnt, aber zweifelsohne kannten die Ägypter und die Assyrer den Kalkofen schon früher. (Siehe *Block*, 1924, S. 12.) Nach *Lazell* gebraucht die Menschheit dieses Bindematerial schon seit zumindest 2.000 Jahren *(Lazell*, 1915, S. 10). Die Kenntnis des Kalkes beschränkt sich nicht nur auf die Gegenden des Mittelmeergebietes, sondern erstreckt sich auch auf China, Mittel- und Südamerika, ja sogar auf die Inseln der Südsee.

[2] *Forster*, 1920 ; *Rhan*, 1914 ; *Damm*, 1922 ; *Schlüter*, 1924.

[3] *Szamota—Zolnai*, 1902, S. 650; *Bárczi*, 1941, S. 205.

[4] *Kováts*, 1902, S. 92—93.

[5] *Komáromy*, 1908, S. 196.

[6] *Tagányi*, Bd. I, S. 196, 203, 264.

[7] *Tagányi*, Bd. I, S. 562—563.

[8] *Szádeczky*, 1913, Bd. I, S. 71.

Bauerngewerben gerechnet und als solches nicht registriert und beachtet wurde. Aus diesem Grunde wurde das Thema des Kalkbrennens auch in der Wirtschaftsgeschichte vernachlässigt.

Obzwar das Kalkbrennen schon seit Anfang des XIV. Jahrhunderts auf Grund von Urkunden nachweisbar ist — auf Grund archäologischer Funde jedoch bereits viel früher ausgeübt wurde —, ist weder bezüglich näherer Einzelheiten der Technik, noch über die wirtschaftlichen oder sozialen Beziehungen dieses Gewerbes ein aufgearbeitetes Material vorhanden. In den von *Tagányi* oben erwähnten Domänen von Fraknó und Kismarton wurden laut den Aufzeichnungen dreierlei Arten von Öfen benützt (»den grossten....., den klainisten...., den mittlern Kallichofen«); diese unterschieden sich aber voneinander nicht durch ihre Konstruktion, sondern durch ihre Dimensionen.[9] Wohl gibt die Fachliteratur der Technik, des Forstwesens und — selten — der Ethnographie Hinweise bezüglich der Technik des Gewerbes und der verschiedenen Arten des Brennens, doch sind diese Mitteilungen ungenau und nicht detailliert.

Der Kalk wird durch ein sehr hochgradiges Erhitzen (1000° C) des Kalksteins hergestellt. Beim Glühen wird das Kalziumkarbonat zu Kalziumoxyd und Kohlendioxyd dissoziiert ($CaCo_3 = CaO + CO_2$). Diese Zersetzung der Bestandteile des Kalksteines wird nur dann vollkommen sein, wenn die hohe Temperatur längere Zeit beibehalten wird, denn die Zersetzung erfolgt nicht plötzlich, sondern bei der zum Brennen bestimmten, gewöhnlich sehr grossen Steinmenge nur langsam und allmählich. Wird der gebrannte Kalk mit Wasser vermengt, d. h. gelöscht, mit Sand vermischt oder auf die Mauer gestrichen, so kehrt das Kohlendioxyd wieder in ihn zurück (er nimmt das Kohlendioxyd aus der Luft auf, indem er das Wasser ausschwitzt) und wird von neuem zu Kalkstein.[10]

Das Brennen des Kalkes in grösseren Mengen geschieht in Öfen. Der Kalkofen ist eine Grube oder ein Bau von regelmässiger Gestalt (Zylinder, Ellipse oder Viereck), in welchen der Kalkstein so hineingelegt wird, dass darunter genug Raum für eine Holzmenge bleibt, deren Verbrennung den hineingelegten Kalkstein längere Zeit auf einer Temperatur von 1000—1100° C hält. Auf Grund der bisherigen Kenntnisse können drei Haupttypen von Öfen unterschieden werden :[11]

[9] *Tagányi*, Bd. I, S. 196.

[10] *Lazell*, 1915, S. 24; *Czucor—Fogarasi*, 1866, Bd. IV, S. 522. Dieser chemische Doppelprozess wird auf den Inseln des Stillen Ozeans auf allereinfachste Weise so hervorgerufen, dass Korallenstäbe und andere an der Erdoberfläche liegende kalkhältige Stoffe durch Verbrennen von Holz auf einen möglichst hohen Wärmegrad erhitzt werden, worauf der äusserlich kaum veränderte Stoff mit Wasser gelöscht wird. Das so gewonnene feine, weisse Pulver wird zum Färben der Haare, zur Herstellung von Betel, zum Färben von Holzschnitzereien und Tongefässen verwendet. Siehe *Weule*, 1921, Bd. II, S. 70—71 und *Block*, 1924, S. 12—13.

[11] *Torday*, 1948, S. 252.

a) *Grubenartige Öfen.* Sie werden an Bergabhängen in Trichterform gebaut, sodann von oben mit Steinen angefüllt und von vorne durch ein waagerechtes Heizloch, welches bis zum Boden des Trichters führt, geheizt.[12]

b) *Erdöfen.* Sie werden in der Erde in Zylinderform angelegt. Die Wand des Zylinders wird mit Steinen ausgekleidet, vorne wird eine Heizöffnung gelassen und später aus Kalkstein ein gewölbtes, kuppelförmiges Dach errichtet. Neben dieser Wölbung oder auch über ihr wird die ganze Grube mit Steinen angefüllt und darüber eine sehr hohe Halbkugel oder Kegel aufgeführt, der von aussen mit Lehmfladen abgedichtet wird. — Dies ist der gebräuchlichste Ofentypus ; er ist sowohl in Ungarn anzutreffen wie auch anderwärts an vielen Orten. Beispiele hiefür sind auch aus Siebenbürgen bekannt, dort befinden sich aber am Fusse der Grube »Fenster«, d. h. Öffnungen, die sich unter der eingebrachten Kalksteinmenge verzweigen.[13] In der Tschechoslowakei, im mährischen Karst, gibt es beim Ofen einen ähnlichen Bau wie beim rumänischen (s. Anm. 12), aber nicht über ihm, sondern vor ihm[14] ; in diesem Gebiet, im Dorfe Zdic, haben die Öfen Ventilationsöffnungen nach den vier Weltgegenden. Hier geschieht nur das Anheizen mit Holz, sonst wird mit Kohle gebrannt. Der Stein wird nicht zu einer Wölbung gelegt, sondern Lagen von Kohle und Kalkstein abwechselnd aufeinander geschichtet.[15] Ebensolche Ventilationsöffnungen haben die Öfen in Idria, doch werden sie nicht an Berghängen, sondern in ebener Erde gebaut und von einem an Stangen befestigten Astgeflecht umzäunt.[16] Nach *MacBryde* brennt man auch in Süd-Guatamala in solchen Kalköfen, mit dem Unterschied, dass man oben eine Rauchöffnung lässt.[17] *Krüger* beschreibt einen so konstruierten Ofen auch in den Pyrenäen. Sein Querschnitt ist aber bei der Mündung ein wenig oval und vom Boden der Grube führt ein ungefähr 6,50 m langer Luftschacht nach vorne. Abgesehen von diesen zwei Merkmalen, weist diese Form die verwandtesten Züge zu den in Ungarn allgemein verbreiteten Kalköfen auf.[18]

c) *Gemauerte Öfen.* Diese werden dort errichtet, wo der Verbrauch an gebranntem Kalk grösser ist. Das Material dieser Öfen besteht aus einer Ziegel- oder aus einer feuerfesten Steinwand ; als Form erwies sich der ellipsenförmige Kegelstumpf am geeignetsten. Ähnlicherweise hatten auch die alten römischen Öfen einen kreisförmigen oder elliptischen Querschnitt, ihr senkrechter Schnitt jedoch glich — nach dem uns bekannten Beispiel — einer halben Ellipse.[19]

[12] Im Schrifttum findet sich kein typisches Beispiel für das Kalkbrennen in Gruben Eventuell kann der von *Pamfile*, 1910, S. 379 aus Rumänien beschriebene Ofen hier erwähnt werden, doch ist die dort beschriebene Grube nicht trichter-, sondern walzenförmig und über ihr befindet sich ein Bau mit einem sattelförmigen Dach.

[13] *Pávay Vajna*, 1908, S. 198—203.

[14] *Havelková*, 1927, S. 231—233.

[15] *Polivka*, 1928, S. 241—243.

[16] *Block*, 1924, S. 15.

[17] *Mc Bryde*, 1945, S. 60.

[18] *Krüger*, 1936, S. 127—128.

[19] *Geszner*, 1907, S. 313, Taf. XXII.

Hieher kann auch der von *Block* erwähnte »Trichterschachtofen« gezählt werden: dieser wurde an einem Bergabhang gebaut, hatte einen quadratförmigen Quer schnitt und der vordere und obere Teil waren aus Steinen gelegt.[20] *Lazell* beschreib einen Ofen mit rechteckigem Grundriss, vier senkrechten Wänden und dret Mündungen ; oben ist er offen.[21] Derselbe Verfasser erwähnt eine »alte« Formi des Kalkofens, den »Topfofen« (engl. *pot-kiln.)*. Sein senkrechter Schnitt ergibt eine halbe Ellipse, aber aus der Zeichnung ist es nicht ersichtlich, ob die Wände gemauert oder nur in die Erde eingelassen sind.[22]

In der dem Verfasser der vorliegenden Arbeit bekannten Literatur[23] befinden sich nur wenig Abhandlungen, die von einem ethnographischen Gesichtspunkt ausgehen, und wenn es auch welche gibt, so sind es sehr oberflächliche Studien, die das vorliegende Thema nur global behandeln, kaum in Einzelheiten eingehen und nur einen Umfang von einigen wenigen Blättern aufweisen. Der grösste Teil der Angaben stammt aus den einleitenden, historischen Teilen der Handbücher über Kalk- und Zementfabrikation, ja, in den meisten Fällen handelt es sich nur um je eine Abbildung mit ein paar Zeilen Erklärung.

Das Ziel vorliegender Studie bildet eine in Einzelheiten gehende Untersuchung des Kalkbrennens als Bauerngewerbe auf einem Gebiet, das eine geographische Einheit bildet. Es soll hier die geschichtliche Entwicklung dieses Gewerbes analysiert und die Schichten der verschiedenen Epochen der geschichtlichen Entwicklung klargelegt werden.[24] Zu diesem Behufe soll zuerst die Technik des Brennens,[25] die verschiedenen Formen der Assoziationen zur Verrichtung der Arbeit, die Lebensweise des Kalkbrenners, die Gelegenheiten zur Erlernung des Arbeitsganges und die Modalitäten der Verwertung des gebrannten Kalkes beschrieben werden. Schliesslich sollen die einzelnen Abschnitte der geschichtlichen Entwicklung mit Hilfe der in Zeit und Raum kennengelernten, mehr oder minder voneinander verschiedenen Erscheinungen, sowie von historischen Quellen beleuchtet werden.[26]

[20] *Block*, 1924, S. 13.

[21] *Lazell*, 1915, S. 25. »Field kiln, described by Jackson in 1839.«

[22] *Lazell*, 1915, S. 25.

[23] Die Typologie der Ofenformen beruht auf sehr wenigen Angaben. Von den Werken des ausländischen Schrifttums, die weitere Angaben und Einzelheiten zur besseren Begründung der Einteilung hätten geben können, waren für den Verfasser nicht erreichbar : *Fourcroy v. Rameourt*, 1769 ; *Buller—Hoefler*, S. 107—111 ; *Krůůs*, 1933, S. 177—195. Dagegen befasst sich das Werk von *Mälzig*, 1923, nur mit dem grossbetrieblichen Kalkbrennen, das bäuerliche Kalkbrennen wird nur flüchtig als unzeitgemässe Produktionsart erwähnt.

[24] Vgl. *Tolstow*, 1949, S. 31—32.

[25] Im Interesse einer Abklärung der Begriffe soll hier erwähnt werden, dass im nachstehenden unter Brennen der ganze Arbeitsprozess (das Graben der Grube, das Brechen des Steines, die Beförderung des Steines, das Setzen des Ofens, die Gewinnung des Holzes, die Beförderung des Holzes, das Reinigen des Ofens, das Anheizen, das Feuern, das Herausnehmen des Kalkes) verstanden wird, während das Feuern nur einen Teil dieser Betätigungsreihe darstellt.

[26] In bezug auf die Methode des Sammelns und der Aufarbeitung des Materials folgte der Verfasser den Lehren der sowjetischen ethnographischen Schule. Von besonderem Nutzen war die hervorragende Studie von E. M. Шиллинг, 1947, S. 126—134 über das Giessereigewerbe in Dagestan.

In zahlreichen Dörfern Ungarns beschäftigen sich die Einwohner mit Kalkbrennerei. Welches diese Dörfer sind, könnte nur durch besondere Forschungen festgestellt werden. Jedenfalls ist es bekannt, dass es in Ungarn, auf

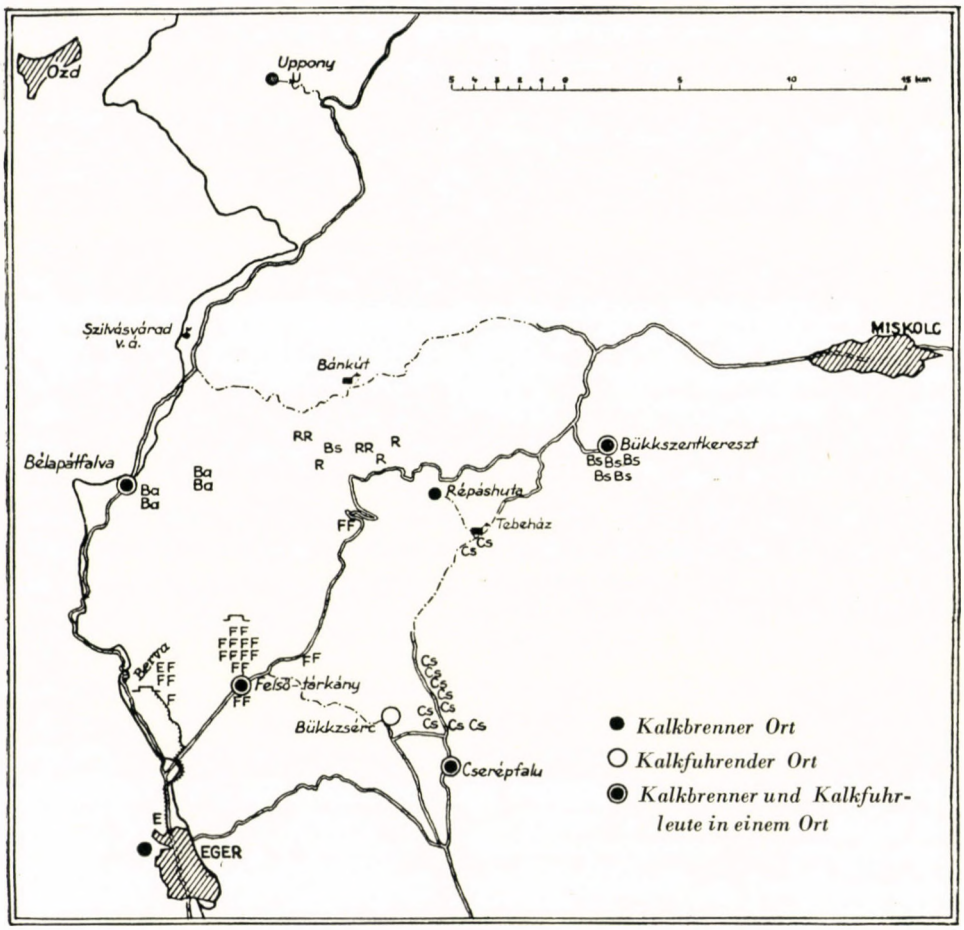


Abb. 1. Landkarte des vom Verfasser durchforschten Gebietes. Jeder Ort, wo 1949 gebrannt wurde, ist mit je einem Buchstaben bezeichnet, u. zw. mit dem Anfangsbuchstaben jenes Dorfes, aus dem die betreffenden Kalkbrenner stammten

den westlich von der Donau gelegenen Gebieten, an mehreren Orten — hauptsächlich in den Berggegenden des Mecsek, Pilis und Gerecse — Leute gibt, die von diesem Gewerbe leben. In Oberungarn befinden sich neben ein paar kleineren Kalksteininseln zwei Gebiete, wo das Kalkbrennen in grossem Massstabe betrieben wird. Das eine ist das zwischen den Flüssen Sajó und Hernád gelegene ungarisch-tschechoslowakische Grenzgebiet, das andere das südlich hiervon gelegene Bükkgebirge. Zum Forschungsgebiet des bäuerlichen Kalkbrennens wurde letzteres Gebiet gewählt, da es eine kulturell und geographisch als einheitlich

anzusprechende Landschaft bildet, wo das Bestehen dieses Gewerbes seit Jahrhunderten durch Dokumente nachweisbar ist.

Das Bükkgebirge liegt zum grösseren Teil im Komitat Borsod, zum kleineren Teil im Komitat Heves und ist ein teilweise verkarstetes Kalkplateau. Der Kalkstein stammt grösstenteils aus dem Trias, hie und da mit Flecken aus dem Karbon. Die Hochebene ist in allen Richtungen von steilen Abhängen begrenzt. Besonders diese Abhänge, aber auch ein Teil der Hochebene, sind mit Wäldern bedeckt.[27] Die Dörfer liegen hauptsächlich am Fusse der Abhänge. Im Gebirge selbst findet man erst im XVIII. Jahrhundert — gleichzeitig mit der Gründung von Glashütten und Eisenhammerwerken — angelegte und besiedelte, meistens slowakische Dörfer. Das hier zu behandelnde Gebiet liegt an der östlichen Grenze der Palowzen (ung. *palóc)* genannten, ungarischen ethnischen Gruppe, die unten angeführten Dörfer können in diese kulturelle Einheit eingereiht werden. Eine Ausnahme bildet nur die Ortschaft Cserépfalva, denn die Kultur dieses Dorfes ist eine Übergangsform vom typischen bergländischen palowzer Ethnikum zu dem zum Flachlandstyp gehörenden »Matyó«. Die Verbindungen der zwei auf der Hochebene liegenden slowakischen Dörfer sowohl zu den Völkern des Alfölds als auch zu jene des Berggebiets sind äusserst stark — hauptsächlich infolge der zahlreichen Fuhren — und dies blieb denn auch nicht ohne Einfluss auf ihre Kultur, wie es hier später zu sehen sein wird. Unter den Dörfern der Hochebene und der Umgebung des Bükkgebirges wurden in folgenden Forschungen angestellt :[28]

1. Bélapátfalva. In der nordöstlichen Ecke des Komitates Heves gelegen hat es 2.248 Einwohner.[29] Unter den Bewohnern des Dorfes bildeten sich im Jahre 1948 fünf, 1949 vier Kalkbrennergruppen, wobei im Jahre 1949 in dieser Ortschaft 4 Kalkbrenner über Pferdefuhren und 5—6 über Ochsenfuhren verfügten. In der Zeit der Datensammlung des Verfassers, aber auch schon früher, zeigte dieses Gewerbe eine rückläufige Tendenz, die Kleinbauern wurden in immer grösserem Ausmass von der 1909 im Dorfe gegründeten Zementfabrik beschäftigt. Vor der Gründung der Fabrik — erzählt man sich — habe das ganze Dorf vom Kalkbrennen und vom Transport des Kalkes gelebt. Im Jahre 1949 brannten zwei Gruppen unmittelbar neben dem Dorfe Kalk und zwei weitere 3—4 km

[27] Vgl. *Mendöl*, 1940, S. 23—24.

[28] Mit Unterstützung des Ministeriums für Kultus und Unterricht verbrachte der Verfasser im September 1948 eine Woche, im Herbst 1949 vier Wochen und im Frühjahr 1950 eine Woche auf dem zu durchforschenden Gebiet. Während dieser Zeit studierte er an Ort und Stelle das in den Kalkbrenner-Dörfern aufbewahrte historische Quellenmaterial, sowie auch das Urkundenmaterial der Archive der Verwaltungssitze dieses Gebietes, der Städte Eger und Miskolc. Ausserdem durchforschte der Verfasser eine Woche lang das Landesarchiv in Budapest. Während der Arbeit auf dem Terrain war während drei Wochen auch die Gattin des Verfassers, Judit *Damó*, behilflich, die mit ihren Zeichnungen, mit dem von ihr geführten Verzeichnis der gemachten photographischen Aufnahmen und mit ihren Beobachtungen die Arbeiten in hohem Masse erleichterte.

[29] Sämtliche Angaben über die Zahl der Einwohner stammen aus dem offiziellen Ortsnamenverzeichnis des Jahres 1944.

vom Dorfe entfernt. Erst seit 15 Jahren arbeiten die Kalkbrenner in der Nähe des Dorfes, früher brannten sie den Kalk auf der Hochebene.

2. Felsőtárkány. Im nordöstlichen Teil des Komitates Heves, an der Strasse Eger—Lillafüred gelegen. Die Zahl der Einwohner beträgt 2.453. Im Jahre 1949 gab es im Dorfe 14 Kalkbrennerei-Besitzer, darunter auch solche, die auf einmal mit 2 oder 3 Gruppen arbeiteten. Die Zahl der im Sommer ständig beschäftigten Gruppen betrug 20—25.[30] Das Kalkbrennen nahm nur in diesem Sommer ein derartiges Ausmass an, früher beschäftigten sich viel weniger Gruppen damit. Vor der Bodenreform (1945), durch welche die Besitzlosen zu Grund und Boden kamen, gingen jährlich an die 900 in die ungarische Tiefebene, ins Alföld, oder nach Transdanubien als Gedingarbeiter (ung. *summás)* auf die Grossgrundbesitze. Die Aufteilung der Grossgrundbesitze brachte dann den grossen Aufschwung der Kalkbrennerei mit sich. Im Jahre 1949 kam noch dazu, dass die Einwohner von Répáshuta nur noch für die nationalen Unternehmen brannten, so dass die Kalkhändler aus Bükkzsérc und Felsőtárkány hauptsächlich in Felsőtárkány Ware erhielten. Die Kalkbrenner — ein Teil der Kalkbrennerei-Besitzer mit eingerechnet — sind entweder Bauer ohne Boden oder nur mit sehr wenig Grundbesitz (1—2 Joch, 1 ung. Joch = 0,4316 ha), gelegentlich stellen sich aber auch Handwerker zum Brennen ein. Im Jahre 1949 brannten am südlichen Rande des Dorfes 2, am östlichen Rande 2, im nördlichen Teil des Dorfes, 15—100 m von den Häusern entfernt 12 und in grösserer Entfernung vom Dorf weitere 6 Öfen. Im Jahre 1949 brannten die Kalkbrenner aus Felsőtárkány insgesamt 360—370 Öfen von durchschnittlich 200 Zentnern ab.

3. Cserépfalu. Im Komitat Borsod gelegen, zählt es 2204 Seelen. Laut amtlichen Daten dieser Gemeinde gibt es im Dorfe 42 Kalkbrenner und 182 Fuhrleute, die sich mit dem Transport von Kalk befassen. Die Kalköfen sind nördlich vom Dorfe im Tale Hor, das sich bis in die Hochebene des Bükkgebirges erstreckt, gelegen ; im Jahre 1949 waren es dort 9 und ein gutes Stück weiter oben, beim Tebe-Haus, weitere 2 Öfen.

4. Bükkszentkereszt. Befindet sich im Komitat Borsod, die 1684 Einwohner des Dorfes waren slowakischer Muttersprache, doch kehrte etwa die Hälfte von ihnen anlässlich des 1945 erfolgten ungarisch-tschechoslowakischen Bevölkerungsaustausches in die Tschechoslowakei zurück. Gegen 60% der Dorfbewohner beschäftigt sich mit der Kalkbrennerei, bzw. vorwiegend mit dem Transport des Kalkes. 1949 brannten neben dem Dorfe 5 Öfen und einer südlich des Ortes Bánkút.

5. Répáshuta. Diese im Komitat Borsod gelegene Ortschaft zählte 618 Einwohner slowakischer Muttersprache, von denen jedoch mehrere Familien

[30] Da das Kalkbrennen in den verschiedenen Konskriptionen und Volkszählungen nicht unter den Gewerben figuriert, können hier keine genauen, zahlenmässigen Angaben gegeben werden. Die hier veröffentlichten Zahlen beruhen auf den Schätzungen der befragten Auskunftgeber.

im Laufe der Repatriierung von 1945 in die Tschechoslowakei zogen. Die Erwerbsverhältnisse sind dieselben wie in Bükkszentkereszt, doch gab es zur Zeit der Datensammlung des Verfassers im Dorfe keine Fuhrleute mehr, sondern nur noch Brenner. Zu dieser Zeit wurde in der Nähe des Dorfes nicht mehr gebrannt, nur noch in den Waldteilen 5—8 km südwestlich von Bánkút. Im Sommer 1949 standen 5 Öfen im Betrieb, im Herbste 7.

6. Eger. Am nördlichen Rande der Stadt befindet sich neben der Landstrasse eine Kalkbrenner-Siedlung, die mit Öfen bäuerlichen Typs arbeitet. Dort sind zwei nebeneinander gelegene Gruben und in diesen wird abwechselnd gebrannt. Der Kalkstein wird durch eine Industriebahn aus dem im Bervatal gelegenen Steinbruch herangeschafft. Die Siedlung gehört einem Unternehmer aus Eger, der das Brennen vor 10—12 Jahren mit Hilfe eines Fachmanns aus Bélapátfalva begann ; zur Zeit der Datensammlung des Verfassers arbeiteten jedoch nur noch Kalkbrenner aus Eger dort. Derselbe Unternehmer besitzt auch im Bervatal einen Kalkofen, wo Brenner aus Bélapátfalva und Felsőtárkány, sowie Taglöhner aus Felnémet arbeiten.

7. Uppony. Im Komitat Borsod, doch nicht unmittelbar am Abhang der Hochebene gelegen, sondern durch ein Tal davon getrennt. Die Zahl der Einwohner beträgt 694 Seelen. 1949 brannten neben dem Dorfe 4 Öfen. Mit dem Kalktransport befassten sich die Einwohner nicht.

8. Bükkzsérc. Am westlichen Rande des Komitates Borsod, in der Nachbarschaft der Stadt Eger gelegen. Zahl der Einwohner : 1743. Nach den amtlichen Angaben der Gemeinde lebten im Jahre 1949 150 Familien vom Kalktransport. Mit dem Brennen des Kalkes befassen sich die Bewohner nicht, die Fuhrleute transportieren den Kalk für die zwei benachbarten Dörfer Cserépfalu und Felsőtárkány.

II. DIE BESCHREIBUNG DER ARBEITSMETHODE

Die bäuerlichen Kalkbrenner brennen den Kalk im Bükkgebirge in Gruben. Es wird gewöhnlich am Fusse eines Abhanges eine kreisförmige Grube in die Erde gegraben und ihr vorderer Teil durch Aufschüttung auf dasselbe Niveau gebracht wie der hintere Teil. Danach wird vor dem aufgeschütteten Teil von beiden Seiten eine Mauer gezogen, die gleich hoch ist wie der Rand der Grube. Zwischen den beiden Mauern wird von Bodenhöhe an eine Öffnung gelassen, die die Mündung der Grube bildet. In dieser Grube wird der Kalkstein so aufgeschichtet, dass vom Boden der Grube an bis zu der Höhe ihres Randes eine Kuppel errichtet wird. Der Raum zwischen der Kuppel und der Wand der Grube wird mit Kalkstein ausgefüllt. Über der Kuppel wird, gleichfalls aus Kalkstein, ein Kegel errichtet, der vor dem Anbrennen abgedichtet wird. Der so in der Grube aufgeschichtete Kalkstein wird Ofen (ung. *kemence)* genannt. An der Stelle, wo die Mündung der Grube war, bleibt eine kleinere Öffnung,

dies ist das Ofenloch. Der Ofen wird durch das Ofenloch hindurch mit Holz 2—4 Tage lang geheizt, und wenn der Stein ausgebrannt ist, wird der Kalk herausgenommen. Wenn es die Umstände gestatten, wird sofort danach in der Grube ein neuer Ofen gelegt. Das Kalkbrennen ist eine Gemeinschaftsarbeit, welche auf der Zusammenarbeit mehrerer Personen beruht. Der technische Leiter einer Kalkbrennergruppe ist der Meister (ung. *mester)*. Der Leiter der wirtschaftlichen Angelegenheiten, oft auch zugleich der Geldgeber wird Herr oder Eigentümer (ung. *gazda)* genannt.

Im vorstehenden Kapitel soll nun in 8 Punkten der Verlauf der Arbeit ausführlich beschrieben werden, wobei die Natur, die Art der Beschaffung und Verwendung der zwei Rohmaterialien, des Steines und des Holzes, sowie die Verwertung des Kalkes besonders behandelt werden sollen.

1. Die Grube

Die Lage der Grube

Der Standort der Grube wird vor allem durch die Nähe des Holzes bestimmt. Ideal ist die Lage dann anzusprechen, wenn das Holz nicht von weitber herangeschafft werden muss, denn dieser Transport erhöht die Erzeugungskosten. Vor 1945 bestimmten die Domänenverwaltungen die Waldteile, wo die Kalkbrenner das zum Heizen benötigte Holz fällen durften. Die Grube wurde dann in der Nähe dieses Waldteiles, an einem geeigneten Ort gegraben und in ihr solange Kalk gebrannt, als die zum Heizen bewilligte Holzmenge reichte. In den meisten Fällen wurden nur ein oder zwei Öfen in einer Grube abgebrannt, dann gingen die Brenner in einen anderen Teil des Waldes, wo sie eine neue Grube graben mussten. Anfang der 1920er Jahre wendeten sich einige bäuerliche Kalkbrenner von dieser als feudal zu bezeichnenden Produktionsweise ab und begannen — im Bestreben nach erhöhter Produktion — an einer einzigen Stelle, in der Nähe des Dorfes, zu brennen, im Gegensatz zu dem vorher erwähnten Herumwandern auf dem ganzen Gebiete des Gebirges. Sie nahmen dabei lieber den Transport des Holzes und oft auch des Steines auf grössere oder kleinere Entfernungen auf sich, als den fortwährend neues Material und viel Arbeit erfordernden Neubau und neue Inbetriebsetzung der Gruben. Dasselbe gilt auch für das andere Rohmaterial des Kalkbrennens, für den Stein, denn die Nähe des Steines beeinflusst in gleicher Weise den Standort der Grube. Obwohl das Massiv des Bükkgebirges sozusagen zur Gänze aus Kalkstein besteht, der Kalkstein also überall an der Oberfläche zur Verfügung steht, hat der Kalkbrenner trotzdem in Betracht zu ziehen, dass der Stein an gewissen Stellen leichter gebrochen werden kann als an anderen und dass manchenorts die Qualität des Steines zum Brennen geeigneter ist als anderswo. Auf einer primitiveren Stufe des Kalk-

brennens wird also die Grube in der Nähe von leicht brechbarem Stein von guter Qualität angelegt, dort hingegen, wo sich die Anzeichen einer Erzeugung im Grossen abzeichnen, wird der Kalkstein — genau so wie das Brennmaterial — aus grösserer Entfernung herangeschafft. Neben diesen zwei Rohmaterialien von primärer Bedeutung, bestimmt auch die Nähe des Wassers, wenngleich in geringerem Masse, den Standort der Grube, denn die eine nur normale Wassermenge führenden Bergquellen, können ohnehin kaum die technischen und persönlichen Bedürfnisse der Kalkbrenner befriedigen ; das Wasser wird deshalb auch gewöhnlich aus grösseren Entfernungen zugeführt.

Ausser durch die oben angeführten Materialien wird die Wahl des Standortes der Grube auch noch durch eine technische Anforderung beeinflusst. Die Grube muss an einer ansteigenden Stelle liegen, denn der untere Teil der Mündung der Grube muss um 1—2 m tiefer liegen als der rückwärtige Rand der Grube. In dem durchforschten Gebiet wurden vom Verfasser bei den bäuerlichen Kalkbrennern grösstenteils derartig angelegte Gruben angetroffen. Hie und da wurde jedoch diese Niveaudifferenz durch einen Rohsteinbau ersetzt.

Obwohl die Beschaffenheit des Bodens bei der bewussten Auswahl des Standortes der Grube keine Rolle spielt, so ist auch ihr Aufmerksamkeit zu schenken, denn sie beeinflusst die Lebensdauer und Benützbarkeit der Grube. Jeder Kalkbrenner wird die Grube vorzugsweise in einem weichen Boden anlegen, u. zw. womöglich in Kiesboden, denn dieser erfordert weniger Arbeit als der Felsboden und widersteht dem Brennen, im Gegensatz zum Sandboden. Oft ist man aber gezwungen, die Grube teilweise in den Felsen zu hauen : diese Gruben erfordern jedoch viel Arbeit, und wenn sie fertig sind, so werden sie trotzdem erst nach 3—4 maligem Ausbrennen vollkommen, denn der Felsen, der den Boden oder die Seite der Grube bildet, muss vorerst ausbrennen, muss vorerst gehärtet werden. Beim ersten Brennen brennt deshalb auch nicht der ganze Ofen aus, denn anstatt die Hitze zu isolieren, nimmt sie der Felsen auf.

Auf der Hochebene des Bükkgebirges ist in der Anlage der Grube um 1920—22 eine wesentliche Änderung eingetreten. Nach den übereinstimmenden Aussagen der älteren Kalkbrenner wurde bis zu diesem Zeitpunkt die Grube immer am Boden von Dolinen (karstige, schüsselförmige Vertiefungen der Erdoberfläche) oder an der Sohle eines Tales angelegt. Diese Änderung findet einerseits in der Veränderung der Transportweise von Holz und Stein ihre Erklärung (früher wurde das Holz und der Stein ausschliesslich mittels menschlicher Kraft, auf Schlitten, transportiert), andererseits in dem Umstand, dass bei dieser Anlage die heftigen Regengüsse den Ofen oft zerstörten, indem das den steilen Abhang herabströmende Wasser in den brennenden Ofen floss und ihn zersprengte. Diese Änderung in der Anlage der Grube ist mit einer Veränderung wirtschaftlicher Natur in Zusammenhang, die die Art und Weise des Kalkbrennens bestimmt und auf die weiter unten zurückgekommen werden soll.

Die Erstellung der Grube

Bei der Ansicht von oben bildet die Grube immer einen regelmässigen Kreis. Um einen Kreis konstruieren zu können, wird auf dem für die Grube gewählten Platze im Mittelpunkt des geplanten Kreises ein 30—40 cm langer Pfahl in die Erde geschlagen, der in Bélapátfalva »Pfarrer« (ung. *pap*) oder »Muttergottes« (ung. *bódoganya*),[31] in Répáshuta *kolik*, an anderen Orten einfach nur Pfahl genannt wird. Auf diesen, den Mittelpunkt bestimmenden Pfahl wird ein Holz befestigt, dessen eines Ende zu einem Haken abgebogen ist: der »Zirkel« (ung. *cirkalom*).[32] Dieser wird im Kreise um den Pfahl als Achse gedreht und zeichnet so den Umfang des Kreises. Die Länge des »Zirkels« hängt von der Grösse der geplanten Grube ab.[33] Der mit dem »Zirkel« gezogene Kreis wird mit einer Spitzhacke markiert und mit Steinen ausgelegt. Der Ort der Grubenmündung wird mit einem grösseren Steine bezeichnet. Das Graben selbst erfolgt mit Spitzhacke und Hacke, wenn man aber auf einen grösseren Felsen stösst, so wird auch die beim Steinbrechen gebrauchte Eisenstange und ein grösserer Hammer aus Eisen benützt. Ist man am Rande der Grube mit dem Graben bis Manneshöhe in die Tiefe gelangt, dann wird der Pfahl herausgezogen und auch die Mitte der Grube ausgegraben. Ist man schon tiefer, so wird die ausgegrabene Erde in Körben herausgereicht und zu beiden Seiten der Grubenmündung aufgeworfen.

Wie bereits erwähnt, besteht zwischen dem unteren Teil der Grubenmündung und dem hinteren Teil des Grubenrandes eine durch die Bodenverhältnisse bedingte Niveaudifferenz, die ausgeglichen werden muss. Auf einer primitiveren Stufe der Technik erfolgt diese Nivellierung durch eine Kalksteinmauer, in welcher vorne eine 60—130 cm breite Öffnung, die Grubenmündung, gelassen wird; die Seitenwände der Grube werden dabei von der Erde selbst gebildet. Auf einer höheren Entwicklungsstufe wird die Niveaudifferenz durch eine aus Bruchsteinen aufgeführte Mauer ausgeglichen, wobei auch die Wand der Grube mit Steinen ausgelegt wird. Der zuerst beschriebene Typ wird in die Erde gegrabene Grube, der zweite Typ ausgelegte Grube genannt. Die in die Erde gegrabene Grube gehört meistens nur noch der Überlieferung an, zur Zeit der Sammlung von Daten des Verfassers war nur noch eine einzige in Bükk-

[31] Ein Fachwort, das in der Kultur der ethnischen Gruppe der Palowzen bisher nur beim Bauen bekannt war. Dort ist es die Bezeichnung für die im Wohnzimmer befindliche Säule, die den mittleren, das Dach des Hauses tragenden Balken stützt. Über die neueste Zusammenfassung der kultischen Beziehungen dieser Frage vgl. *Vajda*, 1949, S. 162—175.

[32] Stammt aus dem lateinischen Wort *circulum*. Die Palowzen nennen so im allgemeinen den bei der Holzbearbeitung gebräuchlichen primitiven Zirkel. Vgl. *Gombocz—Melich*, 1914—1930, Bd. I, S. 732—733.

[33] Die Länge des Zirkels wird auch heutzutage noch nicht in Zentimetern, sondern in »*sukk*« gemessen. Ein *sukk* beträgt die Länge von zwei ausgestreckten, einander berührenden Daumen und der beiden Fäuste, also 30—35 cm. Die Länge des Zirkels schwankt zwischen 4 und 11 *sukk*, je nachdem, ob die Grube für einen grösseren oder kleineren Ofen gegraben werden soll.

szentkereszt in Betrieb. Es kommt aber auch eine Übergangsform vor, bei der nicht die ganze Seitenwand der Grube mit Steinen ausgelegt ist, sondern wo sich nur am oberen Rand der Grube eine Reihe von Steinen hinzieht. Die in die Erde gegrabene Grube hat nur eine kurze Lebensdauer, nach 2—3maligem Brennen ist sie kaum mehr zu benützen, in den meisten Fällen stürzt sie ein.

Die Seitenwand der Grube, die meistens *futra* genannt wird,[34] ist senkrecht, ihre Tiefe beträgt im allgemeinen 2—3 m. In Uppony war auch von einer 3—4 m tiefen, in Bükkszentkereszt von einer 5 m tiefen Grube die Rede. Der Durchmesser der Grube stimmt gewöhnlich mit ihrer Tiefe überein.

Am Boden der Grube wird ein kleiner Sims, eine kleine Bank, ein Bänkchen gelassen, auf diesem ruht später die unterste Schicht des Ofens. Die Breite

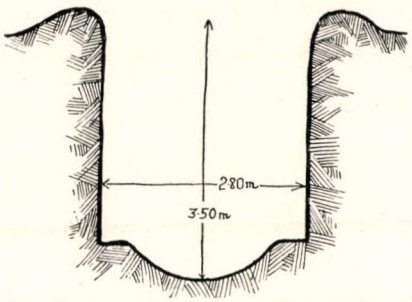


Abb. 2. Querschnitt der Grube. Der am Fusse der beiden senkrechten Wände vorspringende, waagerechte Sims ist das Bänkchen, innerhalb dessen sich eine tellerförmige Vertiefung, der Feuerraum, befindet. Die Richtung des Schnittes ist parallel zur Mündung der Grube

des Bänkchens beträgt entweder 1 *sukk* (= ca. 30 cm), oder 10—15 cm, oder aber wird sie nur nach dem Augenmass (ung. *irányzom*) bestimmt. Am Rande des Bänkchens wird senkrecht dazu mit dem Aushöhlen, Ausmulden des Feuerraumes begonnen. Dieser ist eine schüsselförmige, den ganzen Boden der Grube einnehmende Vertiefung, in welcher das Holz während des Kalkbrennens zu Asche verbrennt. Der Feuerraum wird im ganzen durchforschten Gebiet, auch in den von den Slowaken bewohnten Gegenden, mit dem ungarischen Wort *tüzelő* bezeichnet. Die Tiefe des Feuerraumes beträgt bei einer Grube von 280 cm Wandhöhe 46 cm, sein Durchmesser in der Höhe des Bänkchens 220 cm (Répáshuta).

Es sind zwei Formen des Bänkchens bekannt. Entweder bildet es einen geschlossenen Kreis oberhalb des Feuerraumes, oder wird es unterhalb der Grubenmündung unterbrochen. Im ersteren Falle kann auch der Raum unterhalb der Mündung ausgenützt werden, weil das Bänkchen tiefer verläuft als die Mündung und die Steine fast bis zur Höhe der Mündung aufgeschichtet werden können: in diesem Teil allein können 1—2 Zentner Kalk gebrannt

[34] Wort deutscher Abstammung, bedeutet »Futter«. Siehe *Gombocz—Melich*, 1914—1930. Bd. I, S. 604—605.

werden. Der geschlossene Typ ist in Bükkszentkereszt, Cserépfalu und Uppony gebräuchlich, der unterbrochene in Felsőtárkány und Répáshuta ; in Bélapátfalva werden beiderlei Typen gebraucht. Die ältere Form ist zweifelsohne letztere. Auf die stattgefundene Änderung weisen in Bükkszentkereszt folgende Daten hin : Laut Aussage des Kalkbrenners Lajos *Fodor* verlief vor ungefähr 50 Jahren das Bänkchen noch nicht in einem geschlossenen Kreise, es endete unmittelbar unterhalb der Grube bei den zwei Steinen der Ofenöffnung. Er meint, die jetzige

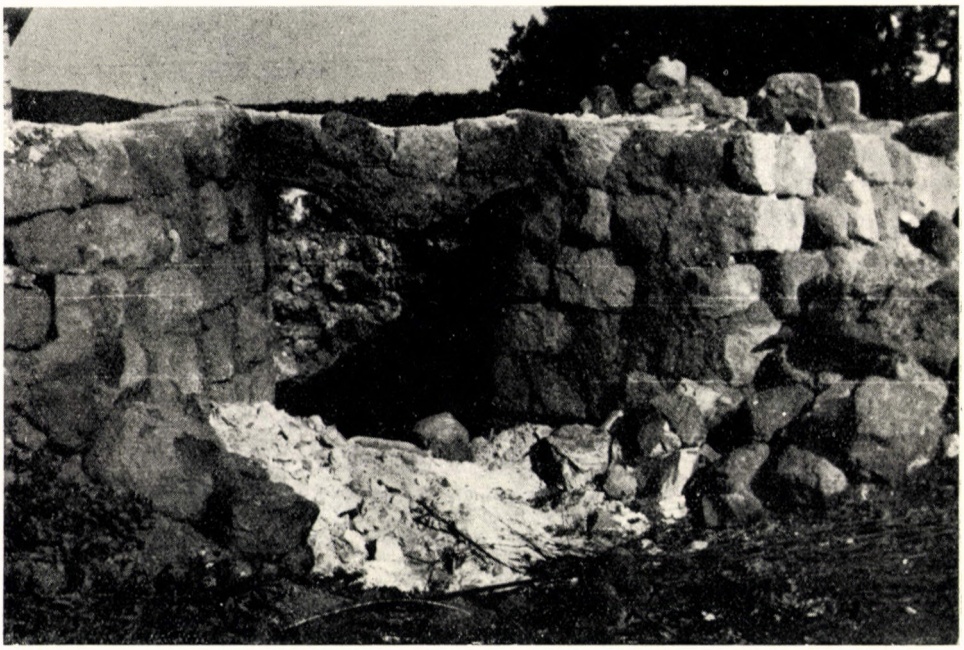


Abb. 3. Ansicht einer Grube. (Felsőtárkány, Aufnahme des Verfassers)

Form sei erst durch einen, im Jahre 1912 im hohen Alter verstorbenen, berühmten Kalkbrenner-Meister eingeführt worden, »er habe sie erfunden«. Die Neuerung wurde nicht sofort von jedermann im Dorfe übernommen, was dem Bestreben der älteren Meister, ihre eigene entwickeltere Technik oder eventuelle Neuerungen geheim zu halten, zuzuschreiben ist. Ein anderer Befragter führte aus, dass er 1912 noch die alte Form erlernte und nur später — um 1920 herum — zur heutigen Form überging. Die Veränderung des Platzes und der Länge des Bänkchens brachte sodann das Abwärtsgleiten des Feuerraumes mit sich.

Sind die Seiten und der Boden der Grube fertig, so kommt das Beendigen der Grubenmündung an die Reihe. Die vorne freigelassene Öffnung wird oben durch zwei mächtige Steine oder durch eine daraufgelegte Eisenschiene geschlossen. So entsteht ein 100—150 cm hohes, nach oben zu schmäler werdendes klei-

nes Tor, dessen alle Seiten gerade, ohne Wölbung sind. In Cserépfalu wird es durch 4—5 Bruchsteine bogenartig geschlossen, in Eger wieder wird die Eisenschiene etwas nach unten gebogen



Abb. 4. Grubenmündung, bereits in fertigem Zustand. Den oberen Teil schliessen auf Schienen gelegte grössere Steine ab. Im Vordergrund sind die zwei Kalkbrenner mit einer späteren Arbeitsphase beschäftigt : sie setzen die Öffnung des Ofens. (Felsőtárkány, Aufnahme des Verfassers)

Da der hintere Teil der Grube etwas höher liegt als die Mündung, muss die Mauer, die an beiden Seiten der Mündung die Niveaudifferenz aszugleichen hat, verstärkt werden, damit sie dem Druck der zum Brennen eingefüllten Steine standhalten könne. Diesen Zweck verfolgen die beiderseits der Grubenmündung gebauten Stützmauern. Diese werden so gebaut, dass in der Höhe

des Grubenrandes eine Mauer unter einem Winkel von ca. 45° gezogen wird, die von der Grubenmündung ausgeht und zu welcher eine zweite Mauer in einem Winkel von ca. 90° errichtet wird, die im grossen und ganzen parallel zur Seite der Grube verläuft. Das Material dieser zwei Mauern besteht heute meistens aus Stein, manchmal sind es jedoch nur zwei aufeinander gelegte Holzscheite, die sich auf zwei in die Erde geschlagene Pfähle stützen. Der von den zwei Mauern umschlossene Raum wird sodann mit Erde aufgefüllt, die übrige aus der Grube geworfene Erde wird zur weiteren Verstärkung der Seiten benützt. Wenn es die Geländerverhältnisse erfordern, wird manchmal die ganze Seitenwand (ung. *futra*) aus dem gleichen Grunde mit Erde verstärkt. Der zwischen den zwei inneren Stützen vor der Mündung befindliche Raum wird so vertieft,

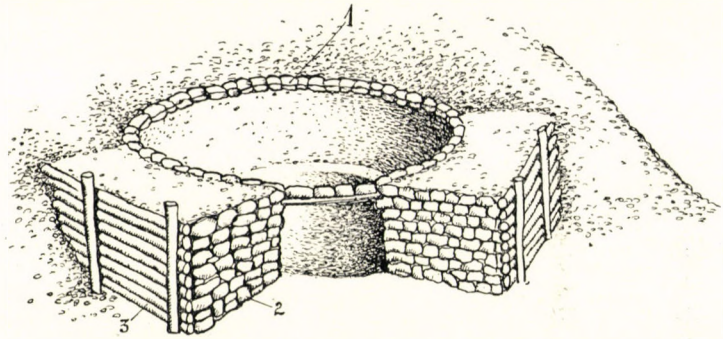


Abb. 5. Vollständig fertige Grube. Die zwei inneren Teile der Stützwände sind aus Steinen gelegt die zwei äusseren Teile aus Holzscheiten zusammengefügt

dass er gegen die Mündung zu etwas ansteigt. Im Bükkgebirge sind dreierlei Namen für diesen Raum bekannt. Die ungarischen Kalkbrenner nennen ihn *piac* (deutsch : grosser Platz mit Markt, auch Marktplatz) mit Ausnahme von Cserépfalu wo er *plac* (Lehnwort aus dem Deutschen in derselben Bedeutung wie »Platz«) genannt wird. Die Slowaken nennen ihn »Hof« (slow. *udvor*).[35]

In der nachstehenden Tabelle wird versucht, die verschiedenen Varianten der wichtigsten Grubenteile zusammenzufassen. Nach dem Namen der einzelnen Dörfer bezeichnet Punkt 1. die lokale Bezeichnung für die Seite der Grube, Punkt 2. für den inneren Teil der Stützwand und Punkt 3. für den äusseren Teil der Stützwand. Neben den einzelnen Bezeichnungen wird in Klammern auch das Material des betreffenden Konstruktionselementes angegeben, wobei ständig vor Augen gehalten werden muss, dass die gelegte Grube eine höhere Entwicklungsform darstellt als die einfache Erdgrube, und dasselbe gilt auch für die steinerne Stützmauer gegenüber der aus Holz gebauten. Die Verschieden-

[35] Die Kalkbrenner konnten den Ursprung des Wortes *piac* nicht angeben, es ist aber bekannt, dass seine Bedeutung in der Volkssprache auch die von »Platz« und »Fläche« ist. Denselben Bedeutungsinhalt weisen auch die Wörter *plac* und *udvar* (ursprünglich gleichfalls Lehnwörter) auf.

heit der verwendeten Steinarten ist mit der Verschiedenheit der jeweiligen geologischen Verhältnisse zu erklären.[36]

Bélapátfalva :

1. *futra* (gelegter Kalkstein + Erde),
2. *plocik* (Holz + Stein),
3. *plocik ravás* (Holz).

Felsőtárkány :

1. *futra* (gelegter Bruchstein),
2. *plocik*, *pofa* (Bruchstein),
3. *plocik*, *pocik*, *pofa* (Stein).[37]

Eger :

1. *fal* (gelegter Bruchstein),
2. *pofa* (gelegter Bruchstein),
3. *támaszfal* (gelegter Bruchstein).

Répáshuta (slowakische Einwohner) :

1. *futra* (gelegter Bruchstein),
2. *plotik* oder ungarisch : *granclik* (Kalkstein),
3. *rekesz* (Holz).

Bükkszentkereszt (slowakische Einwohner) :

1. *futra* (Erde),
2. *plotik* (Kalkstein),
3. *plotik* (bei kleinen Gruben Erde, bei grossen Holz).

Cserépfalu :

1. *futra* (gelegte Mauersteine),
2. *plotik* (Mauerstein),
3. *plotik vége* (Mauerstein).

[36] Auf die Auswertung der geographischen Verschiedenheiten der einzelnen Erscheinungen soll im zusammenfassenden, geschichtlichen Teil zurückgekommen werden.

[37] Die 50—80 jährigen gebrauchen die Bezeichnung *plocik*, die Jüngeren eher das Wort *pofa*. Der voneinander abweichende Wortgebrauch der Generationen zeigt sich — wie später gezeigt werden wird — in verschiedenen Fällen. Diese Erscheinung konnte vor allem in der Gemeinde Felsőtárkány beobachtet werden, wo die Mehrzahl der Kalkbrenner der jüngeren Generation angehört, da dieser Produktionszweig zu ihrer Zeit (am Anfang der dreissiger Jahre, bzw. noch stärker nach 1945) einen Aufschwung genommen hatte. Die Jugend begnügt sich oft nicht mit dem überlieferten, infolge seiner fremden Abstammung ihr oft unverständlichem oder altertümlich klingendem Ausdruck und verwendet statt dessen einen neuen, oder, wenn sie den alten beibehält, so gebraucht sie ihn in einem neuen, anderen Sinn.

Uppony :

1. *karima* oder *belsőköpeny* (gelegte Lehmziegel),
2. *szélfogó* (Bruchstein),
3. *falazás* (Bruchstein),
   ravásolás (Holz).

An den Seitenwänden der gelegten Grube werden die Fugen zwischen den Steinen mit Kalkpulver abgedichtet. Das dazu benützte Gerät ist eine kleine Holzschaufel, von den Slowaken *lopatka* genannt. Der Zweck dieser Abdichtung



Abb. 6. Die Abdichtung der Seite der Grube. In der rechten Ecke ist die Öffnung des Ofens zu sehen, am oberen linken Rand des Bildes die neben den Ofen hingeworfenen, noch nicht verwendeten Kalksteine. Der Kalkbrenner steht auf den bereits in die Grube gelegten, mit einem Sack bedeckten Kalksteinen und wirft mit einer kleinen Holzschaufel Mörtel aus dem vor ihm stehenden Korb gegen die Wand der Grube. (Répáshuta, Aufnahme des Verfassers)

ist, zu verhindern, dass beim Herausnehmen des Kalkes Erde in den Kalk falle. Die gelegte Grube muss übrigens nach jedem Abbrennen frisch abgedichtet werden. Die gelegte Grube kann 8—10 Jahre hindurch benützt werden, nur muss man nach dem Abbrennen von 5—6 Öfen die Steine auswechseln. Der Rohstein hat ein noch längeres Leben — obwohl auch hier der Stein nach einer gewissen Zeit »schmilzt« —, aber beim Brennen in aus Kalkstein gelegten Gruben brennt jedesmal auch ein kleiner Teil der Wand aus, uzw. derjenige Teil, der sich beim Brennen absplittert. Nach dem Herausnehmen des Kalkes pflegt man auch

die Seitenwände der aus Kalkstein gelegten Gruben mit Wasser zu besprengen. Das Wasser löscht dabei den an der Oberfläche der Steine gebrannten Kalk, der sich zischend vom Steine löst. Wenn man die äussere, zu Kalk gebrannte Schicht nicht loslöste, so würde sie beim Beschicken des Ofens zwischen die Steine fallen und die Öffnungen verstopfen : der Ofen würde also keinen Zug haben. Nach 5—6maligem Brennen verbrennt aber auch der Lehmziegel (Uppony). In diesem Falle werden die schlechten Ziegel weggeworfen und mit neuem Material ersetzt. Wenn die Lehmziegel nicht erneuert würden, so würde die Seitenwand des Ofens während des Brennens einstürzen und Arbeit und Material wäre verschwendet.

Auf felsigem Boden können zwei Mann in vier Tagen eine Grube fertigstellen, die nötigen Aufschüttungen mit inbegriffen. Wo mehrere arbeiten und alle an der Arbeit teilnehmen, nimmt sie natürlich viel weniger Zeit in Anspruch.

Mit der Entwicklung der Produktionswirtschaft — ungefähr seit 1890 — begann eine Gruppe zwecks erhöhter Erzeugung auch zwei Gruben nebeneinander zu graben (Bélapátfalva, Felsőtárkány), und in diesen wurde dann abwechselnd gebrannt. So musste denn die Arbeit zwischen zwei Brennen nicht einmal für 24 Stunden unterbrochen werden. Nach dem Herausnehmen des gebrannten Kalkes konnte nämlich nicht sofort mit dem Legen eines neuen Ofens begonnen werden — besonders in den mit Rohstein gebauten Gruben nicht —, weil der Stein heiss war und 2—3 Tage zum Auskühlen brauchte.

In Bélapátfalva geht mit der Inbetriebsetzung eines neuen Ofens auch der Brauch Hand in Hand, dass die Kalkbrenner gemeinsam Wein einkaufen und während des Heizens Sorge tragen, dass der Wein nicht ausgeht. Das erste Brennen in einem neuen Ofen wird auf diese Art durch eine »Taufe« gefeiert.

Die Töpfergrube

Im westlichen Teil des Bükkgebirges lebt in der Überlieferung auch noch die Erinnerung an eine Grube anderen Typs. Es dürfte sich hierbei um eine an der Rückseite gleichfalls tief in die Erde gegrabene Grube handeln, bei der aber der Ausgleich der Niveaudifferenz an der Vorderseite durch eine andere Lösung bewerkstelligt wurde : es wurden zwei parallele Mauern aus Kalkstein aufgeführt und der Raum zwischen den Mauern mit gestampfter Erde ausgefüllt. Die Mauern waren ungefähr 3 m hoch und verschmälerten sich, wie die Seiten der Grube, nach oben zu. Vorne war keine Stützkonstruktion vorhanden. Der Durchmesser der Grube mochte 5—6 m betragen haben. Über ihren Gebrauch geben aber weder die historischen, noch die Quellen der Überlieferung eine Aufklärung. Aus der Überlieferung ist nur bekannt, dass sie zweifelsohne zum Kalkbrennen angelegt wurden, obwohl ihr Name »Töpfergrube« lautet.[38] Dies

[38] Diese Bezeichnung ist analog mit dem Wort *pot-kiln* von *Lazell.* (*Lazell*, 1915, S. 25.)

wird auch durch das am Boden dieser Gruben gefundene Kalkpulver bestätigt. Hier steht man zweifellos einem sich in der fernen Vergangenheit abgespielten, qualitativ nicht unbedeutendem Wechsel in der Produktion gegenüber, dessen Einzelheiten heute nicht mehr aufgeklärt werden können.



Abb. 7. Rekonstruktion der Töpfergrube

2. Der Stein, das Brechen und der Transport des Steines

Die Beschaffenheit des Kalksteines und seine Beurteilung durch das Volk

Es ist allgemein bekannt, dass einer der Rohmaterialien des Kalkbrennens der Kalkstein ist. Sein Name im durchforschten Gebiet lautet ungarisch : *csalakő*,[39] slowakisch : *vápená skala*. In Felsőtárkány nennen nur die älteren Kalkbrenner den Kalkstein *csalakő*, die jüngeren bezeichnen mit diesem Wort nur die kleineren Bruchsteine.[40] Je nach seiner Farbe sind verschiedene Abarten des Kalksteins bekannt : beim Bruch kann er weiss, grau, gelb und rot sein. Von diesen ist der weisse Kalkstein der beste, der graue ist von mittlerer Qualität, während der rote einen schwachen Kalk gibt. Aus dem gelben Kalkstein gewinnt man den am besten bindenden Kalk, doch tünchen die Frauen nicht gern mit ihm, da er nicht genug weiss ist.[41] Es gibt dann auch noch einen Kalkstein, der nach dem Brennen zerbröckelt, zu Kalkpulver wird. Da sich dieser Kalk nicht zum Transport eignet, also fast kaum verwertet werden kann, so wurden in einigen Gebieten die Erfahrungen der Alten beherzigt und aus diesem Stein kein Kalk gebrannt.

Oft ziehen sich im Kalkstein Adern hin, die der grösste Feind des Ofens sind. Der aderige Kalkstein verhält sich nämlich infolge seiner anderen mineralischen Bestandteile in physikalisch-chemischer Hinsicht anders als der reine

[39] Ein bisher im ungarischen Wortschatz nicht verzeichnetes Wort, dessen Abstammung noch ungeklärt ist.

[40] Vgl. Anmerkung 37.

[41] Die Verschiedenheit der Farbe der einzelnen Kalksteine ist kein Massstab für ihre Zugehörigkeit zu einzelnen Gattungen. Die aus derselben geologischen Periode stammenden Steine können infolge der Verunreinigung durch verschiedene Stoffe (Eisenoxyd, Mangan, Pyrit, Lehm usw.) jeweils verschiedene Farben annehmen.

Kalkstein. Dieser aderige Stein wird Knallstein (ung. *pattogó kő)* genannt. Diesen Namen erhielt er, weil er während des Brennens laut knallt.[42] Es gibt auch noch eine andere Abart des Knallsteins. Diese ist prismatisch, faserig und spaltet sich wie gutes Buchenholz (in der Umgebung von Uppony). Dort, wo auch reiner Kalkstein gewonnen werden konnte, wurde der Knallstein nicht benützt und das ist auch heute so. Gegenwärtig wird er nur noch in Felsőtárkány gebrannt, zweifelsohne weil der nächstgelegene Steinbruch voll von Knallstein ist. Um ihn ohne Gefahr benützen zu können, musste vorerst eine Neuerung eingeführt werden (s. unten : 6. Anheizung).

Es besteht auch ein Unterschied zwischen dem im Tagbau gewonnenen und dem aus dem Steinbruch gebrochenen Kalkstein : je näher der Kalkstein zur Oberfläche gelegen war, desto leichter brennt er aus. Schliesslich gibt es auch Steine, die nach dem Brennen schmelzen, glasartig werden, aber das sind natürlich keine Kalksteine. Die Kalkbrenner aus Répáshuta geben nichtsdestoweniger einige solche Steine in die Wölbung des Ofens, die sie dann entweder dem Förster schenken oder mit nach Hause nehmen, wo sie sie dann als Zierde auf den Tisch oder auf die Kommode stellen.

Die Gewinnung des Steines

Gegenwärtig wird der Kalk entweder auf Privaten gehörendem Boden gebrannt, oder aber auf Gebieten, die das Eigentum des Nationalen Unternehmens für Staatliche Forstwirtschaft sind. Im ersten Fall sind für die Bodenbenützung und den Stein 5 Prozent des Kalkes abzugeben (Cserépfalu), oder es muss für den einen Ofen füllenden Kalkstein 25 Forint Bargeld bezahlt werden (Felsőtárkány) oder aber ist für einen Kubikmeter 3 Forint zu vergüten (Bélapátfalva). Im letzteren Falle, in den Staatlichen Wäldern, ist — ebenso wie früher in den herrschaftlichen Wäldern — für den Stein nicht gesondert zu zahlen. Die Kalkbrenner bekommen ihn zusammen mit dem Holz als Lohn für die im Walde verrichteten Reinigungsarbeiten.

Im Bükkgebirge wird der Stein auf dreierlei Art gewonnen :

a) die zur Erstellung des Ofens notwendigen Steine werden an der Oberfläche des Bodens gesammelt ;

b) sie werden mit Werkzeugen aus der Erde gebrochen ;

c) sie werden durch Sprengung gewonnen.

a) Das einfachste Verfahren bildet das Aufheben und Sammeln der Steine vom Boden. Auf der Hochebene des Bükkgebirges, besonders wo es Dolinen gibt, liegt der Stein zu Tage, höchstens sind die grösseren Steine teilweise in die Erde gebettet. Diese Steine werden mit einer flachendigen Eisenstange aus dem Boden herausgestemmt und danach wegtransportiert. Diese Steine — so

[42] Die Ader weist vom homogenen Stein abweichende physikalische Eigenschaften auf, sie reagiert anders auf die Hitze und zersprengt das Gestein.

sagt man — brennen schneller und leichter aus, weil »sie von der Sonne beschienen wurden und die Wärme besser eingesogen haben als die abgebauten Steine, doch bindet ihr Kalk nicht so gut.«



Abb. 8. Das Brechen des Steines. Der Steinbrecher im Vordergrund arbeitet mit einer Stange, der im Hintergrund mit einer Spitzhacke. (Felsőtárkány, Steinbruch bei Estrángom. Aufnahme des Verfassers)

b) Eine andere Methode zur Gewinnung des Steines ist das Brechen. Es wird in der Nähe der Grube ein Ort gesucht, wo sich kein unterirdischer Kalksteinfelsen befindet, und mit einer flachen Haue ein Steinbruch angelegt. Auf einer Fläche von 1—2 Quadratmetern wird die Erde entfernt und die so an die Oberfläche tretenden Steine mittels einer Spitzhacke oder einer Eisenstange

herausgestemmt. Stösst man zufällig auf ein grösseres Stück, so wird dieses zuerst mit einem mächtigen Eisenhammer gespalten und, wenn nötig, auch Eisennägel in die Spalte geschlagen. Die oben liegenden Steine sind leichter zu brechen, denn sie wurden schon vom Regen verwittert, die weiter unten liegenden sind aber härter und widerstandsfähiger. Der Steinbruch wird immer in waagerechter Richtung erweitert : die Erde wird mittels einer Haue entfernt.

Die Eisenstangen werden in den verschiedenen Gegenden wie folgt bezeichnet :

Bélapátfalva : *stanga, vasrúd.*
Felsőtárkány : *stanga, vasrúd.*
Répáshuta : *štangla, vaskaró.*
Bükkszentkereszt : *kól, vasrúd.*
Cserépfalu : *stanga, vasrúd.*
Uppony : *acélstanga.*

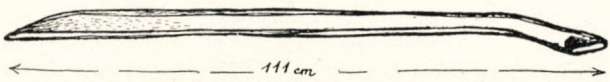


Abb. 9. Zum Steinbrechen gebräuchliche Eisenstange.

Bei diesen Bezeichnungen bedeutet *vasrúd* auf ungarisch Eisenstange, während das Wort *stanga* usw. dem entsprechenden deutschen Wort entspricht. *Acél* heisst auf Deutsch : Stahl.

Der Hammer aus Eisen wird in den verschiedenen Gegenden wie folgt genannt (in Klammern steht die entsprechende deutsche Übersetzung, falls das Wort einen Sinn hat) :

Bélapátfalva : *vasbunkó* (Eisenkeule).
Répáshuta : *nagybunkó* (grosse Keule), *vasbakó* (Eisenhenker).
Bükkszentkereszt : *kiján, vasbunkó.*
Felsőtárkány : *vasbunkó,* bei den Jüngeren : *kőtörő* (Steinbrecher).
Cserépfalu : *bakó* (Henker).
Uppony : *vasbakó, bankó.*

c) Das Steinbrechen wurde mitunter schon in den ersten Jahren dieses Jahrhunderts, seit Mitte der zwanziger Jahre jedoch schon allgemein, durch Sprengen, bzw. durch sogenannte Schiessscharten (ung. *lőrés)* an allen Stätten, wo gebrannt wurde, erleichtert. Mit Hilfe von Ekrasit wurden riesige Felsen auseinandergesprengt und auf diese Weise wurde das zur gesteigerten Produktion notwendige, vermehrte Rohmaterial in kürzerer Zeit bereitgestellt. Zur Zeit der Datensammlung des Verfassers wurde nur in Felsőtárkány gesprengt, in einem 3 km vom Dorf entfernten Steinbruch. Zum Sprengen ist eine behördliche Erlaubnis erforderlich.

Zum Sprengen bohrt man entweder am Fusse oder in der Mitte des Felsens ein Loch, je nachdem, ob der obere oder der untere Teil abgesprengt werden soll.

Wenn das Loch in die Mitte des Felsens gebohrt wird, so schlingt ein Mann ein Seil um sich, befestigt es am Gipfel des Felsens an einem Strauch und lässt sich so von der Höhe herunter. Ist kein Strauch vorhanden, so nimmt er den Bohrer und bohrt ihn in den Felsen, dort wo er unversehrt ist, und bindet dann den Strick an den Bohrer. Soll die Schiessscharte gleichfalls in der Mitte, aber näher zum Fusse des Felsens gebohrt werden, so wird auf irgendeinem flachen, vorspringenden Teil des Felsens ein »Schiessstand« (ung. *állás)* errichtet. Sodann wird der Felsen mit dem Bohrer angebohrt, u. zw. so, dass ein Mann den Bohrer hält und ihn dreht, während ein zweiter ihn mit dem Hammer in den Felsen schlägt. Es wird ein 1—2 m tiefes Loch gebohrt, der Bohrstaub und Steinsplitter mit einer langstieligen kleinen Eisenschaufel entfernt und schliesslich 0,5—1 kg Ekrasit hineingelegt. An eine mit Pech getränkte Schnur wird ein Zünder befestigt, der mit feuchter Erde herabgedrückt und angezündet wird. Dabei ruft

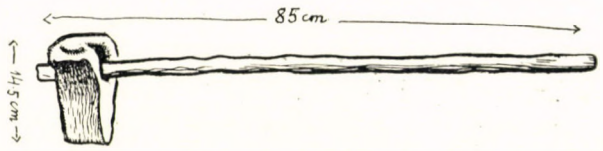


Abb. 10. Steinbrecherhammer aus Eisen, mit Stiel aus dem Holz eines Kornelkirschbaumes.

man »*fejer, fejer*« (was dem deutschen »Feuer« entspricht) und alle laufen davon.[43] Wenn es nötig ist — wenn z. B. der Felsen gross ist —, werden auch mehrere Löcher gebohrt, aber nie parallel zur Richtung der Spaltung, sondern senkrecht dazu, bzw. zur Felsenfläche. Anderenfalls würde die Produktion geringer sein, der Schuss würde abspringen (ung. *kivágna a lövés)*. Die so gewonnenen Steine sind auch schöner, sie zerbröckeln nicht so leicht. Nach der Sprengung werden die grösseren Stücke mit Hämmern, Eisenstangen, Spitzhacken und Eisennägeln zerkleinert. Die zu ganz kleinen Stücken zerfallenen Steine werden beim Kalkbrennen nicht benützt. Das Steinbrechen in dieser Form der Steingewinnung wird in vielen Fällen bereits von Berufssteinbrechern ausgeführt, während in den zwei vorher erwähnten Fällen grösstenteils die Kalkbrenner selbst auch diese Arbeit verrichten.

Die Entlohnung der Steinbrecher findet pro Wagenfuhre statt, wobei sie für eine Fuhre 12 Forint erhalten.[44] Wenn die Steingewinnung nicht mittels Sprengung erfolgt, so werden im Tage 2—3 Wagenfuhren Steine gebrochen.

[43] Übernahme des deutschen Wortes »Feuer« aus den Fachwörtern deutschen Ursprungs, die sich im Bergbau in Ungarn erhalten haben.

[44] Berufsmässige Steinbrecher arbeiten tatsächlich nur für die Kalkbrenner aus Felsőtárkány und für die Kalkbrenner-Siedlung in Eger. An diesen Orten waren die einzelnen Teilarbeiten des Kalkbrennens schon differenziert. Die Steinbrecher sind die Angestellten des Kalkbrennerei-Besitzers, bzw. des Unternehmers. Ausführlicher siehe im Kapitel »Vereinigung zur Arbeit«.

Wird Ekrasit verwendet, so ist die Steinausbeute pro Tag grösser, doch kostet dieses Verfahren dem Kalkbrennerei-Besitzer mehr : denn er muss den Sprengstoff geben. Die Pflicht des Steinbrechers ist es, den Stein im Steinbruch zu brechen, ihn am Strassenrand aufzutürmen und dem Fuhrmann beim Aufladen des Steines auf den Wagen zu helfen. Es gibt auch Steinbrecher, die ausserdem noch die Füllung des Ofens, das Heizen und das Herausnehmen des Kalkes übernehmen. Für diese Arbeit bekommen sie 3,50 Forint je 1 q Kalk. Die Kosten des Transportes gehen zu Lasten des Besitzers. Es gibt auch Steinbrecher, die diese aus vier Phasen bestehende Arbeit zu einem Taglohn von 20—40 Forint verrichten. In diesem Fall verrichtet der Steinbrecher-Spezialist in der Produktion des Unternehmers während des ganzen Produktionsganges eine komplexe Lohnarbeit.

Durch die Grösse der Grube wird im vorhinein bestimmt, was für Ausmasse der in ihr zu legende Ofen haben kann. Die Grösse des Ofens schwankt zwischen 25 und 450 Zentnern, wobei dieses Gewicht auf die Menge des gewonnenen Kalkes bezogen ist. Nach dem Brennen hat der Stein ungefähr ein Drittel seines Gewichtes verloren. Zu einem Ofen von 200 Zentnern sind also 300 Zentner Stein notwendig, welche in einem konkreten Fall in 33 Fuhren zum Ofen herangeführt wurden.

Der Transport des Steines

Es können zwei verschiedene Arten des Steintransportes unterschieden werden :

a) Transport im Wagen mittels Ochsen- oder Pferdezug, bzw. im Wagen, wo nur die Vorderachse in Anspruch genommen wird.

b) Transport ohne Inanspruchnahme von Zugtieren, nur durch menscliche Kraft.

a) Heutzutage werden die Steine grösstenteils mit Ochsen- oder Pferdefuhrwerken transportiert. Der Wagen wird vorne und hinten mit einem trapezförmigen Brett abgeschlossen und dann beladen. Den Transport auf den Fuhrwerken besorgen entweder die Fuhrleute, oder aber die Kalkbrenner selbst, wenn sie über Zugtiere verfügen. In Felsőtárkány berechnet der Fuhrmann den Transport der fertigen Steine pro Fuhrrunde : eine Fuhre vom Steinbruch bis zum ungefähr 3 km weit entfernten Ofen kostet 20 Forint. An einem Tage kann der Fuhrmann 6—7 Runden machen. Die fertigen Steine werden auch oft so transportiert, dass sie je nach Ofengehalt verrechnet werden : der Transport der Steine für einen kleineren Ofen kostet 400 Forint, für einen grösseren 700 Forint. Das Fuhrgeld für den Kalk beträgt im Durchschnitt 2,50 Forint je Zentner. Zur Zeit der Datensammlung des Verfassers wurde der Stein in Felsőtárkány ausschliesslich von Fuhrleuten, in Bélapátfalva und Cserépfalu sowohl von Fuhrleuten als auch von den Kalkbrennern selbst, in Répáshuta und Bükk-

szentkereszt hingegen ausschliesslich von den Kalkbrennern transportiert. In Eger bringt eine Industriebahn die Steine aus dem Steinbruch (s. Landkarte) zur Kalkbrennanlage.

Auf den für Fuhrwerke unzugänglichen, steilen Bergabhängen werden bei Répásbuta manchmal sogenannte Schlittschuhe (ung. *korcsolya)* oder Schlitten (ung. *csúszó)* benützt, die von den Slowaken *vlačuh* oder *zvolače* genannt werden. Der Schlitten besteht aus zwei 4 Meter langen Stangen, die durch 2—3 Querhölzer zusammengehalten werden. Der vordere Teil ist schmäler, der hintere breiter (s. auch Holztransport). In der Mitte des vorderen Querholzes befindet sich ein Loch, mit diesem wird der Schlitten in den Nagel der Vorderachse des Wagens eingehängt und so von den Ochsen gezogen. Der hintere Teil des Schlittens gleitet am Boden hin. Der Schlitten wird gleicherweise zum Transport von Steinen oder von Holz benützt ; werden Steine befördert, so wird er aber mit einem Weidengeflecht versehen.[45]

b) Die Beförderung der Steine auf Fuhrwerken ist verhältnismässig neuen Datums (s. weiter unten), früher spielten die verschiedenen Arten des Transportes mit menschlicher Kraft eine weit bedeutendere Rolle. In einigen Ortschaften, wie in Cserépfalu und Uppony, sowie auf der Hochbene des Bükkgebirges werden oft Fuhrwerke überhaupt nicht in Anspruch genommen, da dort auch heute noch die Steine durch menschliche Kraft vom nahen Steinbruch zum Ofen befördert werden. Unter gewissen, weiter unten angeführten Verhältnissen spielt aber diese Transportart auch an anderen Orten, wo Kalk gebrannt wird, eine Rolle.

Die einfachste Art des Transportes durch menschliche Kraft ist das »Hineinrollen« (ung. *beguringatás)*, wenn die Steine am unmittelbar über dem Ofen befindlichen Abhang gebrochen werden. In Cserépfalu, wo der Steinbruch weiter entfernt liegt (40—50 m), werden die Steine mit einem Schubkarren (ung. *taliga)* befördert, der in neuerer Zeit *bicigli* (deutsch : Fahrrad) genannt wird. Das Rad dieses Karrens ist aus massivem Holz und unter den Steinen befindet sich ein Geflecht aus Ruten oder Blechstreifen. Die kleineren Steine werden in diesem Fall in Körbe gelegt. Die aus Waldrebe *(Clematis vitalba*, dort vom Volk ung. *juszalag* genannt) oder Blechstreifen geflochtenen Körbe werden mit Steinen angefüllt und so zum Ofen getragen. Der Korb wird zum Transport von kleineren Steinen auf kurze Entfernungen überall im Bükkgebirge verwendet.

In Uppony, Bükkszentkereszt und Répáshuta werden die Steine auf kurze Entfernung durch zwei Mann auf dem Schragen (ung. *saroglya)* befördert. Der Schragen wird auch dort benützt, wo der Transport der Steine mit Fuhrwerken geschieht, nur wird er dann nur für den Weg vom Wagen zum Ofen in Anspruch genommen (Bélapátalva, Felsőtárkány), aber auch an diesen Orten

[45] Siehe bei der Holzbeförderung den Schlitten (ung. *csúszó)* in Bélapátfalva. Der Unterschied zwischen den zweien besteht nur darin, dass die Kalkbrenner aus Répáshuta keine *rakonca* (Wagenbalken) haben.

nicht allgemein, sondern nur vereinzelt. Der Schragen besteht aus zwei grob behauenen Stangen, die durch zwei Querhölzer zusammengehalten werden. In Cserépfalu wurde der Schragen noch vor 20—25 Jahren benützt, seine Rolle wurde jedoch vom Schubkarren übernommen. In Felsőtárkány war der Schragen



Abb. 11. Transport mit Karren. Auf den Karren werden nur in den seltensten Fällen Steine in Körben geladen, im allgemeinen werden nur grosse Steine auf den Karren geladen. (Cserépfalu, Aufnahme des Verfassers)

vor 1920 — solange noch auf der Hochebene, d. h. fern vom Dorf gebrannt wurde — allgemein verbreitet, heutzutage wird er äusserst selten verwendet, weil der Stein auf grössere Entfernungen mit dem Wagen transportiert und am Rande der Grube entleert wird. In Bélapátfalva ist heutzutage der Schragen nicht gebräuchlich, auch aus der Vergangenheit erinnerte man sich nur eines einzigen Falles, wo er benützt wurde.

Zur Legung der Ofenöffnung sind regelmässige Steine von bestimmter Grösse notwendig. Wird in der Gemarkung des Dorfes gebrannt, so bringen die Brenner in Bélapátfalva die für die Ofenmündung bestimmten Steine (ung.



Abb. 12. Transport des Steines in Körben. Ein 10—12 jähriger Knabe aus Cserépfalu hilft auf diese Weise seinem Vater beim Tragen der Steine. (Aufnahme des Verfassers)

szájakőnek valót) mittels Stangen heran. Der vordere Teil des Steines wird auf eine 1,5 m lange Stange gelegt, der eine Mann fasst mit der rechten, der andere mit der linken Hand das Ende der Stange, mit der anderen Hand fassen sie das Ende des Steines und so tragen sie ihn, indem sie nebeneinander herschreiten

(s. Abb. 14). Der »Spanner« (ung. *szorító)*[46] wird oft auf der Schulter zum Ofen getragen, da man nur selten einen Stein von passender Gestalt findet.



Abb. 13. Transport des Steines mit dem Schragen. (Répáshuta, Aufnahme des Verfassers)



Abb. 14. Transport des Steines auf Stangen

In Felsőtárkány werden die für die Ofenöffnung bestimmten Steine auf zwei Stangen gelegt und so getragen, wie auf dem Schragen.

Früher war im ganzen durchforschten Gebiet mit Ausnahme von Uppony zum Befördern des Steines der Schlitten (ung. *szánkó)* gebräuchlich. Er wurde

[46] Keilförmiger Stein, der die Wölbung der Ofenöffnung in der Mitte abschliesst. Ausführlicher darüber siehe beim Setzen des Ofens.

in Bélapátfalva bis ungefähr 1935 benützt, in Répáshuta sogar noch zur Zeit der Datensammlung des Verfassers. Seinerzeit wurden mit dem Schlitten sowohl Steine als auch Holz befördert, zum Steintransport wurde er aber auch dann noch benützt, als das Holz schon auf Fuhrwerken befördert wurde. Es sind zwei Typen des Schlittens bekannt :

1. Seine Seiten und der zum Ziehen dienende Teil sind aus einem einzigen Holzstück hergestellt.

2. Der zum Ziehen dienende Teil ist aus einem separaten Stück Holz hergestellt und mit Schrauben an das Seitenbrett befestigt. Vor dem Jahre

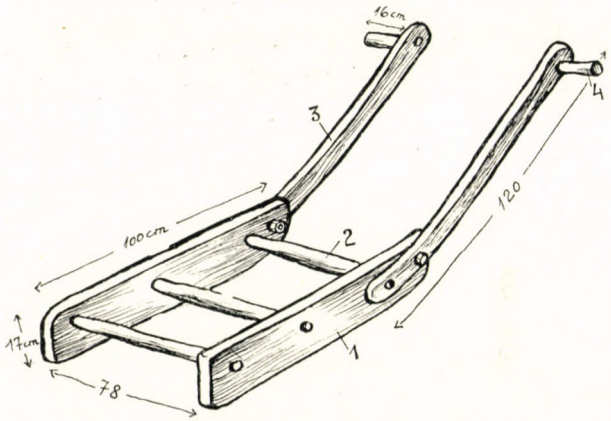


Abb. 15. Schlitten zum Transport des Steines

1910 wurde in Répáshuta noch ein ähnliches Gerät zum Steintransport verwendet, welches Schlittschuh (ung. *korcsolya)* genannt wurde. Dieser besass überhaupt keinen Holzgriff zum Ziehen, sondern wurde mit einem Hanfstrang gezogen.

Abb. 15 stellt einen Schlitten aus Bélapátfalva dar, mit Bezeichnung der einzelnen Bestandteile. In Felsőtárkány, Répáshuta und Cserépfalu ist dieselbe Form bekannt, wobei die Bezeichnungen für die einzelnen Bestandteile manchmal verschieden lauten (z. B. Felsőtárkány : 3. *keze* (Hand) oder Répáshuta : 1. *korcsolya* (Schlittschuh).

Die einzelnen Bestandteile des Schlittens werden in Bélapátfalva folgenderweise genannt :

Szánkaó oder *gyalogszánkaó* (Schlitten oder Rodel)

1. *ódala* (seine Seite),
2. *keresztfa* (Querholz),
3. *rúdja* (seine Stange, seine Deichsel),
4. *füle* (sein Henkel, sein Ohr, seine Schlinge).

Wenn die Seite und die Deichsel des Schlittens aus einem Stück geschnitzt sind, so wurden sie aus krummem Holz verfertigt. Am geeignetsten dazu ist das Buchen- oder Ahornholz. Wenn ein geeigneter Baum gefunden wurde, so wurden oft bis zu 5 Schlitten auf einmal angefertigt, wobei die überflüssigen Schlitten eingelagert wurden. Jedermann verfertigte seinen Schlitten selbst.

Wie bereits erwähnt, fiel die Blüte der Schlitten in jene Zeit, als die Öfen noch am Boden von Dolinen erstellt wurden. Wenn der Schlitten mit Steinen



Abb. 16. Der früher zum Transport des Steines verwendete Schlitten wird heutzutage vom Kalkbrenner zur Beförderung des Düngers benützt. (Bélapátfalva, Aufnahme des Verfassers)

beladen war,[47] so stellte man sich zwischen seine Stangen, fasste den Henkel und zog den Schlitten zum Ofen. Damit der Schlitten auf abschüssigen Wegteilen nicht in zu grosse Fahrt gerate, wurden an seine Kufen Fesseln oder Ketten befestigt ; doch auch so kam es vor, dass der Schlitten in schnelles Gleiten kam und den ziehenden Mann überfuhr, der dann unter dem Schlitten herausgezogen werden musste. Deshalb pflegte man auch auf dem Weg des Schlittens das Gras abzumähen. Mit einem Schlitten konnte auf einmal eine halbe Wagen-

[47] Die Kalkbrenner aus Felsőtárkány benützten einen Schlitten mit Schlinge, dessen Wagenbalken (ung. *rakonca)* 30—40 cm hoch war.

ladung befördert werden. »Wenn wir 16 Runden an einem Tag gemacht haben, so ist das genug! Denn die Sterne standen noch am Himmel, als wir begonnen haben, und es war schon dunkel, als wir aufhörten!« — sagte István *Balogh*, ein 89 jähriger Kalkbrenner aus Bélapátfalva.

Im Herbst, als das Brennen des Kalkes beendet war, wurde der Schlitten mit nach Hause genommen. Er diente dann zum Hinausschaffen des Schnees aus dem Hofe, die Frauen trugen auf ihm das Getreide zur Mühle oder die Kinder benützten ihn als Rodel. Zur Zeit der Datensammlung des Verfassers wurden weder Steine noch Holz auf dem Schlitten befördert, doch konnte er damals dennoch im Gebrauch beobachtet werden, und zwar in einer neuen Funktion: ein Kalkbrenner führte mit ihm den Dünger aus dem Stall auf den Hof.

Der Einfluss der Kalkhändler auf die Art des Transportes der Steine

Im Bükkgebirge war bis zu den letzten zwei Jahrzehnten des XIX. Jahrhunderts der Schlitten das fortschrittlichste Transportmittel zum Heranschaffen des Holzes und des Steines. Zu dieser Zeit traten in dieser Gegend die Unternehmer und Kalkhändler auf, die im Interesse einer Produktionssteigerung die Produktionsweise rationalisierten. Auf ihre Veranlassung weichen die Kalkbrenner von der traditionellen Gewohnheit ab, den Kalkofen am Boden von Dolinen zu erstellen und teilweise darauf ist auch die Neuerung zurückzuführen, dass die Rohmaterialien mit Zugtieren zum Ofen geschafft wurden. Nach den Erinnerungen des bereits erwähnten István *Balogh* aus Bélapátfalva wurde zum erstenmal um das Jahr 1887—88 ein Fuhrwerk benützt, und zwar auf Betrieben eines Kalkhändlers aus Bélapátfalva namens *Freund*. Diese Neuerung bedeutete nicht — wie aus dem Bisherigen ersichtlich — die sofortige Aufgabe der alten Methoden. Der Schlitten war, obzwar nur in vereinzelten Fällen, auch noch 40—50 Jahre später im Gebrauch, und am Boden von Dolinen wurden noch ungefähr bis 1922 Öfen angelegt.

3. Das Setzen des Ofens

Wenn die Grube bereits soweit ist, dass in ihr gebrannt werden kann und ein Teil der Steine schon zusammengetragen ist, so kann mit dem Setzen des Ofens begonnen werden. Es muss hier bemerkt werden, dass nicht die ganze benötigte Steinmenge vor dem Setzen des Ofens herbeigeschafft wird ; zuerst werden nur so viel Steine zusammengetragen, als zum Beginn des Ofensetzens erforderlich ist. Der Rest wird dann während des Ofensetzens gebrochen und herbeitransportiert. Beim Setzen des Ofens können drei Phasen unterschieden werden, und zwar das Legen des Gewölbes, also des Kalksteins bis zur Höhe des Grubenrandes, die Errichtung der Kuppel (ung. *boglya* = Schober), d. i.

des halbkugel- oder kegelförmigen Teiles des Ofens der über den Grubenrand hinausragt, und schliesslich das Abdichten, das Isolieren jenes Teiles, der sich über die Erdoberfläche erhebt.

Die Errichtung des Gewölbes

Das Setzen des Ofens beginnt damit, dass an die zwei Zentner jener Steine auf den Boden der Grube hinuntergeworfen werden, die man in die gewöhnlich

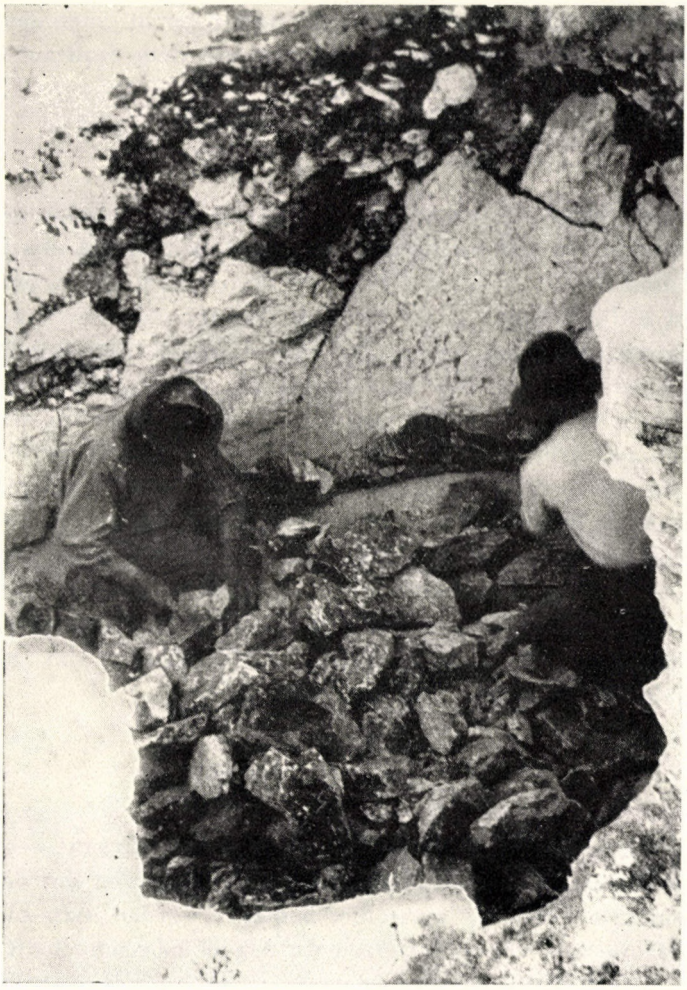


Abb. 17. Das Setzen der untersten Steinreihe des Ofens. Im Vordergrund sind die beiden Seiten der Grubenmündung und der Boden der Grube zu sehen, in der Mitte der auf den Boden der Grube hingeworfene Kalkstein. Zwischen den zwei Kalkbrennern ist die zum Bänkchen gelegte erste Steinreihe zu erkennen. Die Seitenwand der Grube ist nicht gesetzt, der untere Teil ist in den Felsen gehauen. (Bükkszentkereszt, Aufnahme des Verfassers)

mit Erde aufgefüllte nächste Umgebung der Seite und des hinteren Teiles der Grube herangeschafft hatte. Dann klettern einige Kalkbrenner in die Grube hinein und fangen an, die erste Reihe des Ofens aus kleinen Steinen auf das Bänkchen zu legen. Die Steine werden im Kreise aufeinandergeschichtet. Das Setzen kann von 1—3 Männern ausgeführt werden, je nachdem, aus wieviel Personen die Gruppe besteht und wieviele das Setzen des Ofens verstehen. Die wichtigste Arbeitsperiode des Kalkbrennens ist das Setzen des Ofens. Nur derjenige Kalkbrenner wird Meister (ung. *mester* oder auch *majszter)* genannt, der das Setzen des Ofens beherrscht. Beim Setzen können mehrere Personen arbeiten, aber zumindest einer von ihnen muss die Arbeit verstehen. Dieser ist

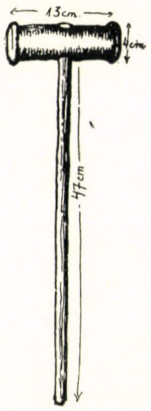


Abb. 18. Setzhammer mit Kopf aus Gusseisen und Stiel aus dem Holz des Kornelkirschbaume (Cserépfalu)

es, der die erste Reihe setzt und später die Kuppel baut, die übrigen verrichten die nötigen Handlangerdienste.

Die erste Phase des Setzens besteht also darin, die kleineren Steine im Kreise so auf das Bänkchen zu legen, dass auf den der *futra* zugekehrten Teil Steine, auf den »Schwanz« (ung. *farok)* kleine Steine gelegt werden. Diese verleihen dem Gewölbe die nötige Stabilität. Wenn nur *ein* Mann den Ofen setzt, fängt er bei der Mündung an und geht im Kreis herum. Arbeiten drei Mann beim Ofensetzen, so besorgen zwei das Aufschichten der Steine neben der Ofenmündung, während der Dritte hinten arbeitet. Auf die erste Reihe werden die folgenden Reihen aus immer grösseren Steinen gelegt, so dass nach oben zu der Durchmesser des Kreises immer kleiner und kleiner wird. In dem Masse, wie sich so die Steine allmählich immer mehr und mehr von der Seitenwand der Grube entfernen, werden immer mehr und mehr Steine zum Ausfüllen des Zwischenraumes benötigt. Wenn die Steine des Gewölbes gelegt werden, ist darauf zu achten, dass über je zwei Steine ein solcher Stein zum Binden gelegt werde, welcher die Lücke zwischen ihnen zudeckt. Wenn nötig, werden die Steine mit

einem Hammer behauen, es wird ein Teil entweder des einen oder anderen Endes abgeschlagen. Bei grossen Öfen muss die Nase der Steine, also die näher zum Feuer befindliche Seite der Steine, stets um ein halbes *sukk* weiter nach innen stehen als die Nasen der darunter liegenden Reihe Steine (bei Öfen von 400—500 q). Wie bereits erwähnt, kommen an den Rand der Steine des Gewölbes kleinere Steine, als es diese sind, und ausserdem wird auch der Raum bis zur Wand der Grube mit kleineren Steinen ausgefüllt. Das Aufschichten einer mittleren Steingruppe ist deswegen erforderlich, weil, wenn das Volumen des Steines unter der Hitze oder während des Auskühlens sich vermindert und der Stein zusammenschrumpft, die Steine der Wölbung in den Feuerraum fallen würden. Die kleinen Steine werden mit Körben neben die Wand der Grube geschüttet.[48]

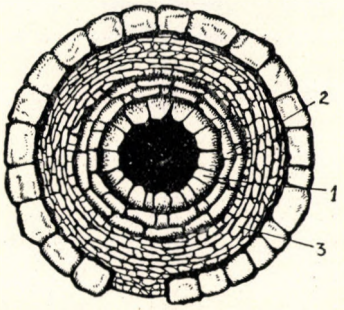


Abb. 19. Ansicht der zur Hälfte mit Steinen gefüllten Grube von oben

Es soll auf Abbildung 19. versucht werden, die verschiedenen Bezeichnungen für die dreierlei Steingruppen, aus denen die Wand des Gewölbes besteht, zu veranschaulichen. Es soll aber vorweggenommen werden, dass die einzelnen Steingruppen sich in Wirklichkeit nicht so präzis unterscheiden lassen, diese Idealisierung wurde um des besseren Verständnisses willens gewählt.

Bélapátfalva :	1. *bótkő*	Répáshuta :	1. *bótkő*
	2. *farkállás*		2. *farkállás*
	3. *aprókő*		3. *viloška*
Cserépfalu :	1. *bótkő*	Felsőtárkány :	1. *bótkő*
	2. *mejjéki* oder *farkállás*		2. *középső farkállás*
	3. *viluška*		3. *kis farkállás*
Bükkszentkereszt :	1. *bótkő*	Uppony :	1. *bótkő*
	2. *vőgyelés, vaha, vahovat*		2. *váholás*
	3. *viloška*		3. *béllés*

[48] Siehe : Transport des Steines, Herausnehmen des Kalkes.

Solange die in der Grube arbeitenden Kalkbrenner nicht den Rand der Grube erreichen, werden die Steine stehend aufeinandergelegt. Sobald die Reihe des Gewölbes breiter ist, stellen sie sich darauf. Beim Legen der Steine des



Abb. 20. Das Setzen der Ofenöffnung, von innen her photographiert. In Felsőtárkány geht das Bänkchen nicht rings im Kreise, der Teil unterhalb der Grubenmündung ist also nicht mit Kalksteinen ausgelegt. (Cserépfalu, Aufnahme des Verfassers). Siehe auch Abb. 4.

Gewölbes muss sehr achtgegeben werden, dass sie stets gerade gelegt werden, dass keine Erhebungen und Vertiefungen entstehen, sonst stürzt ein Gewölbestein (ung. *bótkő)* ein, und nachher der ganze Ofen. Ist man mit dem Legen bis zur Mündung gelangt, so wird die Mündung des Ofens gesetzt. Während die Arbeiter bisher innen, in der Grube stehend, gearbeitet hatten, errichten

sie die Mündung von aussen. In Cserépfalu wird auf dem Platz vor der Öffnung, der nach innen zu abfällt, aus Kalkpulver und Erde ein niederer Damm errichtet, damit das Wasser bei Regenwetter nicht in den Ofen fliesst.

Die Öffnung des Ofens wird in die untere Mitte der Grubenmündung gesetzt. Sie ist immer etwas schmäler und bedeutend niedriger als die Grubenmündung. Diese Masse der Ofenöffnung hängen einerseits von der Grösse des Ofens, andererseits von der Beschaffenheit des Heizmaterials ab. Wird grösseres,



Abb. 21. Beginnen der Ofenöffnung, von der Grube gesehen. (Répáshuta, Aufnahme des Verfassers)

dickeres Holz verwendet, so wird die Öffnung breiter belassen. Je kleiner die Öffnung ist, desto besser brennt der Ofen, sie muss aber auf jeden Fall gross genung sein, dass ein Mann zum Anheizen in den Ofen kriechen kann. In Bélapátfalva wird der untere Teil der Öffnung eines Ofens von mittlerer Grösse (150 q) mit Ellbogenlängen gemessen. Vor ungefähr 50—60 Jahren wurde hier die Ofenöffnung viel grösser gebaut, allerdings waren auch die Öfen selbst viel grösser. »Die Öffnung war so gross, dass man mit einem Rodel hineinfahren konnte.« Besondere Sorgfalt wird angewendet, dass die Steine genau aufeinander zu liegen kommen, dass sie sicher und fest liegen, denn es ist beim Heizen

nicht zu vermeiden, dass das Holz an die Steine stösst. Sind keine genügend grossen Steine vorhanden, so müssen solche mit Mörtel zusammengefügt werden.

Zu unterst kommen zwei grosse, flache Steine, entweder unmittelbar neben die Seitenwand *(futra)* oder etwas mehr nach innen.[49] Zwischen diesen beiden ist das Ofenloch. Zwischen die zwei untersten Steine wird ein, an den meisten Orten halb in die Erde versenkter, grosser, annähernd ziegelförmig ausgebildeter Stein derart gelegt, dass er die beiden anderen auseinanderspreizt. Er wird zwischen die beiden untersten Steine der Öffnung gelegt und mit einem Stock oder Stange bis zur Erde hinuntergeschlagen. Auf diesem Stein wird später das Holz in den Ofen geschoben, nur in Bélapátfalva ist diese Methode nicht

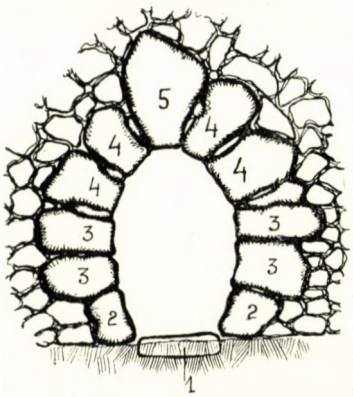


Abb. 22. Das Einsetzen der Mündungssteine in die Ofenöffnung

gebräuchlich. Danach wird auf die zwei Randsteine aus grossen und womöglich regelmässig geformten Steinen ein 60—80 cm hoher Bogen gebaut. Die äussere Seite dieser Steine bildet die Öffnung des Ofens, ihre innere Seite wird zwischen die Steine des Gewölbes eingepasst.

Die Benennung der Steine, die die Öffnung des Ofens bilden, zeigt eine gewisse Vielfältigkeit, die durch folgende Tabelle bzw. Abbildung veranschaulicht werden soll :

Bélapátfalva :	Felsőtárkány :
szája, kisbaot, első baot	*szája*
1. nicht gebräuchlich	1. *alap, lábkő alja*
2. *lábkő*	2. *lábkő*
3. *falkő*	3. *falkő*
4. *szájkő*	4. *szájkő*
5. *szorító*	5. *szorító*

[49] Später wird die Lücke mit kleinen Steinen ausgefüllt.

Répáshuta (slowakisch) :

čelust'e
1. *čelusňak, szájkő alap*
2. *bočňaki*
3—5. *szájakövek*

Bükkszentkereszt (slow.) :

čelust'e
1. *lábkő*
2—4. *bočňak, szájakő*
5. *pop, pap*

Cserépfalu :

szája
1. *küszöb*
2. *pofakő*
3—4. *szájakő*
5. *szájapap*

Uppony :

szája
1. *pánkkő*
2. *bocsnyák*
3—4. *pofakő*
5. *pap*[50]

Beim Setzen der Ofenöffnung legt man, oder besser gesagt, legte man, um eine schöne Wölbung zu erzielen, ein Wasserfass unter die Steine (Bélapátfalva, Répáshuta, Cserépfalu). Es wurden auch Angaben gefunden, wonach sich ein Mann auf alle Viere stellte oder auf zwei übers Kreuz gelegte Holzstücke ein Korb gestellt wurde, damit der obere Teil der Öffnung schön rund werde (Bélapátfalva). In Cserépfalu wird die Ofenöffnung mit zwei übers Kreuz gelegten Ästen, in Felsőtárkány mit Steinen gestützt.

In Bélapátfalva werden die Steine des Gewölbes bis zur Höhe des oberen Teiles der Öffnung »Steine der ersten Reihe« (ung. *elsősora kő)*, die weiter oben liegenden *bótkő* genannt. Wie bereits erwähnt, stützt sich der entsprechende Teil des Gewölbes auf die innere Seite der Mündungssteine, und je höher man mit dem Setzen gelangt, desto näher werden die sogenannten Stützsteine *(bótkő)* zueinander zu liegen kommen, bis schliesslich der Kreis ganz geschlossen ist. Bei Errichten des Gewölbes wird auch der Zwischenraum zwischen der *futra* und den Mündungssteinen mit mittelgrossen Steinen aufgefüllt. Bei den vor 40—50 Jahren gebräuchlichen Öfen von grossen Ausmassen, die 600—700 Zentner fassten, wurden in den oberen Teil des Gewölbes derart mächtige Steine eingebaut, dass sie von Ochsen an einer Kette zum Ofen gezogen oder auf einer Leiter hinuntergelassen werden mussten. Wenn das Gewölbe bereits so weit erstellt war, dass nur noch ein einziges grosses Loch in der Mitte offen blieb, wurden von oben diejenigen zum Anheizen benötigten Baumstämme in den Ofen geworfen, die durch die Ofenöffnung nicht hineingingen.

Ist das Gewölbe bereits so weit errichtet, dass es sich oben ganz verschmälert, wird es mit einem mächtigen Stein, der im allgemeinen »Pfarrer« genannt wird, (ung. *pap*, slow. *pop)* abgeschlossen.[51] Das Gewicht dieses Steines beträgt

[50] Das in Bükkszentkereszt, Répáshuta und Cserépfalu gebräuchliche Wort *pap, pop* scheint eine Analogie der im ungarischen bäuerlichen Ackerbau bekannten, beim Ernten zuoberst gelegten, gleichfalls *pap* (Pfarrer) genannten Garbe zu sein.

[51] Siehe Anmerkung 50.

0,6—1 Zentner, ein Mann allein kann ihn nicht aufheben, zwei oder drei Männer wälzen ihn an seinen Platz. In Bélapátfalva und Cserépfalu wird noch unter dem »Pfarrer« ein kleinerer, die Öffnung genau abschliessender Stein, der sogenannte »Propfen« (ung. *dugó*) oder »Kantor« (ung. *kántor*) gesetzt. Anderswo weist der »Pfarrer« eine keilförmige Gestalt auf und wird mit dem spitzen Ende in das oben verbleibende Loch eingepasst. Nur in Eger wird kein »Pfarrer« verwendet. János *Beszteri*, ein 21jähriger Kalkbrenner berichtete, dass er von Gábor *Kakuk* aus Bélapátfalva gelernt habe, dass ein »Pfarrer« eingesetzt werden müsse, doch seien sie davon abgekommen, denn »es lohne sich nicht«, da das Gewölbe des Ofens auch so nicht einstürze.

Mit dem Einsetzen des »Pfarrers« an seinen Platz ist eine Arbeitsphase, das »Wölben« (ung. *bótolás*) beendet. Früher (vor 1914) war es üblich, nach dem An-seinen-Platz-Rollen des »Pfarrers« diesen Akt mit einem Trunk zu feiern. »Wir haben den Pfarrstein eingesetzt, trinken wir eins, Kamerad!« pflegte man zu sagen. In Bélapátfalva lebt noch in der Erinnerung aller Kalkbrenner der Brauch, dass wenn der Pfarrstein eingesetzt wurde, sich die ganze Gruppe dort versammelte und der Besitzer oder Meister[52] seinen Hut abnahm, niederkniete und mit den Händen zu wiederholten Malen ein Kreuz über den »Pfarrer« schlug und sagte : »Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Das Feuer brenne dich, der Wagen hole dich und der Herr gebe Geld!« Oder laut einer anderen Version : »Gott helfe dir, der Wagen hole dich, das Feuer, auf das man dich legt, verbrenne dich, der Herr gebe Geld!« Nach Aussagen von anderen Leuten setzte man sich auch auf den Pfarrstein und alle sagten nach dem Spruch des Besitzers oder Meisters im Chor : »So sei es!« Dann wurde die Feier mit einem Trunk gekrönt. Un Uppony wurde Mitte der zwanziger Jahre »der Pfarrstein mit einem Korbvoll kleiner Steine überschüttet, damit er gut schliesse. Dann stiessen die Arbeiter einen kräftigen Fluch aus, als Zeichen, dass sie mit dem schwersten Teil der Arbeit zu Ende waren und spieen den Pfarrstein an«. In anderen Ortschaften, wo man sich mit Kalkbrennerei beschäftigte, konnte dieser Brauch nicht belegt werden.

Das Setzen der Kuppel

Die nächste Phase des Ofensetzens ist die Errichtung des Kegels oder der Halbkugel, an den meisten Orten »Schober« oder »Meiler« (ung. *boglya)* genannt, der sich über der Grube befindet. Zuerst werden grosse Steine auf den Pfarrstein geworfen und neben ihm senkrecht ein Stock hineingesteckt. »Lasst uns den Rohrstock hineinstecken« pflegen die Kalkbrenner aus Bélapátfalva zu sagen, denn wenn ein Kind oder ein »Ungelernter« zum Ofen kommt

[52] Der Besitzer ist entweder derjenige kapitalistische Unternehmer, bei dem die Kalkbrenner angestellt sind, oder der von den Kalkbrennern unter sich gewählte Mann, der die administrativen Geschäfte erledigt. Der Meister hingegen ist der Leiter der Arbeit. Ausführlicher darüber siehe im Kapitel »Vereinigung zur Arbeit«.

und fragt, warum der Stock dort sei, so antwortet man ihm : »Wenn der Ofen ausgebrannt ist, so wird daraus der Rohrstock!« Die Länge des Stockes beträgt ungefähr 5—5,5 *sukk* (1 *sukk* = 30—35 cm) und er wird deshalb neben den Pfarrstein hineingesteckt, um feststellen zu können, wie hoch die Kuppel sein soll. Das Hineinstecken des Stockes war früher allgemein verbreitet, doch wurde es zur Zeit der Datensammlung des Verfassers nicht mehr überall geübt. In Bél-



Abb. 23. Das Legen des kegelförmigen, aus dem Erdboden herausragenden Teiles des Ofens, der Kuppel. In der Mitte der Kuppel ein »Rohrstock«, an der linken Seite der Kuppel die angelehnten Stützsteine *(mellék-kövek)*. In der Mitte, am Ende der Stützsteine ist zu sehen, dass die aus kleinen Steinen bestehende äussere Reihe erst zur Hälfte fertig ist. In der linken unteren Ecke befinden sich die Werkzeuge : Eisenkeule, Spitzhacke, Setzhämmer. (Bélapátfalva, Aufnahme des Verfassers)

apátfalva, Répáshuta, Uppony war es allgemein üblich, in Bükkszentkereszt wurde es vereinzelt angewendet ; in Felsőtárkány, Cserépfalu und Eger hält man es nicht für nötig, denn »man wisse ohnehin, wie hoch die Kuppel gebaut werden müsse«. In diesem Falle wird die Kuppel nach Augenmass (ung. *irányzomra)* errichtet. Die Kuppel hat im allgemeinen die Gestalt einer etwas in die Höhe gezogenen Halbkugel, in Bükkszentkereszt und Uppony ist sie schlanker als an den anderen Orten. »Es kommt vor, dass sie kerzengerade in die Höhe ragt, wie ein Turm.«

Das Errichten der Kuppel beginnt also damit, dass grosse Steine auf den Pfarrstein geworfen werden. Im nachstehenden soll die in Bélapátfalva übliche Art des Kuppelbaues beschrieben werden, um dann auf die im durchforschten Gebiet beobachteten Abweichungen zurückzukommen.

B é l a p á t f a l v a

Sobald die Grube völlig mit Kalksteinen angefüllt ist und in der Mitte auf den Pfarrstein grosse Steine in einen Haufen gelegt sind, wird rings um die grossen Steine eine Reihe Steine gelegt : dies wird »Räumerei« (ung. *rámolás)* genannt. Ausserdem wird unmittelbar neben diesen Steinen eine weitere Reihe aus kleineren Steinen gelegt, das ist der sogenannte »Reifen« (ung. *abroncs, abroncsolás)*. Der »Reifen« ist die äusserste Schicht der Kuppel, der Durchmesser seiner untersten Reihe ist nur um wenige Zentimeter geringer als der Durchmesser des Grubenrandes. Sowohl die Räumereischicht als auch die Reifenschicht umgibt die Kuppel bis zur halben Höhe vollständig. Während die grossen Steine in der Mitte nur aufeinandergeworfen werden, so wird beim »Räumen« und beim »Reifenlegen« ebenso sorgfältig und vorsichtig vorgegangen, wie beim Errichten des Gewölbes. Schon vor Beginn der »Räumerei« muss darauf geachtet werden, dass keine zu grossen Steine an den Rand der Kuppel geraten, deshalb werden die grösseren Steine am Rande des Ofens mit einem Hammer aus Eisen zerschlagen. Zum Legen des Reifens und zur Räumerei müssen hingegen die zueinander passenden Steine ausgewählt und, falls nötig, mit einem kleinen Hammer behauen werden. Wenn die Kuppel eine Höhe von 70—80 cm erreicht hat, wird um sie herum noch eine Reihe von Steinen, den sogenannten »Nebensteinen« (ung. *mejjékkövek*) oder »Stützsteinen« (ung. *támaszkövek*) gelegt. Diese 70—80 cm hohen, 30—40 cm breiten, flachen Steine werden an den Rand der Grube gestellt und so an die Kuppel gelehnt, dass sie sich nach innen zu neigen und dass sich ihre oberen Enden berühren. Zwischen ihrem unteren Rande und den Steinen der Reifenschicht bleibt eine Lücke. Die Stützsteine müssen sehr geschickt eingesetzt werden, denn wenn nur einer einstürzt, so reisst er auch die anderen mit sich. In diesem Fall brennt auch die Kuppel nicht vollständig durch, der obere Teil und der Reifen »bleiben Kieselsteine«. Wenn die Stützsteine gut eingesetzt sind, »dann bleiben sie so, wie ein Glas«. Danach wird nur noch am Rande der Kuppel eine Steinschicht aus kleineren Steinen gelegt, dies wird *szinelés* oder *siflázás* genannt. Die bis zur Höhe des Stockes in die Mitte geworfenen grösseren Steine werden solange mit dieser Steinschicht umgeben, bis die Kuppel die Form einer Halbkugel annimmt.

F e l s ő t á r k á n y

Der ganze Arbeitsgang und auch die Fachausdrücke sind dieselben wie in Bélapátfalva, der einzige Unterschied besteht in einer Neuerung : als »Nebensteine« (ung. *mejjékkövek*), von den jüngeren Kalkbrennern eher »Stützsteine«

(ung. *támaszkő*) genannt, werden 2—3 Reihen ziegelförmige Riolith-Tuffsteine gelegt. In diesem Falle wird deshalb nicht Kalkstein benützt, weil diese alleräusserste Schicht ohnehin nicht durchbrennt, höchstens bis zu einem Fingerbreit an ihrer Innenseite. Die Steine dieser Schicht kämen also bei der Verwertung ohnehin nicht in Betracht : »sie machen nur Mist«.

R é p á s h u t a (slowakisch)

Die Kuppel wird mit nur einer Schicht kleiner Kalksteine umgeben, die von den Slowaken *viloška*, von den Ungarn *viluska* genannt wird. Der Ring der



Abb. 24. Zwei auf der ässueren, isolierenden Steinreihe stehende Kalkbrenner nehmen kleine Steine aus dem Korb und setzen sie an ihren Platz.
(Répáshuta, Aufnahme des Verfassers)

»Nebensteine« weicht folgendermassen von dem oben beschriebenen ab : Ausserhalb der *viloška*-Schicht werden grosse Steine, sogenannte Stützsteine (slow. *obloška*, ung. *támasztókő*) an die Seitenwand des Ofens gestellt, so wie in Bélapátfalva, und diese werden später abgedichtet. 10—15 cm weiter auswärts wird noch eine Reihe von Steinen, *obsipka* genannt, gelegt und zwischen diese beiden Reihen mit einer Schaufel Erde geworfen. Die *obsipka* ist um 30 cm niedriger als die *obloška*. Oberhalb der *obloška* und der *obsipka* verläuft noch ein Ring

aus Steinen von ungefähr 25 cm Höhe um die Kuppel herum. Diese Schicht heisst : *viluska-támasztók* oder *boksa-támasztók*.[53]

Cserépfalu

Die Kuppel wird von zwei Reihen von Steinen im Kreise umgeben, die innere Reihe wird »grosse *viluska*«, die äussere *viluska* genannt. Die beiden Reihen zusammen heissen »Gürtelung« (ung. *derekazás*). Am Rande der Grube stehen Stützsteine (ung. *támaszkő* oder *támasztókő*) aus Mauersteinen, doch wird daneben ein »Damm« (ung. *töltés*) aus Erde und Kalkpulver errichtet, damit



Abb. 25. Das Errichten der Kuppel. Um den aus Erde und Kalkpulver errichteten Damm zu schonen, besteigen die Kalkbrenner die Kuppel nur über den Schragen. Im Vordergrund Werkzeuge und Geräte : Draht- und Weidenkörbe, Spitzhacke, Hacke. (Cserépfalu, Aufnahme des Verfassers)

der Ofen die Wärme besser halte. Das Aufschütten des »Dammes« geschieht mit einer Hacke. Wenn die Erde aufgeworfen ist, so wird sie mit einem Scharrwerkzeug (ung. *kaparó)* niedergedrückt Wegen des Dammes können die Kalkbrenner nur mit einem Schragen die »*Kappe*« (ung. *sipka)* — so wird hier die Kuppel genannt — besteigen, um den oberen Teil des Ofens

[53] Das Wort »Meiler« (ung. *boksa)* ist ein von den Kohlenbrennern übernommener Fachausdruck ; dort bedeutet er den zum Verkohlen zusammengetragenen und mit Erde bedeckten Holzhaufen. Die Einwohner von Répáshuta beschäftigen sich nicht nur mit dem Brennen von Kalk, sondern auch mit dem von Kohle. Die meisten Kalkbrenner befassen sich im Winter mit Kohlenbrennerei und die jüngeren unter ihnen verwechseln oft die Fachausdrücke der beiden miteinander verwandten Beschäftigungen. Die Älteren stellten unzähligemal, selbst in Gegenwart des Verfassers, solche Ungenauigkeiten richtig.

mit Schlacke zu bedecken. Neben dem Damm werden vorne, neben die *futra* je zwei Holzscheite von 1 m Länge, die sogenannten »Staubfänger« gelegt. Ist nicht genug Holz vorhanden, so wird es durch Steine ersetzt. Lajos Lukács *Csetreng*, ein 56jähriger Kalkbrenner erzählte, dass in seiner Kindheit (ca. 1903—04) der Staubfänger rund um den Ofen herumging, aber jetzt wird er nur — infolge Mangels an Holz, wie er meint — vorne angebracht. Derselbe Kalkbrenner erklärte auch, dass zu Zeiten seines Vaters noch keine *viluska* gelegt wurde und dass nur eine einzige Reihe von grösseren Steinen die halbkugelförmige Kuppel des Ofens umgab.

Bükkszentkereszt (slowakisch)

Die Fachausdrücke lauten hier : *kopec* (ung. *sapka*, deutsch : Kappe) für die Kuppel, *dufla* (deutsch : doppelt) für die die Kuppel umgebende erste Steinreihe und *viloška* für die zweite Steinreihe. Die an den Rand der Grube gestellten Stützsteine werden *obloška*, auf ungarisch *futra* genannt. Wie hoch die *obloška*-Reihe zu legen ist, wird so gemessen, dass man sich vor die Öffnung des Ofens stellt und den Arm nach oben ausstreckt (Abb. 26). Die äussere, gelegte Steinbekleidung, die *viloška*, wird nur innerhalb der *obloška* nicht in Reihen gelegt, die äussere Steinschicht der »Kappe«, d. i. der Kuppel, hingegen schön in Reihen. Die Lücken in der *obloška*-Schicht werden mit Mörtel verkittet und ihr unterer Teil wird in einer Breite von 30—40 cm mit Kieselsteinen, Erde und Kalkpulver bedeckt, das aus Körben dorthin geschüttet wird. In Bükkszentkereszt bildete das Umschütten mit Erde immer eine Tradition beim Ofensetzen. Das Aufschütten von Erde um die Seitenwände des Ofens ist auch den Kalkbrennern aus Bélapátfalva bekannt, denn die Kalkbrenner aus diesen zwei Ortschaften hatten oft gemeinsam auf der Hochebene des Bükkgebirges gearbeitet. »Aber wir ahmten sie nicht nach. Je tiefer nämlich die Grube ist, desto schwerer brennt sie. Wird der Ofen mit Erde umschüttet, so ist es genau dasselbe, als ob die Grube tiefer wäre« — sagen die aus Bélapátfalva.

Uppony

Ausserhalb der Kuppel, hier *bub* genannt, befindet sich eine Reihe von Steinen, die *viloska* oder *viloskázás* heisst. Die am Rande der Grube gesetzten Steine heissen *futrakő* oder äusserer Mantel (ung. *külső köpenyeg)*, ihre Höhe beträgt 1 m. Das untere Viertel dieser Schicht wird abgedichtet und die ganze Schicht dann mit Erde bedeckt. Als die Kuppel errichtet war, also »der Ofen fertig war, sagten wir : Gott sei Dank! Sagen wir unserem lieben Herrgott Dank, dass er uns geholfen hat. In Ewigkeit. Amen. Wir sagten dies mit entblösstem Haupt und schlugen über die Steine das Kreuz, wie der Pfarrer, wenn er den Segen erteilt. Dies war unser Stossgebet« — sagte Mihály *Balogh*, ein 71jähriger Kalkbrenner.

Eger

Ausserhalb der Kuppel befindet sich ein grosser innerer Reifen und ein kleiner äusserer Reifen. Die »Nebensteine« werden aus Rhyolith-Tuffsteinen



Abb. 26. In Bükkszentkereszt wird die Höhe der äusseren, isolierenden Steinschicht so gemessen, dass sich ein Kalkbrenner mit erhobenen Händen vor die Öffnung des Ofens stellt. (Aufnahme des Verfassers)

in Viererreihen gelegt. Zur Zeit der Datensammlung des Verfassers waren die Steine bereits stark abgewetzt, sie waren klein und um ihr Herausfallen während des Brennens, wenn der Kalkstein zusammenschrumpft, zu vermeiden, wurden sie mit 3, mit Ästen bewachsenen Baumstämmen gestützt. Das Dach der Kuppel

ist kaum gewölbt, sondern fast flach. »Wir errichten deshalb eine so massive Kuppel, denn sie brennt ohnehin aus, wenn ihre Zeit gekommen ist.«

Auf eine Analyse der beschriebenen Erscheinungen soll später zurückgekommen werden, es soll jetzt nur auf den Umstand hingewiesen werden, dass der ständige Gebrauch der Nebensteine, das Ersetzen des Kalksteines durch Rhyolith-Tuffstein oder durch andere feuerfeste Steine die Produktion rationalisierten ;[54] deshalb konnte auch die Anwendung dieser Methoden bei denjenigen Gruppen beobachtet werden, die in einem erhöhten Tempo produzierten. In Bélapátfalva z. B. setzte ein Unternehmer im Jahre 1935—36 mit Taglöhnern

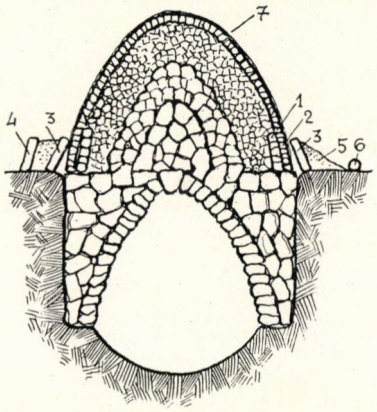


Abb. 27. Senkrechter Schnitt durch den Kalkofen — parallel zur Mündung — mit Bezeichnung der einzelnen Teile der Kuppel

eine betriebsmässige Kalkbrennerei in Gang und auch er wendete diese Methode an. An Stelle von Tuff, den man in der Umgegend von Bélapátfalva nicht findet, verwendete er als Nebensteine gebrannte Tonziegel.

Die verschiedenen Arten des Kuppelbaues :

Bélapátfalva :	*Felsőtárkány :*
buglya	*buglya*
1. *rámolás*	1. *rámolás*
2. *abroncsolás*	2. *abroncsolás*
3. *mejjék kövek, támaszkövek* (aus Kalkstein)	3. *mejjékkövek*, bei den Jüngeren : *támaszkő* (aus Rhyolith-Tuff)
4—6. —	4—6. —
7. *szinelés, siflázás*	7. *szinelés*

[54] Rhyolith-Tuffstein ist dauerhafter als der Kalkstein. Die aus Rhyolith-Tuff errichtete äussere Schutzverkleidung kann — da sie aus gleichförmigen Steinen von regelmässiger Gestalt besteht — nach dem Abbrechen des Ofens öfters genauso wieder aufgebaut werden. Wenn die Schutzverkleidung aus Kalkstein gelegt wird, muss sie nach jedem Brennen ausgewechselt werden, indem man die entsprechenden Steine aussucht und sie auf die gewünschte Form behaut. Der Kalkstein beansprucht also weit mehr Arbeitszeit als der Rhyolith-Tuff.

Répáshuta (slowakisch) :

boglya
1. —
2. *viloška*, ung. *viluska*
3. *obloška* (aus Kalkstein)
4. *obsipka* (aus Kalkstein)
5—7. —

Cserépfalu :

sipka
1. *nagyviluska, derekazás*
2. *viluska*
3. *támasztó, támaszkő*
4. —
5. *tőtés, por*
6. *porfogó*
7. *salak*

Bükkszentkereszt (slowakisch) :

kopec, ung. *boglya, sipka*
1. *dufla*
2. *viloška*
3. *obloška*
(aus Kalkstein)
4—7. —

Uppony :

bub
1. —
2. *viloska*
3. *futra kő, külső köpenyeg*
4—7. —

Eger :

boglya
1. *belső, nagy abroncs*
2. *külső, kis abroncs*
3. *mellék kövek* (aus Tuffstein)
4—7. —

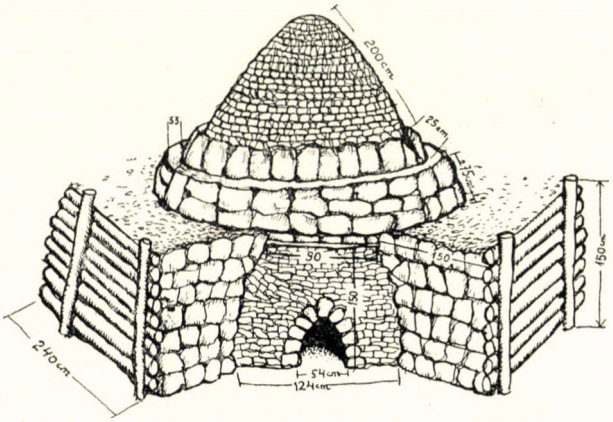


Abb. 28. Fertig gesetzter, aber nocht nicht abgedichteter Kalkofen. (Répáshuta)

Das Abdichten (Verputzen) des Ofens

Mit der Errichtung der Kuppel ist das Setzen des Ofens beendet, es bleibt nur noch das Abdichten übrig. Die Kuppel sowie der vordere Teil des Ofens — neben und über der Ofenöffnung — wird deshalb abgedichtet, damit

er die Wärme nach dem Anheizen besser halte. Der vordere Teil wird vor dem Anheizen im allgemeinen mit Mörtel verputzt. Nach dem Abbrennen jeden Ofens bleibt Kalkpulver zurück, aus diesem wird Mörtel bereitet. Der Mörtel wird in einen kleinen Korb getan und mit einer kleinen Holzschaufel oder nur mit der blossen Hand auf den vorderen Teil des Ofens gestrichen. Es ist sehr wichtig, dass das Verputzen sorgfältig ausgeführt werde, denn wenn im Verputz am vorderen Teil des Ofens auch nur eine kleine Ritze bleibt, so brennt nicht die ganze Steinmenge durch. In Bélapátfalva taten die Alten auch noch gestampfte Fladen (ung. *taposott lángos)* auf den vorderen Teil des Ofens — ausführliche Beschreibung siehe weiter unten. Der Ofen brannte aber oft nicht gut durch, denn sein vorderer Teil bekam Luft. Die Kalkbrenner wussten nicht, warum der Ofen schlecht brenne, und stellten oft das Heizen ein und setzten den Ofen von neuem. Jetzt wird es bereits anders gemacht : es werden kleine, mit Mörtel bestrichene Steine auf den vorderen Teil des Ofens gelegt und danach noch separat verputzt. »Wir kamen auf die Ursache drauf! Der Fladen fiel herunter oder lockerte sich und das Feuer zog sich dann nach hinten zurück. Mein Bruder Karl (der Meister) sagte : Warte mal, von nun an wollen wir kleine Steine zum Abdichten nehmen! Und von da an verliess das Feuer auch nicht mehr den vorderen Teil des Ofens.« (Aussage des 66jährigen Kalkbrenners János *Mező Hendrik* aus Bélapátfalva). Dies geschah um das Jahr 1922—23, doch gibt es in Bélapátfalva auch heute noch Kalkbrenner, die nach der alten Methode abdichten, denn in den meisten Fällen verheimlichen die Kalkbrenner ihre Neuerungen voreinander.

Es sind zwei Arten der Abdichtung der Kuppel bekannt :
a) Die Abdichtung mit Hilfe von Fladen und
b) die völlige Abdichtung.

a) In Bélapátfalva wird zur Abdichtung mittels Fladen Erde zusammengeschaufelt und ein Haufen gemacht. Die Erde wird mit Wasser begossen und mit den Füssen fein gestampft, so wie es die Ziegelschläger zu tun pflegen. Die fein gestampfte Erde wird dann in Körben zur Kuppel hinaufgetragen. Jede Kalkbrennergruppe besitzt eine langstielige, breitköpfige Holzschaufel von 150—200 cm Länge,[55] diese Schaufel wird auf die Erde gelegt, Asche und Kalkpulver daraufgestreut, zwei Handvoll Kot daraufgeworfen und zu einem Fladen gestampft. Auch obenauf wird Asche gestreut. Die Fladen werden dann, soweit man reicht, mit der Hand auf die Kuppel gelegt, weiter oben mit der Schaufel. Wenn das Abdichten beendet ist, bedecken die Fladen die ganze Kuppel, es bleiben nur kleine Ritzen zwischen ihnen. Oberhalb der Stützsteine (ung. *mellékkövek*) wird ein Streifen von ½ *sukk* Breite, die sogenannte »Krempe« (ung. *karima*) frei gelassen. Dieser Streifen wird erst dann verputzt,

[55] Mit Ausnahme von Bükkszentkereszt, Cserépfalu und Uppony.

wenn das Feuer bereits seit 24 Stunden im Ofen brennt und wenn die Kalkbrenner sehen, dass der Speichel »zischt«, wenn sie auf den Stein spucken. Auch oberhalb der Ofenöffnung pflegt man erst dann abzudichten, wenn der Stein sich etwas erhitzt hat, was nach 12stündiger Feuerung der Fall zu sein pflegt. Die zwischen den Stützsteinen befindlichen Ritzen, in Bélapátfalva *közi* genannt, werden nur mit der Hand verputzt.

Nach István *Berecz Bagi*, einem 79jährigen Kalkbrenner aus Bélapátfalva, entstand die hier beschriebene Abdichtungsmethode im Jahre 1895. Vor diesem Zeitpunkt wurden »mit Laub bedeckte grüne Zweige und dürre Blätter auf die Kuppel gelegt« und darauf die Fladen. Die Alten dachten damals, dass dies notwendig sei, weil sonst der Kot an den Steinen haften bleiben würde. Aber, »wir probierten es und es gelang«. So gab es denn bei der neueren Methode weniger Arbeit, man musste sich nicht mit dem dürren Laub herumplagen. Um die Jahrhundertwende wurde in Felsőtárkány neben der neuen Bélapátfalvaer Verputzmethode auch noch die alte angewendet. In Cserépfalu wird keine Schaufel benützt, »die Fladen werden mit der Hand breitgeschlagen und so auf die Kuppel gelegt«, wobei eine Leiter an die Kuppel gelehnt wird. In Répáshuta, Cserépfalu und Felsőtárkány wurde vor 50—60 Jahren neben dieser auch noch eine andere Abdichtungsmethode, das völlige Abdichten rund um den ganzen Ofen herum, angewendet, wovon später die Rede sein soll. Dies geschah, wenn es in der Nähe kein Wasser gab oder wenn man sich mit der Arbeit beeilen musste und keine Zeit war, sich mit den Fladen, in Cserépfalu auch »Pogatschen« (ung. *pogácsa*) abzuplagen. In Répáshuta wurden die Pogatschen (hier *bogács* genannt) nicht nur aus Erde, sondern auch aus Kalkpulver hergestellt. Hier wird der obere Teil der Kuppel und der Teil oberhalb der Ofenöffnung erst nach 2—3 Stunden nach dem Anheizen abgedichtet, damit der Stein zuerst ausdunste.

b) Bei völliger Abdichtung wird der halbkugelförmige Teil des Ofens mit Heu, Stroh oder dürrem Laub bestreut. Danach wird Kalkverputzmörtel bereitet, indem das Kalkpulver so lange mit einer Hacke bearbeitet wird, bis Mörtel daraus entsteht, dann wird es in einen Korb getan, zum Ofen hinaufgetragen, auf die Kuppel geschüttet und mit einer kleinen Holzschaufel glattgestrichen, »auseinandergezogen« (ung. *széjjelhuzigálják)*. In Uppony wird die rückwärtige Seite der Stützsteine bis zum Anheizen nicht abgedichtet und auch nicht mit Erde bedeckt, sondern nur die beiden Seiten, damit der Ofen beim Anheizen »einen guten Zug habe«. Der Verputz trocknet in einem Tage und dann wird auch der rückwärtige Teil beendet. In Bükkszentkereszt ist auch das Abdichten mit Pogatschen (hier *begacik* genannt) bekannt und es wird auch überall verwendet, wo es Wasser gibt.

Die Meinung über die zwei Verputzmethoden ist im allgemeinen die, dass die völlige Abdichtung leichter, mit weniger Arbeit verbunden und reiner ist, dass die Verkleidung weiss ausbrennt und den Kalk nicht so verschmutzt,

wie die Fladen, die beim Ausbrennen eine rote Farbe erhalten. Das Abdichten mit Fladen weist hingegen den Vorteil auf, dass »beim Heizen die Flamme besser hervorkommt«. Die völlige Abdichtung bekommt demgegenüber Sprünge, »splittert ab«. Der Auskunftgeber zieht aber trotzdem letztere Methode vor, weil »man bei dieser nicht stampfen muss«. Laut Angaben des 65jährigen Kalkbrenners Gáspár *Pintér* aus Bükkszentkereszt, verwendeten die Alten nie Mörtel zum Abdichten des Ofens, sie machten nur Pogatschen; doch sei schon in seiner Kindheit (1882—1890) die völlige Abdichtung bekannt gewesen.

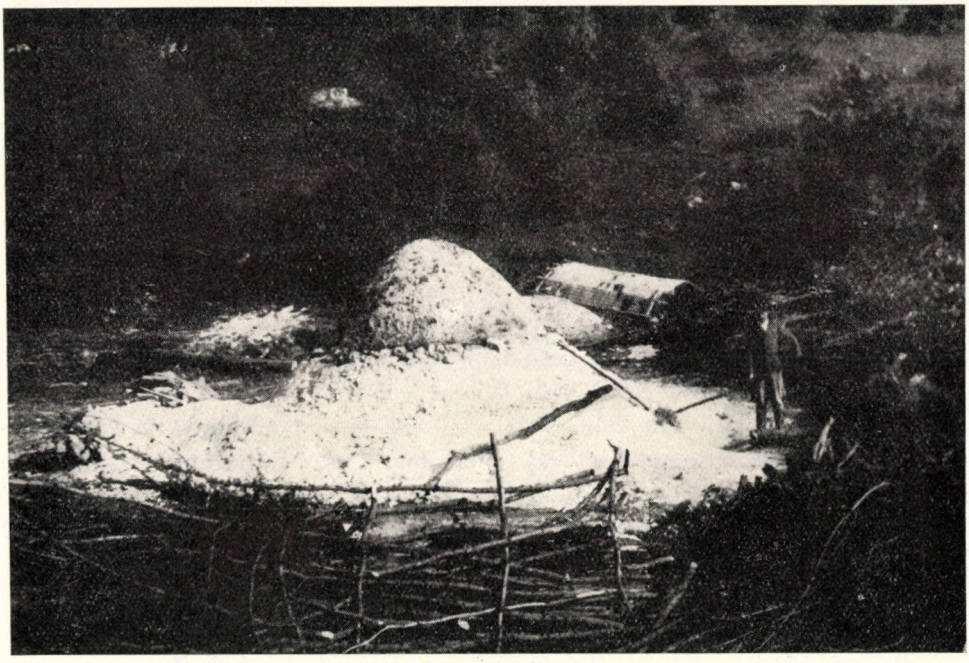


Abb. 29. Vollkommen abgedichteter Ofen während des Feuerns. (Bükkszentkereszt, Aufnahme des Verfassers)

In Bélapátfalva ist eine Kalkbrennergruppe mit 2 Eisenkeulen, 1 Spaltkeil, 3—4 Legehämmern, 2 grossen Holzschaufeln zum Abdichten, 4 kleinen Schaufeln und 2—3 flachen Hacken ausgerüstet.

4. Die Beschaffung und Beförderung des Holzes

Den zweiten wichtigen Rohstoff des Kalkbrennens, das Holz, beginnt man schon während des Ofensetzens zu fällen und zum Ofen zu transportieren. Der grössere Teil der Arbeit fällt jedoch in den Zeitraum zwischen der Beendigung des Ofensetzens und dem Anheizen, bzw. in die Zeit des Feuerns.

Kalkbrenner Orte	Abdichtung mit Fladen		Völlige Abdichtung
	»lángos«	»pogácsa«, »bogács«	
Bélapátfalva	+		
Felsőtárkány	+		(+)
Répáshuta		+	(+)
Bükkszentkereszt		+	⊕
Cserépfalu		+	(+)
Uppony			+
Eger	+		

Abb. 30. Arten der Abdichtung. (○ = Überwiegende [wenn zwei Arten sind, übliche] ( ) = nur in Volksüberlieferung)

Die Möglichkeiten der Beschaffung

Heutzutage wird das Holz entweder aus den Forsten der Kompossessorate oder aus den staatlichen Waldungen beschafft. Aus den Kompossessoraten wird das Holz zum festgesetzten Tagespreis durch die Gemeindevorsteher zugewiesen. In Felsőtárkány werden einem Kalkbrenner, falls er darum ansucht, monatlich 52 Kubikmeter Holz zugeteilt. Aus den staatlichen Wäldern werden nur Holzabfälle, vom Wind gestürzte Bäume, auf der Erde liegendes trockenes und morsches Holz, das beim Reinigen des Waldes, beim »Putzen« (ung. *pucolás*) übrigbleibt, zugewiesen.[56] In Bélapátfalva bekommen die Kalkbrenner nur an sogenannten »grubenartigen, unebenen Stellen« (ung. *gödrös hely)* Holz, von wo dieses Holz nicht mit dem Wagen abtransportiert werden kann. Zahlen muss man für dieses Holz nicht, der Kalkbrennerei-Besitzer erhält das Raffholz, das sogenannte Dornenholz (ung. *tövisk)*, weil er den Wald reinigen lässt. Auf der Hochebene des Bükkgebirges bestimmt der Leiter des betreffenden Schutzgebiets des Nationalen Unternehmens für Waldwirtschaft die Stellen, wo eine Reinigung vonnöten ist und das Holz wird unter der Aufsicht der Förster abtransportiert. Die Kalkbrenner bezahlen auch hier nichts, hier sind sie allerdings nicht mehr die Angestellten einzelner Kapitalisten, sondern Arbeiter des Nationalen Unternehmens. Vor der Befreiung (1945) wurde in den herrschaftlichen Wäldern mit »freiem Holz« geheizt : das Holz wurde ofenweise bezahlt, unabhängig davon, ob mehr oder weniger verbraucht wurde. Die Kalkbrenner bekamen von den Gutsbesitzern stets nur solches Holz zugewiesen, das die Domänen

[56] Vgl. *Torday*, 1948. S. 25.

wegen seiner entlegenen Lage nicht abtransportieren oder aber aus anderen Gründen nicht verwerten konnten. So kauften z. B. nach dem Fällen von Klafterholz die Kalkbrenner die Baumstrünke und die Kohlenbrenner die Baumkronen. Die Gewinnung der Baumstrünke (ihre Entfernung aus dem Boden) war immer Sache der Kalkbrenner.

Holzarten

Zum Feuern ist jede Holzart geeignet. Die am häufigsten verwendeten Holzarten sind : die Buche, die Zerreiche, die Eiche, die Weissbuche, die Kiefer, der Hagedorn, der Kornelbaum, die Pappel »und alle Sorten«. Wird mit Weichholz geheizt, so bedarf es einer grösseren Menge, denn das Hartholz gibt ein stärkeres Feuer. Beim Verbrennen von »unbehauenem Buchenholz wird der Kalk am reinsten, am weissesten«, aber auch die Kiefer »gibt schönen Kalk«, sowie auch die Pappel. Die Eiche und Zerreiche gibt bräunlichen Kalk, »er wird nicht so rein«.

Das Holzfällen

Gewöhnlich wird das Holz von den Kalkbrennern selbst gewonnen. Nur in Felsőtárkány beschäftigen sich speziell diese Arbeit verrichtende Holzleser damit. Die Aufgabe des Holzlesers ist es, die Bäume zu fällen, sie zusammenzutragen und den Fuhrmännern beim Aufladen auf den Wagen zu helfen. Es gibt Holzleser, die für einen Taglohn von 25 Forint arbeiten, andere, die pro Fuhre bezahlt werden (25 Forint für eine Fuhre, wobei sie täglich eine, eventuell zwei Fuhren beladen können), und schliesslich auch solche, die pro Zentner entlohnt werden. Die Holzleser bekommen für einen Baumstrunk mit Wurzeln 6 Forint je Zentner, denn der Baumstrunk muss ausgehackt und ausgegraben werden. Für Raffholz erhalten sie 2,50 Forint je Zentner.

Im allgemeinen werden die dickeren Baumstämme abgesägt, die dünneren mit der Axt gefällt. Die Säge kam in Bélapátfalva vor 75—80 Jahren in Gebrauch. Vor diesem Zeitpunkt wurden auch die grössten Bäume mit der Axt gefällt. Es gab kleine und grosse Äxte. Eine Angabe aus Répáshuta besagt, dass jede Axt zwei Stiele hatte : einen von 1 m Länge und einen von 4 *sukk* Länge. Der Baumstrunk muss aus dem Boden ausgegraben werden, dann wird mit der Axt, mit Holzlatten und Eisenbändern und Holzkeulen (ung. *fabankó*) soviel abgespaltet, dass er durch die Ofenöffnung gehe. In Uppony wird in den Baumstrunk ein Loch gebohrt, dieses mit Dynamit gefüllt und der Strunk gesprengt. Auf der Hochebene des Bükkgebirges werden die mächtigen Baumstämme von Ochsen zur Grube gezogen und dort mit einer Zugsäge zersägt. Beim Sägen wird ein Knüttel unter den Stamm gesteckt, damit »die Säge leichter gehe und sich nicht einklemme«. Aus demselben Grunde pflegt man auch Holzkeile in den von der Säge gemachten Schnitt zu stecken. Die dicken

Baumstämme werden zu zweieinhalb Meter langen Stücken zersägt, die dicksten werden mit dem Beil, mit Holz- und Eisenkeilen in zwei, eventuell in vier Teile gespalten.

Die Beförderung des Holzes

Zur Zeit der Datensammlung des Verfassers transportierten die Kalkbrenner im ganzen Bükkgebirge das Holz auf Fuhrwerken. In Bélapátfalva wurden zum Holztransport Wagen von 9 *sukk* verwendet, wobei sich dieses Mass auf die Seite des Wagens bezieht. Das Holz wird hauptsächlich auf Ochsenfuhrwerken transportiert, denn die Fuhre besteht zum grössten Teil aus langen belaubten Zweigen und Ästen und diese würden das Pferdegeschirr zerreissen. Die Baumstrünke werden einfach auf den Wagen geladen, die belaubten Äste hingegen auch noch mit zwei Ketten befestigt.

Auf der Hochebene des Bükkgebirges sägen die Kalkbrenner aus Répáshuta die grossen, umgefallenen Bäume zuerst an der Wurzel ab, dann entlauben

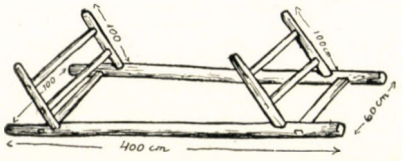


Abb. 31. Versuch einer zeichnerischen Rekonstruktion des beim Holztransport verwendeten Schlittens (ung. *csúszó)*. (Répáshuta)

sie sie und binden sie an den Vorderteil des Wagens »an eine Kette«. Manchmal wird in das Ende des Baumstammes ein Eisenkeil geschlagen und die Kette an diesem befestigt, oder aber wird die Kette einfach um das Ende des Baumstammes geschlungen. Die belaubten Äste werden später in einem Wagen abtransportiert.

Zu Anfang dieses Jahrhunderts wurde noch allgemein der Schlitten (ung. *szánkó)* benützt, in Répáshuta und Bélapátfalva kam er erst in der letzten Zeit ausser Gebrauch. Mit diesen schlittenartigen Transportmitteln, wie *szánkó* und *csuszó* beförderte man nicht nur Steine, sondern auch das Holz. Nach einer Angabe aus Bélapátfalva wurden die zum Holztransport bestimmten Schlitten mit zwei Wagenbalken (ung. *rakonca)* versehen (Abb. 31).[57]

Wenn der Kalkbrenner selbst ein Fuhrwerk besitzt, so befördert er das Holz selbst, hat er keins, so ist er gezwungen, Fuhrleute, Holzträger (ung. *fahordót)* zu dingen. In Felsőtárkány werden Äste und Zweige von nahgelegenen Stellen für 30 Forint zum Ofen gebracht. Für trockenes Holz aus ungefähr 35 km Entfernung wird 5 Forint je Zentner gezahlt, für Baumstrünke

[57] Über beide siehe unter »Der Transport des Steines«.

3—3,5 Forint je Zentner. Zu einem grösseren Ofen werden 30—50 Kubikmeter Holz benötigt. Wenn es regnet, wenn starker Wind weht oder wenn das Holz morsch ist, braucht man eine grössere Menge.

Versuche mit Steinkohlenfeuerung

In Felsőtárkány, Bélapátfalva, Cserépfalu, Uppony und Eger wurden teils infolge des grossen Holzmangels, teils zur Befriedigung der grossen Nachfrage auch mit Steinkohlenfeuerung Versuche angestellt. Um mit Steinkohle heizen zu können, musste die Grube umgebaut und der Feuerraum mit einem Eisenrost versehen werden, doch bewährte sich die neue Methode nicht. »Sie brachte den Kalk nicht gut heraus, liess viel Steine drin und die Leute in der Stadt beklagten sich, dass der Kalk 'breiartig' sei, nicht so, wie der mit Holz gebrannte.« (Eger.) Man liess auch überall von dieser Methode ab. Damals wurde dann zum Heizen mit Laubholz übergegangen (1940—42).

5. Das Reinigen des Ofens

Die traditionelle Methode

Vor dem Anheizen wird der Ofen stets von den Kalkbrennern gereinigt. Das nach dem Herausnehmen des gebrannten Kalkes vom vorigen Ofen übrigbleibende Kalkpulver, sowie die nach dem Feuer verbliebene Asche, Holzkohle und angerösteten Teile werden hierbei entfernt. Diese Reste werden mit einer Hacke oder einer Eisenschaufel in Körbe getan und durch die Ofenmündung hinausgereicht, wo ein Mann das Ganze zu einem Haufen zusammenträgt. Der Name dieses Haufens ist im allgemeinen *háldán*, *haldány*, in Cserépfalu *csomó*, in Uppony *szénhely*. Die grösseren Holzkohlenstücke — wenn überhaupt Holzkohle am Boden des Feuerraumes übriggeblieben war — werden ausgewählt und dem Dorfschmied gegeben, der dafür meistens zwei Liter Wein bringt oder als Gegenleistung die Geräte und Werkzeuge ausbessert, sie schärft oder unter Umständen auch neue anfertigt. In Bükkszentkereszt wird das am Boden des Ofens verbliebene Kalkpulver unentgeltlich unter die Dorfbewohner verteilt, die es beim Bauen zwischen die Steine stopfen. »Es hält die Mauer besser als die Erde.« In Bélapátfalva gab einmal ein Käufer für zwei bis drei Fuhren Kalkpulver acht Liter Wein.

Die differenzierte Methode

In Felsőtárkány hat sich die Reinigung des Ofens zu einer selbständigen Teilarbeit entwickelt. Diese Arbeit wird hier nicht mehr von den Kalkbrennern verrichtet, sondern von »Ofenputzern« (ung. *kemencepuccolók)*, die sich aus Arbeitern, die aus anderen Dörfern zugewandert sind, und aus Zigeunern rek-

rutieren. Unter den 3—4 Ofenputzern gibt es solche, die sich nur mit dieser Arbeit beschäftigen, und solche, die sich nur bei Gelegenheiten dazu verdingen. Der Ofenputzer arbeitet entweder allein oder zusammen mit seiner Frau, eventuell verbindet er sich mit einem anderen Arbeiter. Es gibt unter den Ofenputzern auch heimatlose Junggesellen, die vom Frühjahr bis zum Herbst im Freien, neben den Öfen übernachten.

Wenn das Feuer im Ofen zu glimmender Asche abgebrannt ist, so wird es nach Ablauf eines halben Tages erstickt. Es wird trockene Erde auf die Glut



Abb. 32. Die Frau des Ofenputzers zieht die Holzkohle von der Öffnung des Ofens in einem Waschtrog fort und entleert ihn auf die Schutthalde, die in der linken Ecke des Bildes sichtbar ist. (Felsőtárkány, Aufnahme des Verfassers)

geworfen, da sich der Dunst von nasser Erde auf den Kalk setzen und ihn schwächen würde, dann steigt der Ofenputzer in den Ofen und wirft die Feuerreste mit einer Schaufel auseinander. Die Kohle brennt noch lange unter der Erde, sie ist noch tagelang heiss und glühend. Das Abdecken des Feuers mit Erde ist die Aufgabe der Kalkbrenner. Wenn der Kalk aus dem Ofen herausgenommen ist, so nimmt der Ofenputzer noch vor der nächsten Beschickung das Kalkpulver und die Schlacke der Steine heraus und bringt sie in einer Kiste (ung. *furik)* oder in einem schlechten Waschtrog, der an einer Leine gezogen wird, zum Abfallhaufen (ung. *háldány)*. Danach erneuert er die beim Ersticken

des Feuers verwendete Erde und erstickt das glimmende Feuer von neuem. Dieses sorgfältige Ersticken des Feuers, das woanders unbekannt ist, erfolgt — wie später gezeigt wird — im Interesse der Qualität und Quantität der aus dem Ofen entnehmbaren Holzkohle. Danach wartet der Ofenputzer, bis die Kalkbrenner beim Setzen des Ofens bei der Errichtung der Ofenöffnung halten. Von diesem Zeitpunkt an kann er solange putzen, bis die Reifenschicht gelegt ist. Jetzt beginnt er dann mit der eigentlichen Reinigung. Wenn die Arbeit dringend ist, so muss er damit beim Morgengrauen beginnen, wenn nicht, so hat er auch Zeit zu warten, bis es Tag ist. Die Reinigung geht nämlich mit einer derartigen Staubentwicklung vor sich, dass die Kalkbrenner sich während dieser Zeit nicht mit dem Setzen des Ofens beschäftigen wollen. Deshalb arbeitet der Ofenputzer bei Tag meistens während der Mittagspause.

Zuerst lädt der Ofenputzer die warme Erde auf die Schaufel und reicht sie durch die Ofenöffnung hinaus. Sie wird dann entweder von ihm selbst oder aber von seinem Gefährten mit Körben zum Schutthaufen (ung. *háldány)* getragen. Er wirft dann mit der Schaufel die unter der Erde erstickte Holzkohle vor die Ofenöffnung und sortiert sie entweder sofort, oder aber befördert er sie in der Kiste oder im Waschtrog zum Schutthaufen und sortiert sie dort. Er sondert die grösseren Stücke von den kleineren und vom Kohlenstaub, eventuell benüzt er dazu auch einen Sieb. Die beiden Ersteren werden in Säcke gefüllt und mit einer Kiste (ung. *furik*) oder einem Wägelchen (ung. *szekerkó*)[58] nach Hause gefahren.

Der beim Reinigen des Ofens gewonnene Kohlenstaub und das Kalkpulver bilden das Eigentum des Ofenputzers. Den besten Teil des Kalkpulvers, in dem sich weder Steine noch Schlacke befinden, schüttet er auf einen gesonderten Haufen und verkauft dieses Pulver für 20—30 Forint je Fuhre. Den Rest trägt er auf den Schutthaufen, dort kann sich jeder soviel aussieben und mitnehmen, wie er will. Der Kohlenstaub und das Kalkpulver werden vermischt beim Bauen verwendet, damit wird der Boden unter dem Fussbodenbelag aufgeschüttet, denn dieses Material »verträgt das Ungeziefer nicht«. — Auch die Holzkohle kann gut verwertet werden. Die grösseren Stücke bringt der Ofenputzer im Winter auf einem Wägelchen oder auf seinem Rücken in einem Sack nach Eger und verkauft dort die Holzkohle als Bügelkohle. »Wo man diese Kohle kennt, wird sie bevorzugt, denn sie ist besser als die normal gebrannte Holzkohle : sie entwickelt nämlich keine Gase.« Die kleineren Holzkohlenstücke kann der Ofenputzer sofort verwerten : er verkauft sie an den Dorfschmied. Aus einem Ofen können bis zu 8—10 Säcke Holzkohle gewonnen werden, die schönen grossen Stücke werden für 15 Forint je Sack und die kleineren für 5 Forint verkauft. Der übriggebliebene Kohlenstaub kommt auf die Schutthalde.

[58] Kleiner, zweiräderiger mit vier Seitenwänden aus Brettern versehener Wagen, der mit der Hand gezogen wird (Abb. 33).

Auch für diesen finden sich noch Käufer, denn die Weinbauern betten den Pfröpfling beim Pfropfen in Kohlenstaub.

Das Reinigen eines Ofens übernimmt der Ofenputzer im allgemeinen für 30—40 Forint.



Abb. 33. Ofenputzer befördern die Holzkohle auf Wägelchen heim. Zuoberst auf dem Wägelchen die Geräte zum Reinigen des Ofens. (Felsőtárkány, Aufnahme des Verfassers)

6. Das Anheizen

Die bisher behandelten Teile des Arbeitsganges können in beliebig langer oder kurzer Zeit und in beliebigem Tempo ausgeführt werden. Die jetzt folgenden Arbeitsphasen sind aber in der marxistischen Terminologie als »kritische Momente« oder »durch die Natur des Arbeitsprozesses bestimmte Zeitabschnitte, während welcher bestimmte Arbeitsresultate erzielt werden müssen« bekannt.[59] Das Feuern hat — der Qualität der Steine und der Grösse des Ofens entsprechend — überall zu einem bestimmten Zeitpunkt zu geschehen. Wenn der Ofen ausgebrannt ist, so muss der Kalk innerhalb möglichst kurzer Zeit an einen trockenen Platz gebracht, verkauft und abtransportiert werden. Deshalb wird der wirtschaftliche Leiter des Kalkbrennens, der »Besitzer« nur dann den Ofen anheizen lassen, wenn die gesamte zu erwartende Kalkmenge, oder zumin-

[59] *Marx*, 1948, Bd. I, S. 354 bzw. *Marx*, 1947, S. 343.

dest ihr grösster Teil, schon verkauft ist. Die betreffenden Einzelheiten sollen hier bei der Behandlung der Art und Weise der Verwertung beschrieben werden. Jetzt sei nur erwähnt, dass wenn der Besitzer sich verrechnet hatte und niemand kam, um den Kalk abzuholen, er von den Kalkbrennern tüchtig verprügelt wurde.

Der Akt des Anheizens

In Bélapátfalva heizt der Arbeitsleiter, der Meister den Ofen an. Er steigt durch die Ofenöffnung ein und legt zwei gerade, von Zweigen und Laub befreite Äste so übers Kreuz auf den Boden des Feuerraumes, dass unter ihnen ein freier Platz bleibt. Das Ende dieser Äste ruht unter dem Ofenloch, bzw. am rückwärtigen Teil des Ofens. Auf diese zwei Äste legt er 1—1,5 Kubikmeter Holz, darunter dürres Laub und Gras und zündet das Ganze mit einem Zündholz an. In Cserépfalu wird das Holz in der Form eines Käfigs (ung. *kajitkára)* geschlichtet und auch hier, wie oben, mit Stroh, Heu oder trockenem Laub in Brand gesetzt. In Uppony wird mit derselben Menge Holz, wie in Bélapátfalva gebräuchlich, ein »Haufen« (ung. *mile)*[60] im Feuerraum gelegt, darunter Stroh oder trockener Wacholder getan und mit einem Zündholz und Papier angezündet.

In Bélapátfalva schlug noch in den dreissiger Jahren derjenige, der aus dem Ofen herauskroch, ein Kreuz über den Ofen und sagte : »Das Feuer brenne dich, der Wagen hole dich, der Herr gebe Geld!« In Répáshuta pflegt man beim Anheizen des Ofens zu sagen : »Verbrenne!« In Uppony stiess der Katholik nach dem Anheizen folgendes Stossgebet aus : »Mein lieber, guter Gott, hilf mir!«

Die Arten des Anheizens

Es ist wohl überflüssig auf die wichtige Rolle hinzuweisen, die das Anzünden beim Kalkbrennen spielt. Dieser ist es zuzuschreiben, dass in der Tradition noch einige primitive Arten des Feuermachens weiterleben. Heutzutage wird mit drei Ausnahmen das Feuer überall mit Zündhölzern entzündet. Diese Ausnahmen sind :

1. In Felsőtárkány lässt der Ofenputzer meistens in der Mitte des Feuerraumes etwas Glut und beim Anheizen werden auf diese Glut dürre Äste gelegt.

2. Auf der Hochebene des Bükkgebirges holen die Kalkbrenner — wenn die Öfen nahe beieinander sind und sie sehen, dass einer der benachbarten Öfen raucht — auch heute noch das Feuer vom brennenden Ofen herüber.

3. Zur Zeit der Datensammlung des Verfassers hielten die auf der Hochebene des Bükkgebirges arbeitenden Kalkbrenner aus Répáshuta ein »Kristallglas«, wie sie es nannten, d. i. ein Vergrösserungsglas in die Sonne und zündeten damit einen Feuerschwamm an.

[60] Im Bükkgebirge wird der Kohlenmeiler allgemein *mile* genannt. In der Kalkbrennerei ist das augenscheinlich ein aus der Kohlenbrennerei übernommenes Fachwort.

Vor der Verbreitung des Zündholzes (um 1890) bestand das Zündgerät aus Stahl, Stein und Feuerschwamm. Unter den Steinen ist hiezu der Kieselstein (ung. *békasó-kő)*[61] geeignet, unter den Schwämmen der Buchenzunder und der sogenannte *subatapló* (was wörtlich ins Deutsche übersetzt bedeutet: Zunder, dessen Gestalt der Form des Schafmantels der Hirten ähnlich sieht). Manche behaupten, dass der Schafeuter nicht gut war, denn er habe gestunken. Als bester Feuerschwamm wird derjenige angesehen, der in 100—150jährigen mächtigen Baumstämmen wächst, und der *vakgancs* genannt wird. Als diese grossen Baumstämme auseinandergespalten wurden, weil sie sonst nicht durch die Ofenöffnung gegangen wären, fiel armdicker Feuerschwamm heraus. Dieser musste nicht einmal ausgekocht werden, er wurde nur auf den Firstbaum der Hütte gelegt, dort trocknete er eine Nacht und schon brannte er. Mit Stahl, Feuerstein oder Kieselstein wurde Feuer geschlagen, vom Baum geschältes, trockenes Moos wurde zum Funken gehalten und hin- und hergeschwungen. — Es lebt auch noch die Erinnerung an das Feuermachen durch Reiben. Kiefern- und Haselnussholz (Bélapátfalva) oder Lindenholz (Répáshuta) wurden aneinander gerieben. »Dann ging es gut, wenn jenes Holz, an welches das andere gerieben wurde, schwerer war. Man setzte sich auf einen Baumklotz, legte das eine Holz unter sich, nahm das andere in beide Hände und rieb es so lange an das erste, bis es Feuer fing.« (Aussage des 66jährigen Kalkbrenners János *Mező Hendrik* aus Bélapátfalva.) Der 89jährige Kalkbrenner István *Balogh*, gleichfalls aus Bélapátfalva, erzeugte noch selber, als er 40 Jahre alt war, Feuer durch Reiben — es hatte damals gerade niemand ein Feuerzeug bei sich. »Mehr als zwei Stunden hat es gedauert«, sagte er. — Schliesslich ist in Bélapátfalva noch eine andere Art des Feuermachens bekannt. Auf ein Stück Kalk von der Grösse eines Apfels wurde Wasser gegossen, »doch nicht soviel, dass eine Pfütze entstand« und das daraufgelegte dürre Laub fing Feuer.

Doppeltes Anheizen

In Felsőtárkány führte das Knallen der Steine zu einer Verdoppelung des Anheizens. Wie schon früher bemerkt, verursacht der Knallstein in einzelnen Fällen das Einbrechen oder das In-die-Luft-Sprengen des Ofens. Obwohl dies nicht immer der Fall sein muss, so gibt so ein Ofen doch sehr viele Kalkstücke von kleinem Ausmass (was beim Verwerten ein schlechter Punkt ist). Hingegen ist dieser Kalk schärfer als der andere. Wird der Ofen aus Knallstein gesetzt, so ist es fraglich, ob er ausbrennen wird. Am Anfang der dreissiger Jahre musste das Feuern einmal wegen Holzmangels eingestellt werden und beim zweiten Anheizen bemerkte man, dass der Stein nunmehr nicht mehr knalle. Auf diese Weise kam man darauf, dass mit einer Wagenladung Holz »eine Vorzündung

[61] Im Wasserlauf glattgeschliffener, silikatischer Kieselstein.

gegeben werden müsse, denn dadurch härte sich der Stein«. Diese Entdeckung machten sich natürlich in kurzer Zeit sämtliche Kalkbrenner im Dorfe zunutze, weil das Brennen so zuverlässiger und erfolgreicher durchgeführt werden konnte. Wenn der Stein aus dem Steinbruch bei Estrángom gebracht und der Ofen aus diesen Steinen gesetzt wurde, wurde in jedem Falle die Vorheizung angewendet. Dabei wird zum Anheizen nur der vordere Teil des Ofens abgedichtet, oft ist nicht einmal der obere Teil der Kuppel fertig. Einen Tag lang wird geheizt, sodann wird das Feuer ausgelöscht — binnen einer Stunde erlischt es — und erst dann wird der Ofen mit Fladen bedeckt, denn offen kühlt der Ofen rascher ab. Während 12 Stunden lässt man ihn auskühlen und dann wird wieder angeheizt.

7. *Das Feuern*

Bis der Ofen in Brand gerät

In der ersten Nacht nach dem Anheizen wird nur mit grossen Holzscheiten gefeuert, besonders wenn die Grube neu ist. Abends wird der Ofen gefüllt und »bis zum Morgen sehen die Kalkbrenner nicht nach dem Feuer«. Deshalb muss der Ofen zuerst mit grossen Holzstücken geheizt werden, »damit der Ofen in Hitze gerät« *(hiccbe kell hozni a kemencét)*, damit er die nötige Temperatur erreicht. Das kleine Holz gibt viel Glut und wenn damit stark geheizt wird, so fängt der Stein plötzlich zu glühen an und rutscht zusammen, der Ofen stürzt ein. Der Kalkstein besitzt nämlich die Eigenschaft, dass die Steine aufeinander zu rutschen anfangen, wenn sie erhitzt werden. Es kann auch vorkommen, dass sich zuviel Brennstoff anhäuft (ung. *feltelik a tüzelő)* und dass dann die Glut mit einer Feuerzange aus dem Ofen herausgezogen werden muss (Bélapátfalva). Wenn in der Ofenöffnung ein grosses Feuer gemacht wird, »gerät der Ofen schneller in Hitze«, hat aber keinen so grossen Zug.[62] Deshalb sind die Kalkbrenner manchmal gezwungen, das Feuern mit Reisig zu beginnen, das aber nicht dicht gelegt werden darf, da sich sonst bald zuviel Heizmaterial anhäuft. Ist der Ofen in Glut »so flammt seine Spitze so wie ein Kerzenlicht«. Zwischen den Pogatschen, den Fladen schlagen die Flammen hervor, der Ofen sieht aus wie ein Hahn (ung. *kakasol a kemence* Bélapátfalva, Felsőtárkány, Répáshuta), die Steine leuchten blutrot. Wenn die Steine nicht in Rotglut geraten, so brennen die unter den Fladen befindlichen Steine nicht aus. Wenn mit Reisig gefeuert wird, so gerät der Ofen besser in Glut. Wenn der Ofen in Glut geraten ist, vermehrt sich das Feuer im Ofen nicht, doch brennt es stark, und um die Temperatur konstant zu halten, »muss die Ofenöffnung erhöht werden«. Zu diesem Behufe wird ein Stein, oder wenn mit grossen Holzstücken gefeuert

[62] In Bükkszentkereszt hingegen wird der Ofen hinten, gegenüber der Ofenöffnung, nur dann mit Erde bedeckt, wenn er schon heiss ist.

wird, ein grosser Baumstrunk in die Ofenöffnung gelegt. Wenn dieser verbrannt ist, wird er ins Feuer gestossen und ein neuer in die Öffnung gelegt. Dies dient dazu, dass »die Hitze nicht entweiche und dass weniger Luft hineingelange«. Wenn die Wärme abnimmt und der Stein auskühlt, »gibt er den Kalk frei« und die bereits ausgebrannte Kalkschicht löst sich vom Kalkstein ab und fällt in das Feuer.

Die richtige Heizmethode

Nach den Aussagen der Kalkbrenner erfordert beim Brennen das Heizen das grösste Wissen und die grösste Erfahrung. Der Heizer muss bemerken »wo der Ofen das Holz verlangt«. Das Holz muss immer an diejenige Stelle geworfen werden, wo »sich der Stein bräunt«, denn dort verlangt er es. Wenn aber der Ofen kein Holz verlangt, so darf auch keines nachgelegt werden. »Wenn der Heizer zuviel hineinstopft, wird das Feuer zu stark und auch das ist nicht gut. Das Feuer muss immer beobachtet werden: zuerst muss es verstärkt werden und wenn der Ofen durchhitzt ist, muss das Holz nachgefüllt werden. Wenn der Heizer zuviel drauflegt, erstickt das Feuer im Ofen und brennt weniger gut.« (Aussage des 48jährigen Kalkbrenners Sándor *Barta Zsiros* aus Bélapátfalva.) Das in das Feuer geworfene Holz wird mit einer 2,5—3 m langen Stange — im allgemeinen Schürholz (ung. *piszkafa)*, in Bükkszentkereszt *drug*, in Répáshuta *stik* genannt — dorthin geschoben, wo es nötig ist.

Feuern mit Reisig

Bei der Erörterung des Brennmaterials war schon die Rede davon, dass heutzutage an den meisten Orten mit Reisig gefeuert wird. Man packt mit beiden Händen einen Haufen Reisig und stopft davon so viel als möglich in die Öffnung des Ofens, dann stösst man das Ende, das gewöhnlich in der Öffnung stecken bleibt, mit einem gabelförmigen Holz — gewöhnlich Stossholz (ung. *taszítófa)* oder Schieber (ung. *tolófa)*, in Bükkszentkereszt *paroška*, in Répáshuta *soška* genannt — hinein. Mit Reisig darf nicht ständig geheizt werden, denn es gibt viel Glut, und wenn sich diese bis zur ersten Kalksteinreihe aufgehäuft hat, brennt das Feuer nicht mehr gut. Wenn die Glut noch weitere 40—50 cm hinaufreicht, »ist es mit dem Ofen aus«. Der Ofen kann dann nur noch gerettet werden, wenn das Feuer mit einer Feuerzange (ung. *szemvonó)* herausgezogen wird. Wenn ein Regen kommt, »ist es mit dem Reisig aus«, denn die Blätter werden nass und brennen nicht. Zu einem Ofen von 120—150 Zentnern werden bei Regenwetter 45 Fuhren Reisig benötigt und das Heizen dauert um einen Tag länger. Beim Feuern mit Reisig kommt es auch vor, dass der Boden vor der Ofenmündung infolge der starken Flamme glühend wird und dass die abgefallenen Blätter dort Feuer fangen; der »Platz« (ung. *piac)* muss dann mit Wasser begossen werden.

Feuern mit Scheitholz, die beim Feuern benützten Geräte

Wenn mit grossen Holzstücken, bzw. mit Scheitholz gefeuert wird, werden die kleineren Stücke mit beiden Händen genommen, zur Ofenöffnung getragen und mit der Hand ins Feuer geworfen. Die dickeren, schon früher auf 2,5 m zersägten Stämme hingegen werden nicht derartig einfach mit der Hand in den Ofen geworfen. Am einfachsten wird das Problem so gelöst, dass ein 40—50 cm langes, 20—25 cm dickes Holzscheit quer vor die Ofenöffnung in einer Entfernung von ungefähr 1 m zu ihr gelegt wird und dass der vordere Teil des Stammes auf dieses Scheit zu liegen kommt. Das hintere Ende des Stammes wird mit den Händen gepackt und der Stamm auf dem Scheit zur Ofenöffnung gerollt und ins Feuer geworfen. Diese Art und Weise ist in Uppony und in Eger gebräuchlich. Das Scheit wird an beiden Orten »Walze« (ung. *görgő)* genannt. In Uppony wird beim Hineinstossen auch mit einem Schürstock nachgeholfen. Während in Uppony und Eger ausschliesslich diese Form bekannt ist, kommt sie in Bükkszentkereszt nur neben der anderen, noch zu behandelnden Form vor. Hier wird die Walze *valek*, von den Ungarn *görgő* genannt.

An den anderen Orten, wo Kalk gebrannt wird, wird zusammen mit der Walze auch noch ein anderes Gerät zum Heizen verwendet. Es soll hier als Grundtyp zuerst das in Bélapátfalva gebräuchliche ausführlich beschrieben werden und im folgenden sollen sodann jene Abweichungen angeführt werden, die an den verschiedenen anderen Orten beobachtet werden konnten.

In Bélapátfalva werden zwei lange Stangen von 2—4 m Länge mit Hilfe von 2—3 Querhölzern derart miteinander verbunden, dass das eine Ende bequem durch die Ofenöffnung gehe, während sich am anderen Ende ein Mann zwischen die zwei Stangen stellen könne. Diese Vorrichtung wird Schlittschuh (ung. *korcsolya)* genannt. Das Verbinden der einzelnen Teile des Schlittschuhs geschieht in der Weise, dass in die zwei Stangen Löcher gebohrt werden, die Querhölzer in diese Löcher gesteckt werden und dann mit einem Hammer das Ganze zusammengeklopft wird. Die herausstehenden Enden der Querhölzer werden mit einer Axt entzweigespalten, in den Spalt ein Keil getrieben, worauf die Querhölzer am Rande der Stangen abgesägt werden. Die Walze wird in Bélapátfalva *marci* genannt, ihre Länge wird nach dem Zwischenraum zwischen den zwei unteren Steinen der Ofenöffnung bestimmt. Beim Heizen wird der *marci* vor die Öffnung des Ofens gelegt, das schmälere Ende des Schlittschuhs wird im rechten Winkel dazu daraufgelegt, danach wird der Baumstamm auf das breitere, am Boden aufliegende Ende des Schlittschuhs im rechten Winkel zu den Stangen gehoben und den Schlittschuh entlang gerollt. Der Baumstamm wird dann am anderen Ende des Schlittschuhs umgedreht, damit er parallel zur Längsrichtung des Schlittschuhs zu liegen komme, und zurechtgelegt. Die zwei Enden der Stangen des Schlittschuhs, die glattgeschnitzt sind und zwischen die vor

20—30 Jahren sich nur der Meister stellen durfte, werden dann von einem Kalkbrenner in die Höhe gehoben und der Baumstamm mit dem Schlittschuh, der über den *marci* gerollt wird, in das Feuer geschoben und dort schliesslich vom Schlittschuh »heruntergeschüttelt«. Wenn der Baumstamm schwer ist, hilft ein zweiter Mann mit einer gabelförmigen Stange den Baumstamm ins Feuer zu stossen. Wenn der Baumstamm leichter ist, so können ihn auch zwei Männer aufheben und direkt auf das auf dem *marci* liegende Ende des Schlittschuhs legen, wonach ihn dann der eine Kalkbrenner ins Feuer stösst. Nach jedem



Abb. 34. Ausbesserung des Querbalkens *(šrota)*. Der am linken Rand des Bildes befindliche Kalkbrenner bohrt ein Loch, in welches ein neuer Querbalken eingepasst werden wird. (Répáshuta, Aufnahme des Verfassers)

Heizen pflegte man das Ende des Schlittschuhs mit Wasser zu begiessen, da er meistens rauchte oder sogar hell brannte. Der Schlittschuh wird am liebsten aus rohem Hagebuchenholz angefertigt, ist keines vorhanden, so entspricht auch Buchen-, Ahorn- oder Eichenholz. Am stärksten ist die Hagebuche, ihre Oberfläche ist glatt und sie brennt am schwersten an.

In Répáshuta wird die Walze *görgő*, der Schlittschuh *šrota* genannt. Die Bestandteile der *šrota* sind: zwei »Flügel« (ung. *szárny)* und zwei bis drei »Nägel« (ung. *szög)*, die »eingekeilt« sind. Der Verfasser hatte nur hier Gelegenheit, die Ausbesserung einer *šrota* zu beobachten. Wenn die Enden infolge des längeren Gebrauches verkohlen, so brechen sie leicht ab. In diesem Falle werden

die zwei angesengten Enden der »Flügel« abgesägt, ähnlicherweise auch die »Nägel« und die Reste mit einem Hammer aus den Löchern herausgeschlagen. Wenn nötig, werden neue Löcher gebohrt, damit das schmälere Ende eine entsprechende Breite aufweise, sodann neue »Nägel« geschnitzt und das Ganze durch Verkeilen wieder zusammengestellt.

In Bükkszentkereszt ist der Name der beiden Geräte identisch mit dem in Répáshuta: *šrota* und *görgő*. Statt letzterem wird aber eher die Bezeichnung

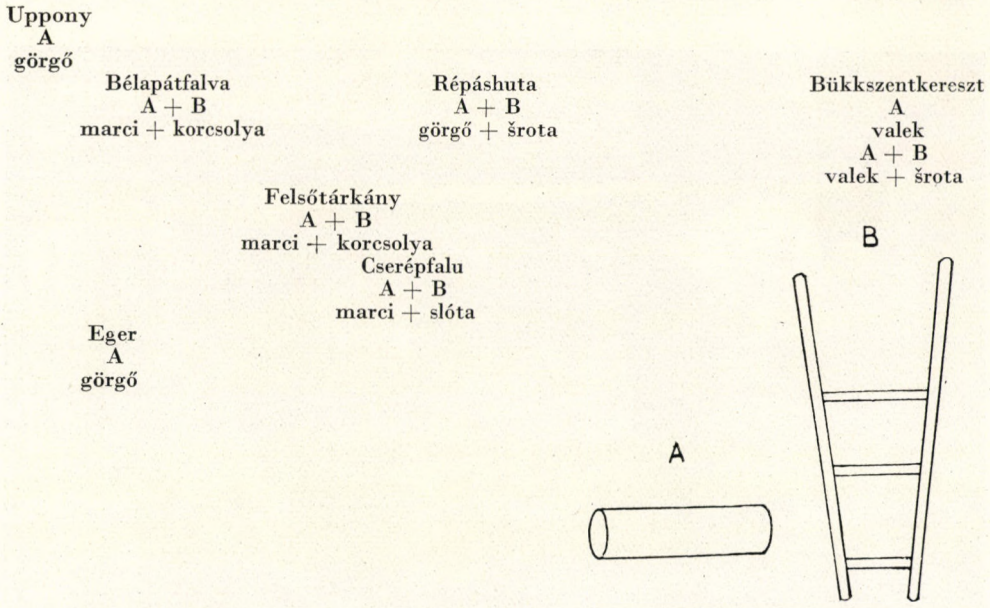


Abb. 35. Der Name und die Verbreitung der beim Feuern benützten Geräte

valek gebraucht. Um einen kleineren Baumstamm auf das Feuer zu legen, genügt ein Mann, zu grösseren sind oft 3—4 Männer nötig. Ein Mann ist mit dem Richten der Walze beschäftigt, ein zweiter stösst mit einem Schürholz den Baumstamm von der *šrota* herunter, ein dritter hält das breitere Ende der *šrota* in den Händen und ein vierter begiesst ständig die feurigen Enden der *šrota*, damit sie nicht völlig verbrenne.

In Cserépfalu nennt man die Walze *marci* und das andere Gerät *slóta*. Die *slóta* besteht aus zwei Stangen und aus zwei »Zähnen« (ung. *fog*). Seit 40—50 Jahren wird sie nicht mehr verwendet, heutzutage wird sie durch zwei separate Stangen ersetzt.

In Felsőtárkány ist die Bélapátfalvaer Form gebräuchlich. Die Bestandteile des Schlittschuhs sind: kleines Ende (ung. *kisvégi*), grosses Ende (ung. *nagyvégi*), 3 Querhölzer und der Griff. Zum Hineinstossen des Holzes wird ein Stossholz verwendet.

Zwischenfälle beim Feuern

Wie gut auch immer der Meister das Feuern versteht, so muss dennoch immer damit gerechnet werden, dass während des Heizens ein Einbrechen oder ein Riss entsteht. Wenn die Grube neu ist, kommt es vor, dass ein Stein der Seitenwand (ung. *futrakő)* einen Sprung bekommt, der dann während des Feuerns abgedichtet werden muss. Wenn in der Grube schon oft gebrannt wurde, kann die Spannkraft der zum Ofen gelegten Steine die Vorderseite des Ofens hinausdrücken, wobei die halbe Kuppel einstürzt. Wenn mit grossen Holzstücken gefeuert wird und diese zu lang gelassen, nicht genug kurz gesägt werden, so kann das Holz die Mündung des Ofens hinausstossen. Auch wenn die Ofenöffnung schlecht gesetzt wurde, »kann der Spanner herausspringen« (ung. *kirúghatja magát a szorító)*, oder der oberste Stein der Öffnung fällt heraus, oder es bekommt ein Stein der Ofenöffnung einen Sprung und man muss statt seiner aus Ziegeln einen neuen machen. Es kommt auch vor, dass oberhalb der Öffnung einige Nebensteine herausfallen, worauf ein-zwei Wagenladungen heisse Steine aus der Kuppel nachfolgen. Die Ordnung wird wieder hergestellt, indem die glühenden Steine weggeworfen werden und statt ihrer frische Steine in den Ofen eingebaut werden. Vor der Entdeckung der Vorzündung brach in Felsőtárkány der aus Knallsteinen gesetzte Ofen häufig ein. In solchen Fällen liess man das Feuer ausgehen, stieg in den noch warmen Ofen hinein und baute den eingestürzten Teil von neuem auf. Wer in den Ofen einstieg, setzte sein Leben auf das Spiel, denn das ganze Gewölbe konnte leicht einstürzen. In einem konkreten Fall bekam der Meister vom Unternehmer für eine einstündige Arbeit im noch warmen Ofen doppelten Taglohn und 15 l Wein.

Gewöhnlich verursacht der Knallstein, dass sich der Ofen »entblösst« (ung. *kitakaródzik)*, d. h., dass ein oder zwei Fladen herunterfallen. Er wird wieder in Ordnung gebracht, indem die fehlenden Fladen durch neue ersetzt werden und der entblösste Teil wieder abgedichtet wird. Wenn der Ofen keinen genügenden Zug aufweist und »das Holz darin schwarz wird«, muss der Damm aus Erde an einer kleinen Stelle aufgebrochen werden : dann wird die Luft auch zwischen den Steinen hindurchziehen, der Ofen wird einen grösseren Zug haben und wird besser brennen. Bei den vollständig im Kreise abgedichteten Öfen muss die Verkleidung gewöhnlich am letzten Tag durchstochen werden, da der Ofen nicht mehr gut genug brennt.

Während des Feuerns bildet eine der grössten Gefahren für den Ofen der Platzregen. Wenn ein Gewitter im Anzug ist, wird hinter dem Ofen und seitwärts von ihm ein Graben gegraben, um das Wasser abzuleiten und zu verhindern, dass es in den Ofen fliesse. Ein noch so grosser Regenguss schadet nicht, wenn er von aussen auf den brennenden Ofen fällt. Fliesst aber das Wasser durch die Ofenöffnung hinein, so »fliegt der Ofen in die Luft, dass nichts von ihm übrig bleibt als der Platz, an dem er gestanden war«. Um dies zu verhüten,

wird ein grosser Stamm vor die Ofenöffnung gewälzt und die Öffnung mit Kalkpulver und Erde, die miteinander vermengt werden, verstopft.

Bei starkem Wind muss langsam gefeuert werden, weil der Wind die Hitze auf die andere Seite des Ofens hinüberdrückt. Hält der Wind an, so muss eventuell um 12 Stunden länger geheizt werden. An den meisten Stellen wird aus Ästen, aus Blech oder aus Brettern eine provisorische Wand errichtet, um zu verhindern, dass der Wind den Ofen abkühle. In Bélapátfalva werden in 2,5—3 m Entfernung vom Rande des Ofens in der Richtung des Windes zwei gabelförmige Äste

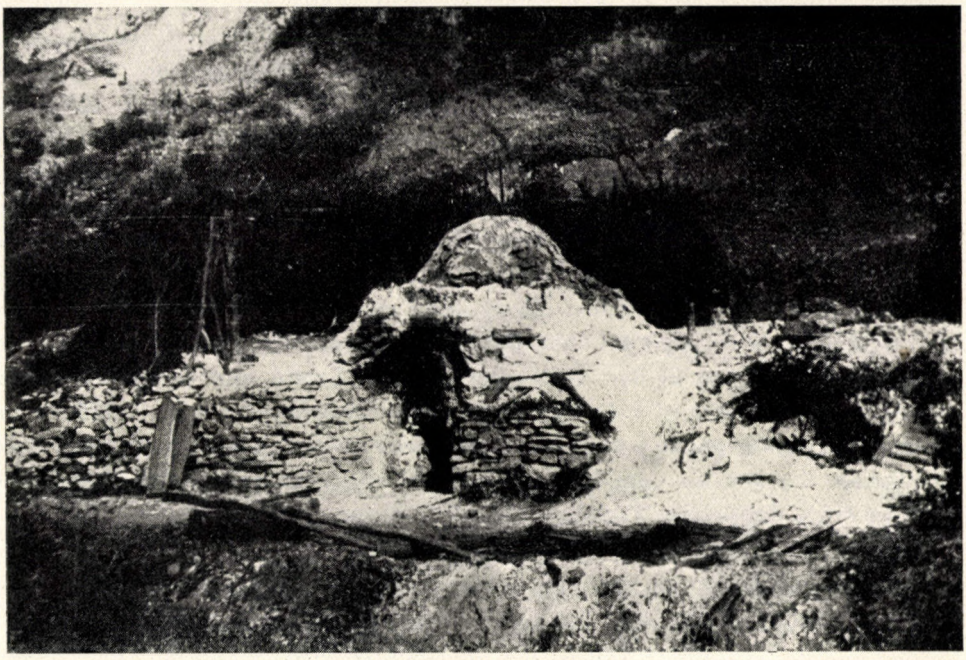


Abb. 36. Zum Schutz gegen den Wind über einen auskühlenden Ofen errichtetes Zelt. (Cserépfalu, Aufnahme des Verfassers)

in den Boden geschlagen, darauf wird ein längerer Ast gelegt und an diesen werden belaubte Zweige gelehnt. Diese Vorrichtung wird »Widerstand« (ung. *ellenzék)* genannt. In Cserépfalu wird ein die ganze »Kappe« umgebendes Zelt[63] gegen den Wind errichtet. Die Konstruktionsteile dieses Zeltes sind: 5 Stück in die Erde gegrabene, gabelige Hölzer, auf welchen vier Firstbäume liegen. An die Firstbäume werden von 50—150 cm Entfernung Stangen gelehnt, der Zwischenraum zwischen den Stangen wird mit belaubten Weidenruten ausgefüllt. Der Windrichtung entsprechend werden auf das Zelt auch Matten gelegt, die durch 3—4 daraufgelegte Stangen festgehalten werden. Während

[63] Siehe Abb. 36.

des Regens ziehen sich die Kalkbrenner — wenn es nichts Dringendes zu tun gibt — ins Zelt zurück. Ist keine Hütte vorhanden, so dient das Zelt auch als Obdach für die Nacht. In Felsőtárkány, Uppony und Eger werden Bretter zusammengenagelt, eventuell mit Blechscheiben bedeckt und mit gabelförmigen Ästen neben der Kuppel aufgestellt. In Eger ist es auch üblich vier solche Schutzwände aufzustellen, weil die Öfen in der Ebene stehen. In Répáshuta werden Windfänger aufgestellt, die aus Wagenbrettern, oder aus zwischen zwei Pfählen ausgespannten Plachen oder eventuell aus grünen Zweigen bestehen.

Die Kennzeichen des Ausbrennens

Während des Brennens entweicht der Rauch durch das Dach oder an der Seite des Ofens. In Felsőtárkány lehrt die Erfahrung, dass »wenn der Rauch nicht aufsteigt, sich am Boden ausbreitet, sich dann das Wetter verändert, dann Regen kommt«. Solange die Flamme des Ofens dunkelbraun, schwarz, rauchig ist, liegt noch viel Stein im Ofen. Später steigt weisser Rauch auf. Sollte sich noch immer schwarzer Rauch zeigen, so ist es nur noch an der *futra*. Nur der Rauch von Eichenholz bleibt schwarz, solange der Ofen nicht völlig ausgebrannt ist ; ist dies der Fall, so weist auch er eine weisse Farbe auf. Wenn die Flamme des Ofens bläulich scheint, so ist dies ein Zeichen, dass der Ofen bald ausgebrannt sein wird. Besonders in der letzten Nacht erscheint die Flamme bläulich. Zuerst brennt die Vorderseite des Ofens aus, dann das Kuppelgewölbe und zum Schluss der untere Teil.

Wenn man in den Ofen hineinschaut, so kann man schon am Stein erkennen, ob er ausgebrannt ist oder nicht. »Wenn das Email (ung. *zimánc)*, die Verunreinigung des Steines (ung. *kő mocsokja)* sich aus dem Stein entfernt hat, dann ist er bereits ausgebrannt.« Wenn er ausgebrannt ist, werden auch die grössten Stücke durchsichtig. Doch nicht nur aus diesem Umstand, auch aus der Farbe der Steine kann festgestellt werden, ob sie ausgebrannt sind. Die Kalkbrenner aus Répáshuta behaupten, dass die Steine dann weisslich glühen. In Felsőtárkány wird es für ein Zeichen des Ausgebranntseins gehalten, wenn der Stein neben der Abdichtung »in einem weissen Glorienschein spielt« (ung. *fehér galárist játszik)*. In Bélapátfalva sagt man, dass wenn der Ofen auszubrennen beginnt, der Stein an der Spitze der Kuppel zwischen den Fladen »in grünem Glorienschein schimmert« (ung. *zöld galárisos)*. Während des Heizens wird der Stein zuerst rotschwarz, dann gelb und schliesslich grün. Laut den Beobachtungen der Kalkbrenner aus Uppony, ist das Brennen dann »gelungen, wenn der Kalkstein eine reine Goldfarbe aufweist« und wenn man in ihm keine Löcher mehr sieht, d. h., wenn die Steine miteinander verschmolzen sind.

Bei den mit Fladen oder Pogatschen abgedichteten Öfen ist das sicherste Zeichen des Ausbrennens die sogenannte *szalajka (sal alcalicus?)*. Solange der Stein nicht ausgebrannt, »gereinigt« ist, sind die Fladen rötlich, »blutig«.

Während des Brennens werden aber die Fladen weiss und »schwitzen am Rande weisse, schimmelartige Perlen aus«, eben die *szalajka*. »Die *szalajka*, das Email (ung. *zimánc)* setzt sich so auf den Rand der Fladen, wie der Reif« (Felsőtárkány). Wenn die *szalajka* um jeden Fladen herum erscheint, so ist der Ofen ausgebrannt. Die *szalajka* wird nach dem Auskühlen des Ofens, wenn der Kalk herausgenommen wird, in Papier gesammelt, zu Pulver zerstossen und wenn ein Ochse oder ein Pferd im Auge den Star hat, so wird sie mit einem Papiertrichter ins kranke Auge geblasen (Répáshuta, Cserépfalu, Szilvásvárad). In Répáshuta wird die *szalajka* auch anstatt Seife zum Waschen verwendet.

Die Dauer des Feuerns

Das Feuern nimmt im allgemeinen drei Tage und drei Nächte, zusammen 72 Stunden, in Anspruch. Bei grossen Öfen, in neuen Gruben, bei starkem Winde usw. dauert das Feuern länger. Wenn möglich, wird am Sonntag nicht gefeuert, doch wird es dennoch getan, wenn es sich nicht anders machen lässt, wenn man nämlich auf Grund des Zeitpunktes des Anheizens dazu gezwungen ist.

Ein Mann allein ist ausserstande einen Ofen ganz auszuheizen. Das Heizen gibt von der Früh bis zum Abend genug Arbeit für zwei. In Bükkszentkereszt arbeiten beim Anheizen und in der Nacht drei Mann, bei Tag ein Mann. An den meisten Orten heizt auch in der Nacht nur ein Mann, höchstens zwei Mann. Beim Heizen kommt es vor, »dass man sich mit Schmach bedeckt«, wenn man beim Stehen einschläft. Wenn der Heizer einschläft, so bedeutet das, dass auch der Ofen einschläft, schwarz wird und dass man einen Tag länger feuern muss.

8. Das Abkühlen des Ofens und das Herausnehmen des Kalkes

Das Auskühlen des Ofens

Sobald festgestellt wurde, dass der Ofen ausgebrannt ist, wird ein mächtiger Baumstrunk in die Öffnung gewälzt und auf diesen ein oder zwei kleinere Klötze gestellt, damit diese die Wärme halten, solange das Feuer noch brennt. So wie das Feuer allmählich im Ofen verlischt, kühlt auch der Kalk aus. Dieser Prozess wird gewöhnlich »Abkühlen« (ung. *hivelés)* genannt. Während des Abkühlens strahlt der Ofen nur so die Hitze aus, was man auch daraus ersehen kann, dass die heisse Luft über dem Ofen vibriert.

Nachdem das Abkühlen bereits einen halben Tag gedauert hat, wird in Bükkszentkereszt, Cserépfalu und Uppony der Damm um die Kuppel herum mit einer Hacke aufgebrochen, um die weitere Auskühlung zu beschleunigen.[64] In Uppony wird hinten, gegenüber der Ofenöffnung der halbe, in Bükkszentkereszt der ganze aufgeworfene Damm entfernt, nur die *obloška* wird gegen

[64] Über das Ersticken des Feuers durch Erde siehe unter »Die Reinigung des Ofens«.

etwaigen Regen stehen gelassen. In Cserépfalu wird ebenso verfahren, wobei auch noch die Pogatschen entfernt werden ; wenn aber ein Regen droht, werden mit der Hacke 4—6 »Fenster« in den Damm gemacht. Wenn es gerade regnet, werden Pfähle rings um die Kuppel gestellt und auf diese Matten gelegt. In Felsőtárkány und Répáshuta wird der über der Ofenöffnung befindliche Teil geöffnet. In Felsőtárkány werden die »Pfropfen« (ung. *dugacs)* zwischen den Stützsteinen herausgezogen,[65] und ein Teil der Fladen wird mit einer Schaufel herabgenommen. Wenn es regnet, werden die zwei Windfänger über der Kuppel aneinandergelehnt, oder es wird aus Matten, gabelförmigen Ästen und Firstbäumen ein Zelt errichtet. Wenn viel Regen auf den auskühlenden Ofen fällt, so »entzündet er sich und explodiert«.

Das Auskühlen des Ofens dauert in Cserépfalu einen Tag und eine Nacht, in Uppony 12—24 Stunden und in Bélapátfalva einen Tag und zwei Nächte. Der Kalk weist die Eigenschaft auf, tagelang warm zu bleiben, wenn noch Stein darin bleibt, wenn er also nicht gut durchgebrannt ist, so dass man ihn dann aicht herausnehmen kann. Wenn der Ofen während des Feuerns einstürzt und nährend 2—3 Tage nicht ausgebessert werden kann, so muss mit dem Herausnehmen des Kalkes gewartet werden. Wenn der Vorderteil des Ofens bereits wusgebrannt ist, kann der Kalk dort schon angefasst werden, auch wenn der Hinterteil noch in Flammen steht.

Das Herausnehmen des Kalkes

Das Herausnehmen des Kalkes wird damit begonnen, dass die Abdichtungen auch von jenen Stellen entfernt werden, wo sie während des Auskühlens noch nicht abgenommen wurden, dass die Stützsteine beiseite geworfen werden und die Umgebung des Ofens mit Feuerzange und Schaufel gereinigt wird, damit auch der herunterfallende Kalk nicht verloren gehe. Das Herausnehmen des Kalkes wird an der Spitze des Ofens begonnen und dabei wird immer weiter nach unten geschritten. Der Kalk wird mit der Hand gesammelt, wenn die Kalkbrenner aber beim Pfarrstein angelangt sind, so ist das Gewölbe von dort an bereits »derart zusammengeschmolzen«, dass der Kalk mit einer Spitzhacke oder einem Stück Holz herausgestemmt werden muss. Wenn der Ofen nicht gut ausgebrannt ist, so ist der Ofen nicht gut zusammengeschmolzen und fällt genauso auseinander wie beim Setzen. Die Kalkbrenner, die den Kalk einsammeln, legen ihn in Körbe, reichen ihn denjenigen, die am Rande des Ofens stehen und diese laden ihn auf die Wagen. Wenn man mit dem Herausnehmen des Kalkes einen Meter tief gekommen ist, wird die Ofenöffnung abgebrochen und der Rest durch die Öffnung hinausgereicht.

[65] Beim Setzen des Ofens werden die Lücken zwischen den Stützsteinen mit Kieselsteinen ausgefüllt.

In Bélapátfalva pflegen bei der Herausnahme des Kalkes auch Ziegeunerinnen zu helfen. Im allgemeinen drei oder vier, vor grösseren Feiertagen auch mehr, denn sie erhalten für ihre Arbeit Kalk, den sie in den benachbarten Dör-



Abb. 37. Das Herausnehmen des Kalkes. Der mit Kalk beladene Korb wird aus der Grube durch die Ofenöffnung hinausgereicht. (Répáshuta, Aufnahme des Verfassers)

fern verkaufen. Ihr Lohn beträgt einen Tragkorb voll Kalk »und soviel sie sich noch dazu verschaffen können«, d. h. soviel sie ausserdem noch stehlen können.

Das Herausnehmen des Kalkes ist eine schwere Arbeit und mit vielerlei Schwierigkeiten verbunden. Beim Feuern schindet das Holz die Hand des Kalk-

brenners ab, »zieht ihm die ganze Haut ab« und beim Herausnehmen des Kalkes wird die Hand vom Kalkpulver bedeckt und wird wund, »vernarbt«. Es kommt auch vor, dass das Kalkpulver einem Kalkbrenner in die Augen gerät und ihn schmerzlich juckt, die Augen tränen und er sieht überhaupt nichts. In diesem Fall wird in das schmerzende Auge Staubzucker geblasen. Die Kalkbrenner behaupten, dass wenn jemand eine Wunde auf der Hand hat und der Kalkstaub zu beissen anfängt, so verspüre der Verletzte einen süssen Geschmack im Munde. Wenn der Kalkstaub zu beissen beginnt, ist es nicht ratsam, sich mit einem Tuch abzutrocknen. Nach dem Herausnehmen des Kalkes darf man sich übrigens nie mit Wasser waschen, denn das Wasser löscht den Kalk und »der Kalk frisst den Körper, so dass dieser eine einzige Narbe wird«. Auch das mit Wasser aufgelöste Kalkpulver darf nicht mit Wasser abgewaschen werden, obwohl dies nicht mehr beisst. Das Waschen geschieht im allgemeinen so, dass Speck in ganz dünne Scheiben geschnitten und zwischen den Handflächen wie Seife zerrieben wird, worauf man sich damit einreibt. Das Fett wird mit einem grobgewebten Leinen — meistens mit einer Schürze (ung. *surc)* — vom Körper abgerieben und erst hernach wäscht man sich in warmem Wasser. Auch zu Pulver zerstossene *szalajka* wird zum Waschen verwendet, genauso wie das Fett. Diejenigen Fuhrleute, die zum erstenmal in ihrem Leben beim Aufladen des Kalkes helfen, nehmen oft Schaden, weil sie nicht wissen, dass man den Kalk nicht einfach mit Wasser abwaschen darf.

Unter den zum Herausnehmen des Kalkes benützten Geräten verdienen — ausser der bereits oben erwähnten Spitzhacke — der sogenannte »Handschoner« (ung. *hankléder)*[66] und der Korb besondere Aufmerksamkeit. Um sich gegen die Hitze und das Ätzen des Kalkes zu schützen, werden an einzelnen Orten irgendwelche Handschoner verwendet. In Cserépfalu werden aus Fetzen Handschuhe angefertigt, in Felsőtárkány und Eger die sogenannten *hankléder.* Es wird ein rechteckiges, ziegelförmiges Stück Leinwand, Gummi oder Leder ausgeschnitten, das entweder aufgeschlitzt wird, um die Hand durchstecken zu können, oder aber mit einem Bindfaden um das Handgelenk gebunden wird. In Felsőtárkány hatte man vor ungefähr 25 Jahren begonnen, diese Handschoner zu benützen und heutzutage sind sie schon allgemein gebräuchlich. Diese Handschoner kamen durch Vermittlung der Eisenarbeiter aus Borsodnádasd und Ózd zu den Kalkbrennern : in den Eisenwerken werden sie nämlich als Schutz gegen heisses Eisen und scharfrandige Platten benützt. Das *hankléder* ist auch den Kalkbrennern anderer Dörfer bekannt, doch gebrauchen sie ihn unter den verschiedensten Vorwänden nicht. In Bélapátfalva wird er »Manschette« (ung. *kézelő)* genannt, »doch ziehe man ihn sich vergebens an, oben, wo die Hand schwitzt, reibt er die Haut auf«. In diesem Dorfe wird er nur spärlich benützt. In Répáshuta ist man der Meinung, dass »die Arbeit damit nur langsam vor

[66] Aus dem Deutschen übernommen. Handleder = Leder zum Schutze der Hand.

sich gehe«. Auch in Bükkszentkereszt und Uppony wird er nicht verwendet. Wenn der Kalk einen Finger wund ätzt, so wird er mit einem Fetzen verbunden.



Abb. 38. Kalkbrenner während der Herausnahme des Kalkes. Seine rechte Hand wird durch den Handschoner *(hanklëder)* geschützt, in seiner linken Hand hält er einen Korb. In der linken oberen Ecke des Bildes ein neben dem Ofen stehender Kalkwagen. (Felsőtárkány, Aufnahme des Verfassers)

Der Korb wird, wie bereits erwähnt, nicht nur beim Herausnehmen des Kalkes, sondern auch bei der Beförderung der Steine und beim Abdichten benützt. Beim Herausnehmen des Kalkes werden 5 bis 8 Körbe auf einmal benötigt, denn wenn der eine gefüllte Korb aus dem Ofen herausgereicht wird, wird sofort mit dem Füllen des nächsten begonnen ; man kann da nicht warten,

bis die den Wagen beladenden Männer den leeren Korb zurückbringen. Die Körbe werden meistens von den Kalkbrennern selbst hergestellt. In Felsőtárkány versorgt ein gegen 80jähriger ehemaliger Kalkbrenner die Umgebung mit Körben. Auf der Hochebene des Bükkgebirges ist es der Schafhirte von Szilvásvárad, der vom Frühjahr bis zum Winter im Freien haust, der die Körbe für die in der Nähe brennenden Kalkbrenner aus Répáshuta flicht. Das Material der Körbe ist auch heute noch an einzelnen Stellen — wie vor 15—20 Jahren noch allgemein — die Waldrebe *(Clematis vitalba)*, dort vom Volk »Schafband« (ung. *juszalag)* genannt. In Uppony verwendete man Weidenruten.

Die aus pflanzlichem Material hergestellten Körbe erwiesen sich als nicht genügend dauerhaft, »sie halten überhaupt nicht«, deshalb wurden sie in Felsőtárkány, Eger und Uppony durch Eisen- und Drahtkörbe ersetzt. In Bükkszentkereszt und Cserépfalu sind beide Arten in Gebrauch. Laut den Beobachtungen des Verfassers sind heutzutage ausschliesslich aus pflanzlichem Material hergestellte Körbe nur noch in Répáshuta und Bélapátfalva gebräuchlich. Die Körbe aus Drahtgeflecht, die fertig in den Eisenhandlungen zu kaufen sind, eignen sich nicht zum Herausnehmen des Kalkes, denn die kleinen Kalkstücke fallen durch seine Löcher und Ritzen heraus. Ein wirklich entsprechender Korb wird aus jenen Blechbändern verfertigt, die ursprünglich zum Zusammenhalten und Abschliessen der Kisten in Spezereihandlungen verwendet worden waren. Der Rahmen des Korbes besteht aus einem sehr dicken Stahldraht, der im Ofen in Glut gebracht und danach gebogen wird. In Felsőtárkány wird ein solcher Korb von seinem Hersteller um 20 Forint bzw. um einen Zentner Kalk verkauft.

Die Arten der Verwertung des Kalkes

Das Verladen und Wiegen des Kalkes hängt von der Art und Weise seiner Verwertung, sowie seiner Beförderung ab. Wie bereits erwähnt, wird der Ofen nur dann angeheizt, wenn der grösste Teil des Kalkes schon abgesetzt ist, wenn er, wie man sagt, »schon seinen Platz gefunden hat«. Heute gibt es sozusagen nur eine Form der Verwertung des Kalkes: der grössere Teil der gewonnenen Kalkmenge wird an die Wiederverkäufer, an die Nationalen Unternehmen, und nur sehr wenig an die Kalkfuhrleute verkauft. In der Vergangenheit, ja sogar noch während der Datensammlung des Verfassers, wurde der Kalk auf folgende Art und Weise verwertet: es übernahmen ihn

a) Konsumenten,
b) Wiederverkäufer.

Unter den Wiederverkäufern konnten wieder vier Gruppen unterschieden werden:

1. Kaufleute, neuerdings Nationale Unternehmen, in Waggonladungen,
2. Höker,

3. Kalkhändler, in Fuhren,

4. Frauen, die von Dorf zu Dorf wanderten und den Kalk in kleineren Mengen übernahmen.

In den folgenden Zeilen soll die Verwertung des Kalkes nur insoweit behandelt werden, als sie sich auf die Beziehungen der Übernehmer zu den Kalkbrennern bezieht. Den Kalkfuhrleuten und den von Dorf zu Dorf ziehenden Frauen soll später ein separates Kapitel gewidmet werden.

Zur Zeit der Datensammlung des Verfassers waren ausser bei den Kalkbrennern aus Uppony und bei den bereits in Kollektiven arbeitenden Kalkbrennern aus Répáshuta auf dem gesamten durchforschten Gebiet alle Verwertungsmodalitäten in Gebrauch. Laut der Überlieferung wurde in Uppony der Kalk nie in kleinen Mengen verkauft, sondern der grösste Teil ging in die Ózder Eisenwerke. Nie wurde der Kalk an Fuhrleute verkauft, höchstens erhielten diejenigen Dorfbewohner 5—10 Zentner, die den Kalk zum Bauen brauchten. Der Grund hierfür dürfte sein, dass in der Umgebung der Kalk aus Uppony nicht gerne zum Tünchen genommen wird. Es wird zwar anerkannt, dass er die Mauer gut bindet, aber zum Tünchen nehmen auch die Bewohner von Uppony Kalk aus Bélapátfalva, weil dieser weisser ist.[67] In Répáshuta hatte sich diese Situation erst im Jahre 1949 entwickelt. Auch die in der Gemarkung von Felnémet, im Bervatale brennenden Kalkbrenner aus Felsőtárkány und die aus Eger liefern nur in Waggonladungen. Die Kalkbrennersiedlung in Eger beliefert die Bauunternehmer und Maurer in der Stadt mit dem von ihr gewonnenen Kalk.

a) *Konsumenten*

Wer zum Bauen Kalk benötigt, sucht selbst den Kalkbrenner auf. In Felsőtárkány pflegt man von Ofen zu Ofen zu gehen, sich zu erkundigen, wer der Besitzer des Ofens sei, ob und zu welchem Preis man Kalk erhalten könne. Das Geschäft wird dann mit dem Besitzer abgeschlossen und dabei eine Anzahlung geleistet. Wenn der Kalkbrenner den Kalk an irgend jemand verkauft hat, so steckt er einen langen, belaubten Ast in die Schutthalde, damit der Käufer den Platz erkennen könne, wenn er den Kalk abholen kommt. Wenn der Kalk direkt an den Konsumenten verkauft wird, braucht sich der Kalkbrenner überhaupt nicht um den Abtransport des Kalkes zu kümmern, da der Käufer persönlich die Ware abholen kommt ; höchstens hilft er ihm beim Aufladen.

b) *Wiederverkäufer*

Der Verkauf des Kalkes an Kaufleute und in den letzten Jahren an Nationale Unternehmen erfolgte auf Grund einer vorhergehenden Bestellung.

[67] In der Umgebung von Uppony gibt es Kalkstein aus der Karbonzeit, in der Gegend von Bélapátfalva solchen aus dem Trias.

Der Kalkbrenner gab entweder eine Annonce in die Zeitung auf[68] und erhielt so schriftliche Bestellungen, oder die Kaufleute bestellten auf Grund von bereits früher ausgebauten Beziehungen einige Waggon Kalk. In solchen Fällen war der Kalkbrenner verpflichtet, den Kalk zur nächstliegenden Bahnstation zu befördern. Dies wird entweder vom Kalkbrenner persönlich besorgt oder er nimmt auf eigene Kosten Fuhrleute auf. Die auf der Hochebene des Bükkgebirges brennenden Kalkbrenner aus Répáshuta, und früher auch jene aus Bélapátfalva nahmen Fuhrleute in Anspruch, die den Kalk nach der Station Szilvásvárad (s. Landkarte) transportierten. Auf der Hochebene des Bükkgebirges führt der Weg über Dolinen und die Fuhrleute können nur so die steilen Abhänge überwinden, wenn sie 4—6 Ochsen vor den Wagen spannen. Wenn ganze Waggonladungen geliefert werden, so wird »frei aufgeladen«, d. h. der Kalk wird nur auf der Eisenbahnstation gewogen — sonst erfolgt das Wiegen neben dem Kalkofen.

Die Kalkbrenner aus Répáshuta verkauften den Kalk vor dem Jahre 1949 durch Vermittler, die *sáfár* oder *faktor*[69] genannt wurden. Diese Agenten aus Felsőtárkány gingen entweder zu den Öfen hinauf, um Kalk zu suchen, oder die Kalkbrenner stiegen zu ihnen herab, um ihn anzubieten. Die Kalkbrenner sagten, zu welcher Zeit ler Kalk zu haben sein wird und erhielten einen Vorschuss (1000—1500 Forint). Sie waren verpflichtet den Kalk zum Waggon hinunterzutransportieren, wo der Agent entweder die ganze verbleibende Summe ausbezahlte oder den Kaufpreis nach einer Woche beglich. Soviel, dass die Fuhrleute bezahlt werden konnten, gab er jedoch stets sofort.

Die Kalkbrenner aus Bélapátfalva lieferten in der Vergangenheit regelmässig den Hökern in Eger Kalk. Die Höker bestellten den Kalk im voraus und der Kalkbrenner brachte den Kalk persönlich in die Stadt. Die Höker kauften den schönsten Kalk, den »Kuppel-Kalk«. Die Höker zahlten auch besser und mehr als die anderen Käufer, denn sie wollten den reinsten Kalk, »die Seele des Kalkes«. Noch vor 8—10 Jahren verkauften die Höker den Kalk in Butten am Markt in Eger, am sogenannten Kalkmarkt (ung. *Meszesköz)*. Heute wird auf der Strasse kein Kalk mehr verkauft, nur in Geschäften.

Die von Dorf zu Dorf ziehenden Kalkhändler,[70] die vom Transport und Verkauf des Kalkes leben, sichern sich schon im voraus den Kalk für jene Zeit, wann sie sich auf den Weg machen wollen. Die Kalkhändler und Kalkbrenner aus ein und demselben Dorfe treffen nur mündliche Abmachungen, Kalkhändler aus einem anderen Dorfe geben hingegen eine Anzahlung, Vorgeld (ung. *előpénz)*

[68] In Bélapátfalva finden sich Angaben darüber seit dem Jahre 1910.

[69] Seine volkstümliche Bedeutung ist: »ich beauftrage jemanden mir zwei Pferde zu kaufen, da er darin bewandert ist« (Répáshuta). Der »Faktor« ist also der Vermittler von Handelsgeschäften, ihm fällt die Rolle eines Agenten zu.

[70] Die einzelnen Kalkhändler ziehen mit je einer Fuhre Kalk durch den ganzen östlichen und nördlichen Teil von Ungarn. Vom Frühjahr bis zum Herbst leben sie vom Detailverkauf des Kalkes. Dem Leben der Kalkhändler soll ein besonderes Kapitel gewidmet werden.

genannt. Wenn Kalkbrenner aus Répáshuta auf der Hochebene des Bükkgebirges brannten, schickten sie einen »Vorgeld-Inkassanten« oder Agenten in diejenigen Dörfer, wo sich mehrere Einwohner mit der Kalkfuhr befassten. Der »Vorgeld-Inkassant« liess austrommeln, wann Kalk zu haben sein wird, und nahm entweder selber das »Vorgeld« in Empfang, oder brachten es die Kalkhändler selbst zu den Öfen hinauf — besonders dann, wenn die Nachfrage nach Kalk gross war und sie den Kalk umso sicherer erhalten wollten. Die Anzahlung betrug in Bélapátfalva ein Drittel des ganzen Betrages. Die Kalkbrenner geben womöglich in erster Linie den Kalkhändlern aus dem eigenen Dorfe Kalk. Zur Zeit der Datensammlung des Verfassers verständigten die Kalkbrenner aus Felsőtárkány die Kalkhändler in Bükkzsérc telephonisch, wann der Verkauf und das Abwiegen des Kalkes beginne.

Die Qualität des Kalkes

Mit dem Herausnehmen des Kalkes fängt man schon beim Morgengrauen an, und wer einen schönen Kalk bekommen will, steht schon gegen 3—4 Uhr früh mit seinem Wagen neben dem Ofen. Damit die Arbeit schneller vonstatten gehe, helfen die Fuhrleute einander beim Aufladen, übernehmen von den Kalkbrennern die beladenen Körbe und reichen sie auf den Wagen hinauf, wo der Besitzer des Fuhrwerkes die Ladung verteilt. Alle Kalkhändler bevorzugen, die grösseren Stücke, »sie möchten womöglich die Stücke aus der Wölbung«, weil diese nicht so leicht auf dem Wagen zerfallen und zerbröckeln wie die kleineren. Um Streitigkeiten zu vermeiden, werden in Cserépfalu die kleineren Kalkstücke aus der Spitze des Ofens, die *viluska*, in Körben gleichmässig unter die Kalkhändler verteilt. Der Kalk aus dem Kuppelgewölbe ist auch deswegen besser, weil er leichter ist und weil so die Kalkhändler an ihm mehr verdienen, wenn sie ihn pro Korb (ung. *szakajtó)* verkaufen. In Répáshuta ist man auch der Meinung, dass unter den aus dem Gewölbe stammenden Kalksteinen diejenigen am besten sind, die von der der Ofenöffnung entgegengesetzten Seite stammen. In Felsőtárkány glaubt man, dass »die erste Reihe den kräftigsten Kalk gibt, dieser ist der haltbarste, denn dieser wurde am meisten vom Feuer gebrannt. Die mittlere Reihe liefert den schönsten Kalk. Den Kalk aus dieser Reihe bevorzugen die Händler aus Bükkzsérc. Den neben der Grubenwand befindlichen Kalk nennen die Bükkzsércier *viluska*, doch mögen sie diesen nicht, denn sie müssen den Kalk einen langen Weg tragen und die kleinen Stücke zerfallen schnell zu Pulver. Wer den Kalk zu einem bestimmten Zweck kauft, dem ist es gleichgültig, nur derjenige mag die kleinen Stücke nicht, der ihn wiederverkaufen will.« — Allgemein ist die Meinung verbreitet, dass je länger der Ofen brennt, desto besser, kräftiger und haltbarer der Kalk sein wird. In Cserépfalu pflegt der Kalkbrenner, wenn er den »Pfarrstein« und den »Pfropfen« herausnimmt, dem Kalkhändler zu sagen: »Siehe! Du nimmst den Pfropfen.

Du bekommst den Pfarrstein und den Pfropfen. Der Pfarrer, sowie auch der Soldat, gehen dorthin, wo etwas zu bekommen ist, jetzt kannst auch du fortgehen!« Derjenige Kalkhändler, der den Pfarrstein bekommt, zahlt den Kalkbrennern einen Liter Wein.

Es gibt auch Öfen, wo alles »Stein bleibt«, aus diesen kann kaum etwas Kalk »entnommen« werden. Dies kommt recht selten vor, häufig hingegen ist,



Abb. 39. Das Herausnehmen des Kalkes. Der Fuhrmann verladet den Kalk auf dem Wagen, die Kalkbrenner nehmen den Kalk aus dem Ofen heraus. (Bélapátfalva, Aufnahme des Verfassers)

dass an irgendeiner Seite des Ofens unausgebrannter Stein bleibt, worauf aber die Kalkhändler sehr aufpassen, denn es ist dann sehr schwierig den Stein im Kleinverkauf anzubringen. Die Kalkbrenner aus Bélapátfalva nennen deshalb den im Kalk gebliebenen Stein *viluska*, weil der Käufer dieses Wort nicht versteht. »Wir hörten von den Slowaken (von den slowakischen Kalkbrennern aus Répáshuta) das Wort *viluska ;* wenn also Steine darin bleiben, so sagen wir : es ist etwas *viluska* drin. Die Leute aus Bekölce[71] verstehen das nicht!«

[71] Bekölce ist ein von Bélapátfalva 7 km weit gelegenes Dorf.

Das Abwiegen des Kalkes

Heutzutage wird der Kalk überall nach Zentnern gemessen. Vor dem Ofen steht eine Dezimalwaage und in einer Holzkiste, *ferslág* (vom deutschen Wort »Verschlag«) genannt, werden 50 kg abgewogen und dann auf den Wagen geladen. Auf jede 50 kg gibt der Kalkbrenner eine Draufgabe von 1—2 kg (ung. *megszerez 1—2 kg-mal):* dies als Entschädigung für das Zu-Pulver-Bröckeln des Kalkes. In Felsőtárkány mieten die Kalkbrenner die Brückenwaage der



Abb. 40. Das Wiegen des Kalkes vor dem Ofen. (Bükkszentkereszt, Aufnahme des Verfassers)

Gemeinde und deshalb wiegen sie den Kalk auch nicht neben dem Ofen, sondern in der Mitte des Dorfes, neben der Landstrasse. Der Kalkbrenner hält sich beim Ofen auf und sein Bevollmächtigter, gewöhnlich seine Frau, erledigt das Wiegen. Wenn sich mehr Kalk auf dem Wagen befindet, als der Käufer bestellt hatte, so wird der überschüssige Kalk abgeladen, ist zu wenig Kalk auf dem Wagen, so wird die fehlende Menge ergänzt. Den Preis des Kalkes zahlen die Kalkhändler der Frau nach dem Wägen.

Die Überlieferung besagt, dass in frühester Zeit das »freie Beladen« üblich war, d. h., dass der Kalkhändler oder ein anderer Käufer soviel Kalk auf den Wagen laden durfte, als seine Ochsen zu ziehen imstande waren. Es wurde bestimmt, wieviel nach einem »schwachen jungen Ochsen«, einem »besseren Rind« oder

nach 2 Ochsen zu bezahlen war. Ein 90jähriger Kalkhändler aus Bélapátfalva erzählte : »Ich besass einen so kleinen jungen Ochsen, dass ich den Kalk vom Wagen ablud und ihn auf meinem Rücken trug, wo der Ochse im Bükkgebirge nicht imstande war, den Wagen zu ziehen.« Später wurde der Kalk »pro Fass« gehandelt, der Kalk wurde in Fässer gefüllt und diese vollen Fässer auf den Wagen geladen. Zu zahlen war dann nach der Anzahl der Fässer. Zuerst füllte der Kalkhändler das *kila* genannte Fass, und als es voll war, wurde es entleert und der Kalk in Körben auf den Wagen geladen. Die grösste Beladung war zweieinhalb Fässer, wer nur über schwächere Zugtiere verfügte, der lud zwei Fässer auf. In Bélapátfalva und in einigen Orten der Hochebene des Bükkgebirges war noch 1930 die »freie Beladung« üblich, und zwar dort, wohin die Kalkbrenner das Fass nicht zu Fuss tragen konnten. In Bélapátfalva wurde im allgemeinen um das Jahr 1890 herum zum letztenmal ein Fass verwendet. In Répáshuta unterblieb das Auswiegen mit dem Fass nach dem ersten Weltkrieg. Der 80jährige Kalkbrenner Adam *Fridel* erinnert sich folgenderweise an den Wechsel der Abwiegemethode : »Eines Tages kam der Herr Rat (aus dem Staatlichen Forstamt) zu uns heraus und sagte, dass es nicht gut sei, mit dem Fass zu messen, denn im Gewölbe des Ofens sei der Kalk schwerer und in der Kuppel leichter. Damals gingen wir dann zum Messen nach Zentnern über.« In Bélapátfalva pflegt der Kalkbrennereibesitzer dem Kalkhändler zu sagen, wenn dieser den Kalk beim Ofen auf seinen Wagen verladen hat : »Kalk habe ich gegeben, Glück hingegen kann ich nicht geben, so gebe es denn der Herrgott!«

Laut der Überlieferung wurde der Preis des Kalkes immer in Geld berechnet. Nach einer Angabe aus Répáshuta soll es eine Zeit gegeben haben, wo der Kalk den Kalkhändlern gegen Lebensmittel verkauft wurde. In Uppony wurde vor der Befreiung des Landes im Jahre 1945 der Preis eines Zentner Kalkes zum Preise eines Kubikmeter Holzes berechnet.

Wenn nach dem Verkauf des Kalkes noch eventuell Kalk übrig blieb, so lud der Kalkbrenner diesen Rest entweder auf einen Wagen und verkaufte ihn im Dorf (dies geschah nur in Bélapátfalva), oder er lagerte ihn in irgendein Gefäss, meistens in ein Fass ein. Das Fass wurde mit Kalkstücken angefüllt, darauf ein Fetzen gebreitet und auf diesen zwei Finger dick Kalkpulver gestreut. Der Kalk konnte so im Notfall jahrelang aufbewahrt werden. Dieses Fass wurde womöglich auf einem trockenem Platz, meistens in der Scheune aufgestellt. Im Herbst, beim letzten Brennen, wird der Kalk aufgehoben und wenn zu Ostern wegen des Wetters noch nicht gebrannt werden kann, so lässt sich dafür ein guter Preis erzielen (Bélapátfalva). In Felsőtárkány wird der Kalk für eine kurze Zeit so aufbewahrt, dass er vor dem Ofen auf den Boden liegen gelassen, mit einer Matte zugedeckt und auf diese eine Stange oder ein Schürholz als Gewicht gelegt wird. Für eine längere Zeit wird er so aufbewahrt, dass eine Grube gegraben wird, in diese »werden die Kalkstücke hineingelegt, auf diese kommt eine Schicht Kalkpulver, das Ganze wird mit Erde bedeckt und so

bleibt er unverändert«. In Eger wird auf den Zementboden des hinter dem Ofen befindlichen kleinen Lagerhauses Kalkpulver gestreut und auf diesen der Kalk gelagert.

SCHRIFTTUM

Bárczi, G., Magyar szófejtő szótár (Ungarisches Worterklärungswörterbuch). Budapest, 1941.

Block, B., Das Kalkbrennen. Leipzig, 1924.

Buller—Hoefler, H., Die Kalkbrennerei im Saarwinkel. Bayerischer Heimatschutz, 19. S. 107—111.

Czuczor—Fogarasi, A magyar nyelv szótára (Wörterbuch der ungarischen Sprache). Pest, 1866.

Damm, H., Kalkstein und Kalk bei Naturvölkern und im Altertum. Berlin, 1922.

Forster, J., Anleitung den Kalk und Mörtel zu bereiten. Berlin, 1920.

Fourcroy v. Ramecourt, Kalkbrennerkunst. 1769.

Geszner, A., Römischer Kalkbrennofen bei Brugg. Anzeiger für Schweizerische Altertumskunde, 1907.

Gombocz—Melich, Magyar etymologiai szótár (Ungarisches etymologisches Wörterbuch). Budapest, 1914—1930.

Havelková, Vl., Pálení vápna v moravském Krasu. Národopisný Věstník Československý, 1927. S. 231—233.

Komáromy, A., Magyar levelek a XVI. századból (Ungarische Briefe aus dem XVI. Jh.). Tört. tár, Budapest, 1908.

Kováts, F., Égetett mész szállítási költségei a Dunán Hainburgtól Pozsonyig (Die Frachtkosten des gebrannten Kalkes auf der Donau von Hainburg bis Pressburg). M. Gazd. Tört. Szemle, Budapest, 1902. S. 92—93.

Krŭŭs, H., Lubja põ letamine Pedja jõe raioonis. Ajalooline Ajakiri, 12. 1933. S. 177—195.

Krüger, F., Die Hochpyrenäen. Hamburg, 1936.

Lazell, E. W., Hydrated Lime. Pittsburgh, 1915.

Marx, K., A tőke (Das Kapital). Budapest, 1948.

Marx, K., Das Kapital. Berlin, 1947.

Mälzig, K., Die oberschlesische Kalkindustrie. Dissertation. Breslau, 1923.

Mc Bryde, F. W., Cultural and Historical Geography of Southern Guatemala. Washington, 1945.

Mendöl, T., A Felvidék (Das oberungarische Oberland). Budapest, 1940.

Pamfile, T., Industria casnică la Români. Bucureşti, 1910.

Pávay Vajna, F., Mészégetés Nyírmezőn és Felsőorbón (Kalkbrennen in Nyírmező und Felsőorbó). A Magyar Nemzeti Múzeum Néprajzi Osztályának Értesítője. Budapest, 1908. S. 198—203.

Polivka, Vl., Vápenici ze Zdic. Český Lid, 1928. S. 241—243.

Rhan, C., Der Kalk ist die Grundlage aller Kultur. Berlin, 1914.

Schlüter, H., Die Kalkindustrie im Rahmen der Volkswirtschaft, Berlin, 1924.

Шиллинг, Е. М., Литейное производство Дагестана. Советская этнография, 1947. № I. S. 126—134.

Szamota—Zolnai, Magyar oklevélszótár (Ungarisches Urkundenwörterbuch). Budapest, 1902.

Szádeczki, L., Iparfejlődés és a czéhek története Magyarországon (Die Entwicklung des Gewerbes und die Geschichte der Zünfte in Ungarn). Budapest, 1913.

Tagányi, K., Magyar erdészeti oklevéltár (Ungarische Forsturkundensammlung). Budapest.

Tolsztov, Sz. P., A szovjet etnográfiai iskola (Die sowjetische ethnographische Schule). Ethnographia, Budapest, 1939. S. 31—32.

Torday, E., Erdőgazdasági alapismeretek (Grundkenntnisse der Forstwirtschaft). Budapest, 1948.

Vajda, L., Le rôle sacré de la colonne placée au milieu de la maison. Folia Ethnographica, Budapest, 1949. S. 162—175.

Weule, K., Chemische Technologie der Naturvölker. Stuttgart, 1921.

ОБЖИГАНИЕ ИЗВЕСТИ У ВЕНГЕРСКИХ КРЕСТЯН

Ф. Бако

Р е з ю м е

Известь играет огромную роль в тысячилетнем развитии человеческой материальной культуры. Известь добывается путем обжигания известняка. Эта статья посвещена описанию тех способов, которыми эту работу производили лесные рабочие венгерской и словакской национальностей, живущие в северной гористой части Венгрии (горы Быкк). В введении статья дает исторические перспективы, а затем знакомит с тем, в каких именно селах исследованной области (см. карту.) и в какой степени была развита промышленность обжигания извести, или торговля ею. (Известь в капиталистической системе и розничная торговля известью в деревнях.) Целью статьи является описание этого древнего технического способа производства, различных форм рабочих содружеств, их образ жизни, освоение производственного процесса работ и способы сбыта. Описанные таким образом в разных местах, различные явления, при помощи исторических источников, освещают отдельные этапы исторического развития.

В первой части настоящей статьи описана только техника обжигания извести, остальной материал будет опубликован в следующем номере. Описания придерживаются следующего порядка: 1. Показывается тожественность и различия в пользовании орудиями производства, в методах и в номенклатуре специфических слов и выражений обжигателей извести в каждом из семи исследованных мест. 2. Указывается на изменение в порядке работ с течением времени, на основании единственного источника-предании, из которого можно было почерпнуть эти данные. 3. Изыскание причин изменений.

Порядок работ начинается с выкопки ям для обжигания (II гл. точка 1). Ямы круглой формы, в большинстве случаев выкапывают ее на склоне горы. Со стороны долины строят стену до уровня противоположной, выкопанной в горе, стены. Постройку стены не заканчивают до конца, оставляя отверстие для топки (рот). С обеих сторон отверстия ямы строятся две подпорных стен, под углом в 90° друг другу, с целью укрепления наружной стены. Дно ямы окружено вырезанным в земле карнизом и имеет корытообразную форму, здесь производится топка.

Известняк берется с поверхности, выкапывается, или же добывается посредством взрывов (точка 2). Иногда каменоломля находится непосредственно около ямы для обжигания, а иногда на растоянии нескольких километров, смотря по обстоятельствам известняк переносят или ручным способом на плечах, с помощью жерди, в корзинках, в носилках, на санках, или же на телегах.

Известняк в яме для обжигания складывается в виде свода и это построение называют печью. (Точка 3.) Нижний слой камня этой печи кладется непосредственно на оставленный в земле карниз, следующий слой, более крупных камней, кладется на первый и так до верха свода, который складывают из самых крупных камней, и замыкают в середине уровне стен ямы. Пространство между луком свода и стеной заполняют мелкими камнями. Отверстие для топки в наружной стене оставляется и в стене свода печи оно также имеет сводчатую форму и называется ртом печи. Поверх свода и камней, которые заполняют отверстие между стеной ямы и сводом, складывается из камня конус высотой до 2—3 метров, он находится над поверхностью земли и называется стогом. Существуют два способа для замазывания стога мальтером: или стог замазывают сплошь, или же на него накладывают сверху плоские, круглой формы, лепешки из мальтера. Способы изоляции нижней части стога от наружного воздуха различны в разных местах.

Помимо известняка, вторым по важности сырьем для обжигания, является дерево. Известняковую печь топят до тех пор, пока CO_2 не отстранят полностью, и известняк не превратится в известь. В последнее время, начиная с 1940 года, за недостатком соответствующих дров для топлива, которых обжигальщики не могут получить, как топливо употребляются ветки от деревьев. В зависимости от расстояния, на котором находится топливо, различны и способы его доставки — последнее транспортируется на санях, влачением по земле, с прицепом на передок телеги, или же на телегах.

Перед новой топки необходимо место для топки очистить от остатков предыдущей топки, собрать известняковую пыль и древесный уголь. (Точка 5). Мастерство обжигания извести в последнее время значительно диференцировано, чистка печки производится теперь совершенно самостоятельно.

Поджигание печи (точка 6) в некоторых местах сопровождается торжественными формальностями. Обжигатели сохранили до сих пор несколько первобытных способов поджигания печи. В зависимости от сорта известняка, существуют несколько способов

топки печи. Один из сортов известняка требует двократной топки. Первая топка производится в течении краткого времени, после чего печь тушат. Вторично печь поджигают уже тогда, когда камень совершенно остывает. Между прочим печь, построенная из сорта камня, который трескается при топке, может обрушиться.

Топка продолжается в среднем 72 часа (точка 7). Обжигатели утверждают, что для проведения топка необходимы большие специальные знания, т. е., при неправильной топке, обжигание известняка не будет преведено полностью. Существуют особые орудия, которые употребляются для топки, и которые различны, в зависимости от места, где обжигание производится. Обжигатель должен уметь во-время удалить препятствия и неправильности, которые встречаются в процессе обжигания, иначе его труды пропадут даром. После окончания топки, печь оставляют один день охладиться и после этого вынимают известь (точка 8). Для вынимания извести из печи, обжигатели употребляют защитные приспособления на руках. Известь складывается в корзины на краю печи и покупатель обычно сам вывозит готовую известь. Еще в 1949 году существовали четыре способа для реализации извести ; а именно при посредничестве : 1. государственных предприятий и торговцев, 2. базарных торговцев, 3. деревенских торговцев-развозчиков и 4. торговок-разнощиц в деревнях. В настоящее время исчезла возможность эксплоатации обжигателей со стороны торговцев и только национальные предприятия являются единственными посредниками между обжигателями известняка и трудящимися.

ETHNOGRAPHISCHE BEZIEHUNGEN DES RUSSISCHEN WORTES „ВЕНГЕРЕЦ" („WANDERNDER, HAUSIERENDER HÄNDLER")

Von
BÉLA GUNDA

Ethnographisches Institut der Universität Debrecen

Laut des Wörterbuches von *D. N. Uschakow* hat das russische Wort венгерец (pl. венгерцы) zwei Bedeutungen: 1. Ungar; in Ungarn gebürtiger Mann; 2. wandernder Händler, Hausierer (Dialektwort, bes. im südlichen Teil der Sowjetunion).[1] Vermutlich fand das Wort венгерец auf Grund des Wörterbuches von *D. N. Uschakow* in das grosse russisch-ungarische Wörterbuch von *L. Hadrovics* und *L. Gáldi* mit der Bedeutung 'wandernder Händler' *(vándorkereskedő)* Eingang.[2] *J. Erdődi* war es, der die Aufmerksamkeit des Verfassers auf den Umstand lenkte, dass das Wort венгерец auch in dem 1868 veröffentlichten Theaterstück На всякого мудреца довольно простоты (III. Akt, 3. Auftritt) des russischen Lustspieldichters *A. N. Ostrowski* (1823—1886) vorkommt. Im erwähnten Auftritt erscheint im Hause einer aus einer Kaufmannsfamilie stammenden, frommen, wohltätigen Frau ein unbekannter Wandersmann. Der Diener nennt ihn zuerst einen »Asiaten«. Die Frau hält ihn — ungesehen — für einen Griechen. Dann bezeichnet ihn der Diener als »венгерец, einen zottigen, mit Haar bewachsenen Mann«. Jene Art von венгерцы, »die mit Mäusefallen handeln«.[3]

Nach der Meinung von *Z. Trócsányi* waren diese венгерцы, hausierenden Händler, vielleicht moldauische oder bukowinische *Csángós*.[4] *(Csángó* ist der Name der in der Bukowina oder in der Moldau lebenden ethnischen Gruppe der Ungarn. Sie siedelten 1941 nach der Bácska, später, im Jahre 1945, nach Transdanubien um.) *Z. Trócsányis* Annahme ist aber ganz und gar unwahrscheinlich. Dagegen befindet sich *Ö. Beke* auf der rechten Spur, wenn er der Mitteilung *J. Erdődis* hinzufügt, dass die aus Ungarn stammenden венгерцы slowakische Rastelbinder waren.[5] Schliesslich weist *P. I. Melnikow* darauf hin, dass die венгерцы reisende Kleinhändler waren, die sich hauptsächlich aus den Reihen der Slowaken rekrutierten. (Vgl. das weiter unten zit. Werk *M. Vasmers.)*

[1] Ушаков, 1935, Bd. I, S. 246.
[2] *Hadrovics—Gáldi*, 1951, S. 73.
[3] Островский, 1950, S. 143; *Erdődi*, 1951, S. 358.
[4] *Trócsányi*, 1951, S. 129—130.
[5] Magyar Nyelvőr, LXXV. Budapest, 1951, S. 358. (In den Fussnoten.

Die ethnographische Literatur und die noch lebenden Überlieferungen hüten unzählige Andenken an die auf russischem Boden herumziehenden венгерцы, Wanderhändler, wandernden Handwerker.

Zuerst einige Worte über die Rastelbinder.

Vor dem ersten Weltkrieg war als das Hauptnest der slowakischen Rastelbinder auf slowakischem Volksgebiet die Ortschaft Vel'ké Rovné (Komitat Trenčin) anzusprechen.[6] Viele Rastelbinder wohnten in den damaligen Bezirken Ćadca und Vel'ká Bytča (Komitat Trenčin).[7] Ausserdem waren sie auch in der Zips (slow. Spiš) und im Komitate Zemplén anzutreffen.[8] Meines Wissens waren die südlichsten Rastelbinderdörfer im Komitate Zemplén die nahe bei Sárospatak gelegenen Dörfer Vágáshuta, Kishuta und Nagyhuta (Ungarn). Die Bewohner dieser Dörfer verdienen ihr Brot auch heute noch hauptsächlich als Rastelbinder und als Fenstermacher (Scheibenglasschneider).[9]

Auch in den slowakischen historischen Sagen finden sich Hinweise auf den Ursprung des Rastelbindertums. Zur Zeit des die Armen begünstigenden slowakischen Räubers Juro Jánošík (XVIII. Jh.) lebten Vel'ké Rovné und die benachbarten Dörfer Kolárovice und Petrovice unter der Herrschaft eines Grundbesitzers namens Popra, dessen Sitz sich in Pov. Podhradie befand. Jánošík hatte in jedem Dorfe einen Getreuen, der ihm zugetan war. Auch die Einwohner von Vel'ké Rovné unterstützten ihn, doch als es hiess, den Kampf mit der Herrschaft offen aufzunehmen, bekamen sie es mit der Angst zu tun und verrieten Jánošík. Dieser zürnte deshalb den Bewohnern des ungetreuen Dorfes und verfluchte sie: »Nehmet Draht und Zange und ziehet hinaus in die Welt als Rastelbinder!« Mit diesen Worten wollte Jánošík kund tun, dass sie keines anderen Handwerks, keiner besseren Arbeit würdig seien. Ein gewisser Pal'o machte sich tatsächlich auf den Weg und zog in die Welt, um »mit Draht umzubinden«. Er geriet in den Wirbel der Welt und es ging ihm gut. Von seiner Reise heimgekehrt, wählte er sich einige Helfer aus, um mit ihnen nochmals nach den fernen Ländern zu ziehen. Später verliess er aber verräterisch seine Freunde, nahm das gemeinsame Verdienst zu sich und blieb seit dieser Zeit verschollen.[10]

Nicht nur in der Sage, auch in der Wirklichkeit durchzogen die slowakischen Rastelbinder die Welt. Der Grund für ihre Wanderung liegt indessen nicht in Jánošíks Flüchen, sondern in den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Verhältnissen des XVIII. und XIX. Jahrhunderts. Der bebaubare Boden war spärlich und von schlechter Qualität, in der Umgebung ihrer Dörfer konnten die Bauern keine Arbeit erhalten, darum waren sie gezwungen, sich auf die

[6] *Bednárik*, 1943, a. S. 222; *Bednárik*, 1943, b. S. 210.
[7] *Zat'ko* 1931, S. 101, 144, 160, 165; *Pechány*, 1913, S. 124.
[8] *Pechány*, 1913, S. 124; *Bednárik*, 1943, a. S. 230. Hier erwähnt der slowakische Ethnograph die Rastelbinder der Zipser Magura.
[9] Meine eigene Sammlung.
[10] *Bednárik*, 1943, a. S. 222, 224.

Wanderung zu machen. Die slowakischen Rastelbinder steckten ihre wenigen Werkzeuge in die auf ihrem Rücken getragene hölzerne Bütte (slow. *krošňa* oder *klomfa)*, nahmen Draht und Blech zu sich und machten sich auf den Weg, um weit entfernte Länder zu besuchen. Ging der Draht oder das Blech unterwegs aus, so kauften sie sich in den Geschäften neuen Werkstoff. Als man noch in



Abb. 1. Slowakischer Rastelbinder. Nach *Heinbucher*, 1820, No. 14

den Küchen irdene Gefässe gebrauchte, beschäftigten sie sich mit Drahten. Sie drahteten das geborstene irdene Gefäss zusammen oder umspannen es noch vor dem Bersten mit einem Drahtnetz, um es dauerhafter zu machen. Später lernten sie das Flicken von Blech- und Emailgeschirr, eigneten sich das Klempnerhandwerk an und verfertigten aus Draht und Blech Körbchen, Eimer, Schüsseln, Spielzeug, Siebe, Mäusefallen, Käfige, Kleiderhaken usw., die sie auf ihren Wanderungen verkauften. Viele von ihnen besuchten Gebiete, wo das

Emailgeschirr noch unbekannt war und einige von ihnen bereisten sozusagen die ganze Welt.[11]

Vom Gesichtspunkt des Unternehmungsgeistes, der Geschicklichkeit, des Charakters ihrer Arbeit und ihrer materiellen Lage lassen sich die slowakischen Rastelbinder in drei »Klassen« einteilen. In die erste gehören diejenigen, welche nur auf Gebieten herumwanderten, die von Slowaken bewohnt waren; die zweite Gruppe bestand aus solchen, die das Gebiet der früheren österreichisch-ungarischen Monarchie durchzogen. Die geschicktesten, durchtriebensten besuchten ferne Länder. Viele von ihnen siedelten sich dort an, richteten Werkstätten ein und liessen die fertigen Waren durch ihre herumwandernden und hausierenden Gehilfen verkaufen, die sich zugleich auch mit Rastelbinden beschäftigten. Solche Werkstätten hatten die slowakischen Rastelbinder vor dem ersten Weltkrieg in Leningrad, in Moskau, in Kiew, in Kujbischew, in Tiflis, in Astrachan, in Baku, in Odessa, in Stalingrad, in Kasan, in Orel und in Buchara errichtet.[12] Von diesen Städten aus zogen die hausierenden Rastelbinder bis an die chinesische Grenze, in die Gegend von Tobolsk, Tomsk, Irkutsk, ja sogar bis nach Kamtschatka. Sie waren genau so in der Kaukasusgegend, wie am Kaspischen Meer zu Hause.[13] In den grösseren russischen Städten (Moskau, Leningrad, Kiew) gab es mehrere solcher slowakischer Werkstätten. In einigen von ihnen arbeiteten mehrere hundert Arbeiter, unter denen sich später — mit der Entwicklung der Werkstätte — ausser den Slowaken auch Grusiner, Armenier, Tschuwaschen, Baschkiren, Chinesen usw. befanden. Die slowakischen Rastelbinder wurden in Russland »majsterské vengercov«[14] genannt. Die aus der Gegend von Rudina, von Kysucké Nové Mesto stammenden slowakischen Rastelbinder behielten auch unter den Russen ihre Volkstracht. Andere Rastelbinder zogen in der Kleidung der Handwerker oder Fabrikarbeiter durch die endlose russische Landschaft. Im Winter trugen sie jedoch russische Kleider, da diese einen besseren Schutz vor der grossen Kälte gewährten.[15]

Am meisten wissen wir bisher über die auf russischem Boden herumkommenden wandernden Heilölhändler (Ölkrämer, slow. *olejkár*). Die Heilölhändler kamen aus den Dörfern des Komitates Turiec. Im XVIII. und XIX. Jahrhundert waren die folgenden Ölkrämerdörfer berühmt: Kláštor pod Znievom, Valča, Trebostovo, Karlová, Belá, Mošovce, Turčianska Blatnica.

[11] *Bednárik*, 1943, a. S. 224, 226; *Bednárik*, 1943, b. S. 211; *Pechány*, 1913, S. 123.

[12] *Bednárik*, 1943, a. S. 226—227; *Bednárik*, 1943, b. S. 211—212; *Matter*, 1899, S. 66; *Zat'ko*, 1931, S. 102.

[13] *Matter*, 1899, S. 66; *Pechány*, 1913, S. 123.

[14] *Bednárik*, 1943, a. S. 228.

[15] *Matter*, 1899, S. 68. Wir wissen gleichfalls von lemakischen (ukrainische Volksgruppe im nördlichen Teil der Komitate Spiš, Šariš und Zemplin) Rastelbindern und wandernden Händlern, die auch Russland besuchten. Sie kamen zumeist aus den Zipser Dörfern. »In Südrussland waren sie in den kleinen, „hinter Gottes Rücken" gelegenen ukrainischen Dörfern willkommene Gäste. Die russische Regierung verwies sie jedoch des Landes, da sie angeblich von Revolutionen, von Bauernaufständen klat chten.« *Bonkáló*, o. J. S. 98. Vgl. noch *Bidermann*, 1862, S. 132.

Die wandernden Heilölhändler quacksalberten in ganz Europa mit verschiedenen Ölen, Heilkräutern, Wurzeln, Salben und Pulvern. Ihre wertlosen »Heilmittel« verkauften sie mit gewaltigem Nutzen dem leichtgläubigen Volk. Der kgl. Statthaltereirat veröffentlichte 1803 ein Büchlein: in diesem *Knižečka Olegkárska, která Vžitek nekterjch zwlásstnjch Olegu wypisuge* sind die Waren aufgezählt, die sie verkaufen dürfen.[16] Vor 1786 betrug die Zahl der verschiedenen Gebiete Österreich-Ungarns, Deutschlands, Schwedens, Polens und Russlands bereisenden Heilölhändler etwa 3000.[17] In Russland gerieten sie bis zum Ural, ja sogar nach dem fernen Osten in die Amurgegend oder in den Kaukasus. Sie besuchten auch China und Persien.[18] Bis zur russischen Grenze fuhren sie mit ihren Wagen; dort verkauften sie ihre Fuhrwerke und trugen nunmehr nur die notwendige Ausrüstung auf dem Rücken mit sich. Die mit ihnen reisenden »Gehilfen« nennen ihre Meister »Doktor«. Wegen ihrer ungarischen, husarenähnlichen Tracht waren sie auch unter dem Namen »*vengerci, husári*« (Ungaren, Husaren) bekannt.[19] Sie trugen das Öl, die »Arzneien« in einer eigenen kleinen Kiste mit vielen Schubladen (slow. *skrinka olejkárska*).[20] Anscheinend gelang es ihnen oft, das leichtgläubige Volk in Verwunderung zu versetzen und mit ihrer Tätigkeit allgemeine Befriedigung hervorzurufen: so schenkte am Ende des XVIII. Jahrhunderts ein russischer Magnat ein grosses Vermögen einem aus Kláštor pod Znievom stammenden Ölkrämer, der ihn mit seinen »Wundermitteln« geheilt hatte.[21] Im ersten Jahrzehnt des XIX. Jahrhunderts ziehen sie in zunehmender Zahl in Russland herum. Ihre Person, ihre Tätigkeit beschäftigen auch häufig die Behörden. 1831 entzieht eine höhere Verordnung den nördlichen Komitaten des damaligen Ungarns das Recht, nach Russland gültige Reisepässe für die Heilölhändler auszustellen.[22] 1835 treffen Österreich, Russland und Sachsen ein Übereinkommen, laut dessen sie die Waren der ergriffenen Heilölhändler konfiszieren und diese selber ins Arbeitshaus internieren werden.[23] Zuletzt befanden sich die Heilölhändler 1842 in grösserer Zahl in Russland: in diesem Jahre verwies sie eine Verordnung des Zaren aus dem Lande; das Volk nahm sie jedoch auch später gerne auf. Um die Aufmerksamkeit nicht auf sich zu ziehen, gaben sie ihre schmucke, reich verzierte ungarische Kleidung auf und kleideten sich in »Blau«, d. h. trugen ein einfaches, aus in Prievidza verfertigtem Tuche zugeschnittenes Kleid.[24] Am Anfang des gegenwärtigen

[16] Siehe die in den Fussnoten 18, 19, 20, 22 und 27 angeführte Literatur. Der Text der *Knižečka Olegkárska* wurde von *J. Hrozienčik* veröffentlicht.
[17] *Schwartner*, 1809, S. 200.
[18] *Csippék*, 1907, S. 247, 248; *Csaplovics*, 1829, S. 91—92.
[19] *Csippék*, 1907, S. 266; *Magyary-Kossa*, 1929, S. 162—167.
[20] *Polonec*, 1940—1941, S. 30.
[21] *Tóth*, 1899, S. 78.
[22] *Csippék*, 1907, S. 265. Über die verschiedenen behördlichen Massnahmen, die sich auf die Ölhändler beziehen, s. noch: *Hrozienčik*, 1938—1939, S. 1—13.
[23] *Magyary-Kossa*, 1929, S. 166.
[24] *Csippék*, 1907, S. 266.

Jahrhunderts schreibt *J. Csippék* folgendermassen über sie: »Die abenteuerlichen Heilölhändler sind jetzt mit wenigen Ausnahmen zum Spaten und zur Hacke zurückgekehrt und dort, wo sie noch einen nach Russland gerichteten Wanderhandel treiben, ist dieser keine Kurpfuscherei mehr, sondern ein Hausieren mit Textilwaren und Nürnberger Waren, das übrigens gleichfalls in den letz-



Abb. 2. Slowakischer Leinwandhändler. Nach *Heinbucher*, 1820, No. 5

ten Zügen liegt.«[25] Nach *A. Polonec* — einem die Ethnographie des Komitates Turiec wohl kennenden slowakischen Ethnographen — hausierten diese Leute auch mit Safran und anderen kleineren Waren.[26]

Es wird vielleicht nicht ohne Interesse sein, jene ältere Beobachtung aufzufrischen, dass die Olejkaren auch viel Russisches an ihre Geburtsorte

[25] *Csippék*, 1907, S. 267.
[26] *Polonec*, 1940—1941, S. 30.

verpflanzten (den Samowar ; das russische Geschirr an ihren Pferden ; das Antreiben der Pferde nach russischer Sitte ; das Tragen russischer Kleider). Angeblich bürgerte sich das unter den slowakischen Bauern verbreitete Teetrinken durch ihre Vermittlung ein. Sie waren es nämlich, die die Herrenhäuser mit geschmuggeltem russischem Tee versahen.[27]

Die Gestalt des Olejkaren hat ihre Spuren auch in den osteuropäischen Volksbräuchen hinterlassen. In polnischen Weihnachtsspielen (Umgebung von Krakow) beten auch der mit Öl handelnde Slowake und der ungarische Husar die Krippe in Betlehem an. Der Husar war früher ein ungarischer Kaufmann, dessen Gestalt in einigen Texten mit dem Arzt und dem »ärztlich« tätigen slowakischen Heilölhändler verschmolzen war.[28]

Schon seit 1584 erwähnen die ungarischen Wortsammlungen, Wörterbücher und botanischen Werke den slowakischen Safran.[29] Der Name *tót sáfrány* (slowakischer Safran) kommt daher, dass der Safran in den Komitaten Nitra und Turiec von den slowakischen Bauern gepflanzt und durch sie in ganz Ungarn und dem damaligen Osteuropa verbreitet wurde. Die hausierenden Safranhändler (slow. *šefranik)* handelten besonders seit dem XIX. Jahrhundert mit verschiedenen Textilien, Bändern, Handschuhen, Ringen, Ohrgehängen und ausser dem Safran auch mit anderen Gewürzen. Die Safranhändler von Turiec — schreibt *E. Fényes* — kaufen in Wien und anderswo in den Fabriken Seiden-, Baumwoll- und Galanterienwaren sowie Bänder auf, um diese in Ungarn und Galizien, in Polen und Russland zu verkaufen.[30] Sie leben oft jahrelang fern von der Heimat und mehrere von ihnen haben sich in den grösseren Städten, so auch in Moskau, niedergelassen.[31] Die aus dem Komitate Turiec stammenden Safranhändler trugen den Safran in einer kleinen Kiste (slow. *pudlo)* auf dem Rücken.[32]

Die slowakischen Safranhändler hatten — ähnlich den in den Alpen herumwandernden Kesselflickern, Schirmflickern, Sägenfeilern, Strohflechtern, den bis nach Sizilien ziehenden Kaminfegern — eine eigene Geheimsprache und eigene Geheimzeichen zur Bezeichnung der Preise. Diese Geheimsprache entwickelte sich als eine Folge ihrer wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lage und ihrer Handelstätigkeit. Die Geheimsprache der Safranhändler bestand aus verschiedenen Elementen : sie änderten den Sinn bekannter Wörter, grammatische Formen, bildeten neue Wörter, übernahmen fremde — hauptsächlich

[27] *Csippék*, 1907, S. 267 ; *Prónay*, 1855, S. 81—86 ; *Polonec*, 1940—1941, S. 30, 38. Über die diesbezüglichen Fragen s. noch : *Gunda*, 1949, S. 147.

[28] *Czaja*, 1905, S. 17—50, 130—161. Eine Besprechung des Werkes von *St. Czaja* finden wir in Néprajzi Múzeum Értesítője (VIII. Budapest, 1907, S. 187) aus der Feder von *J. Ernyey*. Hier berufe ich mich auf diese Besprechung, die das obenerwähnte Werk zusammenfasst.

[29] *Szarvas—Simonyi*, 1891, S. 1491. Aus der botanischen Literatur s. z. B. *Csapó*, 1792, S. 232.

[30] *Fényes*, 1843, S. 491 ; *Csaplovics*, 1829, Bd. II, S. 92—93.

[31] *Pechány*, 1913, S. 133—134 ; *Csippék*, 1910, S. 226—242.

[32] *Polonec*, 1940—1941, S. 30.

lateinische, ungarische und russische — Wörter.[33] Auf ihren Geschäftsreisen in Russland gebrauchten sie andere Geheimzeichen, als wenn sie sich in Polen befanden. So bedeutete z. B. in Russland 0000 einen Rubel und dieses Zeichen nannten sie *vrabec* (Sperling). Wegen ihrer Geheimzeichen hatten sie oft mit den russischen Behörden zu tun. Nach der Überlieferung wurde ein Safranhändler von den russischen Behörden verhaftet, da man in den bei ihm gefundenen Geheimzeichen eine Art von »Chiffre« vermutete. Den übrigen Safranhändlern gelang es nur schwer, die Unschuld des Angeklagten zu beweisen.[34]

Die Geheimsprache ist auch bei den russischen wandernden Händlern — афе́ня, офе́ня — nicht unbekannt. Diese афе́ни hausierten in den Kleinstädten, in den Dörfern mit Büchern, Papier, Seide, Nadeln, Ohrgehängen, Ringen, mit Käse und Wurst. Die афе́ни wohnten im Kowrowsker Bezirk des Gouvernements Wladimir, doch gab es solche Händler auch in der Umgebung von Kostroma und Twer. Die афе́ни nannten sich untereinander масык, d. h. »unser Mann«, »unser eigener Mann« (unsereiner), oder обзетильник, d. h. »Betrüger«. In ihrer Geheimsprache gab es griechische Wörter, russische Wörter mit einer neuen Bedeutung; sie bildeten auch neue Wörter usw.[35] Das Wort афе́ня kann auf das mittelgriechische *ἀφέντα*, »Herr«, zurückgeführt werden.[36] Interessant ist in dieser Beziehung die ältere Ansicht, nach welcher der Name афе́ня, офе́ня der russischen wandernden Händler von demjenigen der Stadt Ofen (Pest) bzw. von den slowakischen Wanderhändlern herrührt, die aus dem damaligen Ungarn (aus der Stadt Ofen?) nach Russland gekommen waren.[37]

In Gesellschaft meiner slowakischen Fachkollegen Dr. Ján Mjartan und Dr. Andrej Polonec sammelte ich am 3. August 1953 im Dorfe Turčianska Blatnica. Dort hatte ich Gelegenheit, mit vier alten slowakischen Bauern, dem 75jährigen Ján Kováčik, dem 74jährigen Mikuláš Červeň, mit dem 70jährigen Matúš Líška und dem 80jährigen Jozef Lauček zu sprechen, die vor dem ersten Weltkrieg als wandernde Händler lange Jahre in Russland verbracht hatten. Sie handelten nicht mehr mit Safran oder mit Öl, sondern nur mit Galanteriewaren: Kämmen, Knöpfen, Scheren, Messern, Rasiermessern, Bleistiften usw., ja sogar mit Kleidungsstücken und Schuhen.

Sie kamen auch nach Bessarabien, wo Kischinew ihr Handelszentrum war, sowie in die Gegend von Poltawa; ihr hauptsächliches Tätigkeitsgebiet war jedoch Sibirien. Sie gelangten in die Gegend von Tschita, wo Matús Líška eine

[33] *Hrozienčik*, 1945—1946, S. 149.
[34] *Hrozienčik*, 1945—1946, S. 151—152.
[35] Даль, 1903, Bd. I, S. 76—77. Siehe noch: Ушаков, 1938, Bd. II, S. 1020; Даль, 1903, Bd. I, S. 76; Даль, 1903, Bd. II, S. 210, erwähnt noch andere russische Geheimsprachen, z. B. die Sprache der Bettler von Twer. Diese Frage hat eine sehr grosse Literatur: *Unbeguan*, 1953, S. 158—164.
[36] *Preobrazhensky*, 1951, S. 671.
[37] Vgl. Даль, 1903, Bd. I, S. 76.

längere Zeit (von 1905 bis 1909) verbrachte. Sie waren auch östlich von Tschita in Nertschinsk. Sie hausierten ebenfalls in der Gegend von Samarkand und Taschkent. Zu Fuss oder zu Wagen zogen sie nach den fernen sibirischen Gegenden. Es gab manchen slowakischen Händler, der seine Ware auf dem Rücken trug, aber wenn es ihm besser ging, sich ein Pferd und einen Wagen kaufte. Pferd und Wagen brachten sie jedoch nicht in die Heimat zurück, son-



Abb. 3. Slowakischer Ölhändler. Nach *Prónay*, 1855, S. 56—57

dern sie verkauften diese auf dem Rückweg, als sich eine günstige Gelegenheit dazu bot. Jozef Lauček bereiste 1897 das europäische und asiatische Russland zu Pferde. Später benutzte er auch die Eisenbahn.

Im allgemeinen hausierten sie nur in sog. »besseren Häusern«. Die verhältnismässig wohlhabenden slowakischen Händler richteten in grösseren Städten Geschäfte ein. In Samarkand besass ein aus dem Komitate Turiec stammender Mann namens Duhaj ein Geschäft, in welchem auch Mikuláš Červeň arbeitete. Im Geschäft bekam man so ziemlich alles, von den Pantoffeln und Kleidungsstücken bis zur goldenen Uhr. Die verschiedensten Nationalitäten suchten dort die Waren, derer sie bedurften. Červeň erinnerte sich daran, dass z. B. die Sarten hauptsächlich Gewehre kauften. In Tschita, in Nertschinsk waren ihre Kunden vor allem Mongolen. An diesen Orten hielt sich Ján Kováčik, wie das auch andere slowakische wandernde Händler taten, einen chinesischen

Diener. Über die Geschäftstür schrieb man : »Slawiansky Magazin« ; darunter malte man den Namen des Eigentümers. Draussen im fernen Sibirien passten sie sich an die dortigen Lebensformen an. Im Winter gingen sie im *kožuch* (grosser Pelzmantel) herum und trugen die aus Filz gearbeiteten russischen Stiefel *(katanki)*.

Mikuláš Červeň war schon verheiratet, als er Russland besuchte. Er schickte seiner Familie 25 Rubel monatlich. Seine Felder wurden in der Heimat von seiner Frau und seinen Schwiegereltern bestellt.

Im europäischen Russland waren sie als *vengerci* (Ungarn) oder *cisarci* (die Kaiserlichen, da sie von einem Lande des Kaisers von Österreich herkamen), in Ostsibirien als *slaviane* (Slawen) bekannt.

Matúš Líška, 70jähriger Wanderhändler, zeigte seine sorgfältig aufbewahrten alten Dokumente, seinen 1902 ausgestellten Reisepass und die Briefe und Postkarten, die er aus den verschiedensten Teilen des europäischen und asiatischen Russlands seinen Eltern und Verwandten nach Blatnica geschrieben hatte. Eine seiner Ansichtskarten, die er aus Tschita schickte, ist in Abb. 4 zu sehen. Diese Karten und Briefe stellen sehr wichtige urkundliche Quellen des slowakischen Wanderlebens im XIX. und XX. Jahrhundert dar. Auf Grund der Poststempel kann man feststellen, in welchen Teilen des europäischen und asiatischen Russlands die slowakischen Hausierer verkehrten. Einen Teil dieser slowakischen Wanderhändler traf der Weltkrieg in Russland an, von wo sie erst 1918 heimkehren konnten. Für die Heimreise wählten manche von ihnen den Seeweg, d. h. die Umschiffung Asiens.

Nach Erzählung meiner Gewährsmänner lebten in Blatnica auch wandernde Händler, die nur Ungarn, Rumänien und Dalmatien besucht hatten.

Auf Grund der vor mehr als hundert Jahren erschienenen, äusserst wertvollen ethnographischen Beobachtungen von *J. Csaplovics* wird mehrfach auf den osteuropäischen Wanderhandel der Leinwandhändler (slow. *plateník)* hingewiesen. Nach *J. Csaplovics* zogen die Leinwandhändler aus den Komitaten Nitra, Orava (besonders aus dem Dorfe Bobrov, Komitat Orava) mit ihrer Leinwand bis nach Bulgarien, nach der Moldau und der Halbinsel Krim. Die Leute von Bardejow (Komitat Šariš) trieben Handel in der Richtung nach Polen.[38] *R. Bednárik* schreibt, dass die Leinwandhändler die Oravaer Leinwand nach Rumänien, Russland, der Balkanhalbinsel, Kleinasien, ja sogar nach Ägypten brachten.[39] Im Jahre 1830 hatte ein Oravaer Leinwandhändler in Alexandrien und in Jerusalem Niederlagen.[40] Die älteste auf den Leinwandhandel und auf die Oravaer Leinwandhändler bezügliche Angabe stammt unseres Wissens aus dem Jahre 1265.[41] Die »slowakische Leinwand« und die »slowakischen Spitzen«

[38] *Csaplovics*, 1829, Bd. II, S. 93, 94 ; *Fényes*, 1843, S. 11 ; *Pechány*, 1913, S. 135.

[39] *Bednárik*, 1943, a. S. 231. Über die slowakische Leinwandverfertigung und über die Leinwandhändler s. noch : *Polonec*, 1947, S. 91—108.

[40] *Hőke*, 1886, S. 2448.

[41] *Bednárik*, 1943, a. S. 230.

spielten im XVIII. Jahrhundert unter den kirchlichen Textilien der siebenbürgischen unitarischen Kirchen eine bedeutende Rolle, und der Einfluss der slowakischen Spitzen und Stickereien ist auch in der heutigen siebenbürgischen Textilornamentik nachweisbar.[42] Leinwand- und Spitzenhändler, die die Grosse Ungarische Tiefebene (Alföld) bereisten, haben auch die dortigen Behörden beschäftigt. Im Ratsprotokoll der Gemeinde Kismarja (Komitat Hajdu) lesen wir folgendes (1790): »Weiss der Zeuge, oder hat er etwas davon gehört, dass drei Tücher eines mit Waren handelnden Slowaken infolge der Geschicklichkeit der Schwiegertochter von Mihály Szász im Hause des Mihály Szász geblieben sind?«[43] Wie es scheint, hatte das slowakische Tuch das Gefallen der jungen Frau erregt und sie hatte es behalten, ohne dafür zu zahlen.

Die im Komitat Orava wohnenden slowakischen Leinwandhändler gehörten verschiedenen wirtschaftlichen und sozialen Gruppen an. Aus ihren Reihen wurden die Dorfrichter gewählt. Sie heirateten untereinander. Es gab unter ihnen selbständige — selbstverständlich nicht ins Firmenregister eingetragene — Kaufleute, die die Leinwand an wandernde Kleinhändler weiterverkauften; diese brachten dann die Leinwand mit dem Wagen oder auf dem eigenen Rücken von Dorf zu Dorf, von Markt zu Markt bis in die entferntesten Länder. Der Leinwandhändler, der einen Wagen besass, nahm einen »Burschen« auf, der auf das Fuhrwerk acht gab: dieser wurde dann später selber zu einem Leinwandhändler.[44]

Die Tracht der Leinwandhändler war von derjenigen der Bauern ihrer Dörfer verschieden. Ihre charakteristischsten Kleidungsstücke waren der hohe Kregen und die Halsbinde.[45] Die Leinwandhändler machten sich im Januar oder im Februar auf den Weg. Vor ihrer Abreise versammelten sie sich mit ihren Wagen im Hofe des Grosskaufmanns. Die Frau des Leinwandhändlers legte am 15. August geweihtes Brot und Gemüse in den Wagen; sie bespritzte den Wagen mit Weihwasser; unterdessen knieten sie alle neben den Wagenrädern nieder und beteten. Die Gattin eines der Leinwandhändler trat an den Wagen, der den Zug führte, besprengte auch die Pferde und die abfahrenden Händler mit Weihwasser, damit sie nicht auf dem Wagen einschliefen.[46] Über die Wanderschaft und die Arbeit der Leinwandhändler, über die Bearbeitung des vorzüglichen Flachses der Komitate Orava, Spiš und Liptov und über die Verfertigung der Leinwand bestehen in der Volksdichtung zahllose Denkmäler. Slowakische Sprichwörter, Rätsel und Volkslieder bewahren das Andenken der Leinwandhändler und der Herstellung der Leinwand.[47] So erinnert z. B. ein

[42] *Palotay*, 1947.
[43] Freundliche Mitteilung von Gy. Varga (Ethnographisches Institut der Universität Debrecen).
[44] *Bednárik*, 1943, a. S. 232.
[45] *Bednárik*, 1943, a. S. 232.
[46] *Bednárik*, 1943, a. S. 232.
[47] *Polonec*, 1947, S. 106—107.

slowakisches Volkslied an die in Debrecen (Grosse Ungarische Tiefebene) zechenden slowakischen Leinwandhändler.[48]

Zu den ganz Russland bereisenden wandernden Slowaken gehören auch die *sotakischen* Fuhrleute. (*Sotaken* wird die im östlichen Teil der heutigen Slowakei wohnende ethnische Gruppe der Slowaken griechisch-katholischer konfes-



Abb. 4. Slowakischer Ölhändler. Nach *Heinbucher*, 1820, No. 68

sion genannt.) Diese Fuhrleute wohnten hauptsächlich in den Dörfern Humenné, Sečovce, Vranov nad Topl'ou und lebten lange Jahre, in denen sie verschiedene Waren fuhren, fern von ihrer Heimat. Vor jeden Wagen spannten sie auch ein weisses Ross ein, damit der Fuhrmann nachts erkenne, wo seine Tiere weideten.[49]

[48] *Bednárik*, 1943. a. S. 232.
[49] *Csaplovics*, 1829, Bd. II, S. 114.

Die slowakischen Korbhändler stammten aus der Umgegend der Stadt Bardejov, u. zw. hauptsächlich aus den Dörfern Beloveža, Andrejová und Hažlin. In Russland drangen sie bis nach der Halbinsel Krim, bis zur chinesischen Grenze vor. Ihre Körbe schickten sie per Eisenbahn in die grösseren ausländische Städte, um dann damit weiter zu Fuss oder zu Wagen zu hausieren. Der hausierende Korbhändler nannte sich *košikár*. Laut einer Anekdote gelang es einem slowakischen Korbhändler, vor den Zaren selbst zu gelangen.[50]

Die slowakischen Fenstermacher (Scheibenschneider, slow. *oknár)* zogen über Galizien nach Russland und kamen bis nach Tiflis. Es gab unter ihnen einige, die sogar in Afghanistan auftauchten. Die Fenstermacher stammten zumeist aus Liptov.[51] *J. Csaplovics* charakterisierte ihr Leben vor mehr als hundert Jahren folgendermassen: »Glashändler sind meist aus dem Neográder, Gömörer, Trenchiner Comitate. Sie kaufen ihre Waare in den nächsten Glashütten und spazieren damit im Lande herum. Das Einschneiden der Fensterscheiben verstehen sie trefflich und jene, die von achteckigen, sogenannten Pfennig-Scheiben (ehemals kostete das Stück einen Ungrischen) künstlich zusammengesetzten, kaum 1□ Fuss messenden Fenster der Bauernhäuser (sie würden selbst für einen geübten Stadt-Glasermeister eine schwierige Aufgabe seyn) so schnell als wohlfeil zu verfertigen. Die Glashändler ziehen gewöhnlich 2—3 in Gesellschaft wegen Sicherheit und Ansprache herum.«[52]

Über den sog. *čipkar* aus Zvolen schreiben am Anfang des vorigen Jahrhunderts die ausgezeichneten Forscher *J. Csaplovics* und *E. Fényes*, dass die *čipkären* im nördlichen Teil des Komitates Zvolen wohnen und mit allerlei Waren handeln. So kaufen sie in Banská Bystrica gefärbte und bedruckte Leinwand, in Spania Dolina und Olováry Spitzen, in Rakytovce, Radvan nad Hronom Scheren und Kämme, und bereisen mit diesen Waren das ganze damalige Ungarn, ja sogar die Moldau und die Walachei.[53] Ohne Zweifel gerieten einige von ihnen auch nach Russland — ebenso wie die aus der Gegend von Vranov stammenden Slowaken, die in Siebenbürgen und in der Moldau rudelweise Pferde kauften und damit handelten.[54]

Die obigen Ausführungen dürften wohl hinreichend nachgewiesen haben, dass im XVIII. und im XIX. Jahrhundert, und später, bis zum ersten Weltkrieg, die verschiedensten slowakischen wandernden, hausierenden Händler und wandernden Handwerker auf dem Gebiet des damaligen Russlands herumzogen. Diese slowakischen Wanderer bereisten Russland von der Halbinsel Krim und von Moskau bis zu den fernsten Gebieten Sibiriens, vertreiben ihre Waren und besserten das Küchengeschirr der russischen Bauern aus. Da sich

[50] *Gyöngyössy*, 1899, S. 1—3.
[51] *Majláth*, 1892, S. 189—192.
[52] *Csaplovics*, 1829, Bd. II, S. 97.
[53] *Csaplovics*, 1829, Bd. II, S. 94—95; *Fényes*, 1843, S. 554.
[54] *Fényes*, 1837, S. 392.

der ständige Wohnsitz dieser wandernden slowakischen Kaufleute und Handwerker im damaligen Ungarn befand, hatten sie von ungarischen Behörden ausgestellte Dokumente ; einige Gruppen von ihnen (die Ölhändler) trugen eine Art ungarischer Tracht ; in ihre Geheimsprache mischten sie ungarische Wörter (besonders die Safranhändler), weshalb sie dann von den Russen венгерцы genannt wurden. Mit dem Aufhören der Handels- und Handwerktätigkeit der wandernden Slowaken im Russland wurde dann die Benennung венгерец zu einem der russischen Wörter, die einen wandernden, hausierenden Händler bezeichnen.

Das Wort венгерец ging nicht unmittelbar aus dem Ungarischen bzw. aus dem Slowakischen in die russische Sprache über, sondern durch polnische Vermittlung (poln. *węgier ;* vgl. noch poln. *węgier* »Ungar« > litauisch *veñgras* »ds.«[55]

Die Benennung *cisarci* oder цесарцы[56] für die slowakischen wandernden Händler stammt daher, dass diese Händler — nach russischer Auffassung — aus dem Reich des Kaisers von Österreich nach Russland kamen. Aus südlichem grossrussischem Gebiet nennt man, laut des Wörterbuches von *W. Dalj*, die Tschechen und die Ungarn цесарцы (sing. цéсарец) (Kaiserliche).[57]

LITERATUR

Bednárik, R., Hmotná kultúra slovenského l'udu. Slovenská Vlastiveda, Bd. II. Bratislava, 1943. a.

Bednárik, R., Slowakische Volkskultur. Bratislava, 1943. b.

Bidermann, H. I., Die ungarischen Ruthenen. Bd. I. Innsbruck, 1862. Bd. II. Innsbruck, 1867.

Bonkáló, S., A rutének. (Die Ruthenen.) Budapest, o. J.

Csaplovics, J., Gemälde von Ungern. Bd. I—II. Pesth, 1829.

Csapó, J., Uj füves és virágos magyar kert. (Neues ungarisches Herbarium und ungarischer Blumengarten.) Posony-Pest, 1799.[2]

Csippék, J., Adatok a felvidéki »olejkárok«, házaló gyógyszerárusok történetéhez. (Zur Geschichte der »Olejkáran«, d. h. wandernden Heilmittelhändlern aus Oberungarn.) Néprajzi Múzeum Értesítője, VIII. Budapest, 1907. S. 247—268.

Czaja, St., Szopka krakowska. Lud, XI. Kraków, 1905. S. 17—50., 130—161.

Даль, В., Толковый словарь живого велико-русского языка. Bd. I—IV. 3. Ausg. St.-Petersburg—Moskau, 1903—1909.

Erdődi, J., Orosz vengerec = házaló kereskedő. (Russisch wengeretz = hausierender Händler.) Magyar Nyelvőr, LXXV. Budapest, 1951. S. 358.

Fényes, E., Magyar országnak ... mostani állapotja statistikai és geographiai tekintetben. (Ungarns gegenwärtiger Zustand in statistischer und geographischer Hinsicht.) Bd. II. Pest, 1843.,[2] Bd. III. Pest, 1837.

Gunda, B., Wandering Healers, Medicine Hawkers in Slovakia and Transylvania. Southwestern Journal of Anthropology, Vol. 5. Albuquerque, 1949. S. 147—150.

[55] *Vasmer*, 1950, S. 182. Hier sei auch erwähnt, dass die Bauern einiger ostpolnischen Gebiete ihre Tiere nicht selbst kastrierten. Diese Operation wurde von aus »Österreich« kommenden Kastrierern ausgeführt, die die Pferde verschnitten. Diese wandernden Kastrierer wurden *»vengry«* genannt. *Moszynski*, 1929, S. 140, 171. — Vgl. noch die sehr alten französischen Ausdrücke *»cheval hongre«*, *»hongroyer«*, *»hongroyeur«*.

[56] *Vasmer*, 1950, S. 182.

[57] Даль, 1909, Bd. IV. S. 1259.

Gyöngyöss, L., Világjáró kosaras tótok. (Slowakische Korbhändler in der weiten Welt.) Budapesti Hir ap, XIX. Budapest, 1899. Nr. 148. S. 1—3.

Hadrovics, L.—Gáldi, L., Orosz-magyar szótár. (Russisch-ungarisches Wörterbuch.) Budapest, 1951.

Heinbucher, J. von Bikkessy, Pannoniens Bewohner in ihren volksthümlichen Trachten auf 78 Gemählden dargestellt; Nebst ethnographischer Erklärung. Wien, 1920.

Hőke, L., Vándorló tótok. Néprajzi tárca. (Wandernde Slowaken. Ethnographisches Feuilleton.) Fővárosi Lapok, XXIII. Budapest, 1886. S. 2447—2449.

Hrozienčik, J., Turčianski olejkári a ich osudy. Sborník Muzeálnej Slovenskej Spoločnosti. Bd. XXXII—XXXIII. 1938—1939. S. 1—13. Turčiansky Svätý Martin.

Hrozienčik, J., Z dejín slovenských šefraníkov. Národopisný Sborník. Bd. VI—VII. Turčiansky Svätý Martin, 1945—1946. S. 148—155.

Magyary-Kossa, Gy., Magyar orvosi emlékek. (Aus der Geschichte der ungarischen Heilkunde.) Bd. II. Budapest, 1929.

Majláth, B., A Felvidékről. (Von Oberungarn.) Vasárnapi Ujság, Bd. XXXIX. 1892. Nr. 11. S. 189—192.

Matter, J., Trencsénmegyei drótosaink. (Unsere Rastelbinder aus dem Komitat Trencsén.) Csurgó, 1899.

Moszyński, K., Ethnogeographische Studien in Ostpoler. Sonderabdruck aus »A Journey through the Eastern Provinces of Poland in the Year 1926«. Krakau, 1929.

Островский, А. Н., Полное собрание сочинений. Bd. V. Moskau, 1950.

Palotay, G., Tót csipke, tót himzés a XVIII. századi Erdélyben. (Slowakische Spitzen, slowakische Stickerei in Siebenbürgen im XVIII. Jahrhundert.) Kolozsvár, 1947.

Pechány, A., A magyarországi tótok. (Die Slowaken in Ungarn.) Budapest, 1913.

Polonec, A., Turiec z národopisného hl'adiska. Sborník Muzeálnej Spoločnosti, Bd. XXXIV—XXXV. Turčiansky Svätý Martin, 1940—1941. (Sonderabdruck.)

Polonec, A., Platenníctvo na Slovensku. Národopisný Sborník, Bd. VIII. Turčiansky Svätý Martin, 1947. S. 91—108.

Preobrazhensky, A. G., Etymological Dictionary of the Russian Language. New York, 1951.

Prónay, G., Esquisses de la vie populaire en Hongrie. Pesth, 1855.

Schwartner, M., Statistik des Königreichs Ungarn. Bd. I. Ofen, $1802._2$

Szarvas, G.—Simonyi, Zs., Magyar nyelvtörténeti szótár. (Ungarisches sprachgeschichtliches Wörterbuch.) Bd. II. Budapest, 1891.

Tóth, B., Magyar ritkaságok. (Ungarische Kuriositäten.) Budapest, 1899.

Trócsányi, Z., Magyar házaló és a magyar bor Oroszországban. (Ungarischer Hausierer und ungarischer Wein in Russland.) Magyar Nyelvőr, LXXV. Budapest, 1951. S. 129—130.

Unbeguan, B. O., A Bibliographical Guide to the Russian Language. Oxford, 1953.

Ушаков, Д. Н., Толковый словарь русского языка. Bd. I., II. Moskau, 1935, 1938.

Vasmer, M., Russisches Etymologisches Wörterbuch. Heidelberg, 1950.

Zat'ko, P., Domácka výroba najmä na Slovensku a na Podkarpatskej Rusi. Bratislava, 1931.

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ ДИАЛЕКТИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ РУССКОГО СЛОВА ВЕНГЕРЕЦ СТРАНСТВУЮЩИЙ ТОРГОВЕЦ

Б. Гунда

Р е з ю м е

Слово венгерец в русском языке, в частности в южных говорах имеет и значение ‚странствующий торговец'. На основании лингвистических, исторических и этнографических данных можно доказать, что в течение XVIII и XIX столетии и позднее, вплоть до начала первой мировой войны много странствующих торговцев и кустарей словацкого происхождения посещало разные области тогдашней России. Они исколесили рускую землю от полуострова Крыма и от Москвы до отдаленных мест Сибири, реализуя свои товары (постное масло, медикаменты, специи, одежду, карманные ножи, бритвы, иголки, ленты и т. п.) или починяя утварь и орудия русских крестьян. Так как постоянное местожительство этих торговцев и кустарей находилось на территории тогдашней Венгрии и они имели паспорта, выданные венгерскими властями, русские называли их венгерцами, тем более, что они носили иногда венгерские костюмы и вставляли венгерские слова в свой язык. Это значение слова венгерец осталось в русском языке и тогда, колда деятельность этих странствующих в России словаков прекратилась. Слово венгерец было заимствовано русским языком из польского. Название странствующих словацких торговцев цесарцы ~ писарцы объясняется тем, что эти словаки прибыли из империи австрийского »цесаря«.

VARIA

ВЫСТАВКИ МЕЖДУНАРОДНОГО ОТДЕЛА

Будапештского этнографического музея

Начиная с 1950 г. венгерская этнография обращала все большее внимание на вопросы передовой традиции и на вопросы, связанные с освободительными движениями колониальных народов. Этнографы поставили перед собой цель использовать результаты этнографической науки для поднятия культуры нашего народа средствами музеологии. Для этой цели были организованы в 1951 г. »Выставка, посвященная памяти Лайоша Биро« и тесно связанная с ней постоянная выставка »Острова Тихого Океана« (Народы Меланезии до колонизации и в наши дни) и в 1952 г. передвижная выставка »Жизнь и борьба за свободу колониальных народов«.

Выставка, посвященная памяти Лайоша Биро

Выставка была организована к двадцатилетию со дня смерти Лайоша Биро[1] (1856—1931) с целью познакомить посетителей с деятельностью великого естествоведа и этнографа. Она освещает исследовательскую работу Лайоша Биро в рамках исследования тихоокеанских островов. Расширение круга географических и этнографических знаний с XVI до XIX в. иллюстрируется выставленным материалом — копиями современных географических карт и гравюр и современными трудами. Из всего этого посетитель получает представление о том, настолько незначительными географическими и этнографическими знаниями мы обладали об островах Тихого Океана и о их населении вплоть до середины второй половины XIX в. За исключением открытий русских путешественников первой половины XIX в., до второй половины этого века не было проведено современной исследовательской работы, распространяющейся на несколько отраслей науки. Таково было положение до того времени, когда великий русский ученый Н. Н. Миклухо-Маклай начал свою работу в заливе Астролабе в Новой Гвинее. Показывая портреты и труды Миклухо-Маклая, организаторы выставки обращают внимание на множество родственных черт между великим русским ученым и Лайошем Биро. Труды, письма Лайоша Биро показывают, что между этими исследователями общие были не только область исследования, интерес к естественным наукам и к этнографии, а также их взгляды в вопросе колонизации и в теории о высших и низших расах. Гуманные и искренне демократические взгляды Биро вскрываются, между прочем, и в следующих словах: ». . . ныне уже нет диких людей, тем менее диких народов. Эти выражения показывают только стремление скрыть под красивыми выражениями наше невежество и наши предрассудки. Можно говорить о другом роде культуры, в этой культуре можно определить разные ступени, но с нашей стороны будет неправильно и нечеловечно ставить на высокий пьедестал европейскую культуру только для того, чтобы и не замечать

стоящих ниже нас народов. Истина в том, что закон развития человечества относится не только к нашему обществу а и к людям, живущим на любом захолустном месте земного шара.«

Следующие витрины выставки знакомят посетителей именно с этим Лайошем Биро. Экспонаты показывают точный и современный метод, которым Биро пользовался в своих экспедициях по естественным наукам и этнографии. Значение его деятельности в области естественных наук проявляется и в том, что в его коллекциях фигурируют около 2000, раньше неизвестных пород животных, 200 с лишним из которых были названы по его имени. Об его отличной собирательной работе в области этнографии свидетельствует коллекция из Океании, представляющая собой 10 000 предметов, снабженная богатыми рукописными нотами.

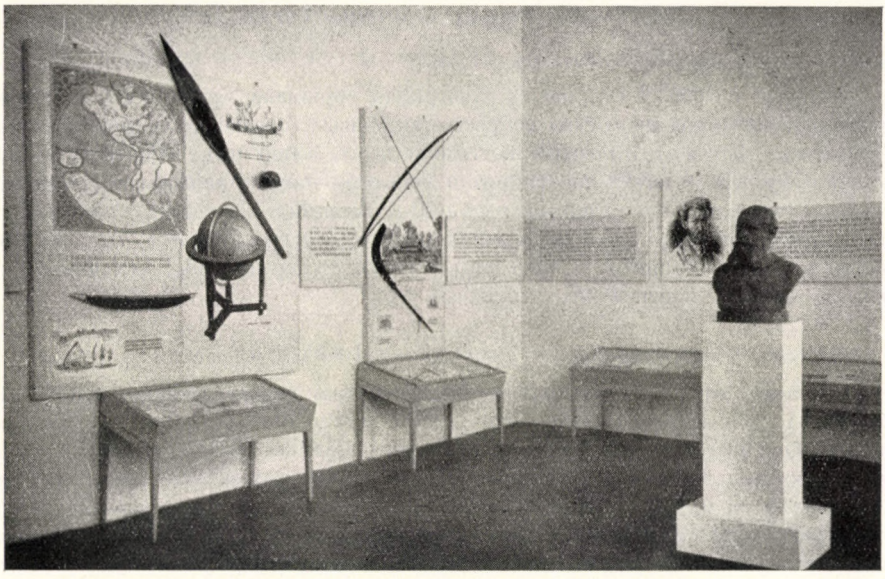


Рис. 1. Деталь памятной выставки

Острова Тихого Океана. (Народы Меланезии до колонизации и в наши дни)

Выставка показывает жизнь и культуру туземного населения, историю колонизации Меланезии на основе коллекций Лайоша Биро. Она стремится показывать средствами музеологии жизнь первобытного общества и начертить процесс преобразования происшедшего в нем под влиянием колонизации во второй половине XIX в.

Выставка знакомит посетителей с природой Меланезии, с ее географией, с антропологическими типами ее населения. Посетители видят характерные черты меланезийского общества ; показано, что до колонизации и в начальные период колонизации народности стояли на ступени развития первобытного общества — и в нескольких местах стоят на этой ступени даже сегодня. Их культура является культурой каменного века, они еще не знают методы обработки металла. На выставке показаны способы обработки камня и раковины и орудия примитивного земледелия.

В жизни населения побережья и маленьких коралловых островов, наряду с земледелием и морское рыболовство имеет большое значение, на нескольких местах оно даже является главным источником добычи пищи. Рыболовство достигло в Меланезии весьма высокой ступени развития. Все примитивные методы рыболовства известны. Кроме известных орудий рыболовства, в одной из витрин экспонировано специальное, известное только в Индонезии и на отдельных территориях Меланезии орудие рыболовства — змей. Мореплавание также достигло значительного развития. На снимках показываются разнообразные типы лодок, которые уже были пригодны к длинным морским плаваниям.

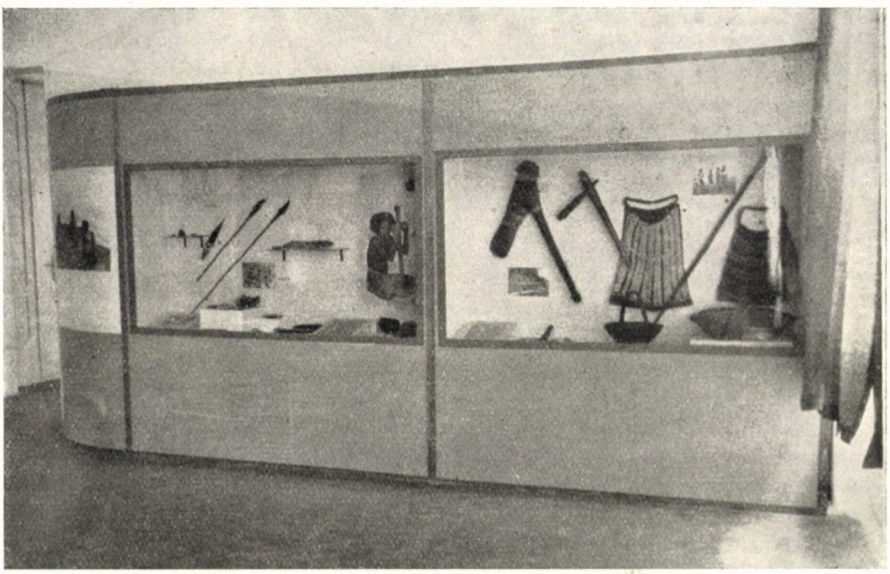


Рис. 2. Две витрины меланезуйского зала. (Каменная и раковиная техника и земледелие.)

В том же зале были выставлены важнейшие типы оружия, давая представление о значении войн в жизни народов Меланезии. Там же показан праздничный наряд туземца.

Второй зал выставки содержит материалы, характеризующие надстройку, и также материалы, относящиеся к вопросам колонизации. В витринах помещены богато украшенные бытовые предметы, музыкальные инструменты, играющие значительную роль и в культах. Посетитель может познакомиться с разнообразными группами масок — употребляемых главным образом при обрядах, связанных с достижением зрелости юношами а также и древних скульптур и резьб. Эту часть выставки завершает праздничный женский наряд.

Выставленные в другой части зала предметы позволяют следить за процессом разложения, преобразования до сих пор не тронутого туземного общества, приводящим к образованию туземного рабочего класса. Этот процесс начался в конце XIX в., в эпоху, названную Лениным эпохой экспансии главнейших европейских государств. В это время происходило и полное распределение Меланезии между разными европейскими державами. Острова попали под английскую, германскую, французскую власть.

Выставка показывает жестокое угнетение туземцев колонизаторскими державами. Среди других и оригинальные снимки Лайоша Биро и его замечания к ним иллюстрируют жестокость колонизаторов, приведшую во многих местах к истреблению населения.

Хозяйственно-общественные изменения, происшедшие в архипелаге — открытие золотых приисков, создание плантаций и, в нескольких местах, промышленных предприятий — привели к образованию рабочего класса в колониях. Этот рабочий клас увеличивается количественно, становится более организованным, и вместе с этим усиливается его борьба против колонизаторов, уже не мирится с эксплуатацией и с собственной гибелью. Нет сомнения — говорит касающаяся этого надпись — в том, что эта борьба колониальных народов приведет к их освобождению.

С технической стороны организаторы стремились, в рамках данных возможностей, к применению новейших достижений венгерской музеологии. В витринах они выставляли предметы согласно их функциям, в соответствии с способом их использования и в каждом случае иллюстрируют их снимками. К сожалению, для того, чтобы показать жизненные условия в настоящее время, музей не располагает предметным материалом ввиду чего организаторы выставки были вынуждены довольствоваться снимками, объяснениями и статистическими данными.

Жизнь и борьба за свободу колониальных народов. (Передвижная выставка.)

Важность этого вопроса подчеркнули и резолюции конгресса советских этнографов, состоявшегося с 23 января по 3 февраля 1951 г. И это, и политические соображения также побудили нас осуществить наш план познакомить венгерских трудящихся с этим, довольно незнакомым им кругом знаний и иллюстрировать средствами этнографии установления, сделанные за последние годы нашими руководителями в связи с жизнью и борьбой за свободу колониальных народов. В соответствии с этой целью и с передвижным характером выставки, она отображает эту тему с помощью снимков, рисунков, объяснительных текстов и в то же время посвящает сравнительно мало места показу предметов.

Передвижная выставка разделяется на две части. В первой части 16 панно показывают жизнь колониальных народов, свободную от иностранных, европейских влияний. Во второй части 17 панно изображают историю колонизации и нынешние движения за свободу. Такая организация дает возможность посетителям познакомиться с древней культурой колониальных народов и в то же время с теми условиями, которые — вместе с другими — облегчали покорение этих народов колонизаторами. В части же, изображающей историю колонизации, посетитель получает представление о том, какие изменения происходили за столетия в формах колониальной эксплуатации и какие причины привели в колониях к нынешним значительным движениями за свободу.

Первая часть знакомит с распределением, важнейшими антропологическими типами колониальных народов. Она показывает главные типы содержания жизни — собирание, рыболовство, охоту, земледелие, животноводство и также различные технические способы. Наглядно показаны общественный строй, войны, религия, танцы, знания, костюмы и искусство этих народов. Эта часть выставки, — вместе с предметным материалом пяти витрин — имеет целью научными методами опровергать теории и взгляды о низших расах колоний. Она доказывает, что отсталость этих народов вытекает из природных и исторических условий и что взгляды, по которым их отсталость вытекает из расовых чертах, явно неправильны.

Как говорится в вводном тексте ко второй части выставки, путешествия конца XV в. означают большой поворот в жизни этих народов. Эта эпоха является эпохой первоначальной аккумуляции капитала и характеризуется — по словам Маркса — ограблением имеющих золото и серебро стран Америки. Гравюры XVI в., изображающие жестокое истребление туземцев, иллюстрируют эти слова. Эту эпоху можно назвать феодальным этапом колонизации. В ее политике по отношению к туземцам происходят серьезные изменения в XVII в. На колониях, где природные богатства были ограблены, нужно было перейти на новую хозяйственную систему, на плантации. Эта система привела к созданию современного рабовладельчества и произвела глубокие перемены на вновь открытых территориях. В сущности эта эпоха закончилась в XIX в., в разное время в отдельных капиталистических странах, в зависимости от темпа развития капитализма в них. Капиталистическому хозяйству уже не годился невольничий труд; капитализм требовал на колониях »свободных« наемных рабочих. На колониях рабы освобождаются, хотя различные формы рабства то и место оставались до наших дней.

В эпоху классического капитализма колонии представляли собой ценность, в первую очередь, как месторождение сырья и как поставщики полуготовых фабрикатов. Значение этой эпохи состоит в первую очередь в том, что она подготовила почву для образования туземного рабочего класса и содействовала созданию наций на колониях.

Эпоха империализма — начиная от начала XX в. ускорила этот процесс. Экспорт капитала, возможности сверхприбыли привели к значительной индустриализации колоний. Это, в свою очередь, увеличило пока еще немногочисленный рабочий класс и содействовало повышению его организованности. Родился могильщик капитализма на колониях — колониальный пролетариат. Параллельно с этим, внутри туземного общества начался процесс разложения, что, во многих местах, привело к становлению туземной буржуазии, являвшейся продолжателем старой племенной знати. В начале этой эпохи. борьба против угнетателей имеет только стихийные формы, на колониях нет еще профсоюзов ни рабочих партий.

Великая Социалистическая Революция и образование СССР означали решающий поворот: колонии перестали быть запасом сил для империализма, они стали запасом сил для социализма. Все усиливающаяся нищета, угнетенное, бесправие, положение эксплуатируемых туземцев — находящее богатую документацию в снимках, статистических данных, текстах выставки — привели к образованию единых боевых организаций туземцев — профсоюзов и рабочих партий. Забастовочные движения в колониях, национальная борьба туземного пролетариата против империализма, приобретают все больший размах.

Вторая мировая война означает еще более значительный поворот. Вследствие победы Советского Союза лагерь народов, строящих социализм, увеличился, и звенья капитализма разорвались в новых местах, в Китае, Корее, Вьетнаме. Колониальные народы, игравшие героическую роль в войне, увидели, что и они сами могут руководить своей судьбой. Пример Китая, до тех пор зависимой страны, показал им путь к освобождению. Национальное освободительное движение, вооруженная освободительная борьба развертывается. Туземный рабочий класс повсюду начинает борьбу за свою свободу и независимость.

Показывая эту линию развития, выставка приводит к такому выводу, что освобождение колониальных народов является исторической необходимостью и что ведущей силой в борьбе за освобождение являются рабочий класс и коммунистические партии колоний.

Этнографической Музей, Будапешт. Пирошка Г. Надь

[1] Лайош Биро родился в семье провинциального ремесленника. Уже в средней школе очень интересовался естественными науками. Он был студентом филологического факультета Будапештского Университета. Он собирался стать преподавателем средней школы, но не приобрел диплома. Студентом, он работал как гувернер, младший преподаватель и служил в разных частных предприятиях. Помимо учебы и работы он много занимался и в зоологическом отделе Национального Музея. На сэкономленных деньгах совершал несколько путешествий, и уже в начале 90-х годов стал известным зоологом. В 1895 г. в Венгерской Академии Наук был устроен вечер памяти рано кончившегося в Новой Гвинее венгерского исследователя Шамуеля Фенихел. На этом вечере созрело в нем решение завершить исследования Фенихеля и совершить путешествие в Меланезию. Осенью 1895 г. он отправился и 1 января 1896 г. он причалился в Новой Гвинее в нынешнем порту Маданг.

Главные этапы его путешествия следующие: в Ново йГвинее—Айтапе (Берлинхафен), пролив Астролабе и Хуон Гольф; Новая Ирляндия и острова Френч. Он вернулся в 1902 г. После этого он еще совершал несколько небольших путешествий в Тунисии, Греции, на острове Крит, в Малой Азии и в Болгарии. Он написал следующие труды, касающиеся этнографии:

Adalékok a Bismarck szigetek lakóinak hajózásához és halászatához (К морепалаванию и рыболовству населения островов Бисмарк) A Magyar Nemzeti Múzeum Néprajzi Osztályának Értesítője, VI. Budapest, 1905. 57-72. 1.

Hét év Uj-Guineában. Levelek két világrészből.

(Семь лет в Новой Гвинее. Письма из двух стран света. Будапешт. Без даты.)

Uj-guineai levelek. (Письма из Новой Гвинеи) Természettudományi Közlöny, XXVIII—XXXIV., Budapest, 1896—1902.

Új-Guineai utazásom emlékei. (Воспоминания из моего путешествия в Новой Гвинеи). Под редакцией Йожеф Сабо-Патаи. Будапешт, 1932.

RECENSIONES

László Vajda: NAGY MAGYAR UTAZÓK (19. SZÁZAD) [= Великие венгерские путешественники (XIX столетия)] Budapest, 1951. 220 стр.

В целях подкрепления прогрессивных традиций и повышения национального самопоэнания рекомендуется учитывать и оценивать услуги, оказанные выдающимися сынами нации расширению универсальных знаний человечества и развитию общей культуры. Воссозданные фигуры этих великанов знаний и переоценка их деятельности с точки эрения современной науки представляют собой задачу, которая должна быть разрешаема от времени до времени. Чем более, с течением времени, мы удаляемся от этих великих индивидов, тем яснее и вернее становится рисуемая о них картина. Постепенно отпадают пустые прикрасы воспоминаний современников и перед нашими глазами остается только человек, освободившийся от всякой связанности, в освещении своей деятельности, своих подвигов. Возможно, что эта картина в отношении подробностей не будет совершенно точной, но она окажется все же весьма ценной, так как она ставит творчество данного индивида целиком и полностью в основу обсуждения и оценки.

Подобная же оценка должна быть произведена и в отношении знаменитых венгерских путешественников. Если мы ознакомимся с их деятельностью и творчеством, то для нас станут яснее основы и выводы, на которых базируется множество дисциплин нашей науки. И когда мы обернемся назад и взглянем на пройденные пути и достигнутые успехи то это поспособствует не только подъему национального самопознания, но и даст нам возможность более уверенной рукой определить цели, и осуществлению которых мы стремимся.

Книга Л. Вайда содержит описание и переоценку образа и творчества великих венгерских путешественников в вышеупомянутом смысле. Вследствие трудностей издательского характера она обнимает только материал XIX столетия, но это ограничение не повредило книге, так как названное столетие представляет собой героический период возникновения и укрепления венгерской науки, когда венгерские путешественники занимали видное место среди знаменитых людей того времени. В ней описывается деятельность шести из них.

Ш. К е р е ш и Ч о м а (1784—1842) является одним из самых выдающихся представителей ориенталистики, в частности тибетского языкознания. Воспитаник кальвинистской коллегии в Надьэньед (Трансильвания), затем студент Геттингского университета, движимый чувством интереса к прошлому своей нации, под влиянием романтических идей эпохи поставил себе задачей отыскать сородичей венгерского народа среди азиатских народов. Прекрасно подготовленный с научной стороны Чома в конце 1819 г. отправился в путь пешком из Трансильвании, имея в кармане всего только 200 форинтов. После недолгого пребывания на Ближнем Востоке в июле 1820 г. прибыл в Багдад, а потом отправился в Тегеран. Прожив довольно долгое время в Персии, в январе 1822 г.

достиг Кабула. Оттуда он направился в Индию и в июле добрался до столицы Ладака, Леха. У него было желание попасть в Центральную Азию через Тибет, но непредвиденные обстоятельства не допустили осуществления этого намерения. Истратив все деньги, он возвратился в Индию. По дороге познакомился с чиновником Moorcroft'ом, состоящим на службе индийского правительства. Moorcroft уговорил безденежного Чома создать возможность для дальнейшего изучения Тибета составив грамматику и словарь тибетского языка. Чома, и без того интересующийся тибетской литературой, охотно принял предложение и возвратился в Лех. Руководящие ладакские круги — благодаря рекомендациям англичан — всячески стремились облегчить ему выполнение плана, вследствие чего венгерскому ученому удалось попасть в монастырь лам в Зангле. Здесь он в течение 16 месяцев изучал тибетскую литературу и историю, равно как и тибетский язык, под руководством ламы Сангье Пунтсог. Окончив свою работу, Чома вернулся в Индию и по требованию правительства написал отчет о проведенной им работе. Летом 1825 г. власти возобновили поручение и Чома продолжал свою работу. Он работал почти два года беспрерывно. Затем переселился в пограничный гарнизон английских войск, находящимся возле Сабату, и приступил к составлению словаря и грамматики. Это работа ускорилась обстоятельством, что во время его пребывания в Тибете был издан (т. н. сирампурский) словарь тибетского языка, который был встречен неблагоприятно со стороны научного мира. Правительство решило издание нового словаря и возложило этот труд на Чома, который с осени 1827 г. до конца 1830-го продолжал свои лингвистические исследования в ламаистском монастыре Камум, находящемся на границе Тибета. Он работал при самых неблагоприятных обстоятельствах, о чем свидетельствует объемистое описание английского врача Gerard'a. Окончив свою работу, Чома отправился в конце 1830 г. в Калькутту, где в доме Asiatic Society он занимался подготовкой к изданию своего словаря и грамматики. Это труд был окончен в 1832 году. Увидя результаты этого труда, главный секретарь названного общества обратил внимание английского правительства на венгерского ученого, настаивая оставить его на службе для решения дальнейших задач. Грамматика и словарь вышли из печати в 1834 году. Они служат прочной базой при изучении тибетского языка и тибетской истории. Чома, как служащий общества, проживал в Калькутте и занимался языковедческими и историческими исследованиями. Но он не оставил и стремления к своему первоначальному плану и в 1842 году отправился вновь в путь, чтобы проникнуть в область, лежащую к северу от Тибета. Не достигнув своей цели, он умер в Даржилинге 11 апреля 1842 г.

Деятельность А. Регули (1819—1858) общеизвестна специалистам финно-угорской сравнительной лингвистики и этнографии. Будучи студентом-юристом, во время своего пребывания в Германии решил посетить Скандинавию. В Стокгольме он познакомился с финским ученым Арвидом, под влиянием которого стал заниматься языкознанием. Поставив себе целью выяснить »способ возникновения и процесс развития« венгерского языка, он изучал языки, о которых существовало предположение, что они сродны с венгерским. Усвоив финский язык, Регули установил, что не финский язык, а диалекты хантов и маньсей стоят наиближе к венгерскому языку. После окончания своих предварительных расследований он был удостоен большой награды: несмотря на 21 летний возраст был выбран членом АН Финландия. Первым своим долгом он счел ознакомление с маньсийским и хантийским языками. Это побудило его поехать в Петроград, где, усвоив русский язык, стал заниматься языками и этнографией мари, коми, мордвинов и чувашей. АН Венгрии — вследствие своих материальных затруднений — могла предоставить ему только незначительную поддержку, поэтому для осуществления своей поездки за Урал он был вынужден обратиться за помощью к своим русским друзьям, прежде всего к Беру. В октябре 1843 года покинул Петроград, направившись в земли маньсей и хантов. Прибыв на маньсийскую территорию, подробно изучил язык и уста-

новил, что маньсийский и венгерский язык тесно связаны между собой. Помимо лингвистического материала он собрал и этнографический. В 1844 году посетил все маньсийские поселения, включая и самые отдаленные в северном направлении. Окончив свои маньсийские этюды, в октябре 1844 года он переехал в районы хантов и посвятил лингвистическим и этнографическим исследованиям. Материальное положение его улучшилось, пособие АН Венгрии, предоставившей ему 1000 форинтов, восстановило его экономическое равновесие. Но интриги петроградских кругов не разрешили ему продолжать свои занятия, поэтому он — по совету Бера — весной 1845 г. переселился в Казань. Там его ожидало уже поручение АН Венгрии собрать марийского, мордовского и чувашского материала. В августе 1846 г. он возвращается в Петроград, где — по просьбе Русского Географического Общества — составляет подробную географическую карту посещенных им областей. В январе 1847 г. эта работа заканчивается и Регули, тяжело заболев, возвращается через Германию на родину. По прибытии в Будапешт в мае 1849 г. ученый назначается почетным библиотекарем Университетской Библиотеки и выбирается членом АН Венгрии. К сожалению, болезнь помешала ему обработать громадный материал, собранный им, и 23 августа 1858 г. он скончался на 39 году своей жизни. Упомянув о его заслугах, И. Эгвеш правильно заметил: »До тех пор, пока наша родина будет иметь таких сынов, наше прошлое может оставаться туманным, но будущее будет светлым«.

Приключения Л. Мадьяр (1818—1864) начались в 1841 году, когда он — по призыву губернатора г. Фиуме — поступил в мореходную школу. По окончании школы он заключил контракт с морскими властями Австрии и в чине мичмана отправился в плавание на пакетботе в Бразилию. Из Бразилии совершил рейс в Гаванну, затем в Западную Африку, Индию, Южную Африку и возвратился вновь в Бразилию. Поступив там на службу военного флота La Plata в качестве лейтенанта, он попал в плен и только с трудом освободился оттуда. Охваченный желанием проникнуть во внутренние области Южной Америки с целью проведения научных исследований, он представил свой план АН Венгрии, но не получил от нее никакой финансовой поддержки. Отказавшись от своего плана, он прибыл на пароходе в Африку и поступил на службу к султану страны Калабар, находящейся возле устья р. Niger. Во время своей службы в качестве командующего он предпринимает поездку вверх по течению р. Конго, но это не удовлетворяет его амбиции. Он стремится дальше. Оставив службу султана, в декабре 1848 г. сходит на берег в порте Benguella, чтобы оттуда проникнуть в глубь материка. В январе следующего года присоединяется к каравану, отправляющемуся в страну Бихе. Мадьяр решает провести там долгое время, чтобы иметь возможность ознакомиться с языком и обычаями туземцев и проникнуть с их караванами в сердце Африки. В Бихе он женился на дочери туземного царя. По ознакомлении с языком и народом он ставит себе задачей посетить сказочную страну, Лунду. С караваном, состоящим из 400 человек, отправляется в путь в феврале 1850 г. и только в середине следующего года возвращается в Бихе, но по пути ему удалось сделать некоторые немаловажные географические и этнографические открытия. В Бихе он продолжает свои географические и этнографические исследования, вплоть до мая 1852 г., когда он пускается опять в путь для исследования края, лежащего к югу от порта Benguella. По дороге — дойдя до района, находящегося за 18° южной широты и 23° восточной долготы — он наталкивается на неизвестные дотоле народности, реки и т. п. Через два года он возвращается в Бихе, где им овладевает невыносимая тоска по родине. Но сведения, полученные из Венгрии, не очень благоприятны, за исключением сообщения, что АН Венгрии согласна издать первый том его путевых заметок. В 1855 году он предпринимает свое третье путешествие для выяснения речной системы Замбези и притоков р. Кванзы, но вследствие различных затруднений ему пришлось скоро вернуться. События, происшедшие в Бихе, препятствовали ему продолжать свои исследо-

вания. В стране вспыхнула междуусобная война и повстанцами был убит его тесть. Мадьяр принужден убежать и в конце 1857 г. переселился — вместе с сыном — в Benguella. Там занимался торговлей, но, обанкротившись, умер 9 ноября 1864 г. Его записки после смерти сгорели во время пожара. Поэтому его труд остался недоконченным, но фрагменты, которые сохранились, и открытия, которые приписываются ему, обеспечивают для него почетное место в ряде самых выдающихся венгерских путешественников.

Я. Ксантус (1825—1894) приобрел большие заслуги, признанные и за границей, своей собирательской и картографической деятельностью, проведенной главным образом в Северной Америке. Недавно вышедшая из печати книга Maddena (Xántus, Hungarian Naturalist in the Pioneer West. Palo Alto 1949) обратила на него внимание Но так как в ближайшем будущем мы опубликуем о нем особую статью в нашем журнале, теперь не будем пускаться в подробности.

Ш. Телеки (1845—1916), является — подобно Мадьяру — одним из самых известных венгерских исследователей Африки XIX столетия. Член богатой аристократической семьи направляется в Африку для охоты на крупную дичь и для того, чтобы впервые взобраться на вершину Килиманджаро. В качестве спутника он пригласил с собой молодого морского офицера, Л. Гёнеля, обладающего необходимыми естественнонаучными и картографическими знаниями, который затем в объемистом труде обработал открытия и наблюдения, сделанные экспедицией. Экспедиция вышла из Занзибара в феврале 1877 г. по маршруту к Килиманджаро. Их путь пролегал по неисследованным местам, где были сделаны картографические съемки. 12 апреля экспедиция покинула Тавету и на равнине между Меру и Килиманджаро встречалась с племенами джаг и масаев. 9 июня был сделан опыт восхождения на вершину, но он не увенчался успехом, так как экспедиция не могла подняться свыше 5310 м. Возвратившись в Тавету экспедиция отправлялась в Кенью. Дорога пересекала территорию джаг, потом экспедиция вошла в контакт с племенем ндороб. В сентябре был достигнут район племени кикую, которые не раз создавали препятствия во время перехода. 17 октября Телеки пытается подняться на гору Кенью и достигает высоты 4710 м. В первых числах декабря экспедиция доходит до озера Баринго и сталкивается с племенами квафи и суков. В феврале 1888 г. она отправляется отсюда к сказочным озерам, о которых члены экспедиции слишком много слышали, начиная от Занзибара. Проходя через равнину Самбуру, Телеки и его спутники наталкиваются на племя букенев. Пересекнув безводную пустыню, 5 марта 1888 г. они доходят до громадного, дотоле неизвестного озера, которому присваивается название »Озера Рудольфа«. Экспедиция на берегу озера достигает поселений решиатов, 20 же апреля открывает новое озеро и называет его озером »Стефании«. На возвратном пути экспедиция проходит через землю туркан и суков и 24 октября достигает морского побережья.

Экспедиция Телеки имеет большое значение с точки зрения географии и этнографии. Из ее открытий стало известным наличие двух больших озер в Восточной Африке, и сообщения о различных племенах, встретившихся по дороге, в большинстве случаев оказались первыми известиями об их существовании. Богатый этнографический материал экспедиции находится теперь в Этнографическом Музее в Будапеште.

Л. Биро (1856—1931) — после продолжительной собирательной деятельности в Венгрии — в 1895 году отправился в Новую Гвинею, чтобы там продолжать естественнонаучные и этнографические исследования венгерского ученого С. Фенихеля, умершего в бухте Астролабе в 1893 году. При помощи Венгерского Национального Музея и Естественно-научного Общества Биро 1 января 1896 г. прибыл в Маданг и провел 6 лет в беспрерывной работе. За неимением достаточных материальных средств он не в состоянии организовать больших экспедиции, поэтому прибегает к методу станционного собирательства. Подробно обследует окрестности Эйтапе, бухты Астролабе и Хуон-гольфа.

Долгое время проводит в отдельных районах, собирая ценный естествоведческий и этнографический материал для Венгерского Национального Музея. Затем огибает Новую Ирландию, проводит некоторое время на островах Френч, и потом переправляется в Австралию, чтобы устроить сборы в районе Синей горы. Собранный им материал был поставлен музею в сопровождении детальных и точных объяснений. Но расшатанное здоровье принудило Биро прекратить свою деятельность и в конце 1901 г. он возвратился на родину, где был назначен почетным кустосом Венгерского Национального Музея. Позднее он совершил еще несколько путешествий в Северную Африку, Малую Азию, на остров Крит и в Болгарию, но они были плодотворны только для естествоведения.

Для освещения значения его деятельности в Новой Гвинеи следует припомнить слова Б. Гагена: »Разве не стыдно для предприимчивости наших естествоведов, что области, находящиеся уже 15 лет под немецким флагом, зоологически обрабатываются венгерским ученым и что журнал Венгерского Национального Музея станет главным источником сведений, относящихся к Немецкой-Новой-Гвинее?«

* * *

Книга Л. Вайда о великих венгерских путешественниках справилась — по нашему мнению — только с частью поставленных задач. Наши путешественники, венгерские герои познания мира в XIX столетии, представляют собой величины, которые значительны не только для венгерской науки, но и для общей культуры человечества. Знание их деятельности и трудов необходимо не только для венгерских, но и для каждого ученого, занимающегося вопросами посещенных ими областей. Поэтому мы должны заново и повторно обращать внимание заграничных кругов на работу и ценности венгерских путешественников, скрывающиеся в их иногда забытых трудах и манускриптах, равно как и в запылившихся коллекциях музеев.

Этнографической музей, Будапешт. *Тибор Бодроги*

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA II. (TÁRSADALMI—TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK) OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI. 3. MUZEOLÓGIAI SOROZAT.

Szerkeszti *Ortutay Gyula*. — I. kötet 1—2. szám. 330. lap. II. kötet 1. szám. 102. lap. Budapest, 1951. 8°. (Сообщения II. отдела Академии наук Венгрии (общественно-исторические науки) 3. серия музееведения. под редакцией Д. Ортутаи. Том I. № 1—2., стр. 330. Том II. № 1., стр. 102. Будапешт, 1951.)

Тремя обширными томами, описанными в настоящей статье, Академия наук Венгрии начала свой научный журнал музееведения (археологии, этнографии и искусствоведения). Принцип профилировки художественно оформленного журнала (совместный выпуск специальностей, входящих в состав музееведения, и сохранение в его пределах самостоятельности этих трех дисциплин) выражает принцип взаимодействия трех родственных наук, без того чтобы границы областей их специфической деятельности сделались расплывчатыми. Один рецензор не может претендовать на обстоятельную критическую оценку трех обширных томов с разнообразным содержанием, поэтому в своей работе мы ограничились кратким описанием отдельных статей останавливаясь подробно только на 1—2 очерках.

Том I. № 1.: Археология.

Научная статья Ф. Фюлепа (Пятилетний план венгерской археологии, стр. 3—10) появилась на русском и английском языках в Acta Archaeologica, 1951, т. I, стр.

5—14, является документом нового направления венгерских археологических исследований. Наша археология еще в недавном прошлом находилась в состоянии анархии: важные области оставались неисследуемыми, и даже сбор материалов не являлся удовлетворительным, а обработка данных не выходила за пределы узких рамок позитивизма. Настоящий план целиком указывает на то, что археология решительным образом начинает интересоваться динамикой этнических картин, недовольствуясь уже фикциями о рассмотренных закрытыми метафизическими системами »культурах«.

Очерк Л. Вертеша (Новые раскопки в пещере Ишталлошкё, стр. 11—40, появился на русском языке в Acta Archaeologica, 1951, т. I, стр. 15—34.) наглядно показывает, что новые раскопки не частично уже вскрытых местонахождениях могут дать не только дополнительные результаты. Однако, решающим достижением является не сам собранный материал, а способ обработки последнего. Вертеш постоянно старается оживить материал, изложенный им с его широкими связями. При оценке вещественного материала автор рассматривает вопрос его ориньякского происхождения, — так как этот материал указывает на определенную связь с мустьерской эпохой. Согласно Вертешу вряд-ли можно согласится с гипотезой об иммиграции ориньякского человека из Африки. Он присоединяется к мнению Дьебеца, согласно которому неандертальский человек является не побочным ответвлением ствола человеческой эволюции, а одной из стадий его развития. Следовательно ориньякская культура могла образоваться на месте как продолжение мустьерской культуры таким же образом, как и кроманьонский человек представляет собой более высокую ступень развития неандертальского. При описании инвентаря вещественного материала Вертеш считает, что клинки с тупым обухом являются напильниками, у которых именно тупая сторона применялась при работе. (Во всяком случае следует заметить, что в резьбе по дереву послеплейстоценских культур, не знавших металлов, такие клинки с тупыми обухами нам неизвестны.) При сборе материала Вертешем был обнаружен в двух экземплярях небольшой просверленный предмет, который изготовлялся обыкновенно из фаланги северного оленя. Этот предмет определяется в венгерской археологической литературе в общем как свисток.[1] Вертеш думает, что эти свистки со слабым звуком играли роль при ритуалах. По нашему мнению к разрешению этого вопроса ближе всего подошел Паульсон[2], сравнивая эти часто встречающиеся предметы из первобытных времен Европы (найденные в Кунде одновременно в 82 экземплярях, вследствие чего их едва ли можно рассматривать как свистки) с известными северо-американскими игрушками. — Большой интерес для этнографии представляет заключительная часть статьи, описывающая погребения медвежьего черепа, найденного в пещере, и сообщающая о первом обнаружении этого интересного ритуала в Венгрии. К сожалению при толковании ритуала Вертеш пользуется понятием »тотемизма« в таком широком смысле слова, что мы не считаем его изложения вполне удовлетворительными. Он не только ставит жертвоприношение черепа на одну доску с погребениями черепа, но связывает эту очень широкую категорию ритуала (ритуалы всякого рода, относящиеся к черепу) с известными представлениями о медвежьих празднествах (название медведья »дедушкой« и т. д.).

Научный труд под названием »Могильник баденской культуры в Алшонемеди« (появился на немецком языке в Acta Archaeologica, 1951, т. I, стр. 35—80.) является наглядным примером всесторонней обработки материала раскопки. Рассматривая имеющиеся до сих пор сведения о баденской культуре, Й. Корек устанавливает, что несмотря на то, что большинство могил со скелетами (значит не погребения праха умершего в урнах) было обнаружено в Венгрии — все же число известных нам могил по отношению к значению и распространению баденьской культуры еще весьма незначительно. В Венгрии зарегистрировано почти 300 местонахождений этой культуры, а несмотря на это нам известно до сих пор всего 18 могил. В этом отношении могильник в

Алшонемеди имеет большое значение, так как в нем обнаружено 40 баденских могил. Самой интересной чертой погребальных ритуалов является погребение животных. В Алшонемеди в двух могилах обнаружены целые скелеты рогатого скота, закопанные вместе с человеком, однако, из других местонахождениях баденской культуры нам известны также случаи где скелеты рогатого скота были похоронены отдельно. Эти погребения рогатого скота не могут быть памятниками жертвоприношения животных, так как при полной сохранности скелетов животных, следы жертвенного пира совершенно отсутствуют. Кореком выдвинута возможность кровной жертвы, однако, в этом отношении мы не располагаем соответственными этнографическими опорными точками. Что касается исторической принадлежности, погребение целых домашних животных нам кажется во всяком случае характерной чертой крестьянских культур, и является чуждым для пастушеских культур. Следовательно мы не разделяем мнение К о р е к а относительно кочевно-пастушеского образа жизни баденской культуры. — Антропологический материал могильника опубликован Я. Н е м е ш к е р и, остатки костей домашних животных исследован Ш. Б ё к ё н ь и, определение Dentalia, служащих материалом для украшений, является работой И. М е з н е р и ч, а спектроскопический анализ предметов из меди (1 шило, 5 жемчугов) был произведен К. С е п е ш и. Большое значение этого всестороннего метода обработки очевидно: спектроскопическим анализом, например, установлено, что найденные предметы изготовлены не из медной руды, а из самородной меди — что представляет собой важное обстоятельство с точки зрения развития металлургии данной эпохи; при определении Dentalia выяснилось что скорлупа этих мягкотелых, ведших исключительно морской образ жизни, не попала в венгерскую баденскую культуру путем торговли, а что человек из эпохи меди пользовался местными окаменелостями.

Научный трактат Д. Л а с л о (Значение гуннского золотого лука: данные к структуре гуннского кочевого государства, стр. 105—122, появился на английском языке в Acta Archaeologica 1951, т. I, стр. 91—106.) заслуженно можно причислить к таким работам этого выдающегося археолога, в которых особенно развитие технологическое чутье, проявляющееся в области реконструкции предметов, сочетается со всеобъемлющим стремлением к истолкованию. В начале автором исследованы золотые пластинки из отдельной могили из Якушовица, расположенной на северо-западе от Кракова. Автор убедительно доказывает, что — в противоположность прежним взглядам — эти предметы не были чеканками ножен, а употреблялись для облицовки »рефлекс« лука. При этой находке бросается в глаза, что реконструированный таким образом лук 1. меньших размеров, чем обыкновенные луки гуннов, 2. оформление концов лука и размещение нарезов, служащих для прикрепления тетивы, противоположны обыкновенному, 3. характерные для гуннских луков укрепляющие костяные пластинки отсутствуют, 4. невозможность ни снять тетиву ни натянуть лук, — одним словом все это свидетельствует о том, что этот золотой лук был несгибающимся, непригодным для употребления в качестве оружия предметом. — Затем Л а с л о реконструирован фрагмент золотой находки из Печюсёг, которая также служила для облицовки лука. Однако, в этом случае более вероятным является то предположение, что только несгибающиеся части лука были облицованы золотыми пластинками, и что следовательно этот лук мог быть боевым оружием. — Обе находки относятся к гуннской эпохе; на основе сопровождающих находок Л а с л о считает умершего, погребенного в могиле из Якушовица готом, или аланом, занимавшим в гуннском государстве высокую должность, — возможно бывшим чем-либо в роде наместника в этой области Польши; а умершего из Печюсёге он считает гунном. Золотой лук сам по себе — особенно экземпляр из Якушовица — не мог быть ничем иным, как эмблемой достоинства. — Исходя из вышеприведенных археологических фактов, Л а с л о описывает распространение местонахож-

дения гуннских находок. Бросается в глаза, что местонахождения гуннских сокровищ, обнаруживаются всегда в пограничных областях гуннского государства. Согласно автору это объясняется тем, что гунны пользовались для защиты их собственных территорий кольцом покоренных народов, наместников которых гунны вводили в исполнение обязанностей, передавая им эмблему власти; в сущности они сохраняли эксплуататорскую организацию, существовавшую раньше у покоренных ими народов, но сделали ее органом гуннского государства. Эти новые наместники не должны были быть обязательно гуннами, напротив даже во многих случаях их выбрали из членов туземного господствующего класса, дружески относящихся к гуннам.

Прекрасный очерк Я. Харматта (Гуннский золотой лук, стр. 123—187, появился на английском языке в Acta Archeologica, 1951, т. I, стр. 107—151.) присоединяется к статье Ласло, и является дальнейшим развитием последней, дополненным историческими и лингвистическими данными. Основным положением этого научного труда, написанного с необычайной ясностью, является тезис о том, как образовавшаяся при разложении родового строя аристократия приобретает себе имущество разбойничьими набегами. За свою власть они обязаны своему оружию, и поэтому понятно, что они хоронят оружие, т. е. средство, служащее для приобретения жизненных потребностей, вместе с покойниками. Это боевое оружие становится одновременно и знаком власти вождей, и главарей, все более выделяющихся из родового общества, т. к. в отсутствии государства, т. е. организации, которая могла бы обеспечить их имущество и их власть без постоянной боеспособности их оружия положение этих выдающихся лиц в большой степени зависило от их боевых успехов. После образования государственной организации, власть короля становится узаконенной и не зависит непосредственно от его личных боевых качеств и от его оружия; в этом случае оружие может уже превратится в простую эмблему и быть непригодным для борьбы. Так, например, не подлежит сомнению, что золотой лук из Якушовица, который неприменим как оружие, был эмблемой власти; следовательно в эпохе погребения умершего из Якушовица (по всей вероятности во второй четверти V. столетия) гуннское общество являлось уже классовым обществом. В случае золотого лука на Печюсёг нельзя решить с полной уверенностью, являлся ли он уже только эмблемой власти; по всей вероятности им пользовались еще и как оружием, и, таким образом, он представляет ранний этап развития гуннского общества. — В целях подтверждения этой аргументации автором составлен обильный материал для сравнения. Между прочим им подробно анализирован один из гимнов Ригведы, согласно которому в сознании древне-индийского общества, оружие короля является не только личным боевым оружием, а символом всех вооруженных сил короля, т. е. оно представляет собой эмблему власти и, более того, обладает и магическим значением. Подобную роль играет лук в Авесте. Здесь автор приходит к выводу, что в представлении общества первоначальное значение лука, как средства власти с течением времени успело изгладится, и отсутствие общественных основ для понимания его значения как эмблемы власти выразилось в связанных с ним магических представлениях. — В заключение автором обсуждаются основные вопросы развития гуннского общества. Он считает вероятным, что у гуннов золотой лук стал узаконенной эмблемой власти лишь в государстве Аттилы. Автор дает картину того, каким образом Аттила разорвал узы родового общества, и как он установил свою автократическую власть и создал себе опору, — заменив господствующий слой родового общества (отчасти даже в противовес этому слою) новым слоем, стоящем выше родовых связей.

Строго научные, побуждающие к размышлению научные труды Ласло и Харматта заслуживают большого внимания также и со стороны этнографии. Вследствие богатства содержания этих двух научных работ и ограниченности места, предоставленного для рецензии, подробное изложение наших рефлексий необходимо отложить до

другого случая. В настоящей работе мы выхватываем только два момента из истории развития средства власти и эмблемы власти согласно тому, как это обрисовал Харматта. Харматта подчеркивает в нескольких местах своего научного труда, что знаком власти становится решающее боевое оружие; ввиду того, что главным оружием гуннов являлся лук, то понятно, что именно (золотой) лук стал у них эмблемой власти. Однако, нам трудно представить себе, что самое важное, т. е. самое обыкновенное оружие, экземпляры которых встречаются тысячами у данного народа, могло приобрести такое значение. Такое эмблематическое оружие никогда не является типовым, а всегда индивидуальным: священной реликвией, которая и по своей форме отличается от общеупотребительных экземпляров. Украшение, ценный материал, из которого изготовили предмет, служащий эмблемой, способны выделять этот один экземпляр своей индивидуальностью из общей массы. Но речь идет, пожалуй, и о большем: Харматта не приписывает особенного значения тому обстоятельству, что согласно установлениям Ласло, — лук из Якушовица, не только непригоден для применения (из-за золотых пластинок), но по своей форме и конструкции отличается от гуннских луков. Мы не считали бы удивительным, если будущее сравнительное исследование определило бы лук этого типа, как архаическую т. е. ставшую необыкновенной форму гуннского лука, увенчанную в то же время нимбом предков. — 2. Что касается отражения в общественном сознании приобретенных посредством оружия богатства и власти господствующего класса и происхождения этой власти, то эта проекция уже во время разложения родового строя не могла быть ясной, уже тогда, — а не только позднее — она могла переплетаться с магически-религиозными представлениями. Говоря об оружии, следует заметить, что вера в заклятие оружия и в чудесное оружие существует и при совсем примитивных условиях. Если же княжеское достоинство уже с самого начала было насыщено сакральными элементами, то нельзя отказать в этом качестве и княжеским эмблемам. В преданиях африканских государств имеется ряд примеров относительно того, что князь, например, не мог иметь физических недостатков, потому, что он являясь олицетворением предков, какбы живым предком, представляет одновременно физически (и гарантирует магическим путем) благосостояние, счастие своей страны; ритуальное убийство короля принадлежит также к этому комплексу представлений. С подобными представлениями мы встречаемся и в других местах (например у кельтов). Из Африки нам также известны данные, согласно которым при вступлении на престол князя в стране должны быть погашены все огни, и он зажигает новый огонь при помощи ритуального огнива (служащего его эмблемой) и этот огонь разносится по всей стране. Следовательно, князь является дарителем огня, и огниво князя является источником каждого огня. Оружие, возбуждающее с самого начала магические ассоциации, и служащее эмблемой княжеского достоинства, может подобным же образом быть источником всей боевой силы и может сосредоточить — не только символически, но и в магической реальности — мощь всех вооруженных сил обществу. Следовательно, по нашему мнению, эти представления проявляются не по порядка, в ходе прямолинейного развития, последовательно удаляясь от реального понятия оружия, но они существуют и непрестанно действуют уже с самого начала княжеской власти, с начала разложения родового строя.

Том II. № 2: Этнография.

Научный труд Д. Ортутаи (Этнография и культурная революция, стр. 191 – 207) выдвигает ряд основных вопросов венгерского народоведения. Трудящийся народ предъявляет требования решительной важности к наукам, а особенно к этнографии, имеющей огромное значение с точки зрения социалистической революции культуры. Автор в логической и наглядной последовательности разбирает положительные и отрицательные стороны произведенной до сих пор работы венгерской этнографии, анализируя

причины недостатков, указывая на способ для их исправления и избежания, и выдвигая центральные задачи. Ортутаи подчеркивает прогрессивное наследие венгерской этнографии; но им обрисовано и то, каким образом наши этнографические изыскания сбились с дороги, которую начали (и по которой, неоднократно спотыкаясь, шли) наши передовые предки. Источники ошибок резюмированы автором в трех основных пунктах: проникновение шовинизма, народничества и космополитизма и этнографическую работу. Ошибки шовинизма являются самыми вопиющими в области исследования национальности: эта тематика или же полностью пренебрегалась, или же культивировалась ретроградно тенденциозным, антинаучным, враждебным образом. Больше всего бросается в глаза, пожалуй, влияние народничества на этнографию: ложная идиллическая картина деревни, представление крестьянского быта (сохранившего в сущности феодальные корни), как »вечный« крестьянский образ жизни, осуждение модернизаций всякого рода, враждебное противопоставление города деревне, полное исключение рабочего класса из общества, являющегося носителем народной культуры, применение тезиса о едином и солидарном крестьянстве, — вот ошибки народнического характера, влияние которых выявляется в итоге нашей прошлой и часто и настоящей этнографической работы. Наконец вследствие свободного проникновения космополитических теорий, основной для теоретической методики венгерских этнографических исследований стали реакционные, антинаучные учения, среди которых, как между Сциллой и Харибдой беспомощно блуждало в идеологическом одиночестве большинство специалистов. В целях устранения всех вышеприведенных источников ошибок нами будет сделано все, если работа станет партийной, сознательно не упускающей из виду очередные задачи строения социализма; если критика и самокритика в высшем значения этих слов займет подобающее им место в венгерской этнографии; если мы глубоко познаем опыт и учение образцовой советской этнографии, делая их составной частью нашей работы; наконец (и в первую очередь) если наши исследователи непрерывно трудятся над творческим усвоением марксизма-ленинизма. — В заключение статья намечает те более важные области в которых этнография должна принимать активное участие в продвижении дела культурной революции. Двумя естественными центральными задачами являются здесь: сбор и обработка исторического и современного материала, относящегося к классовой борьбе в деревне и использование этого материала для политической работы; активное участие в осуществлении национальной по своей форме и социалистической по своему содержанию культуры.

И. Катона в своей работе (Первый кровавый праздник 1-го мая в »Вихаршарок«: данные к фольклору движения сельскохозяйственного пролетариата в комитате Бекеш, стр. 209—230) обсуждает события, которые имели место 1-го мая 1891 года, — подавление насильственным путем демонстраций в Орошхаза с стороны власти. Эти события представляют только один из моментов в истории венгерского рабочего движения, но несмотря на многочисленные локальные отношения, этот момент, если проследить все его связи и исследовать не только развертывание этого события, но и причины, вызвавшие его и последствия, которые оно имело, становится типичным и приобретает историческое значение. Обладая ясным знанием материала местных письменных памятников, печати того времени и устных преданий, Катона рисует картину капитализации крестьянского общества и образования сельскохозяйственного пролетариата в комитате Бекеш и приводит нас к развязыванию демонстрации. Он основательно и детально анализирует само развертывание демонстрации, затем объединяет в одно целое последовавшие за орошхазскими событиями движения в других частях комитата, и ответные репрессалии властей, которые однако не могли воспрепятствовать подъему социалистического движения в деревни, последовавшего за событиями 1891 года. Благодаря сбору материалов, проведенному Катона, историческое исследование обогащается новыми, частью наивными, но часто удачными народными стремлениями. Изучая фольклористический материал

движения сельскохозяйственного пролетариата, этнография приобретает своего рода пробный материал из этой до сих пор пренебрегаемой области.

Монография К. Чиллери—Киралъ (Лари плотничьей выделки стр. 231—284,*) Появилась на французском языке, заслуживает внимания и по своей методологике. Известно, что главным образом в археологии, но и в этнографии продолжаются оживленные споры относительно права на существование типологического способа исследования, бывшего прежде почти единственно господствовавшим методом. Теперь нам уже ясно, что типология не является целью, а только средством, но необходимым средством. Главным образом при исследовании культур не обладавших письменностью (а даже в случаях обществ, оставивших после себя письменные памятники) сравнительно-историческое исследование вещественной культуры дает нам очень важные, а иногда даже важнейшие указания для вывода заключений. Предусловием для сравнительной работы является ясное распознавание различий типов, которые служат предметами для сравнения. Однако, существует значительная разница между типологическими методами: совершенно непригодным для использования оказался типологический метод работы, базирующийся на чистой формалистической морфологии. Все больше чувствуется необходимость исторических обоснованной типологии, которая охватила бы все существенные в общественно-историческом отношении черты вещественного материала. Автор классифицирует лари по их конструкции. (Долбленные лари, т. е. лари, которые выдалбливаются из одного куска отвода дерева, лари плотничьей выделки, изготовляемые из досок, которые соединяются в углах при помощи брусков (столбиков), продолжение которых одновременно служит ножками ларя, лари столярной выделки из досок, соединяющихся непосредственно друг с другом на углах.) Автор ясно определяет причину возникновения разных типов конструкции, кроющуюся в различии техники выделки, а затем переходит к оценке особенностей изготовления сообразно степени развития орудий труда (огонь, топор, пила) и на основании этого дает истолкование. Эта классификация дает нам такие круги, которые имеют не только морфологическое но и историческое содержание, и принимая во внимание переходные формы, показывает, каким путем и каким образом совершалось развитие.

Не только в венгерской этнографии, но и в мировой этнографической литературе работа Ф. Бако (Исследование способа обжигания извести у венгерских крестьян, стр. 285—330) является первой попыткой описания этого крестьянского мастерства, имеющего столетнее прошлое. Часть работы, появившаяся в этом томе, описывает рабочий процесс и реализацию. Автор не только обращает внимание на предметы, их употребление, терминологию и т. д., но и очень подробно описывает индивидуальные отличия, разные мелкие приемы мастерства, новаторство и его влияние. Этот на первый взгляд мелочный анализ материала имеет, однако, свое основание; самая большая ценность работы именно в том, что в ней постоянно ставится вопрос, каким образом произошло историческое развитие.

Том II. № 1: История искусств

Очерк Л. Фюлеп (Задачи венгерской истории искусств, стр. 3—24) исходит из того заключения, что история искусств в Венгрии не тождественна истории венгерского искусства. С одной стороны в государстве жили помимо венгров и другие народности, а с другой стороны в стране работало много иностранных художников. Фюлеп предъявляет требования определения этнических черт к венгерской истории искусства. Однако, для того, чтобы определить национальный характер, не только не следует, в

* Появилась на французском языке (Acta Ethnographica 1950. I. стр. 237—330)

первую очередь, доискиваться установления происхождения художника, но и не могут быть нами приняты как удовлетворяющие ненадежные результаты критики стиля наи нужен новый способ, а этот не может быть ничем иным, как обнаружением зависимости между всем национальным, историческим развитием и совокупностью художественного материала, т. е. искусство нужно исследовать совместно с обществом, его создавшим.

Остальные статьи тома, вследствие отсутствия в них этнографических черт, здесь только перечисляются:

К. Чаньи сообщает о византийских элементах в венгерском строительстве в эпоху Арпадов (стр, 25—40). Й. Балог исследует происхождение стиля средневековых венгерских деревянных скульптур (стр. 41—52). Л. Герё резюмирует историю строительства замка в Буде (стр. 53—60.) Д. Радочаи приводит данные о связях венгерского и польского средневекового искусства (стр. 61—65). К. Гараш анализирует влияние Венеции на искусство Раффаеля (стр. 67—77). И. Томбор дает трактат о раскрашенных столярных работах XVII—XVIII веков, в которых сказывается народное происхождение (стр. 79—90). Э. Чаткаи описывает стиль барокко в западновенгерской скульптуре (стр. 91—102).

Этнографической Музей, Будапешт. *Ласло Вайда*

[1] Например согласно Хиллебранду (Der Stand der Erforschung der älteren Steinzeit in Ungarn, Ber. Röm - Germ. Komm 1934—35, стр. 23.) пещера Янкович »lieferte ausser Solutréen ein alteres und jüngeres Magdalénien. Erwähnungswert (ist) . . . eine Signalpfeife aus einer Rentierphalange (Tafel 5,6)« Баннер (Древние музыкальные инструменты в Карпатском бассейне, Magyar Múzeum, Будапешт, 1947, стр. 1.) приводит ряд примеров из венгерского палеолита и неолита этого предмета. Он также считает этот предмет сигнальным свистком, который мог издавать только единственный звук. В последнее время Габори в своей работе (Костяная промышленность палеолита в Венгрии Archeológiai Értesítő, т. 1951, 78, стр. 7.) упоминает об этих предметах также как о свистках.

[2] Über ein Prototyp des Fangspiels in Nordamerika und im prähistorischen Europa. Ethnos. Stockholm, 1949, т. 14, стр. 140.

Guillaume Diószegi: LE PRINCIPE THÉRAPEUTIQUE DES GOLDS. Cahiers du Musée Ethnographique, n° 9. 15 pages, 4 fig. Budapest, 1947.

L'auteur traite, dans son ouvrage, des diverses amulettes curatives des Golds, — peuple mandchou-toungouse vivant en Asie septentrionale, sur l'Amour. Selon la croyance des Golds, ce sont les mauvais esprits qui causent les maladies. Les amulettes en bois, suspendues aux diverses parties du corps humain, chassent la maladie du corps du malade ou elles le préservent des maladies. Dans la terminologie golde des amulettes, on rencontre souvent les mots *aĭami*, *chaĭkan* et *chéwa:* ce sont, au fond, les noms de trois esprits bienveillants des Golds. L'auteur examine la forme et la terminologie des amulettes. Celles-ci représentent, le plus souvent, le symptôme de la maladie, la partie douloureuse ou atteinte du corps. Suivant la croyance des Golds, un certain nombre de maladies ne peuvent être guéries que par certains animaux. C'est pourquoi beaucoup d'amulettes curatives représentent des animaux (serpent, tigre, chien, etc.). De plus, on a l'habitude de donner à l'amulette le nom de quelque animal. Dans ce cas, la forme de l'amulette n'imite pas nécessairement la forme de l'animal en question. L'auteur a puisé sa matière pour la plupart dans la littérature en langue russe et il a exploité pour son étude l'abondante collection golde du Musée Ethnographique de Budapest. Son ouvrage fournit un grand nombre de données ethnographiques et linguistiques nouvelles à la connaissance de l'ethnographie de l'Asie du nord. Pour les compléter, j'attire l'attention sur les matériaux précieux se trouvant dans les ouvrages suivants: N. A. Лопатин: Наблюдения над бытом гольдов, Vladivostok, 1921 (sur cet ouvrage russe, voir le compte-rendu détaillé de *W. A. Unkring*, Anthropos, XX, Vienne, 1925, pp. 1176—1185); N. A. Лонатин: Гольды амурские, уссурийские и сунгарийские, Vladivostok, 1922; E. *Kagarov:* Die magischen Darstellungen in der Volksmedizin Sibiriens. Völkerkunde, t. V, Vienne, 1929, pp. 217—224; Д. К. Зеленин: Культ онгонов в Сибирии, Moscou—Leningrade, 1936: *O. Lattimore:* The Gold Tribe »Fishskin Tatars« of the Lower Sungari.Memoirs of the American Anthropological Association, Num. 40. Menasha, Wis. 1933.

Institut Ethnographique
de l'Université de Debrecen. *Béla Gunda*

Géza Kiss: ORMÁNYSÁGI SZÓTÁR. — — szótári hagyatékából szerkesztette Keresztes Kálmán. Akadémiai Kiadó Budapest, 1952. 611 l. Ára: 150.— Ft. (WÖRTERBUCH AUS DEM ORMÁNSÁG. Aus dem lexikalischen Erbe von Géza Kiss herausgegeben von Kálmán Keresztes. Akademischer Verlag. Budapest, 1952. S. 611. Preis: Ft 150.—)

Die ungarischen Sprachforscher haben in letzter Zeit eine Anzahl von Arbeiten veröffentlicht, die auch für die Ethnographen ganz besonders wichtig sind. Zu diesen Werken gehören die den Wortschatz der einzelnen Mundarten enthaltenden Wörterbücher. Schon 1935—1936 ist das »Szamosháti szótár« (Wörterbuch der unteren Szamos-Gegend, Bd. I—II. Budapest, 1935—1936) von *Bálint Csűry* erschienen. Darauf folgte das hier besprochene Wörterbuch.

Das Wörterbuch stellt auf Grund des Wortschatzes, der mit gewissen Wörtern verbundenen Ausdrücken und Mustersätzen die Mundart des südlichen Teils vom Kom. Baranya (Transdanubien), des sog. Ormánság dar. Diese Gegend war bis zuletzt ein waldiges und sumpfiges Gebiet und hat ihre alten sprachlichen und ethnographischen Eigenarten bewahrt. Ihr Wortschatz wurde vom kalvinischen Pastor *Géza Kiss* gesammelt, der sein ganzes Leben in einem kleinen Dorfe des Ormánság zubrachte. Nach seinem Tode wurde seine Sammlung von *Kálmán Keresztes* druckfertig gemacht und herausgegeben.

Das Wörterbuch enthält unschätzbaren Stoff auch für die Ethnographie, da *G. Kiss* die ausführliche Schilderung der einzelnen Gegenstände, gesellschaftlichen Institutionen und Bräuche mitteilt. Bei den ethnographisch wichtigeren Stichwörtern (z. B. Fischerei- und Jagdgeräte, Feuerstätten, Hanfarbeit, gesellschaftliches Leben, Rechtsgebräuche, mythologische Wesen) ist diese Beschreibung besonders bemerkenswert und wertvoll. Die einzelnen Stich-

wörter werden häufig durch Zeichnungen ergänzt. Im Inhalt und in der Methode des Wörterbuches gelangt — sozusagen unwillkürlich — die Lehre des hervorragenden Indogermanisten *R. Meringer* zur Geltung, der nie aufhörte den Zusammenhang von Ethnographie und Sprachwissenschaft zu betonen und darauf hinwies, dass »Ohne Sachwissenschaft keine Sprachwissenschaft mehr!« (Indogermanische Forschungen, XIX. 1906. S. 457.) Im Wörterbuch kommen Ungenauigkeiten bei der Erklärung der einzelnen Wörter und Ausdrücke nur in ganz wenigen Ausnahmsfällen vor. Auch diese hätte man vermeiden können, wenn das Manuskript auch von einem Ethnographen durchgesehen worden wäre.

Das Wörterbuch ist eine wichtige Quelle der ungarischen und im allgemeinen der mittel- und osteuropäischen Ethnographie. Um den darin enthaltenen wertvollen Stoff zu dokumentieren seien hier einige Stücke — mit vergleichenden Daten ergänzt — angeführt:

1. *Hargóc* ist ein zum Wergspinnen gebrauchter, etwa 20—25 cm. langer Holzhaken (S. 219). Mit diesem hölzernen Haken spinnt man Leine und dünnes Seil. Dieses primitive Spinngerät kann ein besonderes Interesse beanspruchen. Es ist südlich vom Ormánság, bei den Kroaten ebenso bekannt, wie bei den nördlichen Slaven (Polesie). *K. Moszyński* führt mehrere Formen des Spinnhakens vor (Kultura ludowa Słowian, I. Kraków, 1929. S. 300—301). Sporadisch wird er auch von den Iren und von den Schweden gebraucht (*R. U. Sayce*, The Wimble and its Relatives. Folk-Liv, III. Stockholm, 1939. S. 174). Es ist wahrscheinlich, dass der Spinnhaken ein sehr altes Element der europäischen Kultur darstellt.

2. *G. Kiss* teilt nicht weniger, als drei Terminologien der unter dem Namen »Heubogen« bekannten Heutraggeräte aus dem Ormánság mit. Diese sind die folgenden: *bőgő*, *galátafa*, *koppantó* (S. 53, 273, 316). Im Ormánság ist der Gebrauch des Heubogens allgemein. Aus früheren ethnographischen Beschreibungen wissen wir, dass der Heubogen auch östlich und westlich vom Ormánság, an der Drau und an der Mur, sowie in Westtransdanubien vorkommt. Sporadisch ist er nördlich von Budapest, im Börzsöny-Gebirge bekannt. Er verbreitete sich vom Alpengebiet in die Mur- und Draugegend. (Vgl. *S. Gönyey*, Heubogen zum Strohtragen im Drauwinkel. Ethnographia, III. Budapest, 1941. S. 283—284. Ungarisch.) Die Geschichte und der Ursprung dieses Geräts bei den Polen, Klein- und Grossrussen ist noch nicht geklärt. Aller Wahrscheinlichkeit nach kam es zu diesen Völkern — wenigstens zum Teil — auch vom baltischen Raum aus. Einen Beweis dafür sehen wir darin, dass die polnische Benennung des Heubogens litauischen Ursprungs ist (pol. *rezginie* 'Heubogen' < lit. *rẽzgis* 'Spinnen, Korb', *rezgù*, *règzti* 'spinnen, weben, stricken' vgl. *K. Moszyński*, op. cit. S. 621—622).

3. Unter den Namen *kapinya*, *kobak* bespricht *G. Kiss* verschiedene Gefässe, Mehl- und Wasserbehälter (S. 278, 308). Diese Gefässe werden aus *Lagenaria vulgaris* verfertigt. Die Kürbisgefässe sind auf der Balkanhalbinsel heute noch allgemein (s. z. B. *Chr. Vakarelski*, La Revue Thracienne, Vol. 5, Sofia, 1935) und waren schon im prähistorischen Europa gebräuchlich (vgl. *C. Schuchhardt*, Alteuropa. Berlin, 1941.[4] S. 50; *R. Forrer*, Reallexikon, S. 435; *M. Ebert*, Reallexikon, XIV, S. 67).

4. Im Ormánság kennt man den Holzschuh unter den Namen *klumpa*, *kulumpa* (S. 308, 332). Es ist sehr wahrscheinlich, dass es sich hier um ein neues Kulturelement handelt, das von der deutschen Einwohnerschaft der Komitate Baranya und Tolna ins Ormánság gelangte. Den Holzschuh haben die Ungarn auch in anderen Gegenden von Transdanubien von den Deutschen übernommen (*A. T. Varga*, Zwei Nachbarsdörfer. Szeged, 1940. S. 38—39). Unter dem Namen *klumpa* ist der Holzschuh auch in Ost-Baranya und in der Bácska bei den Ungarn bekannt. Das ungarische Wort *klumpa*, *kulumpa* ist aus dem deutschen Klumpen entlehnt (*R. Hartman*, Haus, Hof und Tracht. Wörter und Sachen, XIV. 1932. S. 22). Der Holzschuh ist im allgemeinen für Westeuropa bezeichnend. In Osteuropa bilden die aus Leder oder Rinde verfertigten Bundschuhe die Urform der Fussbekleidung (*S. Svensson*, Skånes folkdrakter. Stockholm, 1935. S. 239), in Osteuropa kommt jedoch eine uralte, primitive Form der Holzschuhe vor, die meiner Ansicht nach mit den westeuropäischen Holzschuhen historisch nicht

zusammenhängt. Am Ende des XIX. Jahrhunderts banden die auf den sumpfigen Gebieten der Grossen Ungarischen Tiefebene (Alföld) lebenden Wildbeuter (ung. *pákász*, eng. predatory man ; das ung. Wort gebraucht man besonders für im Sumpfgebiet und auf dem Wasser tätige Wildbeuter) grosse hölzerne Bundschuhe auf ihre Sohlen um auf dem Sumpfboden nicht zu versinken. In den hölzernen Bundschuhen mit den breiten Sohlen wurde das Gehen sicherer. Dieser primitive Holzschuh war das eigene, uralte Kulturelement der ungarischen Wildbeuter. Ein Bild dieses Holzschuhes ist mitgeteilt in : *B. Gunda*, Ethnological Notes on Drinking-Tubes from Europe, Asia and Africa. Ethnos, Vol. 13. Stockholm, 1948. S. 41. Fig. 3. Von kulturhistorischem und ethnographischem Gesichtspunkt halte ich es für wichtig darauf hinzuweisen, dass der Holzschuh in der ungarischen Sprache noch zwei Benennungen hat : *cókó* und *cokol*. Für die letztere haben wir schon aus dem Jahre 1538 einen Beleg ; die erstere wird 1787 erwähnt. Beide Benennungen sind hier italienischen Ursprungs *(cókó* < ital. *zocco*, *zoco ; cokol* < ital. *zoccolo*, *zocolo ; F. Karinthy*, Unsere italienischen Lehnwörter. Budapest, 1947. S. 12, 14. Ungarisch). Das lässt vermuten, dass auch Italiener Holzschuhe bei den Ungarn einführten, — vielleicht italienische Mönche, Maurer, Steinmetzer, Strassenbauarbeiter. Vielleicht auch ungarische Soldaten, die Italien besuchten und die das dortige Holzschuhtragen lernten. In der heute lebendigen Volkstradition findet man jedoch keine Spuren der italienischen Holzschuhe.

5. *Bökecs* ist im Ormánság der Name eines spitzen Eisen- oder Holzstäbchens. Dieses wird bei der Maisentblätterung an das rechte Handgelenk gebunden um damit die den Maiskolben umhüllenden Blätter aufzuschlitzen (S. 53—54). Das *bökecs* ist den ungarischen Ethnographen schon aufgefallen. Sie wiesen darauf hin, dass ein ähnliches Gerät auch auf der Ungarischen Tiefebene bekannt ist. Da man das Gerät auch bei den nordamerikanischen Delaware-Indianen und Irokesen vorfindet, ist wohl anzunehmen, dass es mit dem Mais zugleich aus der Neuen Welt in die Alte Welt eingeführt wurde *(J. Banner*, Quelques instruments ancestraux de la culture du maïs à Hódmezővásárhely. Ethnographia, LIX. Budapest, 1918. S. 120—123. Ungarisch und Französich). Ähnliche Geräte — teilweise zum Entsamen der Maiskolben — werden auch von südamerikanischen und mexikanischen Indianern benutzt. Vgl. *E. Nordenskiöld*, Eine geographische und ethnographische Analyse der materiellen Kultur zweier Indianerstämme in el Gran Chaco. Göteborg, 1918. S. 33 ; *G. Montell*, Statens etnografiska museums expedition till Mexico 1934—35. De etnografiska undersökningarna. Ethnos, Vol. 2. Stockholm, 1937. S. 305. Fig. 1.

6. Früher baute man die Gebäude im Ormánság auf gewaltige Holzbalken. Solche Bauten konnte man im Notfall fortschaffen und zwar so, dass man das Gebäude mit einer Art von Hebeschrauben aufhob, und das Ganze auf daruntergeschobenen Holzwalzen weiterbeförderte. *G. Kiss* (S. 472) teilt die genaue Skizze der Hebeschrauben mit. Diese waren bisher in der ungarischen Literatur unbekannt. Ähnliche Hebeschrauben zur Aufhebung von Bauten wurden auch in der Tschechoslowakei auf mährisch-wlachischem Gebiet benutzt. *(K. Langer*, Nejen se dívat, ale i vidět. Naše Valašsko, XIII. Brno, 1950. S. 46—47.) Das Fortschaffen von Holzbauten, ihr Weiterrollen auf Walzen oder auf eine andere Art ist in der ethnographischen Literatur bekannt. *(G. Montandon*, L'ologénèse culturelle. Traité d'ethnologie cyclo-culturelle et d'ergologie systématique. Paris, 1934. S. 566 ; *R. Weiss*, Volkskunde der Schweiz. Erlenbach—Zürich, 1946. S. 91.)

7. *G. Kiss* beschreibt den Gebrauch der Backglocke ausführlich. Im Ormánság wird die Backglocke aus Lehm verfertigt. Es werden winzige Steine hineingebrannt um die Glocke kompakter zu machen. Oben war sie mit einem Henkel versehen. Auf der erhitzten Feuerstätte, unter der mit glühenden Kohlen bedeckten Backglocke wurden Brot, Krammeln, Strudel gebakken. Die Wassermüller an der Drau benutzten die Backglocke häufig. Die darunter gebackenen Krammeln trugen sie von Zeit zu Zeit den auf das Mehl wartenden Landwirten an (S. 383, 472). Die Backglocke ist im Ormánság ein balkanisch-mediterranisches Kulturelement, wie das u. A. auch die Tatsache beweist, dass man sie im Ormánság auch *puplika* nennt. *Puplika* ist ein süd-

slawisches Lehnwort in der ungarischen Sprache : kroat. *pokljoka, pokljuka* 'Backglocke' > ung. *puplika* 'Backglocke' (*B. Gunda*, Ethnographia, XLVII. 1936. S. 188 ; *Zs. Bátky* irrt sich sehr, als er dies nicht anerkennt, Néprajzi Múzeum Értesítője, XXVIII. 1936. S. 113—118). Hier bemerke ich, dass wir von der Backglocke eine frühzeitige ungarische Beschreibung besitzen. Diese ist im Jahre 1829 in der Zeitschrift »Mezei Gazdák Barátja« erschienen (Bd. V, Pest, 1829. S. 92—94 124—126). Zu dieser Zeit erfand ein Londoner Schmied eine neue Ofenform. *J. Ponori Thewrewk* weist in seiner Mitteilung darauf hin, dass die in Siebenbürgen gebräuchliche Backglocke vollkommener ist, als die Erfindung des englischen Schmiedes — unter Anderen auch darum, weil man sie von der Stelle wegrücken und fortschaffen kann. Die siebenbürgische Backglocke wird nach der mehr als hundertjährigen Beschreibung aus Stein oder aus Eisen gemacht. In Siebenbürgen benutzt man bis heute steinerne oder eiserne Backglocken.

8. Auch bezüglich des Geburtsstuhles hat *G. Kiss* eine äusserst wertvolle Angabe. Im Ormánság ist der Geburtsstuhl ein niedriger, kreis- oder halbkreisförmiger Stuhl, den man auch zum Melken benutzt (S. 159). Er ist im südlichen Teil von Transdanubien nicht selten. Im Komitat Somogy gebrauchen ihn auch die Kroaten. Mit der Verbreitung des Geburtsstuhles in Ungarn und auf der Balkanhalbinsel, mit seiner Geschichte hat sich in einem letzthin erschienenen Aufsatz *S. Lagercrantz* beschäftigt (Zur Verbreitung des Geburtsstuhles in Afrika. Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien, Bd. LXIX. Wien, 1939. S. 266). Seine Schlüsse sind jedoch unsicher, oberflächlich und in mancher Hinsicht auch unmethodisch. *S. Lagercrantz* trennt die Kultur und die Kulturelemente vom Volke und zieht seine »Schlüsse« lediglich auf Grund der geographischen Verbreitung der einzelnen Elemente. Ohne Berücksichtigung der Ergebnisse der Sprachwissenschaft und der Geschichte hat seine »Ethnographie« nicht viel Anspruch auf Glaubwürdigkeit.

9. *Fêvő* wird im Ormánság jene scheibenförmige weiche Unterlage, jenes rundgedrehte Tuch genannt, das die Frauen unter den Korb legen, wenn sie den Korb auf dem Kopfe tragen (S. 159). Dieses Tragen auf dem Kopf ist ebenfalls ein balkanisch-mediterranisches Kulturphänomen im Ormánság. *Fr. Krüger* hält das Tragen auf dem Kopf für ein mittelmeerländisch-römisches Kulturerbe in Südwesteuropa (Romanica Helvetica, Vol. 20. Zürich, 1943. S. 347—348). Ihre Verbreitungslinien in Mitteleuropa kennen wir noch nicht. Es ist auffallend, dass dieser Brauch in Transdanubien und in Siebenbürgen nach Norden vorrückt, während man eine ähnliche nördliche Verbreitung desselben in der Ungarischen Tiefebene nicht festzustellen vermag. Von seiner Verbreitung in Siebenbürgen s. *L. Gáldi*, Samuelis Klein : Dictionarium valachico-latinum. Budapest, 1944. S. 203. Im nördlichen Teil der Ungarischen Tiefebene kommt diese Tragmethode sporadisch bei den deutschen Siedlern vor (*M. Márkus*, Tragen auf dem Kopf. Néprajzi Múzeum Értesítője, XXIX. Budapest, 1937. S. 445—446).

10. Im Wörterbuch sind auch diejenigen Angaben äusserst wertvoll, die sich auf verschiedene, aus Baumrinde verfertigten Gefässe beziehen. Wie es scheint, spielten in der Vergangenheit die Rindengefässe eine wichtige Rolle in dem Haushalt des Ormánságer Volkes. Solche Rindengefässe sind z. B. die folgenden : *sarginya* 'trichterförmiges Gefäss zum Wasserschöpfen aus Linden- oder Ulmenrinde, mit langem Stiel aus Holz' (S. 470) ; *szapu* 'walzenförmiger Mehl- oder Getreidebehälter aus Ulmenrinde' (S. 479) ; *szepet, szükő* 'kurzes sackförmiges Gefäss aus Ulmen- oder Lindenrinde, mit halbkreisförmigem Henkel aus Bast, — man trägt Obst und Grünzeug darin' (S. 509, 524). Die Rindengefässe sind eigene, uralte Elemente der ungarischen Volkskultur.

11. Vom Gesichtspunkt der Gesellschaftsorganisation ist auch die Angabe wichtig, die *G. Kiss* von einer Form der »künstlichen Verwandtschaft« mitteilt. Am zweiten Ostertage (Ostermontag) bringen die Mädchen gegenseitig Eier einander und stossen die Eier zusammen. Diejenigen Mädchen, die die Ostereier auf diese Weise zusammenstossen, laden einander später wechselseitig zu Patinnen ein (S. 312, 313). Diese Form der »künstlichen Verwandtschaft« zeigt viel Ähnlichkeit mit dem serbischen Gebrauch der »Verbrüderung« — *pobratimstvo* —. (*G.*

Róheim, Ungarischer Volksglaube und ungarische Volksgebräuche, 1925. S. 258. Ungarisch.)

12. Der Name der Verbena officinalis lautet im Ormánság : *szaporagaz*, d. h. 'ergiebiges, fruchtbares, befruchtendes Unkraut'. Die volkstümliche Benennung zeigt bereits, dass das Volk der Verbena officinalis Fruchtbarkeitszauberkraft zuschreibt. Aus dieser Pflanze pflegt man Kranzen zu flechten ; man legt den Kranz oben auf den Ofen, wo er von Neubrot bis Neubrot bleibt. Dem Volksglauben gemäss wird es in solchen Häusern immer Brot in Fülle geben (S. 497).

13. Auf serbisch-kroatischem Gebiet benutzt man einen nach dem Prinzip der Tretanke funktionierenden Hanfbrecher *(K. Moszyński*, op. cit. S. 298. Taf. XIV. 2). Dieser Hanfbrecher kommt unter dem Namen *dufa* auch im Ormánság vor (S. 108), doch sind ähnliche Geräte auch auf nordungarischen Gebieten gebräuchlich *(S. Gönyey*, Volkliche Bearbeitung des Hanfes in Ungarn, Néprajzi Múzeum Értesítője, XXVIII. 1936. S. 2. Karte) und auch bei den Slowaken *(R. Bednárik*, Slovenská vlastiveda, Bd. II. Bratislava, 1943. S. 211). Der Zusammenhang zwischen der südlichen und nördlichen Verbreitung dieses Hanfbrechers ist noch nicht geklärt.

14. Der Verfasser teilt unter dem Stichwort *rozmaringos üveg*, 'mit einem Rosmarinzweiglein geschmückte Flasche' einen bemerkenswerten Hochzeitsbrauch mit. Aus einer solchen Flasche trinken die Hochzeitsgäste einer nach dem anderen, nach der Reihe. Als die Flasche zum Bräutigam gelangt, erhebt sich die Braut, sie küsst den Bräutigam und bleibt stehen, bis der Bräutigam trinkt. Damit zeigt die Braut, dass sie nunmehr ihren Bräutigam als ihren Vorgesetzten anerkennt (S. 465).

Wir könnten die Schilderung des wertvollen, problemreichen ethnographischen Materials des Wörterbuches noch lange weiterführen. Doch schon diese wenigen Beispiele stellen die hohe Bedeutung des Werkes von *G. Kiss* ins rechte Licht. Beinahe jede einzelne seiner Angaben löst eine ganze Reihe von vergleichenden ethnographischen Angaben aus. Das Werk wird immer eine wichtige Quelle für die Forscher der mittel- und osteuropäischen Volkskulturen bleiben. Der reorganisierten und schwungvoll arbeitenden Ungarischen Akademie der Wissenschaften ist die Ethnographie für die Herausgabe des Werkes von *G. Kiss* dankbar.

Ethnographisches Institut *Béla Gunda*
der Universität Debrecen.

Lajos Szolnoky : Az Országos Néprajzi Múzeum guzsalygyüjteménye (La Collection de quenouilles du Musée Ethnographique Hongrois). I. Az Országos Néprajzi Múzeum gyüjteményei (Collections du Musée Ethnographique Hongrois). I, 60. 39 fig. Budapest, 1951. (Avec sommaires en allemand et en russe.)

Les ethnographes ont déjà, à plusieurs reprises, attiré l'attention sur la nécessité d'étudier les divers types de quenouilles. On a fait connaître, de préférence, les quenouilles artistiquement sculptées, intéressant surtout l'art populaire. Ce fut, toutefois, *A. Byhan* (Beitrag zur Volkskunde der Gagauzen, Mémoires de la Société Finno-ougrienne, t. LXVII, Helsinki, 1933, p. 60) qui a montré le premier la possibilité de tracer, à l'aide des types de quenouilles, les limites séparant les cultures diverses ; d'établir, d'après leur témoignage, des particularités ethniques et de suivre de près les migrations des peuples. Après *Byhan*, d'autres investigateurs cherchaient à appliquer ce principe, tel *Gavazzi* qui s'autorisa de la diffusion de certaines formes de quenouilles afin de délimiter les territoires de culture de la péninsule des Balkans et de fixer les voies de la migration des Slaves du sud (Problem karakterističnoga razmještaja nekih etnografskih elementa na Balkanu, Comptes-rendus du IVe Congrès des Géographes et des Ethnographes Slaves, Sofia, 1936).

Le livre de M. *L. Szolnoky* fournit d'importantes données et des points de vue nouveaux à l'étude future des types de quenouilles. Le livre se compose de deux parties. La première traite de l'histoire de la quenouille, de son évolution à travers les âges et chez divers peuples. Dans la deuxième partie, l'auteur passe en revue les types de quenouilles se trouvant au Musée Ethnographique de Budapest.

La quenouille est l'instrument du filage ; c'est à elle qu'on attache l'étoupe, le paquet de laine dont on tire le brin pour le tordre en fil, avec les doigts humides, à l'aide du fuseau. Dans le filage, le rôle de la quenouille est secondaire : il se borne à permettre au fileur de tenir sous la main le paquet de fibres ou de laine. Les quenouilles employées en Europe et en Asie n'ont pas toutes la même forme. Les lacunes des données relatives à la chronologie des quenouilles empêchent l'auteur de rattacher telle ou telle forme à telle ou telle époque exacte. Au lieu de dérouler devant nous le tableau de l'évolution historique de la quenouille, l'auteur se contente donc de construire un système d'évolution que la logique peut admettre et qu'il appuie sur de nombreuses données provenant de diverses publications relatives à l'ethnographie et à l'histoire des arts.

M. *Szolnoky* distingue les divers types de quenouilles selon la manière dont on la tient pendant le travail, c'est-à-dire selon son mode d'emploi. Chacun des types doit son origine au désir du fileur de placer le paquet de fibres d'une façon plus pratique et plus commode qu'auparavant. De l'examen de la différence entre la disposition plus évoluée et la disposition plus primitive des fibres, l'auteur tire cette conclusion que l'homme s'efforçait de rendre, pendant le filage, sa main gauche de plus en plus disponible, en éloignant, en écartant le paquet de fibres de son corps. Devenue libre, la main gauche peut faire du travail de plus en plus actif.

Selon M. *Szolnoky*, le plus ancien mode de filage est celui où le paquet de laine, respectivement de fibres, est disposé sur le corps même de l'homme. Dans ce cas-là, le fileur n'est pas attaché à un endroit fixe. La position la plus primitive du fileur est peut-être celle où il tient à la main gauche la matière à filer tandis qu'il file de sa main droite. C'est ainsi que filent, aujourd'hui encore, les Mongols de l'Asie Centrale. Un mode de filer déjà plus développé consiste à tenir l'étoupe sous l'aisselle ou bien à l'attacher sur la tête. Cette dernière disposition de l'étoupe est attestée, dès 1555, par une belle illustration de l'historien suédois Olaus Magnus. Le fileur tire les brins du paquet de fibres attaché à sa tête et il roule le fil autour du fuseau qu'il tient à sa main droite. Je suis à même d'ajouter que ce mode de filer a occupé, sur la base de la donnée même d'Olaus Magnus, et d'analogies slovaques, des spécialistes avant M. Szolnoky (cf. *B. Gunda :* The Ancient Slovak Spinning-Method, Národopisný Sborník, t. IV n° 4, Turč. Sv. Martin, 1943, pp. 262—268, en slovaque, avec résumés en allemand et en anglais ; *B. Gunda :* Niel'ko poznámok ku prastarému pradeniu nití u Slovákov, Národopisný Sborník, t. V n° 1er. Turč. Sv. Martin, 1944, pp. 37—38 ; *J. Vorá*č*ek :* Báhorka »Lesní Ženka« od Boženy Němcové, Český lid, t. IV, nos 1—2, Prague, 1949, pp. 27—30). M. *Szolnoky* n'a pas tenu compte de ces travaux. Il en est de même du livre de *Fr. Krüger* (Die Hochpyrenäen. D. Hausindustrie, Tracht, Gewerbe. Hamburg, 1936, pp. 32—47), ouvrage fondamental pour ce qui concerne le classement des formes de quenouilles. Les travaux de *Fr. Krüger* et de ses disciples sont indispensables dans tous les domaines des recherches d'ethnographie comparée et historique.

La série d'instruments supportant l'étoupe s'ouvre par la quenouille à main, une baguette longue de 25 à 35 cm, dont un bout est taillé en pointe et que le fileur tient à sa main gauche. On la connaît dans la Grèce antique, en Bretagne, en Scandinavie et en d'autres régions périphériques de l'Europe. L'emploi de cet instrument comporte déjà un certain écart entre les fibres végétales et le corps humain. Un instrument plus rationnel que la quenouille à main est la quenouille maintenue à la ceinture (de la jupe, etc.). La forme de cette quenouille est la même que celle de la quenouille à main, avec la seule différence qu'elle est plus longue. Ce type dispense déjà la main de tenir l'étoupe, respectivement le bâton. Cette forme de la quenouille était générale dans l'Europe entière. C'était surtout les peuples pasteurs qui s'en servaient de préférence car une telle quenouille ne fixait pas leur travail à un endroit donné. On peut considérer la quenouille-barre comme un type plus développé. Le fileur, assis, s'en sert en la serrant entre les genoux ; mais ce type-là lui permet de travailler, si besoin est, en marchant ; dans ce cas-là, la quenouille est maintenue à la ceinture. On peut observer diverses

formes de quenouilles sur les tableaux de Giotto, des deux Breughel, de Velazquez, Segantini, Fouquet, Bourdichon, Millet, etc.

La quenouille à main et la quenouille maintenue *à la ceinture* permettent au fileur de se promener en travaillant — constate *M. Szolnoky*. La quenouille-barre peut être considérée comme une forme de transition. La quenouille sur pied, déjà connue au XIIIe et au XIVe siècles, fixe le fileur. On la connaît en Bohème (XIIIe et XIVe siècles) dans les régions du Haut-Rhin, en Hongrie, en Pologne, en Suède et en Finlande. Au territoire ethnique russe, on s'en sert à partir de 1900 environ. On retrouve ce type de quenouille, par exemple, sur la représentation de sainte Élisabeth par le peintre allemand Hans Burgkmair (au tournant des XVe et XVIe siècles) et sur celle de Marie dans la Bible de Severynovy (1527). Les types où le support est monté sur deux ou trois pieds représentent une forme plus développée de la quenouille que les quenouilles sur pied. Dans ce type-là, la longue barre de la quenouille saillit du centre d'une sorte de petite chaise. On retrouve déjà ce type dans un manuscrit de l'Allemagne du sud du XVe siècle. Le rouet qui fait son apparition au XVIe siècle remplace le fuseau tourné à la main ; cependant, c'est encore la quenouille qui, faisant partie du rouet, sert à supporter le paquet de fibres. Chacun des types successifs de quenouilles représente un degré plus élevé de l'évolution de cet instrument et rend le travail plus rationalisé.

Chaque peuple se sert d'un type de quenouille approprié à sa façon de vivre. Dans ce domaine-là, les circonstances de la vie exercent une influence décisive. Là où les jeunes filles et les femmes fréquentent la «maison des fileuses», c'est-à-dire elles vont, pendant tout l'hiver, à la veillée chez les voisines pour filer, la quenouille-barre ou la quenouille sur pied se maintient de préférence ; là où elles ne se fréquentent guère, le rouet, qu'on transporte moins facilement, s'acclimate au détriment des formes antérieures, plus mobiles, de la quenouille. Chez les Hongrois, quant à l'emploi d'un type de quenouille ou d'un autre, on peut observer des différences selon les générations aussi. Les personnes âgées se servent plutôt de la quenouille *à* chaise : les jeunes, qui fréquentent volontiers les maisons pour y filer ensemble préfèrent la quenouille sur pied.

Lors de la conquête de la Hongrie (à la fin du IXe siècle), les Hongrois connaissaient déjà la technique du traitement du chanvre, celle du tissage et du filage. Les Hongrois de l'époque ougrienne avaient déjà filé, eux aussi, des fibres végétales, mais ils ne firent la connaissance du chanvre, qui joue un rôle si important dans l'histoire du filage et du tissage, que lorsqu'ils en apprirent l'usage des Turcs, peuples vivant dans les régions situées plus au sud. Les Slaves primitifs employaient déjà, selon toute probabilité, la quenouille destinée à soutenir l'étoupe, et leur quenouille consistait en un bâton maintenu à la ceinture. Jusqu'à la fin du Xe siècle, divers types de quenouilles se développèrent chez les peuples slaves. C'est aux Slaves orientaux que les Hongrois ont pris la quenouille sur pied, probablement avant la conquête du pays. Sauf les Sicules («Székely»), les Hongrois se servent encore en général de la quenouille sur pied, bien qu'ils n'ignorent ni la quenouille-barre ni la quenouille à chaise.

L'auteur représente sur une carte la diffusion des divers types de quenouilles chez les Hongrois et chez les peuples environnants. Sur la base de sa carte, *M. Szolnoky* établit qu'au point de vue des types de quenouilles, le Bassin des Carpathes est un territoire de transition. Au nord du Bassin, la quenouille sur pied prédomine, tandis que dans les Balkans, c'est la quenouille à ceinture qu'on peut considérer comme type dominant. La carte fait voir la ligne où la quenouille à ceinture, caractéristique des Slaves du sud, entre en contact avec les quenouilles sur pied des Hongrois et des Slaves du nord. La quenouille à ceinture, type qui convient fort à l'existence des pâtres des montagnes avance tout au nord du Bassin des Carpathes, tandis que l'emploi de la quenouille sur pied, dont on ne peut se servir que quand on est assis, s'étend jusqu'à l'extrémité sud de la frontière ethnique hongroise.

M. Szolnoky n'accepte pas la théorie d'*A. Haberlandt*, selon laquelle les baguettes de bronze, longues de 16 à 23 cm, qu'on a trouvées dans les tombes de femmes des Hongrois du

temps de la conquête, avaient été des quenouilles à main. On a cherché les analogies de ces baguettes de bronze dans les trouvailles similaires des tombes de femmes du milieu du IIe millénaire avant notre ère de l'île de Chypre. (Cf. *A. Haberlandt:* Vor- und frühgeschichtliche Überlieferungen im Volksbesitz der Gegenwart. Wiener Zeitschrift für Volkskunde, t. XIV, Vienne, 1919, pp. 70—90.) Du point de vue de la forme et de l'ornementation, la théorie d'*A. Haberlandt* semble justifiée, puisque les types de quenouilles à main de la région méditerranéenne de l'antiquité et des temps modernes montrent une curieuse ressemblance avec les baguettes de bronze hongroises. Ce qui s'y oppose, toutefois, selon *M. Szolnoky*, c'est que si l'on découvre de telles baguettes dans les tombes de femmes, elles se trouvent toujours aux environs de la clavicule gauche, pointées vers le corps. Leur longueur moyenne (20 cm) ne permet pas d'y voir des instruments pour supporter l'étoupe. L'auteur est d'avis que ces baguettes étaient plutôt des aiguilles destinées à épingler le vêtement féminin.

Dans la deuxième partie de son livre, *M. Szolnoky* décrit deux des quatre principaux types de quenouilles conservés au Musée Ethnographique de Budapest : la quenouille à ceinture et la quenouille-barre. Quant aux deux autres formes — la quenouille sur pied et la quenouille à chaise —, il leur consacrera une étude à part. Dans les groupes des deux types principaux, il distingue des subdivisions selon la forme et l'ornementation des objets. L'ouvrage, complété par d'excellents dessins et des photographies bien réussies, appartiendra parmi les sources les plus importantes de l'ethnographie comparée européenne.

Institut Ethnographique
de l'Université de Debrecen. *József Szabadfalvi*

A MAGYAR NÉPZENE TÁRA. — Corpus Musicae Popularis Hungaricae. Edited by *Béla Bartók* and *Zoltán Kodály* on behalf of the Hungarian Academy of Sciences. Vol. I. Children games. Technical editor : *György Kerényi*, Budapest, 1951. XXXVIII. 934 pp. 16 tables, 1161 tunes. (Collection of Hungarian folk music).

Ever since *Béla Bartók*'s summary[1] of 320 folk songs was printed in German and in English, and the 150 Transylvanian tunes edited by *Béla Bartók* and *Zoltán Kodály*[2] were published with English, German and French introduction respectively, scientific circles have had the possibility to form an idea concerning the collection of Hungarian folk songs.

The present volume is the first in a series to include a completc collection of Hungarian folk songs. Twenty thousand tunes are going to be published in this series. They have either been taken down in notes on the spot or recorded on phonograph cylinders or gramophone plates. The scientific systemizing of this vast material, its treatment from historical, comparative and other points of view, its commenting and editing, require great many years work which will serve as sufficient excuse that this first volume, the Children games could be published only recently.

Editing was started in 1934 by *Bartók* and *Kodály*. Since *Bartók*'s departure from Hungary in 1940 and his subsequent death, *Kodály* remained in sole charge of editing. During these years, not only the full material of recent scientific collection has been included into this work but also variants taken from earlier manuscripts or from publications. Special consideration was given to the spreading of certain groups of tunes and to the evolution of their variants. Similarly, drawing on historical and musical sources the editors have brought within the scope of their comparative study the entire material of Hungarian folk songs. The same applies to international comparative studies. In the present volume, however, international comparison

[1] Das ungarische Volkslied. Ungarische Bibliothek 1. Reihe 11. Berlin, 1925. — Hungarian Folk Music. London 1931.

[2] Les hongrois de Transylvanie. Chansons populaires. Budapest, 1923. — Hungarians of Transylvania. Melodies. Budapest, 1923. — Die Ungaren in Siebenbürgen. Volkslieder. Budapest, 1923.

could be carried only to a certain point because of difficulties in obtaining foreign literature, and because of the fact that nursery rhyme publications are rather rare abroad, too.

The publication of the full collection is planned to comprise 20 volumes and to include all tune categories of Hungarian folk music in the following order : 1. Children Games — the volume recently published, 2. Tunes of Calendar Customs — actually in print, 3. Nuptial Tunes — under preparation and 4. Dirges. Another twelve or fourteen volumes are to follow. They will include folk songs proper (lyrical tunes, ballads, dance tunes, etc. not attached to some special occasion unlike those figuring in the previous volumes) classified according to musical principles. Instrumental tunes will be published last.

Each type requires different principles of classification according to their particularities. Different principles are to be applied to Children games and to dirges ; to these latter as well as to many instrumental tunes the principles concerning the four-line strophic tunes cannot be applied. The melodies of our calendar customs are rather heterogeneous though many of them are of the same amorphous character as children'songs The tunes of the calendar customs have to be classified according to the individual occasions they are meant for and to the part they play within a given occasion.

Systematic classification caused greatest difficulties in the first volume. Due to the fact that this material is void of any closed form, that different motifs, even different melodies wholly integrate within one game, and due to the irregular repetition of the bars which thus cannot be systemized it was practically impossible to include into common groups those which on the strength of their characteristic features belong together without leaving out of consideration their mani fold relations to other tunes. This is why in the above volume the editors have adopted the principle : to take the most important, most characteristic melody feature, called the nucleus of the tune, as a start and to range the nuclei of common character in groups according to their specific sound-connections, that is musical intervals belonging to a definite key. Such are, e. g. *re-do*, *mi-re-do*, i. e. the trichord forming the nucleus of the scale, or *sol-la-sol-mi*. If also other motifs figure in the whole of the game their possible affinity to one another is to be found in a special index. Thus, for instance, a tune consisting of two notes and another of six can be found side by side in the volume as both are featured by the *re-do* nucleus. In the former we have nothing more than the *re-do* nucleus while in the latter this very nucleus figures as the principal motif completed by additional motifs going as far as *sol-la*. This is the only method permitting the systematic classification of nursery rhymes exceptionally prone to variability, and where the manifold connections are due to the interference of melodies and the disintegration of motifs.

The system is, at the same time, most suitable to reflect musical development as the musical nuclei gradually lead us from two neighbouring sounds to the extent of a full hexachord resp. octave range. So they expose the development from the most primitive forms to the more developed ones where the effect of adult-songs asserts itself to an ever increasing degree : fragments of folk songs, sunk among nursery rhymes, molten into children's games, figure among the original features of children' song and can be recognised in a disintegrated, or more or less accomplished stage as separable features, among the repeating-varying elements of nursery rhymes. The last stage of development consists of the group of independent folk songs and finally of school songs. This course of development answers the question why this series begins with children' songs. This material presents the antecedents of the development of folk-music proper and can be regarded as an introduction to more developed forms.

This statement may, prima facie, sound peculiar to anybody familiar with the principal types of Hungarian folk music, and aware of the great part the pentatonical system plays in it, whereas in the above volume he will find tunes almost without exception in the major-hexachord or its fractions, or, again, in its form reaching the octave. Indeed, the whole material of Hungarian nursery rhymes as it is seems to be a world different from the Hungarian folk song proper. The major-scale type sound connections the hexachord melodical system has much

in common with the children' songs and folk songs of European peoples, mainly with those beloging to the German-speaking area. This type of tune seems to throw light upon the identical development of musical elements with the European nations.

Certain elements and features of this material, however, are not really far from, or unfamiliar to the pentatonical system. E. g. the nuclei included in groups 1 to 3 — the *do-re-mi* trichord — as well as the *sol-la-sol-mi* connection are elementary germs of songs in representing not only individual sections of the major-hexachord but also those of the pentatonical scale : duly complemented either scale system can be built on them. And, indeed, among the Finno-Ugrian and the Turkish peoples — our linguistic and anthropologic relatives — many tunes of a limited melody range can be found that can be regarded as various stages of the road to pentatonism. Such melodies or sections thereof figure also in Hungarian nursery rhymes, such as Nos. 329—330 or 357 to 360 of the above volume. In these the nucleus of the melody consists of three neighbouring major-seconds which might really be *do-re-mi* but here it was interpreted as *fa-sol-la*, due to its completion in certain variants. On the other hand the different completions reveal what is really behind it. These nuclei are basic connections of sounds which, receiving different complementary members, continuations, insert themselves in various ways into one scale system or into the different scale systems. There are, however, still many variants showing how uncertain the sense is which later qualifies these germs as forming certain degrees in the scale system. In the two groups different continuations offer different interpretations to the same connection of sounds : *sol-la-sol-fa* or *la-si-la-sol*, with a minor-continuation, similarly *mi-re-mi-la* connection can be *re-do-re-sol*. It is, of course, most suitable for classification to similarly interpret variants belonging together ; the most frequent continuation determines the interpretation of the nucleus and where it takes place within the system. But it is the very method of classification that exposes the scientific problems, too : within the same rhyme or even melody sometimes a threesound trichord stands alone, sometimes it is combined with *sol-mi-do*, sometimes with *mi-re-do-si-la*. These nuclei of melody have preserved remnants of the stages in the development prior to the formation of scale-systems. It is corroborated by the often discernible freedom in the choice of the cadence : tunes interpreted and recorded in *do*-major-hexachord may have, also within one type of tune, a cadence different from *do*. Such are, e. g. Nos. 163, 165, 169, 211, 234, 261, 267, 280, 283, 284, 294, 366, 372, 383, 857, 861—862 and 798 to 800. Such tunes with a free cadence, not ending with *do*, might be superficially regarded as unfinished, as fragments, which would not be altogether unjustified, especially in nursery rhymes. Particularly tunes ending with *re* offer such fragmentary effect (Nos. 234, 340, to 343, 346, 347, 383, 857, 861 and 862). Variants Nos. 346—347 might be regarded as subsequently mutilated as the second variant stops at *fa*, on the other hand variants No. 857, 861—862, fairly removed from each other, with a rounded off, uniform ending, cannot be a mere coincidence and, at least, point at the fact that *re* as a cadence is not strange for Hungarian children, and to finish off with *do* is, by no means, an imperative necessity for them. It follows that the obstinately repeated *sol-re* distances of the basic motif figuring in the exemples 340—343 with a *re*-cadence may also belong here, though a motif later complements it to *do*, and, what is more, this ending is a separate new nursery rhyme in No. 862. Identical nuclei with different continuations in the variants are to be found in Nos. 75—77, 79, 357, 358, 359—360.

On the other hand, No. 165 presents an example that, whatever liberty there is in the cadence in certain cases, it cannot obliterate the original key character of the nucleus. The trichord figuring in it, continued with a second-minor, downwards ought to be interpreted as *si-do, re, mi* but in this motif we feel it only *sol-la-sol* with a *fa* cadence. The variants (160—164) of the same show the lack of a closed form with their different cadences *(mi, fa,* and *sol)*. On the other hand No. 249 which uses the same sounds differently, calls for a *do* cadence in which we feel, after the antecedents, a deviation from the key.

Considering the great number of such »irregularities«, not in line with the normal major hexachord melodies, they cannot be regarded as mere coincidences, or as signs of deterioration, but as remnants of a previous or an other kind of musical conception which has been kept alive to fairly great degree even amidst the major-hexachord conception which has become overwhelming. It seems to be fairly justified therefore to regard the nuclei ranged in special groups — groups No. 1—3 — as products of the pre-hexachord state *(do-re-mi* and *sol-la-sol-mi)* of which continued with *fa* arises the major-hexachord. From these nuclei roads lead to both systems and the Hungarians under different influences seem to have taken both possible paths of development.

As a completion to musical classification and to the problems arising therefrom the editors ranged also the games belonging to them. As the game and the song form an unbreakable unit every tune in the volume figures together with the description of the relating game in the order of musical classification. But the games had to be ranged also into a system of their own on merits of their own peculiarities ; this system is to be found at the end of the volume with reference to the musical material. It meant a task without any model and, accordingly the system might possibly be modified or complemented. Nevertheless we hope that this initiative which can be termed as pioneer work in its field will be favourably welcomed.

We are confident that our volume with its double system, its huge material, its appendices rich in photographs and sketches, its numerous indices, will be useful in promoting research in folk-music and will offer an ample source for international, comparative musical science. It is meant to offer an idea of the significance of Hungarian research work in the field of folk music the results of which will fully assert themselves in the following volumes.

Ethnographical Museum in Budapest *Lajos Vargyas*

Lajos Vargyas: A MAGYAR VERS RITMUSA. (The Rhythm of Hungarian Verse.) Budapest, 1952. Akadémiai Kiadó. 8vo, 263. pp.

The rhythm of Hungarian verse was discussed by *János Arany*, the poet, in a study »On the National Form of Hungarian Verse« (A magyar nemzeti vers-idomról, 1856). Since the publication of *Arany*'s study, the problem has been extensively discussed, the literature on the subject being decisively influenced by *Arany*'s important contribution. As a result there was, until recently, a widespread, if not generally accepted, belief that the rhythm of verse springs, not from the combined effect of linguistic factors, but from melody. The theory was supported and advocated by such authoritative foreign scholars as *Saran* and others, thus becoming fairly popular in literary science. It is the validity of this theory that *Vargyas* seeks to contest in the present monograph ; on the basis of a searching, detailed analysis he is trying to establish the thesis that »rhythm (i. e. the rhythm of verse — J. H.) is a stylized linguistic phenomenon meant to produce the impression of equal temporal duration; it is the stylization of such a linguistic phenomenon as is most suited to suggest equality of duration in the language (in question)« (see pp. 200—201).

With this aim in view, the arguments employed in this book fall mainly under two heads. The first part of the monograph is of a negative character : the author demolishes here the theory which seeks to derive the rhythm of verse from musical rhythm. A thorough investigation of the precise nature of the relation which exists between the rhythms of verse and of music has been a debt of long standing with writers on Hungarian rhythmic structure. It has been

clear for some time that the relation between the rhythms of verse and of music must be clarified before one is to pass judgment whether the theory which regards »the rhythm of Hungarian verse as conceived in melody« is correct or the reverse. In the person of the author, an expert in Hungarian folk-music has shouldered this task; a close study of his argumentation leads one to the conclusion that *Vargyas* has arrived at a convincing solution of the problem. His scrutiny of a vast material of popular music makes him finally conclude that »the popular music of all ages shows that it is not the words that are affected by the rhythm of music but, on the contrary, the music is affected by the rhythm of the text« (p. 48).

The second part of the book, positive in character, is larger in bulk : here the author gives his own explanation of the rhythm of Hungarian verse. The gist of his argumentation may be summed up as follows. The rhythm of Hungarian verse may be fully accounted for by linguistic levelling, a process which, in the author's view, is demonstrable or, more precisely, assumable in the Hungarian language. In *Vargyas*'s usage the term »linguistic levelling« covers, in fact, two distinct linguistic phenomena. One of them is that linguistic utterances in Hungarian consist, not of uninterrupted sequences of sounds, but of shorter or longer parts corresponding to the syntactic units. Such parts are called »phrases« by *Vargyas*, probably for considerations of rhythm. The essence of the second linguistic phenomenon is that, on the one hand, long words are pronounced relatively more quickly than short ones and, on the other, the end of the words is pronounced more slowly than the beginning. While the first phenomenon produces, n itself, a clear-cut though not entirely proportionate division of linguistic utterances, the iecond brings about an approximate levelling of duration between the longer and shorter phrases, while phrases too long for the rhythm of the verse are divided into two halves roughly equal in duration. The development of the rhythm of Hungarian verse represents, according to *Vargyas*, a stylization of these two linguistic phenomena, the old line characterized by free rhythm and a varying number of syllables being gradually replaced by a line with a fixed rhythm and a fixed number of syllables. The chapters of the book entitled »Medieval Hungarian Verse« (p. 92 foll.), »Poetry for Singing in the 16th—17th Centuries« (p. 136 foll.), and »Zrinyi« (p. 147 foll.) contain a detailed and careful metrical analysis of a rich fund of literary material, with the evidence weighing in favour of such a development.

The main thesis established by *Vargyas* may at first sight appear surprising in the light of the view that has obtained wide currency in literary science, viz. that the origin of the rhythm of verse must be sought in musical rhythm. Yet the explanation given by *Vargyas* stands by no means isolated in the literature on the subject. It is enough to refer here to *Junker*'s analysis of the rhythm of Saka verse : he stresses, it is true, emphatically »dass orientalische Verse in alter wie in neuer Zeit gesungen oder im Sprechgesang vorgetragen werden ; dass es rein silbenzählende Verse nicht gibt, nicht geben kann, weil das physiologisch unmöglich ist« — yet he deduces the rhythm of verse from linguistic factors, mentioning among its components the following qualities of sound : 1. duration, 2. sonority or strength, 3. pitch, and 4. timbre. The interrelation of these qualities is defined as follows : »Jeder dieser Faktoren kann für die Rhythmusbildung relevant werden ; keiner kann fehlen ; es können auch mehrere Faktoren sich bündeln. Entscheidend ist aber immer der Wechsel von relevanten, merkmalhaltigen und irrelevanten, merkmallosen Faktoren. Rhythmus »beruht« also nicht notwendig auf allen akustischen Faktoren der Rede« (see *Fr. Altheim*, Literatur und Gesellschaft im ausgehenden Altertum. Halle (Saale 1950, p. 131). This interpretation of the part played by linguistic factors in forming rhythm is in many respects close to Vargyas's view. The conclusions of the book under review are, therefore, by no means surprising ; actually, an acquaintance with the rhythm of verse in the Old Indo-European languages would naturally predispose one to expect the same result in connection with the rhythm of Hungarian verse. This circumstance does not, of course, diminish in any way the significance of Vargyas's book : it merely goes to show that his results are not isolated in the field of metrical studies but fit organically into a wider framework of solid investi-

gations. Conclusions similar in some respects to those of Vargyas have recently been reached by *M. P. Stokmar* in connection with Russian popular poetry (Исследования в области русского народного стихосложения. Moscow, 1952).

In the light of the above, *Vargyas*'s explanation of the rhythm of Hungarian verse would seem plausible in the given context and correct in its broad outlines. This does not mean, however, that the problem of the rhythm of Hungarian verse may be regarded as clarified in all its details. The chief reason of this is that in certain fields of the Hungarian language the necessary preliminary spade-work has not yet been done; hence *Vargyas* could give only a sketchy account of the linguistic side of the rhythm of Hungarian verse. If we wish to bring the problem closer to a final solution, we must point out those details in the author's conception and, more particularly, in his linguistic explanation that stand in need of further elucidation, supplementing, and investigation.

With regard to the final conclusion of the first part of the book, *Vargyas* maintains the view, based on a close study of a rich material of popular music, that the rhythm of the verse cannot be derived from musical rhythm : this view is undoubtedly correct, being reinforced by the following two considerations. The further we reach back in time, to more and more primitive stages of development, the closer, it is true, the connection between melody and words appears, yet, at the same time, the rhythmical forms become increasingly indistinct, the rhythm turns freer and freer. Hence we must conclude that at that stage of development in the dim past when melody and words were most closely interwoven and, consequently, when there was the greatest likelihood for musical rhythm to exert its influence on the rhythm of the verse, the forms of both musical and poetic rhythm were still so undetermined that the later, more developed forms of poetic rhythm can in no case be traced back to the influence of ancient free melodies. In the course of subsequent development the rhythm of verse becomes increasingly differentiated from the rhythm of music. Hence the relation of the two kinds of rhythm in the course of their historical growth makes it improbable that the rhythm of verse should have derived from musical rhythm.

While the study of the historical relation of the two kinds of rhythm shows that the development of verse-rhythm was *not* due to the influence of musical rhythm, an examination of the poetry in the various languages makes it certain that the rhythm of verse is the product of *linguistic* factors. In the domain of the Indo-European languages — where the history of rhythmic forms may be studied, in some cases, throughout the stretch of three millennia — there are clear examples to show that linguistic changes bring about radical changes in the structure of verse-rhythm. This fact may be explained only on the assumption that verse-rhythm is the function of linguistic factors. It is enough to point out in this connection that, in Latin, the initial expiratory stress led to the rise of the alliterative type of verse-rhythm based on accent, while the working of the law of the trisyllabic word-stress brought in its wake the development of versification based on quantity and the abandonment of the old type of verse-rhythm. The history of the Greek forms of rhythm shows a similar development. In Greek, musical stress was replaced by expiratory stress, with a corresponding radical change in the system of long and short vowel-phonemes ; in accordance with this development, the rhythmical forms of Classical Greek, based on quantity, were replaced in the Christian poetry of Byzantium by a verse-rhythm based on stress. The number of examples might be increased but this suffices to show that Vargyas's findings concerning the relation of verse-rhythm to musical rhythm must be regarded as a convincing solution of the problem.

With regard to *Vargyas*'s explanation of the linguistic basis of Hungarian verse-rhythm, we have to point out, first of all, that his theory seems both logical and plausible. It is one of the author's great merits that he was able to shake off the influence of the metrical theory derived from the study of the ancient classical languages. From the days of *János Arany*,

down to our own time, this theory has cast its spell on practically all scholars dealing with the subject, thus impeding considerably a correct realization of the nature of Hungarian verse-rhythm. One of the fundamental findings of *Vargyas*, based on a close study of a vast material and going far beyond the problem of Hungarian verse-rhythm, is the recognition of the primary role played by phrases in the formation of the rhythm of verse. In this connection it is important to point out a fact which throws light also on the historical development of Hungarian verse-rhythm : viz. the important part played by phrases — or, to employ the phraseology of linguistics, of syntactic units — in the verse-rhythm of the Ob-Ugrians. This poetry in its entirety has preserved an ancient type of rhythm which may be regarded as practically identical with the earliest form of Hungarian verse-rhythm, such as it appears in the light of *Vargyas*'s theory. The chief characteristics of this verse-rhythm are : a line composed of a varying number of syllables, a free system of beats, and the primary, even exclusive role of phrases in the formation of beats. This naturally implies that at this stage of development there is, rhythmically, very little difference between verse and prose. It is enough to mention in this connection that even such an eminent expert of Vogul language and folk-poetry as *Bernát Munkácsi* on several occasions took prose texts for verse, unnecessarily breaking them up into lines. As to the role of phrases in the verse-rhythm of the Ob-Ugrians, the best examples are afforded by the mistakes committed by *Munkácsi* when trying to reduce these texts to rhythmic order. These mistakes have been pointed out by *Kannisto ;* they are all due to the fact that *Munkácsi* transferred the second part of phrases into a new beat and line. Let us see e. g. the following passage in Kannisto's rhythmic arrangement :

Sorni-Kworės | *jäγėnnė lāwėm*	Told by Golden *Kworės* thy father
Sorni-Kworės | *aśėnnė lāwėm*	Told by Golden *Kworės* thy sire
l'āñχiñ uj | *l'āñχėm* | *ti.*	(through a) message-bearing animal my message is this.

Here *Munkácsi* committed the mistake of transferring the word *lāwėm* 'told' to the line beginning with the word *l'āñχiñ*, although *lāwėm* belongs, syntactically, to the words *jäγėnnė* and *aśėnnė* (see *Kannisto*, FUF 8 (1908), p. 170 foll.). As we see, in *Kannisto*'s rhythmic arrangement every beat coincides with a phrase, the beats contain a varying number of syllables, the rhythm flows freely — in other words, we have before us the ancient form of Hungarian verse-rhythm, such as it must have been according to Vargyas's theory. The importance of the phrase is best shown by the fact that the word *ti* 'this', though monosyllabic, yet figures as an independent phrase and forms a separate beat.

There is another point which is worth mentioning briefly. The phrase as a rhythm-forming factor may have an important part to play not only in Hungarian and in the verse-rhythm of the Ob-Ugrians but also in languages in which the basis of linguistic levelling is quite different. This is e. g. the case in Old Icelandic where the element responsible for producing the impression of equal duration must be sought in the stressed syllables ; nevertheless, every half-line usually coincides with a phrase. Thus, in addition to stress, the phrase plays a decisive role in the formation of rhythm — one is tempted to say that the stressed syllables merely divide the phrase into two parts roughly equal in duration. Here is an example :

Vreiðr var þá Vingþórr, er hann vaknaði
ok sins hamars of saknaði ;
skegg nam at hrista skǫr nam at dýia,
réð Iarðarburr um at þreifask.

Similar examples might be quoted from other (e. g. the Iranian) languages. All this goes to show that Vargyas's observations concerning the rhythm-forming role of the phrase may prove

extremely stimulating in the study of the verse-rhythm, not only of Hungarian, but of other languages, too.

With regard to another important point in *Vargyas*'s theory of rhythm, viz. the quicker pronunciation of long words and the slower utterance of the end of the words, we have to point out the following. On the basis of the rhythmic material discussed by *Vargyas*, this view seems to be highly probable but, for the time being, there is not enough linguistic or, more precisely, phonetic evidence to support it. The author quotes, it is true, the results of the measurements made by *Meyer* and *Gombocz* in the case of the group of words *tát*, *tátog*, *tátogat*, etc — but this single datum is far from being reliable. It has become clear that the method employed by *Meyer* in his phonetic investigations of the Hungarian language is open to grave objections (see *Gy. Laziczius*, Fonétika. Budapest 1944, p. 157 foll.) which apply with even greater force to the time measurements made on the words *tát*, *tátog*, etc. But even if one were to suppose that the measurements prove the quicker pronunciation of long words, they offer no tittle of evidence for the slower pronunciation of the end of the words. It is enough here to point to the following contradictions in *Gombocz*'s data. According to *Meyer*'s measurements, the duration of the final *k* in the word *tátogatók* was 5.1 hundredth of a second ; in the word *tátogatóknak*, the duration of the same *k* was 9.0 hundredth of a second, while that of the final *k* 9.4 hundredth of a second. Or let us take another example : in the word *tátogatóknak* the measurements yielded 18.2 hundredth of a second for the sound *á*, 17.2 hundredth of a second for the sound *ó*. At the same time *Gombocz* gives the average duration of the sound *á* before *p*, *t*, *k* as 26.4 hundredth of a second, that of the sound *ó* in a similar position as 27.0 hundredth of a second. From these data it appears that in the word *tátogatóknak* there is no decrease in the speed of pronunciation towards the end of the word — or else, that the measurements were not reliable. Whichever is the case, it would be premature to judge *Vargyas*'s theory on the basis of this single, unreliable test. Obviously, much more precise and methodical phonetic observations must be conducted before one is justified in offering definite views on this point.

This question of detail also clearly shows that *Vargyas*'s book opens up new vistas and marks out new tasks not only in the field of verse-rhythm but also of a number of linguistic problems connected with it. This monograph, by boldly raising a variety of questions and offering ingenious and daring solutions, is a serious contribution to the work of Hungarian scholarship n the fields of literary history, ethnography, folk-music as well as of linguistics.

János Harmatta

KÁLMÁNY LAJOS NÉPKÖLTÉSI HAGYATÉKA. I. rész. Történeti énekek és katonadalok. (Lajos Kálmány's Posthumous Collection of Folk-Poetry. Part I : Historical Lays and Soldiers' Songs.) Ed. by *Gy. Ortutay*. Budapest, 1952. 824 pp.

This huge volume, the bulkiest and, at the same time, the most significant theoretical production of Hungarian ethnography since the liberation — a worthy tribute to the memory of *Lajos Kálmány* on the centenary of his birth — was prepared by the Hungarian Ethnographic Society from the posthumous papers of this "song-loving priest".

The introduction deals with the life of Kálmány, first-born son of a master tanner domiciled in the Upper Town of Szeged. The material for this biography, written by *László Péter*, was collected partly from earlier, rather scanty, literary sources, partly from Kálmány's own correspondence and drafts of letters which had been systematized and arranged by the author

of the biography, in collaboration with *Imre Katona*, for the memorial exhibition held in th autumn of 1949. The biography gives the reader an astonishing insight into conditions during the period of Kálmány's activity, i. e. rouhgly between the seventies of the last century and the outbreak of the First World War. We see the fate of a man, a Hungarian priest, who felt with the people and was bold and selfless enough to stand up for its rights both against the typical representatives of feudal administration and his own ecclesiastical authorities, bent on defending the official prestige. This pioneer of Hungarian folk-lore, impelled by a passion of research, made the village goose-herds chant their old songs and taught his pupils to collect the treasures of popular poetry ; nor did he shrink from revealing the oppressed social condition of the peasantry in the areas investigated by him, together with the evil doings of certain lords in the Temes area. No wonder, then, that he came to be regarded as "a peasant priest of an unaccommodating nature", was transferred from one village to another by his superiors before being appointed, late in life, to a living and having contracted a grave disease, he was pensioned prematurely, no regard being paid to his justified claims and complaints. The village priest who used to sit himself on the dung-cart was left no alternative but drink, his pipe and . . . cerebral haemorrhage ; the man who revolutionized the methods of collecting folk-lore and proved to be, in a number of respects, a pioneer of our present principles and ways of thinking, a man bold enough to stand up against the jingoistic spirit then prevalent in Szeged, was left no alternative but complete, dismal solitude and a roomful of books, letters, and manuscripts, the prey of rats. He had been dead several days when the door was forced open : the rats fattening on the books and manuscripts in this untidy den were attacking his corpse, like the crows which, in a famous poem by Ady — a visionary poem of bitter accusation — attack the Hungarian poets who died in the "patriotic ditch".

It is only too natural that Kálmány's firm, progressive outlook* had a decisive influence on the turning-points of his career. Kálmány introduced a new method into his work of collecting the remains of folk-poetry ; he protested in no uncertain terms against the usage then current in ethnographic research which permitted the falsification of popular poetry by the arbitrary stylization of texts and additions concocted by the collector. This firm stand roused the anger of influential circles as early as 1890, acting as a permanent bar to the publication of the materials collected by Kálmány. By 1914 he had discovered the importance of "the personality formed within the community" from the viewpoint of folk-lore and actually collected material sufficient to fill a volume from the tales which were told him by a peasant, Mihály Borbély. The importance of this new departure remained, however, unrecognized in Hungarian folk-lore until the appearance of the first volume in the New Collection of Hungarian Popular Poetry, the volume containing materials related by Fedics and marking the birth of a new school in Hungarian ethnography — *Gy. Ortutay*'s school, inspired by the example of Russian and Soviet scholars in this field. Another cause for resentment was that Kálmány, as a man of the people, recognized at once the paramount significance of the Great October Revolution in Russia, and in February 1918 even dared to warn his bishop, in almost menacing terms, that the Hungarian people were eagerly awaiting the confiscation of church lands. Another turning-point in his life was when Kálmány came to realize the importance of taking down tunes and established contact with *Béla Vikár*, with a view to supplementing his collections of oral material with phonograph records of the tunes.

On all these points, Kálmány's life and principles were so inextricably intermingled that *L. Péter* has found it necessary to refer to them in the collector's biography, though *Linda Dégh* who prepared the volume for press has devoted the second part of the Introduction (pp. 71—134) to this task, discussing in detail the theoretical problems raised by Kálmány as well as the development of the collectors's ideology. Such overlapping is, unfortunately, hardly avoidable in works of joint authorship ; it also appears occasionally in the notes prepared by *Dégh* and *Katona*.

In the second part of the Introduction *L. Dégh* discusses, first of all, the adventurous story of Kálmány's legacy, from the moment when *Ferenc Móra* and his friends collected about ten large bundles of manuscripts in Kálmány's deserted flat. The MSS were inventoried and then, in accordance with their author's last will, taken to the Hungarian National Museum. Eight bundles were later transferred to the Ethnological Archives of the Ethnographical Museum lying idle there until 1949 when the small study group organized by *L. Dégh* began to sort and systematize them. After a close examination of the material, the study group proposed to the Ethnographic Society that the manuscripts should be published in five volumes. The present volume is the first in the series, while the preparation of the second volume, containing popular ballads, is in progress. The most important part of *L. Dégh*'s study is, surely, the second chapter where an attempt is made to reconstruct Kálmány's views and the principles followed by him in the work of collection, on the basis of some scanty indications, viz. the trend of the dead collector's interest and some fragmentary notes which were preserved by chance.

The difficulties and risks connected with such an operation were, naturally, even greater than those in ordinary historical reconstuction based on sources. *L. Dégh* had to rely in this work on practically illegible, cryptic remarks, hastily jotted down on bits of paper for their author's personal use ; from this puzzling material she had to reconstruct the unitary framework and perspectives of an ideological outlook which Kálmány himself, with all his natural limitations, certainly could not behold with the necessary clarity and precision. Another difficulty was that, with the accumulation of the collector's material and the consequent growth of his theoretical insight, Kálmány's outlook naturally broadened and widened, showing different phases of development in the various phases of his life, until reaching that final stage which, again, can only be surmised since the author himself never gave a systematic exposition of his theories. *L. Dégh* had a hard work to perform when, in face of all these difficulties, she undertook an exacting but important task : to show that the "peasant priest", though necessarily only in a tentative manner, had set himself a goal which, in the clear formulation given to it by Marxist-Leninist science, has since proved to be the only right one. On this point, *L. Dégh* had to take risks, exposing herself to the possibility of carping criticism. Nevertheless, in our view she has succeeded in establishing the point that Kálmány, through the undeniably tendentious character of his collection, tried to indicate from the viewpoint of the working class — though necessarily only according to his own light — the dimly felt road of human progress, the objective laws of motion which govern the march of historical reality. *Dégh* seeks to illustrate such a convic tion not only from Kálmány's practice but also from his theoretical statements collected from various publications and scattered notes. It is possible, of course, that the editor's well-intentioned reconstruction of Kálmány's texte may occasionally appear somewhat arbitrary ; it is also possible that in Kálmány's collection — more often perhaps than this was realized by *Dégh* — we have to do not with cases of simple actualization but with the re-discovery of widespread popular patterns, adapted to suit a particular period and occasion and, hence, somewhat independent of its earlier function. It is our conviction, however, that this does not touch the root of the problem since it affects the probability of correct reconstruction only to a negligible extent ; in the present review it would seem out of place to enlarge upon questions that are *sub judice*. Scholarship cannot develop without hazards and risks, the teeming ground of fruitful debate. The ult ma te criterion of the value of *Dégh*'s work is this that in a number of indisputable instances, throughout the pieces contained in this imposing volume she has been able to give new, highly convincing justification for her reconstructions. She has demonstrated, among other points :

(1) that certain forms of so-called folk-poetry are undoubtedly functions of the basis (of their age, of reality), i. e. they are historical sources if interpreted in the light of a suitable method. This question is discussed in an important passage of the Introduction (Chapter III, "Questions of Principle Connected with the Historical Folk-Song") ; *L. Dégh* has, however,

isnce published (in 1952) a new work in the Popular Scientific Series of the Hungarian Academy of Sciences, under the title of "The Popular Poetry of the Hungarian War of Independence", written expressly to illustrate this thesis of hers ; hence it seems advisable to reserve this question for a separate discussion ;

(2) that Hungarian folk-poetry, too, has a certain traditional vocabulary which recurs with a remarkable tenacity in similar, typical situations, though in a flexible form, always adapted to the particular requirements of the situation in question ; as a similar phenomenon among the Karakirghiz people was pointed out by Radloff about seventy years ago ;

(3) that only those poetic creations or elements of individual creation become really the property of the community which show an inner kinship with the mentality of the people and "meet it half-way" — this being the most important among the laws of tradition ;

(4) that, according to the evidence of transitional, intermediate cases, there exists no sharp dividing-line between "communal", "popular", "semi-popular", and "individual" (or "art") poetry. It is worth pointing out in this connection that Soviet ethnographers use the designation of "folk-poetry" only in a wide sense, the French "chant populaire" includes also Rouget de Lisle, and that the Hungarian term "közköltészet" (i. e. everybody's poetry) represents adequately the flexible character of the genre.

For the rest, the published material consists of 343 songs and lays divided into following eight groups: Old National Historical Lays; Songs of the National Movement; Soldiers' Songs from the First Half of the 19th Century ; Serfs' Songs ; Songs of the War of Independence and the Age of Resistance ; Hungarian Soldiers in Service of Foreign Interest ; The Soldier's Life in the Age of Francis Joseph; Songs of the World War. The notes to the first six groups (nos. 1—112) were written by *Linda Dégh*, those to the last two groups (nos. 113—343) by *Imre Katona*. *L. Dégh*'s excellent command of the philological apparatus is best seen in the excursuses to nos. 11 and 45 : these are veritable essays on subjects bearing on Hungarian literary history. (The former excursus deals with problems connected with Kálmány's variants on the theme of "Rákóczi in exile", while the latter sheds light on an obscure point in Hungarian literary history by ingeniously proving the authorship of László Losonczy, the quondam colleague in the school at Nagykőrös of János Arany, the great Hungarian poet.) *Katona*'s notes are valuable mainly because of their useful information on the history and culture of the respective ages.

To sum up : we regard the publication of the first volume of Kálmány's posthumous papers as an event of outstanding importance in Hungarian ethnography, both on account of the appearance of such a valuable collection and because of the ideological objectivity of the reconstructions undertaken in it. The volume represents a far-reaching justification of progressive Hungarian traditions while promoting, at the same time, the practical application of the principles of historical materialism.

K. Maróti

* The progressive spirit of Kálmány's activity, the real significance of his work in the field of folk-lore, manifest as early as the end of the nineteen-thirties, were first paid a tribute by *Gy. Ortutay*, in his inaugural address as honorary lecturer at Szeged University in 1940 ; the paper appeared in print in the following year.

A kiadásért felelős: Mestyán János Műszaki felelős: Tóth Ferenc
A kézirat beérkezett: 1954 I. 8. Terjedelem: 41¼(A/5)ív (176 ábra + 6 színes melléklet

Akadémiai nyomda, V., Gerlóczy-u. 2 — 23966/54 — Felelős vezető: ifj. Puskás Ferenc

Les Acta Ethnographica paraissent en russe, français, anglais et allemand et publient des mémoires du domaine de la science ethnographique.

Les Acta Ethnographica sont publiés sous forme de cahiers qui seront réunis en volumes. Il paraît, en général, un volume par an.

Les manuscrits, écrits à la machine, doivent être envoyés à l'adresse suivante :

Acta Ethnographica, Budapest 62, Postafiók 440.

Toute correspondance doit être envoyée à cette même adresse.

Le prix de l'abonnement est 110 forints (6,50 $) par an.

On peut s'abonner à l'Entrepise pour le Commerce extérieur de Livres et Journaux »Kultúra« (Budapest, VI., Sztálin-út 21. Compte courant No. 45-790-057-50-032) ou à l'étranger chez tous les représentants ou dépositaires.

The Acta Ethnographica publish papers on ethnographical science, in Russian, French. English and German.

The Acta Ethnographica appear in parts of varying size, making up one volume. In general one volume appears yearly.

Manuscripts should be typed and addressed to :

Acta Ethnographica, Budapest 62, Postafiók 440.

Correspondence with the editors or publishers should be sent to the same address.

The rate of subscription to the Acta Ethnographica is 110 forints (6,50 $) a volume. Orders may be placed with »Kultúra« Foreign Trade Company for Books and Newspapers (Budapest, VI., Sztálin-út 21. Account No. 45-790-057-50-032) or with representatives abroad.

Die Acta Ethnographica veröffentlichen Abhandlungen aus dem Bereiche der Volks- und Völkerkunde in russischer, französischer, englischer und deutscher Sprache.

Die Acta Ethnographica erscheinen in Heften wechselnden Umfanges. Mehrere Hefte bilden einen Band. Im allgemeinen erscheint jährlich ein Band.

Die zur Veröffentlichung bestimmten Manuskripte sind, mit Maschine geschrieben, an folgende Adresse zu senden :

Acta Ethnographica, Budapest 62, *Postafiók* 440.

An die gleiche Anschrift ist auch jede für die Redaktion und den Verlag bestimmte Korrespondenz zu richten.

Abonnementspreis pro Band 110 Forint (6,50 $). Bestellbar bei dem Buch- und Zeitungs-Aussenhandels-Unternehmen »Kultúra« (Budapest, VI., Sztálin-út 21. Bankkonto Nr. : 45-790-057-50-032) oder bei seinen Auslandsvertretungen und Kommissionären.

120,— Ft.

INDEX

Дь. Ортутаи: Значение лингвистических трудов И. В. Сталина для фольклористики. (The Significance of Stalin's Works on Linguistics for Folk-lore.).... 1

B. Korompay: Die Bogenfalle bei den Finnougriern auf dem Wege aus Sibirien nach Europa und in den südlichen Verbreitungsgebieten. (Пути распространения черкана из Сибири в Европу и его связи с югом.)..... 23

T. Bodrogi: Some Notes on the Ethnography of New Guinea. (Данные к этнографии Новой-Гвинеи.)..... 91

L. Vajda: Zum religionsethnologischen Hintergrund des „Nungu" im Kilimandscharogebiet. (Nungu в окрестностях Килиманджаро. Истолкование с точки зрения истории культа.)..... 185

К. Шандор: Янош Ксантус. (John Xantus.)..... 233

P. Lipták: La population de la région de Nógrád au moyen âge. (Материалы по антропологии населения Ноградского района Венгрии IX-XI. вв. 289

F. Bakó: Bäuerliches Kalkbrennen in Ungarn. (Обжигание извести у венгерских крестян.)..... 339

B. Gunda: Ethnographische Beziehungen des russischen Wortes »Венгерец« (»wandernder, hausierender Händler«). (Этнографические отношения диалектического значения русского слова 'венгерец': странствующий торговец.) 421

Varia 437

Recensiones 443